

ПУСТЫНЯ ЖИЗНИ

ПУСТЫНЯ ЖИЗНИ

ДАМИТРИЙ
БИЛЕНКИН

КЛАССИКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФАНТАСТИКИ

ДАМИТРИЙ
БИЛЕНКИН



КЛАССИКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФАНТАСТИКИ

ДМИТРИЙ
БЕЛЕНКИН

ПУСТЫНЯ ЖИЗНИ

РАССКАЗЫ

act
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва
2002

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84 (2Рос=Рус)6-44
Б61

Серийное оформление А.А. Кудрявцева

Художник М.Н. Калинин

Подписано в печать 14.03.02. Формат 84×108^{1/32}.
Усл. печ. л. 39,48. Тираж 8000 экз. Заказ № 823.

Биленкин Д.А.

Б61 Пустыня жизни: Роман; Рассказы / Д.А. Биленкин. — М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. — 747, [5] с. — (Классика отечественной фантастики).

ISBN 5-17-011170-3

Д.А. Биленкин (1933 – 1987) — один из ведущих авторов отечественной научной фантастики 1960 – 1980-х гг., мастер фантастики, НАУЧНОЙ в классическом смысле этого слова, писатель, обладавший даром «встраивать» в увлекательные сюжеты оригинальные фантастические гипотезы.

Биленкин всегда считался автором преимущественно «малых форм» фантастической прозы — рассказов, новелл и повестей. Однако уже названия его сборников заставляют сильнее биться сердца всех истинных любителей научной фантастики нашей страны.

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84 (2Рос=Рус)6-44

© Д.А. Биленкин, наследники, 2002
© ООО «Издательство АСТ», 2002

ПУСТЫНЯ ЖИЗНИ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Упорно, ложной памятью о былом, уже который год мне снится один и тот же сон. Синий — так я его называю. Почему синий? Скорее, он черный. Всякий раз вижу скалистую чашу кратера, две луны в ночном небе, их остекленелый свет, который всему придает неподвижность старинной, без полутонов, гравюры. Вот так: два мертвенных глаза вверху, сведенные у подножия тени зубчатых скал, каменистая площадка кратера, куда в полном беззвучии врезается тупой клин конных рыцарей. Блестят доспехи и шлемы, блестят длинные наперевес копыя, и эта лавина мчится на нас, прижатых к скале.

Мчится — в неподвижности. Застывший миг времени. Замер смертоносный блеск копий, не колышутся султаны на шлемах, в изломе тяжкого бега неподвижны ноги коней — все как на гравюре.

Но это для внешнего. Одновременно я среди тех, кто прижат к скале, кому некуда податься, в кого нацелены тяжеловесные копыя. Для этого второго «я» движение есть, только очень замедленное. Не знаю, как согласуются оба зрения, но во сне никакого противоречия нет. Просто сначала я вижу рисунок, затем себя в нем, оказываюсь сразу и наблюдателем, и участником события. При этом тот и другой «я» с одинаково захолонувшим сердцем смотрят на громаду закованных в сталь рыцарей, их безжалостный строй, в котором нельзя различить лиц, видишь лишь чешуйчатые панцири, темные прорези забрал, щиты и шлемы. Слитность всего, шевеление тупой массы рыцарей уподобляет это движение надвигу каких-то чудовищных железных насекомых, чья лавина готова подмять все и вся. И я, участник происходящего, как и мои товарищи, недопус-

тимо медленно поднимаю разрядник, в ужасе осознаю, что выхода нет и придется бить насмерть, резать эту лавину чешуйчатого металла, в которой все же люди, люди! И рука замирает в последнем, таком невозможном для нас движении, и мысль колеблется — не лучше ли резануть по лошадиным ногам? Но лошади, на них почти нет металла, они-то для нас как раз живые, воображение тотчас рисует вспоротые мышцы, сахарный излом костей, предсмертный всхрап. А секунда, когда еще можно дать огненный, под копыта, для паники и остраски залп, уже потеряна.

Вот такими мы были в канун Потрясения. Тут сон правдив.

Поразительно то ощущение безопасности, с которым мы жили. Ведь начиная с двадцатого столетия, когда человечество познало ядерный огонь, дорога пошла над пропастью, а бремя мощи росло, то и дело кренясь за плечами, как громоздкий раскачивающийся тюк. Экологический, информационный, генетический и прочие кризисы никого не оставляли в покое. О каком благоденствии, казалось, могла идти речь! Но жизнь не подчиняется формальной логике. Каждая победа над обстоятельствами, все социальные, в трудной борьбе достигнутые преобразования, которые только и могли предотвратить тот или иной кризис, так изменили все, что бывшие времена голода, войн, угнетения и розни подернулись пеленой тумана. Конечно, старинные фантазии, в которых будущее изображалось безмятежным раем, где если и приходится преодолевать непустяковые трудности, то исключительно в далеком космосе, если горевать, то лишь от неразделенной любви, если страдать, то от неутоленной жажды познания, — такие книги вызывали у нас улыбку. Сладкие грезы об идиллии, которая, будь ее возможно осуществить, обернулась бы катастрофой, ибо там, где нет противоречий, замирает движение, торжествует скука и наступает духовная смерть! Однако диалектика неустраима, и, покончив с социальным антагонизмом, мы столкнулись с иными проблемами, которые и в дальнейшем не обещали самоуспокоения.

И все же! Постоянство побед и долгое социальное благоденствие наложили на нас глубокий отпечаток. Мы слишком уверовали, что завоеванное непоколебимо. Что прошлое осталось позади навсегда, что немалый опыт предусмотрительности на-

дежно гарантирует будущее. Кто идет от победы к победе, в том нарастает самоуверенность. Даже если он знает об этой особенности психики, даже если он предостерегает себя. То, что произошло, надеюсь, нас излечило. В этом, быть может, единственное благо того времени, когда мы едва не лишились самого времени.

Говорят, моя история показательна. Не знаю. Мой долг рассказать о том, как все было, выводы делайте сами.

Начну с того дня, когда я нарушил запрет, что и повлекло за собой все остальное.

В то утро я патрулировал восточную границу центрально-европейского возмущения (какой гибкий эвфемизм для обозначения катастрофы; кто бы заранее поверил, что мы способны так успокаивать себя?). Всю ночь я мотался на предельной скорости полета и теперь не без удовольствия разминал ноги. Стояла редкая в ту пору тишина. День был мгlistый, спокойный, чуть шелестела листва. Не верилось, что все это может исчезнуть в любую минуту. Коммуникатор молчал. Я наслаждался коротким отдыхом, брел среди светлой весенней зелени, которой все было нипочем, и старался не терять из виду Барьер.

Его сиреневое свечение разрезало мир надвое. Силовое поле бритвой прошло по лесу, вспарывая корневища, траву и мох, ссекая ветви, кое-где так аккуратно пластая стволы елей, что гнущиеся под собственной тяжестью расщепы деревьев, истекшая прозрачной слезой, смотрели друг на друга прямо сквозь призрачную завесу, в которую с обеих сторон пружинисто упирались мохнатые обрубки еловых лап, гибкие пряди берез и корявые сучья можжевельника. Тут все было как должно. Иное виделось за Барьером. Там тоже был разрез, но какой! Подоаль земля казалась вздыбленной каким-то чудовищным, все кромсающим лемехом. Словно кто-то пропахал им вслепую, затем сдернул прежнее покрытие земли и на его место уложил новое, ничуть не задев рваный и грубый шов. Позади него был уже другой лес. И другое время.

Правда, здесь шов был не таким жутким, как в прочих местах. Даже неровности почвы перед ним и позади в общем-то согласовывались, что было верным признаком малого сдвига

времени. Впрочем, возраст аномалии мне и так был известен, не это предстояло установить, тут я мог спокойно наслаждаться бесценными минутами тишины и спокойствия.

Такими, однако, они были лишь с моей точки зрения. Барьер не достигал вершин самых высоких деревьев, и поверх него то и дело сигали белки, столь стремительно, что их длинные распушенные хвосты казались рыжими выхлопами реактивной тяги. Очутившись на той стороне, белки начинали возбужденно цвиркать и скакать с ветки на ветку. Птицы пели лишь далеко в глубине леса, здесь они проносились в молчании, а некоторые металась кругами, словно искали что-то. Еще бы! Сразу за «швом» начинался уже иной лес, и, главное, там было легко — даже сквозь зыбкое свечение Барьера я различал на кустах малинника осыпь спелых ягод. Май и июль соседствовали; белок и птиц такое, естественно, озадачивало. Нам бы их заботы!

Тем не менее в ту минуту мне было не скажу легко и радостно, но светлей, чем обычно. В природе есть что-то успокоительное: рушился мир целой планеты, признаки катастрофы были прямо перед глазами, хватало и своей печали, а я вопреки всему испытывал удовольствие от ходьбы, шустрого мелькания белок, вида спелых ягод и даже от запаха вздыбленной земли. Очевидно, сказывалась и усталость долгого нервного напряжения. Разум честно фиксировал обстановку, сопоставлял, делал выводы, однако сознание как будто дремало, и навязчивым мотивом в нем почему-то крутилась одна и та же фраза: «Пока существуют белки, пока существуют белки...»

Что я этим хотел сказать? Что пока существуют белки, еще не все потеряно?

Возможно.

Недолгим был мой отдых. То, что внезапно открылось за резким изломом Барьера, начисто вышибло сонную одурь. Впереди разноцветным огнем полыхала осень! Та ранняя чистая осень, когда свежи и ярки все оттенки перехода красок от темно-зеленого к багряному, когда уже наметан шуршащий покров листвы, но убор деревьев еще плотен и густ. Скупое сообщение со спутника об очередном хроноклазме, которое привело меня сюда, плохо подготовило к встрече с этой трагичной

красотой. Позади осталась весна, справа простиралось лето, впереди была осень. Все вместе составляло нечто непередаваемое — пятое время года.

И над всем простиралось грустное мглистое небо. Вдали на пригорке неопалимым костром горела куртина берез.

Осень клином подступила к Барьеру, но нигде не пересекала черту, и я было подивился расторопности полевиков, которые, выходит, успели оградить новый хроноклазм, как тут же сообразил, что дело не в этом. Ничего они не успели и успеть не могли. Просто новый сдвиг произошел в пределах старого. Отрадно! Небрежная скупость сообщения стала понятной: космическим наблюдателям хватало забот поважней, им некогда было возиться с уточнением характера и границ столь мелкого и неопасного возмущения.

Что ж, придется основательно поработать, тем лучше.

Итак, какая, спрашивается, передо мной эпоха? Золотая осень, те же, что и теперь, березы, осины, клены. Явно не мезозой и даже не третичный период. Геологическая современность. С одной стороны, очень хорошо, а с другой, может быть, и очень плохо.

Я пригляделся внимательней. Шов, отделяющий осень от всего остального, был куда грубее прежнего. Всюду развалы, выворотни корневищ, влажные и даже как бы дымящиеся срезы глинистых увалов, рыжая муть ручейка, который уже не знал, куда ему течь, — словом, хаос. Налицо были признаки глубокого разлома времени, так как одно дело смещение на века и совсем другое — на тысячелетия: то, что в наши дни стало ложбиной, тогда могло быть луговой гладью, даже скастом холма. И наоборот. Тут нечего было ожидать плавной стыковки рельефа. Ее и не было. Ни там, где чужая осень граничила с нашей весной, ни там, где она вторгалась в иновременное лето. Только растительность была, в общем, одинаковой. Что ей наши жалкие века и тысячелетия!

И все же — какое прошлое передо мной?

Включив гравитатор, я перемахнул через Барьер и опустился далеко за чертой хаоса. Под ногами тотчас зашуршали невесомые листья, легкие вобрала в себя щемящий запах увядания. Чувства невольно настроились на встречу с осенней прохладой, но разни-

ца температур, конечно, успела сгладиться. «Интересно, — подумал я мимолетно, — что теперь будет с листвою? Опадет или сквозь желтизну увядания пробьется свежая зелень?»

Посторонние, конечно же, мысли. Строго говоря, мне следовало поскорее взлететь и разведать все сверху. Но уже от сознания этой необходимости заныли все мускулы исхлестанного ветром лица. Успеется, решил я. Полет не заменит пешего хода, а последовательность — дело десятое.

Так, с маленькой поблажки себе, все и началось. Слепо я вошел в лес. Безбоязненно, как привык это делать всегда.

Я старался не чересчур удаляться от стыка с прежним хроноклазмом, так как, помимо прочего, надо было еще определить, стоит ли их разграничивать Барьером. Иногда это оказывалось необходимым, однако я надеялся, что здесь этого не потребуется. Плохо у нас сейчас было с энергией. Что там плохо — бедственно!

Лес густел, и как-то сразу помрачнело мелькавшее в просвете листвы небо. Мутным оно стало, недобрым. И, как прежде, ни ветерка. Что меня радовало, так это чашеобная захламленность леса. Нигде ни малейшего признака человеческой деятельности, всюду ломко трещащий под ногами валежник, очевидное безлюдье, а если так — нет смысла ставить новый Барьер.

Однако я не стал торопиться с выводами, и правильно сделал. Впереди обозначился кособор. Подлесок расступился, сразу открыв строй мачтовых сосен, под которыми было просторно и гулко. Вверху долгим вздохом порой прокатывался глухой шум вершин. В прогалах тускло серело небо, однако его света было достаточно, чтобы еще издали различить на кособоре какой-то темный, мерно раскачивающийся меж стволами предмет. Взад-вперед, взад-вперед, так он маятником ходил и в мгlistом просвете неба. Даже вблизи я не сразу понял, что это такое, как вдруг в сознании мелькнул полузабытый образ.

Зыбка! Даже не колыбель, зыбка: память почему-то вынесла наружу именно это древнее, как мой собственный род, слово.

Зачем она здесь, в лесу?!

На фоне мрачнющего неба тихо раскачивалась подвешенная на ремнях, такая маленькая, колыбель ребенка. Внизу холмиком бугрилась еще не успевшая оплыть земля.

Это сказало мне все. Могила ребенка. Над ней — его зыбка. Глубокой и печальной стариной повеяло на меня от этого обряда.

О древности свидетельствовала и сама колыбель. Ни единого гвоздя, все крепко и грубо сколочено никак не металлическим топором. Внутри подмокший, уже чуть прелый мех. Отполированное долгим касанием материнских рук дерево потемнело. Скорее всего верхний палеолит, время, когда покойников уже снаряжали в потусторонний мир. А что надо младенцу там, в ином мире? Только его колыбель...

Я отошел со стесненным сердцем.

Оставалось выяснить, есть ли тут сами люди. Спускаясь с косогора, я наткнулся на осклизлую, явно звериную тропу и решил ею воспользоваться. Первобытные люди умеют прятаться, и они, конечно, попрятались так, что их вряд ли сыщешь с воздуха даже инфрадетектором. А вот звериными тропами они, понятно, не пренебрегали, и здесь мог оказаться их свежий след.

Тропинка вела вниз сквозь кусты. Следопыт из меня, само собой, никакой, это умение давно стерто цивилизацией. Но тут не требовалось быть охотником, чтобы убедиться в обилии всякого зверья: сырая почва была истоптана острыми копытцами, в кустах что-то шуршало, вспархивало, а однажды вроде бы даже мелькнула бурая медвежья спина. Как всякий человек своего времени, я не испытывал ни малейшего страха перед хищниками, но разум велел остеречься, и я на всякий случай достал разрядник. Сделав это, я странным образом почувствовал себя немного иным, чем прежде. Возможно, дело было в звериных запахах, на которые откликнулся инстинкт. Изменилась даже моя походка; я шел уже не так споро, глаза озирали кустарник, ноздри ловили далекие токи воздуха. Более того, я вдруг почувствовал, что вспоминаю и эти запахи, и эту узкую тропу как пережитое, словно когда-то шел по опавшей листве, шел настороженно, готовый затаиться, подстеречь, наброситься или, наоборот, убежать, хитро запутывая свои следы.

Ничего удивительного в такой перемене не было. В нашу службу подбирали людей с проблесками атавизма, потому что разведчик мог оказаться (и часто оказывался) в условиях, когда они требовались. Любопытно, что при отборе особое вни-

мание обращали на то, любил ли человек в детстве играть в индейцев. Я любил и позже не раз задумывался над судьбой всех этих могижан, гуронов, навахо. Поразительная судьба! Сломленные цивилизацией белых прежде, чем расцвела их собственная, почти истребленные, они, как никто, завладели воображением детей всех времен, наложили такой отпечаток на духовную культуру столетий, что это их влияние не только не исчезло со временем, но и пригодилось людям в трудную минуту. Недаром детство человека напоминает детство человечества, и лучшее в нем не случайно воспламеняет искусство, которое, собственно, и продлило духовное существование тех же индейцев. Мужество, стойкость и верность не гибнут в поражениях.

Зачислению в разведчики еще более, конечно, способствовала моя профессия учителя. Крепче, чем нас, закаливают разве что космонавтов. И то, как сказать! Во всяком случае, наша подготовка куда разнообразней, ибо мы должны быть искусниками во всем, начиная с игры в прятки, кончая популяризацией новейших космогонических гипотез. В конце концов, неожиданности далеко не каждый день подстерегают космонавтов, у них из месяца в месяц все идет по программе, и в этой работе велика доля предусмотренного. Не то у нас. Наперед неизвестно, что произойдет в следующую минуту, какой фортель выкинет тот или иной подросток, что он спросит и сделает. А реакция должна быть мгновенной и точной, иначе потом не оберешься хлопот. Конечно, и здесь есть стандартные ситуации, но двух одинаковых случаев не бывает, потому что каждый подросток неповторим, все они изобретатели, а энергию каждого надо исчислять в мегаваттах. Тут все время приходится держать ухо востро, уметь все, что умеют они, только лучше, вдобавок быть универсалом, чтобы никакой вопрос не застал врасплох. Всегдашнюю готовность к неожиданностям, психофизическую устойчивость к постоянным стрессам, мгновенность реакции — вот что в нас воспитывали годами, хотя, разумеется, не только это. Но именно это потребовалось теперь, когда стали нужны особого рода разведчики, а готовить их было некогда. Вот почему в наших отрядах оказалось так много бывших учителей.

Вильнув, тропинка вывела меня к перелеску, за редкими деревьями которого приоткрывалась пойма извилистой мутной реки, которая тоже вроде бы не знала, куда ей течь. Еще недавно я сразу вышел бы из-за укрытия и, как положено властелину Земли, хозяйски оглядел бы местность. Теперь я этого не сделал. И моя осторожность была вознаграждена.

Затаившись в кустарнике, я почти сразу уловил впереди себя чье-то присутствие. Как это произошло, я не знаю. Ветер тянул в мою сторону, но вряд ли мое неразвитое, хотя и обострившееся обоняние могло подсказать, что я не один. Тогда, возможно, шорох? И это сомнительно, поскольку незнакомец, как я потом убедился, был бесшумен, подобно тени. Все же что-то сработало во мне как сигнал. Я осторожно прокрался вперед и раздвинул мешавшие обзору ветви.

Человек!

Прижавшись к стволу ивы, неподалеку стояла девушка, почти подросток. На ней не было ничего, кроме пояска из шкур и какого-то ожерелья на шее. Волнистая грива волос явно не знала ножниц. Я затаил дыхание. Девушка, несомненно, принадлежала к тому же, что и я, виду «человека разумного», более того, телосложением она так напоминала девушек моей эпохи, что мне даже показалось, будто я ее уже где-то видел.

Конечно, иллюзия длилась недолго. Девушка повернула голову, и на меня глянула дикарка. Нет, ее лицо не было ни тупым, ни свирепым, скорее наоборот. Дело в ином. Цивилизация утончает чувства. Эмоции, в общем, те же самые, но их спектр богаче, разнообразней, мягче и тоньше, крайности сглажены — сравните, например, взрослого и ребенка, и вы поймете, что я хочу сказать. Здесь богатства эмоциональных оттенков и переходов не было и в помине: примерно как эта девушка, могла бы озираться загнанная, напуганная и все же готовая к отпору лань. И, что самое удивительное, страх не лишал эту малышку достоинства.

Обычное для людей моего времени и такое редкое в древних веках выражение достоинства — вот что сближало нас и обманывало при первом взгляде. А ведь ее дела хуже некуда. Шутка ли, внезапно увидеть, как померк прежний день и занялся новый! Как одно небо в грохоте землетрясения сменилось дру-

гим, и в осеннем воздухе повеяло запахом весны. Вдобавок сдвиг времени, похоже, отрезал девушку от соплеменников, что само по себе было трагедией. Особенно в ту пору, когда человек не мыслил себя вне племени и всех прочих людей обычно считал врагами. Ведь даже Аристотель полагал изначально свободными лишь греков, тогда как все остальные представлялись ему варварами и, как следовало по его логике, естественными рабами.

Не потому ли девушка и не искала укрытия, что заранее чувствовала себя обреченной? Она же стояла на виду, затравленно озиралась, но вроде и не думала убежать.

Убегать, спросил я себя, а куда? Нет пещеры, куда бы не проник зверь, нет дерева, на которое он не смог бы взобраться, и обороняться нечем. Палка против когтей и клыков! Я невольно сжал рукоять разрядника. Видимо, девушка прекрасно понимала свое положение. Здесь, на открытом месте, она по крайней мере могла издали заметить опасность и, в зависимости от ее характера, либо кинуться наутек, либо нырнуть в реку, либо вскарабкаться на дерево. Здесь у нее были кое-какие шансы спастись. Выжить, пока стоит день. Ночью, не этой, так следующей, с ней, очевидно, будет покончено. Ей это, конечно, было известно.

Возможно, я был последним, кто видел это юное, прекрасное в своей юности и уже обреченное существо. Конец было легко предвидеть: бесшумный из темноты прыжок, недолгое сопротивление, вскрик...

Ну и ладно, подумал я, чувствуя себя последним подонком. Не мое это время. И вообще, чем я могу помочь, даже если бы имел на то право?

Хватит, пора уходить, таким трагедиям несть числа.

Но я медлил. Я знал, что должен быть толстокожим, все мы это знали, кругом гибли и наши люди, я сам как раз неподалеку отсюда потерял дорогого мне человека, и для спасения других надо было, не отвлекаясь, делать свое дело. Все так, но с совестью сладить трудно.

Тем не менее надо было уходить.

Однако не успел я двинуться, как справа из лесочка показались люди. Четверо в зеленовато-серых мундирах с каким-то

допотопным оружием в руках. Появление солдат здесь, в каменном веке, было столь диким и неуместным, что я не сразу сообразил, откуда они взялись, хотя удивляться, в сущности, было нечему: соседняя зона находилась в двух шагах, а там был двадцатый век.

Форму я отождествил не в ту же секунду, а когда отождествил, то почувствовал брезгливое любопытство: фашистских солдат мне видеть не доводилось. Впрочем, парни были как парни. Моего возраста, рослые, загорелые, видно, привычные к физическому труду. Вопреки ожиданию, на их лицах не было ни растерянности, ни страха, разве что некоторое обалдение, вполне понятное, когда происходит неизвестно что, и вдобавок из лета ты сразу попадаешь в осень. Но солдатская привычка приспосабливаться к любым обстоятельствам, похоже, чего-то стоит: держа пальцы на спусковых крючках своего оружия, парни шли осторожно и все же уверенно. На их естественно потрясенных лицах все еще как будто лежал отсвет недавних побед. Весь облик солдат словно говорил, что им, подмявшим Европу, решительно плевать на все непонятное, и пусть даже перед ними развернется ад, они и его пройдут с боем, одолеют, как уже одолели стольких врагов. Да, так они и шли, их самоуверенность завораживала.

Сила!

Девушку они заметили несколько секунд спустя. И, как по команде, замерли. Крайний, белобрысый детина, сложил губы трубочкой, словно намереваясь свистнуть. На лицах остальных возникло радостно-недоверчивое изумление. Высокий, стоявший посредине парень сдвинул каску к затылку, точно освобождаясь этим движением от чего-то сугубо военного.

Было в этой их непосредственности что-то ребячье. Я даже позабыл, кто они такие, и совсем упустил из виду, какое впечатление производил на мужчин прошлого вид юной, хорошо сложенной и почти голой девушки.

Она, я в этом убежден, заметила их раньше, чем они ее. Но не шевельнулась. Даже не взглянула в их сторону. Будто их не было вовсе. Рассчитывала, что ее не заметят?

Все разъяснилось спустя минуту. Не сказав друг другу ни слова, только обменявшись взглядами, солдаты развернулись в

цепь и, пригибаясь за кустами, стали быстро окружать девушку. Я чуть не вскрикнул при виде этого четко отработанного волчьего маневра. Загон, я был свидетелем загона, охоты на человека!

Девушка наконец рванулась. Но то было чисто импульсивное движение, ибо, сделав к реке два-три ковыляющих шага, она упала в траву.

Вот оно что! Все мои гипотезы разлетелись в дым. Девушка так долго оставалась неподвижной просто потому, что не могла бежать.

Конечно, это поняли и солдаты. Они двинулись к ней, уже не скрываясь. Белобрысый хлопнул высокого по плечу, и оба засмеялись. Все разом заговорили.

Изрядная архаика, тем не менее их речь была понятна без лингвасцета. Хуже было со смыслом реплик, которыми они перебрасывались. «Аппетитный, однако, язык...» — при чем тут язык? «Во, выставилась, на такое паскудство только унтерменши способны!» — интересно, а это как понимать? «Дурак, раз выставилась, значит, дело знает. Сначала допросик...»

Белобрысый удовлетворенно потер руки.

Что?! Я не поверил своим ушам. Бред, не слепые же они! Ведь перед ними девочка. Раненая! Неужели эти мужественные, так повеселевшие ребята, неужели они способны...

Никакой ошибки, о том у них и шла речь. Разумеется, они перенервничали, взвинчивали себя бравадой, но это только распаляло их. Просто мне было нелегко влезть в их шкуру, хотя в историческом, точнее, в хронологическом смысле фашисты были куда ближе ко мне, чем эта девочка из пещер. Переодень меня в их форму, я выглядел бы очень на них похожим. Подковы их крепких сапог твердо и уверенно придавливали траву. Меж ними и дикаркой остался лишь шаг. И тут она встала на ноги, напряженно, не без страха вглядываясь в их веселые лица.

Очевидно, выражение этих лиц ее обмануло. Впрочем, кто знает!

Они о чем-то заговорили с ней, ветер отнес слова, и, не получив ответа, перешли к действию. Самый рослый из них обошел девушку сзади и, перекинув оружие через плечо, быстрым и точным движением заломил ей руки.

Дальнейшее его, надо думать, удивило. Девушка с неожиданной силой тряхнула плечами, высвободилась, и от удара ее кулака высокий отлетел шага на два.

Улыбку сдуло с их лиц. Задний вскинул оружие и отскочил вбок. Да, это были профессионалы... Двое других, не сговариваясь, ударили девушку. Один сделал молниеносную подсечку, кулак другого врезал в скулу. Девушка упала.

Рассуждать было некогда, руки опередили мысль. Я вскинул разрядник. Ширкнувшая среди бела дня над головой молния — зрелище, надо полагать, впечатляющее для тех, кто в глаза не видал разрядника. Я не сомневался, что эти типы кинутся врассыпную, как зайцы.

Ничего подобного. Они остолбенели, да, но им нельзя было отказать в мужестве и находчивости. Они действительно кинулись врассыпную, но лишь затем, чтобы залечь поодаль друг от друга, вскинуть автоматы и полоснуть очередь в мою сторону. И что значит солдатская выучка! Они не видели, откуда вылетела молния, и вряд ли поняли, с чем имеют дело, тем не менее уверенно ответили огнем на огонь. Пули тут же осыпали ближайшие ко мне кусты. Легко было догадаться, что так будут прочесаны и все остальные.

Я никогда не был под обстрелом и не сразу поверил в реальность происходящего. Меня спасла учительская выучка. Помог опыт бесчисленных игр: в мгновение ока я оказался на земле, бесшумно залег и занял боевую позицию. Все же я никак не мог побороть изумление. Мне все еще казалось невероятным, что кто-то моей силе осмелился противопоставить свою, что режущие листву пули несут смерть. Мелькнуло даже шальное желание перехватить пулю, как я это, бывало, делал со стрелами, когда мы играли в индейцев. Потребовалась не одна секунда, чтобы рассудок взял верх.

Тем временем обстрел вслепую сменился прицельным, видимо, они уловили какое-то движение. Я лишний раз убедился, что имею дело с профессионалами. Одна пуля взрыла землю рядом с моей рукой, другая просвистела над ухом. Ах так!..

Я не хотел их убивать, да и не имел на то права. Но наказывать эту тупоумную нечисть я мог, и не преминул это сделать. До предела сузив угол поражения и уменьшив заряд, я акку-

ратно, чтобы никого не задеть, воткнул по молнии перед носом каждого из бандюг.

Земля полыхнула.

Это подействовало. Стрельба разом оборвалась, brave парни пустились наутек, виляя задами, по-пластунски заскользили меж кочками. Этого, я решил, таким пакостникам мало. Не дам я им отступить по-солдатски: бандитам — бандитово! Несколькими вспышками, которые слегка подпалили их сзади, я заставил молодчиков ускориться и уразуметь, что спасение в бегстве. Наконец-то до них дошло, чего я от них хочу! И что противиться моей силе бессмысленно.

Они задали деру — только замелькали подковки сапог. Оружие отлетело в сторону, оно мешало охлопывать дымящиеся сзади штаны. В другой ситуации я бы пожалел этих четверых, но тут надо было довести дело до конца. Пара-другая выстрелов подправила их вихляющийся бег; мне не хотелось, чтобы они скрылись в ближнем лесу, я гнал их по открытому месту. Так они, верно, еще не бегали! Наконец, их спотыкающиеся фигуры скрылись километрах в полутора.

Тогда я встал и вышел из-за кустов. Хотя парни и получили по заслугам, на душе было муторно, словно я развлечения ради поиграл в кошки-мышки. Девушка лежала среди проплешин гари, она была без сознания, что меня не удивило, — еще бы, натерпеться такого! И только когда я над ней наклонился, мне стало ясно, в какой тупик я себя загнал. Ладно, от затянутых в мундир подонков я ее избавил. А что дальше? Если эти бандиты и не вернутся, то уж хищники точно не заставят себя ждать.

От этой очевидной мысли мне стало совсем тоскливо. Прежде я разглядывал девушку, решая абстрактную задачу ее дальнейшей судьбы. Конечно, я и тогда ее жалел, но то была умственная жалость. Теперь у моих ног лежал беззащитный подросток, измордованная девчушка. Ее голова припала к руке, словно она спала, правая нога была неестественно вывернута в лодыжке, под глазом вспухал синяк, из полуоткрытого рта с неровным дыханием вырывались постанывающие всхлипы. Над бровью, совсем как у Снежки, темнела родинка. Тут мне стало совсем нехорошо, разом всплыло все, о чем я старался не думать.

К счастью, мне на глаза попались брошенные при бегстве автоматы, я в два прыжка добежал до них и переломил эти огнестрельные палки о колено. А обломки втоптал в землю.

Все же потребовалось еще некоторое время, чтобы успокоиться и вспомнить, что лежащая подле меня девушка не имеет ничего общего с нашим временем и ее отдаленное сходство со Снежкой ни при чем.

Ну и что? Ничего. Просто этой мыслью я воздвиг между ней и собой необходимую преграду.

Став на колени, я осторожно ощупал поврежденную ногу. Закрытый перелом, тут не могло быть двух мнений. И эти гады ее хотели...

Стоп! Я подавил ненужные эмоции. В клинике ее ногу сразу привели бы в порядок, но о клинике нечего было и думать. Положив руку ей на запястье, другую опустив на лодыжку, я сосредоточился, впустил в себя ее боль и попытался наладить психорезонанс. Может быть, мне и удалось бы все довести до конца, но тут она открыла глаза. Хорошие у нее были глаза, добрые. Я боялся, что она завопит в испуге, и улыбнулся, как улыбаются детям, когда хотят их успокоить. Она не закричала, даже не ворохнулась, только зрачки расширились. Вряд ли моя улыбка была причиной такого ее спокойствия. Просто успел возникнуть слабый психорезонанс, она почувствовала, как от прикосновения моих рук слабеет боль и по всему телу разливается благодетельное тепло.

— Лежи, маленькая, лежи, — сказал я, когда она попробовала приподняться.

Слов она, конечно, не поняла, но голос подействовал. Она опустила голову, и я готов был поклясться, что читаю в ее взгляде благодарность. Я снова ей улыбнулся, и она, к моему удивлению, ответила тем же. Это было уже странно, потому что древние племена, как я уже говорил, любого чужака склонны считать врагом, а я в своей одежде был для нее чужаком вдвойне. Впрочем, так ли удивительна ее доверчивость? Язык взглядов, жестов и голоса прекрасно понимают даже животные.

Тем лучше! Или, наоборот, хуже... Психорезонанс, конечно, давно оборвался, а я был слишком взволнован, чтобы установить его снова. Так или иначе, медицинским пакетом

все равно надо было воспользоваться, и я им воспользовался. Мое движение, когда я его доставал, вызвало скорее оторопь, чем испуг.

— Ничего, ничего, — говорил я, втирая в опухшую лодыжку биоактивную пасту. — Все будет хорошо...

Она что-то проговорила в ответ. Я потянул руку за лингвасцетом, но оказалось, что он уже вставлен в ухо, я и не заметил, когда успел это сделать. Конечно, лингвасцет ничего не перевел — в его распоряжении пока было слишком мало слов чужой речи. Наступил мой черед по тону голоса и выражению лица соображать, что именно было сказано. Кажется, ничего враждебного.

Что же, однако, делать с ней дальше? Бросить ее я уже не мог, остаться с ней — тоже. Был один-единственный выход, но тогда я вступал в конфликт с установленным правилом. Накладывая повязку, я все еще колебался. Пожалуй, только сейчас я ощутил силу дисциплины как что-то внешнее и, оказывается, не всегда справедливое. Такие понятия, как долг, обязанность, уже давно стали для меня чем-то вроде воздуха, которым дышишь. А что может быть естественней дыхания? Что может быть естественней выполнения внутреннего долга? Всегда как-то так получалось, что любой поступок совпадал с велением совести. И когда Горзах приказал ограждать чужие времена барьерами, ни в коем случае не допускать проникновения людей другой эпохи в нашу, то это решение было в такой же степени его, как и моим. Не только потому, что оно основывалось на общем решении, но и потому, что в нынешней ситуации казалось единственно возможным и верным. Этого еще не хватало, чтобы к общему хаосу добавилось вторжение невесть каких племен и народов! Подумать страшно, что могла бы натворить даже та четверка молодчиков с автоматами, ворвись она в любой наш поселок... У кого там окажется под рукой разрядник?

Словом, Горзах был кругом прав. Только что же мне делать вот с этой бедняжкой? То, что издали представлялось несомненным и, конечно же, благодетельным для самих людей прошлого, теперь означало смертный приговор этой девочке. А ведь в ее беде были виноваты мы сами! Одни мы, никто больше. И то,

что наша вина была невольной, ничего не меняло по существу. Наша ошибка вырвала ее из далекого прошлого и перебросила сюда. В моем, никаком ином времени оказался живой человек, которого по долгу совести и всем законам морали я должен был спасти, а из соображений высшей целесообразности и согласно приказу, наоборот, обязан был оставить там, где ее растерзают не фашисты, так хищники. Добро бы еще мои попытки помочь встретили ужас, отталкивание, злость. Нет, она доверилась мне. Что ж теперь — бросить ее и погубить?

— Не пугайся, — сказал я тихо.

Я поднял ее на руки. Она не сопротивлялась, только в глазах возник немой вопрос. Ее интуиция была поразительной! Похоже, она понимала мое состояние и верно оценила намерение, потому что стоило жестом попросить ее обнять меня и сцепить руки на шее, как она тут же сделала это с таким же доверием, с каким это сделала бы любая девушка моего времени. Я даже усомнился в верности всего, что читал о людях палеолита.

Убедившись, что она крепко сцепила руки, я включил гравитатор и полого взмыл со своей ношей. Дрожь прошла по ее телу, но она не забилась, не вскрикнула. В ее глазах застыло безмерное удивление.

Я думаю! Мы летели, как птицы. Я задал такую скорость, что воздух стал упругим и нас пронизывал ветер, а защитный колпак я включить не мог, поскольку энергии едва хватало на все остальное. Мой костюм, как и подобает, тотчас отозвался на охлаждение тела и усилил подогрев. Но девушка могла замерзнуть, и я было подумал, не остановиться ли, не натянуть ли на нее куртку. Но нет, к холоду ей, похоже, было не привыкать, недаром до катастрофы она по осенней погоде разгуливала почти голышом. Она лишь прижалась тесней. Струящиеся по ветру волосы щекотали мое лицо и руки, сквозь ткань одежды я чувствовал быстрые толчки ее сердца.

Барьер остался далеко позади, здесь была уже наша территория. Наша? Давно ли мы считали своей всю Землю... Ни в каком кошмаре нам не снилось, что ее придется делить с теми, кто жил задолго до нас. С людьми и с нелюдьми.

Хорошо, что во время прежнего полета я заметил эту пещерку, теперь не надо было искать убежище. Я затормозил у

входа, внес туда девушку на руках, и — велика власть искусства! — в моем воображении возник образ рыцаря, спасающего принцессу от злого дракона. Я возмущенно затряс головой, настолько неуместной была вся эта романтическая чушь. Если девушки палеолита и пользовались притираниями, то в их состав входили отнюдь не благовония.

Нарвать травы и устроить ее поудобней было делом недолгим. Не слишком удобное ложе, но вряд ли она привыкла к лучшему. Я оставил фляжку с питьем, все неизрасходованные концентраты и, быстро повернувшись к выходу, слабо помахал рукой. На большее у меня не было душевных сил. Она посмотрела мне вслед как бы в раздумье, слегка недоуменно, с тем недосказанным выражением лица, которое было так свойственно Снежке. Снова меня оглушило это поразительное сходство, которое буддисты объяснили бы переселением душ, но в котором не было ни грана мистики. Ведь тип человека почти не изменился с пещерных времен, а закон больших чисел есть закон больших чисел. Если даже в одном поколении человек может найти своего двойника, то что же говорить о сходстве во множестве поколений!

— Не беспокойся, я приду, — пообещал я, хотя не был уверен не только в завтрашнем дне, но и в следующей минуте.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Так я нарушил запрет и стал преступником. Может быть, это слишком сильно сказано, но чувствовал я себя погано. Даже не потому, что перенес девушку на свою территорию (тут я не сомневался в своей правоте), а потому что не мог никому об этом сказать. Не мог, ибо в таком случае Горзах... Да, что бы сделал Горзах? Само собой, распорядился бы вернуть девушку обратно. Ведь для него она была статистической единицей, мало что значащей, когда речь идет о спасении миллиардов. Тут ничего нельзя было доказать, Горзах был бы столь же прав в своем решении, как я в своем. Оставалось и дальше сохранять тайну. Не свою, личную, что было естественно, а такую, которая затрагивала общество, чего ни со мной, ни с моими друзьями не случилось ни разу.

С запозданием я сообщил в Центр результаты разведки и доложил свои на этот счет соображения. По делу никаких вопросов не последовало: хроноклазм был ничтожный, на такие мы уже перестали обращать внимание. Не вышло за пределы Барьера — хорошо; не возникли при этом огневики — прекрасно!

Однако мой голос, похоже, сказал больше, чем я того хотел.

— Что-нибудь не так? — Этот дежурный был мне незнаком, разговор велся по радио, но я мысленно увидел его участливое лицо.

— Все в порядке, — быстро ответил я. — Немного устал.

— Тогда извини. Доброго отдыха!

— Спасибо.

Он отключился. Голос у него был с хрипотцой, тоже вымотался, бедняга. Меня кольнуло невольное чувство вины.

Мало что так рассеивает скверное настроение, как неспешный, ради отдыха, полет над не потревоженной землей, плавное скольжение над лугами и перелесками, откуда волнами накатывает запах весенних трав, свежей листвы, болотцев и терпкой хвои. Я летел по прямой, подо мной всюду была земля нашего века, которую и ребенок мог безбоязненно обойти босиком. Лишь в одном месте путь клином пересекал Барьер. Я не стал его огигать, потому что именно там должен был находиться Карл-Иоганн (а может, Фридрих-Вильгельм), который всегда приводил меня, да и других, в хорошее расположение духа. Конечно, за те дни, что я его не видал, он вполне мог исчезнуть вместе со своей мызой. Уже ни за что нельзя было поручиться, и, говоря кому-нибудь «до свидания», никто не знал, увидит ли он своего друга или тот канет в глубину веков, а то и миллионолетий. Думать об этом не имело смысла.

Карл-Иоганн, он же Фридрих-Вильгельм, оказался на месте. Черепичную крышу дома я заметил издали и, снизившись, нырнул в густую крону деревьев, которые осеняли мызу. Я не боялся напугать Карла-Иоганна (опыт показал, что это невозможно), мне лишь хотелось полюбоваться им без помех.

Полюбоваться было на что. Карл-Иоганн, как всегда, стоял у порога своей чистенькой мызы (возможно, домик назывался как-то иначе, но первый, кто его обнаружил, употребил слово «мыза», так и пошло). Сухопарый, уже в летах, Карл-Иоганн

стоял, как на параде, его медная кираса ярко блестела на солнце, которое наконец выглянуло из-за облаков. Блестела и наклоненная к земле шпага. Рыжие усы хозяина топорщились. Словом, Карл-Иоганн-Фридрих-Вильгельм, или как его там, пребывал в своей обычной позиции. За его спиной копошились куры, такие же чистенькие, как аккуратный подметенный дворик, как ровно уложенные кирпичи стен, как до голубизны вымытые окна, как тщательно подстриженные вдоль ограды кусты жимолости. Кур горделиво опекал огненно-рыжий петух.

И это посреди общего разора! Никто из нас не видел Карла-Иоганна в другой позиции, разве что дождь загонял его под навес. Вероятно, он отдыхал, но когда — непонятно. Ему было безразлично, печет ли солнце его седую, с хохолком на макушке голову, обычно, впрочем, прикрытую шлемом с насечкой. Похоже, так же безразличен ему был род возможной опасности: любую он был готов встретить быстрым и точным выпадом шпаги. Он стоял гордо и ничего не боялся. Кремень старик! И какой контраст с жителями соседнего городка, которые, обнаружив неладное, подняли вой и не знаю уж, по какой причине, возможно религиозной, экспромтом затеяли небольшую резню. Ну и дал же им Карл-Иоганн, когда они к нему сунулись! С тех пор он и утвердился в своей позиции. Хотя нет. Это случилось раньше, когда он заприметил в небе нашего разведчика. Нисколько не удивился, но со своей точки зрения вывод сделал правильный: человек, летящий как птица, может коршуном обрушиться на дом и семейство, а потому надо бдеть непрерывно. Что он и делал. Семейство же его, как говорили, состояло из пухлой розовощекой жены и трех весьма независимых карапузов, которые иногда прорывались во двор, за что маменька их тут же порола хворостиной. От нее мы и услышали имя хозяина. Правда, она почему-то называла его то Карлом-Иоганном, то Фридрихом-Вильгельмом.

Впрочем, это несущественно. Мужество и стойкость Карла-Иоганна вызывали уважение. Опрятность, с какой поддерживался дом, тоже. Во всем теперешнем хаосе это было, пожалуй, единственное место, где все шло, как заведено, как должно, как прежде, непоколебимо. Скала в бушующем море! Конечно, бравый воитель защищал только себя и семью, од-

нако в этой комичной фигуре было такое достоинство и такое презрение к опасности, что на сердце становилось легче.

Странные мы все-таки существа, люди! Были, есть и, видимо, будем.

Я немного полюбовался старым чудачком (за это время он лишь чуть изменил позу — как на тросточку, слегка оперся на шпагу). Делать здесь мне было решительно нечего, и, прошептав Карлу-Иоганну «до свидания!», я взмыл в небо.

Интересно, что сделал бы Карл-Иоганн, подойди я к нему? Заколел бы, наверное. Поразительный человек! Совершенно независимый от общества человек.

Зона возмущений осталась позади. В небе нашего времени, как и внизу на дорогах, никакой паники, естественно, не было. Однако все, что могло двигаться, двигалось на предельной скорости. Сновали реалеты, мчались наземные машины, где-то возникали, а где-то, наоборот, свертывались эмбриодомы, сами реки, казалось, текли ускоренно. Впрочем, кто знает, может, так оно и было...

Я словно попал в иное, нервное поле — и тоже ускорил полет, хотя особой нужды в этом не было. Ближе к Центру путь мне пересекла огромная и необычная птица, которую я издала принял за птеродактиля, однако при ближайшем рассмотрении она оказалась обычным продуктом генно-инженерии — пушинским орланом.

Подходы к Центру перекрывали передвижные трансформаторы массэнергии, решетчатые раструбы которых тупо смотрели во все стороны света. Могло ли их действие что-либо предотвратить, оставалось вопросом теории, но так казалось надежней. Уж лучше сомнительная защита, чем никакой. Южноазиатский региональный центр, правда, погиб, но там оборона была слабей, и оставалось надеяться, что эта выдержит. Как и за счет чего? В том-то вся и беда, что этого никто толком не знал. Работу нашего штаба, как и всех прочих, на всякий случай дублировал Космоцентр. Но и там было неспокойно. В общем, ко всему стоило относиться с хладнокровием Карла-Иоганна и грести, пока руки удерживают весло.

Сам Центр располагался в средневековом замке, от грубых стен и башен которого веяло спокойствием и мощью. Казалось,

ничто не может поколебать кладку массивных, понизу замше-
лых, каменных блоков, башни свысока взирали хмурым прищу-
ром бойниц, могучие контрфорсы, казалось, противостояли са-
мому времени. Замок пережил сотни бурь, выдержал десятки
войн и осад, у его подножия таякали мортиры, рвались авиабом-
бы, а он стоял все так же насупленно и горделиво.

Это впечатляло. Пожалуй, выбор его в качестве Центра был
оправдан психологически. Конечно, древняя кладка стен ус-
тупала в прочности материалу современных эмбриодомов, тем
не менее она могла противостоять урагану любой силы, даже
землетрясению, а большего не требовалось, так как против
хроноклазма уже ничто не могло устоять. Тут по крайней мере
всякий ощущал за своими плечами Историю, несомненную,
как бы материализованную в облике этих башен и стен, требо-
вательно взирающую на нас.

Была еще одна причина, почему Центр обосновался в замке,
и тоже скорей психологическая. Развитая в нас способность к
сомышлению и сопереживанию оставалась благом, но резкий,
как сейчас, всплеск психической деятельности мог опасно срезо-
нировать там, где сгушались силовые линии ноосферы, и нару-
шить работу Центра. Толстый камень стен ослаблял психополе, а
главное, он действовал успокоительно, поскольку сознание при-
выкло связывать тишину с уютом, мощь стен — с безопас-
ностью, замкнутость — с отъединенностью.

Опускаясь на шербчатые плиты внутреннего дворика, где у
подъезда различимы протертые колесами экипажей колейные
выбоины, я физически ощутил эту двойственность. Все вок-
руг внушало спокойствие, однако мысли, чувства вдруг заспе-
шили, я даже слегка промазал и при посадке больно ударился
пятками. Слишком многие сейчас с надеждой и нетерпением
думали о Центре, мысленно зывали к нему, это эмоциональ-
ное напряжение отозвалось во мне, как шелест невидимого,
но близкого пожара. Что делать, чем гуще ионосфера, тем
сильней ее возмущение, тем отчетливей они для нас. Интере-
сно, когда и кому это впервые удалось почувствовать не в тол-
пе, которая зримо генерирует психическую напряженность масс,
отчего трудно уловить скрытую причину той или иной внезапно
разразившейся эмоциональной бури. Во всяком случае, уже в

двадцатом веке наиболее чуткие люди подметили, что даже в тихих на вид коридорах крупных редакций, телецентров и министерств их охватывает напряженность, сходная с той, которая пронизывает человека в насыщенной электричеством атмосфере.

В гулкой прохладе замка мне сразу полегчало, хотя работа была в разгаре и каждый встречный, разумеется, спешил. Но то была несуетливая спешка. Никто не сбивался с ног, не мчался с вытаращенными глазами, не метался в растерянности, усталые лица были спокойны, сдержанно невозмутимы, все делалось как бы само собой, быстро, четко, красиво, никто из встречных не забывал приветливо кивнуть на ходу, даже если при этом прыжком одолевал пролет, чтобы, не теряя плавности хода, тут же скрыться из виду.

Какой контраст с тем, что мне довелось наблюдать в иных веках! Никогда прежде мы не видели себя в зеркале далекого прошлого и толком не представляли, насколько изменилось человечество. Да, физический облик, в общем, остался прежним, исчезла лишь грубоватость лица и телосложения. И чувства не претерпели существенных перемен. Тем не менее мы как будто столкнулись с другой расой. Все, что для нас стало нормой, там было исключением, — неуязвимое здоровье, развитый ум, само собой разумеющаяся сила, красота гармонично сложенного тела, гибкая пластика движений. Но дело было не только в ужасающем обилии нищих, больных, полуголодных, не только в быстром и всеобщем старении, которое так безжалостно уродовало людей прошлого, что при виде повальной годам к пятидесяти дряхлости нас брала оторопь. Различие оказалось куда более глубоким и тонким, оно коренилось в сознании. Шаткость психики, мгновенный переход от униженной покорности к ярости, от молитв к жестокостям, от трезвой, в быту, рассудительности к безумию фанатизма — вот что потрясло сильнее всего. Конечно, мы знали об этом и прежде. Но теперь мы видели!

Не верилось, что это наше, исторически близкое, прошлое. Что люди, лобызающие руку свирепого хозяина, падающие ниц перед раскрашенными досками и статуями, сбегающиеся на публичные пытки и казни, как на праздник, — наши не столь

уж далекие предки. Да как же все это вышло и утряслось за немногие столетия, которые разделяли нас? Не усилиями же редких мудрецов и подвижников! Что могли одиночки...

Все преобразуется согласно законам социального развития, но сами события движутся поступками людей, вот этих, никаких других. Чего-то мы не успели или не смогли разглядеть в тех толпах, знание исторических закономерностей не наполнилось живым содержанием, мы содрогнулись — и только.

Во многом, как мне кажется, это и предопределило наше решение все и всех изолировать Барьерами.

А ведь если вдуматься, то еще вопрос, кто и от чего должен был содрогнуться. Все предки, начиная с моей девочки из палеолита, вправе были спросить нас: вы-то, умудренные и могучие, вы-то как могли дойти до жизни такой, что уже в который раз поставили под удар само будущее земли?!

На лестнице мое движение затормозилось, ибо с верхней площадки в плотном кольце свиты спускался Горзах. Его круглая костлявая голова мелькала в им же созданном водовороте, откуда просверкивал быстрый, физически осязаемый взгляд маленьких, глубоко посаженных глаз. Нисходя по ступеням, Горзах одновременно слушал, просматривал бумаги и отдавал распоряжения. Говорил он не повышая голоса, тем не менее его слова легко перекрывали шум. «Понятно, действуйте!» «В этой схеме есть уязвимое звено — вот здесь...» «Пустяки, человек может все, даже то, чего он не может, — если хочет». «Промедление — худшее из решений, отстраняйте тех, кто этого до сих пор не понял!» «Что? Ну, это закон бутерброда; спокойно намайивайте другой кусок, вот и все...»

То, что делал Горзах, было верхом организаторского мастерства. Его мысль с ходу проникала в суть любого вопроса, сверкала, как остро заточенный клинок, мгновенно рубила узелки проблем. Секунда — решение, секунда — решение, так без устали, словно играючи, и, казалось, непреодолимое вдруг становилось преодолимым, темное просветлялось, сомнительное оказывалось бесспорным, неуверенность сменялась решительностью, каждый словно получал заряд бодрящей энергии. Молодые, вроде меня, смотрели на Горзаха с обожанием.

Я прижался к стене, пропуская свиту великого Стабилизатора, который сейчас подобно Атланту удерживал на плечах

весь накренившийся мир. Все мы его поддерживали, но широкие плечи Горзаха, конечно, составляли центр.

За время своего прохода он еще успел кивнуть мне. Трудное это было мгновение, но все обошлось, — Горзах ни о чем не догадался и тут же перевел взгляд. Пространство за ним очистилось, я взбежал и свернул в коридор. Пронесло!

Не было дозорного, который после разведки не поспешил бы к Хрустальному глобусу. Ни на что не опираясь, он висел в центре зала, где некогда пировали рыцари и копоть факелов еще темнела на стенах. Мягкий, льющийся изнутри свет выделял все складки материков, все западинки океанских равнин, изгибы хребтов, над которыми прозрачно голубела вода, а к югу и северу, сгущаясь, белели поля вечных льдов. Только при взгляде на Хрустальный шар общее положение дел становилось по-настоящему зримым.

Ко мне, едва я направился к шару, устремился кибер с каким-то аппетитным блюдом в клешне манипулятора. Многие вот так перекусывали на ходу, но мне сейчас было не до этого, я досадливо отмахнулся, и кибер так же бесшумно, как и возник, исчез в чреве огромного камина.

Облик Хрустального шара мало изменился за последние сутки. Земной шар казался изъязвленным. Ало горели оспины глубоких провалов времени, которых, к счастью, было немного, хотя никто не мог понять почему. Преобладала желтая, розовая, оранжевая сыпь. Лихорадило все континенты, планету трясло от полюса и до полюса.

Я легко отыскал место, где только что побывал. Так, едва заметное желтоватое пятнышко... Ничего примечательного для тех, в кого там не стреляли давно сгинувшие с лица земли фашисты.

— Любуешься?

В дверях, чуть наклонив голову и улыбаясь, стоял Алексей Промыслов, просто Алексей, длинный, нескладный, зеленоглазый, рыжеволосый. Казалось, никакие события в мире не могли стереть с его продолговатого лица эту чуть ироническую усмешку.

«Мы, рыжие, все такие, — любил он пояснять. — Потому и уцелели в обществе нормальноволосых». Никакой самый близ-

кий друг почему-то не мог назвать его Алешей; он, сколько я его знал, а знал я его с детства, всегда и для всех был Алексеем.

— Что нового? — спросил я машинально.

— А что может быть нового? — Он рассеянно взглянул на шар. Красноватые у Алексея были глаза, невыспавшиеся, и говорил он, словно позевывая. — Все обычно. Природа жмет на человечество, на нас, теоретиков, жмет Горзах, мы ждем на природу, так все и уподобляется кусающей собственный хвост змее.

— Мало на вас жмет Горзах!

— А ты ему подскажи что-нибудь из опыта прошлого... На хлеб и воду посадить, например. Очень, говорят, способствует медитации, и как раз в духе Горзаха. С него станется...

— Что ты взъелся на Горзаха? Он свое дело знает.

— Кто спорит! Отличный руководитель. Только он человек из другого века.

— Как это?

— А так. Тебе никогда не приходило в голову, что можно родиться не в своем веке? Скажем, Леонардо да Винчи или Роджеру Бэкону куда более соответствовала бы наша эпоха. Ну а Горзах... — Алексей вяло помахал рукой. — Он прирожденный полководец. Войн нет, он нашел себе другое применение. Природовоитель, специалист по кризисным ситуациям. Что, однако, было у нас до сих пор? Микростабилизации отдельных участков геосфер, доосвоение Марса, вакуумполигоны и все такое прочее; добровольцы вперед, скуггеры — в атаку, и тому подобная рутина. И вот наконец дело по плечу! Всемирная катастрофа. Тут надо действовать масштабно, решительно, если потребуются, беспощадно, и лучше Горзаха здесь трудно кого-нибудь сыскать. Ум, опыт, энергия, авторитет! Все правильно, все неизбежно, шторм требует беспрекословного повиновения капитану, иначе все пойдём ко дну. Но, милый, тем самым психологически мы скатываемся в далекое прошлое. Вот кто ты теперь?

— Как кто? Дозорный наблюдатель, разведчик.

— Солдат ты, мой милый, солдат. А Горзах — фельдмаршал. И я солдат. Ничего другого сейчас быть не может. Но мы-то не привыкли, мы из другого теста. А Горзах знает, кем мы обязаны стать, и лепит нас железной рукой. Опять же все

правильно, только восторгаться здесь нечем, а кое-кто уже восторгается Горзахом, видит в нем надежду, оплот, чуть не спасителя. Короче, в нашем сознании ожили и наливаются соком свеженькие пережитки прошлого. Хотя это неизбежно, ликовать мне почему-то не хочется.

— Ты преувеличиваешь. Наша мораль, традиции, воспитание, психосимбиоз...

— Знаю. И тем не менее. Мне здесь видней. Ладно, у тебя-то как?

Если я кому-нибудь и мог рассказать о своем проступке, то уж, конечно, в первую очередь Алексею. Он бы понял и не осудил. Но имел ли я право перекладывать моральную ответственность и ставить перед выбором — утаить или, как принято, обнародовать неличный секрет?

Я отделался парой общих фраз. Алексей тотчас уловил неладное, но не сказал ничего, наоборот, сменил тему, заговорив о работе своих теоретиков. Им приходилось несладко, ибо если с деятельностью Горзаха связывалась надежда предотвратить худшее, то от теоретиков ожидали кардинального решения. А что они могли сделать за короткий срок? Положим, они быстро выявили связь между последней серией опытов по трансформации космического вакуума и внезапным нарушением структуры времени. Ну а дальше? Каким способом можно было прекратить эти «времятрясения», когда целые куски настоящего проваливались в бездны прошлого, а на их место выпирали совсем другие эпохи?

Действие опередило предвидение. На этом человечество уже много раз обжигалось, и нам даже казалось, что впредь ничего подобного случиться не может. Однако случилось. Может быть, именно потому, что проникновение в глубины физического мира первым повлекло за собой грозные последствия — человечество столкнулось с этим еще в середине двадцатого столетия. Именно здесь были приняты и первые меры предосторожности. Затем физика оказалась как бы в тылу. Экологический кризис повлек за собой революцию в биологии, навалились медико-генетические проблемы, позже вниманием завладел психоадаптационный кризис, который революционизировал уже гуманитарные науки. И на всех этих этапах центральными оста-

вались социальные проблемы, которые были ключевыми при решении всех остальных, физический мир стал выглядеть спокойным, во всяком случае, не главным участком познания. Ослаб приток талантов, уменьшились затраты, притупилась бдительность. И природа нанесла контрудар.

Может быть, так, хотя Алексей был несколько иного мнения. Случайную ошибку предвидения он считал глубоко закономерной и потому неизбежной. Мы всегда окружены неведомым, говорил он, всегда. Мы всегда знаем гораздо меньше, чем следовало бы знать. Иначе не может быть, потому что никогда, ни при каких обстоятельствах, мы не способны достичь абсолютного, решительно во всех областях знания. Этот краеугольный вывод диалектического материализма так же верен в нашем столетии, как и в девятнадцатом, когда он был впервые сделан. Отсюда следует, что любое движение вперед всегда сопряжено с риском, и никакое предвидение не гарантирует полную надежность. А цена ошибок растет. «Чем дальше в лес, тем крупнее волки, — добавил он, переиначивая старинную поговорку. — А волков бояться — на печке лежать. Ну а на печке лежать — бока отлежать, что еще хуже. У нас, понимаешь, просто нет выбора».

В глубине души Алексей был пессимисто-оптимистом, сколь ни противоестественно такое сочетание. Пессимистом, потому что не слишком верил в свободу воли и полагал, что обстоятельства повелевают нами с той же легкостью, с какой давление и температура обращают воду в пар. Оптимистом же он был потому, что не видел в этой зависимости ничего страшного, ибо «кто предупрежден, тот вооружен» — это во-первых, а во-вторых, условия, в которых мы оказываемся, все более зависят от нашей собственной деятельности. Поэтому не надо быть дураками, только и всего. Логически он тут, по-моему, противоречил сам себе. Он это признавал, но ничуть не смущался, поскольку считал, что всякая новая, прежде неведомая нам истина обязательно парадоксальна, а так как подобных истин должно быть бесконечно много, то без парадоксов и противоречий в рассуждениях не обойтись и не стоит из-за этого нервничать, — все объяснится в свое время или несколько позже.

— И вообще, — говорил он, шурясь на глобус, — так ли уж очевидно, что всю эту катавасию вызвали опыты с вакуумом? «После этого» не обязательно «вследствие этого», сие было известно задолго до расцвета наук. Приходится думать над параллельными вариантами. Тебе известно, откуда взялись огневики и что они такое?

— Если бы! — Я махнул рукой. — Но при чем тут огневики?

— Они не вписываются ни в какую картину прошлого Земли. И еще. Хроноклазмы есть, время крошится, а причинность какой была, такой и осталась. Не странно ли? Добавлю, что все хроноклазмы... какие-то они все аккуратные.

— И что же?

— Так, небольшая бредовая идея... Помнишь историю Суэты?

Конечно, я ее помнил. Кто же ее не знал? Безжизненная, вполне заурядная планета у Ригеля. Она перестала быть заурядной после того, как исчезла. Совсем. Вторая экспедиция не обнаружила Суэту. Ее не было на орбите, ее не было нигде. Там, где она прежде находилась, осталось лишь облачко пыли, словно планету слегка обдули, прежде чем взять, как это делают с предметом, который слишком залежался на полке.

— Не понимаю, какая тут связь, — сказал я.

— Возможно, никакой. — Алексей стоял, покачиваясь на носках, и рассматривал светящийся хрусталь земного шара, словно прикидывая, можно ли его обернуть платочком и сунуть в карман. — Но, видишь ли, я кое-что сопоставил. Исчезло ли что-нибудь и в Солнечной системе? Да. Мы за последнее время распылили не один астероид.

— Верно. — Я попытался уловить дальнейший ход его мысли. — Мы виртуализируем астероиды, а кто-то подобным образом проэкспериментировал с Суэтой? Логично, только ведь это давняя гипотеза.

— Есть и кое-что новое... — В немигающих глазах Алексея задрожал теплый отсвет Хрустального шара. — Понимаешь, те опыты с вакуумом, которые мы сочли первопричиной хроноклазмов, в них, строго говоря, не было ничего принципиально нового. Мы трижды все перепроверили — ни-че-го! Рутина, стандарт, обыкновенность. Откуда же такие последствия?

— Чашу переполняет капля...

— Ты дослушай! Гибель Суэты, как и полагается, вызвала в вакууме своего рода ударную волну. Так? Так. Рассуждаем дальше. Волна возмущений, само собой, катится со скоростью света, тогда как наши звездолеты опережают свет. В результате мы заранее узнаем о гибели Суэты и обретаем возможность сложить дважды два. Но не делаем этого, ведь все произошло так далеко от нас. Что нам Ригель, это же за тридевять земель! А ударная волна меж тем приближается. Все как в задачке для твоих детишек. Расстояние до Ригеля известно, скорость известна, время исчезновения Суэты можно прикинуть; спрашивается, когда примерно волна должна была докатиться до нас? Прикинь-ка в уме...

Я прикинул, и мне стало не по себе. Получалось, что волна возмущения накрыла нас где-то перед катастрофой!

— Ты уверен?!

Алексей слабо пожал плечами.

— Пока я уверен в одном. До сих пор мы жили и действовали так, будто кроме нас во Вселенной нет никого. Мы, как последние идиоты, убедили себя, что контакт между цивилизациями ограничен посылкой сигналов или материальных тел. А он может быть косвенным, опосредствованным, вот в чем вся штука... Боюсь, что этого до поры до времени не учитывают и другие цивилизации. Слепота космического эгоцентризма. Делаю, как мне удобно, что хочу, то и ворочу, о других и мысли нет... Так поступаем мы, и ту же ошибку, возможно, допустили те, у Ригеля. С той разницей, что их эксперименты пограндиозней. Они, надо думать, приняли должные — с их точки зрения должные! — меры предосторожности и бабахнули подальше от своего дома. А тряхнуло нас.

— Но почему же тогда...

— Почему пострадали именно мы? Да потому, очевидно, что больше нигде не экспериментируют с вакуумом. А в наших установках что-то, вполне возможно, вошло в резонанс, усилило слабые колебания, — и пошла цепная реакция!

— Слушай... — Волнение сорвало меня с места, ноги сами понесли вокруг Хрустального шара. — Слушай, ведь это очень серьезно! Тут цепь косвенных доказательств... Ты говорил с Горзахом?

Взгляд Алексея стал сонным. Сколько лет я его знал, а все равно он частенько ставил меня в тупик. Только что гневался, доискивался до первопричин, объяснял — и вот равнодушный взгляд из-под полуприкрытых век, откровенное выражение скуки, едва сдерживаемая зевота.

— Все знают те, кому это необходимо знать, — пробормотал он. — Все может оказаться простым совпадением... Или чем-то совсем иным. Огневики-то почему и откуда? Ты с ними сталкиваешься, пригляделся бы. Может, они того, посланы... Засланы...

Он качнул рукой и, сутулясь, побрел к двери. Я не стал его удерживать, это было бесполезно, уж таков Алексей. При всех обстоятельствах он чувствовал себя свободным как ветер, возможно, это-то и позволяло ему так раскованно мыслить.

Напоследок он все-таки обернулся.

— Кстати, уверен ли ты, что Горзаху моя идея придется по вкусу?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Если Алексей хотел меня сразить, то он своего добился. Казалось, под черепом, сопя и толкаясь, зашевелилась добрая семейка ежей, которым срочно потребовалось свести счета друг с другом.

Это было уже чересчур, мне вполне хватило бы и утренних переживаний. Настолько чересчур, что я бессмысленно воззрился на закопченные стены, которые, надо полагать, выдвигали и блеск оружия, и свадебные пиры, и придворные интриги, а теперь равнодушно смотрели на, может быть, и неглупого, но вконец обалдевшего парня в тяжелой амуниции хроно-разведчика. Сколько подобных парней должно было стоять в этом темном и обширном зале! Не менее смущенных и обалдевших от всего, что они увидели и услышали.

Ничто не повторяется, но все возвращается на круги своя, только уже в новом качестве.

Хватит, прикрикнул я на себя. Алексей ни секунды не тратит на пустое, ничего не говорит просто так, но часто впадает

в ошибку, предполагая в собеседнике равноценный ум, и потому смысл его слов порой остается темным. Все как в построениях иного гениального математика: «из данного преобразования со всей очевидностью вытекает, что...» — и все промежуточное, для него и в самом деле очевидное, пропущено, а ты изволь сигать через пропасть. Ну что же, ну что ж... Время есть, сейчас все спокойно обдумаем, разложим по полочкам, проанализируем, и что-нибудь авось прояснится.

Ничего я не успел обдумать.

— Конечно, где он еще может быть?

Этот голос я бы узнал из тысячи, и хотя судьба свела меня с Феликсом Бекаа совсем недавно, на душе сразу полегчало. Карие, с золотистым ободком, глаза Феликса смотрели мягко, даже застенчиво, но я-то знал, сколь неполно это впечатление. Та сила, которую излучал Горзах, была и в моем командире, только в его присутствии вас не пронизывал ток нервной энергии. Есть люди, которые ясны с первого взгляда; Феликс был не из их числа, скорее он был их антиподом. При знакомстве с Феликсом почему-то ни у кого не возникало вопроса, умен ли этот человек, красив ли он, добр; иное поглощало внимание — редкость характера. Ведь характер потому легко прочитывается, что душевные качества сочетаются не как попало, и наличие одного предполагает присутствие другого, либо родственного, либо, наоборот, полярного свойства. Так смелость невозможна без решительности, жестокость нередко сопровождает сентиментальность, и, выявив в незнакомом человеке какое-то одно свойство, мы интуитивно схватываем всю ассоциацию, а то и весь характер. Но есть маловероятные, даже, казалось бы, запрещенные сцепления: вот они-то как раз и составляли склад Феликса. Глубокая и постоянная самоуглубленность противоречит открытости, рационализм ума враждебен художественной эмоциональности, всегдашняя задумчивость препятствует решительности. А в Феликсе все это гармонизировало, отнюдь не по закону полярности! В прозрачной капле росы переливаются все краски мира; все понятно и просто, когда есть солнце. Но видеть такое при любом освещении?

Впрочем, в Феликсе ничто не блистало ярко. Физически, возможно и психологически, в нем смешались едва ли не все

человеческие расы, над его обликом потрудились многие нации, и невозможно было сказать, кто он — европеец, азиат или полинезиец. Так же нелегко раскрывался и его духовный облик. Задумчивый и рассеянный взгляд карих, с золотинкою глаз, тонкие, кажущиеся хрупкими плечи — попробуй угадать в таком лидера, бойца, командира! И все-таки это чувствовалось. Настолько, что едва наш отряд сформировался и оставалось выдвинуть командира, как мы дружно избрали Феликса, хотя он не был ни космонавтом, ни учителем, ни тем более стабилизатором; он был уже известным художником-видеопластом.

Тем не менее мы не ошиблись.

— Общий сбор, — сказал Феликс. — Ты как?

— Разумеется.

— Тебе положен отдых.

— Это не важно, я не устал.

Иногда голос значительней слов. Если бы я мог воспроизвести не только слова Феликса, а их звучание, мне уже нечего было бы пояснять. Так, еще минуту назад мой ответ был бы ложью. Но не теперь. Не знаю, откуда взялись силы, только призыв словно открыл какие-то шлюзы, я подтянулся, я снова был бодр и свеж, меня охватила радость, что во мне нуждаются, что все нелегкие размышления можно отложить на потом, что с этой минуты я уже не принадлежу себе, мое дело действовать, как скажут, действовать хорошо, как надо, как я уже привык, но не в одиночку — и это прекрасно. Трубили трубы, под окном бил копытами горячий конь, не важно, что никакого коня не было, да и быть не могло, важно, что трубы трубили сбор.

Скажете, мальчишество? А мы, в сущности, и были мальчишками.

— Я готов!

Феликс улыбнулся своей обычной, мягкой, как бы для себя улыбкой.

— Не торопись. Это упреждающий поиск.

— Что? — У меня пересохло горло. — Огневики?

— Они самые.

— Ясно, — сказал я. — Тем более...

В действительности ничего ясного не было, скорее наоборот. Огневики еще не возникли, им еще только предстояло

возникнуть, пока существовала лишь уверенность Феликса, что так будет. Уверенность, строго говоря, ничем не обоснованная. Просто у Феликса на них чутье. Сверхинтуиция. Так бывало не всегда, но достаточно часто: он предугадывал время и район их появления. Предчувствовал хроноклазмы, которые должны были выбросить огневики. Как — этого он и сам не мог объяснить. Многих это поражало, только не Алексея, который находил эту способность Феликса весьма интересной, безусловно полезной, но, в общем, тривиальной. Будущее, говорил Алексей, всегда отбрасывает тени, всегда дает о себе знать, это давно известно. В принципе, добавлял он, все предельно просто; хотя наш мозг в силу чисто эволюционных причин настроен преимущественно на восприятие настоящего, есть люди более чуткие, особенно среди художников. Они-то подчас и улавливают для всех еще незримые тени будущего. Угадывают же пчелы по осени, какой будет зима! А разве их информационный аппарат сравним с нашим? От человека надо ждать гораздо большего, потому что его мозг неизмеримо сложнее. И точка, и все... Нет, не все. Дар Феликса бесценен, в нем, быть может, таится самый важный для нас секрет. Так почему, черт побери, вы даете Феликсу рисковать собой?! Это варварство, дичь!

Однажды он это сказал при Феликсе, и тот ему ответил так, что Алексей — Алексей! — смутился. С тех пор он обходил Феликса стороной.

Меж тем если кто-нибудь и знал об огневиках, то именно Феликс.

— Ясно, — повторил я. — Справимся, не впервые. Я готов. Феликс кивнул.

— Я не стал связываться с тобой по информу, — сказал он, когда мы двинулись по коридору. — Не люблю этих кричалок. Ты что-то хотел обсудить наедине, не так ли?

Я невольно замедлил шаг. Проницательность Феликса меня не удивила и не обескуражила; уж если незнакомый диспетчер что-то уловил в моем голосе, то друг тем более мог почувствовать неладное. Именно Феликс был тем человеком, которому я мог, даже обязан был довериться, ему я и хотел рассказать о своем проступке, рассказал бы, наверное, если бы не извес-

тие об огневиках. Тут у меня все прочее вышибло из мыслей. А у него нет. Это меня встревожило. Значит, мелькнула догадка, дело серьезней, чем я думаю. Нехитро ощутить беспокойство друга и поспешить к нему, когда ты свободен, и совсем другое, готовясь к схватке, пойти его разыскивать, лишь бы поговорить с ним наедине.

Сбивчиво я пересказал ему всю историю. Феликс, не перебивая, слушал.

— А что мне оставалось?.. — выкрикнул я под конец. — Не было, понимаешь, не было другой возможности спасти эту девочку, как переправив ее к нам...

Феликс приостановился.

— И это все?

— Разумеется!

— Тогда почему это тебя тяготит?

— Как почему? — Мне показалось, что я ослышался. — Ведь я нарушил приказ!

— И правильно сделал, — невозмутимо ответил Феликс. — Если приказ допускает гибель человека, он должен быть нарушен.

— Но его утвердило человечество!

— Тем самым отменив и совесть? — Золотистые глаза Феликса потемнели. — Сообрази, о чем говоришь! Человечество думает, обязано думать о самосохранении, так. Тут надличностная забота, иной счет, в этих координатах приказ Горзаха верен, и мы обязаны его соблюдать. Но если одновременно не беспокоиться о судьбе каждого отдельного человека, во что тогда выродится забота о миллиардах? В бесчеловечность.

Лицо Феликса стало жестким.

— У того же Горзаха, — добавил он уже спокойно, — нет возможности думать о каждом в отдельности. У нас таких возможностей больше. Вообще: если кто-то может спасти человека, но не делает этого, кто он тогда? Убийца. Вот так, если мы хотим остаться людьми.

Он энергично тряхнул головой. Его волосы разметались, как от ветра, звук шагов чеканил каждое слово, в последних мне даже послышался звон брошенного в ножны меча. Но разве перед ним был противник?

— Да, — проговорил он, упреждая мою догадку. — Наихудший наш враг — мы сами. Не только ветряные мельницы могут прикинуться великанами, но и великаны — мельницами, потому что все мы, к счастью или к несчастью, немножечко Дон-Кихоты. Уж я-то знаю, как это бывает с призраками собственного воображения... Чудак!

Он обнял меня на ходу. Наверное, он чувствовал гораздо больше того, что мог и хотел сказать. Ход сузился, рука Феликса упала. Где-то над бойницей, мимо которой мы проходили, пищали стрижи, очевидно, в расшатанной кладке стен было их гнездо. Стертые ступени вывели нас к башне, где некогда коротали время дозорные замка. При нашем приближении массивная дверь распахнулась, и я увидел всех наших ребят.

О, они подготовили встречу! Давно замечено, что ожидание опасности подстегивает грубоватый юмор. При виде Феликса все вскочили, изображая выкативших грудь служак, бравых солдатушек и прочих молодцов-удальцов. Раскатилась выбитая ложками по днищу тарелок дробь. «Смир-р-рна! — рывкнул чей-то бас. — Отец командир идет! На кра-ул!» Гигант Нгомо даже попытался щелкнуть каблуками, только у него не получилось, видимо, тут был свой, давно утерянный секрет.

— Вольно! — скомандовал Феликс и так живо изобразил в ответ надутого спесью генерала, что грянул хохот. — Все сыты, преисполнены долга, — и как с боеприпасами?

— Братцы, — сказал я умоляюще. — Нет ли чего поесть?

Сам не знаю, почему я это сказал. Есть мне, правда, хотелось, но, очевидно, дело было не только в еде, иначе я давно воспользовался бы услугами кибера.

Ко мне сразу со всех сторон потянулись руки. Руки, а не захваты манипуляторов. На огромном дубовом столе мигом очутились хлеб, колбаса, помидоры, сыр. Я ел, надо мной подшучивали, я, как мог, отбивался и чувствовал себя так, словно не было ни горя утрат, ни бессонной ночи, ни загадок, которые мне задал Алексей, ни близкой опасности, ничего. Это не было изменой памяти, нет. Посреди лютой стужи, которая морозила сердца тревогой, нас грел костер братства, его незримый отблеск играл на лицах, и надежней этого тепла не было ничего. Он был обещанием. Обещанием, что все изме-

нится к лучшему, что иначе не может быть, когда вокруг столько друзей, столько сильных умов и рук, и так везде, на всей планете. Что нам разверзшийся ад! Мы молоды, мы крепки, мы все одолеем.

Как бы двойным зрением вижу я караулку, узкие просветы окон, потертый кирпич стен, заваленный оружием и снаряжением дубовый, на приземистых ножках стол, деловую сумятицу вокруг аппаратуры, проворно нарезающие ветчину и хлеб руки Жанны, всех, с кем меня свела судьба. Мы смеемся неприязнительным шуткам, не знаем, что будет с нами завтра, каждый готов выложиться без остатка, все бывшие заботы отпали, осталось главное — жизнь, товарищество, хлеб. Неуверенность в будущем обострила всякий миг настоящего, все стало примитивным, зато ярким, как никогда.

На краю смерти — иллюзия бессмертия. За маской веселья — горе и ярость, которая ищет выхода. А где разрядка? Трудно возненавидеть природу, с хроноклазмом не схватишься врукопашную, проблеме не снесешь голову. Всю неистраченную ярость можно обрушить лишь на огневиков. Ожесточение и усталость сузили нас, боя мы ждем, как освобождения, он пугает нас своей опасностью и все же пьянит. Наконец-то конкретный враг! Так мы к нему относимся, не можем не относиться. Все просто и ясно: или он тебя, или ты его. Иное — в сторону! Редкая свобода безмыслия, и, как странно, она нам по душе, точно и не было веков цивилизации. То есть, конечно, бывшая культура не исчезла совсем, наедине каждый размышляет о многом, но таких минут все меньше. Стоит нам собраться по сигналу тревоги, как мы становимся тем, чем и обязаны быть, — мечом человечества. А меч не должен знать вопросов, сомнений и колебаний. И тот, кто его опускает, тоже. Сомнения и колебания могут быть до или после, но не во время удара. К несчастью, у человечества не было никакого «до», разить пришлось сразу.

Мелькают проворные руки Жанны, постукивает нож, мой пример оказался заразительным, всех вдруг одолел голод, мы едим, говорим и смеемся, это веселье на тонком льду, мы длим эту минуту, упиваемся ею, но ход событий неумолим, одно слово Феликса «подъем!» — и все обрывается.

Теперь слышен лишь топот башмаков, лязг в общем-то бесполезного оружия, от стен веет внезапным холодом, он уже внутри нас самих.

Все быстро, четко, привычно, говорить больше не о чем, мы понимаем друг друга без слов. Трудно поверить, что еще недавно никто никого не знал, что Феликса волновала красота мира, Нгомо лечил детей, а Жанна колдовала над ароматом «снежных яблок», чей вкус, как говорят, обещал затмить все ранее известное. Мы избегаем наверх и строим планируем с башни. Наши реалеты ждут нас за парком. Внизу мелькает пруд, который так плотно охвачен густыми ветлами, что вода в нем всегда кажется темной. Сейчас небо хмурится, вода черна и по-осеннему усыпана желтыми листьями. Откуда их занесло? Неужели оттуда, где я был утром?

Возможно. Теперь все возможно.

Все по местам. Мы стартуем в зенит, стартуем так, что нас вжимает в сиденья. Машины клином рассекают облачность, и через четверть часа мы оказываемся над непогодой, которая быстро движется к замку.

Непогода — это мягко сказано. То, что мы видим сверху, вряд ли даже соответствует урагану. Это иное. Ведь что бы раньше ни происходило возле земли, в высях стратосферы, где мы летим, всегда был хрустальный покой ясного в фиолетовом небе солнца. Теперь и эти небеса не узнать.

Мы летим, а снизу, теснясь, напирают оплетенные молниями громады туч. Их мрак охвачен трепетным блеском, порой он разверзается палящим, как из жерла вулкана огнем, тогда все мчится на нас клубящейся жутью атомного взрыва, грозного своей тьмой и ленивой неспешностью, с какой надвигаются эти сверкающие молниями горы мрака. Реалет колышет, как бумажный кораблик на волнах, подернутое фиолетовой дымкой солнце глядит с зенита воспаленным глазом циклопа. Кажется, еще немного — оно не выдержит, лопнет, прорвется, все прожжет и испепелит. Либо, наоборот, мутнея, угаснет тлеющим угольком и на нас опустится бесконечная ночь. Хуже всего, что так может быть; никто же не знает, затронут ли хроноклазмы Солнце и каким огнем оно вспыхнет тогда. Вспыхнет или, напротив, канет в дозвездную тьму.

Точно сам гнев природы глядит на нас сквозь иллюминаторы, а мы, притихнув, глядим на него, малые и беззащитные. Сейчас нам явлено то, что мы предпочитаем утаивать и скрывать друг от друга, — наше ничтожество перед безумием природы. Вот она, правда. Вот к чему мы пришли после стольких побед, после обуздания всех бурь и землетрясений. Мы снова отброшены назад, беззащитны, как у порога пещер, если не хуже...

Ярость стихий завораживает, я с трудом отвожу взгляд. Лица серы какой-то минеральной пепельностью и все повернуты к иллюминаторам. Нет, не все. Жанна вяжет. Вызовом всему мелькают спицы, их короткий взблеск бросает на упрямое девчоночье лицо острые, как от бритвы, отсветы. Губы Жанны чуть шевелятся, узкие, обычно насмешливые глаза, напряженно следят за движением пальцев. Гневу природы она противопоставляет свое, уютное и домашнее занятие. Так ведет себя едва ли не самая неукротимая из нас девушка, которая пришла к нам в отряд, села на пол и заявила, что выставить ее можно только силой. Но и тогда она все равно вернется, так что нам лучше принять ее сразу.

Теперь наша Жанна д'Арк вяжет свитер, легко догадаться кому. Вот только знает ли об этом сам Феликс? Истоиво мелькают спицы, бросая на худое лицо быстрые отсветы-порезы.

Человек создан для борьбы, возможно, и так. Но борется он, чтобы обрести покой. Правда, когда покой затягивается, нам снова хочется бурь и побед.

Подняв голову, Феликс обвел всех нас испытующим взглядом. Лицо Жанны востепенелось. Нгомо, чьи стиснутые в кулак руки каменели на подлокотниках, встретив взгляд Феликса, яростно, словно его душили, мотнул головой. Он потянулся к карману, в его руках мелькнул стереоролл; с тем же яростным усилием Нгомо вдавил клавишу, и грянула музыка, так внезапно, что все вздрогнули.

Она гремела, наполняя собой раскачивающийся реалет, подавляя все прочие звуки. «Память памяти» Снегина. Я не любил эту вещь, считая, что музыка прошлого хороша сама по себе и незачем ее переосмысливать, тревожа тени великих классиков. Но сейчас, в фиолетовом отсвете смятенного неба, все звучало иначе. У меня даже перехватило дыхание. Споря с

тем, что было вокруг, музыка утверждала свое, вела ритм тысячелетий. Рядом, в нас, гармонировали безмятежные пасторали и боевые звуки тамтамов, над тревожной поступью «Седьмой симфонии» Шостаковича небесной зарей всплывали мелодии Баха, бетховенская патетика странно и удивительно сливалась с откровениями «Звездного хода» Магасапсайя, все крепло, мужало, возвышалось памятью дерзких, мятежных, неустroенных веков с их ужасом кровавых битв и устремлением к навечному, падением в тоску и трепетным порывом к звездам всечеловеческой красоты. Все великое в музыке было теперь с нами, здесь, сейчас, в это мгновение готовой разразиться и все поглотить катастрофы.

Все подались вперед, казалось, ожил сам воздух. Порывисто, чуть не брезгливо, Жанна отбросила вязанье. Нгомо еще выше поднял свой стереоролл, такой крохотный в его черной лапище. Сквозь зыбкий свет и подкатывающую мглу нас мчала упругая скорость реалета. Лишь Феликса не затронуло общее движение. Его приникшее к иллюминатору лицо было повернуто в профиль. Таким я его еще не видел. Слышал ли он музыку, ощущал ли ее, как мы? Наверное. И все же он был за миллионы световых километров от нас. Не отрываясь и не мигая он всматривался в ужас неба, какого еще не видывала Земля.

Он был с ним наедине. Он вбирал то, от чего мы отводили взгляд. Неподвижный и бледный, он сам был подобен стихии, так страшно она его переполняла, так он с ней спорил, так его дух торжествовал над ней. Или, наоборот, примирялся? Я даже похолодел. Так вот что значит быть художником, глазом человечества! Пропустить через себя даже то, что способно всех погубить, не забыть ни одной краски, ни одного переживания, вчувствоваться в гнев природы, как в свой собственный, стать им.

Стать им... Да. Все пропустить через себя, все! Вобрать. Уподобиться. Пережить. Быть может, zalюбоваться тем последним взмахом косы, которую занесла над тобою смерть, во всяком случае, запомнить, как блещет эта сталь... И не закрыть при этом глаза.

Наоборот! Во взгляде Феликса, каким он смотрел, читался вызов. Ты, безмозглая, готовая затушить солнце, собираешь-

ся уничтожить меня? А я тем временем изучаю тебя, проникаюсь тобой, ненавижу тебя, восхищаюсь тобой, ты уже в моей памяти, и когда ты исчезнешь, лишь я могу воссоздать твой образ. Ты разрушаешь, я создаю, ты несешь мне смерть, а я дарю тебе бессмертие. Нет, мы не равны и никогда не будем равны...

Возможно, не это говорил его взгляд, только единоборство было, тут я не мог ошибиться.

Музыка смолкла. Словно в ответ последнему аккорду просияло яркое свободное солнце. Черно-огненные тучи внизу стали понемногу рассасываться, то ли выдохлись сами по себе, то ли их наконец одолели метеоустановки. Реалет перестало колыхать, под нами приоткрылась земля, все задвигались, шумно заговорили. Феликс, жмурясь и протирая глаза, прошел к пилотам, Жанна проводила его долгим взглядом, Нгомо, мощно откинувшись на спинку сиденья, подбросил на ладони стереоролл и улыбнулся чуть сконфуженной улыбкой.

Сколь велика власть наглядного! Стоило небу утихнуть, как рассеялось и ощущение неотвратимой беды. А ведь погодные катаклизмы были далеко не худшим злом, современным поселкам и зданиям они вообще не могли причинить серьезного ущерба. Но, вглядываясь в подступающий к солнцу мрак, вряд ли кто-нибудь из нас думал, скажем, о древних вирусах и микробах, которые, попав в наше время, возможно, несли с собой куда большую угрозу. Эту опасность устраняли где-то там, в тишине лабораторий, она не имела ни вида, ни цвета, редко кто вспоминал о ней. Нас тревожило осязаемое и конкретное. Дымящаяся разломами хроноклазмов земля. Погода. Огневики. Люди прошлого. Из морских глубин выныривали «атлантиды», и тогда на побережья обрушивался цунами. Мобильным постройкам нашего века это опять же мало чем грозило, их, получив предупреждение, свертывали и перебрасывали в глубь континента. Но что было делать с бережно хранимыми кварталами старых городов, с архитектурными памятниками Лиссабона и Токио, Бомбея и Нью-Йорка? Участвовавшие землетрясения нередко удавалось подавлять в зародыше, бури — ослабить, но океанским волнам мы могли противопоставить лишь дамбы и силовые поля, которыми нельзя было перекрыть все. С архитектурных шедевров всюду и везде сроч-

но снимались структурные копии, однако какой-нибудь восставленный позже до мельчайшей щербинки Руанский собор был бы лишь дубликатом, его заново воссозданные стены уже не хранили бы прикосновения рук создателей, и мы сразу чего-то лишились.

Над побережьем, куда наконец вырвалось звено наших реалетов, не оказалось туч, и, пролетая над одним из старых городов, мы все увидели воочию. Все снова притихли, когда эта панорама раскрылась. На земле, в спешке, которая была заметна и с воздуха, машины и люди возводили дамбы, ставили заслоны силовых полей, которые мерцали вдали радужными, как в мыльных пузырях, отливами. В топкой грязи предместий муравьями копошились киберы, над ними мошками вились люди. Город уже подвергся атаке, кое-где вода сверкала прямо на улицах. Простертый от белых зданий набережной простор океана был безмятежен, как в добрые старые времена, но его искрящаяся солнцем гладь в любой час могла вздыбиться, рушась на эти дамбы, на эти здания, на всех, кто этому обвалу противостоял. Люди, конечно, успели бы отлететь, но каково им было бы увидеть мутный водоворот там, где был город, который они не смогли защитить? Нет, что ни говори, наша работа, по сравнению с этой, была благодатью, хотя и считалось, что именно мы находимся на переднем крае.

Реалет качнуло в крутом развороте, море, кренясь, отвалило назад. Строй грузовых машин в точности повторил маневр.

— К оружию, граждане, к оружию! — объявляясь в дверях пилотской, провозгласил Феликс. — Спутник передал засечку, идем на сближение!

— Сколько их? — быстро спросил Нгомо.

— Врагов не считают, а уничтожают. — Луч солнца косо перечеркнул лицо Феликса, его искрящиеся глаза смотрели возбужденно и весело. — По штучке на боевую машину, довольны?

— Ого! — воскликнул кто-то.

— И мы, как обычно, первые? — уточнил Нгомо.

— Естественно, другие не успеют, мы ближе всех.

— Значит, в одиночку с копьем на льва, — задумчиво подытожил Нгомо и, еще немного подумав, кивнул: — Можно.

— Нужно! — звонко выкрикнула Жанна. — Феликс прав: врагов не считают, а уничтожают!

— Это не я, — мягко поправил ее Феликс. — Это было сказано много столетий назад.

— Тем более!

Феликс неодобрительно покачал головой, Жанна вспыхнула, не отводя от него глаз. Зря она, конечно, все это говорила, вернее, так говорила, дело предстояло серьезное. Каждый понимал, чего стоит промедление, и каждому было ясно, что это такое — схватка один на один. С копьем на льва, вот именно, с копьем на льва. Невольным движением я поправил на бедре ничего не значащий теперь разрядник. Мало-помалу шум голосов затих, каждому хотелось остаться наедине и внутренне подготовиться к тому, что нам всем предстояло.

Что ж, на войне как на войне. Феликс уселся рядом со мной и не торопясь развернул на коленях карту. Тем временем гул моторов стал резче, от призрачно мерцающих плоскостей реалета потекли голубоватые струи уплотненного воздуха, земля внизу заскользила быстрее.

Задумчиво, по-детски постукивая светокарандашом по губам, Феликс долго вглядывался в испещренную какими-то отметками карту, затем решительно провел длинную черту.

— Странно, — пробормотал он. — Что же их ведет по точке?

Он сказал это, видимо, для себя, так тихо, что услышал лишь я один.

— Ты о чем? — В моей памяти ожил вопрос Алексея.

— Об этом. — Феликс щелкнул карандашом по карте. — Огневики всегда движутся по прямой. Всегда.

Я кивнул, это было всем известно, такая особенность перемещения огневиков помогала с ними бороться.

— Мы сразу их давим, сразу, — так же задумчиво проговорил Феликс. — Никто не спрашивал себя, что было бы, если бы мы им дали... погулять.

Карандаш рассек воздух.

— Погулять! — Я покрутил головой. — Ну и вопрос... Об этом даже страшно подумать.

— Верно. Но так же верно другое. Сегодня ночью мне приснился гадостный сон. Будто меня не то допрашивают, не то

экзаменуют рыжие, похожие почему-то на спрутов, только безглазые, огневики. — Он поморщился. — Впрочем, не это важно. Но там был один любопытный вопросик... Словом, проснувшись, я сделал одну простую вещь. Я проэкстраполировал движение всех, какие были, огневиков. Вышло что-то несуразное: на линии их движения позже всегда возникали хроноклазмы.

— Ничего себе! — Я присвистнул. — И как это понимать?

— Не знаю. Мы уничтожаем огневиков, но мы их не понимаем. Не по-ни-маем! — Феликс ударил кулаком по колену. — Что они такое? Откуда берутся? Их выносят хроноклазмы, но лишь в одном случае из двух. Что кроется за этой статистикой? Чем больше огневиков, тем слабее хроноклазм. О чем говорит эта закономерность? Почему — может быть, это самое главное — огневики всегда устремляются к будущим очагам? Тысяча и одно «почему», а мы знай себе палим из мортир.

— У нас нет выбора, — сказал я.

— Это у камня нет выбора — падать ему или лежать.

— Ты думаешь?

— Я ищу.

— И?..

— Теоретик лучше понимает камень, пчелу и цветок, когда от них удаляется. У меня все наоборот. Чем я ближе к огневикам, тем, кажется, лучше их понимаю. Но с ними приходится драться, вот в чем беда! А чтобы драться, надо озлобиться.

— Еще бы!

— И это тупик. Мы на все смотрим сквозь призму своих представлений и своих эмоций. Двойной светофильтр! Вся наша умственная работа сводится к попытке сорвать эти очки и взглянуть на мир непредвзято. Иногда это почти удается. Есть во мне сейчас ненависть, злоба?

Он вопросительно посмотрел на меня.

— Нет. — Я покачал головой. — Нисколько.

— Возможно. Зато есть предвзятость. Эх, хоть на минуту почувствовать бы себя огневиком!

Он говорил вполне серьезно. Я содрогнулся.

— Не могу себе это представить...

— Я, к сожалению, тоже. Зачем, ну зачем вы избрали меня командиром? Как было бы все просто без этого!

— Просто — познать?

— Жить. Чувствовать, познавать, жить — все это одно и то же.

— А сражаться?

Он помолчал.

— Верно, ты прав, — ответил он нехотя. — Это все едино и неразделимо. Иногда мне кажется...

— Да?

Он не ответил. Его лицо замкнулось, напомнив мне тот миг, когда он вглядывался в бурю, только сейчас взгляд был обращен внутрь, к себе, то золотистое, что было в глазах Феликса, потухло и потемнело. О чем он думал в эту минуту?

Возможно, все бы пошло по-другому, проникни я тогда в его мысли.

Но это длилось недолго. Лицо Феликса вздрогнуло, как от толчка, он поспешно взглянул на наручный курсограф.

— К вопросу о противоречиях, — сказал он с улыбкой. — Извини...

Он аккуратно сложил карту, встал и двинулся в пилотскую. Ничто в нем больше не напоминало созерцательного художника или мыслителя, даже спина стала прямой, уверенной, командирской. Он знал, что на него смотрят и по нему равняются. Поговаривали, что в его роду были солдаты, офицеры, даже генералы. Сейчас в это легко было поверить, хотя, собственно, у кого из нас не было воинских предков?

Я глянул в иллюминатор. Как всегда перед боем, сердце посасывал холодок. Внизу проплывала степь, мягко серебристая, ковыльная, с редкими, похожими на причудливые ракушки домиками возле одиноких рощ и озер. Вскоре, однако, домиков не стало, их обитателей, очевидно, предупредили об опасности, и они успели свернуть свои жилища, благо это мог сделать и семилетний ребенок. Как-то незаметно исчез и ковыль, степь сморщилась, побурела, точно враз состарившееся лицо.

— Бэдленд, — донесся до моего слуха удовлетворенный голос Нгомо. — Удачное место выбрали огневики, дурной земли не жалко.

— Всякую жалко, — возразила Жанна.

Я недолго прислушивался к их спору. Руки сами искали занятия, я вынул, разобрал и снова собрал разрядник. Взгляд же следил за бурой внизу пустыней. «И вот нашли большое поле, есть разгуляться где на воле...» — с навязчивостью молитвы всплыла в памяти с детства знакомая строчка стихов. С бесцветного неба наплыла свинцовая мгла, степь потемнела, заволокла. Рокот двигателей притих, тело на миг сделалось невесомым, реалет камнем пошел вниз. Было помутневшая земля снова раскрылась во всей своей наготы и шири, но это длилось недолго, — она устремилась к нам, и туманное кольцо горизонта, стремительно суживаясь, стянуло простор.

Мягкий толчок, мы сели.словно разделив наше нетерпение, люк тотчас откинулся, все устремились наружу.

Нас встретила тишина безветрия. Небо было мгlistым и каким-то плоским, вдали оно незаметно смыкалось с такой же плоской и безвидной землей, только степь была побурей, она остро пахла пылью, и на ней всюду топорщились колючки. Однообразие нарушала лишь глинистая, с неровными скатами ложбина, на дне которой поодаль пасся меланхоличный верблюд, которому, видимо, так надоела всякая, в том числе сыплющаяся с неба техника, что наше прибытие он не удостоил вниманием. Унылое место, однако, Нгомо был прав, лучшего не придумаешь. Ведь от порослей колючек, да, пожалуй, и самой ложбины вскоре вряд ли что останется.

Жанна умчалась прогонять верблюда, а мы занялись разгрузкой севших за нами машин, причем каждый украдкой поглядывал на восток, откуда должны были появиться огневики и где теперь Жанна сражалась с двугорбым упрямцем, который был явно рассержен тем, что ему не дают спокойно отобедать лакомыми колючками. Пока только эти две фигуры маячили на горизонте.

Мы должны были успеть, Феликс не мог ошибиться в расчете времени встречи, однако меня познабливало, я тоже поглядывал на восток, делал все проворно и механически, ибо мыслями был уже там, где находился враг. Барьеры останавливали людей и животных, но не огневиков; под их натиском силовые поля лопались, как пленки мыльных пузырей. Единственное, что достоверно было известно об огневиках, так это то, что они — сила.

Иногда они принимали облик, схожий с обликом живого существа, отчего и возникла гипотеза, что до биологической жизни на Земле развивалась какая-то иная, плазменная, нам неведомая, может быть, протопланетная или даже звездная. Но все эти догадки немногого стоили, так как чаще всего огневики походили лишь на самих себя, то есть вообще ни на что. Ничего не удавалось понять, да и времени не оставалось, чтобы присмотреться, — огневики перли, сметая все, леса вспыхивали, реки вскипали при одном лишь их приближении. Их надо было сразу остановить, иначе всю планету быстро испещрили бы шрамы пожарищ. Выход был только один — немедленное уничтожение.

Легко сказать! Настоящего оружия против огневиков, в сущности, не было. Тоже парадокс. Уж если в прошлом что совершенствовалось, так это оружие. Но когда с войнами удалось покончить, оно стало ненужным. И мы мало что могли противопоставить огневикам. То есть, конечно, спешно изготовленные и опробованные термоядерные бомбы разносили их в клочья. Но это было лекарство худшее, чем сама болезнь, нам хватало и того генетического ущерба, который испытания ядерного оружия нанесли в свое время человеку и биосфере, — последствия давали знать до сих пор. Даже в нашем отряде был человек, которого они коснулись: Жанна. Да, именно она перенесла генооперацию еще тогда, когда ее сердце билось под сердцем матери.

Оставались лишь те средства разрушения, которые применялись в горных работах и в космосе. Но ими трудно было одолеть этих тварей (если это действительно были твари). Сами сеющие огонь чудовища стойко противостояли нашей технике. Конечно, они были уязвимы, конечно, гибли, но какая мощь, какая невероятная живучесть и какой напор! Земля содрогалась, когда они шли.

А Алексей еще просил к ним приглядеться... Если бы он знал, как это все выглядит, кожей почувствовал бы, что значит противостоять огневику, потомился бы в ожидании боя, вдохнул бы всю его мерзость и дрянь. Тут не то что просьбу, имя свое забудешь, маму не вспомнишь! Некогда, невозможно, и ведь никому потом не объяснишь, как это бывает, когда ты вышел из мясорубки и все вокруг пахнет горелым, в десяти водах от этого запаха не отмоешься...

Все «черепахи» уже съехали по откидным пандусам, развернулись цепью, все скуггеры взмыли вверх и рассыпались строем. Каждый из нас занял свое место у борта машины. Последней примчалась раскрасневшаяся Жанна, которая наконец справилась с верблюдом, прогнала упрямца далеко в степь и теперь на ходу оттирала с куртки зеленоватую жижу его презрительных плевков. Мы с трудом подавили улыбки. Феликс погрозил ей. В ответ она с вызовом вскинула голову и королевской походкой прошествовала к «черепахе». «Смейтесь, смейтесь, — говорил ее весело-дерзкий взгляд. — Сколько мужчин — и хоть бы один... По-вашему, раз скотина, значит, гибни?!»

Феликс, крикнув, снова уткнулся в свой визор, по которому со спутников нас информировали о перемещении огневи́ков.

Потянуло ветром, у наших ног закрутилась пыль. Нехороший был ветер, горячий, с запашком гари, слишком знакомый. Он ластился к лицу, и было тошнехонько вот так стоять под мгlistым небом на плоской невзрачной земле, зная, что ничего этого скоро не будет.

— По машинам! — взмахнув рукой, закричал Феликс.

Последнее, что я увидел: Жанна, белкой скользнувшая на броню, Нгомо, чье посеревшее лицо оскалилось улыбкой (он помахал мне), Феликс, который, широко расставив ноги, продолжал стоять и смотрел, как мы исчезаем в люках.

Все, люк захлопнулся.

Теперь я на все глядел сквозь перекрестие прицела. Вокруг расстилалась та же мирная степь, слева и справа горбились другие «черепахи», над ними уже дрожал столб перегретого воздуха. В щитках эмиттера уныло посвистывал ветер. Едва не касаясь мгlistой облачности, в небе застыли скуггеры, похожие на диковинных крылатых ежей.

Для разминки я несколько раз взял их на прицел. Повинуясь взгляду, черное перекрестие скользнуло по глади ветрового спектролита и замерло точно на скуггере. Все действовало исправно, за доли секунды я мог поразить все, что находилось в пределах видимости, хоть крохотный бугорок на горизонте, хоть всю степь сразу. Тем не менее меня била дрожь. По опыту я знал, что это пройдет, но заранее справиться с этим ознобом мне ни разу не удавалось.

О приближении огневигов возвестило облачко. Воздушное и невинное, оно возникло на горизонте и тут же вытянулось строчкой белых барашков, словно там, вдали, парил и мчался допотопный паровоз. Гряда облаков стала быстро заволакиваться рыжеватой пылью, расти, и все это далекое, мутное, теперь уже дышащее, как хриплая громоносная труба, покатилося на нас.

Я включил инфразвуковую защиту и стронул «черепаху». Степь поплыла, колыхнулась, тесная коробка машины наполнилась сдержанным гулом мощных двигателей.

— Павел! — В наушниках плеснулся радостно-возбужденный голос Феликса. — Слушай, я, кажется, догадался! Сообщил, что такое огневики!

— Ну? — Сиденье подкинуло меня. — Ну?..

— Эх, некогда объяснять! Олухи мы, олухи... В энергии, дело в энергии! Ладно, извини, не утерпел. Поздно, действуй, все!

В наушниках щелкнуло.

Я увеличил скорость, размышлять было некогда. Черт побери, молодчина Феликс! Все будет хорошо, все и так прекрасно, если сначала Алексей, затем Феликс... Надо только побыстрей со всем этим там, на горизонте, управиться.

Там все уже было клубящимся хаосом и мутью сотен смерчей. Мы разворачивались всему этому наперерез. Инфралокалор наконец выделил семь тепловых, в разбросе друг от друга, очагов, движением взгляда я тут же перевел прицел на ближайший. Едва различимые скуггеры кружили над фронтом теперь близкого, взрывом распухающего, громоносного вала.

Цель!

Сделано, перекрестие стоит как влитое.

Максимум!

Перекрестие налилось алым светом...

Огонь!

Мысленная команда не заняла и секунды. От других эмиттеров, точно так же, как от моей «черепахи», вдаль протянулись лилово-бледные на сумрачном фоне полосы. Синхронно с неба ударили скуггеры.

Что-то ахнуло в глубинах пыли и пара, багрово засветилось внутри. Автоматика работала безупречно, плазменное лезвие

вонзилось точно в центр того сгустка, в котором скрывался огневик, и било, полосовало, рвало. Энергии было достаточно, чтобы уже минутой спустя почва там потекла лавой, но по опыту прошлого я не тешил себя надеждой. Можно было подумать, что вся эта лавина огня для противника так, освежающий ветерок. Мерзкие исчадия не знаю уж какого ада не только не разлетелись в клочья, не только не пустились наутек, а, наоборот, ринулись в атаку.

Начиналось главное — то, чего не могли сделать киберы. «Отставить автоматику! — мысленно крикнул я. — Ручное!»

Теперь держись... Тяжелее всего заставить себя ослабить луч, подпустить огневика на ближнюю дистанцию, точно подгадать, когда потребуется вся мощность, и уж тогда врезать наверняка.

Я уменьшил импульс.

Багровое, освещенное, клубящееся рванулось в зенит, надвинулось, точно прыжком. Вихрь на мгновение разорвал тучи, в просвете мелькнул кровавый шар солнца, казалось, он мечется в небесах. Все тут же скрылось. В спектролит брызнули струи песка. То был первый предвестник бури, смерча, сама такой силы, что рушились все привычные представления о возможном и невозможном. Травинка могла проколоть спектролит! Вот так, пока мы ничего не знали об огневиках, и гибли первые отряды — машины сметало, как щепки, камни таранили, казалось бы, непробиваемую броню, и ворвавшийся жар спекал все внутри.

Но теперь мы были научены. Пот заливал глаза, я не осмеливался даже моргнуть, чтобы ненароком не сбить прицел. Ослабленный импульс приманивал огневика, тут промедление означало смерть, но и поспешность была не лучше. Еще мгновение, еще... снаружи все уже было мраком и вихрем, инфралокатор готов был ослепнуть, так мы перемешали и раскалили все окружающее. Наводка скугтеров, однако, еще действовала.

— Семь, внимание! — крикнул я в эфир. — Готовлюсь!

— Пятый, слышу, — хрипло отдалось в наушниках. — Я, седьмой, готов!

— Я шестой, вас понял! Бейте!

Сжав ручку фиксатора, я до упора вогнал в почву манипуляторы. Выждал еще одну, самую долгую в своей жизни се-

кунду. По спектролиту уже чиркали камешки, молотом били по броне. Все это было пока терпимо.

— Максимум! — заорал я и в то же мгновение переместил луч со своего огневика на соседний.

То же самое сделал седьмой, стоящий через один от меня эмиттер. На этот раз, как было заранее договорено, все брали на себя мы, нечетные.

На уже близком огневике разом скрестились молнии пятого, шестого, седьмого эмиттера. В максимуме!

И огневик, как положено, взорвался.

С ним вместе, казалось, взорвался весь белый (нет, теперь уже багровый!) свет. Эх, Алексей, Алексей!.. Я слышал, как скрежещут до упора вогнанные в землю манипуляторы моей машины. Пламя снаружи, жалобный скрип металла — все это было не так существенно. Важно было немедленно, сразу, повторить маневр теперь уже с моим огневиком. Мамочки родные, да как же мне его нащупать? Прицел ослеп. Да и у соседей, должно быть, тоже.

Если бы у нас было побольше «черепак»! Как все было бы спокойно и просто при трехкратном превосходстве... Кто мог, однако, предполагать, что эти уникальные, предназначенные для далеких и трудных планет машины потребуются на Земле, да еще в таком количестве?!

Я бил вслепую, вгонял луч туда, где, по моим расчетам, должен был находиться огневик. Не легче приходилось соседям, правда, им-то угрожала меньшая опасность, ведь с их противниками уже было покончено. Никакая автоматика тут уже не могла помочь, надо было чувствовать соседа, угадывать движение его луча, чтобы одновременно могли сложиться хотя бы два импульса. Хотя бы два! Чтобы точка в точку... Киберы этого не могли, в их бессилии мы убедились еще в первом сражении, когда все наивно полагали, что с огневиками можно расправиться, сидя в безопасности перед обзорным экраном и подавая легкомысленные реплики на тему, с кем, мол, связались безмозглые твари...

Теперь от проворства и интуиции друзей зависела моя жизнь. Я бил и бил лучом, если что и ощущая, то скользкий бег мгновений, каждое из которых десятикратно умножало опас-

ность. Все остальное — тяжелое колыхание вцепившейся в землю «черепахи», звон в ушах, полыхающий за перекрестием ад — было лишь фоном. Кто-то помимо меня оценивал стремительные — нет, безмерно долгие! — секунды. Эта еще безопасна, и эта, и эта...

Я ждал, что очередная секунда грянет взрывом, который встряхнет машину, как погремушку, оторвет, покатит, я повисну на ремнях вниз головой, и это будет последнее, что я запомню. Предвестником ожидаемого просвистел пробивший спектролит камешек. Щеку обожгла струя горячего воздуха, глаза заслезились. Теперь от меня уже мало что зависело, мое дело было, ни на что невзирая, бить лучом в крутящуюся завесу охваченного огнем мрака, что я и делал.

Все чувства так огрубели и сузились, что я не удивился, когда в просвете мелькнул силуэт другой «черепахи». Значение этого факта я оценил с бесстрастностью автомата: кто-то понял, к чему все идет, и вывел свою машину к моей, чтобы увидеть направление моего луча и подстроиться к нему. Единственное, что меня тогда поразило, и то смутно, это само перемещение машины в условиях, когда под напором вихря моя собственная едва держалась. Такое если и было возможно, то чудом. Так положиться на удачу, так сманеврировать в будущих потоках мог разве что Феликс.

Мощь наших залпов слилась.

Все побелело беспощадным запредельным светом, которого не мог смягчить никакой светофильтр. И тут же словно чья-то мягкая нога пнула мою машину. Из-под меня со стоном рванулось сиденье. Падая, я ухватился за что-то. Новый толчок, затем боль и тьма.

Очнулся я в горячей и мутной тишине. Я висел вниз головой и, тряся ею, долго не мог понять, зачем нахожусь в такой неудобной позе, — именно зачем, а не почему. Еще я никак не мог сообразить, откуда такая пылица и что за железка у меня в руке. Ах да, это обломок фиксатора, который, само собой, не был обломком тогда, когда я за него ухватился...

Все кое-как встало на свои места. Сквозь душную мглу откуда-то снизу пробивался тусклый свет аварийной лампочки. Горло словно продрали наждаком, рот полон песка. Ле-

нивое удовлетворение (все-таки прикончили огневика!) сменилось тревогой. Закончен ли бой? Цела ли машина? В порядке ли я сам?

Вроде бы да. Я неловко расстегнул ремни и сполз, вернее, плюхнулся вниз. Тело нигде не отозвалось болью, но повиновалось так, будто мускулы заменили ватой. И сознание было настолько нечетким, что я глупейшим образом попытался решить сразу три задачи: выплюнуть песок, оценить состояние «черепахи» и нашарить запор люка там, где он должен был находиться, но где его теперь не было, поскольку пол и потолок поменялись местами.

К тому же взгляд перемещался как-то рывками, не удавалось ни сосредоточиться на предмете, ни увидеть все сразу. Цепляясь за торчащую над головой спинку сиденья, я кое-как приподнялся. В висках резануло болью, однако зрение прояснилось. Внутри машины, если не считать сломанной рукоятки, все было цело. Наконец отыскался и запор донного люка. Порядок, люк не заклинило. Я отпер, с трудом подтянулся и, уже вылезая, сообразил, что поступаю опрометчиво. Кто знает, что там, снаружи?

Ничего особенного снаружи не было. Дрянь была, горячая муть, сор и пепел. Ветер резал глаза, кожу больно кололи песчинки. Все терпимо.

Все терпимо, когда проходит вялое онемение тела, когда возвращается боль, а с нею жизнь. Никаких огневиков — и жив, жив!

Отворачиваясь от жалищих порывов ветра, я спустился на опаленную землю и сделал несколько куцых, неуверенных шагов, чья затрудненность после всего пережитого меня не удивила. Я учащенно дышал воздухом гари и смерти, хватал его пересохшим ртом, я жил.

Откуда-то из ветра и мглы вынырнули две фигуры, в которых я едва признал друзей, — такими черными были их лица. Оба кинулись ко мне молча, вскрик радости был в самом их молчании, нет, не радости, скорей облегчения. И даже не так, я не сразу понял, что означало это молчание.

Они зачем-то обхватили меня за плечи, повели так, словно помогали калеке.

— Что это вы, бросьте... — начал было я, но, перехватив их взгляд, тут же усталился на свою странно подвернутую, волочащуюся ногу.

Как я мог вылезти, даже идти, ничего не заметив! Зато теперь, когда мне открылась истина, ногу пронизала такая боль, что я обвис на руках друзей. «Ну вот, — тупо шевельнулось в мыслях. — Тогда была правая, сейчас левая... Хотя нет. Тот перелом был не у меня и очень давно... Как давно? Утром же было...»

— Подождите, — сказал я, когда меня уже подтащили к машине. — Где Феликс?

— Нет Феликса, — беззвучно ответил Нгомо. — Феликс погиб.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Память лечит, и память калечит. Хотя горький смысл этой истины открывается лишь с годами, мне уже было что вспомнить даже из раннего детства. Всего однажды я перепугался до ужаса, это было на кладбище, куда я случайно забрел.

Не помню, что меня, малолетнего, туда привело. Был ослепительно солнечный, безветренный день, на белом песке дорожек лежала недвижная тень листвы, я брел без цели, ставя одну ногу в тень, другую — на солнце, чтобы босыми ногами чувствовать сразу жар и прохладу. Такая ходьба развлекала, не мешая с любопытством поглядывать по сторонам и примечать старинные из мрамора, чугуна и гранита памятники. Я знал об их назначении, знал отвлеченно, с детским снисхождением к тому, что было давно и меня не касалось. Взгляд то задерживался на необычной скульптуре, то равнодушно скользил мимо массивных постаментов, обелисков, крестов, никак не отзываясь на имена, даты и надписи, которые были выбиты на века, но уже мало что могли сказать моему поколению из-за архаики языка, каким все было написано. С куда большим вниманием я высматривал, нет ли где малинника. Вот именно! Очевидно, за этим я и забрел сюда, кто-то из приятелей уже лакомился тут, а я чем хуже? Всем известно, что нет ничего лучше ягод с куста, с ними не сравнит-

ся никакая роскошь синтетики, которая, может быть, и слаще, да не тобой добыта.

Малину я углядел, тут же свернул с аллеи в кусты и больше уже ни на что не обращал внимания. Ягода была ранняя, редкая, и, двигаясь в зарослях от добычи к добыче, я не заметил, что облик памятников изменился. Поэтому я даже отпрянул, когда из-за куста на меня вдруг глянул старик. Неподвижный, как все вокруг, он в упор смотрел на меня с постамента, не мигая, не шевелясь, пронизывал взглядом влажных выцветших глаз, и, что самое жуткое, хотя солнце светило ему в лицо, в широких и темных зрачках не было дневного блеска!

Сердце ухнуло. Не в силах бежать, я смотрел на старика, он — на меня своим неподвижным, влажным, таким нечеловеческим взглядом. Конечно, я знал, что такое голография и что такое голографическая скульптура. Но прошла не одна секунда, прежде чем я понял: этого старика нет ни среди живых, ни среди мертвых, это лишь образ когда-то бывшего человека, бесплотная реальность, тень, фантом.

Я попятился, не сводя с него взгляда, точно он мог броситься за мной и настичь. Наконец его скрыли кусты.

Но тогда стали видны другие фантомы. Я был окружен ими. Большие и маленькие, так похожие на людей, они многолико смотрели из-за кустов, такие же безмолвные и неподвижные, как застывшее в небе солнце. Меня обступала мертвенность. Она была в сухом блеске песка, в неподвижности теней, в раз и навсегда замершем взгляде, каким смотрели на людей нелюди, в самом воздухе, которым я дышал.

Я не закричал, не мог.

Избавлением донесся звонкий детский смех. Смеялись неподалеку, совсем рядом. Я ринулся к этому смеху, помчался, не разбирая дороги, тем более не догадываясь, что меня ждет.

Смех оборвался, когда я приблизился и замер на краю поляны.

Тут засветка. Память отказывается воспроизвести то мгновение, его я могу реконструировать лишь по схожим, более поздним впечатлениям. Так я снова вижу солнечный прогал поляны. Посередине замерла девочка в белом платье, ее беззвучно смеющееся лицо обращено ко мне вполоборота, бело-

зубый рот приоткрыт. Поодаль — скамья, там женщина с окаменелым лицом. Вдруг смех! Девочка срывается с плиты, на которой стояла, раскинув руки, бежит к женщине...

Бежит, не оставляя на песке следов.

Это мать позвала своего ребенка...

Память недаром отбрасывает эту сцену. Наука сделала возможным некогда, казалось бы, невероятное. Чего проще установить на могиле аппарат воспроизведения давно снятого мгновения жизни, заставить изображение ребенка бежать и смеяться, как он бежал и смеялся в тот счастливый день! Технически все несложно. Но как непостижимо, как странно, надрывно такое желание матери... Пусть всего одной из миллиона. А может быть, не так уж странно? Ужасно, самоубийственно, но не странно? Перед этой загадкой отступили психологи. Не помог и порыв общественного осуждения: кое-кто все равно продолжал ставить и такие памятники. Что ж... Право матери свято. Даже такое.

К чему это вспомнилось?

Мы распоряжаемся памятью, но и она распоряжается нами. Особенно ночью, когда сна нет, когда ты один, когда в мире нехорошо, когда смерть настигает твоих близких, а ты никому ничем не можешь помочь и, более того, обречен на бездействие.

Зря я отсыпался целые сутки, теперь сон не идет, а память похожа на минное поле. Невозможно не думать о Феликсе, но это невольно тянет за собой память о Снежке, о многих и многих, вплоть до той неизвестной мне девочки, чей призрак бежал тогда по кладбищу. От окна дует, за ним холодный и плотный мрак. И тишина.

В руке палка, шаг, шаг, еще шаг... Нога успела срастись и уже повинуется, ее надо разминать. Это болезненно, и это хорошо, потому что перебивает непрошенные мысли. Мы с детства росли в убеждении, что товарищество — одна из высших ценностей жизни. Детский, затем юношеский опыт подтверждал это на каждом шагу, только он умалчивал о другом: чем шире круг дружбы, тем вероятней потери, а каждая из них — горе.

Юности это невдомек, сколько бы о том ни писали, ни говорили старшие. Слова и книги подобны каплям и струям

дождя, без них ничто не взойдет, но и они бесполезны, если в почву не заброшены семена, а их сеятель — это жизнь. Пока я сам не потерял Снежку...

Нет, об этом сейчас нельзя! Нельзя расслабляться, плакать нельзя, утром ты должен быть свеж и бодр, потому что утром снова борьба, нужны все до последнего силы, переживания их только убавят.

Убавят ли? Не знаю, не знаю! Память о Снежке, память о Феликсе мучительны, как раскаленное железо, это я знаю и стараюсь думать о другом. О том, успеют ли к утру починить мою «черепашу», залечится ли нога, кого теперь надо избрать вместо Феликса...

Опять!

Почему гомеровские герои могли рыдать и рыдали, а мы себе это запрещаем? Другие заботы? Или другая ответственность? Ах, да не все ли равно...

Так я ковылял от окна, из которого дуло холодом ночи, к изголовью кровати, к кругу света на нем, и мысли подчинялись этому ходу, но так не могло длиться до бесконечности, ноге надо было дать отдых. А стоит лечь и закрыть глаза...

Присев, я уже в который раз включаю информ.

Что изменилось за последний час? От натиска моря удалось отстоять Бангкок (это я уже слышал, все равно молодцы). На Мадагаскаре внезапно выпал снег (бедняги лемуры, сейчас, увы, не до вас...). В малоазиатском анклав попавшие в наше время крестоносцы помолились богу (еще бы, ночь вдруг сменилась днем!) и продолжают резаться с мусульманами (спятили они, что ли?). На юге Африки динозавр смог преодолеть силовой барьер, но был вовремя оттеснен в свой мезозой...

И по-прежнему никаких известий о новых хроноклазмах. Уже сутки как тихо. Самое приятное, что можно услышать! Может быть, прав Алексей? Ведь если дело в резонансе, то колебания постепенно должны затухать. А если те сутки, что я провалялся, прошли спокойно, то это, возможно, свидетельствует...

Увы, это пока ни о чем не свидетельствует, такие дни бывали и раньше.

Я дослушал передачу и выключил информ. Больше дел нет. Выскользнуть наружу, долететь до ангара, помочь ребятам с

ремонт? Прогонят. Мое дело выполнять врачебные предписания. Выздоровливать. Покой, отдых и сон.

В окно застучал дождь. Смолк. Я встал. Будь что будет, мне нужно дело, и оно у меня есть. В конце концов, это тоже мой долг, надо только решиться. А, ничего! Ходить, в сущности, не придется, быстренько обернусь туда и сюда, тем более что другой возможности у меня, скорей всего, не будет. Как я сразу об этом не подумал!

Я быстро собрал сумку, натянул на себя походную амуницию, потуже затянул капюшон, раскрыл окно.

Ветер гнул и раскачивал едва различимые в темноте ветви деревьев, гулко ходил в их вершинах, плескался дождем. Где-то рядом мокрые листья шуршали о стену замка. Я дал глазам привыкнуть, учел поправку на ветер и, чтобы не задеть близкое дерево, взмыл вверх. Резкий порыв ветра попытался прижать меня к стене, но это ему не удалось. Огоньки окон отклонились в сторону и ушли вниз, под ногами мелькнули зубцы башен. Завершив этот маневр, я тут же нырнул и полого прошел над смутной массой деревьев парка. Высь меня не манила: чтобы не привлекать внимания, я заранее выключил маяк-ответчик, и теперь следовало избегать трасс, которыми мог воспользоваться любой реалет.

Бреющий полет в темноте — не самое приятное занятие, зато никаких посторонних мыслей тут быть не может, а этого я и хотел. Лицо нахлестывал дождь, тело ласточкой рассекало воздух, всякая минута требовала предельного внимания, и лучшего сейчас быть не могло. За рельефом земли следил сблокированный с расчетчиком локатор, я заведомо не мог врезаться ни в холм, ни в здание, но кроны деревьев давали размытый сигнал, тут приходилось полагаться на инфракрасную оптику и быть настороже. Особенно из-за шквалистого ветра, порывам которого надо было противостоять. Конечно, я уже мог включить ответчик и уйти в вышину, благо поодаль от замка никто ни о чем не стал бы расспрашивать, но толика сумасшедшинки и риска иногда полезней благоразумия.

Почему-то я ничуть не боялся сбиться с пути, хотя на бреющем полете, ночью, это вполне возможно. Мне нравилось лететь именно так, спорить с непогодой, а то и судьбой. Не

знаю, почему я был так уверен в себе. Можно назвать это интуицией или озарением, только каждый рано или поздно чувствует в себе некую подсказку, которая, если ей довериться, не хуже компаса ведет к цели. Причем, самое странное, не обязательно к той, к которой человек устремился бы, знай он все наперед.

Разгоряченный полетом, я опустился возле пещеры и по инерции шагнул так, словно кто-то другой еще час назад ковылял с палочкой от окна к кровати. Нога тут же напомнила о себе, и это меня отрезвило. Щебень у входа был мокрым и скользким, я зажег фонарь. Тьма раздалась, отпрыгнула в глубь пещеры, в ярком конусе света забелели острые сколы щебня, проступил серый известняк холма, выделилась темная зелень редких пучков травы. Не только дыхание, но и одежда курились паром. Пригнувшись и выставив вперед фонарь, я протиснулся в пещеру. Захлюпала грязь, на стенах вдоль трещин заблестели капли. Вот это новость! То, что я посчитал сухим и надежным убежищем, первый же дождь превратил в грязную и сырую нору.

Девушка, очевидно, спала. Внезапный и резкий свет заставил ее привскочить; в расширенных зрачках метнулся красноватый отблеск, какой изредка бывает и у людей. Но сейчас на меня смотрел именно звереныш, сжавшийся, насмерть перепуганный, готовый отчаянно драться, ощерившийся.

— Не бойся, это же я, — кляня себя за поспешность, сказал я как можно мягче.

Голос она, похоже, узнала; зрачки сузились, впились в мое лицо, огоньки в них погасли. И это все, чего я добился. Тот же оскал готовых рвать и кромсать зубов, худое угловатое тело напряжено, как перед прыжком, в правой руке зажат камень, который она готова метнуть, и только это, пожалуй, в ней человечье. Нет, еще выражение страха. Еще бы! Чем мог быть для первобытного человека внезапно и ярко озаривший пещеру свет, что он должен был подумать при виде черно и смутно выросшей за ним фигуры? Такое, да еще спросонья, могло насмерть перепугать даже философа не столь далеких веков.

Я поспешил сорвать очки, убавил свет, отключил терморегуляцию, чтобы одежда перестала куриться паром, отступил на шаг, давая девушке время опомниться и узнать меня.

— Ну вот, ты взглядишь, никакой я не бог, не дух, не оборотень, такой же, как и ты, человек, не надо меня бояться, не надо... Ты меня узнаешь, узнаешь?

Я говорил без остановки, спокойно, важны были не слова, которых она, разумеется, не понимала. В тот раз все было куда проще! Кем я был для этого существа теперь? Божеством? Нет, понятия бога эти люди, кажется, еще не выработали. Злым, явившимся из темноты духом? Призраком ночи? Кем-то еще?

Праздный, в общем, вопрос. Она для меня была и осталась человеком, а я, бьющий врагов молниями, летающий и повелевающий светом, был для нее, надо думать, чем-то потусторонним. И ладно, мне от нее ничего не нужно. Накормлю, подлечу, а уж как выглядит человек одной эпохи в глазах своих далеких предков, пусть этой проблемой терзаются историки.

Звук моего голоса наконец дошел до нее. Лицо смягчилось, оскал исчез, зверька больше не было, но, хоть убей, я не мог понять ни одной ее мысли! Пульс у нее был бешеный, я видел, как под кожей ходят ребра, как вздрагивает грудь, как вся она напряжена, но это смятение чувств никак не отражалось на замурзанном, осунувшемся лице, вернее, отражалось нечитаемо.

Сколько времени так прошло? Дыхание девушки выровнялось, стиснувшая камень рука разжалась, взгляд расширенных глаз ушел внутрь, они угрюмо и темно отражали свет. Казалось, она свыклась со мной, как перепуганный котенок свыкается с присутствием нового хозяина. Что ж, этого достаточно...

Продолжая говорить, я шагнул к ней. Мне казалось, что я готов ко всему. К тому, что она сожмется в комочек или внезапно полоснет мою руку ногтями или, наоборот, распластается ниц. Но к тому, что произошло в действительности, я оказался не более подготовленным, чем она к моему светозарному появлению в пещере.

При первом же моем шаге ее взгляд метнулся удивлением. Забыв обо всем, она в недоумении уставилась на мою поврежденную ногу.

Хромота! Ее поразила моя хромающая походка. Но почему?

Я остановился в растерянности. Теперь она смотрела на меня так, будто силилась что-то понять или вспомнить. Ее взгляд уже не был ни взглядом попавшего в ловушку звереныша, ни темно-непроницаемым взглядом грязнолицего сфинкса, это был взгляд человека, который срочно должен решить что-то очень и очень важное для себя.

— Хо'ошая...

Хотя я отчетливо видел движение ее губ, до меня не сразу дошло, что я слышу ее голос, а не эхо собственных слов.

Наконец истина проникла в сознание.

— Что? Что ты сказала?

— Хо'ошая... Эя хо'ошая... — Она ткнула себя в грудь. — Хо'ошая, — повторила она.

Но теперь ее палец указывал на меня!

Все перевернулось. Теперь она владела собой, тогда как я... Летающий, повелевающий и все такое прочее, я стоял с разинутым ртом.

— Ты... ты говоришь по-нашему?!

— Хо'ошая, — повторила она мне как неразумному. — Эя хо'ошая...

По-детски оттопырив губу, она тронула больную ногу, затем показала на мою и гримасой изобразила боль.

— Нет хо'ошая... Нет хо'ошая...

Я так и сел. Куда лингвасцету до этой замурзанной пещерной девчонки! С какой быстротой она усвоила слова и сопоставила факты! Десять—пятнадцать минут — и такие успехи! Что это — норма того времени или мне встретился гений? Кто из нас смог бы на ее месте так быстро разобраться в ситуации? Вероятно, никто.

— Павел. — Я ткнул себя в грудь.

— Авел, — повторила она. — Авел хо'ошая. Эя хо'ошая.

Она улыбалась, она была довольна. Она признала во мне человека — вот что самое поразительное.

— Нога. — Я повторил ее жест и воспроизвел ту же гримасу.

— Но-а... — Некоторые звуки давались ей с трудом, она добавила что-то по-своему.

— Говори, говори еще! — Досадуя на молчащий лингвасцет, я тщетно пытался уловить смысл ее слов.

Нет, просьбы она не поняла и замолкла. Но это уже не имело значения. Я торопливо отстегнул сумку и протянул ей. Она, не церемонясь, вцепилась в протянутое обеими руками, фыркнула, как котенок, от резкого и непонятного запаха специй, переломила брикет и, не срывая обертки, впиалась в него зубами.

— Да подожди ты! — вскричал я и попытался стянуть обертку, но она лишь поспешней заглотнула кусок, ее зубы предостерегающе шелкнули.

Столь мгновенный переход снова к дикости меня отрезвил и смутил. Пожирая мясо, она только что не рычала. Но успокоилась, едва я убрал руку.

А я-то было вообразил! Как все же одно могло согласоваться с другим? Феноменальная понятливость и... Впрочем, о чем говорить: далекие предки этой девочки оставили нам в наследие великое искусство пещерной живописи, ее современники умели неплохо считать, но, судя по раскопкам, спали среди кухонных отходов. Подавая тюбик с какой-то пастой, я предусмотрительно свинтил крышку и показал, как им надо пользоваться, но это не помогло, — она вгрызлась в него, как в кость, и лишь слегка удивилась, когда содержимое брызнуло ей в лицо. Она тут же слизнула все и отбросила изжеванные останки тюбика. Зато она прекрасно знала, как поступить с фляжкой, и запрокинула ее тем же движением, что и любой из нас. Отталкивающего, неопрятного в ней было не больше, чем в проголодавшемся зверьке, но теперь я легко мог представить ее разрывающей кролика и пьющей теплую кровь.

И это существо только что говорило на моем языке!

Сырая и тесная пещера, белый свет электричества, глухая тьма позади, спутанные волосы девочки падают ей на лицо, такое похожее на лица девушек нашего века и такое чуждое мне, когда она рвет и заглатывает пищу, — где я сам, в каком времени? И в каком времени эта худая мускулистая голышка, в чьих глазах то возникают, то пропадают мрачно-красноватые огоньки? Дите, которое только что лепетало слова моего века и тут же ушло, отдалилось, исчезло, хотя по-прежнему могу коснуться его рукой и в ответ, верно, услышу, что мы оба хорошие и у обоих плохо с ногой. Или ответом на прикосновение будет царапающий взмах руки, лязг острых зубов?

Нет, подумал я, ее слова не должны обольщать, они лишь эхо моих собственных. Так говорить мог бы и попугай. Ну, не совсем попугай, однако доброе отношение и ему понятно, а здесь все-таки разум. Или он тоже иллюзия? Иллюзия, вызванная точно таким же, как в наши дни, сложением тела, сходством черт лица?

«Человек разумный». Так нас впервые определил Карл Линней. Меня, Алексея, Снежку, Эю — всех. Но его определение имело окончание: «человек разумный, познай самого себя...»

— Нет, ты совсем другая, — вырвалось у меня. — Может быть, ты прапрабабушка Снежки, но ты даже не ее сестра... И нечего себя обманывать.

Эя посмотрела на меня ничего не выражающим взглядом, удовлетворенно облизала губы.

— Пить, есть — хо'ошо... Авел хо'ошая. Снеш-шка хо'ошая.

— Да, конечно, — согласился я с горечью. — Снежка хорошая, только не повторяй все, как магнитофон!

Мое раздражение ее, кажется, удивило. Похоже, она ждала другого, взгляд дрогнул недоумением, руки задвигались, как у ребенка, который в чем-то просчитался и снова силится как можно лучше все втолковать.

— Эя хо'ошая! Снеш-шка хо'ошая! Эя Снеш-шка — друзья!

Пещера вдруг сузилась, душно сдавила меня, на мгновение я онемел, оглох и ослеп.

Эя и Снежка — друзья?

Все поплыло перед глазами.

Так, но совсем по-другому бывало, когда я встречался со Снежкой. Все, что не было ею, теряло тогда отчетливость, размывалось, оставалось только ее лицо, всегда подвижное, недосказанное, как живой бег ручья, как солнечный на нем свет. И такое же неуловимое, желанное, близкое, когда она, притихнув, вслушивалась в мой голос, или одной ей известным знаком приманивала с дерева белку, или, задумчиво вслушиваясь в чей-то спор, внезапно проясняла его одним словом, или, кинув на меня вопросительный взгляд — можно ли? — разом превращалась в сорванца, которому нипочем на виду у всех пуститься наперегонки с жеребенком, ласточкой уйти в воду с обрыва, чтобы, выложив все силы в рывке, в преодоле-

нии, в смехе, обессиленно откинуться на спину, уйти в себя, в свои мысли, словно вокруг нет никого и я, ее верный спутник, столь же далек, как невидимая в дневном небе звезда.

Такой она была... Неизменным в ней была лишь верность самой себе. Та самосвобода, та открытость души, которую я больше не встречал ни в ком, она-то и делала наши отношения такими наполненными. И строгими. Настолько, что когда во мне все немело от ее доверчивой близости, от обморочной жажды ее смеющихся губ, я не мог сделать последнего движения, таким грубым и невозможным оно казалось. Посвягательным на ее свободу, на непосредственность каждого ее движения, взгляда, слова. Ей, а не мне пришлось сказать первое слово любви. Она сделала это так же естественно и просто, как жила, как дышала, и все, что было после этого, стало новым счастьем и новым узнаванием — и поцелуй, от которого мы оба задохнулись, и еж, который некстати запыхтел у наших ног, и смех, который нас обессилил, и бег без оглядки, и обжигающее соприкосновение тел, объятия, в которых мы блаженно умирали и воскресали. Но и тогда, после всех дней и ночей, когда нас ничто не разделяло, у меня, после самой короткой разлуки, при взгляде на Снежку все так же кружилась голова, и первое мое прикосновение к ней было робким, точно мы еще не знали друг друга, будто все начиналось впервые и каждый из нас боялся испугнуть любовь.

Было ли это только любовью или также предчувствием, что нам недолго быть вместе? Снежка пропала в первый день катастрофы. Все, что окружало ее, провалилось, исчезло, смешалось с другим временем, другим небом, другой землей, которая могла быть и за столетие, и за миллиард лет до нашей любви. Какая разница — оттуда никто не возвращался. Что ждало ее там? Сколько раз я представлял ее задыхающейся на берегу архейского моря, умирающей в пасти чудовища, проданной в рабство неизвестно где и кому! Орфей хоть знал, где его возлюбленная, какой ад ее поглотил, у меня не было и такого утешения.

— Что ты сказала?! Что ты сказала?!

Вне себя я кинулся к Эе. Но остановился на полдороге. Чего я от нее хотел? Она сжалась и онемела. С минуту мы дико

смотрели друг на друга. Затем в ее глазах мелькнула какая-то мысль. Казалось, она пытается угадать, что мне надо. Это? Неуверенным движением она протянула мне недоеденный сухарь. Это? Последовала фляжка. Может быть, это? Она откинулась навзничь.

— Нет. — Я отпрянул. — Нет, нет...

Она снова сжалась в комочек, по ее телу прошла дрожь. Испуг? Нет. Она все время дрожала, я мог бы заметить это и раньше. Это мое лицо покрывал лихорадочный пот, а ей было зябко в промозглой пещере, холодно, темно и страшно.

— Успокойся... — пробормотал я. — Успокойся...

То же самое я мог бы сказать себе.

Ее веки дрогнули. Подтянув колени, она свернулась клубочком, только мерцающий взгляд выдавал в ней жизнь. Дрожь унялась, теперь ей было хорошо. Она поела, сытость разлилась по телу теплом, очередная опасность, похоже, миновала, я был рядом, снова заботливый, — много ли человеку надо?

— Снежка и Павел — друзья, — сказал я тихо.

Она не отозвалась. Ее клонило в сон, она уже была почти во сне, но не спускала с меня полуоткрытых глаз, чтобы в мгновение ока снова быть готовой ко всему, что возможно в этом неверном и непонятном мире.

Кого она все-таки видела во мне? А, какая разница! Ее желания были просты и бесхитростны, как сама ее жизнь. Еда. Тепло. Племя. Мужчина.

Теперь меня бил озноб, свет фонаря дрожал тенями. «Пить, есть, хорошая...» — произнесенное там, за тысячелетиями, еще звучало здесь, в этой промозглой пещере. Теперь я знал, что со Снежкой, знал, где она, но это знание было хуже незнания. Сама ли она пришла к соплеменникам Эи или ее приволокли, в жадном любопытстве срывая с нее диковинную одежду? Намеренная жестокость, возможно, чужда тем людям, но сам их мир беспощаден и груб. Моя Снежка была в нем добычей, пленницей, вещью, ничем, такой ее швырнули к костру.

Нет! Я зажмурился, во мне все обмерло. Нет! Снежка жива, жива, это главное. Ей плохо, может быть, голодно, холодно, но она жива. Она сильная, она терпит все, вынесет все...

Все, кроме унижения. Лишний рот никому не нужен, и как бы те люди ни относились вначале к своей невиданной добыче, она должна стать двужильной работницей, чьей-то женой, а не захочет — принудят. Станут учить покорности, ткнут кулаком в лицо, отдадут старухам на воспитание, разложат под ремнем или что у них там в обиходе, все без зла и без сострадания, единственно потому, что в том времени человек принадлежит не себе, а роду. Первое же несогласие, случайный просчет, робкое возмущение — и жесткая рука хватается Снежку за волосы, пригибает к земле, воспитующе бьет, а там хоть грызи облезлую шкуру, в которую уткнули лицом, сопротивляйся и плачь, никто уже не поможет.

Видение было столь отчетливым, что пальцы сами собой сжались в кулак, ухватили, стиснули что-то твердое и холодное — рифленую рукоятку разрядника.

Я отдернул руку, точно ее обожгло. Этого не хватало! Эя, подскочив, смотрела на меня обеспокоенным взглядом. Я заставил себя улыбнуться, хотя мускулы лица повиновались как замороженные. Меня колотила дрожь.

Но то была уже дрожь облегчения. Что я, в сущности, знал о том времени? О тех людях? Наверное, все не так, конечно, конечно, не так! Сломленная, униженная Снежка не могла внушить Эе слова дружбы, которые, как я убедился, одинаково звучали в том и в этом мире. Только ли ради самосохранения она это сделала или тут был дальний расчет? Сюда они дошли как пароль, вряд ли то было случайностью. Нет, нет! Снежка не отчаивалась, там она верила, что время преодолимо, само время!

А разве не так?

Два шага отделяло меня от девушки, которая состарилась, умерла, истлела за десятки веков до моего рождения, но которая тем не менее жива здесь и теперь гладит поврежденную ногу той же рукой, что совсем недавно касалась руки Снежки.

Время не распалось, наоборот.

Так почему же мы видим в происходящем лишь катастрофу?

Если бы Эю в компании с Аристотелем вдруг зашвырнуло бы в космическую невесомость, то и девочка каменного века, и мудрец, верно, решили бы, что мир сошел с ума. Ни верха, ни низа, ни тяжести! Полное опровержение опыта всех

поколений, крах представлений о природе вещей. Эя еще могла бы все приписать колдовству и на том успокоиться, но какво Аристотелю с его продуманной схемой миропорядка, с точным, как он полагал, представлением о возможном и невозможном? Невесомость, скорей всего, показалась бы ему таким ниспровержением законов реальности, что он скорей признал бы свое сумасшествие, чем истину.

Феликс был прав. На все, от блохи до галактики, мы смотрим сквозь фильтры наших представлений и наших эмоций, тут ничего не изменилось и, верно, не изменится. Время столь же сокровенно, как и пространство, в нем то же обилие, казалось бы, фантастического. Предполагая это, зная это, даже столкнувшись с этим, мы тем не менее первым делом отшатываемся и заслоняемся. Глупо. Назад пути нет, только вперед. Даже если настоящее рухнет, взамен мы получим вечность, ибо коль скоро открылся переход в прошлое, человечество сумеет расселиться во времени, оно освоит его, как уже освоило пространство, создаст новую, пока непредставимую цивилизацию. Не оттого ли молчат звезды, что другие разумы Вселенной опередили нас на этом пути и надо их искать не в пространстве, а во времени?

Быть может, голос Снежки, который так неожиданно прозвучал здесь, в пещере, первая весть оттуда, из нашего будущего?.. У нее нет шанса вернуться, но мы-то можем к ней прийти. Рано или поздно мы обуздаем время, как обуздали энергию, и тогда... Тогда мне до Снежки будут те же два шага, что и до Эи. Пусть она становится женщиной племени, пусть рождает детей, пусть старится, умирает, все равно когда-нибудь я смогу обнять ее, теперешнюю. Это не укладывается в сознании, но мало ли что в нем не укладывается! Все будет так, если мои предположения не бред и если мы справимся с трудностями.

Как странно, но, может быть, прозорливо сказал какой-то древний поэт: «Мы все уж умерли где-то давно, все мы еще не родились...»

— Эя, — тихо позвал я девушку. — Пошли. Надо вылечить твою ногу, надо еще о многом поговорить. Ведь твой мир, пока мы здесь, будет добр к Снежке, а? Наш мир, так получилось, был неприветлив к тебе, но все изменится, вот увидишь. Не бойся...

ГЛАВА ПЯТАЯ

Визор Алексея не отвечал, не было даже сигнала соединения. Это означало, что Алексей либо спит, либо работает. В том и другом случае его нельзя было беспокоить иначе как по неотложному делу. Но я не мог ждать утра, да и первое известие о судьбе исчезнувших во времени кого угодно должно было поднять на ноги.

Прихрамывая, я спешил по гулкому пустынному сейчас коридору, где серыми мышами сновали киберуборщики. Эти проворные, днем незаметные крохи залазили в каждую щель, урча, всасывали в себя всякий сор, в их домашней суетне была спокойная деловитость раз и навсегда заведенного порядка, который поддерживался до нас и будет поддерживаться после нас, а уж шваброй ли домохозяйки или оптронным механизмом, не столь суть важно. Что было, то и будет, словно говорил их вид, а уж на Земле, или под другими солнцами, или в ином времени, это вы как хотите, без нас вам нигде не обойтись. И они были правы.

— Брысь! — сказал я всей этой мелкоте и приотворил нужную мне дверь.

М-м...

В комнате приглашающе горел свет, его даже было слишком много, однако мне стоило труда заставить себя войти, и, как ни велико было нетерпение, сделал я это не без колебаний. Причина была в Алексее. Он сидел, закрыв глаза и отвалившись в кресле, но это был не отдых, не сон, нечто противоположное. И для постороннего жутковатое. Меловые щеки Алексея запали так, что проступили кости лица, веки подрагивали, не разжимаясь, по волосам, ставя их дыбом, время от времени словно прохаживалась незримая расческа. Иногда лицо оживало, руки сомнамбулическим движением касались клавиатуры настольного расчетчика, и тогда все взрывалось — мучительно кривились губы, пальцы бешено принимались отстукивать текст, с тихим жужжанием крутилась приемная катушка мегафона, змеей вилась и опадала на пол бесконечная, усеянная зерном цифр и символов, лента, — и все это при мертвеном неучастии закрытых глаз. Не лучше было тихое удовлетво-

рение, которое порой разливалось по этому бледному и вспотевшему лицу.

Смотреть на человека в таком состоянии тяжело, даже страшно. Я обошел неподвижное тело Алексея и, стараясь не замечать на висках черных присосков, склонился над лентой. В ней почти все было для меня тарабарщиной. Но я и не пытался вникнуть в смысл, мне важно было узнать, скоро ли Алексей выйдет из прострации. Судя по длине ленты, ждать оставалось недолго, впрочем, тут легко было ошибиться.

Я тихонько прошел на кухню. Медитация требовала таких сил, что за время сеанса человек запросто мог потерять килограмма два веса, и тогда еды требовалось ему не меньше, чем удаву. Его должен ждать накрытый стол и дымящийся кофе и витакрин, по крайней мере все это должно быть наготове. Конечно, он ни о чем таком не побеспокоился!

«Вот и хорошо, — подумал я. — Накормлю, а там посмотрим. Загоню отсыпаться или... Так и так выходит, что я не зря пришел».

Не торопясь, я поколдовал над программой, припомнил все любимые Алексеем блюда, особо налег на тонизаторы, на всякий случай заказал вино, проверил, достаточно ли в аппарате белковой массы. К счастью, ее оказалось достаточно. Синтезатор принял программу, весело замигал огоньками, больше мне здесь делать было нечего. Я вернулся к Алексею.

Все то же, никаких изменений. Судя по всему, Алексей вошел в глубочайшее, какое только возможно, сосредоточение. Со сколькими он сейчас сомыслил одновременно? С десятками, сотнями, тысячами таких же, как он, теоретиков? Или он вышел на связь со всем человечеством сразу?

Нет, это маловероятно, человечеству сейчас не до абстракций, хотя от них, может быть, зависит все. Да и я что-нибудь чувствовал бы, ведь я тоже часть человечества. Исключено, исключено! Не тот случай, чтобы решать все сообща; квантовая хронодинамика не та область, где у таких, как я, может блеснуть идея. Вот так, уважаемый «гомо сапиенс» образца третьего тысячелетия: здесь от тебя пользы не больше, чем от пещерной девочки, — не тот склад ума, не те интересы, не та подготовка. Накрыть, что ли, стол или подождать?

По бледному, с пергаментным отливом, лицу Алексея все чаще разливалось удовлетворение, грудь вздымалась, точно он шел в гору, к вспотевшему лбу прилип клочок рыжих волос. О чем он думал сейчас, что представлялось ему, чему он радовался? Я, как и всякий, знал, что такое медитация, совместный «мозговой штурм» тысяч, миллионов, а если надо, то и миллиардов людей, меня учили выходить на связь, брать на себя часть нагрузки, я не раз слышал зов «малого», «среднего» и даже всеобщего сбора, включался, когда была возможность, но чтобы вот так... Чтобы самому послать вызов, стать центром, как это сделал Алексей, войти в такое сосредоточение — нет, от одной этой мысли мне становилось не по себе. Даже подумать об этом было страшно. Шутка ли, войти в резонанс с мыслями стольких людей, подключить к этому сверхразуму еще и машины, да не просто войти, не просто подключить и подключиться, а стать дирижером мозговой бури, управлять ею! Даже частичное погружение в этот транс, вихрь, уж не знаю что, оставило во мне впечатление бездны, куда падаешь, теряя себя, и где взамен находишь что-то огромное, надчеловеческое, чему и названия нет. Уф! Замечательно, нужно — и все-таки хочется быть подальше...

Стоять возле Алексея — и то обдавало нервной дрожью. Я отвернулся и стал накрывать на стол. На Алексея я больше не смотрел. Хотя что тут такого? Люди всегда мыслили коллективно, и открытия таких гениев, как Ньютон, Эйнштейн, Пекарев или Риплацони, никогда не были результатом только их идей, они всегда аккумулировали мысль современников и предшественников, замыкали на себя информационное поле планеты, сгущая и доводя его до ослепительной вспышки прозрения. Тот самый эффект сомышления, который разных, внешне, казалось бы, никак не связанных людей одновременно приводил к схожим открытиям, изобретениям и теориям, как это было с Ползуновым и Уаттом, Лобачевским и Бойяйи, Дарвином и Уоллесом, Флобером и Бальзаком (последние, независимо друг от друга, однажды написали удивительно похожие главы — и это в самом что ни на есть индивидуальном виде творчества!). «Фиалки расцветают одновременно» — так говорили об этом раньше. Мы лишь усовершенствовали то,

что было. Но с каким результатом! По мнению Фазты и некоторых других историков, именно это открытие окончательно торпедировало старый мир. Не знаю, не уверен, есть и другие точки зрения. Но, надо полагать, и в этой гипотезе имелась толика правды. Миллиарды людей на всех континентах хотели одного и того же — мира, справедливости и свободы. Когда эти желания, мысли и устремления, прежде разобщенные, одиночно вспыхивающие, благодаря медитации слились и усилились, как свет в кристалле лазера, то, судя по архивным свидетельствам, сознание тех, кто противостоял желаниям человечества, было опалено психическим шоком. Та эпидемия внезапных самоубийств, душевных кризисов, панического бегства от дел, которая затем разразилась, вряд ли была случайностью, уж слишком все совпадало во времени, слишком схожими оказались жертвы. Гнев народов как бы овеществился, и эта сила не промахнулась.

Чашка, которую я только что поставил перед Алексеем, вдруг стронулась и мелко задребезжала о блюдец. Утихла... Снова задребезжала — сильнее. Под ногами мягко качнулся пол. Ухватившись за край стола, я воззрился на чашку, словно мог так удержать ее взглядом, а вместе с ней — весь дрогнувший и накренившийся мир.

Замерло, обошлось; не хроноклазм, всего лишь далекий отзвук землетрясения...

Тем не менее еще с секунду я, как загипнотизированный, следил за уже неподвижной чашкой. Затем, распрямившись, с надеждой и тревогой перевел взгляд на мерно ползущую из-под руки Алексея ленту. Что сулило ее движение? Таился ли в этих черных значках приговор всему? Или, наоборот, они возвещали спасение? Ради пустяков в медитацию не входят. Мелькавшее на лице Алексея удовлетворение означало только одно: найдено интересное решение. Оно одинаково могло означать и победу, и скорый конец света; для теоретика, да еще в состоянии медитации, важна истина, только истина, ничего, кроме истины.

Этому поиску в нем подчинено все, даже эмоции.

Если бы только это! Костлявой маской — вот чем стало лицо Алексея. Он сжигал себя, видимо, иначе было нельзя. Сердце сжималось, но мог ли я вмешаться? Он бы убил меня. Не-

даром он отключил наручный диагностер, который в случае чего обязательно подал бы сигнал тревоги; отключил, чтобы сюда не прибежали врачи и не прервали сеанс. Другой вопрос, как он это умудрился сделать, ведь диагностер нельзя выключить без того, чтобы в радиусе нескольких километров у всех медиков не поднялся бы переполох. Видимо, Алексею тут пришлось решить кое-какую дополнительную задачу. Или он это сделал давно? Скорей всего, так...

Конечно, я все равно сорвал бы с него эти черные, на висках, присоски, если бы промедление грозило очевидной опасностью. Меня подмывало это сделать, но такой опасности не было, уж настолько я в медицине разбирался, мог определить, когда надо вмешаться. Еще минут пять—десять можно было потерпеть. К этому времени Алексей или проснется, или придется вмешаться. Все-таки безобразно вот так, отключив диагностер, никого не предупредив... И так похоже на Алексея. Впрочем, кто сейчас не рисковал жизнью?

Вздохнув, я поплелся на кухню.

Там все аппетитно скворчало, томилось в духовке или леденело в холодильнике. Я выключил синтезатор, положил на тарелки всего побольше, налил напитки, попробовал — нормально. На это ушло минуты три. Пора!

Я угадал. Глаза Алексея уже были открыты — круглые, как у филина, полуслепые, еще сомнамбулические. Правая рука вяло терзала и никак не могла отодрать присоску. Поставив поднос, я сорвал присоски, быстренько поднес к губам стакан.

Алексей жадно отхлебнул, его глаза ожили, он с хрустом потянулся.

— Уф! Думать — не ящики таскать, но почему так болят все мускулы? А, это ты хорошо придумал...

Неуверенным движением он потянулся к тарелке.

— Включи браслет, — сказал я.

— А!.. — Он слабо поморщился. В пальцах, разливая суп, прыгала ложка. — Ч-черт... — Он взял ее в кулак. — Который час?

— Четверть четвертого.

— Долгонько... — Ему наконец удалось, не расплескав, поднести ложку ко рту. — Зато не даром.

— Включи диагностер, — повторил я. — Вид у тебя...

Он отмахнулся. Ему не надо было смотреть на ленту, все у него, конечно, и так было в памяти, но все же он на нее посмотрел.

— Хорошо поработалось...

— Ешь и не разговаривай.

Он послушно кивнул.

Минут десять мы ели и молчали. Я тоже проголодался, хотя, конечно, не так, как Алексей. Он медленно отходил, его склоненное над тарелкой лицо теперь было просто осунувшимся и усталым, землистые губы слегка порозовели, темные полукружья глаз казались уже не такими набрякшими. Диагностер он так и не включил, видимо, не боялся разоблачения. Или, наоборот, боялся узнать, во что ему обошлись эти часы размышлений.

— Ну? — спросил он, когда мы принялись за кофе.

— Что «ну»? — Я сделал вид, что не понял.

— Выкладывай, зачем пришел.

— Да я просто так... Шел мимо и заглянул.

— Брось, — тихо сказал он. — К чему? Я могу соображать. Что там еще стряслось?

— Послушай, а не лучше ли тебе...

— «Не лучше ли тебе в жару ходить без панциря?» — спросили однажды черепахи.

— Хорошо, ладно...

Коротко, как мог, я рассказал про Эю, про Снежку, про все. Алексей слушал вроде бы безучастно, но под конец его взгляд сосредоточился и похолодел.

— Так, так, — сказал он наконец замороженным голосом. — Правильно сделал, что пришел. Да, да, это подтверждает...

— Что подтверждает? — Я подался вперед. — Что?

Вместо ответа он встал, засунув руки под мышки, прошелся на негнувшихся ногах — длинный, костлявый, рыжий, пугающе отрешенный.

— Ты... — Я не выдержал, голос сорвался в шепот. — Что вы узнали? Почему ты молчишь? Все так плохо или...

— Помолчи... А то объясняла курица ястребу, как зерно клевать, да сама запуталась. Хорошо, плохо, в этом ли дело? Вот, познакомься для начала...

Алексей боком шагнул к стеллажу, рывком вытянул какой-то график, попытался остановить последовавший за этим движением обвал бумаг, но тут же забыл о нем.

— Это график распределения хроноклазмов по оси времени. Пока засечек было мало, все выглядело статистическим хаосом. Теперь, с накоплением фактов, наметилась закономерность. Взгляни!

— Прогрессия! — Я привскочил.

От волнения я, кажется, спутал термин, но это было не важно. Алексей нетерпеливо отмахнулся.

— Возмущения идут волнами, это очевидно. — Его палец пробежал по графику. — Чем ближе к нашему времени, тем они гуще. Гармоника колебаний, чей период возрастает с сотен и тысяч до миллионов, затем до миллиарда лет. Пробелов еще достаточно, но, в общем, картина ясна.

— Волны времени...

— Чепуха, это только образ! Хотя, согласен, наглядный. Мы словно бухнули во что-то камень, и по глади разбежались волны, сначала частые, затем все более редкие, так что на десять выплесков из антропогена приходится всего три из архея, хотя протяженность антропогена миллионы лет, архея — миллиарды. Но это все видимость, только видимость... Сущность... Над ней мы как раз и думали перед твоим приходом.

— И?..

Алексей, не глядя, отшвырнул график, налил мне и себе вина. Его рука подрагивала, горлышко бутылки тренькало о хрусталь стаканов, этот неверный, тревожный, дребезжащий звук, казалось, заполнил собой весь мир, невыносимо отзвываясь во мне напоминанием о хрупкости всех наших устремлений, а возможно, и самого существования в этом мире.

— Все очень хорошо или очень плохо, в зависимости от того, как к этому относиться. — Алексей искоса посмотрел на меня. — Раз найдена закономерность хроноклазмов, нетрудно подсчитать, какие уже состоялись, а какие еще предстоят. Так вот: максимум возмущений позади, новых хроноклазмов будет немного.

— Это точно?!

Алексей кивнул.

Я был готов кинуться к этому рыжему чудаку, который самую главную, самую замечательную новость подал как затрапезное кофе, готов был закружить его в объятиях, но у меня вдруг ослабли ноги. Только сейчас я почувствовал, под каким страшным гнетом мы жили, и теперь, когда пришло освобождение, точней, окрепла надежда, из меня словно выпустили воздух.

— Все так, как я говорю, можешь поверить. Ладно, не о том речь, чего обсуждать прошлогодний снег...

Взмахом руки он как будто отстранил все только что сказанное. В этом был весь Алексей! Чего обсуждать само собой разумеющееся? Не стоит внимания. Даже если это спасительная для всех новость, с ней покончено, как только она исчерпала себя. Вот так, упомянули — и дальше, нечего отвлекаться.

Значит, все прежнее было только прологом. Прологом чего? Казалось, Алексей сбился с мысли. Его взгляд остекленел, пальцы шарящим движением коснулись лица, принялись тереть виски.

— Все, больше ни слова! — Я вскочил. — Ложись, я пойду за врачом.

— Сядь!

Это была не просьба, это был окрик. Я ушам своим не поверил. Алексей органически не был способен на окрик, но сейчас это был именно приказ, окрик, команда. Пергаментно-бледное лицо Алексея горело красными пятнами.

— Сядь, слушай и не мешай! Что ты понял из этого?

Он подхватил кольца бумажной ленты и потряс ими перед моим лицом.

— Ничего, — сознался я.

— Ч-черт... — простонал Алексей. — Так я и думал... Ну почему, почему самое важное всем кажется таким сложным и непонятным?!

— Вероятно, потому, — попытался я все перевести в шутку, — что лично я произошел от обезьяны. А от кого произошел ты — это еще вопрос. Может быть, от пришельцев?

Не стоило это говорить человеку, который явно был не в себе. Ответом был взгляд, каким испепеляют идиота, который не вовремя сбил с мысли, напорол, напортачил и даже не понимает, что он наделал.

— Все, ухажу, — сказал я поспешно. — Извини, но тебе надо отдохнуть. Тогда и поговорим.

— Никуда ты не уйдешь, — неожиданно спокойно проговорил Алексей. — Мой отдых тем более подождет. Неужели ты не понимаешь? Нет, не понимаешь. Подожди, было что-то первоочередное... Что-то связанное с... А, вспомнил! Как у тебя там Эя?

— Эя?

— Эя, Эя, Эя! Будешь ты наконец говорить по делу?!

Будто он говорил по делу!

— Эя спит. — Я недоуменно пожал плечами. — Спит и видит свои доисторические сны. По-моему, это ее любимое времяпрепровождение.

— Так я и думал. Вот что: сейчас же беги к ней. Буди, изобретай что угодно, лишь бы она говорила, говорила непрерывно, чтобы лингвасцет овладел ее языком... Чего ты стоишь?! Беги!

Я не стоял, я сидел. И не сдвинулся с места. Еще недавно ничего подобного не могло произойти ни со мной, ни с Алексеем, мы не поверили бы, что такая идиотская вспышка возможна. Я не только не сдвинулся с места, а, наоборот, взял чашку, неторопливо налил кофе, всем своим видом показывая, что и у меня есть самолюбие, что я вовсе не намерен быть мальчиком на побегушках у кого бы то ни было. Нервная взвинченность опасна своей заразительностью, и хотя и это было черной неблагодарностью, я почувствовал удовлетворение, когда Алексей в ярости грохнул кулаком по столу.

— Тихо! — сказал я. — Ты великий человек, но зачем бить посуду? Сядь, успокойся; все сделано, все давно сделано. Эя спит, но я задействовал ее речевые центры, так что в фазе быстрого сна она болтает, как нанятая, а лингвасцет ловит ее слова. Поэтому бежать мне не надо, соображают, как видишь, не одни теоретики. А теперь, пожалуйста, объясни мне, простому и серому, объясни спокойно, до чего вы додумались, к чему такая спешка и при чем тут Эя.

Я нарочно говорил медленно, тихо, приблизив лицо к лицу, с легкой иронией в голосе, это должно было подействовать, и это подействовало. Алексей осел на стул, с минуту смотрел на меня неподвижно, затем его губы тронула слабая улыбка.

— Да, все мы в душе немного горзахи, ты извини... Сейчас, минутку...

Он покопался в кармане, достал какой-то стимулятор, отправил таблетку в рот, морщась, запил водой.

— Все, больше никаких эмоций. Слушай внимательно. Час назад я, кажется, понял главное; мы поняли. Наши представления о времени не верны в главном и основном, их, если угодно, надо вывернуть наизнанку. Как бы тебе это пояснить наглядно... — Лицо Алексея сморщилось, слово «наглядное» было ему ненавистно. — Ладно, годится такая аналогия. Припомним историю физики. Есть вещество в твердом, жидком, газообразном, плазменном и прочем состоянии, есть всевозможные поля, вот, думалось, все, что существует в мироздании, из чего оно складывается. К концу двадцатого века выяснилось: не так! Что считалось сущностью мира, начиная с камня, кончая светом, оказалось зыбью скрытого океана материи. А то, что полагалось пустотой, вакуумом, ничем, оно-то и есть основа, чьи всплески порождают галактики, звезды и прочее. А со временем, видишь ли, такая история...

Алексей отхлебнул из пустой чашки и не заметил этого.

— Время в своем обыденном восприятии... Тыфу, что за нелепость: «время в своем восприятии»! Ладно, ты понял, что я хотел сказать... Время подобно волне, которая бежит неизвестно откуда и неизвестно куда, несет нас на гребне, позади нет ничего — все уже умерло, впереди тоже ничего — еще не возникло. Так? Да, так — обыденно. В действительности, конечно, нет ничего подобного. Есть пространственно-временной континуум, в котором все движение, все процесс, и время есть параметр этих изменений, а так как изменений бесконечно много, то можно говорить об индивидуальном для каждого процесса времени. Ну там о геологическом или социальном... С другой стороны, время есть метрика самого континуума, подобно тому, как кривизна мыльного пузыря есть метрика его расширения... Ч-черт! Не так. Словом, если интегрировать обе сущности времени как меры и метрики, то по формуле... А, ты же ее не поймешь... Ладно, попробуем взять иначе...

Алексей продолжал говорить, но чем дольше он говорил, тем меньше я понимал, и он это видел. Он морщился, помо-

гая себе жестах, мимикой, его рука то и дело тянулась написать какое-нибудь простенькое, этажей в десять, уравнение, которое сразу все разъяснило бы, но тут же останавливал себя, потому что такое уравнение мне было заведомо не по зубам. Так он страдал. Это была мука, мука невыразимости сложного и абстрактного, когда ты хочешь, чтобы тебя поняли, когда нужно, чтобы тебя поняли, а не получается, потому что наука слишком далеко ушла в своих построениях от наглядного, образного, для всех очевидного.

Что за нелепость! Алексей знал, наверняка знал то, что могло спасти или погубить человечество, и не мог выразить это на всем понятном языке. Такого он не ожидал и даже растерялся. Я страдал вместе с ним, пытался что-то подсказать, наугад пояснить — он только отмахивался. Все было не то, не то! Увы, глубины темпоралики были не для меня, я это понял еще в школе, когда учитель однажды сразил нас таким парадоксом. «Прошлое существует в виде следов, — сказал он, — будущее — в виде возможностей. Действительно лишь настоящее, так?» — «Так!» — хором ответили мы. «Прекрасно. Теперь я попробую доказать, что настоящего тоже нет, а вы попытайтесь меня опровергнуть». — «Как это нет настоящего? — ахнул кто-то. — Что же тогда есть?» — «Это уж вы сами решите... Следите за логикой рассуждений. Что есть настоящее? Ах, то, что происходит сейчас! Хорошо. Какова, спрашивается, длительность этого «сейчас»? Минута, секунда? Не слышу ответа... Правильно: физически протяженность настоящего — один хроноquant, то есть секунда в минус какой степени? Не помните... ладно, посмотрите в справочнике. Важно другое: минувший хроноquant уже принадлежит прошлому, его нет, а последующий еще только будет, следовательно, пока его тоже нет. Что же тогда мы воспринимаем как настоящее? Напомню, что мы не видим летящей пули именно потому, что уже сотая доля секунды — вне нашего восприятия. А тут хроноquant! Значит, его мы тем более не можем воспринять. Выходит, мы осознаем только то, что уже случилось, стало быть, прошлое! Под видом настоящего мы воспринимаем прошлое, и только прошлое! Но прошлое, по определению, существует лишь в виде следов, оно уже сбылось и исчезло... Вот так, ребята, а теперь думайте, что же для нас действительно».

Этот парадокс слышал я, слышал Алексей, только я отмахнулся, а он нет. У меня сохранилось лишь впечатление тьмы и бездна, в которую я на миг заглянул и отшатнулся. Он же не отшатнулся, его это увлекло, и вот теперь я сижу дурак дураком, а он страдает, пытаюсь выразить то, что ему открылось в этой пугающей бездне. Мука невыразимости — да снилось ли людям такое?

Еще бы! Она была и будет знакома всем истинным художникам и мыслителям, недаром сказано: «Мысль изреченная есть ложь...»

Только еще никогда от исхода этой борьбы со словом так не зависела судьба человечества.

— Слушай, — не выдержав, перебил я Алексея. — Чего ты изводишь себя? Так ли уж важно, чтобы именно я, именно в эту ночь понял истинную сущность времени? Если это нужно для конкретного, с моим участием, дела, то просто-напросто объясни, что от меня требуется, какие, так сказать, кнопки мне нажимать. И все! А если ты вслух обдумываешь свое обращение к человечеству, то выпишись сначала, отдохни, перепоручи, наконец, кому-нибудь, кто лучше владеет даром популяризации. Зачем все это сейчас, чего ты себя терзаешь?

Секунду-другую Алексей смотрел на меня так, будто сложный многогранник прямо на его глазах обратился в элементарный куб. Похоже, я сразу упал в его глаза, ведь для Алексея действие всегда было неотделимо от понимания, а я преспокойно предложил эту связь разорвать.

— Ты хоть соображаешь, что ты сказал? — шепотом проговорил он. — Значит, пусть все будет так, как в «добрые старые времена», когда одни думали и распоряжались, а другие брали под козырек? Нет, дорогой, так не пойдет. Тебе — да-да, тебе! — понимание необходимо, как, может быть, никому другому.

— Это еще почему?

— Узнаешь, когда поймешь... Стоп! — Глаза Алексея сузились. — Факт появления в нашем времени прошлого — как бы ты его объяснил своим детишкам? Поделись опытом. Спасовал бы, наверное?

Я покачал головой.

— Сначала я объяснил бы им теорию скрытых реальностей.

— Легко сказать!..

— Легко сделать. Некто выступает по всемирной видеосети, сказал бы я им. Его образ на экране реален? Конечно. Но одновременно тот же самый образ мчат электромагнитные волны. Выходит, он присутствует еще и в пространстве, находится там в иной, чем на экране, неразличимой для наших органов чувств форме. Однако и этот образ реален. Попутно ведется запись передачи, все оказывается запечатленным в кристалле. Это уже третья форма существования образа, иное его воплощение. В кристалле оно способно находиться века и тысячелетия, его сколько угодно раз можно воспроизвести, снова послать в эфир, снова оживить на экране и так далее. Вот вам уже три реальности: одна явная, на экране, и две скрытых. Последних, как видите, больше.

— Так, так, продолжай.

— Дальше я воспользовался бы аналогией. Уподобим, сказал бы я, жизнь киноленте. Старинной, вы знаете... Вы смотрите фильм. Сменяя друг друга, мелькают кадры. Так длится, пока ленте не приходит конец. Все, свет погашен, изображение исчезло, его нет, зрители могут разойтись. Однако изображение никуда не делось, оно как было, так и осталось на ленте, только перешло из бытия в инобытие, стало скрытой реальностью.

— Так, так!

— Все, почти... Жизнь, добавил бы я, в отличие от киноленты мы, увы, никаким образом не можем вставить обратно в проектор времени и заново прокрутить. Но вот что-то произошло, мы не знаем что. Наша «лента» вдруг слиплась, кадры прошлого вклеились в настоящее, попали в «проектор», отчего скрытая реальность снова стала действительной.

— Чудовищно. — Алексей с хрустом сцепил пальцы. — Крайняя степень примитивизации! Хотя...

Он задумался.

— Хотя в этом что-то есть... Ты знаешь, в этом что-то есть. — Его лицо просветлело. — Вот, значит, на каком уровне наука становится доходчивой... Чудесно! Сойдем на тот же уровень, сейчас для тебя важно уловить смысл новой концепции простран-

ства-времени, иное успеется. Скажи, что произойдет с угольком на ветру?

— Как что? Сгорит, рассеется пеплом...

— А гвоздь?

— Какой еще гвоздь?

— Обыкновенный. На ветру.

— С ним ничего не произойдет.

— Подумай.

— Что тут думать? Гвоздь — он и есть гвоздь.

— Дубина, — с выражением проговорил Алексей. — Тебе не детей учить... Сгорит гвоздь, сгорит! Окислится, проржавеет, рассыплется не хуже уголька, вот что с ним произойдет!

— Ах, в этом смысле... — Я смутился. — Ну да, если гвоздь долго продержат на ветру, тогда конечно...

— А отчего разрушаются горы?

— Ну. — Я пожал плечами. — Если ты спрашиваешь без подвоха, то это элементарно. Воздействие воды, ветра, температур, процесс эрозии, словом.

— Иначе говоря, уголек гибнет потому, что взаимодействует со средой. Та же судьба у гор, вопрос в сроке. Все гибнет, потому что все взаимодействует со средой. Линейность этого процесса обуславливает линейный ход времени. Но если так, с какой, спрашивается, средой взаимодействует наша Вселенная? Когда-то ее не было, теперь она есть и когда-нибудь тоже исчезнет, сгорит, как самый банальный уголек. Что же на нее воздействует, какой эрозии подвергается она?

— Банальный вопрос. — Я решил показать, что тоже не лыком шит. — Диалектический материализм давно на него ответил: материя неисчерпаема, а потому мироздание не обязательно ограничивается наблюдаемой нами Вселенной. Возможны и другие, с иным состоянием, с иными законами природы, а если так, то они должны воздействовать на нашу Вселенную. Какая-нибудь другая Вселенная...

— Ее-то мы и нашли! — Алексей вскочил, сгреб с пола шуршащие кольца ленты. — Вот она, здесь, объявилась, скрытая! Теперь понимаешь, какой еще «ветер» обдувает нас, чье время накладывается на наше? Все в нашем мире взаимодействует не только само с собой, нет, нас еще пронизывает «ве-

тер» иновселенной, он вокруг нас, он в нас, ты это понимаешь? Мир не просто многомерен, он многомерно многомерен, и потому время даже не объемно, оно неисчерпаемо в своих формах и проявлениях! Ты посмотри, как все складывается. Почему время зависит от скорости? Да потому, что происходит перемещение тел и в среде иновселенной, следовательно, увеличивается или уменьшается «обдув», как это случается с угольком, стоит им помахать в воздухе. Почему, в свою очередь, ход времени так зависит от метрики пространства, от концентрации масс? Примерно по той же причине, по какой свойства и скорость обычного ветра меняются в зависимости от того, встречает ли он на пути редкий кустарник или массив городского квартала. Обычная динамика! То есть что я, совсем не обычная, но так и должно быть... Эх! Тысячелетия прошли, прежде чем люди догадались, что они окружены воздухом. Потребовались еще тысячелетия, чтобы проявились электромагнитные и прочие поля. Еще столетие — мы обнаружили вакуум. От очевидного к неочевидному, от явного к скрытому, вот как мы шли и идем! Теперь же, — Алексей потряс кольцами ленты, — вот она, целая иновселенная! Вот оно, скрытое время! Вот откуда на нас обрушился шквал... Новые берега нового океана материи, ты слышишь, как свистят его ветры, слышишь?

Сам того не заметив, Алексей заговорил образами. Я пожегся. Почему-то одним из самых сильных впечатлений раннего детства для меня стал вид ночного неба в планетарии, куда я однажды попал. Чем-то жутким повеяло на меня тогда из этой черной, проколотой звездами тьмы купола, которая вдруг накрыла меня. Жутким и одновременно притягательным. Не знаю, почему во мне все так щемяще заледенело. Может быть, то было первое осознание той бесконечности пространства, бесконечности времени, бесконечности всего, что есть в мире. Не знаю. Сейчас в ярко освещенной комнате, в окна которой стучался дождь, меня настигло очень похожее ощущение. И причиной были не столько горячечные слова Алексея, сколько его глаза, которые видели, в упор видели не эту комнату и не меня в ней, а черную бесконечность новой, только что открывшейся ему Вселенной.

— А мы воспринимаем только линейное время, живем как одномерцы, как...

Он изогнул шуршавший свив ленты, пропустил ее меж пальцами так, что снаружи осталась лишь узкая складка.

— Вот наше настоящее... Я пропускаю его меж пальцами, гребень складки ползет, черные на нем штрихи и знаки — это наши жизни, вот они движутся, перемещаются из будущего в прошлое, так мы, одномерцы, живем, смотри, смотри...

Колдовская минута! Я смотрел не на складку ленты, по которой ползли математические знаки и символы, я не мог оторвать взгляда от Алексея. Не стало комнаты, не стало тьмы за окном, было только его вдохновенное лицо. Он перемещал ленту, вел складку меж пальцами, он любовался ею, словно в его руках была истинная ткань мироздания, словно он обозревал ее всю, со всеми нашими жизнями, загадками, радостями, трагедиями и проблемами, словно он был над ней, как некий познавший ее тайны бог. Его темное от усталости лицо светилось могуществом понимания, и не было ничего прекраснее этого лица.

— Так мы, одномерцы, живем на гребне настоящего, только это считаем реальностью, так долго бы длилось, если бы...

Быстрым движением он смял ленту в гармошку.

— Вот так свернулась структура вселенных. Там, где ворсинки материи, сцепившись, поменялись местами, там прошлое вклинилось в настоящее, и наоборот. И это сейчас в практическом смысле главное. Почему?

Он резко повернулся ко мне.

— Почему?

— Что за вопрос, — сказал я. — Катастрофа...

Ответом был досадливый взмах руки.

— Если разбилась чашка, надо взять веник и подмести. Или послать кибера. Хроноклазмы кончаются, затухают сами собой, я же сказал! Не о том забота... Многие наши люди оказались здесь, здесь, здесь. — Он провел пальцем по гребням складок. — Что будет, когда хроноклазм исчерпает себя? Вот...

Он разжал пальцы, удержав в них лишь одну складку.

— Стабильно лишь наше время. Оно уцелеет вместе с оказавшимися в нем вкраплениями прошлого. Все остальное вернется в прежнее состояние.

— Что же тут плохого? — не понял я. — Конец всем нашим бедам, радоваться надо...

— Что ж, радуйся... Как только разглядятся складки пространства-времени, твоя Снежка станет недостижимой.

— Но...

— Никаких «но»! Ты думаешь, что если перенос во времени оказался осуществимым в природе, значит, мы уж как-нибудь все это повторим? Нет. Сейчас «складки» рядом, перейти с одной на другую можно без особых энергозатрат. Но как только они разойдутся — конец. Отправить в прошлое спасательную экспедицию — для этого придется устроить маленький хроноклазм, снова вздыбить обе Вселенные. Не одну, понимаешь, обе! Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если бы путешествие во времени было возможно, то наши потомки уже побывали бы здесь, в нашем сегодня. Однако их не было, нет и, очевидно, не будет. Теперь понимаешь, почему твое представление, будто Снежка может прожить в каменном веке всю свою жизнь, даже умереть там, а ты все равно когда-нибудь вернешься к ней, юной, — ложно? На, выпей...

Я тупо кивнул. Слова Алексея точно рассекли мое сознание надвое. Одна его половина четко воспринимала окружающее, видела снова побледневшее лицо Алексея, прыгающий в его руке стакан, даже пятно на скатерти, тогда как другая корчилась от отчаяния.

— Выпей, — повторил Алексей.

Его голос был сух и бесцветен. Не глядя на меня, он наклонил вздрагивающую в руках бутылку, стекло, как и в тот раз, надсадно дзынькнуло о стекло, мир снова наполнился этим тонким, дребезжащим, невыносимым звуком, хотелось зажать уши, лишь бы его не слышать. А он звенел и звенел, даже когда Алексей отнял бутылку. Замороженный, он так и остался во мне. В окна заползал рассвет, такой пасмурный, что в его тенях потускнел воздух комнаты, а хмурое, с опущенными веками, лицо Алексея застыло бледным пятном, которое не скрашивали рыжие, теперь будто подернутые пеплом волосы.

— Я еще не все сказал...

Я молча уставился на своего палача. О чем он говорит? Что еще ему надо?

— Пока длится катастрофа и прошлые времена близки, туда возможен переход. Спонтанный, как это происходит, и целенаправленный, обратимый для спасения тех, кто там оказался.

— Догадываюсь, — процедил я с желчным сарказмом. — Для этого всего-навсего нужна обыкновенная «машина времени»...

Алексей странно взглянул на меня. Всегда решительный, он словно колебался. Сам того не заметив, он потянул к себе мой стакан, сжал его в пальцах.

— Машина, конечно, нужна. Но это-то как раз не проблема.

— Разве?

— Она, видишь ли, уже есть...

— Что? — Я вскочил. — Где она? Почему никто...

— Сядь, — тихо попросил Алексей. Он глядел на меня так, словно хотел и не мог выговорить что-то решающее. — Пожалуйста, сядь.

Я сел.

— Мы больше делаем, чем говорим. К чему будить, быть может, напрасные надежды? — Голос Алексея шелестел, как сухие листья. — Машина есть, мы сразу взялись за ее разработку, дело не в этом. Сначала, как водится, мы запускали в прошлое автоматы. Затем — животных. Те и другие возвращались... не всегда. Это не беспокоило, мы были уверены, что все успеем отладить. Сегодня ночью выяснилось — нет. Надо спешить, пока держится энергетический мост, иначе все бесполезно. Нет у нас времени на доводку, нет! Человек должен идти в разведку сейчас или никогда. Ты и Эя, так уж сложилось... В общем, лучшего выбора нет. Теперь понимаешь, к чему весь этот разговор?

Я встал, машинально одернул куртку. Сердце бухало в сто колоколов.

— Когда идти?

Алексей тоже встал, его рот был полуоткрыт.

— Ты даже не спросил о степени риска...

— Это имеет значение?

— Что ты за человек такой! — Лицо Алексея скривилось. — Три шанса из пяти... Вот так, — добавил он, отворачиваясь.

Казалось, эти простые слова вдруг придавили его, он сказал все, что должен был сказать, и теперь стоял опустошен-

ный, только пальцы слепо шарили по столу, сжимались и разжимались, словно стали независимы от своего владельца.

Я порывисто шагнул к нему, сгреб, как воробушка, стиснул и закружил в объятиях.

— Пусти! — закричал он. — Ненормальный! Я тебя отстраню!

— Не посмеешь. — Я отпустил его, задыхающегося, чуть порозовевшего, ожившего. — Не посмеешь! Из тысяч добровольцев ты все равно выберешь меня, и потому что ты мой друг, и потому что только у меня есть свой человек в палеолите. Три шанса из пяти! Я думал, меньше. И нечего смотреть на меня, как на жертвенного агнца. Ого, ты еще увидишь Снежку, мы оба тебя расцелуем!

Это я, конечно, сказал зря, нельзя, искушая удачу, бравировать напускным оптимизмом. Любая отборочная комиссия тотчас скинула бы мне десяток очков, но, в конце концов, тут была не комиссия, а Алексей, которого надо было встряхнуть, убедить, что вовсе не на смерть он меня посылает. Я-то уже знал, что вероятности не просто статистика, ибо человек может на них влиять, но для него, теоретика, они, естественно, были лишь костяшками фатума, рока, судьбы. Ну можно ли переносить опыт автоматов на человека, который должен спасать себя и других? Он же не слепое орудие! Надо — и человек шел на баррикады, надо — закрывал собой амбразуры, сам себе прививал чуму. Кто тогда считал вероятности? А тут... Сложная структура хозяйства, сама жизнь слишком приучили нас все взвешивать и рассчитывать. Да будь один шанс из ста, я все равно согласился бы!

— И вообще, — продолжал я. — Не будь Эи, знаешь, как выглядел бы твой выбор? Дружеской протекцией.

Алексей удивленно уставился на меня.

— Протекцией?

— Конечно. Предпочтением одного перед другими.

— Вот об этом я не подумал. Такой риск — и протекция? Нет, ты сошел с ума. — Он наконец улыбнулся. — Все, больше ни слова. Иди к себе и отдыхай.

— До какого часа?

— Разбудят. Скажут. Сделают. Иди же!

Он подтолкнул меня к двери.

Я шел, не чуя под собой ног. Страху не было, я знал, что он, конечно, придет, но не мог в это поверить. Уже рассвело, повсюду сновали люди, я не замечал никого, счастье эгоистично.

Должно быть, у меня был дикий вид, потому что вдруг послышался озабоченный голос:

— Что с вами? Помочь?

Я обернулся с улыбкой идиота.

— Наоборот. — Мне захотелось обнять говорившего. — Это я должен кое-кому помочь!

— Но...

— Никаких «но»! Можем мы немного пожить без этих противных отрицаний и противоречий? Слушайте новости, готовьтесь услышать прекрасные новости, а обо мне не беспокоиться. Я глуп и счастлив, только и всего.

Я весело помахал ему рукой.

Должно быть, он проводил меня недоуменным взглядом. Я не запомнил его лица, это мог быть любой. Какая разница! Никто еще ничего не знал, конечно, я выглядел ненормальным. Во мне все спешило и пело, я ускорил шаг, не без удивления обнаружив, что нога уже не болит. Верно замечено, что хорошие новости лучше всяких лекарств.

И все-таки... В прорези окон, клубясь туманом, валил промозглый рассвет. Опять это «но»! Оно незаметно подкралось ко мне. Я замедлил шаг. Все хорошо. Скоро все узнают, что хроноклазмы пойдут на убыль. Что наше будущее спасено и сверх этого даже есть шанс многих вызволить из прошлого. Но, помимо удачи моей разведки, это возможно лишь в том случае, если события не опередят нас. Какой горький и беспощадный парадокс: долгожданный конец катастроф означает гибель наших близких там, в прошлом! А продолжение бед, наоборот, сулит им спасение. Зато умножает число тех, кого катастрофа может вырвать из нашего времени. Так чего же желать? Будь выбор, что бы мы предпочли? Что бы я решил?

Нашел о чем думать, осадил я себя. Нет выбора, и не надо. Все и так решено, ну и прекрасно. Мне своих забот хватит. Во-первых, надо подружиться с Эй и хорошенько ее расспросить. Во-вторых, не мешает отдохнуть. В-третьих...

В-третьих, я уже подходил к своей комнате, откуда почему-то доносился неясный шум. Ничего не понимая, я рванул дверь, да так и застыл на пороге. По полу, сметая стулья, катался клубок сплетенных тел, это было так дико и неожиданно, что я не сразу сообразил, чьи это красные искаженные лица, заломленные руки, хрипящие рты, кто с кем дерется, что все это означает и почему. А когда я наконец разглядел дерущихся, то это был шок посильнее прежнего.

— Вы что! — заорал я и кинулся их разнимать.

Это было непросто, потому что обе вцепились друг другу в горло, обе были сильны, обе иступленно ломали сопротивление противника, но я пришел в такую ярость, что мигом, точно котят, отшвырнул к одной стене Эю, а к другой — Жанну. Да, во второй воительнице я, к своему изумлению, признал Жанну...

— Вы что, с ума посходили?!

— Это ты сошел с ума!.. Откуда здесь эта драная кошка?!

Одежда Жанны была разодрана в клочья, располосованное лицо пылало обидой и гневом. Эе тоже досталось, и в ее глазах была ярость, только холодная, напряженная, как у человека, который знает, за что и почему он дерется. Едва оправившись от толчка, который ее отбросил, она со звериным упрямством в бешено холодных глазах опять ринулась к Жанне, но подвела недолеченная нога, Эя оступилась в прыжке. Я тут же схватил ее за руки, в них была неженская сила, вдобавок Эя не замедлила пустить в ход зубы, но я тоже был в бешенстве и, чем попало скрутив эту тигрицу, кинул ее на кровать.

— Что здесь происходит? — рявкнул я, переводя дыхание.

О небо, давно ли я пытался постичь теорию иной Вселенной и мысленно побеждал само время?!

— Это ты меня спрашиваешь?..

Взгляд Жанны полыхал презрением. Я очутился меж фуриями, только Эя смотрела не на меня, а на Жанну, и ее руки, к счастью, были укрощены путами, в которых я не без удивления признал оторванные рукава своей запасной рубашки.

— Это ты меня спрашиваешь?! Привел к себе какую-то бешеную, очень мило с твоей стороны, так-то ты помнишь Снежку и переживаешь...

— Жанна!

— Что — Жанна? Прекрасно, привел и привел, твое, в конце концов, дело. — Из ее глаз брызнули слезы. — Но я-то при чем?! Захожу навестить больного, а вижу эту девку, которая спросонья, в чем мать родила, ни с того ни с сего кидается на меня... Подло, подло, подло!

— Жанна, ты можешь замолчать? Выслушать? Кстати, о наготы... Держи куртку.

Моя уловка подействовала лучше всех убеждений и просьб. Жанна в недоумении оглядела себя, схватила куртку, поспешно провела рукой по лицу, по растрепанным волосам и — сработал женский инстинкт — кинулась приводить себя в порядок. Эя что-то прорычала ей вслед, я машинально погрозил кулаком кровати и через захлопнувшуюся дверь душевой стал торопливо объяснять, откуда у меня эта девушка и кто она.

Неистовый шум воды стих. Ни слова в ответ, но меня все-таки слушали. Наконец дверь открылась. Смерть Феликса точно обуглила лицо Жанны, и, если бы не свежие царапины, оно казалось сошедшим с древней потемневшей фрески, так сухи были его удлиненные черты, бескровны поджатые губы, страстны горящие черным светом глаза.

— Значит, вот как ты ее любишь... — прошептала она, будто в раздумье.

— Кого? — Я не понял.

— Никого. — Она глядела все так же тяжело, неподвижно, только грудь вскидывалась от судорожного дыхания. — Забудь. Как легко ты, однако, нарушил запрет!

— О чем ты, Жанна? Феликс, даже ничего не зная о Снежке, сразу сказал, что я прав.

— Не трогай Феликса! — Она уцепилась за косяк. — Он мертв, мертв, вы, живые, можете это понять?!

— Неправда! — воскликнул я. — То, что он думал и делал, — живо.

Казалось, моя вспышка ее успокоила.

— Возможно, — сказала она нехотя. — Память вместо человека — тебе... Давай о живых. Думаешь, перед боем он мог сказать тебе что-то другое? Ладно, оставим это. Вернемся к живым.

— Нет, объясни...

— Ничего я не хочу объяснять.

Злые глаза Жанны стали еще темнее и ярче, в них выступили слезы.

Только этого не хватало! Нет, легче понять вселенную, чем отдельного человека. Чего ей от меня было надо? Кто же виноват, что я жив, а Феликс погиб? Что я, быть может, обрету Снежку, а Жанна Феликса никогда? И при чем тут Эя? На кровати лежала связанная, с тигриной яростью в глазах, девушка иного века, другая девушка плакала, окаменев, а меж ними был я, и мне хотелось завывать, так все это было нелепо, так некстати, зло разбирало на все эти переживания, такие ничтожные по сравнению с делом, которое надо было делать.

— Жанна, — сказал я с раздражением в голосе. — Хватит загадок, терзаний и недомолвок. Ты хотела видеть, как я переживаю гибель Феликса? За этим пришла?

— Нет!

— По-моему, да.

— Это не имеет значения...

— Верно. У нас нет времени.

— Не собираюсь тебе мешать. — Сухими глазами, будто и не плакала, она взглянула на меня, затем на Эю. — Бедная девочка... Будет ли у тебя время подумать о ней? Извини, — добавила она быстро. — Я тут наговорила лишнего, не обращай внимания. Ты удачлив, но лучше бы тебе не ходить в прошлое. Желаю доброй удачи, пойми это!

Она стремительно повернулась и вышла, оставив меня в полном недоумении. Что она хотела сказать? Была ли это невольная месть за Феликса, который погиб, спасая меня, или Жанна от чего-то предостерегала?

В растерянности я повернулся к Эе, с которой мне предстояло идти в прошлое. Ответом был неукротимый взгляд разъяренной женщины, которая, казалось, любое мое движение и слово готова встретить рычанием.

До чего же просты и бесхитростны все трудности природы по сравнению с теми, которые мы сами себе создаем!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

«Человек предполагает, а бог располагает» — так можно было бы сказать о последовавших событиях. Не важно, что никакого бога нет, его роль отлично берут на себя люди и обстоятельства.

Шли последние приготовления к старту в прошлое. В глубине ангара что-то простуженно сипело, по овалу машины, мигая лампочками, ползли дефектоскопы, всюду змеились бесчисленные кабели, они же свисали со сводчатого потолка, откуда-то тянуло сырым сквозняком, хотя, казалось, все входы были закрыты. Усталые, с напряженно-сосредоточенными лицами, разработчики обменивались отрывистыми репликами, смысл которых по большей части был так же чужд моему уху, как речь инопланетянина, фигуры людей то возникали силуэтами в сером, будто задымленном свете, то исчезали в провалах форм и конструкций. Мимо меня, сигналя, проносились верткие и тоже как будто озабоченные киберы, все спешили без суеты, что-то, как обычно, не ладилось, что-то требовало срочной переделки, чего-то не оказывалось на месте — словом, все шло нормально. Представитель новорожденной профессии, которая еще не успела получить наименования (не называть же его «вдалбливателем информации»?), парень моего возраста с робкими, но настойчивыми глазами цвета полевой незабудки и бледным от недосыпа лицом втолковывал мне последние добавления к инструкции:

— ...Процессия хода оставлена без изменений, но ее удалось сузить до величины плюс-минус... Запаздывание хронореверса решено не устранять, поскольку это третьестепенный, практически не влияющий на безопасность фактор, а отладка потребовала бы перемонтажа...

Я кивал, вылавливая лишь новые сведения, ибо уже знал наизусть всю матчасть, все операции хода во времени, все правила, каковые, строго говоря, еще только предстояло установить, потому что данных для их разработки, конечно же, не хватало. В этом и состоял риск, хотя, разумеется, не только в этом. За всю историю науки, пожалуй, ни одна экспедиция не организовывалась в такой спешке и при такой нехватке исходных сведений. А что делать? На пожаре действуют, а не

исследуют. Невиданный случай — не было даже техдокументации, она составлялась попутно. Поэтому и приходилось слушать, слушать, уже череп распирало от этого половодья цифр и слов.

— ...Итак, повторяю. В окончательном варианте аппарат снабжен системой улавливания и аккумуляции любой энергии, какая обнаружится на месте, чем от трех до семи процентов снижен риск непредвиденного перерасхода резерва батарей. Речь идет прежде всего о подпитке солнечной энергией, однако возможны и другие решения, как то...

Голос моего педантичного Вергилия звучал с такой отчетливостью и монотонностью, словно он истово боролся со сном и никак не мог одержать победу, но, странное дело, его слова почему-то тотчас укладывались в памяти, причем не только иконографической и кратковременной, а и в постоянной. Это был своего рода гипноз, сотрудники Алексея знали, кого выбирать в «наставники».

На корпус машины вскарабкался, нет, вполз какой-то улиткообразный аппарат. Должно быть, упрочнитель, так как позади себя он оставлял голубоватые пятна, которые еще некоторое время спустя светились.

— ...Добавлен еще один индикатор. Прошу в кабину...

Мы пролезли в кабину. С прошлого раза, когда я тут был, разор в ней уменьшился, однако панель еще не была установлена, на меня отовсюду смотрели оголенные, похожие на медовые соты, блоки кристаллосхем, некоторые гнезда вообще пустовали, кое-где торчали паутинные усики перцептронов, пахло нагретым рубекойлем, на полу, под ногами, лежали (или валялись?) какие-то инструменты. Короче говоря, вид кабины свидетельствовал, что хронотехнику, как и глиняные горшки, создают никак не боги.

Единственное, что, похоже, не требовало доделок, это кресла, которых прежде не было. Стандартные, снятые, очевидно, с новенького космолета и освобожденные за ненадобностью от противоперегрузочных устройств, они радовали глаз своей привычностью и незапятнанной голубизной. Мы тут же их опробовали. Поерзав, я сразу убедился, что сиденья составлены так тесно, что, будь мой Вергилий чуточку покрупней, правая

рука водителя ощутимо лишилась бы свободы маневра. Это могло помешать, и я было раскрыл рот, чтобы предъявить претензию, но вовремя вспомнил, что Эя куда миниатюрней и, следовательно, никаких проблем тут не должно возникнуть.

Ой ли? Представив Эю рядом, я мысленно покачал головой, затем невольно улыбнулся. Было отчего хмуриться и улыбаться, вспоминая наше в то утро объяснение, когда я мрачно взял лингвасцет, подошел к ней, разъяренной, и, сдернув путы, сказал:

— Ну, подставить тебе горло, чтобы ты могла отплатить за добро, или как?

Я не надеялся, что лингвасцет немедленно заработает или что Эя устыдится, мною не руководил никакой расчет, просто мне так опротивели все эти, некстаты, загадки и потемки женской психики, что я поступил по принципу «что будет, то и будет». На большее после всех встрясок не осталось душевных сил.

Однако, к моему удивлению, из лингвасцета вырвались гортанные звуки иной речи, аппарат перевел или, во всяком случае, попытался перевести сказанное. Он работал!

На Эю, впрочем, это не произвело особого впечатления. Она не вцепилась мне в горло, как я того, признаюсь, ожидал, но и не ответила, а, разминая руки, уставилась на меня черными от злости глазами, в глубине которых застыл то ли горький упрек, то ли затаенный вопрос.

— Сердишься? — продолжал я. — Тебе было больно? Извини, ты сама заставила...

Снова молчание, немой взгляд повелительных и вместе с тем страдальческих, как у обиженного ребенка, глаз.

— Чего молчишь? Ты понимаешь меня?

Она понимала, это я видел. В ее немоте мне почудился вызов.

— Так и будешь молчать? Ладно, уйду.

— К этой женщине?

Я так и сел. Палеолит заговорил. Но, бог ты мой, и там ревность! Только это и проглянуло из глубины веков, первым приветом прозвучало оттуда, да так, что хоть смейся, хоть плачь. Мне стало до того тошно, что я едва не заткнул лингвасцет.

— Не твое дело, — сказал я через силу. — Так вот почему ты на нее кинулась.

Глаза Эи сверкнули.

— Ты нарушил табу, она нарушила, — смерть!

Вот тебе, тупо подумал я. Вот тебе, идиот, не прикладывай свою мерку ко всему на свете. Какое же табу, интересно, мы с Жанной нарушили? Женщине не входить в чужую пещеру? Мне не покидать ее без спроса?

Механический клекот лингвасцета придавал нашему объяснению оттенок нереальности, хотелось выглянуть в окно, чтобы сообразить, какой сейчас на дворе век. И с этой неразумной оголтелой дикаркой отправляться в хронопутешествие?! Расспрашивать ее о Снежке?

— Ладно, — сказал я. — В чем же мы все-таки провинились? Что нарушили, какое табу?

— Ты знаешь...

Еще бы!

— ...Ты искупишь.

— Слушай, — не выдержал я. — Я спас тебя? Спас. Накормил, позаботился? В чем же моя вина?

— Ты спас, позаботился, а затем привел другую женщину.

Так, все-таки ревность, дремучая, пещерная ревность... Ну, брат, попал же ты в переплет!

— Глупышка, она сама пришла. Сама, я даже ничего не знал. Разве так не бывает? Она мой друг, не более.

— А я?

— Ты тоже.

— Нет. Ты знаешь! Почему лжешь? Этой ночью я взяла тебя в мужья.

Я ошалело тряхнул головой. Мне хотелось опрометью кинуться вон, лишь бы не слышать этого звенящего в ушах безумия. Я тупо уставился на лингвасцет, на Эю. Может, он перервал? Или Эя сошла с ума?

Ни то, ни другое.

— Мы вместе спали во сне.

— Во сне...

Вон оно что!

Я чуть не расхохотался, хотя мне было, ей-ей, не до смеха. Бедная девочка! Это же надо, выйти замуж в сновидении...

И, самое глупое, теперь неизвестно, что делать. Ведь это для нее всерьез. Реально. До сих пор меня обманывало, все-таки обманывало внешнее сходство Эи с девушками моей эпохи. Теперь истина предстала во всей своей парадоксальности: сознание Эи не отличало сна от реальности! Или, скажем осторожней, не всегда отличало. В нем путались подлинные и мнимые события, сновидение уравнивалось в правах с действительностью. Эта особенность первобытного сознания была давно известна историкам, но я, признаться, не очень-то им верил. В голове не укладывалось, что так может быть, хотя история, и не только древняя, давала не менее разительные примеры путаницы действительного с воображаемым. Разве ученые-богословы не подсчитывали, сколько чертей может уместиться на кончике иглы? Разве какой-то там древний царь не наказывал море плетями, разве тысячелетия спустя из людей не изгоняли злых духов, не сжигали девушек за плотскую связь с дьяволом? Чем это лучше заблуждения Эи? Я — ее муж! Муж только потому, что ей приснились мои объятия...

Что же теперь делать?

Ничего, подсказал мне здравый смысл, ровным счетом ничего. Встать и уйти, крепко заперев за собой дверь, как если бы там остался не человек, а пума. Что еще можно сделать? Был план, замечательный план: взять Эю, чтобы она помогла быстро сориентироваться на месте, вернуть девочку к родным, использовать ее как посредника, в худшем случае обменять на Снежку. Отличный план, только, как видно, неосуществимый. Эя и хронолет?! Жаль бедняжку, только она, похоже, в самом деле может убить, уже пыталась это сделать, когда после «брачной ночи» ко мне с хозяйским видом заявила другая женщина.

Все это было очень трезво, логично... Не мог я этого! Не мог я встать и уйти, вот и все. В конце концов, Эя ни в чем не виновата, она не зла, не свирепа, просто она действовала так, как ей предписывали нормы, обычаи и предрассудки ее времени. Вдобавок она любила... Мысль о ее любви заставила меня содрогнуться.

Я достал нож, протянул его Эе.

— Я не виноват. Я не спал с тобой, это тебе приснилось. Все это козни злого духа, который хочет нас погубить. Но если ты уверена, что я виноват, — убей.

Я действовал по наитию. Впрочем, я был уверен, что успею перехватить нож, так как Эя, конечно, понятия не имела о самбо.

Ее глаза расширились. Она взяла нож, недоверчиво провела пальцем по острию, блеск стали ее, кажется, удивил.

Я не шевелился.

— Ты любишь меня? — спросила она, поворачивая нож.

— Нет.

— Я тоже нет.

Вот те раз! Все мои умозаключения снова пошли насмарку, и, стыдно признаться, эти ее слова слегка кольнули мое самолюбие.

— Тогда какого... — Я вскочил.

— Ночью я хотела тебя, я взяла тебя. Раньше я думала, что ты дух, но ты мужчина, раб...

Мне захотелось треснуть лингвасцет, хотя он тут был ни при чем. Вряд ли в ее эпоху были рабы, машина, верно, подобрала это слово по аналогии. Может быть, в тогдашнем языке и понятие «любовь» имело другое значение? Вполне возможно. А вот матриархат тогда, без сомнения, был. Нет, не хотел бы я жить в таком обществе, ни в патриархальном, ни в матриархальном, даже подумать об этом страшно. Родись я в то время... Впрочем, тогда я был бы совсем другим человеком.

— Мужа, который не любит и не любим, не убивают. Нет табу...

Уф! Что ж, и на том спасибо. Эх, девочка, какие же мы друг для друга... инопланетяне. Только тебе, как ни странно, пожалуй, проще освоиться в моем мире, чем наоборот, потому что ты все тотчас сообразишь со своими представлениями, пусть ложными, зато все-все объясняющими, а я так не могу, мне во всем надо добраться до истины, вот и блуждаю сейчас в потемках. Ведь чем меньше света, тем труднее зрячему, а слепому это все равно.

— ...Нет табу, есть другая женщина. Такого мужа наказывают.

— Что-что?..

— Но ты меня спас. Долг противоречит долгу...

О небо, когда же это кончится?! Пещерная, грязнолицая девчонка среди чудес иного мира решает, наказать или не на-

казать своего высокообразованного потомка, — такая ирония кого угодно сведет с ума.

— Знаю! — Эя подпрыгнула. — Ты сильный, добрый, странный, чужой, ты можешь стать... Хочешь?

Блеснув, лезвие ножа рассекло воздух.

Вступив на покатый лед, надо скользить до конца. Я машинально кивнул, тут же сообразив в испуге, что кивок, быть может, значит для Эи совсем не то, что для меня. К счастью, как потом оказалось, кивок и в ее мире выражал согласие.

— Дай руку...

Стиснув зубы, я протянул руку. Она приложила к ней свою, и прежде чем я успел опомниться, нож рассек кожу обоих. Наша кровь брызнула и смешалась.

— Теперь ты сестра мне, я сестра тебе, мы одна душа, одна жизнь!..

Глаза Эи сияли, как два черных солнца. Она говорила что-то еще, в упоении шептала какие-то заклинания, лепетала детские восторженные слова, означающие, что она теперь не одна, что у нее есть сильная, бесстрашная сестра, и так навсегда, навсегда!

Бедный, напуганный, с душой воительницы ребенок, он наконец-то нашел опору в этом чужом и непонятном и страшном иновременном мире, ловко применил к нему норму своих обычаев. Впрочем, я тоже не мог сдержать радости.

Закончила Эя, однако, весьма прозаично:

— Сестра, я голодна, дай мне поесть, сестра!

Я встал, на негнущихся ногах подошел к синтезатору и заказал завтрак. Если бы всю эту ночь и утро я провисел вниз головой, то, верно, чувствовал бы себя не лучше.

Зато я обрел «сестру».

Меж тем мой голубоглазый Вергилий, плотно устроившись на том месте, где вскоре должна была оказаться Эя, все говорил и говорил, я послушно кивал, память жила своей жизнью, сознание — своей, как вдруг все это хрупкое равновесие было нарушено.

— ...Говорю это в последний раз, поскольку вы будете стартовать раньше, чем предполагалось, и, следовательно, возможность все повторить целиком отпадает.

— То есть как? — удивился я. — Старт перенесен?

— Да, он состоится сегодня, ориентировочно в двадцать три ноль-ноль. Эту новость я отнес напоследок, чтобы она не помешала вам усвоить нужную информацию.

Отнес напоследок! Да, конечно, спокойствие, спокойствие, прежде всего спокойствие и невозмутимость. Я глубоко втянул дымный или кажущийся дымным воздух. Все вокруг выглядело скорее полем технического разбоя и разорения, чем благонаправленной картинкой предстартовой готовности. Конечно, наладчикам видней, разумеется, им видней. Опережение на целых восемь часов, возможно ли это? Значит, возможно.

— Успеете? — Это вырвалось против моей воли.

На лице моего Вергилия, когда мы вылезли, впервые проступила бледная, как осенний рассвет, улыбка.

— Волнуетесь?

— А вы? — ответил я вопросом на вопрос.

— Я, как видите, трепещу. Ничего, привыкну. Понимаю, вас смущает весь этот кажущийся беспорядок. Психологи правильно советовали не допускать вас и дублера к рабочему месту, пока не будет наведен глянец, чтобы вы не усомнились в надежности техники. К сожалению, времени нет, все надо осваивать на ходу.

— Не беспокойтесь, нам ли привыкать к технике во всех ее видах, — сказал я, не очень кривя душой, потому что одно дело беспокоиться о сроках и совсем иное хоть немного не доверять машине, от которой зависит твоя жизнь. — Вы закончили, я могу быть свободным?

— Нет. Прежде я должен проверить ваши знания.

— Хорошо, — сказал я со вздохом. — Сегодня вы вооружили меня нижеследующей информацией...

— Пожалуйста, начните с самого начала — и в полном объеме.

— В полном?

— Да.

— Послушайте. — Мой голос напрягся, потому что его заглушил кибер, который с лязгающим звуком пытался преобразовать синеватый брусок металла в нечто, отдаленно похожее на каракатицу. — Послушайте, я делал это уже раз десять! Вы

могли убедиться, что я спросонья могу повторить сто томов неписаной техдокументации, столько же сводов правил, уточнений к правилам и дополнений к уточнениям. Вам мало?

Ответом был укоризненный взгляд.

— Так надо, скоро прибудет комиссия. Между прочим, Гагарину приходилось запоминать больше и повторять чаще.

Я стиснул зубы. О великие первопроходцы, как быстро вас превращают в средоточие всех добродетелей и вашим примером гвоздят нерадивых потомков!

— Откуда вы знаете? — буркнул я. — Вы что, были наставником Гагарина?

Его щеки наконец вспыхнули румянцем.

— Комиссия, — свистящим шепотом ответил он.

Я обернулся.

Комиссия действительно приближалась. По-журавлиному вскидывая ноги, через кабели шествовал Алексей. Двое других были мне незнакомы. Один был в грязной, как смертный грех, робе, он на ходу тряпкой вытирал руки, заодно ему не мешало бы вытереть лицо. Нет, все-таки я его знал: то был генеральный конструктор. Второй был розов, улыбчив и свеж, словно только что хорошо выспался, искупался в море и теперь готов послушать хорошую музыку, стихи или что-нибудь другое столь же приятное. Впрочем, когда он приблизился, то на его щеке тоже обнаружился грязноватый, хотя и не лишенный аккуратности, след чего-то сугубо технического. Сколько бы ни совершенствовалась техника, каких бы киберов человек ни брал себе в подмогу, а как дело доходило до чего-то нового и уникального, так человеческие руки оказывались незаменимыми.

— Начнем, — без всяких предисловий сказал конструктор, как только мы поздоровались.

Алексей и улыбчивый кивнули. Конструктор глядел на меня с прищуром, точно выискивал, в какой части моего существа может скрываться брак. Улыбчивый смотрел ободряюще, усталое лицо Алексея выражало желание поскорее покончить с этой формальностью. Мой голубоглазый наставник отступил в сторону, от его педантичного спокойствия следа не осталось, он весь был трепещущей жилкой. Вокруг даже шум, казалось, притих. «Интересно, — пронеслось в мыслях. — Как они будут меня провожать? Цветами? Ой, вряд ли, не то время...»

Я набрал в легкие воздух и начал:

— Аппарат, именуемый хрономашинной, предназначен для автономного перемещения в...

— Это никого не интересует, — с ходу перебил меня главный. Он это сказал с таким раздражением, что я было обиделся, но тут же сообразил, что это и есть проверка — посмотреть, как поведет себя человек, которого внезапно сбили с толку. — Это никого не интересует, — повторил он (улыбчивый закивал). — Не сомневаюсь, что матчасть вы освоили. Что вы предпримете, если во время перехода внезапно начнете терять сознание?

— Для начала прибегну к помощи нашатыря. — Я сдержал улыбку. — И других средств стимуляции, каковые предусмотрены в бортовом комплекте.

— Кнопка приведения их в действие?

— Четвертая в левом подлокотнике.

— Крайняя, — уточнил конструктор. — Не подействует?

— Даю реверс.

— Не успели, потеряли сознание. Тогда?

— Тогда срабатывает автоматика.

— Опишите, каким образом.

Я начал описывать. На лицах всех троих возникла внимательная скука.

Однако долго им скучать не пришлось. Не потому что у конструктора был наготове очередной подвох, а потому что в помещении возник Горзах.

Сам. У меня екнуло сердце. От входа до места, где мы стояли, было метров пятьдесят, он их пересек с проворством хорошо смазанной шаровой молнии.

— Извините, что вмешиваюсь. Вы разрешите? — Его улыбка осветила всех, точно прожектор.

— Да, пожалуйста, — слегка недоуменно сказал главный.

— У меня к кандидату в хронавты всего лишь один вопрос. Вы привели к себе девушку из прошлого, некую Эю?

Это был не столько вопрос, сколько утверждение.

— Да, — сказал я.

— Тем самым нарушив приказ.

— Какой приказ? — удивился конструктор. — Впервые слышу.

— Вы и не могли слышать, вас он не касался.

— Мне он известен, — вмешался Алексей. — Я...

— С вами все обсудим потом, вы не из числа тех, кто отдает и отменяет приказы. — Горзах говорил спокойно и неторопливо, но его слова как будто отодвинули присутствующих. — Итак, — он снова обратился ко мне, — вы нарушили приказ.

— Дело в том, что...

— Знаю. Я это учел, но принять и оправдать не могу. Вы отстранены и исключены, можете быть свободным. А вы, — он повернулся к членам комиссии, — готовьте к отправке дублера.

Все, я больше для него не существовал. Кто-то, оказалось улыбчивый, вовремя схватил меня за руку.

— Послушайте, вы! — крикнул я бешено. — Значит, по-вашему, надо было оставить эту женщину погибать... Значит, я должен был...

— Вы обязаны были делать то, что обязаны делать все, — неожиданно мягко сказал Горзах. — Приказы либо выполняются, либо нет, и тогда наступает развал. Третьего, увы, не дано. Вы поступили благородно, но противообщественно, иного мнения быть не может. И, пожалуйста, не задерживайте нас. Дублер, полагаю, подготовлен не хуже? Его зовут, если не ошибаюсь, Нгомо?

Он повернулся к членам комиссии, я снова перестал для него существовать. На щеках Алексея выступили красные пятна, брови генерального конструктора как поползли вверх, так и застыли в недоумении. Лицо третьего члена комиссии ничего не выражало. В зале, казалось, стало тише, к нашему разговору явно прислушивались.

— Дублер, разумеется, подготовлен, — медленно проговорил конструктор. — Его фамилия, вы не ошиблись, Нгомо. Все же я хотел бы уяснить причину столь необычного отстранения. Меня как-никак это касается, а я почему-то не в курсе.

Алексей делал мне отчаянные знаки: молчи!

— Мне известна эта история, — заговорил он, опережая Горзаха. — Вот она вкратце...

Он уложился в минуту. Только факты, но каждое его слово молотом рубило воздух, и брови конструктора поднялись еще

выше, хотя казалось, они и так уже были вскинуты до предела.

— Таким образом, — закончил Алексей, — данный поступок дал нам ценную информацию и повысил шансы на успех. О моральной стороне дела не говорю, она и так ясна. Настаиваю на пересмотре решения.

— Да, так тоже нельзя, — внезапно сказал улыбчивый ученый, которому теперь, впрочем, было явно не до улыбок. — Проступок налицо, но есть смягчающие обстоятельства. Весьма и весьма смягчающие.

— И что же вы предлагаете? — быстро спросил Горзах, но при этом почему-то посмотрел на генерального конструктора. — Простить и вдобавок увенчать его лаврами первопроходца?

— О чем вы говорите? — не выдержал Алексей. — Какими лаврами? Человек рискует собой, а вы... Даже в старину солдату давали возможность искупить свой проступок кровью!

— Именно потому, что сейчас иное время, я и принял решение отстранить, — отчеканил Горзах. — Скажите, — он снова посмотрел на генерального, — если в своей машине вы поставите всего одну ответственную деталь, в надежности которой вы не уверены, чем это может обернуться?

— Это риторический вопрос, — сказал тот. — Если бы я заложил в конструкцию ненадежный элемент, то тут же бы дал себе пинка за ворота.

— Я нахожусь в точно таком же положении, — кивнул Горзах. — Только моя машина, не считите за хвастовство, еще огромней, и от ее работы, это опять же факт, зависит судьба всего человечества.

А что касается моральной стороны дела, — он метнул взгляд на Алексея, — то ваш пример работает против вас. С тех пор, как право рисковать собой во имя человечества стало высшей наградой, он, повторяю, работает против вас! Такую награду еще надо заслужить. Я подтверждаю свое распоряжение.

— А я его обжалую!

— Когда угодно и сколько угодно. Уверен, тут выяснятся любопытные моральные нюансы, если, конечно, у Всемирного совета, тем более у человечества, сейчас нет более срочных дел, чем это.

Самое ужасное, что Горзах был прав, убийственно прав. Спор еще продолжался, но мне уже стало все равно. Я побрел к выходу. Все прыгало и двоилось, как тогда, в подбитом эмиттере. Перед глазами расплывался свет ламп, возможно, виной тому были слезы. Стук хлопнувшей двери отрезал меня от прошлого.

Так я шел, сам не зная куда. Когда ко мне вернулась способность оценивать окружающее, то я обнаружил себя на берегу пруда сидящим с пучком весенней травы в руках. На темной воде, как и тогда, когда мы лихо взмывали в небо, чтобы схватиться с огневиками, желтели палые осенние листья, только их теперь прибило к берегу, они покачивались на мелкой волне, чуть слышно скреблись о тростник. Ветер шорохом пробежал по ивам и ветлам, космы ветвей слабо рябили неподвижную и черную у их корневищ воду, небо было мгlistым и таким спокойным, словно на земле никогда ничего не происходило, не происходит и произойти не может, а будет все тот же вечный круговорот дня и ночи, весны и осени, жизни и смерти. По зажатой в пальцах травинке ползла крапчатая букашка, она упорно спешила к ее игольному острию, не ведая, что дальше никакого пути нет.

Не знаю, долго ли я так сидел. Время потеряло значение, боли не было, только глухо саднила обида, что никто в целом мире даже не поинтересовался, где я, что со мной, в какой пустыне я нахожусь. Впрочем, и это было правильно, кто же сейчас располагал свободной минутой, уж во всяком случае, не мой дублер Нгомо, тем более не Алексей. Все было правильно, только от этой правильности ни на что не хотелось глядеть, а хотелось не жить, не думать, не чувствовать, как вот эта букашка, еще лучше травинка. Так я и сидел, безразлично следя за колыханием желтых листьев, то путано думая сразу о многом, то вообще ни о чем не думая, с тоской в душе, которую ничем нельзя было унять, да и не стоило унимать, потому что я был не первым, для кого все вот так рухнуло, и, конечно же, не последним, так уж заведено в этом мире, что человек — вселенная лишь для самого себя, для природы же — он пыль, а для других людей может быть вещью, деталью, годной или, наоборот, бракованной. Во мне оказался дефект, меня отбросили, тоже закономерно, а жить все равно

как-то надо, это же не конец, будет еще много всего, разного, только уже без прошлого, с которым покончено. И что же? Ничего. Снежке, еще миллионам таких же, как я, сейчас хуже, гораздо хуже, их-то вовсе ни за что пришибло.

Так, утешаясь, душа незаметно лечила сама себя, а когда на берегу показался Алексей, сердце не сжалось, не забилося быстрее, не стало ни легче, ни горше, я равнодушно следил за приближением друга. Он шел, срезая тропинку, в какое-то мгновение мне даже показалось, что он, как Христос, пройдет сейчас по воде, такое у него было отрешенное лицо.

— Пережил? — Он опустил рядом.

Я промолчал.

— Пережил? — повторил он.

Я кивнул.

— Хорошо, давай тогда поговорим о деле.

— Мое дело, — буркнул я, — лопата где-нибудь на побережье.

— Верно, мускулами ты не обижен. — Я смотрел на воду, он посмотрел туда же. — Сдался, значит, признал правоту Горзаха...

Я пожал плечами. Какое это теперь имело значение?

— Дурак, идиот! — яростно прошипел Алексей. — Прав ты, а не Горзах! Как ловко он все выстроил: преступление, наказание, ненадежный винтик — фьють! — все согласно кивают...

— А разве не так?

— Трижды не так! — Рука Алексея рассекла воздух. — Вернее, все так, если мы дружно признаем, что общество — это машина, тогда, естественно, люди получают винтиками. И ради этого все революции, весь прогресс, ради этого человечество боролось? Опомнись! Мы это или не мы, если нас так легко сбить с толку? Чем тебя смяли? Есть приказ, человек его нарушил, значит, он преступник, вон его. Какая формальная, внешне правильная, на деле самоубийственная логика! Это реле должно включаться и выключаться, а что сверх того, то неисправность. А человек-то должен соотносываться с обстоятельствами, думать, учитывать и приказ, и ситуацию, и долг совести, то есть поступать прямо противоположно тому, чего мы требуем от железки. Неужели это не очевидно?

— Ты кого убеждаешь? — хрипло спросил я. — Кому читаешь мораль?

— Тебе!

— Катись ты... Все это общие слова. Нарушил я или нет? Нарушил. Суть в этом.

Алексей тяжело вздохнул.

— Я мог бы сказать тебе всего два слова и ты бы... Но погожу. Речь идет о куда большем, чем все твои переживания, и даже большем, чем все хроноклазмы вместе взятые. О моральных ценностях, о внутреннем долге разумного человека и всем прочем, на чем мы стояли, стоим и что теперь, пользуясь ситуацией, Горзах и ему подобные хотят заменить слепым повиновением, потому что так легче им, так вроде бы эффективней в кризисной ситуации. Эффективней, не спорю, только в капкан попасть просто, а выбраться из него... И ты, ты оказался слабым звеном! Думаешь, Горзах уничтожил тебя походя, случайно выбрал для этого такую минуту? Ничего подобного, ему нужна была громоносная, на виду у всех, кара, яркий пример неповиновения приказам и сурового, но справедливого за то наказания. Чтоб другим неповадно было. Уж если ты сам признал справедливость отстранения и сложил ручки, то... А что ты, в сущности, сделал? Спас человека.

— Вопреки приказу! Не один же Горзах его принимал...

— А хоть бы и вопреки! Жизнь человека, долг помощи — это ли не высший приказ, который отменяет все остальные? Подожди, подожди, дойдем и до запрета, который ты нарушил... Чем он, в сущности, вызван? Страхом. Да, да, и не смотри на меня так. Страхом, потрясением, шоком. Еще бы, такое вдруг навалилось! А тут еще озверелые орды, чего доброго, вторгнутся. Отсюда самое простое решение: наглухо изолировать. Избавиться от помехи, потом разберемся. А если трезво взглянуть? Три-четыре анклава действительно опасны, там всех этих, с саблями и автоматами, лучше попридержать, чтобы не натворили беды. А в остальных случаях? Там, если разобраться, бедные, несчастные люди, без медицинской помощи, без запасов пищи, наши, между прочим, прапрабабушки и прапрадедушки. А мы их — в резервацию! Именно так, будем называть вещи своими именами. Некогда нам с вами разбирать-

ся, еще заразу к нам занесете, вшей в наше светлое-то будущее натащите, зарежете кого-нибудь... Верно, все это возможно, но ведь со стыда можно сгореть, так поступая! А все шок. В угаре мы, брат, в угаре, поэтому, кстати, и Горзаху внемлем. Запрет-то — насквозь ошибка! Или ты думаешь, что Совет не может ошибиться, человечество не может ошибиться? Еще как может. И ведь для обихода этих несчастных, более, чем мы, несчастных, всего-то и требовалась какая-то сотая доля наших общих усилий. Неужто бы не наскребли? Нет, дорогой, в угаре мы, в угаре, отсюда и эта ошибка. Знаешь ли ты, сколько решений Совету приходится принимать ежедневно, срочно, немедленно? Не знаешь. А я поинтересовался. Ужас! Тут физически невозможно продумать все, как надо. И не то удивительно, что мы делаем глупости, а то, что их, в общем, не так много...

Алексей был на пределе, от него только глаза остались, в таком неистовом состоянии он действительно мог пройти по воде, как посуху. Он был прав: мы уже не были сами собой, мы давно стали другими, ибо жили в напряжении, которое выпадает разве что солдатам в бою.

Я поскреб подбородок.

— Знаешь, с этой позиции я как-то не вдумывался... Не до того было... Вероятно, ты прав, только к чему это теперь? После драки кулаками не машут.

— Верно. — В глазах Алексея мелькнула ирония. — Но, во-первых, эту «драку» уже обсуждает все человечество.

— Как? Ты добился...

— Не я. Твой отряд разведчиков потребовал немедленной связи с Советом и со всем человечеством. Весь, во главе с вашей Жанной д'Арк...

На глазах у меня выступили слезы.

— Во-вторых, — продолжал Алексей, — уже ясно, что большинство на твоей стороне. Повелительные замашки Горзаха и до этого обратили на себя внимание, так что с тобой он крупно просчитался. В-третьих, все подумали о людях прошлого, как следует подумали... Полагаю, что тот приказ уже отменен. В-четвертых, у нас не оказалось дублера.

— Как это — не оказалось? А Нгомо?

— Нгомо, видишь ли, заболел. А другого дублера нет, не успели подготовить.

— Нгомо заболел?! — Я вскочил. — Чем?!

— Да уж не знаю чем. — Алексей отвел взгляд. — Заболел, и все.

Я не верил ушам. Чтобы Нгомо, нестигаемый Нгомо, заболел, да еще в такой миг? Этого быть не могло!

И вдруг я понял. Ноги ослабли, я опустился на землю.

— Спасибо, ребята... — только и мог я выговорить.

— Твое «спасибо» — это дело, которое ты еще и не начал, — сухо сказал Алексей. — Мы тут собрались все, кто проектировал, строил, и обдумали, как быть. В конце концов, за свое дело ответственные мы. Короче, пошли. Твои переживания нас больше не интересуют. Учти, если медики придерутся...

— Этому не бывать! Особенно если ты дашь мне минутку.

— Зачем?

Ни слова не говоря, я скинул одежду. Вода обожгла холодом, это было то, что надо. Вниз, все глубже и глубже, тело ввинчивалось, преодолевало тугое сопротивление воды, она смывала всю душевную накипь и гарь, расступалась под натиском мускулов, безраздельно повиновалась мне, ничто более уже не могло противостоять моим усилиям, мир был прекрасен даже своей темной, как эти глубины, трагичностью.

В свой рывок я вложил столько энергии, что руки по инерции глубоко ушли в донный ил. Теперь вверх! Время иная среда, ну и что? Я не один, никогда не был один и не буду, и сколько бы вселенных ни окружало нас, они расступятся перед нами, как эта тугая, холодная, вечная вода, к которой боязливо подступаешь в младенчестве и которая затем дарит радость.

Навстречу рванул свет дня, я вылетел из воды по поясу. Не взмыть бы ненароком в небо... Алексей, охапкой неся одежду, шел не поднимая головы вдоль берега, и было невозможно понять, что он думает.

— Эгей! — закричал я, устремляясь наперерез.

Вода забурлила под ударами рук, качнулась крутыми отвалами, волной накатила на берег, я вышел в этом всплеске, привычно унял биение сердца и шагнул к Алексею.

— Можешь проверить пульс.

— Верю. — Он, не глядя, швырнул мне одежду. — С атлетизмом все в порядке.

— Как и с техникой, — отпарировал я. — Суть теми же мускулами.

Алексей безмолвно покачал головой.

— Все-таки не верится, что Горзах хотел стать над нами, — сказал я, одеваясь. — Не могу представить, чтобы в наше время...

— В наше ли? — задумчиво сказал Алексей. — Кризис есть кризис, он всех отбрасывает назад, в прошлое.

Я кивнул. Что верно, то верно.

— Дело не в Горзахе. — Носком башмака Алексей наподдал камешек. — В нас. Собственно, кто мы есть? Клеточки сверхорганизма, именуемого человечеством. Чем сложнее общество, тем сильнее взаимозависимость его членов, тем выше слаженность и, стало быть, жестче связи. Тенденция муравьизации — вот что мы объективно имеем. Но, — он поднял руку, — столь же объективна, по счастью, другая, прямо противоположная тенденция. Прогресс невозможен без новаторства, а для новаторства нужна творческая, никакая иная, личность. Столь же неизбежен рост ответственности каждого за всех, необходим все больший интеллект, нужна все большая самодисциплина, ибо ошибка муравья не трагедия для муравейника, а глупость человека, в руках которого уже космическая мощь, может погубить планету. Противоречие! Жесткая взаимозависимость, которая стремится превратить человека в специализированную клеточку сверхорганизма, а с другой стороны, наоборот, необходимость предельного саморазвития личности как творца и гражданина. Так все и балансирует на лезвии... Стоило обстоятельствам измениться, тут-то и наступил час Горзаха. Нужный человек в кризисной ситуации, необходимейший! Прекрасный организатор, волевой командир, замечательный тактик, сгусток энергии и так далее. Властолюбивый, как такому характеру и положено, сконцентрированный на одном и потому, при всей мощи ума, ограниченный. Ему стали охотно повиноваться, так надо в бурю, это разожгло его честолюбие... Прошлое не умерло, оно дремлет в

нас, а в нем не только мудрость, есть и безумие. Верно было сказано: не бойся природных катастроф, бойся духовных, от них человечество страдало горше всего!

— Ну, это нам не грозит, — возразил я. — Не то общество, не те люди. Жаль Горзаха!

Алексей фыркнул.

— Он был одним из нас, между прочим, и, конечно же, не хотел зла! Ладно, не о нем печаль, ему помогут, уже помогли. А вот ты вскоре останешься один.

— Это ты к чему? — Я насторожился.

— На всякий случай. — Он посмотрел на меня долгим испытующим взглядом. — Ты очутишься в ином не только физическом, но и нравственном времени. Один. Три шанса из пяти; этот внешний, что ли, риск мы видим отчетливо. А как с внутренним, душевным? Ну вот, — голос его споткнулся, — теперь я, кажется, сказал все.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

На стартовой площадке все было так, словно я ее и не покидал. Хотя нет, не совсем. Стало меньше людей, никто уже не сновал с тестерами и инструментами, нигде ничего не шипело, не искрилось, только киберы по-прежнему толпились вокруг аппарата, трогали его поверхность усиками антенн, точно принюхиваясь к содержимому каплевидной машины, которая должна была унести меня в прошлое.

Завидев нас, генеральный конструктор, чья спецовка, кажется, стала еще более замызанной, махнул рукой, и киберы, вмиг перестав принюхиваться, принялись отключать и оттаскивать кабели. Все было предельно буднично, и я понял, что обойдется без напутственного церемониала и даже без последней проверки моих знаний, где какая кнопка находится, поскольку отпущенное на это время съел инцидент с Горзахом. Впрочем, обрадоваться я не успел, ибо меня уже поджидали медики, а там, где начинается медицина, кончается свобода воли.

Эя уже была в медотсеке — спящая. Накануне мы много спорили, как с ней быть. Мне доказывали, что везти ее, бод-

рствующую, все равно что отправиться с ребенком, который интереса ради в любой миг способен щелкнуть каким-нибудь переключателем. Я же настаивал, что побратим выполнит любую просьбу, даже пожертвует собой, не задумываясь, так что Эя, следовательно, просидит не шелохнувшись, если я возьму с нее слово. Честно говоря, я не был в этом столь уверен, реакция Эи на окружающее, как показал опыт этих дней, часто сбивала с толку, но мне претила сама мысль везти ее усыпленную, словно какого-то звереныша. Раз за разом я убеждался, что ум Эи под стать моему, только он иной, не детский, но и не взрослый, а просто иной, иногда понятный в своих суждениях, чаще загадочный и непредсказуемый. В пещерах она, кстати говоря, никогда не жила, ибо была человеком не палеолитической, а энеолитической культуры. Наш спор решили срочно подключенные к обсуждению историки, которые дружно склонились к мнению, чей смысл нетрудно было свести к вариации на тему «береженного бог бережет». Нет, им тоже нелегко было принести приговор, они колебались, но их тоже подавляла ответственность. «Тогда почему бы ее еще не сковать цепями?» — заметил я с сарказмом, но в конце концов был вынужден отступить.

Теперь она лежала подле меня, тихая, усыпленная, а над нами прохаживались паучьи лапы диагноста, который просвечивал, замерял и оценивал все, что только можно замерить в человеческом организме. Никакой боли, но ощущение не из приятных, когда над тобой распростерся этакий мигающий огнями осьминог. Пожалуй, историки были правы. Пожалуй, Эя такого не выдержала бы, сколько бы я ее ни просил, и, чего доброго, врукопашную схватилась бы с диагностом.

Мне и то было немного не по себе, хотя я не раз встречался с диагностом. Такова уж, видимо, человеческая природа, что, доверяя машине, мы ее все-таки чуть-чуть побаиваемся, во всяком случае, века привычки не изгладили это чувство до конца: можно сказать «брысь!» киберу и тут же о нем забыть, можно с тем же безразличием усесться за штурвал обычного космолета, но когда машина тебя изучает, в душе поднимается что-то дремучее. Самого обследования я, кстати сказать, почему-то не боялся, хотя после всех передрыг что-то вполне могло отклониться от

нормы. Видимо, как всякий молодой человек своего времени, я был несокрушимо уверен в надежности своего здоровья и психики. Так или иначе, надежда эта не подвела; диагност подтвердил, что со мной все в порядке, правда, тут же добавил, что в иных условиях он настоял бы на длительном отдыхе.

Лица окружающих посветлели, кто-то даже облегченно вздохнул. Я не сразу понял оговорку диагноста, потом сообразил, в чем дело. В программу аппарата ввели дополнительное условие! Ему приказали сверить мое состояние с теперешним среднестатистическим индексом здоровья юношей, теперешним, а не тем, который еще недавно считался нормой. Ничего хорошего в этом не было. Куда дальше! Возможно, что без такого уточнения программы обследования диагност стал бы браковать всех подряд, всех нас, усталых, живущих на нервах, непохожих на себя прежних.

Самое удивительное, что нервно-физическую годность Эи диагност признал без всякой оговорки. Вот это устойчивость! Впрочем, в ее время выживали сильнейшие. К тому же, чем тоньше нервная организация, тем она уязвимей, хотя у нее, конечно, есть свои преимущества.

Я встал, оделся, проследил за тем, как одевают Эю. Умытая, причесанная, в добротном костюме разведчика, она более ничем не отличалась от девушек нашего времени, — пока спала, разумеется.

Никаких торжеств, как я и предполагал, не последовало. Два-три крепких объятия, это все. Мне помогли залезть в люк, подали туда тело Эи, помахали рукой, я удивился, сколько собралось народу. Последним исчезло взволнованное лицо моего голубоглазого наставника, который, привстав на цыпочки, беззвучно шептал что-то, может быть, давал последние советы. Входная мембрана затянулась.

Я привязал Эю, затем себя, огляделся. Внутри кабины ничто не напоминало о недавнем разоре; все действовало, что надо — светилось, что надо — подмаргивало крохотными огоньками, успокоительно тикало, нигде ни царапинки, ни пылинки, словно грубый инструмент никогда ни к чему не прикасался, а все вышло само собой, без мук овеществилось, как было задумано. Впрочем, особо присматриваться было некогда, да и неза-

чем, все было и так известно даже на ощупь и, само собой, трижды перепроверено. Следя за индикаторами, я отвечал «в норме, в норме!», то есть делал примерно то же самое, что недавно, обследуя меня, делал диагност.

Наконец, пошел отсчет предстартовых секунд, такой же обычный, как если бы предстояло отправиться на соседнюю планету.

Одиннадцать, десять...

Моряков в неведомое провожали долгими богослужениями, космонавтов — напутствиями и цветами, меня...

...Восемь, семь, шесть...

Эскалация будничности?

...Пять, четыре...

Нет, тут, пожалуй, другое. Мореплавание совершенствовалось тысячелетиями, все развитие авиации до прорыва в космос заняло немногим более полувека, ну а хронавтика... Все ускоряется, решительно все.

...Три, два...

Посторонние мысли, как всегда, помогли перебороть волнение. Только на мгновение при слове «один!» по сердцу прошлась мохнатая когтистая лапа.

Еще секунда, и я исчезну, провалюсь туда, откуда, как из царства мертвых, еще никто не возвращался.

...Ноль!

Я ждал толчка, полета, удара или мгновенной гибели.

Ни звука, ни вибрации, ничего.

Неудача?

Сердце окатила тревога. Мне вдруг почудилось, что я уменьшаюсь, что внутри меня сокращаются легкие, сердце, все, и так же точно уменьшаются кресла, табло и переключатели пульта, сжимается сама кабина, хотя если так было в действительности и все сокращалось соразмерно, то заметить этого я никак не мог.

Выходит, началось?..

Длилось это мгновение, но ощущение было жутковатым. Настолько, что в поисках поддержки я глянул на Эю. Ее тело по-прежнему обвисало на ремнях, но глаза были открыты и смотрели невидящим взглядом сомнамбулы.

Я не успел ни испугаться ее взгляда, ни удивиться, потому что сразу же началось то, к чему никто из нас не был готов, ибо ничего подобного теоретики представить себе не могли, а счастливо вернувшиеся из времени животные, понятно, безмолвствовали.

Как бы все это выразить?

Рациональное объяснение инаковости, в которой я очутился, бессильно передать мои впечатления, но без него вряд ли можно обойтись.

Все, что ни на есть в этом мире, подобно фотопластинке, и бросовый камешек под ногами хранит в себе сведения о прошлом Земли, в нем запись о магматическом пекле и горных ветрах, вспышках сверхновых звезд и мхе, которым он некогда был покрыт. В нем же вся физикохимия, по законам которой он возникал, существовал, менялся. Такова скрытая душа всех вещей. Неузнанная, она присутствует и в нас, причем мы единственные, кто способен внести в эту запечатленную вселенную факел и прочесть при его свете тайные страницы. Так перед разумом открывается двоящийся путь познания — вовне и в себя, в мир и в его самоотражение. По виду оба направления противоположны, а на деле едины, как ветви и корни дерева, одни из которых тянутся к свету, а другие уходят во мрак. Познавая, мы узнаем, и наоборот. В этом, по теории Иванова—Бодченых, секрет интуиции, тех «внезапных и опасных», как их назвал де Бройль, скачков ума, которые без видимого участия логики вдруг приводят к открытиям. Дотоле разрозненные факты так внезапно, естественно и самоочевидно укладываются в рисунок истины, будто в подсознании для них уже существовала канва, матрица. Она и была, поскольку мы в мире, но и он в нас. Логика и прозрение неразделимы, как шаг правой и левой ноги, только для самого разума одна сторона этого движения зрима, точно ее высвечивает солнце, а другая погружена в неразличимую тень.

Теория познания-узнавания прояснила, каким образом древние мыслители без точного инструмента и опыта смогли представить атомную структуру вещества, как они вывели происхождение человека от рыб, догадались о сложности вакуума и о многом другом, что подтвердилось лишь спустя тысячелетия.

Однако Иванов с Бодченом, как и их последователи, спасовали перед такой загадкой. Жизнь развивалась в пространстве и во времени, свойства того и другого вроде бы одинаково должны были запечатлеться в ней, следовательно, познающий мозг вроде бы одинаково способен проникнуть в глубины того и другого. Но если мысль очень рано прозрела тонкие, скрытые, неочевидные свойства и особенности пространства, то в познании времени она словно наткнулась на глухую преграду. Время абсолютно, всюду одинаково и всюду едино: так думали до двадцатого века. Почему здесь все так затормозилось? Ни малейшего узнавания, ни одного самого крохотного прозрения! Неужто мозг, это изумительное зеркало глубинных черт природы, здесь не запечатлел ничего?

Похоже, я получил ответ... Но какой! Истина приоткрылась, едва я углубился во время. Мы, как принято, искали его отражение в психической яви, а оно, оказывается, давало о себе знать в сновидениях!

В никем не испытанном состоянии перехода из настоящего в прошлое я узнавал знакомое, то, что уже мелькало в сновидениях, где время причудливо растягивалось и сжималось, рвалось, наслаивалось, искажалось, выворачивая и тасуя причинно-следственные связи. В хаосе набегающих образов сна, как я теперь понимаю, и проявлялись скрытые отражения временных свойств мироздания. Просто мы их не там искали: ведь сновидения, мнилось нам, — это заведомая фантастика, антипод действительности, что может скрываться за их абсурдом!

Тем более что во сне невозможна никакая активная деятельность, в том числе познавательная. Невозможна? Даже убедившись, что во сне протекает интенсивная творческая деятельность, что там созревают образы, которые прямо ведут к картинам, стихам, научным открытиям и изобретениям, мы так и не сделали должного вывода, продолжая считать явь и сон противостоящими друг другу, как день и ночь.

Обо всем этом я, конечно, подумал задним числом. Тогда было не до этого. Все перемешалось, как в сновидении. И не так, как в сновидении, все же не так... Но похоже. Я не мог отличить мига от вечности. Не ощущал тела. Близкое становилось далеким и наоборот. Огоньки индикатора распускались

цветами. Эя то пропадала, то возникала, причем я знал, что она сидит рядом, но это не мешало мне видеть ее перед собой, и не в той одежде, в какой она была теперь, а в прежней юбочке. Пространство кабины деформировалось, мутнело частями, иногда двоилось, как в зеркале, делалось прозрачным, хотя пульт, даже будучи лучом, ни разу не исчезал, оставался все-таки пультом, хотя и необычным. Более того, я осознавал показания приборов, даже мог их контролировать. Помнил о кнопке в подлокотнике, которую должен был нажать в случае угрозы обморока, знал, что этого ни в коем случае нельзя делать, только не знал почему.

Ума не приложу, как одно сочеталось с другим. Во всяком случае, то был не сон. Такой была явь! Я знал, что не сплю (приборы затем это подтвердили). Все воспринималось как должное, я узнавал это реально-нереальное состояние, когда пространство может причудливо меняться и ничего особенного в этом нет, когда что-то способно как угодно возникать и исчезать, быть и не быть, являться из прошлого и вместе с тем принадлежать настоящему, поскольку в действительности нет ни того, ни другого, как нет ни «до», ни «после», вернее, есть, но меж ними какая-то совсем иная связь, чем та, к которой привык человек. Мне даже казалось, что я вот-вот пойму, каким образом мертвое прошлое может сосуществовать с настоящим и почему в этом нет никакого парадокса.

Страх не было, происходящее не давило кошмаром. Это странное, никем еще не изведенное состояние, в котором я находился, будило, повторяю, воспоминания о чем-то похожем, естественном и нормальном. Что ж, в конце концов, невесомость свободного полета присутствовала в наших сновидениях задолго до того, как человек вышел в космос. Сколько еще подобных неявных знаний, быть может, таится в нас! Лишь изредка возникало то слабое удивление, которое мы порой испытывали во сне, когда, например, говорим с давно умершим человеком и удивляемся не тому, что он жив, а тому, что он в необычном костюме. Примерно такое же недоумение испытал я, когда, почувствовав вдруг жару, потянулся к верньеру климатизатора, а он прокрутился прежде, чем его коснулась рука. Легкое недоумение — не более того! Мимолетное, оно сразу же

сменилось пониманием, что так и должно быть, раз я двигаюсь против хода времени.

Более связно и подробно рассказать о том, что было, я не могу, напрасны любые старания. Да, вот еще что: свет решительно всех источников, помнится, дважды менялся от красного до фиолетового и обратно, как если бы я представлял собой звезду с чудовищно переменной массой.

И последнее, может быть, самое главное. Отснятые кадры подтвердили многое из того, что видел глаз. А раньше, при запуске животных и автоматов, камеры ничего подобного не фиксировали!

Вот так...

Все оборвалось сразу, исчезло, будто ничего не было. Я не успел глазом моргнуть, как пульт снова стал пультом, а не цветущим лугом, кабина — кабиной, а не перекрестком мимолетных видений. Рядом со мной как ни в чем не бывало, уронив голову на плечо, мирно посапывала Эя, и гонимый климатизатором ветерок ласково пушил разметающуюся гриву ее волос.

«Пробуждение» сопровождал легкий толчок. Аппарат должен был проявиться высоко над землей, чтобы в новой точке своего пространственно-временного существования я не оказался вмурованным в толщу какого-нибудь холма. Толчок означал, что все уже закончилось и автоматика, как положено, тормозит спуск. Прежде всего я взглянул на альтиметр: да, полный порядок.

Порядок чего?

Явь сразу вступила в свои права, но пережитое было еще таким ярким, таким диковинным и, как я теперь понял, таким замечательным, что я подпрыгнул в порыве мальчишеского восторга. Все удалось, мы у цели — и какое открытие! Кто еще так проходил сквозь неведомое, кто?! Такая минута стоит жизни. Я ликовал, слабый свет индикаторов сиял для меня праздничными огнями, мерный обдув климатизатора кружил голову, словно ветер горной вершины. За мной, позади, остались века и тысячелетия, я шагнул за предел, который, казалось, навсегда был положен человеку, живой спускался в исчезнувший мир — что перед этим все легенды и мифы о путешествиях в загробное царство!

Сказки сбываются, одна за другой, все больше и больше, это понял еще двадцатый век.

Мгновение было прекрасно, увы, скептический рассудок не дал им как следует насладиться. Машина «проявилась», это очевидно. Где? Она благополучно спускалась. Куда? Все хорошо. А так ли это?

Не отвлекайся, не отвлекайся, напомнил рассудок, не имеешь права!

Но это неправда, что я отвлекся. Все происходило одновременно: я вспомнил, и радовался, и переживал, и парил в небесах, и беспокоился о будущем в те самые секунды, когда считывал показания приборов. В те самые. И все же рассудок отчасти был прав. Радость притупила восприятие, я не сразу понял, что мне говорят приборы, тем более что они один за другим показывали: норма, норма, норма...

Но не все. И когда смысл очередного сигнала наконец завладел вниманием, это на меня подействовало так, что долгожданный толчок приземления не вызвал в душе ни малейшего отклика. Не веря себе, я зажмурился, снова открыл глаза, словно движение век могло что-то изменить.

Ничего не изменилось. Расходомер показывал убыль энергии вдвое против расчетного.

Вдвое...

И что самое непонятное, счетчик не замер после приземления, на световом барабане стремительно сменялись цифры. Аппарат тратил энергию неизвестно на что.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Молниеносным движением я нажал на все выключатели сразу, то есть продублировал действие автомата, который должен был сделать все за меня и, надо полагать, сделал. Разумеется, сделал, мое вмешательство ничего не изменило. Я и так не сомневался, что кибермозг отключил главный ход тотчас после «проявления» (иначе не было бы и самого «проявления»), просто во мне тлела надежда, что из-за каких-то неполадок тормозная система спуска еще продолжала работать на холостом ходу.

Наивная, конечно, надежда, ведь я не ощущал никакой вибрации. Но не сидеть же сложа руки! Теперь я сделал все, что мог, а световой барабан продолжал вращаться, энергия утекала или ее что-то высасывало из машины, как кровь из сердца.

Но не могло быть такого вампира! Тогда что же случилось, что?!

Наконец бег цифр замедлился. Это не было обманом зрения, расход энергии падал. Подавшись вперед, я с надеждой следил за этим замедлением, хотя оно уже ни на что не могло повлиять.

Все тише, все медленней... Я обливался потом, ничего другого, кроме скольжения цифр, для меня не существовало. Наконец барабан замер. В боковом окошечке цифры продолжали сновать, но это была мелочь, жалкие киловатты, которые тратились на работу кибермозга, на освещение и тому подобное.

Никакого резерва на возвращение не осталось. Более того! Все хитроумные накопители солнечной и ей подобной энергии, которые были придуманы на случай перерасхода, эту убыль могли восполнить разве что за тысячу лет.

Я влип.

Но больше всего в ту минуту меня напугала не перспектива собственной гибели, не провал всех наших замыслов, а полное непонимание случившегося. Энергия не могла исчезнуть неизвестно на что, пропасть незамеченно, но это-то и произошло.

Я высветил график расхода, прокрутил его от момента старта до момента «проявления». Это кое-что дало. Кривая, в общем, соответствовала расчетной, все шло, как надо, до тех пор, пока аппарат не «проявился». Тут она взлетела пиком! И каким... А ведь меня даже не качнуло. Как это прикажете понимать? Очередной фокус времени?

Ответа не было. Но странное дело, знание, когда именно случилась утечка, меня утешило, будто самым главным сейчас было выяснить хоть что-нибудь.

А что я, в сущности, выяснил?

Меж тем в кабине становилось все жарче. Так и должно было быть, корпус хроноскафа должен был при «проявлении» окутаться плазменным облаком и нагреться чувствительно для тех, кто находился внутри. Все было правильно. Думая о дру-

гом, я машинально повернул регулятор, но вместо ожидаемой прохлады из климатизатора дохнуло, как из печи. Система работала наоборот, хотя только что она действовала исправно! Но не могли же спятить законы термодинамики?

Место термодатчиков одно из самых ничтожных на приборной панели, я повернул голову, чтобы рассмотреть их данные, но не успел.

Это навалилось, едва я повернул голову. Ничего не было, ровно ничего, ни звука, ни тени, ни туманного образа, только сквозь броню стен, сквозь всю изоляцию, сквозь все, чем меня оградили, проступил взгляд. Не взгляд, конечно, что-то совсем иное, но в этом была такая темная, давящая, гипнотическая власть, что веки ответили ей чисто рефлекторным движением.

Я зажмурился. Но это не отпустило меня. Огромное, как само время, неразличимое, оно, казалось, высасывало волю, как прежде высасывало энергию, проступая сквозь стены, давило на мозг, сгущало обжигающий воздух до невозможности вдоха. Сознание не затуманилось, а как бы застыло в этой тягучей лаве. В нем ничего не осталось, кроме видения жутко просвечивающих сквозь стены и веки, смутно затягивающих глаз. Не было сил ни закричать, ни вырваться из плена этой черной пустоты, в которой был мрак настойчивого, медленно высасывающего водоворота, лишь чей-то голос вдруг прозвучал в ушах: «Не поднимай век!»

Но что-то еще боролось во мне с наваждением, противилось тому, что обволокло машину и мозг. Я даже знал что: гордость. Не моя, личная, гордость человеческого рода, который все-таки вышел к звездам и был готов идти дальше, какое бы неведомое ему ни грозило.

Внезапно давление ослабло, словно то, что было снаружи, отвлеклось или отодвинулось.

Пользуясь этим, я стряхнул оцепенение, с трудом разомкнул веки и глянул на датчик наружной температуры.

Его зашкалило! Его зашкалило, хотя он был рассчитан на жар вулканической лавы.

Да ведь я просто сварюсь...

Опережая мысль, руки скользнули к переключателям пульта, их движение обморочно отдалось в сердце, но машина уже

рванулась сквозь время, прочь от того чудовищного, что на нее навалилось.

Я прыгнул на сутки вперед и, держа пальцы на переключателях хода, ждал, что теперь будет.

Из климатизатора хлынул морозный воздух, бодряще ожег лицо, в ушах зазвенело, как при рывке из глубины на поверхность. Неудивительно, поскольку стремительно падающая стрелка термометра только что показывала в кабине едва не стоградусную жару.

Мокрой ладонью я отер в три ручья струящийся по лицу пот. Огуманенный, как в бане, воздух отпотевал на стекле и металле, но то уже были пустяки. Что произошло, что навалилось на меня там, откуда я едва унес ноги?

Гадать было бесполезно. Аппараты и прежде не возвращались из прошлого, мне выпал не лучший шанс, но я по крайней мере остался жив.

Пока жив.

Датчик наружной температуры показывал уже нечто приличное, в кабине было еще выше сорока градусов, но климатизатор работал без фокусов, в полном согласии с известными законами термодинамики, так что все вскоре должно было охладиться. Я бегло взглянул на мокро блестящее лицо Эи, которая мирно продолжала спать, только рот был приоткрыт в частом натужном дыхании.

Здесь тоже все было в полном порядке. Откинувшись, я дал себе минуту роздыха. Я уже не боялся, что сквозь стену на меня глянет нечто. Но тень пережитого не исчезла. Я доверял технике, она подвела. Я доверял природе, она наслала на меня ужас. Я доверял науке, она ничего не смогла объяснить. Теперь я мог доверять только себе.

Мог ли?

Я чувствовал себя пылинкой в игре неведомых мне сил.

Ладно, посмотрим, еще не вечер, как говаривал мой прадед, когда я еще ходил пешком под стол.

Наконец климатизатор достаточно охладил и осушил кабину, теперь можно было действовать.

Рука дрогнула, когда я протянул ее к рифленой кнопке включения обзора.

Стены кабины протаяли, в лицо хлынул нежаркий солнечный свет. Он падал с чистого, ласкового своей умиротворенностью неба, освещая черную пустыню пожарища. Все вокруг было выжжено дотла, голо, лишь кое-где торчали обугленные колки пеньков, два или три из них еще курились прозрачно сизоватыми струйками дыма. Ленивый ветерок нехотя мел по кочкам мутные завитки пепла.

Пожарище, просто пожарище. Секунду-другую я сидел, улыбаясь неизвестно чему, следил за кружением гаревых смерчков, наслаждался спокойствием по-осеннему неяркого неба. Дальний обзор с трех сторон заслоняли выжженные скаты холмов, зато впереди все просматривалось на многие километры. Там, за чертой гари, жухлая трава лугов сменялась пестро-желтым лесом. Далее земля как-то сразу и круто вздымалась отрогами гор, темнела откосами скал, высоко на гребнях и пиках сверкала белейшим снегом, который ниже чуть припудривал каменистые склоны. В одном из отрогов что-то дымилось. Над всем возвышалась двузубая, блещущая льдистыми склонами гора.

Пора было будить Эю.

Она, как ребенок, сладко посапывала во сне, что, впрочем, не мешало ей совершенно по-детски подтягивать к себе колени. Трудно было смотреть на нее без зависти. Все увиденное мной снаружи весьма совпадало с тем, что она рассказывала о родных местах, а если так, то ее беды уже закончились. Бесхитростно, не ведая ни о чем, она дважды пересекла время, пожила среди своих отдаленных потомков, видела грядущее своего рода и с тем же незамутненным сознанием теперь возвращалась домой. Счастливая!

Я выключил обзор, достал ампулу, снял с нее протектор и торцом приложил к запястью Эи. Бурая жидкость всосалась, не оставляя следа, минуту спустя по телу девушки пробежала дрожь, глаза раскрылись.

Тонкая мимика чувств, как я уже говорил, не была свойственна Эе, этим она тоже мало чем отличалась от ребенка. Так было и в этот раз. Она подняла отуманенные глаза, мгновение — и сон в них пропал. Еще мгновение — ее взгляд встретился с моим, надо полагать, далеко не безмятежным. Легко догадаться, что она в нем прочитала и какую работу проделал

ее не отягощенный абстракциями ум. Эя издала воинственный клич, ее рука инстинктивно рыскнула в поисках ножа, дубинки, любого оружия и, не найдя лучшего, ухватила за мой разрядник; нам что-то грозит, вот как она все это поняла и тотчас изготовилась к бою.

Благо враг был, конечно же, рядом.

Он был, это я ничего не видел и не понимал, она же с ходу сообразила, какова опасность. Вот вам, мудрые мои современники, задача: что увидела и поняла Эя?

Я, само собой, догадался лишь задним числом. Тесная кабина хроноскофа, разумеется, показалась Эе пещерой. А в пещерном сумраке, понятно, могут скрываться хищники. И ведь мерцающие огоньки индикаторов так похожи на зрачки притаившихся в засаде животных!

Она успела замахнуться разрядником, словно дубинкой. Мне стоило немалых трудов ее удержать и успокоить.

— Нет же, нет, — уговаривал я ее, когда она наконец затихла. — Это не глаза, видишь, я их трогаю, видишь? Можешь сама прикоснуться...

Она уже поняла свою ошибку, но окончательно ее убедило лишь осязание. Она тут же потеряла к огонькам всякий интерес.

Где мы?

Я уже справился с невольно потрясшим меня судорожным смехом, вложил разрядник обратно в кобуру и включил обзор. Ох, Эя, Эя, с тобой не соскучишься, и что бы я сейчас без тебя делал?

Хлынувший свет заставил ее зажмуриться и заслониться, но уже мгновение спустя она радостно вскрикнула:

— Взах! Взах!

Так, еще в моем времени, она называла двузубую, самую приметную вершину родных мест. Больше никаких сомнений не осталось: мы находились там, куда стремились попасть.

Я заранее, чтобы не пугать Эю, отстегнул привязные ремни, она могла свободно двигаться, и, конечно, она рванулась наружу. И, конечно же, ее руки уперлись в стену.

Радость тут же сдуло с ее лица. Она еще раз, уже с недоверием, коснулась стены, такой прозрачной для взгляда и такой непроницаемой на деле, и рассерженно мотнула головой.

— Обман, — сказала она с презрением. — Го-ло-графия.

Вот это психика, подумал я с завистью. Сколько на нее обрушилось, и все скатилось, как с гуся вода, лишь каплей-кой задержалось случайное слово «голография». Вот все, что Эя вынесла из нашего мира чудес науки. И то лишь потому, что по ее описаниям мы пытались смоделировать облик местности, показывали Эе изображения, чтобы она корректировала наши попытки, и попутно, само собой, отвечали на ее недоуменные вопросы. Понять она, видимо, ничего не поняла, но, похоже, быстро связала увиденное с эффектом отражения предметов в спокойной воде и вполне этим удовлетворилась.

Ладно, это не важно, пусть посидит надув губы. Место, значит, то самое. Время — осень, тоже сходится. Но почему Эя словом не обмолвилась об этом столбе дыма в отрогах хребта, приметная же деталь... Броская, такую нельзя запоминать.

— Там что-то дымит, — сказал я. — Что бы, интересно, это могло быть?

— Дракон, — ответила Эя.

Так, так, дракон, стало быть... Что ж, дракон так дракон, огнедышащий, надо думать. Фумарола какая-нибудь, ничего удивительного. Тогда молчание Эи понятно. Дракон есть дракон, вряд ли его можно считать приметой местности, он же грозное существо, злой дух, который летает ночами, кушает маленьких непослушных детей или что-то там еще придумала их фантазия... Я в своем хроноскофе тоже гоюсь на роль дракона, могу в этом качестве поспорить с любой фумаролой. Раз уж мне придется жить до скончания века, то, безопасности ради, не установить ли таким манером собственный культик? Я и Снежка, дракон и драконесса, попробуй кто-нибудь подступить... Из Эи можно сделать превосходную жрицу, она бы собирала дань с окрестных племен. Неплохая, что и говорить, перспектива, черный, не хуже суеверия, юмор.

— Нет, Эя, — проговорил я вслух. — То, что ты видишь, не голография, не обман. Горы настоящие, лес настоящий, все настоящее. Вот, убедись...

Я отомкнул мембрану и вышел. С коротким вскриком, едва не сбив меня с ног, следом рванулась Эя. Мои ботинки глубо-

ко ушли в пепел (говорю о своих, потому что Эя успела избавиться от этих непонятных и обременительных штуковин). В ноздри ударил мерзкий запах гари. К ногам, ластясь, подкапал черный смерчик, свернулся в порошистый клубок и пошел гулять дальше.

По лицу Эи текли слезы. Выскочив, она сразу упала на колени, ласкающим движением погладила черную землю. Теперь она верила, что глаза ей не лгут, и рвалась к дому, мне стоило немалых трудов вернуть ее в хроноскоп и убедить, что до становища куда быстрее добраться с помощью «магии». Упоминание о магических силах, которыми я наделен, ее убедило. Конечно, мы познакомили ее с нашими машинами, она вроде бы даже поняла, что все это не наваждение, но в ее уме плохо укладывалось, что «скалы» движутся по воле человека. Вот летающий человек — это дело другое, в это она быстро поверила. Еще бы! Сказки зародились в глубокой древности, в них герой мог летать и летал, тут была прямая аналогия с птицами и видениями сна. Но чтобы огромные скалы мчались по небу с людьми, чтобы эти бездушные громады исполняли желание? Это так и осталось вне представлений, хотя я, конечно, не прав, называя скалы «бездушными»; для Эи все на свете было одушевлено, только по-разному. Возможно, именно это позволяло ей более или менее спокойно воспринимать чуждеса нашего мира.

Но доверяла Эя только привычному и неохотно вернулась в хроноскоп. Усадив ее и взяв слово, что она ни к чему не прикоснется, я двинул машину. Конечно, до стойбища, где жила Эя, быстрее всего можно было добраться по воздуху, но я не хотел привлекать внимание, тем более являть собой «дракона в небесах», и, приподняв аппарат на гравиподушке, тихо повел его к распадку леса. Разумеется, Эя не поняла, почему я избрал окольный путь, и заволновалась. Я не стал ничего объяснять, просто сказал, что мы можем двигаться только так. Она не возразила, но, похоже, сделала для себя кое-какие выводы. Мое настроение Эя чувствовала хорошо, и оно, видимо, вернуло ее к первоначальной догадке, что где-то неподалеку спрятался враг, столь же могущественный, как я сам. Если бы я не взял с нее слова сидеть неподвижно, какой-нибудь рычаг,

боюсь, был бы на всякий случай сломан и превращен в оружие. Иначе зачем ей было бы братья за ботинок? Озираясь по сторонам, она держала его в руке и при этом что-то шептала. Я так и не понял, чем он был для нее. Защитой вроде креста и распятия или оружием, тем более магическим, что ботинок оставался частичкой нашего, безусловно, таинственного и могучего мира? Не знаю, не знаю, что намешалось в ее голове; легче понять инвариантность перехода во времени, чем это.

За машиной, пока мы пересекали пожарище, резвой стайкой бежали клубы черной пороши. С этим шлейфом мы и въехали в лес, но там они не сразу рассыпались. Чтобы не продираться сквозь чащу, я вскоре вывел машину к ручью, мелкому и такому прозрачному, что были видны не только камни на дне, но и продолговатые рыбешки, которые стремительными брызгами серебра кидались врассыпную еще до того, как их накрывала тень машины. На склонах пламенела осень, в кипучих изломах ручья дробилось солнце, мир был прекрасен, чего, разумеется, нельзя было сказать о моем настроении.

Я спешил, как только мог, однако извилистые распадки и чащоба водоразделов, которые приходилось пересекать, задерживали движение, отчего прошло не менее часа, прежде чем мы приблизились к цели. Эя едва сдерживала возбуждение, да и я тоже. Наконец позади остался последний завал. Чтобы не обнаруживать себя, я притормозил машину метрах в десяти от перегиба возвышенности, завел ее в густую тень подлеска, вылез сам и выпустил Эю. Несколько шагов — и мы оказались на краю гребня.

Внизу в солнечной безмятежности нежилось продолговатое озеро, к его берегам подступали березы и сосны. Воду полосами морщила блескущая рябь. Ток-ток-ток! — где-то неподалеку стучал дятел, которого ничуть не волновали всякие там хроноскафы. Меж соснами противоположного берега просматривались конусы хижин, несколько узких долбленок было прикнуто в камышах. Все в точности отвечало описаниям Эи. Сердце забило так гулко, что я ухватился за ствол дерева: там, в одной из хижин, должна была находиться Снежка.

Могла находиться, тут же остерег я себя.

— Вот ты и дома... — сказал я Эе.

Ответом было молчание. Ноздри Эи раздувались, словно она принюхивалась, вид у нее был скорее хмурый, чем радостный.

— В чем дело? — встревоженно спросил я.

Лицо девушки, по которому скользила зыбкая тень листвы, казалось вырезанным из потемнелого дерева. Я схватил бинокль. Что ее повергло в столбняк? Люди покинули стойбище? Мы попали не в ту осень? Изображение прыгало, от волнения я не сразу поймал то, что хотел. Наконец мне удалось справиться с оптикой.

Постройки оказались сложнее, чем это виделось издали, каждая хижина представляла собой равноугольную спираль, такая их геометрия благоприятствовала сохранению тепла центрального очага и оттоку дыма наверх. Там, где серые слегги стен, сходясь на конус, собирались в пучок, они были черны от сажи и копоти. Машинально я отметил поразившую меня деталь: последовавшие за палеолитом тысячелетия отвергли эту спиралевидную, как у ракушек, планировку жилищ, зато ее возродило наше время, на совершенно ином, разумеется, качественном уровне, ведь наши эмбриодомы тоже обрели сходство с ракушками...

Возле одной из хижин не то дрались, не то возились лопухие собаки. Затем в поле зрения вдвинулись самые обычные, грубо сколоченные качели. Далее за кустами просматривался резной столб, очевидно, какой-то тотем; глубокие затесы создавали свирепое подобие человеческого лица, провалы губ, похоже, чернели запекшейся кровью. Я содрогнулся при мысли, чья это может быть кровь, и поспешил подавить отчаяние.

Люди здесь были. На тропинке возникла похожая на бабу-ягу старуха в облезлой, мехом наружу, накидке, с мотающимся на дряблой шее костяным ожерельем и палкой в руках. Спешеее морщинами лицо выглядело маской, так густо его покрывала черно-багровая то ли раскраска, то ли татуировка. Старуха приостановилась, ее подбородок затрясся, по-лягушачьи приоткрывая провал беззубого рта. Прослеживая ее взгляд, я сместил бинокль и увидел голого пузатого ребятенка, который справлял малую нужду и, заслышав голос, стремглав припустил к хижине. Туда же заковыляла старуха. Нет,

отвернула к другой, самой высокой хижине. Стойбище жило, там вроде бы все было в порядке.

Я опустил бинокль и нетерпеливо взглянул на Эю. Ее глаза темно блестели, руки, точно сдерживая крик, были прижаты к груди.

— Иду, — сказала она отрывисто. — Жди!

— Снежка... Она...

— Увижу, увижу!

— Твои близкие там?

— Да, да!

Она дрожала от нетерпения, мыслями была уже там, в хижинах, все остальное, казалось, ее ничуть не волновало, но это было не совсем так.

— Твой враг не нападет? — спросила она внезапно.

— Нет, — ответил я со всей уверенностью, на которую был способен. — А что?

— Тогда жди. Не показывайся.

— Хорошо. Когда ты вернешься?

— Не знаю. День ежа укрытен и долог!

Лингвасцет все переводил исправно, но был ли это разговор на одном и том же языке? Я не успел ничего уточнить, Эя скользнула вниз, сбегала бесшумно, как тень, и тут же пропала, будто растворилась в воздухе.

Снова я обнаружил ее, когда она уже плыла по озеру. Одежду она, видимо, скинула на берегу, потому что на ней, когда она вылезла, не оказалось ни лоскута. Выйдя, Эя отряхнулась, и, вопреки моим ожиданиям, не взбежала наверх. Некоторое время она зачем-то принюхивалась к своим мокро струящимся волосам, затем нарвала какую-то траву, втерла ее в волосы, прополоскала, затем, сев на корточки, принялась разрисовывать себя глиной. Я ожидал, что появление Эи будет замечено и на берег высыпят ее соплеменники. Никто не появился. Эя наконец закончила свой ритуальный, надо полагать, туалет и медленно, каким-то непонятным зигзагом, двинулась к самой большой и высокой хижине, куда было прошла старуха.

Наблюдая в бинокль, я ждал, что будет дальше. Крики изумления, радостный шум? Эя скрылась. Все было тихо.

Впрочем, так длилось недолго. Несколько минут спустя по тропинке просеменила уже знакомая мне баба-яга. Гортанно,

с надрывом прокричала что-то, лингвасцет ничего не перевел. Задохнулась от усилия, старчески обмякла. Ей могло быть и сто, и сорок лет, люди ее времени стареют быстро. Наконец она перевела дыхание и прошла к идолу. Куст мешал видеть, что она там делает. Похоже, старуха разожгла костер, так как вскоре там взвился дымок. И, словно это была команда, стойбище ожило. К идолу потянулись люди. Трудно было различить, кто молод, кто стар, кто мужчина и кто женщина, так одинаково были разрисованы лица и однотипны одежды. Все шли с оружием в руках. Кое-кто вроде бы с беспокойством поглядывал на небо. Детей в этой толпе не было.

Все сгрудились возле костра. Сомкнувшиеся спины, вдобавок кустарник, не позволяли видеть, что там происходит. Отдельных слов нельзя было разобрать. Дым стал гуще, повалил клубами. Иногда в бинокле возникали отдельные, ничего мне не говорящие из-за раскраски лица, словно там двигались не люди, а какие-то непостижимые насекомые, которые приняли облик людей. От нетерпения я переходил с места на место, даже залез на дерево, но там мне помешала листва. Впрочем, Снежка вряд ли могла участвовать в этом таинстве. Вообще надо было набраться терпения, только так и можно в этой неспешной теперь жизни.

Дым тем временем опал, все стали молча расходиться. Кучка людей двинулась к той хижине, куда зашла Эя. Вскоре снаружи не осталось никого.

Чужая жизнь загадка, доисторическая вдвойне, я так ничего и не понял. Шло время, в поселке ничего не менялось. Лишь изредка пробежали собаки, похоже, еще не научившиеся взбалмошным лаем доказывать свою бдительность и холопскую преданность хозяевам.

Солнце неспешно клонилось к вершинам, так же неспешно росли и удлинялись тени, сонно покачивались лапы сосен, во всем был невозмутимый покой осени, когда уже отцвели все травы, давно вывелись все птицы и звери, когда сама природа словно убаюкивает себя перед долгим зимним забвением. Первое время я беспокойно ходил взад и вперед, затем присел на поваленный ствол. Солнце еще пригревало, в ветвях тонко серебрилась паутина, дятел куда-то убрался, было тихо, лишь в

озере, будто нехотя, плескалась рыба. Дышалось здесь иначе, чем в моем времени, и думалось иначе, пространство не пронизывал обычный и потому незаметный, как фон, ток мыслей и чувств миллиардов людей, который ощущался всегда и везде, в самом глухом и укромном уголке моей Земли. Здесь его не было. Думалось расслабленно. Незаметно для себя я уже смирился с крахом наших надежд, не терзался догадками, которые так напугали меня, все это осталось в прошлом, и скорбеть о потерях не имело смысла, надо было мириться с настоящим. С тем, что этот мир теперь мой навсегда. Мой и Снежки. Только бы она была жива!

Но даже это саднящее беспокойство не перерастало в тревогу. Просвеченный солнцем мир был так безмятежен и кроток, что никакое зло, казалось, не могло сюда вторгнуться, возмутить слитный шорох этих древних сосен, мирный отсвет воды, дремотную тишину хижин. Я знал, что эта видимость обманчива, знал и то, что прошлое, которого я лишился, не отпустит меня, будет болеть и терзать, возможно, совсем придавит тоской по утраченному времени, где было все, чем я жил. Это было возможно, но сейчас душа отдыхала.

И куда мы рвемся прочь от своих истоков?

Иное время, неслитное, вековечное, завладевало мною. Оно незримо присутствовало во всем, было столь же реально, как смиренный опад листьев, как их желтая круговерть в косом предвечернем свете, как последнее тепло солнца в беспечальном небе, где даже суровая нагота снежных вершин смягчалась кротко голубеющей дымкой простора. Прежде я бежал, ежеминутно бежал, только сейчас я это почувствовал. Бег жил в моей крови, до всех потрясений, мною всегда владел стремительный ритм эпохи, прежде я этого не замечал, как не замечают постоянного биения пульса, надо было вылететь на обочину, расстаться со всеми замыслами и надеждами, чтобы почувствовать это.

Мы гнали не одно столетие, гнали так, что ноги прикипели к педалям. Иначе мы не могли. В спину жалили болезни и голод, путь грозил перекрыть обвал экологической катастрофы, от многого надо было уйти, мы спешили уйти — и ушли. Откормленный золотом монополий генерал такая же фигура музея, как закованный в металл рыцарь и троглодит с шипас-

той дубинкой. Хлеб не проблема, когда его можно делать из всего, в чем есть элементы жизни. У конвейера производства давно уже стоят не люди, а киберы, обременительная для Земли индустрия вынесена в космос, и воздух планеты свеж, как на заре человечества. Чего же еще? — сказали бы предки. Мечта осуществилась, живи и радуйся.

Будто когда-нибудь можно достичь всего... Будто мечта не бежит впереди человека. Когда есть хлеб, нужны звезды, близкие и далекие, небесные и земные. А где желания, там и проблемы, там трудности, там бег. Нам бы ваши заботы! — снова могли бы сказать наши предки. Да, возможно. Но когда выясняется, что немыслимые для прошлого ресурсы энергии тем не менее вскоре могут иссякнуть, то одна эта малость не позволяет сладко вздремнуть у речки, и надо штурмовать какой-нибудь вакуум не только ради познания и чисто духовного им наслаждения. А сколько еще подобного, как непросто управление земной природой, как желанна, трудна и необходима эстетизация Земли, как трудно удерживать достигнутое равновесие! Нужны атланты, а человек не рождается атлантом, уж я-то знаю, насколько я сам далек от идеала, я, воспитатель. А тут еще законное и такое естественное желание человечества замедлить чрезмерный бег прогресса, спокойно насладиться его плодами. Только мы пожелали дать себе роздых после всех перевалов и круч, только нас поманил такой ровный, казалось бы, в весенних цветах луг, как все рванулось из-под ног и грянуло хроноклазмами. Так и бывает, когда расслабляешься, когда очень хочешь сочетать достигнутое с тихой безмятежностью древнего, слитного с природой, бытия на земле, такого, как здесь, в этой тишине, в этой невозмутимости дремлющего на солнце селения. Грянувшее не рок, но и не случайность. Или все же случайность?

Я улыбнулся. Напрасные мысли. Что мне до них теперь? Я никогда не узнаю ответа. Отныне мне жить здесь, среди этих сосен и гор, в мире, где нет и еще долго не будет радостей, тревог и забот прогресса, где незаметен бег минут и дней, где все соразмерно движению солнца, росту травы, опадку листьев. Ты хотел покоя? Вот он, в шорохе сосен, в косом и неярком свете, который золотит все, к чему прикоснется, в запахах нетронутой земли, в светлом и безбрежном небе, знающем

одних только птиц. Отныне это твой мир, твой и Снежки, если все закончится хорошо. Забудь о прежних стремлениях, о друзьях и близких, о себе самом, каким ты был или хотел стать. Ничего этого больше не будет. Придут другие заботы, огорчения, радости и несчастья, постепенно, быть может, утихнет тоска по прошлому, мир Эи поглотит вас.

Новый Адам и новая Ева, готовы ли вы?

Золотистый свет расплылся перед глазами, я обнаружил, что плачу. Все, что жгучим комом застряло в душе, — и горечь утрат, и мука долга, и невозможность иной судьбы, и собственное бессилие, и подавленный страх перед неизвестным, — все вылилось теперь слезами. Я не вытирал их. С прошлым надо было проститься наедине, с прошлым, которое еще так недавно представлялось мне единственно возможным настоящим и будущим.

Не помню, сколько я так просидел. Тени уже накрыли склон, воздух похолодел, только озеро, вбирая последний свет, червонно и ало пылало внизу. Прохладным касанием по щеке скользнул опадающий лист.

Я вздрогнул. Где Эя?

В поселке мертвела тишина. Просматривались не все тропинки и хижины, какое-то движение могло ускользнуть, однако любое громкое слово отозвалось бы и на этом берегу. Но слышен был только бухающий плеск рыбы.

Надвигалась ночь, а с ней и неизвестность. Как же я мог забыть?

Я вскочил. Не зная, что делать, я закружился на месте. Во мне все заторопилось. Ждать? Идти самому? Почему Эя не показала хотя бы на миг? Ее задержали?

Что, если...

Я порывисто оглянулся, крадучись отступил к машине, вгляделся в неясный сумрак леса. Никого, ничего, кроме серой глыбы хроноскофа, такой внушительной и чуждой всему вокруг. Нет, нет, нелепо подозревать Эю в измене! Никто украдкой не зайдет сзади, не набросится на меня с тыла, это все ложные страхи, детские призраки одиночества и боязни.

Что же все-таки делать и надо ли? Ведь Эя не оговорила срок своего возвращения. Вдобавок внутреннее чувство подсказы-

вало, что Снежка жива. Я продолжал верить в это, хотя, возможно, только лишь потому, что ничего другого мне не оставалось. Но где же Эя, куда делись ее соплеменники?

Я так мало знал о ее мире, что не мог ни на что решиться. Может быть, все идет, как надо, что для них лишний час...

Хотя был уже вечер, нигде так и не занялся дымок очага. Никто не выходил наружу, не выпускал детей, все точно вымерло или уснуло. Нет, что-то во всем этом было не так, очень даже не так. Селение притаилось, замерло не к добру.

«День ежа». Как я мог забыть эти слова Эи, не придать им значения! Еж свертывается, выставляя колючки, замирает, пока длится опасность, все очень и очень похоже. Это мне наблюдение за домами ничего не сказало, но Эя сразу уловила неладное, насторожилась, почуяла тревогу своих близких. Что же крылось за этим, какая угроза? Звери не могли потревожить стойбище, человек задолго до этого времени стал самым свирепым хищником Земли, дома на него никто не осмелился бы напасть. Набег другого племени? Это было возможно. Но почему тогда нигде никаких дозорных, почему Эя не предупредила меня?

Не выдержав, я сбежал к озеру, но оттуда все было видно хуже, чем сверху. Круто поднимался противоположный скат, темная у берегов вода ходила кругами, будто ее поставили на огонь, всплескивалась с шумом, колыхала глянцевые листья кувшинок, жемчужно розовела там, куда еще не дотянулись тени, жила своей жизнью, столь же далекой от человеческих забот, как первая искра звезды в синеющем крае неба.

Делать мне здесь было нечего, я поспешно вскарабкался наверх.

И тут я увидел Эю.

Она уже спустилась к воде, странно измененным шагом брела по песчаному намыву, шла, как будто вокруг была непроницаемая тьма. Однако глаза ее не были слепы, незрячи скорей были сами движения, ноги ступали врозь, обвисшие, словно лишённые мускулов, руки колыхались не в такт шагам, в этой рассогласованности было что-то нечеловеческое, более похожее на походку поврежденного робота. В воду Эя вошла так, будто собиралась пересечь озеро пешком, и поплыла, лишь очутившись в воде по ноздри. Но и тогда ее движения сохранили прежнюю надломленную машинальность.

Я смотрел обомлев.

Выходя на берег и поднимаясь по склону, она ни разу не замедлила шаг, не оступилась, но и не уклонялась от сомкнутых ветвей, не поднимала рук, чтобы отвести хлещущие удары, мерно шла напролом, и чем ближе она подходила, тем было очевидней, что движется не сам человек, а его подобие. Это было страшно, но в те мгновения во мне перегорел всякий испуг. Один! Я остался один среди смыкающихся теней ночи, потому что меня уже оставила всякая надежда увидеть Снежку, а в том, что ко мне приближалось, ничто не напоминало прежнюю Эю.

— Что с тобой? — отступая, прошептал я.

Ничто не изменилось в ее походке. Теперь нас разделяло всего несколько шагов, я отчетливо различал белое, как снег, лицо Эи, мертвенно пустые глаза, капли воды на щеках. Она остановилась, как шла, губы не шевельнулись в ответ.

Шагнув, я судорожно сжал ее мокрые безвольные плечи, повернул лицо девушки к свету. Голова Эи запрокинулась, в зрачках пусто и призрачно качнулось вечернее небо, такое же стылое и чужое, как их взгляд.

— Что с тобой? — закричал я прямо в эти слепые неподвижные глаза.

— Я умерла, — прошелестел едва различимый голос.

В дрогнувшие зрачки вкатилась прозрачная, крохотная в них луна. Мои сжатые пальцы осязали тепло человеческого тела, но это было все, что в нем осталось от жизни. То, что в детстве однажды глянуло на меня с могил, снова близко и жутко смотрело в упор, но там стояли наделенные бесплотным существованием, понятные мне нелюди, а здесь передо мной был живой мертвец.

Тут провал, дальнейших секунд я не помню. Возможно, минут? Что-то кинуло меня к машине. Я всем телом вжимаюсь в холодный металл, словно в нем избавление от того ужаса, который стоит за плечами. Бок машины дышит горелой окаленной, в нем, знакомом, несомненность и моего существования. Там, внутри, четвертая в левом подлокотнике кнопка, крайняя; она от всего, от забвения и от безумия, от призраков и от страхов; возможно, она еще и от черной магии, которая

живого человека обращает в ходячий труп. Меня корчит от хохота, но наружу, это я твердо помню, не вырывается ни звука. Я вламываюсь в машину, навстречу мне плещется тихий, такой родной и надежный, свет приборов.

Я валюсь на сиденье, унимаю раздирающий хохот, зализываю невесть откуда взявшуюся ссадину на пальце. Все в порядке, кнопка подождет. Меня колотит озноб, руки трясутся, но я быстро нахожу то, в чем нуждается Эя. Наука против колдовства, пусть так. И мне не помешает. В общем-то все равно, на что мне теперь жизнь? Может быть, она и ни к чему, но прежде разберемся. Эю я в обиду не дам. Не дождетесь, сволочи!

Глоток, этого достаточно. Теперь наружу.

Все серо, безвидно в сумерках. Эя тенью стоит там, где стояла, человек, из которого вынули душу. И кто? Сородичи, близкие. Какая нелепая, чудовищная, непостижимая магия! Наш век близок к тому, чтобы вдохнуть разум в неживое, ее век, похоже, решил обратную задачу.

И как решил! Я и то едва не сломался, а ведь магия была направлена не против меня.

Что ж, поборемся. Вынуть-то душу вынули, а все-таки Эя вернулась ко мне. Все-таки вернулась...

Я поднес стимулятор к ее губам. Она их не разжала. Зачем мертвецу пить? Все верно. А зачем ему куда-то идти? Говорить?

— Пей!

Робот повинуется приказам, Эя повиновалась. Глоток перехватил ей дыхание, она закашлялась, согнулась пополам. Так, хорошо, мертвец не кашляет, вегетативка не поражена, ну, маленькая, ну, сестричка, оживай, нечего, нечего, подумаешь околдовали, с кем не бывает, наша магия посильней, психорол — это тебе не наговоры...

Я обнимал Эю, подбадривал, чувствовал, как под ладонями оживают мускулы, как теплеет внутри худое озябшее тело, как одеревенелая кукла снова становится человеком, могущественная психохимия исправно делала свое доброе дело.

Потребуется ли еще внушение? Я вернулся к машине, достал запасную одежду и стал натягивать ее на Эю, чтобы девушку не доконал ночной холод. Она повиновалась, как ребенок,

дышала мне в шею, казалось, безучастно принимала заботу, но стоило мне отодвинуться, чтобы затянуть молнию на куртке, как она рванулась, прижалась всем телом и, спрятав лицо на груди, заплакала молча, безнадежно, потерянно.

— Ну, что ты, что ты, — шептал я, глядя ее вздрагивающие плечи. — Все обошлось, все хорошо...

— Я мертвая. — Она прижалась еще сильнее. — Мертвая, мертвая...

— Глупости! — Я повернул ее лицо к себе. — Чушь! Ты дышишь, ты плачешь, ты живая. Живая! Я тебя расколдовал, понятно?

— Нет. — Голос ее опять сник. — Ты не можешь.

— Почему?

Запинаясь, она объяснила почему. И пока объясняла, из ее голоса уходила жизнь, лицо гасло, она удалялась от меня, точно и не плакала вовсе, не искала помощи и сочувствия, не была прильнувшим ко мне, как к матери или отцу, ребенком, таким не похожим ни на прежнюю Эю-воительницу, ни на недавнюю Эю-робота. Не все было ясно в ее словах, но кое о чем я мог бы и сам догадаться.

Родовое сознание — вот слово, которое объясняло многое, если не все. Человек, в отличие от многих других существ, не способен долго и без ущерба жить в одиночестве, этим он похож на пчелу или на муравья, ибо общество столь же властвует над душой, как земное тяготение над телом. Это так же верно для нас, как и для наших далеких предков. Вне общества посреди самых райских куш для нас расстилается незримая и неосязаемая, но не менее страшная, чем любая Сахара, пустыня жизни. До нее не надо далеко идти, она рядом, и только близость людей оградой встает меж ней и человеком. Но эта ограда может быть и фасадом дворца, и стеной каземата. Причем сразу тем и другим одновременно.

Для меня семьей было все человечество, для Эи — одно ее племя, и разница здесь не только количественная. Для историков памятен тот испуг, который возник в первые десятилетия научно-технической революции. Бездушная техника, к которой человек привязан, не лишает ли она души его самого? Роботизация — не роботизирует ли она человека? Не будет ли

он стандартизирован, как машина? Не превратится ли в винтик, серийно штампуемый по всем правилам изошренной науки? Смятенному сознанию рисовались бесконечные, от полюса до полюса, шеренги людей, запрограммированных, как серийные киберы.

Они не туда смотрели, эти встревоженные: то, что виделось им в грядущем, находилось в прошлом. В том времени, где немногие приравнивали многих к скоту, к предмету хозяйства и обихода, а это состояние повсеместно длилось не век и даже не тысячелетие. Там же, где дело до этого не дошло, там было другое. Свобода? Да, Эя, конечно же, не была рабой...

Она была членом родовой общины.

За пределами оазиса человека ждет жажда и смерть. За пределами рода может не быть ни жажды, ни голода, все равно участь отщепенца трагична. Того, кто надолго исчез и как-то сумел вернуться, род может счесть оборотнем, мертвецом, для него не найдется ни еды, ни крова, там, где он был счастлив, от него отшатываются мать и отец, дом, куда он из последних сил стремился, отвергает его как зловещего призрака. И что бы живой мертвец ни говорил, ни делал, для него все бесполезно, он отторгнут и обречен, хуже, чем прокаженный.

Это не правило, но и не исключение, это черта родового сознания, дичайшая и нелепейшая для нас, вполне понятная для людей далекого прошлого. Одиночка долго прожить не сможет, его погубит не голод, так хищники, так что-то еще, это всем известно, не раз подтверждено опытом, а раз так, значит, после какого-то срока возвращается не человек, а дух. Нет жизни вне рода! Нет и не может быть, как в гиблой, за чертой оазиса, пустыне, а дух погибшего, оборотень, так же реален для древнего сознания, как вкрадчивый ход змеи, как удар небесного грома. Оборотня надо заклясть и изгнать, чтобы он увел с собой смерть, лишь так можно обезопасить род. Ну а в колдовское заклятье каждый верит настолько, что внушение любого убивает не хуже яда.

Эя вернулась слишком поздно. Вдобавок, если я правильно понял, особую роль сыграли зловещие обстоятельства ее исчезновения. Так или иначе, род счел Эю мертвецом. И она в это поверила. Не могла не поверить! Вот этого я постичь не

мог, хотя знал, что именно так должно быть, хотя сама Эя, еще живая, еще говорящая, чувствующая, стояла передо мной в такой прострации, что даже могущий поднять покойника психорол вызвал в ней лишь краткую вспышку бодрости.

Но уж если это могучее средство оказалось бессильным... Моя наука могла заменить кровь, всю до последней капли, могла дать другое сердце, другие глаза, но средства заменить психику я не знал. Неужели, ну неужели эта сильная, смышленная, своенравная малышка и прежде была лишь оболочкой человека, маской, сквозь глазницы которой на меня смотрела не личность, а родовая душа? Душа, которую вот сейчас племя вынуло с той же легкостью, с какой мы вынимаем платок из кармана? Неужели все так просто и в этом вся тайна психики, кажущаяся нам безмерной, как звездное небо над головой.

Нет, подумал я с мрачной решимостью, еще не все средства испробованы. Но первоочередное сейчас не это...

— Ты меня слышишь, слышишь?

— Да.

— Ты видела Снежку?

— Нет.

— Узнала о ней что-нибудь?

— Да.

— Она жива?

— Нет.

— Ее убили?

— Нет.

— Сама умерла?

— Нет.

— Так где же она? Что с ней?!

— Ее принесли в жертву.

Я закрыл глаза. Рука сама собой дернулась к разряднику. Спокойно, осадил я себя, спокойно. Здесь нет извергов и убийц, здесь, на этой земле, есть только прошлое твоего рода.

— Где, когда и кому она принесена в жертву?

— Дракону.

— Какому дракону?!

— Тому, в горах.

— За что?!

— Так велел род.

— Эя, ты можешь объяснить? Что плохого сделала Снежка? Почему ее принесли в жертву? При чем тут дракон?

— Дракон летал и жег. Дракона надо было умиловить. Я вытер охолодевший рот.

— Когда это случилось?

— Вчера.

— Дракон... как он выглядит?

— Он ярче солнца и страшней пожара.

— Дракон принял жертву?

— Да.

— Откуда ты знаешь?

— Он успокоился.

— К нему можно подойти?

— Нет.

— Как же тогда... как же ему доставили жертву?

— Положили перед ним на скалу.

— Живую?

— Да.

— Хватит! Летим к дракону.

Эя промолчала, ей было все равно. Она и отвечала как говорящий автомат. Так же безропотно она дала себя усадить в машину.

Мне тоже было уже все равно.

Мы взлетели.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Видел ли я что-нибудь, когда машина пронеслась над гребнями скал и черной щетиной леса? Все было чужим и мрачным. Небо, лишенное привычных огней внеземных поселений; сам наш полет над сумрачной в лунном свете землей; дракон, к которому мы мчались и который издали давал о себе знать багрово пульсирующим сиянием; мы сами, два безмолвных робота, которым уже все было безразлично.

Багровое свечение разгоралось. Его источник был скрыт за гребнем котловины, чьи утрюмые в складках теней утесы, при-

ближаясь, все отчетливей выступали из мрака. Я был в том состоянии, когда мне ничего не стоило с ходу ринуться на любое, хоть из прошлого, хоть из будущего, чудовище, но испечься в лаве, которая, очевидно, и поыхала за гребнем, — до этого я еще не дошел. Прожекторами осветив склон, я осторожно замедлил ход и, приглядевшись, выбрал среди скал удобную для посадки площадку. Эя на все смотрела так же безучастно, как раньше, в ее темных неподвижных глазах gloхли красноватые мятущиеся из-за скал отблески. Она была не здесь, не со мной, если вообще была. Я вышел один и, не поднимая головы, медленно, как приговоренный, взошел на гребень.

Как описать то, что открылось за ним?

Я ждал, что внизу, у моих ног, окажется спокойно пламенеющая лава, которую воображение соплеменников Эи наделило жизнью грозного в миг извержения, все испепеляющего существа. В лицо точно дохнул жар и свет, но до его источника было далеко. Вдоль всей продолговатой котловины, окаймляя ее, мрачным блеском пылали скалы, так что небо над этим зубчатым венцом казалось непроницаемо черным, предельным для самого света. Главный свет исходил не от лавового озерца, которое тоже было, и не от его добела раскаленных краев, а от того, что, касаясь береговых камней, висело над маревом расплава.

Оно-то и было неопишуемым. Бесформенный сгусток плазмы? Нет, оно имело форму, столь, однако, изменчивую, что ее не успевал зафиксировать глаз. А может быть, просто непривычную. Оно, это огненное, размыто висящее, пульсировало, можно и так сказать. Пульсировало, как... Как что? Как бешено крутящийся хаос? Нет, в нем угадывалась структура. Как вихревые, преобразующиеся друг в друга сгустки, стяжения, кристаллы огня? Все это понятия человеческого опыта, они тут не годились. То, что видели мои изнемогающие глаза, было и чистым светом, сквозь толщу которого проглядывали дальние скалы, и клубящейся материей солнц, и белой озаренностью алмазных, чередой протаивающих в глубине пещер, всем этим сразу и чем-то еще. Излучаемый свет радужно колебавал воздух, плавно переливался из ярко-белого в голубизну, а затем, минуя промежуточные цвета, желтел. Но скалы при этом неизменно отливали розовым и багровым, чего вроде не

должно было быть, если только сам воздух не приобрел иные физические свойства.

То, что я видел, явно не соответствовало Земле, а возможно, и всей нашей Вселенной. Дракон все-таки был, все-таки был... Ладонью притенив лицо, я смотрел не отрываясь, и неясная поначалу догадка сменялась уверенностью. Это был он — мой давний знакомый и враг. Никогда еще я не вглядывался в огневика так спокойно, не рассматривал его в упор. Теперь меж нами не маячило перекрестие прицела, а терять мне было решительно нечего. Здесь, под черным небом прошлого, мы были одни. Вокруг неяркого по контрасту озера лавы сверкала кайма добела раскаленных камней, в мерном сиянии огневика мерцали скалы, шевелились их черно-алые, уступами, тени, от тишины звенело в ушах.

Неизвестно откуда берутся огневики... Они возникают в одном случае из двух... Чем их больше, тем хроноклазмы слабее... «Слушай, я, кажется, догадался! В энергии, дело в энергии!»

Слова прозвучали так отчетливо, словно Феликс был рядом. Внезапная утечка энергии из моего хроноскафа — вот он, ключ к пониманию!

Всюду и везде все, живое и неживое, зависит от энергии, все участвует в круговороте, отталкивается, поддерживается, тянется к ней, как трава к солнцу, как частичка железа к полюсам магнита. Сама наша эволюция повинуется этому закону притяжения, вехами цивилизации был огонь, электричество, атом, путь вел нас от скудных источников энергии ко все более разнообразным и мощным. Слом времени — это тоже выброс энергии. Да какой! Быть может, для огневиков перемещение во времени столь же обычное дело, как для нас перемещение в пространстве, такова главная особенность их мира. Пространство и время нераздельны, как частицы и волны материи, просто на одном, пространственном, берегу оказались мы, а на временном, противоположном, развилось то, что породило огневиков. Разделившись, они ринулись к сопряженным точкам прошлого и настоящего, как жаждущее водопоя стадо к берегам реки, примерно половина оказалась там, другая половина здесь, обычный статистический разброс, ничего другого. Так и железные опилки распределяются меж полюсами магнита.

Высосать, забрать все до капли, пока энергия не рассеялась! А мы-то недоумевали, почему хроноклазмы далеко не так разрушительны, как этого следовало ожидать... Мы не понимали, куда прут огневики, почему они держатся кратчайшей прямой, а они спешили к месту назревающего хроноклазма, чтобы заранее быть там, успеть поглотить, полнее насытиться. Мы их останавливали, истребляли, а они, в сущности, спасали нас, спешили ослабить, погасить еще только зреющую катастрофу.

Вот что скорее всего открылось Феликсу за минуту до боя.

Понятно, почему огневики кидались на нас, когда мы пускали в ход оружие: энергия! Мы, сами того не подозревая, приманивали их. Приманивали, чтобы так уничтожить, поскольку даже их способность поглощать энергию, конечно, имела предел.

Возможно, поэтому они не успевали везде. Или их было слишком мало. Здесь, в этих горах, произошло три хроноклазма. Первый перенес сюда Снежку; очевидно, тогда и возник «дракон». Второй вырвал отсюда Эю. Третий... Третий создал мой хроноскоф. Всякий раз это были ничтожные разломы, и всякий раз ими пользовался огневик, поглощая все, что было в его силах. Сконцентрированная в хроноскофе энергия, видимо, оказалась для него лакомым кусочком... Как же при этом он должен был пугать соплеменников Эи!

Жар опалил лицо, я прикрывался руками, не в силах ответить взгляд от дна котловины, где покоился огневик. Многое мне еще не было ясно, но так не бывает, чтобы природа сразу и полностью открывала все. Почему этот огневик был здесь? Ждал ли он нового хроноклазма или, может быть, грелся у источника подземного тепла? Был ли он чисто физическим образованием или все-таки существом? А вдруг он представлял собой автомат иной, неведомой цивилизации, которая таким способом пыталась смягчить катастрофу, вызванную, что тоже возможно, ее собственным нерасчетливым действием?

Таков уж мир, что в нем возможно самое, казалось бы, невозможное. Какая разница? Мое знание уже ничего не могло изменить ни в судьбе человечества, ни в моей собственной. Оно было бесполезно, как вся моя дальнейшая жизнь. Вне своего времени я был, в сущности, тем же, чем Эя, — живым мертвецом.

Я думал, нет ничего хуже постигшего меня несчастья. Нет ничего хуже гибели Снежки. Нет ничего хуже безвыходного одиночества. Оказывается, это еще не предел. Сейчас я знал то, в чем нуждалось человечество, и не мог ничего поделать.

Не мог.

Глаза терзал свет, но от этой боли было даже легче. Все равно я не мог опустить взгляд. Вопреки всему я хотел видеть и знать. Зачем?

Вот именно: зачем?

Я с усилием отвел взгляд.

Оставалось сделать последнее: найти тело Снежки.

Эя не знала, была ли она оставлена связанной или ее мило-сердно столкнули с обрыва. Но, конечно, это произошло где-то неподалеку, палачи не решились бы приблизиться к огневику, а до противоположного края котловины им незачем было добираться.

Резь в глазах наконец утихла, я пошел вправо, приглядываясь к рдеющим осыпям, склонам, темным провалам ложбин и расщелин. Однако вскоре путь преградила скала, одинаково отвесная со всех сторон, так что сюда вряд ли могла вести какая-нибудь тропинка. Я вернулся назад и двинулся влево.

Внезапный рев потряс тишину. Вздогнув, я замер, даже не успев опустить ногу. Ничто не изменилось в облике огневика, но крик, без сомнения, принадлежал ему, и в этом протяжном реве мне почудилась не то боль, не то тоска. Небо дрогнуло. Его чернота раскрылась, в ней ярко проступили созвездия, чей рисунок мне был незнаком. Это были не наши звезды. Не наши еще и потому, что некоторые горели зеленым, а зеленых звезд нет в нашей Галактике. Все длилось мгновение. Небо сомкнулось, точно упало, стало таким же глухим, как было. Снова грянула тишина, от которой звенело в ушах. Я стоял, прижимаясь к скале. Был ли тот крик жалобой одинокого существа или голосом мертвой материи? И что ответило ему?

Страшно пылали скалы, их багровый, уступами спускающийся книзу ад по-прежнему был накрыт мрачным пологом ночи. Если существовал круг ада для тех, кто слишком далеко забрел в неведомое, то он был здесь. Пересиливая слабость, я

шагнул дальше. Мною овладело шальное желание спуститься и приблизиться к дьяволу этих скал, сказать ему напоследок все, что я думаю о справедливости этого мира, всех миров. Конечно, это было бессмысленно и глупо. В огневики не было зла, как не было его и в тех лицах, которые погубили Снежку и Эю. И все же, и все же!

Нелепое желание прошло так же быстро, как и нахлынуло. Я медленно, как после болезни, обогнул выступ скалы. Из-под ноги брякнул камень, прыжками покатился вниз. Машинально проследив его падение, я спустился в узкую, коленом выгнутую расщелину, и было уже хотел вскарабкаться на противоположный склон, когда слева, из черной для моих ослепленных глаз тени, послышался надломленный волнением голос:

— Хорошо же ты меня, однако, ищешь...

Придерживаясь за покатый выступ скалы, из провала приподнималась Снежка.

— Мог бы, кстати, мне что-нибудь и сказать... Или я так изменилась?

— Снежка!!!

Я рванулся к ней, сжал враз обессилевшее тело, не веря себе, поцеловал ее запрокинутое изможденное лицо, запекшиеся губы, сияющие сквозь слезы глаза, ничего больше не видя и не желая видеть.

— Живая, живая...

— Конечно, неужели ты думал?..

— Но ведь тебя...

— Ах это! — Она измученно улыбнулась. — Ну да, это было: скрутили и принесли в жертву. Очень уж они были напуганы. — И?..

Приподняв лицо, она медленно и нежно губами коснулась моих глаз.

— Соленые... Плохого же ты о нас мнения, если думал, что я буду покорно лежать и реветь. Так, хлюпнула разок, уж очень все это было обидно и глупо... А потом встала и ушла.

— Как, неужели ты...

— Глупый, ты же сам учил меня силовому рывку. Неужели забыл? Я, правда, уже не та, но подумаешь, дурацкие ременные путы, на это меня хватило... Не подпекаться же на скале, изображая добропорядочную жертву!

Ее глаза блеснули.

— Хотя, пожалуй, в этом была бы своя прелесть. Злобное чудовище, пленная девушка и отважный, на машине времени, рыцарь, а? Извини, что не оправдала.

Я засмеялся от счастья. Обнявшись, смеясь и плача, забыв обо всем, мы стояли над пламенеющей бездной, в которой уже не было зла, как, впрочем, и добра. По измученному, потемневшему лицу Снежки скользили багровые блики, я поцеловал ее исцарапанные руки, на меня смотрели сияющие глаза, единственные в мире глаза, мы не могли оторваться друг от друга, мне было наплевать на все беды прошлого, настоящего, будущего, пока... Пока что?

Бедная девочка, она-то думала, что все позади, один я знал, как обстоит дело. Тем крепче я прижимал ее к себе, судорожной длил объятия.

Наконец она высвободилась.

— Ну вот, дальше рассказывать не о чем. Весь день я бродила вокруг, а потом вернулась сюда, здесь тепло... и любопытно. Я ждала, все время ждала своих, хотя...

Она коротко вздохнула.

— Ладно, что было, то прошло. Вот что, благородный рыцарь. Твоя девушка голодна, но это успеется. Я не слепая, рассказывай все. В нашем мире... плохо?

Снежка бодрилась, о главном, как я ни прятал, ей все уже сказала мое лицо, она стойко готовилась принять удар, но пресекавшийся голос умолял пощадить.

Я не мог ее пощадить, не мог даже смягчить правду. Она все выслушала молча, не моргнув, только отведенная назад рука, как бы ища опоры, слепо шарила по скале, то и дело впиваясь ногтями в камень.

Нет, это было не отчаяние.

— Значит, теперь мы вроде изгнанных Адама и Евы? Что же, — добавила она с дрогнувшей улыбкой. — Все не так плохо, раз человечество в безопасности. А мы, неужели не проживем? Ты, я, Эя... Славная девочка, как же ей досталось! Ничего, я сама стала немного дикаркой, что-нибудь придумаем... И знаешь, — ее рука коснулась моей, — в этой жизни есть своя прелесть, не смотри на нее так мрачно.

Я кивнул. Я на что угодно готов был смотреть с радостью, лишь бы не видеть Снежку несчастной. Впрочем, она была права. Она стойко принимала жизнь такой, какая она есть, этим, быть может, и спасалась.

— Все верно, — бодро сказал я. — Мы нашли друг друга, остальное переживем. Надеюсь, я буду неплохим мужем.

— Да уж, придется. И мне придется... — Ее голос споткнулся. — Ничего, справимся. Обещаю не ревновать.

— Как ревновать? К кому?

— Ты не догадываешься? — Откинув голову, Снежка посмотрела на меня долгим изучающим взглядом. — Но, милый, нас же трое.

— Ты с ума сошла!

Снежка невесело рассмеялась.

— Ох, взглянул бы ты сейчас на себя в зеркало... Между прочим, меня это тоже почему-то не приводит в восторг. А что делать? У Эи больше нет рода, и если мы не примем ее в свой... Нет, она будет жить.

— Но ведь не обязательно...

— Здесь обязательно. Легче столкнуть планету с орбиты, чем заставить женщину не быть женщиной. Здесь это так. Только так.

— Несмотря на то что мы побратались с Эей?

Снежка только вздохнула. Прикусив губу, она отвела взгляд. Нет, ее губы запеклись не от жара. И руки ее были окровавлены не только ремнями; сколько раз ей, наверное, вот так приходилось умерять другую, большую боль.

Я молча привлек ее к себе. Она вжалась лицом мне в грудь и затихла. Ничего не надо было говорить, мы и так слышали друг друга. «Тебе было так плохо?» «Очень. Когда меня повели на смерть, я обрадовалась, сама я не решалась...» «Тебя били?» «Не то... Меня учили жить. Не спрашивай». «Какое счастье, что ты не смогла...» «Просто это была не та смерть. Слишком мучительно и долго». «Я всегда буду любить тебя. Тебя, а не Эю». «Знаю, поэтому и говорю так спокойно. Но она не должна знать, что ты ее не любишь». «Это невозможно». «Это просто, у нее другие представления о любви. Не беспокойся, все будет не так плохо». «Я не беспокоюсь. Я ищу и не могу найти другой выход. Туда, к своим». «Знаю...»

— Выпусти, — сказала она.

Я разжал объятия.

Снежка села, подперев подбородок. Она молча и пристально смотрела на пламенеющие скалы, но видела ли она их? Я больше не слышал ее мыслей и не решался переступить порог ее молчания. Лицо Снежки было неподвижно, как маска, только сполохи огня пробежали по нему тенями.

Над скалами внезапно, как прежде, снова пронесся протяжный ноющий вопль огневика, в черном куполе ночи снова приоткрылось другое небо, просияла россыпь чужих звезд.

— Он жалуется, — тихо сказала Снежка, когда все затихло.

— Похоже, — согласился я.

— Не только похоже. Я долго за ним наблюдала, очень долго. Ему одиноко и холодно.

— Холодно?

— Да.

— Ты не можешь того знать.

— Я чувствую.

— Ты думаешь, оно существо?

— Мне кажется, да.

— Что ж, может быть. Нам от этого не легче.

— Не легче, — эхом отозвалась Снежка. — Для возвращения нужна энергия.

— Много энергии, — добавил я.

— Ее здесь сколько угодно, — спокойно сказала Снежка. — В нем.

— Он с нами ею не поделится. Скорее наоборот.

— Возможно. У тебя есть шнур?

— Какой шнур?

— Лазерный, разумеется.

— Конечно. — Я покачал головой. — Ничего, малыш, не получится. Лавовое озерцо не даст столько энергии.

— Так подключись к огневику.

— Ты шутишь?

Нет, она не шутила. Спокойно и ясно глядя на меня, она повторила свое предложение подключиться к огневику, словно к банальной розетке.

— Тоже выход, — закончила она как ни в чем не бывало.

У меня обмякли колени.

— Он же разнесет нас в клочья!

— Если заметит. — В ее устало неподвижных глазах переливался жаркий отсвет багровеющих скал. — Если вообще заметит. Я подходила к нему близко, как только могла. Он... Мы, люди, для него не существуем. Наверное, и канализирующий луч лазера для него не более ощутим, чем укус комара. Мы ведь не каждого прихлопываем. А если прихлопываем, то сразу...

Она глянула на меня снизу вверх.

— Я говорю глупости, да? Вероятно, глупости. Ох, милый, мне так хочется домой! Но ты не обращай внимания, можно прожить и так, как мы решили.

Она прикрыла лицо рукой. Я не знал, что и думать. Такая мысль не приходила мне в голову. Сама по себе чудовищная, она и не могла прийти ко мне после всего, что я натерпелся от огневики. Но так просто отбросить ее я уже не мог. При всей своей дикости, она была не столь уж безумной. Технически все было осуществимым, а там уж как повезет. Сравнение с комаром было на редкость точным.

Я смотрел на огневику и не мог пересилить страх. Над белыми глыбами лав все так же покоилась чуждая всему земному, ежесекундно преобразующаяся, тем не менее застывшая масса пламени. Огненное существо, плазменный робот, что-то совсем иное? И к этому чудовищному, непостижимому подключиться, всадить в него жало?! Рискнуть собой, Снежкой?

Только об одном она не упомянула, потому что это было ясно и так: нас ждало пославшее меня человечество.

— Пошли, — сказал я.

Хроноскоп стоял там, где я его оставил. Внутри нас встретил спокойный, такой тусклый после всего, что мы видели, свет приборов. Эя спала, разметав волосы и уронив голову на колени.

— Не буди, — шепнула Снежка. — Ей сейчас хорошо...

Да, ей сейчас можно было позавидовать. Стараясь не потревожить, я отжал вялое тело девушки в угол, пристроил Снежку и поднял хроноскоп в воздух.

Что я делаю?

Полет длился недолго, на гребне было достаточно ровных площадок. На одну из них я посадил хроноскоп. Чтобы не

мешать мне, Снежка вылезла, едва аппарат коснулся земли. Ее губы скользнули по моей щеке.

— Действую, — сказала она быстрым шепотом.

— Может быть, тебе лучше укрыться?

«Зачем? — ответил ее взгляд. — Все едино...»

Я отвернулся.

Наводка лазерного луча напоминала схему того прицела, сквозь перекрестие которого я так недавно (вечность назад!) вглядывался в атакующего огневика. «Что ж, — вихрем пронеслось в мыслях. — Что ж...»

Визирные линии прыгали и двоились. Желудок комом подкатывал к горлу. Что я делаю? Еще не поздно. Мы оба сошли с ума. Какое нам дело до человечества. Все абстракция, кроме нас. Сейчас, сейчас, и нас уже не будет. Тогда зачем все это, зачем?

Я включил автоматику. Все, теперь от меня ничего не зависело. На негнувшихся ногах я выбрался наружу, в лицо дохнул жар и свет.

От хроноскофа протянулся голубоватый игольчатый луч, бледно прочеркнув скалы, канул в изменчивом сиянии огневика. Дрожащие пальцы Снежки сцепились с моими, так, рука в руке, мы замерли на краю обрыва.

Мучительно горели скалы, паутинной нитью трепетал луч, было тихо, как в обмороке. Недвижно чернело небо, яростный блеск огневика был так спокоен и равнодушен, словно ничего не происходило, словно меж ним и хроноскофом не пульсировал бегущий по светопроводу ток энергии. Комариное жало впилось, а ответного, испепеляющего удара все не было. Чувствовал ли огневик это жало в себе, мог ли почувствовать, ощущал ли он что-нибудь? Все багрово, как в мареве, колыхалось перед глазами, я ждал расплаты, которой не могло не быть.

Вот оно! Грянул низкий протяжный рев. Зыбкие очертания огневика всклубились, и то тяжелое, завораживающее, что наваливалось на меня тогда, в коконе хроноскофа, глянуло на нас теперь. Глаза? Их не было, было лишь ощущение жутко нечеловеческого взгляда. Ни наше упорство, ни наша гордость ничего не значили перед ним. Какое-то неуловимое изменение произошло в самой вихрящейся структуре чудовища, он без-

глазо смотрел на нас изнутри, смотрел, ничего не требуя, ничего не желая, как могла бы глядеть прозревшая природа, которой все равно, есть человек или его нет. Что по сравнению с этим все мифы о ледящем взгляде Медузы!

Так длилось секунду, а может быть, вечность. Внезапно рев смолк. И так же мгновенно погас впившийся в огневика луч. Тяжесть взгляда свалилась с нас. Все было кончено, мы снова не существовали для огневика. Он не прихлопнул докучливую мошку, лишь отмахнул ее.

Была ли эта аналогия хоть сколь-нибудь правильной?

Мы не сразу вышли из столбняка. Сердце, казалось, гнало не кровь, а ртуть. Ни слова не говоря, мы разжали руки. На сферической поверхности хроноскофа плясали красноватые блики. Я едва добрал до машины, нагнувшись, скорей по привычке, считал показания приборов. Лгал ли мне измученный разум? После той ослепительной яркости, к которой привыкли глаза, свет индикаторных шкал едва тлел, но все, что я мог различить, с несомненностью уверяло меня в избытке энергии, в максимуме, который только возможен для батарей хроноскофа. Ничего не понимая, я обесточил пульт, затем снова включил ток. Ничего не изменилось, приборы упорно показывали то же самое, что и до этого.

Значит, не огневик погасил луч, он сам отключился, как только закончилась подзарядка? Могло быть и такое, мы ж подключились черт знает к какому источнику! Или то была необъяснимая милость огневика, который что-то прочитал в наших сердцах?

Что мы знали, что могли знать...

Я обернулся к Снежке, горло перехватило, она все сама угадала по выражению моего лица.

— Да? — Это был единственный вопрос, который она задала. Я кивнул.

Так же молча Снежка взглянула на огневика, который, как прежде, пламенея, нависал над добела раскаленными камнями лав, и с черных запекшихся губ сорвалось лишь одно слово:

— Спасибо...

Ответа, конечно, не последовало. Кого или что она благодарила? Как бы там ни было, само слово было уместным. Я

тоже мог бы его произнести. Неведомое бесчувственно, но не безразлично к нашим поступкам, ибо, действуя, мы всегда вызываем противодействие, и то, как оно отзовется, во многом зависит от нас.

Снежка отступила на шаг от обрыва и покачнулась. Я едва успел ее подхватить, так она сразу ослабла. У меня тоже подкашивались ноги. Медленно и с трудом я дотащил ее до машины. Она еще пыталась мне улыбнуться, я, как ни старался, не смог ответить ей тем же. Вяло, как в полусне, я протиснулся за ней в кабину, поднял машину и включил подсос, чтобы нас обдувал ветер.

Так, вповалку, мы некоторое время летели в посвистывании ветра, и луна мчалась с нами наперегонки.

Минут десять, если не больше, я был способен лишь на самые простые движения и мысли. Поудобней устроить Снежку, поудобней устроиться самому. Достать воду, дать напиться. Мысль о стимуляторах я отложил: сейчас нам нужен был только отдых, а для Снежки, которая так долго держалась на нервах, мог быть опасен даже простой витакрин. Надо было набраться сил, без этого нечего было и думать о прорыве сквозь время, где все могло случиться.

Мы летели. Над нами было просторное, с редкими крапинками звезд небо, снизу им не отвечал ни один огонек, тени и лунный свет, леса и кручи, больше ничего не было на этой земле, откуда мы все некогда вышли.

Глаза Снежки были открыты. Наконец она пошевелилась.

— Куда мы летим?

— Не знаю. Куда-нибудь. Может быть, это и не имеет значения, но я хочу убраться подальше от огневика.

— Не говори о нем плохо.

— Ни в коем случае. Старик был очень любезен, я приглашу его на свадьбу, благо Алексей давно интересовался им. Не забудь его поцеловать.

— Алексея или огневика?

— Обоих, если угодно. Я отвернусь, хотя мое сердце обольется кровью.

Наконец-то она рассмеялась. Каким желанным был ее тихий, еще робеющий смех!

— Я еще подумаю, нужен ли мне такой болтун. Мы так и будем лететь до бесконечности?

— Будем. Чем плохо? Должно же у нас быть свадебное путешествие.

— А Эя все спит, — сказала она.

— Вот и прекрасно. Будет лучше, если она проснется уже в нашем мире. Там медицина, там все.

Снежка задумалась.

— Нет, — тряхнула она головой. — Ей надо проститься с родиной.

— Зачем? Лишние хлопоты.

— Затем... Да как же без этого!

— Слушай, ты стала сентиментальной. — Прямо по курсу маячила гора, я скорректировал полет.

— Возможно. — Она вздрогнула. — Как мало мы ценили некоторые вещи! Например, подушку.

— Подушку?

— Да, они подкладывали под голову чурбан.

— Понятно. Идем на посадку.

— Зачем?

— Человек глупо устроен: что бы и в каких мирах он ни делал, без куса хлеба ему не обойтись. Кто-то, помнится, хотел есть.

— Нас ждут.

— Подождут. Ты отдохнула? Я нет.

— Не притворяйся, это ты делаешь для меня.

— Только отчасти. Тебе это не нравится?

— Нравится. Очень! Во мне сидит такой маленький человечек, которому очень хочется, чтобы его опекали и нежили. Боюсь, что за это время он очень подрос. И потому! Когда мы окончательно придем в себя, я попробую расколдовать Эю. Наперекор этому, которому лишь бы добраться до подушки.

— Не геройствуй, — сказал я. — Мало тебе?

— А тебе?

— Ох, Снежка... Ладно, решили.

Я снизился к мелькнувшему в просвете теней ручью. Под днищем машины зашуршала галька. Мы вышли. На перекатах билась и клочкотала вода, черная у наших ног, переливчатая

там, где, дробясь, падал лунный свет. В темноте заводей белела круговерть пены. Траву осыпала роса, каждый вдох был здесь блаженством. Умывшись ледяной водой, мы принялись за еду. Это тоже было блаженством. Огромной доисторической черепахой рядом чернел хроноскоф. Все пережитое отпускало, как кошмар, я боялся нечаянным словом спугнуть это мгновение, когда рука в молчании касается руки, каждое движение полно невысказанного смысла, и под доверчивый говор ручья у ног венком сплетаются резные тени ветвей.

— Хорошо-то как... — прикрыв глаза, проговорила Снежка. Я кивнул.

— Мне кажется, я сплю наяву. — Ее рука неуверенно погладила шершавый береговой валун. — Сейчас проснусь, будет дымная хижина, старуха с желтыми глазами болотной неясности...

— Какая еще старуха?

— Не важно. Была и нет. — Снежка вздохнула. — Знаешь, за что меня чуть не растерзали в первый же день? Не с той руки зашла к очагу. Надо справа или прямо от двери, а кто подходит иначе, тот накликает беду. Смешно! Все всё знают с малолетства — и довольны. Ты не представляешь, как там регламентирован каждый шаг и каждый поступок.

— Роботы, — буркнул я. — Я это понял, когда из Эи вынули душу. Роботы!

— Не смей их так называть! — Снежка дернулась, как от удара. — Не смей! Ты их совсем не знаешь, они всякие — и люди. Иначе как бы сами возникли?

— Согласен, согласен! — Я поднял руки. — Эя славная девочка, разумеется, не одна она такая. Конечно, они не хуже нас, просто другие.

— Другие? — Снежка медленно покачала головой. — Тебе известно, что Эя талантливая художница?

— Эя?

— Да, Эя. Ее резные, из камня и кости, фигурки могли бы украсить музей. Мы оба бездари перед ней.

— Вот не подозревал...

— Мог бы ее расспросить.

— Знаешь, как-то в голову не пришло... Не о том была забота.

- Понимаю. Мы знаем только то, что хотим знать...
- «День ежа», — вырвалось у меня. — Как это верно!
- Что?
- Не важно. Было и прошло. Есть ты!

В безотчетном порыве я прижал к себе Снежку. Она, не дыша, замерла в объятиях, ее исстрадавшееся тело вздрагивало. Баюкающим движением я согревал ее. Она затихла. Мы долго сидели так, в чужом времени, которое было и нашим тоже. Ручей бормотал свое, детское, меловой свет луны подкрадывался к нашим лицам. Снежка так тесно прижалась, что стук ее сердца толчком отдавался во мне, словно уже и кровь стала общей. Время застыло, как все вокруг. Мог ли я упрекнуть себя за это промедление? Нам ничто не грозило, пока мы сидели так, но стоило запустить хроноскоп... Лед под нами был еще так хрупок! Я сам должен был сделать первый шаг, который мог оказаться последним. Какие еще беды подстерегали нас впереди? Выбора не было, но эту острую минуту счастья можно было продлить, и я ее длил, благо это было возможно, ведь переход сквозь время мог потребовать всех наших сил, значит, все, что способствовало их прибавлению, не требовало оправдания перед совестью.

До чего же все глупо! Мы нашли друг друга и наконец-то были счастливы. Это ли не высшая цель всех человеческих усилий? А во мне, когда я обнимал Снежку, словно пощелкивал незримый компьютер, который оценивал и калькулировал нашу готовность к работе, считал, какая минута счастья оправдана, а какая похищена у долга.

— Все. — И я нехотя разжал объятия. — Час времени здесь равен часу времени там. Ты готова?

— Да. — Она медленно приподнялась. — Я даже кое-что надумала. Эя спит, это к лучшему, так она легче поддастся внушению. Кажется, я знаю, что надо внушать, твое дело усилить ритм.

— Выдержишь?

— Я мягко. Надеюсь, во мне есть что-нибудь от ведьмы. Это даже хорошо, что я не совсем в форме, нет риска повредить ее психику. В любом случае хуже не будет.

— И все для того, чтобы Эя смогла попрощаться... — Я покачал головой.

— Не только. Ты можешь представить, как переход во времени подействует на обездушенную психику?

— Понятия не имею.

— Вот! Кстати, робот отличается от человека еще и тем, что никогда не испытывает сантименты.

Я задумался. Неужели я действительно видел в Эе только средство, орудие, инструмент? Нет же, конечно, нет. Просто она осталась для меня чужой, в этом все дело.

Луна переместилась, пока мы отдыхали, разговаривали и собирали остатки ужина. Журчащий перекат открылся в темноте, лунный свет плескался теперь у камней берега, озарял хроноскоф, изломами теней удлинял каждое наше движение. Словно чей-то внимательный глаз следил с небес за нами, такого ощущения я не испытывал в своем мире, возможно, потому, что там луна сияла в созвездии космических городов. Теперь мне хотелось как можно быстрее уйти во время и разделаться с неизвестностью. Здесь оставалось одно, последнее дело — Эя. Для удобства подхода и внушения, которое требовало слаженного усилия нас двоих, я осторожно открыл машину с той стороны, где, привалившись к борту, спала Эя. Лишенное опоры тело подалось набок, голова мотнулась с колен и поникла в колыхнувшейся гриве волос.

— Не разбудил? — залезая с другой стороны в кабину, шепотом спросила Снежка. — Спит?

«Как убитая», чуть не ответил я, но слова так и застряли в горле. Что-то не то было в движении девушки, каким она покачнулась. Не веря себе, я подхватил упавшую руку Эи: ее пронзительный холод ожег сознание. Как же так, мы же чувствовали ее тепло, когда летели, а кабину я оставил закрытой... Вздвогнув, я повернул лицо девушки к свету: на меня выкатился остекленелый зрачок. Нет, нет, этого не может быть, это только каталепсия, очередное зло чер...

— Быстро! — закричал я. И тут же вспомнив, что Снежка не знает, где что находится, сам ринулся в машину.

Напрасно я разуверял себя, это была, конечно же, смерть. Сердце Эи не билось. Однако тело девушки не совсем окоченело, и я надеялся, все еще надеялся, ведь такая смерть обратима, если целы важнейшие органы, а у Эи они целы, ее же убил не физический мир.

Какая разница! Тщетно мы хлопотали над Эей. Средства нашей медицины могли многое, но они были бессильны против древнего зла, которое поражало не тело, а дух. Раньше, раньше бы догадаться, каким сном забылась Эя! Она умирала тогда, когда мы боролись за свое спасение, когда, словно вырвавшиеся на свободу дети, болтали о пустяках, когда длили свое короткое счастье. Длили, не подозревая и не догадываясь, что смерть человека, как и его жизнь, зависит от времени, которому он принадлежит. Даже смерть!

Испробовав все, мы снова и снова пытались все повторить, отказываясь верить в свое бессилие. Ведь любого из нас эти средства скорей всего вернули бы к жизни! Но Эя не принадлежала нашему времени, ее уже нельзя было вернуть оттуда, куда ее погнал приказ рода.

Снежка закрыла ей глаза, мы встали с колен. В меловом свете луны укором или прощанием перед нами белело спокойное лицо Эи.

Поднявшись на пригорок, мы выкопали там могилу. Большого мы не могли сделать для Эи. Могилу я привалил камнем. Снежка беззвучно плакала. С неба смотрела луна, ее свет был неподвижен и бел, как саван.

Я опустил голову. Нас окружал холодный свет пустыни, нам не было места на этой земле, где мы оставили частичку себя.

— Пошли, — сказал я тихо.

Снежка повиновалась.

Нас ожидал бурный, сложный, замечательный век, который, как родину, не выбирают. Нас ожидали люди. И если нам повезет, если мы сумеем вернуться, нас встретят как победителей.

Так оно и будет для всех.

Свет одинокой луны в последний раз скользнул по нашим лицам, мы сели в машину. Я включил ход, и все, что было вокруг — осеребренный берег, крутой скат холма, одинокая могила Эи, — исчезло.

Нас встречали цветами.

Было много солнца и много ликующих людей, которые вмиг разлучили меня со Снежкой. Нас озарял радостный свет улы-

бок. Переходя из объятий в объятия, ошалеv от весеннего ветра, от вида родной земли, от множества лиц, от возгласов и приветствий, отвечая на них, я глазами искал Алексея, без которого ничего этого не было бы.

Воздух гремел криками.

— Ждешь Алексея? — Как нахмуренное облако из сияющей голубизны, из толпы вынырнуло ссохшееся, страстно вопиющее в своем слепом и темном порыве лицо Жанны. — Он ждал тебя дольше!

— Узнаю скромника. — Меня развернуло к ней. — Где же он? Обугленный взгляд Жанны рванулся.

— Там же, где Феликс! — прокричала она. — Там же, где все!

— То есть как...

— Как люди пережигают себя? Во имя чего? Ради кого? Часа не прошло, а все ликуют... Конечно, вас же считали погибшими. Будьте вы счастливы!

— Постой...

Но она уже исчезла, канула в ликующем водовороте. Во имя какой правды она появилась здесь?

Все звуки отрезало. Я не мог вздохнуть. Нет больше Алексея. Нет Феликса, нет Эи, нет Алексея. Меня давил смертельный, вязкий воздух пустыни. Вокруг мелькали радостные возбужденные лица, колыхались цветы, черно светило солнце.

Вот как оно все было. По моему лицу текли слезы, а все думали, что я плачу от счастья.

Издали, также сквозь слезы, мне улыбалась Снежка.

Я с усилием поднял руку и помахал ей.

РАССКАЗЫ

ПРОВЕРКА НА РАЗУМНОСТЬ

Питер все медлил, хотя следовало, не колеблясь, войти, разбудить Эва, если тот спал, и сознаться, что ему, инженеру-звездолетчику первого класса Питеру Фанни, померещился призрак.

Это произошло в одном из тех дальних отсеков, где нудная вибрация напоминала о близости аннигиляторов пространства — времени. Рядом была заперта сила, которая могла разнести небольшую планету, и сознание невольно настораживалось в этих тесных, скупо освещенных и наполненных дрожью переходах.

Питер чувствовал себя, впрочем, как обычно. Вероятно, он даже удивился бы, узнав, что в нем, хозяине всей этой чудовищной махины, дремлет то самое беспокойство, которое испытывал его далекий предок, когда мощь природы выдавала себя бликом зарниц или грозным запахом хищника на тропе.

Он уже заканчивал обход, когда его приковал к месту тихий, невозможный здесь звук покашливания.

Он обернулся.

Никого, ничего. Пустой коридор, тусклая эмаль стен, змеистые тени кабелей и труб. И явственное, как прикосновение паутины к лицу, ощущение чужого взгляда.

— Олег, это ты? — напряженно крикнул Питер.

Коридор молчал. Питер был один, совершенно один в чреве мерно работающей машины.

Мгновение спустя Питер осознал нелепость, даже постыдность своей позы и решительно шагнул к месту, откуда раздался звук, передвигая поближе сумку с тестерами и тем самым как бы давая понять, что готов немедленно устранить любую кашляющую, чихающую или хихикающую неисправность.

Не сделал он, однако, и двух шагов, как от стены наискось метнулось нечто столь стремительное и бесформенное, что память запечатлела как бы рванувшийся клуб черного дыма, который, исчезая за углом, блеснул из своей темной глубины двумя кроваво-красными зрачками.

Когда ослабевшие ноги вынесли Питера на площадку, куда скрылось «нечто», то по обе стороны от нее не было ничего, кроме зеркально повторяющих друг друга, наполненных дрожью коридоров. Задыхаясь, Питер пробежал в оба конца, оглянулся, и расстояние, отделяющее его от жилых помещений звездолета, впервые показалось ему пугающе огромным.

Случай был, конечно, предельно ясен. Бывало и раньше, что нагрузка долгого полета сказывалась на нервах звездолетчиков, хотя, насколько Питер мог припомнить, призраки еще никогда никому не мерещились.

Тем хуже его положение. О происшедшем он обязан доложить врачу, то есть старине Эву, а что последует затем, нетрудно представить.

Ему непередаваемо стало жаль себя. Это несправедливо, несправедливо, несправедливо! Почему с ним? За что? Как это вообще могло случиться, ведь он чувствовал себя не хуже обычного!

— Эв, ты спишь? — негромко спросил он перед закрытой дверью.

Праздный вопрос. Разумеется, в этот поздний час корабельной ночи главный врач и биолог экспедиции отсыпался после трудных дней работы на Биссере. Может, и не надо будить его сию секунду?

Питер погладил подбородок, соображая. Он обязан предстать перед врачом, верно. Он обязан рассказать о том, что было, это так. Но есть разница — предстать сейчас или немного позже. Большая разница! Вряд ли его реакция сейчас в норме. Вот если он отдохнет, отоспится, тогда, быть может...

Решено. Твердым шагом Питер Фанни прошел в свою каюту, разделся и лег. Его больше не трясло. В каюте было тихо. Здесь ничто не напоминало о той скорости, с которой звездолет, торопясь к Земле, проламывал пространство.

Звездолет, на борту которого человеку явился призрак, чего, конечно, реально быть не могло.

Несколько минут спустя Питер уснул. У него, как и полагается звездолетчику, были крепкие нервы.

Но спал он дурно. Там, на Земле, где он очутился, он лежал в гамаке, который тотчас оказался паутиной, и сердце захолонуло, потому что паука нигде не было, но он должен был появиться. Питер знал, что он рядом, ибо чувствовал прикосновение мохнатых лап, а шевельнуться не было возможности, и, что самое страшное, паук был невидим. Потом, все еще лежа в паутине, Питер смотрел в микроскоп, и это, как он понимал, был его последний шанс не провалиться на экзамене, от которого зависело все. Микроскоп, однако, вместо паука показывал усики. Эва, рыжие, нахальные усики, и Питер в отчаянии думал, что не окончательный же это экзамен, хотя отлично понимал во сне, что окончательный. Страшным усилием он отшвырнул негодный микроскоп, чтобы взять новый; микроскоп упал, покатился, как шар, и шар этот блеснул, расширяясь, ледяным пламенем, отчего сердце Питера оборвалось, ибо это был уже не шар, а сгусток нейтронной звезды. «Вот, значит, как возникают галактики...» — мелькнуло в парализованном ужасом мозгу.

Какой-то шум оборвал кошмар Питера. Он вскочил прислушиваясь. Отчаянно колотилось сердце, но явь уже поборола видения. Отчетливый стук и, похоже, крики раздавались где-то рядом. Чуть ли не в туалете, который был по соседству. Питер выскочил в коридор. Так и есть: кто-то изнутри с проклятиями барабанил в запертую дверь туалета. Питер рванул дверь, и оттуда, как кот из мешка, вылетел Олег.

— Это чьи еще шуточки?! — рявкнул он, не давая Питеру опомниться. — Тоже мне развлечение, юмор на уровне амебы, остроты пещерных сортиров!

— Разве они тогда были? — в остолбенении спросил Питер. Вопрос был столь нелеп, что оба уставились друг на друга.

— Дадут наконец людям поспать? — послышался сзади недовольный голос. Скрипнула дверь, в коридор, моргая и шурясь, высунулась голова Эва. — Что за суета и суматоха?

Он обвел взглядом полуодетых космонавтов.

— Олега тут заперли, — растерянно пробормотал Питер.

— А! — сказал Эв. — В реакторе еще никого не спалили? Самое время, по-моему.

— Факт тот, что дверь запирали с хихиканьем, — буркнул Олег. — Хотел бы я знать...

— Великий секрет загадочной тайны, — кивнул Эв. — Звездолет у нас или что?

— Это мог сделать неисправный киберуборщик, — нашелся Питер.

— Ага! — Глаза Эва блеснули. — Окутанный галактическим мраком уютно зловеще подкрадывался к шлепанцам спящего космонавта... Кстати, Питер, что ты сделал со своими шлепанцами?

— С чем?

Все смотрели на ноги Питера. На его дырявые, испещренные пурпурными пятнами ночные туфли.

— Край света, — вздохнул Олег. — Полным-полно шутников.

— Правда, Питер, чем это ты их?

— Эв... — Голос Питера дрогнул. — Мне надо поговорить с тобой, Эв...

— Ерунда! — Эв отшвырнул ленту миограммы. Она зацепилась за переключатель и повисла раскачиваясь. — Какой призрак? Диагност уверяет, что ты здоров, и я с этим сундуком согласен.

— Уверяю тебя...

— Сильное нервное возбуждение, и не более того. Все базисные реакции...

— А туфли?

— Что — туфли? При чем здесь туфли? Ну прожог ты их чем-нибудь...

— Чем?..

— Компотом! — заорал Эв. — Щами! Чего ты добиваешься? Полным-полно шутников, как выразился Олег. И все острят. Будят среди ночи... Тени убиенных, хихикая, запирают у них, видите ли, двери... Сейчас я дам тебе такую дозу успокоительного, такую дозу...

Он потянулся к столу, но так и не взял ампулу. В дверях стоял Антон Ресми. Стоял и смотрел таким взглядом, что Питеру захотелось немедленно исчезнуть.

— Так. — Капитан шагнул к Эву. — Как к биологу и медику нашей экспедиции, у меня к вам маленький вопрос: мышь способна превратиться, скажем, в четвертое измерение?

— Антон. — Глаза Эва округлились. — Неужто и ты записался в шутники?

— В шутники? Я тебя спрашиваю: где звери?

— Звери?

— Да, звери.

— С Биссеры?

— С Биссеры.

— Там, где им положено быть. А что?

— Ничего. Просто их там нет.

— Как... нет?

— Вот я и хотел бы узнать как.

— Но этого не может быть.

— Верно.

— Антон, этого не может быть!!! Что за глупый розыгрыш!

Эв посмотрел на Питера, словно приглашая его разделить возмущение, снова взглянул на капитана — и краска сбежала с его лица.

«Да, — подумал Питер, разглядывая из-за плеча Эва витализационные колпаки, — если кто-нибудь и сошел с ума, то, уж во всяком случае, не я. Это надо же!»

По всему пространству камеры тянулись маленькие и большие прозрачные саркофаги, в которых автоматы поддерживали среду, необходимую для того, чтобы добытые на Биссере экземпляры находились в живом, но усыпленном состоянии. По крайней мере треть саркофагов была пуста. Не просто, а так сказать, вызывающе пуста, потому что в них зияли внушительных размеров оплавленные дыры.

На пульте, словно в насмешку, горели зеленые огоньки, что означало исправную работу витализационных автоматов. Запоздало и вроде бы обиженно мигали сигналы систем контроля

за жизнедеятельностью, которым уже нечего было контролировать.

— Ну и как прикажете это объяснить?

Ответа не последовало. Эв был так бледен, что его рыжеватые усики казались теперь пламенными.

— Не надо волноваться. — Капитан мягко опустил руку ему на плечо. — Исчезли, если не ошибаюсь, стеггры, асфеты, троянцы, катуши и эти... как их...

— Миссандры, — прошептал Эв.

— ...Миссандры. А псевдогады остались. Может, это что-нибудь объясняет?

Эв покачал головой.

— Витализационный уровень усыпления поддерживается во всех герметичных колпаках на среднестатистическом, оптимальном для всей группы уровне. — Он говорил монотонно, как зазубренный урок. — Из этого следует возможность, что для отдельного индивида данный уровень окажется мал и существо проснется. Но в данном случае контролирующий автомат немедленно увеличит подачу смеси... Что он и сделал. Ничего не понимаю... Ведь так прожечь колпак можно только искровым разрядом! — воскликнул он.

— Может быть, у кого-нибудь из этих существ... — начал было капитан, но Эв отчаянно замотал головой.

— Я их видел на корабле, — внезапно сказал Питер.

Все разом обернулись к нему. Он коротко доложил о «призраке».

— Очевидно, это был катуш, — проронил задумавшийся Эв.

— Нет, — возразил Питер. — Катуша я знаю. Это был не катуш.

— Не важно, — тихо сказал капитан. — Значит, Эв, никакого объяснения ты дать не можешь?

— Нет.

— Ладно, будем действовать без объяснений. Даю общий сигнал тревоги.

У входа в рубку Эв взял капитана за локоть.

— У меня есть объяснение. Я не хотел говорить при Питере.

— Да? — Эв почувствовал, как под его рукой напряглись мускулы.

— Капитан, звери сами не могли выбраться, это исключено. Их выпустили, Антон.

— Ты понимаешь, что говоришь?!

— Именно поэтому я настаиваю на общей проверке состояния экипажа.

Капитан вытер выступивший на лбу пот.

— Кого ты подозреваешь? — спросил он глухо.

— Если бы я только что не освидетельствовал Питера, я бы сказал — Питер. Но это не Питер. Я об этом не хочу даже думать, но ведь кто-то запер Олега? И кто-то облил туфли Питера кислотой.

— И тем не менее, — жестко сказал капитан, — разрешения на поголовное обследование я не дам.

— Но...

— Эв, пожар не тушат под возгласы: «Среди нас поджигатель!»

В это время Питер, стоя на своем посту, с недоумением разглядывал запястье левой руки. Только сейчас ему бросилась в глаза точка, какая бывает после укола, в том месте, где под кожей синееет вена.

«Чепуха какая-то! Но, может, следует сказать?»

Сначала никто не сомневался, что изловить каких-то глупых зверьков ничего не стоит, но вскоре с этим заблуждением пришлось расстаться. Хозяйство звездолета занимало несколько квадратных километров, и при его конструировании никому в голову не могла прийти мысль, что он может стать полем охоты. Раз два, правда, удалось спугнуть существо, которое немедленно взмыло над преследователями, чтобы скрыться в путанице ярусов, лифтовых клетей и переходов. Поскольку единственным летающим экземпляром фауны Биссеры на корабле был миссандр, то это, очевидно, и был миссандр. Но куда делись остальные?

Предложение настроить киберуборщиков на поиск сбежавших было сразу же отвергнуто Эвом — он знал, что обычных роботов нельзя натравить на белковое, следовательно, родственное человеку существо. Биологические же автоматы, с помощью которых он сам охотился на Биссере, были бесполезны в тесных корабельных пространствах.

Чем больше Эв вдумывался, тем меньше все это ему нравилось. Гипотеза о сумасшедшем, который вскрыл витализационные камеры, была скверным, хотя и правдоподобным допущением. Однако в ней имелся крохотный изъян. Предположим, животных кто-то выпустил. А дальше? Ведь воздух Биссеры мало походил на земной! Как же они им дышат? Но дышат, это же факт.

Своими сомнениями он наконец поделился с капитаном.

— Это как же так? — опешил Ресми. — Ты изучал их и даже не знаешь, чем они могут дышать, а чем нет?

— Ты вправе меня упрекать, Антон. Но кто, как не ты, срезал биологическую программу? Знаю, знаю, экстренный вызов Земли, мы требуемся — как всегда, сверхсрочно — в противоположном квадрате Галактики. А мне какво? Что я мог сделать за оставшееся время? Это же типичный аврал! Спешим, вечно спешим, сегодня одна звезда, завтра другая, давай-давай, дел невпроворот, оглянуться некогда, а что в результате? Не думай, пожалуйста, что я снимаю с себя ответственность, но...

— Спешим, это верно. Иначе нас, возможно, не было бы среди звезд. Так как они все-таки приспособились?

— Высокая пластичность метаболизма, очевидно. Она у них действительно высокая.

— Хорошо, выяснишь после поимки. Что за идея у тебя насчет ловушек?

Они обсудили новую тактику. Их то и дело перебивали голоса поисковиков. «Капитан, на неведомых дорожках хозяйства Питера отмечены следы невиданных зверей...» Реплику перебил мрачный голос Питера: «Я давно говорил, что нам не хватает киберуборщиков. Они не успевают с обеспыливанием». — «Ладно, ладно, — отвечали ему с иронией. — Мы закрываем глаза, а вот кто закроет глаза техкомиссии?» — «Не издевайтесь, ребята, никакая это не пыль, просто сигаретный пепел. Механики тайком покуривали». — «И не механики вовсе, а зверюшки Эва. Раз уж они смогли удрать, то почему бы им на радостях не затянуться?»

Капитан с досадой приглушил звук.

Ему было не по себе. Зверюшки его мало беспокоили — куда они денутся! — но сумасшедший на борту... Требование держать-

ся по двое было встречено недоуменным пожатием плеч — пусть, хорошо, что никто ни о чем не догадывается. А вот он прозевал, тут никуда не денешься. Капитан за все в ответе, что бы ни случилось, так было, есть и будет, каких бы далее человек ни достиг, и для него, Ресми, это единственно правильная жизнь — обо всем заботиться, все предусматривать и при любых обстоятельствах быть сильнее обстоятельств. Он всегда подстерегал случай, теперь случай подстерег его, и не сигнал ли это, что он выдохся? Капитана охватила бессильная ярость. Нет, нет, он еще им всем покажет!

Кому? Зверям? Обстоятельствам? Самому себе?

Ресми подавил вспышку раньше, чем Эв ее заметил.

— Возможно, этот план даст лучшие результаты. — Он холодно посмотрел на протянутый чертеж. — Объясни техникам, что надо сделать. Я соберу команду.

— И неплохо бы позавтракать, — заметил Эв. — Я лично после всех передряг готов съесть жареного миссандра.

Выйдя из рубки, он заметил Питера, который явно ждал его появления.

— Вот, — сказал Питер, показывая тыльную сторону запястья. — Будешь смеяться или нет, но только, честное слово, сам себя я не колол...

Эв взгляделся, и ему стало не по себе.

Завтрак начался смешками, но вскоре они прекратились, так мрачен был капитан. «Чего это он? — шепотом спросил Олег. — Подумаешь, звери разбежались...» — «Да, но теперь над ним будет смеяться вся Галактика», — ответил сосед. «Смеяться, положим, будут над Эвом». — «Всем нам достанется. Слушай, а девушки сегодня что-то уж слишком надушились». — «А, ты тоже заметил!» — «Мертвый не заметит».

Капитан поднял голову:

— Муса!

— Полон внимания, капитан.

— Что у вас там с вентиляцией? Откуда запах?

— Я так понимаю, что наши милые женщины...

Бурный протест заставил его умолкнуть.

— Это и не духи вовсе!

— Уж мы-то, женщины, в этом кое-что смыслим!

— Отставить! — Стало очень тихо. — Бригада систем воздухообеспечения, немедленно перекрыть...

Капитан не успел закончить, ибо потянуло таким смрадом, что на пол полетели отброшенные стулья, все вскочили, и тут же взвыла сирена.

Эв и Ресми сидели спиной друг к другу, чтобы контролировать все наспех установленные в рубке экраны. Оба остались в масках, хотя смрад исчез так же быстро, как и возник, да и вызван он был весьма пахучим, но, в общем, безвредным букетом сероводорода, метана и бромистого водорода.

Передачики были установлены на всех магистральных пересечениях, и там же, под потолком, находились примитивные, но достаточно надежные ловушки. Оставалось сидеть и ждать, пока в поле зрения не очутится кто-нибудь из беглецов.

Минуты шли за минутами, и ничего не происходило. Селектор молчал — людям теперь было не до шуточек. Сжимая оружие за плотно задраенными дверьми, они охраняли жизненно важные центры корабля и ждали... Никто не мог сказать чего.

— Наконец-то!

Эв мгновенно нажал кнопку.

Возникшее на экране существо замерло, будто почуяв неладное. Поздно — оно уже билось в гибких силиконовых сетях.

— Попался! — воскликнул капитан.

— Угу, — отозвался Эв. — Хотел бы я знать кто...

— Как «кто»? Это же асфет.

— Крылатый асфет.

— Крылатый?!

Да, у бившегося в сетях существа были крылья. Как у миссандра. И шесть конечностей. Как у асфета. И трубчатый голый хвост, какого вообще ни у кого не было.

— Эв. — В голосе капитана была мольба. — Ты же биолог, Эв, ты же ловил их. Объясни хоть что-нибудь!

Лицо Эва было мертвенным.

— Эв! — Капитан потряс его за плечо.

— Смотри.

Существо затихло. Темным клубком оно лежало на полу, и лишь его трубчатый хвост слабо шевелился. Нет, не шевелился.

У капитана отвисла челюсть. Конец хвоста медленно, но неуклонно раздваивался. Хвост превращался в некое подобие ножниц, и лезвия этих странных ножниц явственно заострялись. Вот они захватили пару силикетовых петель... сомкнулись...

«Но это же силикет», — отрешенно подумал капитан.

Хвост выпустил петли — они ему не поддались. Теперь менялся его цвет — из коричневого в серо-стальной. Он снова раскрылся — было заметно, что его «лезвия» укоротились, — захватил обвисшую складку сети. Люди содрогнулись, услышав хруст силикета. Еще несколько взмахов гибкого, раздвоенного, лязгающего хвоста — существо стряхнуло с себя обрывки сети, и экран опустел.

— Ну, — Эв повернулся к капитану, — бей меня, я заслужил. Какой же я идиот!

— Ты... ты что-нибудь понял?

— Да все же ясно! — плачущим голосом воскликнул Эв. — Они перекраивают свое тело!

— Это я видел. То есть мы оба это наблюдали. Оно, конечно... Провалиться мне, если я что-то понял!

— Слушай, — быстро заговорил Эв. — Нет никаких асфетов, миссандров и всех прочих. Это все одно и то же. Совсем другой тип эволюции. Где были мои глаза раньше! Это же грандиозно!

— Но выше моего разума, — сухо сказал капитан. — Надо что-то делать.

— Надо понять, и ты поймешь. Сядь. На Земле волк — всегда волк, куропатка — всегда куропатка, амeba — всегда амeba. Но тела их, в общем, состоят из одинаковых клеток, биохимия у них тоже сходная. Они часть единого целого. Как графин, стакан, зеркало...

— Зеркало? — машинально переспросил капитан.

— Ну да, все это стекло. Земная эволюция расщепила единое биологическое вещество на тысячи, миллионы независимых, непревращаемых друг в друга форм. А здесь эти формы превращаемы. Слон на Биссере может превратиться в кита или стадо кроликов, потому что все это одно и то же. Организм, как угодно и во что угодно перестраивающий свое тело. По приказу нервных клеток.

— По приказу?

— Вот-вот. На Земле биологическому веществу ту или иную форму придают внешние условия. Они — медленно, но неуклонно — лепят непохожие виды. Здесь, мы видели, это происходит сразу и целенаправленно. И это все объясняет! Пробудился единственный организм. Пробудился и вырастил — другого слова не подберу — противогаз. Вырастил, как мы берем нужный инструмент, какое-то орудие для взлома камеры. И освободил остальных.

— Значит, никакого сумасшедшего не было. — Капитан вздохнул с облегчением.

— Подожди радоваться. Вывод может быть только один.

— Ты уверен? Может быть, все-таки природа...

— Так быстро и так сознательно? Антон, давай смотреть правде в глаза. Возможно, это разум.

— Разум. — Капитан взглянул на свои сжатые кулаки. — Не укладывается в голове. Мы не могли так чудовищно ошибиться.

— Могли, Антон, могли! «Быстрее, быстрее, потом разберемся, бродят одни животные, дело ясное, чего мешкать?» Это я так действовал, Антон. А автоматы опомниться жертвам не дают. Пикирующий прыжок, доза универсального снотворного, готовы голубчики.

— Но на Биссере нет никаких признаков цивилизации!

— Верно, там нет ни городов, ни машин, ни дорог. А зачем они существам, которые могут превращать свое тело в машины, приборы, материалы, как только в них появится нужда?

— Невозможно, Эв. Живое вещество не способно дать развитой цивилизации все, что ей необходимо.

— Да? Будто реактивных двигателей, лекарств, радиолокаторов, энергобатарей не было в природе до того, как их создали мы! А ты представляешь, на что способно живое вещество, которым управляет разум? Эта нелепая, невозможная, абсурдная с нашей точки зрения цивилизация, возможно, более совершенна, чем наша. Я по крайней мере не смог бы выбраться из-под колпака, да и ты тоже. Не потому, что я глупее, а потому, что без машин, инструментов, приборов я ничто. А у них все это всегда с собой. Между прочим, они исследовали Питера, пока

тот спал. Между прочим, они могли отравить нас, пока мы не принимали их всерьез. Что качаешь головой? Гипотеза «сумасшедший на корабле» кажется теперь заманчивой?

— Готов ее предпочесть тому, что ты сказал. Их действия на корабле, к счастью, не выглядят разумными.

— Наши действия тоже были далеки от мудрости.

— Межпланетная война на звездолете, этого еще не хватало! Сейчас мы проверим, разумны они или нет.

Однако проверка ничего не дала. Напрасными оказались все взлелеянные теорией способы завязывания контактов; их сто-процентная кабинетная надежность испустила дух в безмолвных пространствах корабля. Напряжение сгустилось. Всех мучили одни и те же вопросы. Не понимают или не хотят понять? Что означают все их поступки? Встреча Питера с «призраком», допустим, была случайной. Но так ли случайно кто-то проник к нему, когда он спал? Для чего? Чтобы взять кровь на анализ? Или проверить съедобность человека? А туфли, при чем здесь туфли? И запертая дверь? Одно нелепей другого!

Почему они затаились?

На корабле стояла тишина, какой еще никогда не было. Ни шороха шагов, ни звука голоса, молчание «ничейного пространства», которое вот-вот могло взорваться грохотом боя. Томительно и нервно тянулось время, а с ним уходила надежда на мирный исход.

К вечеру наступил перелом. Экраны, посредством которых капитан и биолог продолжали вести наблюдения, один за другим подернулись рябью. Один за другим они стали меркнуть, как задутые ветром свечи.

Так наступил момент, которого все ждали и все боялись.

Обхватив голову руками, капитан, не мигая, смотрел на потемневшие экраны.

Он знал, какого приказа от него ждут. Приказа двинуться с дезинтеграторами живой материи, чтобы размазать по стенам беглецов, где бы они ни скрывались. Пока не поздно. Пока есть время. А может, его уже нет?

Но так же твердо капитан знал, что ни Земля, ни его собственный экипаж, ни он сам не простят бойни, если в словах Эва окажется хоть доля правды. Потом, когда все будет конче-

но, когда пугающая неизвестность останется позади, люди опомнятся. Страх забудется, его сменят сожаление и горечь, так как гибель неведомых существ — это еще и конец уверенности людей в том, что они способны понять все, с чем столкнулись. Та уверенность, которая до сих пор оправдывалась и смело вела человека по звездным мирам. И вера в свою гуманность погибнет тоже.

Капитан испытывал отчаяние прижатого к стене человека, отчаяние, которое готово было гневом обрушиться на Эва, на всех теоретиков, которые должны были предвидеть и оказались слепы, которые обязаны были найти выход, а вместо этого завели в тупик. Гнев пробудил решимость отдать наконец приказ, ибо известно, что в опасной ситуации даже плохое решение лучше бездействия. Палец капитана стремительно лег на кнопку селектора.

— Подожди! — вскричал Эв. — Я, кажется, догадался!

— Быстрей, быстрей!

— Надо выпустить остальных животных.

— Что?

— Слушай. Они начали партию, так?

— Ну! — Палец все еще лежал на кнопке селектора.

— Чем мы ответили на их действия? Облавой. В ответ они заставили нас зажать нос. Что сделали мы? Расставили ловушки. Что сделали они?

— К чему ты клонишь?

— К тому, что каждый наш шаг был для них прямой и грозной опасностью. Каждый их ответный поступок был скорей демонстрацией угрозы. Наш враг не исчадие ада, таким сделали его наше непонимание и наш испуг.

— Хотел бы я, чтобы это не были домыслы.

— Это не домыслы! Неверны были исходные посылки стратегии контактов, и все равно взаимопонимание возможно. Мы пытались объясниться с ними на уровне умственных абстракций, научных понятий, да еще в ситуации, когда с их точки зрения мы — исчадие ада. Нужно обращаться к корню, к самому корню! Он есть, общий для всех существ. Зло для любой формы жизни — все то, что мешает, вредит, угрожает ее существованию; добро — все, что ей благоприятствует. Так вез-

де, под всеми солнцами, это очевидно, как дважды два, ибо в противном случае, перепутав знаки плюс и минус, жизнь обрекает себя на гибель. Ни одна цивилизация не может безнаказанно менять критерии «хорошо» и «плохо». Поэтому у нас есть шанс, ненадежный, слабенький, но им надо воспользоваться. Теперь решай.

Капитан задумался.

— Ты сам пойдешь? — В его голосе не было уверенности.

— Да.

— Ты можешь не вернуться.

— Я первый заварил эту кашу.

Мышцы затылка одеревенели от напряжения, но Эв не оборачивался. Он все время ощущал на себе взгляд, даже там, где на много метров вокруг не могло укрыться существо крупнее мыши.

Всю силу своей воли он тратил на то, чтобы идти неторопливо.

Он шел знакомыми переходами, которые казались теперь чужими и бесконечными. Собственно говоря, не шел, а балансировал на хрупком мосту надежд и недоказанных предположений, который мог рухнуть в любую секунду. Что ж, он не первый таким образом проверял прочность своих теорий.

Возле третьего или четвертого перекрестка он вынужден был остановиться, потому что в стене зияло сквозное отверстие. Так вот, значит, как они обходили ловушки! При мысли о том, сколько и каких коммуникаций находится в этих стенах, Эв содрогнулся. На полу лежала груда металлической пыли. Эв поднялся на цыпочки и заглянул внутрь отверстия. То, что он увидел, могло напугать кого угодно. Ни одна коммуникация не была повреждена, но все они были аккуратно обнажены, как сосуды на операционном поле. «Мы-то думали, что в любую секунду можем прихлопнуть их, как мух. Но почему, почему они разрешили мне увидеть это?»

«Потому что это ничего не меняет, — сам себе ответил Эв. — Потому что первая же наша попытка заделать отверстия будет парализована — они перережут гомеостатические цепи и двигатель...»

Об этом лучше было не думать.

Он засек еще два отверстия, прежде чем показалась массивная дверь витализационных камер. Он откатил ее и, не медля ни секунды, приступил к оживлению псевдогадов. Пока он манипулировал с аппаратурой, создавал в помещении воздух Биссеры, ему все время казалось, что дверь, которую он оставил открытой, вот-вот задвинется.

И когда он все закончил, когда животные скользнули в темные углы, забились там, ему захотелось прислониться к стене и закрыть глаза.

Но ему надо было еще кое-что сделать. Снять ловушки. Последний дружеский жест... Не воспримут ли они его как капитуляцию?

Эв взглянул на выпущенных. Какая-то тварь сопела за коллаком, остальные сидели тихо, будто их не было вовсе. Шипели насосы, нагнетая инопланетный воздух. Бедные, парализованные страхом низшие существа чужой планеты. А какое было высшим, разумным? Что-то чудовищное обрушилось на них там, где они чувствовали себя в полной безопасности, занимались своими делами и не предвидели никакой беды — разве что в последний миг их поразила падающая с неба тень. Затем ужас, мрак и пробуждение неизвестно где, в чужом, враждебном мире.

«Конечно, их первые действия были нелепы, — подумал Эв, затворяя дверь. — Впрочем, их поступки, возможно, нелепы лишь с нашей точки зрения. Рассудок они, во всяком случае, сохранили. Значит, не все потеряно. Для них... И может быть, для нас».

Он тут же одернул себя. Нет никаких доказательств, что они правильно истолковали его поступок.

Никаких? Но ведь он до сих пор жив! Хватило бы у него самого выдержки в точно такой же ситуации или он бы поддался соблазну покончить с врагом, коль скоро он сам идет в руки?

Цивилизация, диаметрально противоположная нашей. Обращенная внутрь себя цивилизация. Наглухо закрытый для нас мир, ибо мы не понимаем, как можно создавать все, что надо, из собственного тела, а им, видимо, невдомек, как можно жить иначе.

Да, чего-чего, а стандарта вселенная лишена.

Осталось семь неубранных ловушек. Пять. Две. Ни одной.

Эв возвращался обессиленный. Все так же сопровождаемый взглядом невидимых глаз. Ничего не изменилось.

Нет, изменилось. Отверстия, мимо которых он шел, зияли, как прежде. Все, кроме последнего. Оно было заделано так аккуратно, что место, где оно находилось, выдавал лишь свежий блеск металла...

Описывая в пространстве чудовищную дугу, звездолет поворачивал к Биссеру.

Люки наконец распахнулись. Капитан вздохнул с облегчением, будто с плеч свалился по меньшей мере Эльбрус.

Но терпение его лопнуло, когда миновало около часа, а из люка никто не появился.

— Чего они медлят? Не могут же они не чувствовать ветра родины? Эв пожал плечами.

Но они появились. Они мячиком скатились по аппарели и тут же взмыли в зеленое ласковое небо Биссеры. Оно приняло их, но пробыли они в нем недолго.

— Чистые жеребята, — сказал капитан, глядя в бинокль на прыгающих по холмам братьев по разуму.

— Кажется, я сообразил, почему они задержались, — заметил Эв. — Спустимся. Я буду очень разочарован, если моя догадка не оправдается.

— Вот. — Он погладил металл, который блестел там, где перед посадкой зияли дыры. — Разум, он все-таки везде разум; без понимания других ему трудно уцелеть, не так ли?

СЛУЧАЙ НА ГАНИМЕДЕ

С профессиональной точки зрения Анджею Волчку повезло невероятно, но — уравнивания жизни сложней любой математики — такое везение могло обрадовать разве что закоренелого себялюбца.

К спутникам Юпитера Анджей отправился с надеждой написать серию добротных очерков об исследователях галилеевых лун, не более. Рейсовик благополучно доставил его на региональную базу «ЮП-12», откуда он с оказией собирался стартовать на Ганимед. Оказия после нескольких досадных задержек представилась, но вылететь Анджею так и не довелось, ибо часа за два до старта на Ганимеде вспыхнула эпидемия.

Точно влажная и мохнатая лапа прошла по спине Анджея, когда до него дошел смысл известия. Ведь это надо же, он вполне мог быть сейчас там, а не здесь!

При мысли, чего он избежал, его охватило радостное и тревожное возбуждение, которое ему самому показалось постыдным, но с которым он ничего не мог поделать. К счастью, он был просто обязан немедленно дать репортаж о случившемся, и профессиональные заботы оттеснили его личные переживания. Чтобы добыть информацию на базе, которая выглядела как встревоженный муравейник, потребовалась вся его хватка и тот беззастенчивый напор, который столь неприятен в журналистах, хотя он порой необходим им так же, как умение писать.

Вскоре на Землю ушел первый его репортаж.

«Их шестеро. Их имена знает теперь весь мир, и сколь угрожающе причина этого!

Несколько часов назад, когда я разговаривал с ними по стерео насчет посещения их станции, они улыбались, шутили и обещали угостить меня таким «ганимедским зельем», которое сразу вышибет из меня дух суетности и обратит к вечному, исследованию Ганимеда то есть... Сейчас они не в силах пошевелиться.

Никто не ожидал трагедии, хотя, конечно, теперь может объявиться какой-нибудь биолог с толстым томом своих трудов и обличающими словами: «Я это предвидел!»

Что толку? Не этим заняты наши мысли здесь, на базе.

Ганимед, где расположена станция, только потому не планета, что он спутник Юпитера. Во всех других отношениях это планета, сходная с Меркурием. Благодаря своей массе Ганимед имеет атмосферу, гидросферу и, как теперь выяснилось, биосферу.

Последнее обстоятельство требует пояснения, ибо в нем, похоже, ключ к трагедии. Холодная, покрытая полузамерзшими газами поверхность Ганимеда до сих пор считалась безжизненной. Но шаг человека к другим мирам — это поступь самой Земли. Нет и, видимо, не будет возможности избавить человеческий организм от «внутренней биосферы», так как гибель всех населяющих тело бактерий и вирусов — пролог гибели самого человека. И коль скоро он осваивает вселенную, с его появлением, подчас независимо от его воли, любой клочок космоса становится ареной борьбы земной жизни с внеземными условиями.

А как же, спросите вы, дезинфекция, как же фильтры? Да, конечно, все, что человек может сделать, он делает. Но попробуйте уловить все капли дождя, поймать все несомые ветром пылинки... А это задача куда проще той, о которой идет речь.

Фильтр, дезинфекция! Разве вакуум космоса или холод близ абсолютного нуля не лучший фильтр, не лучшая дезинфекция? Однако и они не всегда преграда.

Тем более что человек и среда взаимодействуют. Второй закон термодинамики гласит, что жар горячего тела неизбежно распространяется на тела холодные. Обратный ток от холодного к горячему невозможен в принципе. Не так в биологии.

Самое изолированное человеческое поселение может оказать на среду необратимое влияние. Но и среда влияет на человека сквозь любые стены, а следовательно, и заключенный в нем мир живого входит в соприкосновение со средой. Можно задраить все двери, можно герметизировать оазис от температур, радиации, электромагнитных полей, но нельзя — от тяготения. А уже одного этого может быть вполне достаточно.

Короче, мы знаем и тем не менее не знаем, что же произошло на Ганимеди. Мы знаем, что болезнь, молниеносно и страшно скосившая людей, вызвана вирусами. Какими? Теми, что преодолели герметизацию, вышли на свободу, превозмогли условия, изменились неузнаваемо и, преображенные, вернулись к человеку? Или болезнь вызвана своими, доморощенными вирусами, которые никуда не уходили со станции и которых Ганимед все же коснулся своей зловещей палочкой?

Это должны выяснить исследования на месте, а пока это мрак и тайна.

Вот все, что я узнал от специалистов базы, которые давали мне пояснения, ни на секунду не отрываясь от спешной, самоотверженной работы по спасению.

Каково же состояние тех, на Ганимеди? Приступ начался с внезапного и резкого — до 41 градуса — скачка температуры. У всех головокружение, боль в суставах. «Верно, так ломают на дыбе», — сказал один из больных, когда еще был в состоянии шутить.

Сейчас температура спала. Но любой жест сопровождается таким головокружением, что люди вынуждены лежать неподвижно.

У них великолепный набор медикаментов, хорошая аппаратура для микробиологических исследований. Один из шестерых — врач... Но единственное, что они успели сделать, — это принять антибиотики, интерферон и взять кровь на анализ. Данные анализа немедленно поступили сюда, на «ЮП», и в земные лаборатории: их сейчас изучают лучшие биологи и медики планеты.

Через несколько минут на Ганимед вылетают два врача базы. Это отличные специалисты с широкими познаниями в микробиологии. Они вооружены самым совершенным оборудовани-

ем, полны оптимизма, хотя и не скрывают, что со столь сложной задачей им еще не приходилось сталкиваться.

— Победа над неизвестной болезнью — вопрос только времени и интеллектуальных усилий, — сказал мне начальник региона Джамид Акмолаев. — Положение больных серьезное, но пока не угрожающее. Будем надеяться, что время у нас есть... Добавлю, что за плечами тех, кто отправляется на Ганимед, стоит вся мощь современной науки.

Когда врачи проходили к шлюзу, то ящики в их руках с драгоценной аппаратурой напомнили мне почему-то те саквояжи, с которыми не расставались врачи далекого прошлого. Есть в этой ассоциации что-то символическое. Когда-то вот так же бесстрашно врачи отправлялись на чуму и холеру... Только они были почти безоружными в то время. А цели те же — бой со смертью на Земле, в космосе — везде!

Мы пожелали им успеха. Один из них, вспомнив старинную примету, улыбнулся и послал нас к черту».

Поставив точку, Анджей вытер со лба пот. Сомнения овладели им с новой силой: верно ли он ввел нотку бодрящего оптимизма? Может, стоило упомянуть, как выглядят лица больных?

Ему стало не по себе, когда он вспомнил, как они выглядят...

Нет, нет, об этом пока не надо говорить! Все должно кончиться хорошо. В конце концов, что такое болезнь, пусть неведомая, пусть космическая, в эпоху, когда человек овладел управлением наследственностью и готовится к полету на другие звезды?

Спустя два часа врачи высадились на Ганимед.

Еще через полтора часа на Землю ушел новый репортаж Анджея Волчека.

«Мне трудно подбирать слова. Мне тяжело их писать, я буду протокольно краток.

В 13.40 по независимому времени ракета с врачами коснулась поверхности Ганимеда. В 13.58 врачи уже миновали шлюз станции. Мы следили за ними по стерео. В масках, перчатках, глухих халатах они склонились над больными. Их движения казались неторопливыми, но как быстро и умело они все делали! Они дали больным напиток, внутривенно ввели ле-

карства, взяли анализы. Электронный диагност, который они привезли с базы, как и диагност станции, болезни не определил. На это, впрочем, никто и не надеялся, так как в памяти диагноста не могло быть неизвестной, космического происхождения болезни.

Так прошло время до 14.37. Врачи успели развернуть походную лабораторию. Но приступить к широкой программе исследований им не удалось, так как в 14.40 один из них почувствовал себя плохо. К началу следующего часа стало ясно, что оба они больны той же болезнью, что и их пациенты.

Таково сейчас положение дел. Больных стало восемь. Состояние первых шести... Никто не может сказать, ухудшилось оно или улучшилось, потому что неизвестно, как протекает болезнь и что следует считать благоприятным симптомом. Боли прекратились, температура упала ниже 36. Но люди почти ничего не видят, и эта слепота, похоже, прогрессирует. Головокружения больше нет, однако слабость такая, что нет сил поднять руку.

Ситуация в земных лабораториях вам известна. Подвиг заболевших врачей не был напрасен. Они добыли ценные сведения, наладили автоматику, которая дает телеметрию о состоянии больных. Однако, чтобы наметить верный способ лечения, надо выявить возбудителя, определить, как он действует. Даже сейчас на это нужно время.

Время и усилия интеллекта... Неразрешимых задач не существует. Надежда не покидает ни специалистов, ни больных. «Мы не собираемся умирать, — говорят они. — Передайте Земле, что мы дадим медикам время».

Время! Все зависит только от времени».

Анджей не знал, верит ли он тому, что сам написал в конце.

Он вышел из стереобудки. Вращение станции создавало привычную силу тяжести, отсутствие окон делало подковообразный коридор похожим на какой-то подземный тоннель. На полу, может быть впервые за время существования базы, валялись бумажки; Анджей механически отметил в уме эту красноречивую подробность.

Надо было снова идти за информацией. Превозмогая себя — надо. Мука брать информацию у людей, которые сами не свои, которые заняты авральной работой или, что хуже, обманывая себя, создают видимость такой работы, потому что только так они могут заглушить ощущение вины перед теми, кто ждет помощи, которую они не в силах оказать. Конечно же, их раздражает снующий репортер. Но что уж и вовсе действует на них, как зубная боль, так это мысль, что с появлением журналиста они оказываются под пристальным глазом общественного внимания в ситуации, когда им меньше всего этого хочется. Будь их воля, они заперли бы все двери, наложили запрет на любую строчку! По-человечески их можно понять.

Ко всему этому Анджей привык, но даже он оттягивал момент, когда придется переступить порог кабинета начальника региона.

Мешало смутное чувство неловкости. Там гибнут люди, а он пишет о том, как они гибнут. Но ведь он обязан, вот именно — обязан! — писать...

Еще есть гнусное (здесь и сейчас) выражение: «сенсационный репортаж». Да, но, как ни крути, то, что он оказался свидетелем несчастья, для него лично, как для репортера, — удача.

Миру не помешало бы быть чуточку проще...

От этих мыслей Анджея отвлекло появление санинспектора, который шариком выкатился из глубины коридора и замер при виде журналиста.

— А, это вы... — Взгляд его выпученных глаз остановился на Анджее. — Кстати! Помнится, вы меня хотели о чем-то спросить?

Анджей насторожился — здесь еще никто не напрашивался на интервью. И тут он заметил, как дрожат коротенькие руки инспектора. Обостренное чутье вмиг подсказало Анджею, что могло привести к журналисту того, кто отвечал за санитарную безопасность всех станций региона.

— Возможно, возможно, — проговорил он уклончиво. — Однако, по-моему, это вы хотели меня о чем-то спросить.

— Разве? — Рот инспектора приоткрылся. — Ах да, да! Нас, помнится, прервали... Впрочем, не важно. Я что хотел ска-

зять? В своих репортажах вы опустили один момент... весьма существенный момент. Каким образом, теоретически зная о способности микроорганизмов к перерождению, мы допустили на практике... Вы понимаете?

— Мне казалось, — сказал Анджей, слегка отстраняясь, — что до заключения специальной комиссии этот вопрос лучше не трогать.

— Без сомнения, без сомнения! Все же не мешает кое-что прояснить заранее. Хотя бы такой общий принципиальный момент: вся наша работа здесь — рассчитанный риск. Вот! Иначе и быть не может. Не мо-жет!

Инспектор, похоже, был готов взять Анджея за пуговицу.

— Такова специфика нашей работы, — торопливо продолжал он, словно опасаясь, что его перебьют. — Вроде как у альпинистов. Что же касается мер безопасности, то меры разрабатывали самые лучшие специалисты, а мы неукоснительно до последней запятой проводили их в жизнь, тут наша совесть чиста...

— Почему вы говорите «наша»? — перебил его Анджей. — Разве в регионе есть еще один инспектор?

— Это я так, по привычке, ведь мы же коллективисты... Простите, я не об этом хотел сказать. Так вот, меры... Вы не представляете, как легкомысленно относятся исследователи к соблюдению правил. Право слово, как дети! Им, видите ли, мешает... Сколько раз я докладывал...

— Все это очень интересно, — холодно сказал Анджей, в котором привычка выслушивать собеседника до конца боролась с брезгливой жалостью. — И даже существенно. Но, простите, неактуально. Скажите лучше, что намерена делать база сейчас? Ваше мнение на этот счет?

Казалось, из инспектора выпустили воздух — так осунулось его лицо.

— База? — переспросил он растерянно. — Насколько мне известно, Акмолаев намерен ждать результатов исследований...

— Значит ли это, что никого больше на Ганимед не пошлют и больные останутся без помощи?

— Это не мое решение!

— Но ваш голос...

— Я только инспектор. И знаете, мне очень, очень некогда... В другой раз!

Инспектор умчался, что-то бурча под нос. «А некоторые мои коллеги еще пишут, что в космосе сплошь герои, — подумал Анджей, проводив его взглядом. — М-да...»

Дверь кабинета начальника региона оказалась приоткрытой, и уже издали Анджей уловил обрывки слов, которые заставили его подобраться, как почуявшую след собаку. Сам не заметив того, он скользнул за дверь на цыпочках.

Никто, впрочем, не обратил на него внимания. За столом, более багровый, чем обычно, сидел Акмолаев. Напротив стоял донельзя худой, оттого как бы двумерный, человек во всем черном, с лицом резким и злым. Острый, точно лезвие, профиль незнакомца заслонял от скользнувшего в угол Анджея иллюминатор, где медленно текла яркая россыпь звезд.

— Позвольте мне повторить свои доводы, — упрямо сказал человек в черном.

— Я их уже слышал.

— Вы и ваше земное начальство с самого начала связали себя неправильным решением. Понять меня вам мешает предубеждение.

— У меня нет предубеждения.

— Есть.

— Это разговор не по существу.

— Вы сами уходите от разговора по существу.

— Я слушаю вас уже четверть часа.

— Слушаете, но не слышите.

— Вам не кажется, что вы злоупотребляете моим терпением?

— Нет, поскольку речь идет о спасении людей.

— Можно подумать, что вы единственный, кто об этом заботится.

— Я единственный, кто может их спасти.

— Вам нельзя отказать в скромности.

— Мне известны мои возможности.

— Считаю дальнейший спор бесцельным.

— Вот, значит, как!

— Да, так.

Оба замолчали.

Внезапно на все, что было в кабинете, лег красноватый отблеск. Акмолаев и незнакомец разом повернули головы в сторону иллюминатора, куда вползал мохнатый грязно-багровый край юпитерианского диска.

Диск заполнил собой иллюминатор, точно раскаленная взбаламученная туча, грозно набухшая косматыми грядами огня, дыма и желчи. Бестеновой свет ламп померк в ее блеске. Акмолаев и его подчиненный, конечно, видели эту картину много раз и все-таки не могли отвести взгляда, как бы оцепенев перед ликом этой космической Медузы.

Наконец диск ушел за край, и в иллюминаторе снова установилась спокойно плывущая звездная чернота. Собеседники, как будто очнувшись, посмотрели друг на друга.

— Хорошо. — Молчание нарушил неприятный голос незнакомца. — Один только вопрос. Нарушу ли я закон или другое какое космическое правило, если вот сейчас пойду и повешусь?

Акмолаев вскочил. Звякнула покотившаяся по столу ручка.

— Вы... — Акмолаев задохнулся. — Вы в своем уме?

— Я просто спрашиваю. Имеет ли право человек распоряжаться собственной жизнью? Да или нет?

— Но позвольте!

— Да или нет?

— Допустим, имеет. — Акмолаев тяжело опустился в кресло. — Дальше что?

— А раз так, — невозмутимо продолжал человек в черном, — вы не имеете права запретить мне выбор способа самоубийства.

— Имею! — закричал Акмолаев. И тут же добавил осевшим голосом: — Если это угроза, Мей, то недостойная. Как вы можете... Как вы можете устраивать мелодраму, когда на Ганимеде...

— Делать это меня заставляет ваша непреклонность, — быстро ответил тот. — Я хочу лететь на Ганимед. Я врач, мое присутствие там необходимо. Ведь им некому даже подать воды... Вы считаете, что это будет еще одна напрасная жертва. Я же убежден, что болезнь меня не коснется, не сможет коснуться. Вы не верите, что дело обстоит именно так, мои доводы нико-

го не убеждают, вы запрещаете мне полет. Ладно, примем вашу точку зрения. Мое намерение — намерение самоубийцы. Тогда будьте логичны до конца. Закон не запрещает человеку распоряжаться своим здоровьем и жизнью. Следовательно, я не требую ничего противозаконного. Ну и отпустите меня, дайте мне сделать то, что я задумал. Все просто и ясно, слово за вами.

Скуластое волевое лицо начальника региона, казалось, постарело. Он молчал. Сжавшись в уголке, Анджей переводил взгляд с одного на другого. Он никак не мог определить свое отношение к происходящему. Этот Мей, которого он еще ни разу не видел на базе, невольно вызывал восхищение. И в то же время был чем-то неприятен.

Анджей даже прикрыл глаза, пытаясь вспомнить, чей образ вызывает в памяти этот человек с его страстным и, однако, холодным блеском глаз, непреклонный, охваченный беспощадной решимостью.

— Что ж, я отвечу. — Зазвучавший в тишине голос Акмолеева был бесстрастен. — Вы не в пустыне, мой милый. Кроме законов юридических, существуют законы нравственные. Если это вам ничего не говорит, то мне вас жаль. Это все.

— Значит, запрет остается в силе.

— Ничто другое вас не интересует?

— Ничто другое в данный момент не имеет значения. Запрет остается в силе?

— Да.

— Тогда прощайте.

Незнакомец круто повернулся и почти выбежал. Анджей ринулся за ним, но нагнал лишь в конце коридора.

— Пойдите, можно вас спросить?

Взгляд светлых и яростных глаз будто ударил Анджее.

— Да?

— Я... — Анджей растерялся, что для него было редкостью. — Там, в кабинете, я, видите ли, слышал...

— И что же?

— Ничего. — Анджей внезапно озлился. — К тому, кто не хочет, я не навязываюсь с расспросами.

Мгновение казалось, что смысл слов так и не дошел до сознания незнакомца, что он вот-вот отстранит журналиста с

пути и тут же забудет о его существовании. Однако в выражении его лица что-то изменилось.

— Вы пресса? — Вопрос прозвучал как обвинение. — Человек, который обо всем судит, ни в чем не участвуя? Уж не хотите ли вы сказать, что вы мой сторонник?

— А разве мир делится на ваших сторонников и ваших противников?

— Сейчас да, потому что от этого зависит судьба тех, на Ганимеде.

— Не зная, в чем дело, я не могу быть ничьим сторонником.

— А узнав суть дела, вы станете?

— Не обязательно стану, не обязательно вашим союзником, но без этого я уж заведомо не смогу занять никакой позиции.

— Откровенно! Что ж, дороги любые усилия. Для начала такой вопрос: почему врач, постоянно имея контакт с больными, сам заражается редко?

— Меры предосторожности, очевидно.

— А когда врач не знал этих мер? В средневековье? Так как же?

— Но разве какая-нибудь чума больше щадила врачей?

— Да! Это не домыслы — статистика. Ответом, почему так происходит, может служить знаменитый казус с доктором Петтенкофером.

— Простите?

— Петтенкофер — научный враг великого Коха. Когда последний открыл возбудителей холеры, то Петтенкофер с профессорским упрямством, которое может соперничать только с ослиным, твердил, что все это вздор. Чтобы окончательно посрамить Коха, он демонстративно выпил культуру самых свирепых вибрионов. И представьте, его даже не стошнило! Этот случай до сих пор вызывает изумление, а ответ прост. Петтенкофер не заболел потому, что не верил в возможность болезни! Искренне, фанатично не допускал мысли, что вибрионы смертоносны. Вот это и есть ключ: человек не заболевает, если он абсолютно, до последней клеточки мозга убежден в своей неязвимости.

— Но это же абсурд! Вы, медик, не можете не знать...

— Абсурд? О да, конечно... Способность к самовнушению я развил в себе до такой степени, что могу сейчас безнаказанно поглощать любые дозы самых страшных вирусов и бактерий. А меня обухом по голове: абсурд! Теория не допускает, тот же Кох... Меня — Кохом! Факт — теорией! В результате я, единственный, кто может помочь тем, на Ганимеде, кто, можно сказать, всю жизнь готовился к этому, отстранен. Человек, видите ли, не способен... А кто измерил предел его возможностей? Те, кто и близко не подступал к краю. Когда евнухи судят о любви, устрицы о риске, чиновники о творчестве, это смешно и омерзительно! И опасно, когда в их руках власть. Так почему вы, пресса, не бежите к микрофону, чтобы поднять общественное мнение, пока не поздно?

— В любом случае я должен выслушать и другую сторону.

— Верно, верно, правила превыше всего... Даже в такую минуту. А будет поздно! Поздно! Прощайте.

— Еще минуточку...

Но Анджей с его почти двухметровым ростом уже перестал существовать для собеседника. Анджей покачал головой и двинулся к кабинету начальника региона.

Когда Акмолаев увидел входящего к нему журналиста, лицо его выразило одну только мысль: «Вас еще не хватало!»

— Что нового? — спросил Анджей, садясь с видом туповатого носорога.

— Состояние больных не улучшилось, но и не ухудшилось, — размеренно проговорил Акмолаев. — Возбудитель болезни пока не обнаружен, хотя, судя по всему, это вопрос ближайших часов. Вот так.

Последовал наклон головы, каким во всех кабинетах дают понять, что разговор окончен.

— Кто этот врач, который только что был у вас? — спросил Анджей.

Привычная улыбка деловой вежливости на этот раз не сработала — Акмолаев поморщился. Однако в нем явно боролись два противоречивых желания: уйти от неприятного поворота темы или, наоборот, облегчить душу, высказав то, что он не мог высказать никакому другому собеседнику.

— Я только что разговаривал с ним. — Анджей поспешил уточнить ситуацию.

— Пресса, как всегда, оперативна. — Акмолаев откинулся в кресле и без улыбки посмотрел на журналиста. — Ваши симпатии, разумеется, на его стороне?

— Смелость всегда подкупает, — осторожно сказал Анджей. — Тем более смелость самопожертвования. Кстати, хороший ли он врач?

— Врач он прекрасный. — Казалось, Акмолаеву нужно было убедить самого себя. — Да, хороший врач...

— Мей... Как дальше?

— Мей Ликантер, врач «Джей-7», вызван по тревоге вместе с другими. Какое он на вас произвел впечатление?

— Он или его теория?

— Он сам.

— В нем есть что-то от фанатика.

— Вот! — Акмолаев удовлетворенно кивнул. — Он и есть фанатик, причем оголтелый. Эдакий космический Савонарола.

— Савонарола?

«Так вот чей образ преследовал меня! — подумал Анджей. — Ставший нарицательным образ благородного и зловещего в своей нетерпимости фанатика, черты которого померещились мне в облике Мея...»

— Да, Савонарола. Почему вас удивляет это сравнение? Разве этот человеческий тип исчез? Он принял другой облик, одержим другими идеями, а в остальном... «Кто не верит в мою истину, тот враг истины!» Не так разве?

— Пусть так, — сказал Анджей. — Но объективно его стремление направлено к благу...

— Даже если его главная цель — доказать правоту своей теории. Согласен.

— Тогда мне тем более непонятна ваша позиция.

— Начнем с того, что он не первый и не последний доброволец. Каждый на его месте стремился бы на Ганимед. Каждый! И вы тоже, будь вы врачом.

Анджей наклонил голову в знак согласия, но что-то неприятно кольнуло его.

— Между тем, — продолжал Акмолаев, — быть в такой ситуации таким героем легче, чем им не быть. Инстинкт. Добровольцами движет благородный, но слепой инстинкт. А по-

чему бы, спросите вы, не разрешить самопожертвование, ведь люди рискуют своей, не чужой жизнью? Так! Но жизнь их для нас не чужая; вам, мне, всему человечеству безразлично, сколько людей попадет в беду. Дальше. Когда солдат на войне закрывал собой амбразуру, то он спасал своих товарищей от огня, то есть погибал не напрасно. А здесь нет даже этого! Восемь человек — восемь заболевших, а пулемет не подавлен... Что ж, прикажете завалить его телами, авось на десятом, сотом он захлебнется? Люди мы или слепо летящие на огонь мотыльки? Сейчас идет испытание не смелости, не благородства, а нашего разума. В вас что-то протестует против этой рассудочной, но единственно верной логики? Во мне тоже. Но я не колеблюсь. Вот скажет Земля: лекарство найдено, но мы в нем не уверены, надо испытать. Я пошлю на Ганимед Ликантера, заболеет Ликантер, пошлю других врачей, себя пошлю, тех, кто не хочет, заставлю пойти. А сейчас — нет! Нет, ибо бессмысленно и преступно.

— Значит, теория этого Ликантера с вашей точки зрения...

— Она не совсем абсурдна, — быстро проговорил Акмолаев. — Если путем длительной тренировки человек обретает власть над некоторыми автономными процессами своего тела, то... Но у Ликантера, в сущности, нет доказательств.

— Он уверял меня, что способен без вреда поглощать болезнетворные культуры.

— Экспертизы на этот счет не было, но пусть даже все так, как он говорит. Я знал человека, вы не поверите, — он мог пить синильную кислоту. Специалисты вам объяснят, почему это возможно и почему такая способность в любом другом случае бесполезна. У Ликантера нет ничего, кроме безграничной веры в свою правоту и бешеного напора! Тут уж вопрос принципа: либо мы ученые, либо верующие. Либо мы полагаемся на разум, либо бежим за первым же пророком. Или — или, третьего не дано.

Акмолаев пододвинул сифон. Анджей напряженно смотрел, как пузырится вода, ходит кадык, звякает стекло.

— Знаете, — отставив стакан, шепотом сказал Акмолаев. — Иной раз я завидую таким, как Мей... Какая это свобода — отдаваться порыву страстей! Не разбирая пути, не думая, не взвешив-

вая, мчаться на выручку... А тут сиди, рассчитывай, планируй, зажав все в кулак...

Акмолаев замолк, его лицо тронула какая-то извиняющаяся улыбка. Она исчезла, будто сдутая, едва зазвонил интерком.

— Акмолаев слушает! Да... Что... Что?!

Анджей встрепнулся. Он не слышал, о чем говорили, но вид Акмолаева сказал ему больше, чем слова.

Трясущаяся рука Акмолаева опустила трубку.

— Кто-нибудь умер?! — воскликнул Анджей.

— Улетел.

— Как... улетел? — Анджею показалось, что он перестал воспринимать смысл самых обычных слов.

— Так и улетел. Мало ли у нас ракет...

— Сюда?! Больной?!

— Какой больной? Улетел Мей Ликантер! Вы можете это понять? Можете?

— Ликантер? На Ганимед?

— Куда же еще?

— И... и что же теперь?

— Ничего. Его вышвырнут из космоса, меня снимут с этого поста.

— Но, может быть...

— Ликантер сотворит чудо? Не заболит? Вы это имеете в виду? Результат будет тот же.

— Не понимаю. Ничего не понимаю!

— Чего тут не понимать? Я запретил Ликантеру полет, он нарушил приказ, благо никому в голову не пришло оградить доступ к ракетам, теперь он высадится на Ганимеди. Все. Дальнейшее с точки зрения его и моей судьбы не имеет ни малейшего значения! Его уволят из службы космоса, потому что он злостно нарушил дисциплину, меня — потому что какой же я начальник, если мои приказы не исполняются?

— Можно же связаться с ракетой!

— Зачем? Кричать, грозить, стучать кулаком? Поздно и глупо. Он знал, на что идет, слышал все мои доводы, больше нам говорить не о чем.

— Простите! Если Ликантер не заболит, окажет больным помощь, то в глазах всего человечества...

— ...он будет героем? Вероятно. Он будет героем, я пере-страховщиком. Только в космосе его не оставят, что бы там общественность ни думала.

— Не уверен.

— Значит, вы не представляете, кто мы! Романтика переднего края, героический порыв, пионеры космических далей — так вы мыслите? Ложь, потому что полуправда! Космос есть дело серьезное, ответственное, опасное, и основа его — ор-га-ни-за-ция. Вся наша устойчивость здесь — устойчивость живой пирамиды, и своеволие в ней не проступок, а преступление. Иначе — безответственная прогулка, иначе — пикник, а это кровь и смерть. С той же неизбежностью, с какой на морозе твердеет вода, человеческий коллектив тем жестче цементируется дисциплиной, чем трудней условия. Это не нами придумано, это не наша прихоть, это неизбежность закона, здесь можно только так, и никак иначе!

Анджея поразила холодная и яростная страстность слов Акмолаева, почти гимн системе, которая действует по железным правилам машины и гордится этим.

— Мне вы разрешите связаться с Ликантером? — спросил он.

— Прошу! — Демонстративным жестом Акмолаев показал на пульт. — Это тоже ничего не изменит.

Анджей поспешно включил стереосвязь.

«Что за люди! — думал он изумленно. — Тут аврал, ЧП, истерика, а они...»

— Алло, Ликантер! — крикнул он, едва в глубине экрана проступило изображение тесной рубки. — С вами говорит корреспондент...

— Вижу. — Отблеск на щитке шлема делал лицо Ликантера не то гримасничающим, не то смеющимся. — Что вам надо?

— Ответ, как вы могли нарушить то, что составляет основу всей космической системы.

— Узнаю мысли Акмолаева. Все хотите меж правдами середочку найти? Не выйдет! Да, мы здесь все как на канате. Поэтому каждый должен жить по правилам. Трижды верно! А если равновесие уже нарушено? Тогда спасение в инициативе, только в инициативе! И в доверии к инициативе. Ясно?

— Но...

— Нет! Скоро Ганимед, мне не до разговоров.

Рука Ликантера тронула переключатель, и стерео потухло.

— Он неправ, и он крупно подвел меня, — сказал Акмолаев, глядя на мертвый экран. — Это мне не мешает относиться к нему с уважением. Все же таким фанатикам у нас нет места.

— Он может победить. А победителей не судят.

— Знаете что?

— Да?

— Суд над победителями нужнее, чем суд над побежденными. Подумайте над этим парадоксом, и вы убедитесь, что я прав. В одном я согласен с Ликантером — время разговоров минуло. Так что до свидания.

Много часов спустя на Землю ушел последний репортаж Анджея Волчека.

«Входя в шлюз больничной палаты, которая еще недавно была научно-исследовательской станцией, Мей Ликантер, конечно, не подозревал, что биологические центры Пущина и Гринвилл одновременно приблизились к разгадке странной болезни.

Словно бросая кому-то вызов, Ликантер приступил к работе без перчаток и маски. «Они не помогли моим коллегам, — сказал он. — Следовательно, они бесполезны и только мешают».

В этом поступке весь Ликантер.

Томясь, как на медленном огне, мы ждали, что произойдет, не веря в чудо и надеясь, готовые отдать годы жизни, лишь бы чудо произошло.

Текло время, стереомониторы станции бесстрастно фиксировали каждый жест Ликантера, каждую черточку его худого, хмурого, будто обугленного напряжением лица.

Ликантер оставался жив и здоров, жив и здоров вопреки всем прогнозам.

Так произошло чудо. Это не значит, конечно, что его теория верна. Известно, что нет двух в точности одинаковых организмов. Этим способом, подобным делению корабля на переборки, эволюция защитила наш вид.

Мы разные, в этом секрет нашей жизнестойкости! Вот почему ни одна самая губительная эпидемия не может скопить все человечество ни в настоящем, ни в будущем. Вполне возмож-

но, что именно организм Ликантера таил в себе тот резерв сопротивляемости, которым нас снабдила природа. Столь же возможно, впрочем, что справедливо его объяснение, — в этом рано или поздно разберутся специалисты.

Важно не это. В ожидании добрых вестей с Земли здесь, на базе, стояли наготове ракеты, чтобы переправить на Ганимед бригаду врачей тотчас, едва станет известна природа вируса и меры защиты против него. А до этого на Ганимеде был только Ликантер, который совмещал обязанности врача, исследователя, медсестры, няни.

Сейчас, когда все позади, когда ясна клиническая картина болезни, ясно стало и другое. Самый опасный кризис пришелся на те часы, когда подле больных был один Ликантер, а бригада еще находилась в дороге! Если бы его там не оказалось, некому было бы приготовить и ввести парализованным тот комплекс лекарств, который, как уже знала Земля, только и мог дать спасение.

По крайней мере шестерых из восьми это обстоятельство, вероятно, спасло от смерти.

Все хорошо, что хорошо кончается. А все могло сложиться совсем иначе... Совсем иначе. В победе участвовал счастливый случай, и, возможно, не один.

Итак, кончился ужас неизвестности, пытка тревоги, разум человека вновь одолел темные силы природы. Больным уже ничто не грозит. Скоро, очень скоро они обнимут родных и близких...

А нам время задуматься над полученным уроком. В час победы и ликования? Вот именно. Нелеп призыв извлечь урок из поражения — он будет извлечен и без призыва. Но победа одним тем, что она победа, усыпляет критику недостатков. В этом опасность победы.

Да, опасность! Ведь победа — это преодоление беды. Так заглушит ли гул восторга потребность анализа глубинных причин, которые вызвали беду? Промахов и ошибок, которые ее усугубили? Поступков, которые можно толковать и так и эдак? Или мы решим, что правила, годные сегодня, годятся на века? Победа укрепляет веру, что методы, которыми она подготов-

лена и достигнута, образцовы, а потому неприкосновенны. Меж тем диалектика властвует и здесь.

Случай на Ганимеди должен нам об этом напомнить!»

Стоя в углу на нижней палубе, Анджей мог видеть переход к шлюзу главного причала. До старта корабля на Землю оставалось менее часа, и следовало бы уже пройти в шлюз, как это сделали другие, но Анджей медлил.

Боялся ли он встречи или желал ее? Анджей не мог в этом разобраться.

Что его мучило больше всего, так это то, что он до сих пор не мог определить, кто больше прав в том жизненном споре, который решался у него на глазах. Он сам понимал, что от этой умственной неразберихи пострадали его репортажи, потому что в них не было его позиции, а так, поклоны в обе стороны. А от позиции в тот момент зависел не только блеск репортажа... Что это, бескрылая боязнь крайностей? Или неподготовленность ума к глубокой оценке событий и мнений? А может, просто лень, которая все перелагает на жизнь, авось та вынесет приговор и все снова станет простым и ясным? Будто жизнь так уж часто решает окончательно и бесповоротно...

«Рефлексия, — решил Анджей. — Глупая и ненужная рефлексия, поскольку от меня все равно ничего не зависит. Информация, мое дело только информация, тут я знаю и умею».

Так он подумал и не двинулся с места.

Послышались шаги, но не те, которых он ждал. Санитарный инспектор, выпятив живот, прогуливался по палубе, но выражение лица у него было величественное, словно он выполнял миссию, и глаза привычно шарили по закоулкам, как бы проверяя, все ли так, как положено, во вверенном ему стерильном мире.

— А, это вы... — Инспектор остановился. — Улетаете?

— Улетаю. А вы остаетесь?

— Приходится. И рад бы, а куда денешься: работа, долг...

Оба помолчали.

— Вчера закончила работу комиссия, — внезапно сказал инспектор.

— Да? — без выражения спросил Анджей.

— Никаких нарушений в соблюдении санитарных правил не обнаружено. Сами правила, конечно, будут ужесточены.

— Что ж, поздравляю.

— Да, никаких нарушений... Желаю счастливого полета и всех благ.

— Спасибо.

Инспектор протянул руку, и Анджей пожал ее. Кивнув напоследок, инспектор удалился.

Минуту спустя Анджей увидел Ликантера. Он было рванул-ся к нему, но Ликантер то ли не заметил, то ли не хотел его замечать.

Анджей проводил его долгим взглядом. Наклонив голову, Ликантер шел своим резким, как бы рассекающим пространство шагом. В руке у него был чемоданчик.

Его никто не провожал, как и Анджея.

Вздохнув, Анджей поплелся за ним следом.

ДОГНАТЬ ОРЛА

— Смотри не залетай далеко!

Мальчик кивнул и сразу забыл наставление. Еще бы! Солнце греет, мама заботится, все в порядке вещей, и думать тут не о чем.

Он стоял на крыше дома, напряженный, как тетива. Лодыжки и запястья охватывали сверкающие браслеты движков, а шлем и широкий пояс антигравитатора делали его совсем похожим на звездолетчика — таким же подтянутым, мужественным, снаряженным. Он чувствовал, что мама тоже любит их.

— Милый, ты слышал, о чем я говорю?

— Ну, мам...

Мальчик обиженно шмыгнул носом. Что он, маленький? Щурясь на солнце, он принял стартовую позу. Вот так! «Команда готова, капитан! Есть, капитан! Уходим в пространство, капитан!»

При чем здесь мама?

СТАРТ!

Словно чья-то рука мягко и властно взяла его под подошвы, приподняла, так что от макушки до пяток прошел холодок, и — ух! — сердце учащенно забилося, когда плоская крыша, мама на ней, деревья вокруг дома плавно и быстро стали уходить вниз.

Они уменьшались, как бы съеживались, а мир вокруг, отодвигая горизонт, расширялся. Воздух стал ощутимым и зримым. Он приятно обдувал вертикально взмывающее тело мальчика, и от одного уходящего вдаль края земли до другого заполнял собой все — прозрачный, бодрящий, солнечно-голубой.

Чуть-чуть небрежно и горделиво мальчик помахал маме. Она стала теперь совсем крошечной. Земля уходила все дальше, делалась плоской, краски ее грубели, наливаясь синевой. Этот вид земли никогда не нравился мальчику. Он наклонил голову, биодатчики шлема уловили безмолвный приказ, тело легло плашмя, и вот он уже парил, снижаясь и держа курс к вспыхивающему серебру далекого озера.

Прежний антигравитатор, которым мальчик пользовался с пяти лет, слегка шумел в полете, а этот новый «Икар» был совершенно, дивно беззвучен. Ни рука, ни нога не зависали, как это было прежде, — мечта, а не машина!

Впрочем, что тут такого? Вчера хорошая машина, сегодня отличная, завтра еще лучше — иначе и быть не могло. Машины ведь тоже взрослеют.

Ближе к земле ошутимей стали мерные токи воздуха. Тело скользило в струях; чуть теплей, чуть прохладней, немножко вверх, немножко вниз, как с горки на горку, как с волны на волну. От удовольствия мальчик зажмурился.

Даже с закрытыми глазами он знал, над чем пролетает. Сухо и терпко пахнет травой — луг на пригорке. Теперь чуточку колыхнет — низина. Горячий, смолистый аромат с земли — он над сосновым бором. Донесся влажный запах мокрой тины — берег озера. Душистая струя цветущего шиповника...

А ну-ка! В мальчике точно распрямилась пружина. Открыв глаза и вытянув вперед руки, он ринулся наискось и вниз, вниз, тараня близящуюся стену деревьев. Вокруг все мчалось и сливалось. Он был ракетой, он летел в атаку, впереди была сельва чужой планеты, там насмерть бились его друзья, и он, жертвуя собой...

Та же мягкая и властная рука подхватила его вблизи от сомкнутых стволов и подняла над лесом. Как всегда... Было обидно, что его лишали воли, но всякий раз, когда, замирая от сладкого ужаса, он пробовал вот так врезаться в преграду, спасительное вмешательство автомата доставляло ему невольное облегчение. Потому что, кроме азарта и упоения, все-таки был и страх, совсем капельный, но все же страх, что автомат не убережет. Но он уберегал всегда, иначе и быть не могло.

Мальчик перевел дыхание. Вершины частого ельника, над которым он плыл, порой открывали внизу темные провалы со скатами мохнатых ветвей; оттуда тянуло сырым грибным запахом. Можно было, конечно, нырнуть и спокойно исследовать такую пещеру, но нет, энергия требовала другой разрядки.

Он круто взмыл вверх и кувыркался, переворачивался, вертелся, пока все зеленое, голубое, солнечное не закружилось в глазах обезумевшим колесом. Тогда он лег на спину.

Мало-помалу мир встал на место. Теперь в нем была тишина и покой.

Ослепительная белизна редких кучевых облаков тоже манила, но это было совсем не то. Внутри облаков промозгло, зябко и скучно. Облака годятся разве что для шумной игры в прятки, когда под тобой столько белоснежных, соблазнительных издали гротов, невесомых арок, причудливых мостов, но все это зыбко, изменчиво, и нужен точный расчет, чтобы туманное укрытие вдруг не растаяло в самый неподходящий момент. Да, играть там в прятки — это здорово! И еще отыскивать радуги. Радуг там, конечно, много, но надо найти великолепную, такую, чтобы все признали — лучше нет.

А ведь он когда-то боялся летать. Судорожно хватался в воздухе за отцовскую руку. Смешно! Глупый он был тогда. И год назад, если вспомнить, тоже был еще глупый — мечтал пролететь сквозь радугу. Теперь-то он понимает, что такое радуга. «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый спектр, а все вместе — белый свет! Ну еще там ультрафиолетовый, инфракрасный... Очень даже все просто.

Прежняя поза ему надоела, он повернулся на бок. Так он лежал некоторое время между небом и землей, пока не захотелось новых действий.

Тут он увидел парящую вдали птицу. Птица в воздухе что кузнечики на лугу; он давно уже, как подрост, не обращал на них особого внимания, разве что, притаившись за опушкой, с криком врвался в стаю горластых ворон. Поступок, за которым дома следовало внеурочное мытье (вороны пачкались очень метко), сопровождаемое огорченными попреками: «Ведь говорили же тебе — не беспокой птиц; тебя бы вот так кто-нибудь

напугал, каково?» Взрослые любят все усложнять, и если всегда их слушать, то и пальцем не шевельнешь. Они вот никогда не врываются в вороньи стаи и не знают, какая это потеха. И еще неизвестно, кто тут кого должен бояться, — дружная стая разозленных ворон и поцарапать может... Тут ему видней, потому что в детстве ни папа, ни мама не летали по воздуху — антигравитаторов тогда не было. Даже представить трудно, как это они без них обходились.

Одинокая птица не представляла особого интереса, но, приглядевшись, мальчик внезапно насторожился. Уж слишком величественно парила птица! Такой размах крыльев мог быть только... Ну конечно же, это орел! Орел!

Уиу-у! Тело мальчика ввинтилось в ставший упругим воздух. Расстояние до орла сокращалось, но тот все так же лениво парил, нисколько не шевеля крылом. Орел был могуч и, видимо, стар; его царственный вид взбудоражил мальчика. Среди перьев хвоста виднелось несколько белых, и у мальчика даже слюнки потекли при мысли, что трофеем охоты может стать НАСТОЯЩЕЕ ОРЛИНОЕ перо. У всех ребят для игры в индейцев перья синтетические, а у него будет добытое им самим настоящее!

Крылья орла наконец дрогнули. Он уже не парил, а летел прочь от преследователя. Но и удирал он как-то надменно-снисходительно.

Мальчик не думал об опасности, об изогнутом крепком клюве и острых когтях, которым он мог противопоставить лишь скорость своего «Икара». До сих пор орел был символом, персонажем мультфильма, иллюстрацией в книге, а тут он был живой, настоящий и, как подобает орлу, царственный. Такую добычу нельзя было упустить.

Ветер стал тугим, воздух обтекал, как вода, из глаз потекли слезы, но на шлеме были очки, и мальчик поспешно опустил их. Однако — вот беда! — расстояние почти не сокращалось.

БЫСТРЕЕ!

Греющая, если холодно, термоодежда плотно облегла тело, но ветер уже и ее вспарывал, выдувая тепло. Руки коченели, но кто обращает внимание на такие мелочи, когда идет охота?

Крылья орла мерно и сильно били воздух. Но расстояние сокращалось!

Лицо жгло, ветер ревел в ушах, дыхание закладывало. Только бы достать!

Орел казался мощным автоматом, так ровен, быстр и бесстрастен был его полет.

И все-таки мальчик нагонял его.

Теряя величие, а заодно и сходство с машиной, орел метнулся в сторону, вниз... (Мальчик повторил маневр, не потеряв ни миллиметра.)

Соревнование шло не на равных, потому что орел тратил свои силы, а мальчик нет. Но мальчику, чье тело перевозмогло давящую нагрузку воздуха, казалось, что это он сам летит, сам борется и сам побеждает. Вот уж преследование так преследование!

Еще немного расстояния выиграно, еще немного...

Орел вдруг круто нырнул, и несколько сантиметров оказались потерянными, потому что длинное тело мальчика не смогло описать столь же крутую дугу.

Уходит, уходит же!..

Но нет, мощь аппарата превозмогла силу орла. Хвоста уже можно было коснуться пальцами... Но окоченевшие, сжатые в кулак пальцы плохо повиновались мальчику. Он чуть не заревел от разочарования, потянулся так, что в глазах потемнело. И кончик заветного пера очутился в негнущихся пальцах...

Что-то непонятное произошло, едва он дернул перо. Тело орла странно перекошилось, смялось в нелепый комок и пронеслось над ногами мальчика.

Он лихорадочно затормозил, не понимая, отчего орел падает, отчего крутится его тело и под нелепым углом встает то одно крыло, то другое.

Тишина смолкшего ветра оглушила. Ставшее каким-то мохнатым, тело орла продолжало падать, то планируя, то резко проваливаясь. Ничего не понимая, мальчик ринулся вслед за уходящей добычей.

Но орел упал раньше. Машинально приняв позу посадки — ноги полусогнуты, руки прижаты, — мальчик спустился неподалеку. Ослабевшие мускулы плохо смягчили толчок, он завалился на спину, но тотчас вскочил и в смятении кинулся к орлу.

Одно орлиное крыло лежало великолепно распластанным, другое неестественно топорщилось, как сломанное. Не было в орле уже ничего царственного, ничего от бесстрастия могучего воздушного автомата, ничего от загнанного, но даже в панике величавого существа. Был смятый, неопратно взъерошенный труп. Полузатянутый белком глаз мутно смотрел в небо.

Мальчик, еще не веря, что орел мертв, с усилием глотнул воздух.

Ведь он не хотел ничего такого. Как же так? Вот это, то, что он видит, и есть смерть? Настолько хрупка жизнь — и его, значит, тоже? Но это же несправедливо, несправедливо!!!

Мальчик едва сдержал крик и оглянулся, как бы ища поддержки. Зеленела на ярком солнце трава, в воздухе реяли бабочки, и была во всем этом такая пустота, такая неумолимость нового, открывшегося ему порядка, что мальчик похолодел от ужаса.

Потом все облегчили слезы, которые он пытался сдержать и не мог, они мучительно текли, заволакивая мир. Он хотел бежать, немедленно бежать к маме, папе, любому человеку, лишь бы не оставаться в одиночестве. Но что-то удержало его на месте.

Он знал причину. На ближнем пригорке в обрыве золотился песок, там можно было вырыть могилу. Он пошел туда, вытирая слезы.

И тут он заметил, что до сих пор сжимает в руке перо. Он разжал кулак. На ладони лежало измызганное, серое от пыли перо, которое там, в вышине, казалось ему таким желанным и белым.

УЧЕНИК ЧАРОДЕЕВ

Задачи из учебника эвристики:

«Без помощи подъемного крана и тому подобных средств в глубокую яму бережно опустить (не сбросить, а опустить!) стальной куб весом в три тонны. В течение пятнадцати минут найти способ, как это сделать».

«Рассказывают, что к Эдисону однажды пришел человек, который заявил о своем намерении создать растворитель, годный для любых материалов. «Прекрасно, — заметил Эдисон. — А в чем вы будете его хранить?» Это возражение гениального изобретателя почти столетие считалось неотразимым. Найдите по крайней мере два способа хранения вещества, которое все растворяет. Время на обдумывание — 10 минут».

Надо быть не знаю каким человеком, чтобы без трепета начать свой первый в жизни рабочий день. Тем более в Особой Аварийной, куда стремятся толпы, а попадают единицы, да и те вскоре отсеиваются наполовину.

— Ну как, готов к роли Атланта, подпирающего Землю, а заодно и космос?

Сотрудник, которому я был отдан под покровительство, смотрел весело, я хотел ответить улыбкой, но улыбки не получилось.

Особая Аварийная была тем нервным узлом, на котором замыкались все земно-космические линии связи; она располагала мощнейшим вычислительным парком, огромной инфраструктурой, но внешне походила скорее на санаторий — небольшое тихое здание в тихом уголке леса над тихой речкой. Обяза-

тельным тут было одно-единственное правило: минута в минуту быть на дежурстве, минута в минуту сдать дежурство. Да и то человек мог заранее отказаться от дежурства, если чувствовал себя недостаточно бодрым. Должен был отказаться! Тут не человек подлаживался под особенности работы, а работа подлаживалась под особенности человека. Настолько, что даже во время дежурства, если, конечно, не было вызова, человек мог заниматься чем ему заблагорассудится. И это в организации, на которой лежала поистине небывалая ответственность!

Умом я, конечно, постигал всю необходимость и правильность именно такого порядка. Понимал и то, что когда за долгие годы учебы ты привык быть на поводу, то нелегко научиться отвечать за самого себя, воспитывать самого себя и тянуть самого себя. Многие почему-то думают, что самая жесткая дисциплина — это дисциплина внешней регламентации. Она самая неприятная, верно, однако редкий человек не способен приноровиться к ней, тогда как самодисциплина свойственна немногим.

Но даже не это меня беспокоило. Не опасение, что я погрязну в лени или не смогу без понуканий развивать культуру своего ума. Меня тревожило и пугало, способен ли я делать то, что делают мои коллеги. Ибо, несмотря на эвристическое образование, знания, семинарские успехи, я поражаюсь работе моих новых друзей. То есть внешне все выглядело просто. Когда вспыхивал красный сигнал тревоги, в Особой Аварийной никто никуда не бежал. Обычно тревога заставляла дежурного в кресле, где он и оставался, потягивая кофе и размышляя. Его поведение настолько противоречило всем понятиям о том, что такое «тревога», «беда», «аврал», что постороннего человека охватывало сильнейшее желание схватить, казалось бы, дремлющего сотрудника за шиворот и таким образом побудить его к активным действиям.

Ничего удивительного, впрочем, тут не было. Хотя...

Если один человек думает быстро, а другой медленно, то на первый взгляд кажется, что ум первого работает лучше. Это распространенное заблуждение. У недалекого учителя хорош тот ученик, который отвечает без запинки, но такая привычка губительна, ибо пулеметная быстрота мышления возможна лишь

благодаря использованию готовых шаблонов. Это своего рода автоматическое мышление полезно и даже необходимо, когда жизненная задача традиционна, но губительно, когда нужно принять оригинальное решение. Творческое мышление куда более медленно, потому что связано с отказом от готовых навыков. Оно всегда медлительней обычного, но в конечном счете, когда требуется найти что-то новое, оно бесконечно быстрее, так как дает настоящий, не мнимый результат.

Это не сразу было понятно. Веками и даже тысячелетиями практическая деятельность людей решительно во всех сферах была, как правило, связана с решением давно известных, повторяющихся проблем. Но двадцатый, отчасти еще девятнадцатый век втянули людей в круг забот и дел, которые не имели примера в прошлом. И традиционные формы мышления все убедительней стали доказывать свою непригодность. Ярче всего доказали они свою непригодность в тех случаях, когда возникала опасность аварии или катастрофы, не предусмотренная прежним опытом. Тут, когда все решали считанные часы, с особой наглядностью выявилось, что быстрое, но формальное мышление не способно упредить ход событий. Так возникла Особая Аварийная, которая имела дело лишь с теми случаями, когда пасовал опыт и положение казалось безвыходным.

Чем дальше, тем меньше я, однако, понимал, как эти люди, с которыми я общался теперь изо дня в день, — как они могли делать невозможное. Поскольку они имели дело с любыми проблемами, то, казалось бы, они должны были знать все — все области техники, науки и практической деятельности. Но они вовсе не были энциклопедистами! Они умудрялись вытаскивать со дна океана погребенный обвалом батискаф, когда воздуха там оставалось на восемь часов и у всех опускались руки. Они это делали, хотя раньше понятия не имели, какова конструкция батискафа и какие вообще есть средства спасения в такого рода ситуациях. Более того, они и знать не хотели об известных уже средствах!

Уяснить, как в этих условиях они достигают успеха там, где никто его не достигал, я не мог, и это меня сильно тревожило. Ведь если они не всезнайки, если они не гении действия, то должен у них быть какой-то секрет, о котором молчат учеб-

ники эвристики! Секрет, без знания которого я провалюсь, едва в мое дежурство вспыхнет красный сигнал тревоги. Мне казалось, что я ничего не умею, ничего не могу, я изнервничался в ожидании, и если бы оно затянулось еще на неделю, я скорей всего уже ни на что не годился бы. Но пришел и мой час, как всегда, внезапно.

Я сидел, по обыкновению читая, когда на пульте вспыхнул аварийный сигнал. В первое мгновение я тупо смотрел на его дрожащие отблески. Затем словно кто другой нажал кнопку информовизора. И пока шли данные, все внутри меня холодело от страха. «Атлант, подпирающий Землю и космос...»

Стрекотала печатающая аппаратура, летели позывные катастрофы, а я сидел как чурбан. Однако глаза помимо моего сознания уже вбирали содержание листков, которые выбрасывала машина.

Оказалось вот что. На крошечном астероиде Аммон-2 уже несколько лет действовала научно-исследовательская навигационная станция. Семь человек жили там примерно в тех же условиях, в каких когда-то находились зимовщики или метеорологи в горах. Раз в несколько месяцев туда прибывал корабль, а в остальное время люди были предоставлены самим себе. Все службы станции были надежно защищены и от космического излучения, и от шальных метеоритов, так что пребывание на астероиде считалось делом совершенно безопасным. Не учтена была одна мелочь. А именно: масса астероида была столь невелика, что при взлете и посадке корабль сообщал ему импульс, который слегка менял его орбиту. Ничего тут поделать было нельзя, да это и не имело ровно никакого значения; просто время от времени приходилось уточнять координаты станции, которые менялись после прибытия каждого корабля. Это дело не считалось спешным, что и привело к трагедии.

Станция, как всегда, сообщила Луне свои новые координаты. Трудно сказать, где они циркулировали столько времени, но факт тот, что их сопоставили далеко не сразу. А когда сопоставили, то ужаснулись: по роковому стечению обстоятельств астероид приобрел такую орбиту и такую скорость, которые неминуемо должны были свести его с астероидом Озетта.

Такая возможность никогда раньше не учитывалась, ибо даже в поясе астероидов встреча двух массивных тел менее вероятна, чем столкновение двух вслепую брошенных камней.

И все же это произошло.

Ситуация казалась безвыходной. Люди не могли покинуть астероид, поскольку соответствующего транспорта на станции не имелось. Ближайший в этом районе корабль мог достичь астероида лишь на исходе пятых суток. А столкновение должно было произойти через 73 часа! Мне предстояло спасти людей, которых, судя по всему, спасти было невозможно.

Я превозмог себя и стал думать.

Я ни секунды не сомневался, что задача разрешима. Чему-чему, а этому меня научили! Нельзя браться за проблему, полагая, что успех недостижим. Пусть неуверенность гнездится в подсознании — все, провал гарантирован. Людей спасти можно; вопреки очевидности я сразу принял это за аксиому. Но как?

Масса астероида невелика, вот из чего надо исходить. Раз она невелика, то для бегства требуется ничтожное ускорение. Реактивные движки скафандров такого ускорения, понятно, дать не могут. Надо найти что-то другое.

Что?

Я мысленно представил скалистый островок астероида, вокруг которого медленно поворачивается черно-звездное небо. Вероятно, пики астероида чуть серебрятся в отблеске Млечного Пути. Крошечные, тоже серебристые фигурки людей замерли на гребне скалы. Запрокинув голову, люди вглядываются в угольное небо, где среди тысяч других кротко и невинно светит та звездочка, которая мчится на них. Ничто не может развести их в пространстве, день и час, когда они столкнутся, известны с точностью до секунды. Люди смотрят на часы. Осталось столько-то... Столько-то... Природа неумолима. Вероятно, они уже попрощались с родными и близкими.

Мне нужно поднять этих людей над скалами хотя бы километров на двадцать!

Все просто, если бы у них был обыкновенный мобиль. Расчистить от стартовой площадки еще метров сто, разогнать мобиль по этому треку — эх, как бы он взмыл над обрывом! Взмыл, чтобы стать спутником астероида.

Не годится. Нет у них мобилия. Зачем он на астероиде, который пешком можно обойти за час! А не подумать ли о сооружении примитивной-примитивной катапульты...

Волнение прошло, я был спокоен, ничто вокруг для меня не существовало. Рядом сидел мой напарник, я его не замечал. Я был там, на астероиде, среди обреченных, и надо мной медленно кружились все звезды вселенной. Я отчетливо видел мрачные тени провалов, угрюмую безнадежность скал, залитых неярким здесь светом маленького, далекого солнца.

То, чем я сейчас занимался, было, конечно, злостным нарушением всех правил мышления. Дисциплина в этом смысле нужна свирепая; она обязательна для мышления настолько же, насколько ему необходима внешняя свобода; без соблюдения этих двух условий ум человека работает плохо. Но мне требовалась эта небольшая разминка. Я должен «увидеть задачу», без этого я не могу.

А теперь хватит кустарщины! Методом тыка (он же метод бессистемных попыток) можно грузить капусту, да и то если кому-то не жаль своего и чужого времени.

Неверно все с самого начала. Неверно поставлена сама задача. Спасти людей отнюдь не лучшее решение, как ни ужасно это звучит. Допустим, я спасу людей. А станция, оборудование? Они погибнут. Значит, каким должно быть идеальное решение? Астероид со станцией продолжает свой путь, не стесняясь.

Секунды две я проверял это решение. Да, все верно. О людях пока надо забыть. Тем более что, так сказать, в плоскости их спасения думают сейчас в Космоцентре. Если такая возможность существует, ее отыщут и без меня.

Что же мешает идеальному решению? То, что астероидом нельзя маневрировать. А нельзя им маневрировать, потому что он не снабжен двигателями.

Итак, задача ясна: нужно думать о том, как снабдить астероид двигателями.

Вторым планом, нисколько не мешая, текли посторонние мысли. Интересно, те, кто меня подстраховывает, уже нашли решение? Обычно дежурного никто не подстраховывает, иначе он — чисто подсознательно — не сможет мобилизовать все силы

своего ума. Просто существует контрольный срок; не уложил-ся — передай задачу другому. Мельком я взглянул на часы: до контрольного срока оставалось еще минут пять — десять.

Нужен двигатель для астероида. Конечно, он должен быть реактивным. Если, скажем, пробурить скважину и быстро обратит там большую массу воды в пар, то можно получить импульс, который столкнет астероид с роковой орбиты. Ведь много не нужно, достаточно крошечного отклонения: за семьдесят часов бега по орбите искривление уведет астероид далеко в сторону.

Прекрасно, задача почти решена. Если, конечно, у них есть бур или его заменитель...

Я полистал отпечатанное информовизором техописание станции. Геологический бур на станции имелся, отличный эрозийный бур, который за час мог просверлить любую нужную мне дыру.

Но достаточного количества воды на станции, конечно же, нет. Ничего, ее можно извлечь из горных пород. Вообще, откуда они там, у себя на станции, берут воду, кислород? Не с Земли же им доставляют? Замкнутый кругооборот всех потребностей не обеспечит. Значит... Ага, так и есть: все нужное они извлекают из пород. Но это долгий, слишком долгий процесс. Воду мы просто не успеем накопить. Скверно...

«Осел! — выругал я себя. — Ты допустил типичную ошибку — сузил задачу. Что тебе нужно? Жерло — оно у тебя есть, ты его пробурил. Теперь топливо. Почему именно газ? Почему вода? Почему не твердое вещество? Дело же не в состоянии вещества, а в величине отброшенной массы и скорости ее истечения. Вот и ищи заряд, а уж выстрелит ли скважина, как пушка, или будет работать, как ракетный двигатель, — не столь важно. И топлива у тебя сколько угодно, пол-астероида можно пустить на топливо, дело в энергии...»

Кстати, ведь это тоже решение — изменить массу астероида. Тогда и орбита изменится. Попутное решение, которое вытекает из первого, так сказать, в виде бесплатного приложения.

Энергия... Все упирается в энергию. В то, какой у них там реактор и можно ли его приладить в скважину.

Реактор у них, конечно, стационарный. А стационарный реактор объемист, эдакая широкая голландская печь... Ах ты, черт!

Стоп. Ведь это же космос. Их реактор должен быть очень емким, иначе его невыгодно было бы туда транспортировать. Ну конечно!

Итак, реактор у них портативный. А как насчет мощности и отдачи в единицу времени? Для жизнеобеспечения станции не нужна большая мощность, а быстрая отдача тем более. Как это не нужна? Воду-то из камней им добывать надо? Тут малыми мощностями не обойдешься. Ура, да здравствует вода из камня! (А также кислород.)

Какая там у реактора отдача, уже не важно, совсем не важно. Нет такого реактора, который нельзя было бы взорвать. Все, точка!

Я взял техописание, почти уверенный, что найду в нем реактор нужной мне энергоемкости. Так оно и оказалось.

Теперь все элементарно. Даже технически. Мы устроим на астероиде хо-орошее извержение вулкана (в масштабах астероида, конечно). Ничего, что этот двигатель не слушается руля. Годится, в сущности, любое направление струи, которое чуть изменит курс астероида. А наш вулкан его изменит! Еще как изменит! Ничего, ребята на станции какое-то время обойдутся без реактора. Зато они увидят зрелище! Космический фейерверк улетающих в никуда камней, раскаленных газов и пепла, который в огне и грохоте уведет астероид с орбиты. Это красиво будет выглядеть...

Я придвинул счетную машину, ввел данные, получил результат, который меня вполне удовлетворил, минут за десять растолковал Луне, что надо сделать, и наконец блаженно потянулся.

Я заслужил эту короткую минуту счастья. Заслужил, хотя, если честно, задача была примитивной, а решал я ее грязно и долго. Но в контрольный срок я уложился. А ведь я всего лишь ученик чародеев!

ЧУЖИЕ ГЛАЗА

Солнце здесь было не ярче чугуна, а о планете и говорить нечего. По сравнению с ее диском, который заполнял обзор, космос был средоточием света. Глядя на нее, капитан Зибелла молча опустил оттопыренный книзу палец. Жест, каким римляне обрекали гладиатора на смерть, тут был, пожалуй, уместен.

Тем не менее мы ждали, что покажут локаторы. Ирина налила всем кофе, но я не притронулся к чашке. Как-никак это была первая встреченная нами планета черной звезды.

По интеркому был слышен разговор телеметристов.

— Расстояние?

— 0,7 расстояние.

— Информационная активность?

— Нулевая активность.

Правила соблюдались неукоснительно. «Информационная активность разведки должна соответствовать информационному уровню планеты» — примерно так звучало требование. Попросту говоря, мы должны были убедиться, что на планете нет даже самых примитивных приемо-передающих станций, которые могли бы засечь сигналы наших локаторов и тем самым обнаружить нас прежде, чем мы того пожелаем.

Но на планете, как и следовало ожидать, все было тихо.

— Капитан Зибелла! Разрешите включить локаторы?

— Не понял, повторите, как должно.

В интеркоме кто-то тяжело вздохнул. Зибелла был верен себе. Во всем космосе трудно было найти другого столь пунктуального капитана. Злые языки говорили, что он и не женился до сих пор лишь потому, что на сей счет не выработано инструк-

ций. Возможно, Зибелла кое в чем действительно перебарщивал, но как бы там ни было и люди и механизмы под его началом работали безукоризненно.

— Виноват! — звонко отдалось в интеркоме. — Расстояние 0,5 орбитального полета, информационная активность объекта — ноль, пассивная видимость объекта — ноль, прошу дать разрешение на локацию.

— Вас понял, орбитальное расстояние 0,5, нулевая активность, нулевая пассивная видимость, разрешаю использовать локаторы.

Мы все, включая Зибеллу, с нетерпением уставились на экран. Шли секунды, в течение которых автоматы, ощупывая пространство, выбирали самый подходящий для пробоя вид излучений, самую оптимальную частоту (запретными были лишь опасные для органики частоты). Краем глаза я следил за иллюминатором; там все было чернее сажи. Нам, привыкшим отождествлять видение со светом, трудно было поверить, что локаторы с ней справятся.

Мы ждали худшего (случалось, что атмосферы оказывались непробиваемыми), и, когда изображение наконец возникло, Ирина пустилась в пляс. Заулыбался даже Зибелла. Еще бы! Словно кто-то рванул занавес, за которым был сияющий полдень.

В рубку, потирая руки, вбежал Лео.

— Ну каково? — осведомился он, будто сам, без всяких там автоматов обеспечил столь изумительное изображение.

Ответа не последовало, ибо в эту секунду мы увидели хижины.

Мало что так действует на человека, как вид планеты, которую ты открыл. Все тело и весь твой разум становятся придатком глаза, который не смотрит, а пожирает развертывающийся пейзаж. Вот эти рваные, хаотичные громады гор с неземными сапфировыми ледниками... Вот эти похожие на след птичьих лап штрихи оврагов... Вот это непонятное бледно-розовое пятно... Вот этот чеканный блеск моря... Всего этого никто никогда не видел. Ты первый.

А уж если обнаружена жизнь... Тут бессмертную душу отдашь, лишь бы поскорей вступить на поверхность. Но времена

Колумба, увы, миновали. Сводом правил, который регламентирует обследование безжизненных планет, можно убить человека, но его объем и вес ничто по сравнению с томом, определяющим метод подхода к планете, где есть жизнь и, возможно, разум. И уж будьте уверены, Зибелла выполнил все до последней запятой.

Мы педантично обследовали планету с высокой орбиты, с промежуточной, с низкой; провели топографическую съемку, гравитационную, магнитометрическую, радиолокационную, термодинамическую и прочая, и прочая. Мы делали то, что совершенно необходимо было сделать; и то, что желательно было сделать; и то, чего можно было не делать, но что на всякий случай не мешало бы сделать. Мы едва не утонули в хлынувшей информации. «Каши маслом не испортишь», — повторял Зибелла, у которого от бесчисленных забот, кстати говоря, совершенно пропал аппетит. Но мы не роптали, потому что планета оказалась прелюбопытнейшей.

Не получая от звезды тепла и света, она должна была представлять собой мертвую льдышку. Но хотя климат, по нашим понятиям, был суров, ее, пожалуй, можно было назвать цветущей. Тепло в отличие от Земли ей давали собственные недра; и это тепло великолепно удерживалось атмосферой. Растительность существовала за счет тепловой энергии, тут секрет был ясен. А вот что касается обитателей хижин...

Скользя по орбите, мы не могли их как следует различить. И только когда наступил этап разведки с помощью атмосферных автоматов, нужное увеличение было наконец достигнуто.

У Лео при их появлении на экране вырвался нервный смешок. Сложением и ростом существ походили на пингвинов, а их свободные конечности явно напоминали руки. Но все остальное... Вообразите себе голову в виде увенчанной лавровым венком дыни. Вообразите себе пульсирующий треугольный клапан посередине такого вот, с позволения сказать, «лица». Прорези там, где у нас уши. И ни малейшего признака глаз! Вот что бесповоротно лишало их сходства с человеком — отсутствие глаз.

А между тем конусовидные домики этих существ были окружены взрыхленными участками, на которых что-то росло. Кро-

ме того, хижины имели дверь. Настоящую дверь на ременных петлях.

Отделенные многими десятками километров, мы с трепетом смотрели на эти самые двери, понимая, что они значат.

— Оркестр, туш! — не совсем удачно выкрикнула Ирина.

Казалось, Зибелла ничего не слышал. Он возвышался над экраном, по которому двигалось маленькое, несуразное, разумное существо, и лицо у капитана было такое, словно он хотел прижать чужеземца к своей широкой груди.

Но едва утихли первые восторги, как мы стали замечать необъяснимые факты.

Животное рванулось, когда до него осталось шага три, и, семена на коротких, как колышки, ножках, понеслось по прямой. Но на пути у него была Ирина. Она вытянула ногу наперез мчащейся бочкообразной туше. Рога животного звякнули о металл. Оно пискнуло и метнулось вправо.

Все было как обычно. За небольшим исключением все животные подпускали нас и затем спасались бегством, не замечая при этом даже самых явных препятствий. Можно было твердо сказать, что они слышат звук шагов, но нас они не видят. Как, впрочем, и все остальное. Безглазая, словно в пещерах, жизнь.

Да тут и были самые настоящие пещеры! Пещеры мрака. Наблюдая сверху, мы так привыкли, что над планетой светит солнце — наше радарное солнце, что темнота внизу действовала угнетающе. Темнота и связанные с ней мысли. Растения здесь не тянулись вверх, как на Земле, а жались к почве. Обесцвеченные рыхлые пластины листьев стлались ярусами, и чем выше, тем тоньше и шире были эти мертвенные грибовидные пластины. С них капала, свисала зеленовато-желтая, омерзительная слизь, точно вся растительность страдала насморком. Смотреть под ноги было противно, но и небо не радовало — там, в крошечной темноте, перепархивали какие-то блеклые трупки: здешние, так сказать, птицы. Нет, человеку тут явно было не место.

Двигаясь за остальными, я малодушно благодарил судьбу, что я здесь всего лишь недолгий гость. Открыл и разведал — вот вся

наша забота. А кому-нибудь придется здесь жить. Потому что планета потребует стационарного наблюдения. Это годы одиночества и мрака, долгие и тоскливые годы, о которых лучше не думать, даже если они выпали не тебе, а другому.

Постыдное чувство, но, продираясь во мраке среди осклизлых зарослей, я радовался, что у меня есть «обратный билет».

К хижинам мы подходили не таясь, поскольку тут не было глаз, которые бы заметили свет наших прожекторов. Нас мог выдать только звук, но мы не собирались приближаться вплотную.

И все же по чисто земной привычке мы залегли в «кустах», то есть в ноздреватых, как сыр, пластинах какого-то местного растения. Смешно, если вдуматься, но нам было не до смеха. Вот уже сколько времени мы старались понять, как может существовать этот слепой мир, — и безуспешно.

В том, что он слеп, мы уже не сомневались. Ни животные, ни обитатели хижин не обладали дальновидением. У них не было глаз, и это понятно. Но у них не было и органов, которые бы восполняли отсутствие глаз! Органов, которые позволяли бы замечать далекие предметы подобно тому, как это делает хотя бы летучая мышь. Слух? Он был развит не лучше, чем у нас. Обоняние? На уровне собаки. Какое-то неведомое нам шестое, седьмое, десятое чувство? Мы, однако, не раз наблюдали, как бегущее животное с размаху тыкалось в препятствие, подобно тому как четверть часа назад бочкообразное существо ткнулось в Ирину ногу.

Конечно, все это можно было объяснить. К чему дальновидение на планете, которая, в сущности, не что иное, как огромная космическая пещера?

Отличное объяснение, только оно никуда не годилось. Потому что животные здесь бегали, и быстро. А где бег, там и видение, иначе это уже не образ жизни, а чистое самоубийство.

Все, что мы в этом смысле наблюдали, было таким же абсурдом, как если бы толпы слепых вздумали разгуливать по автомагистрали. Такой мир просто не мог существовать, а здесь вопреки всему он жил и здравствовал. В последнем мы, впрочем, были не слишком уверены...

Наши бьющие на сотни метров прожекторы ярким светом заливали группу хижин, которые казались необитаемыми. От всего этого создавалось впечатление каких-то неправдоподобных декораций, сценической площадки, которую покинули артисты. Казалось, вот-вот раздастся голос режиссера, что съемки окончены, и мы, облегченно вздохнув, разойдемся.

Но время шло, а ничего не менялось. И мы вздрогнули, когда дверь открылась и наружу вышел тот, кого мы ждали.

Прижимая к боку какой-то объемистый сосуд, он постоял немного (свет бил ему прямо в «лицо») и двинулся по тропинке, свободной рукой время от времени касаясь нависающих сбоку листьев. И вот это на ощупь бредущее существо вскапывало те поля, которые окружали поселок?! Строило жилище? Охотилось? В это невозможно было поверить. Но ведь кто-то все это делал?

Он продолжал двигаться, все так же касаясь кромки листьев.

Наши прожекторы следовали за ним. Они высвечивали даже вздутия мускулов. Земной опыт бурно протестовал против того, что мы видели. Казалось, существо вот-вот обернется в сторону пылающих электрических глаз, издаст вопль ужаса и скроется в темноте. Наши пальцы невольно легли на выключатели, и нам стоило труда их снять.

Проследив взглядом направление тропинки, мы поняли, куда и зачем бредет наш незнакомец. Он шел к крохотному озерцу, и чем ближе он к нему подходил, тем неуверенней делалась его походка. Местность тут была открытой, и он несколько раз нагибался, пробуя почву. Край берега он ощупал ногой и, лишь убедившись, что перед ним вода, опустил сосуд.

Теперь ему предстоял обратный путь. Он двинулся правильно, но тут в тени листьев мелькнуло тело какого-то животного. Мы не успели его толком разглядеть, так быстро оно мелькнуло. Но обитатель хижины уловил его присутствие. Он стремительно обернулся и кинулся в сторону. Потом замер. Он не был человеком, даже вовсе не был на него похож, но мы видели, как ходит его грудная клетка, нам переданся его страх, и на мгновение между нами и этим сыном вечной ночи установилось что-то похожее на родственную связь. Мы даже вскочили, готовые бежать ему на помощь.

Этого не потребовалось, хищник исчез. Обитатель хижины взял половчее сосуд, замотал своей увенчанной «лаврами», точнее рогами, головой и пошел... Не к дому. Его движения не изменились; он так же нагибался, пробуя почву, только теперь ему мешал наполненный водой сосуд. И шел он не к хижинам, а прочь от хижин, туда, где путь ему преграждал обрыв.

Я слышал тяжелое дыхание друзей и был в таком же замешательстве, как они.

Предупредить об опасности? Ну а если ему нужен именно обрыв?

Он уже подходил к нему. До края оставалось совсем немного. И тут он как будто почуял неладное. Он затоптался на месте, его голова задвигалась, словно он пытался что-то увидеть. Потом он взял левой. Но обрыв заворачивал, избежать его можно было, лишь круто взяв назад. Мы ждали, что он это сделает. От провала его отделяли какие-то сантиметры. Он замер.

Нелепая, увенчанная «лаврами» голова в овале прожекторного света. Быстро пульсирующий треугольник рта на безглазом лице...

— Назад, назад! — не выдержала Ирина, будто он мог слышать радио.

Он сделал шаг. Туда, в черноту. Даже падая, он не выпустил сосуд с драгоценной водой. Донесся вскрик...

То, чему мы не хотели верить, оказалось истиной. Этот мир был слеп, но он стал слеп недавно.

— Вы не хуже меня знаете, что этого нельзя делать, — сказал Зибелла.

— У нас нет выхода, — повторила Ирина.

Мы стояли над трупом аборигена и не знали, как быть. В тупик нас поставило одно весьма разумное правило. Чтобы понять, какая беда обрушилась на планету, нам надо было забрать и проанатомировать безжизненное тело. Но было ли оно таким в действительности? Этого нельзя было сказать наверняка без тщательного исследования высших животных планеты, которым мы еще не занимались. А не зная ничего о физиологии аборигенов, мы запросто могли стать убийцами того, кто, по нашим понятиям, был мертв, а по здешним, не исключено, всего лишь лежал без сознания.

Но и медлить было нельзя.

— Предлагаю интроскопию внутренних органов, — сказала Ирина. — Прямо тут, на месте.

Зибелла ответил так, как и я бы ответил на его месте:

— Конечно, это самый разумный выход. Но можете ли вы гарантировать, что просвечивание ему не повредит? Вы можете положиться на точность такого диагноза и без вскрытия определить, жив он или умер?

«Ну все, — подумал я. — Ничего нельзя гарантировать, если организм аборигена не похож на человеческий. Да что же это такое? — спросил я себя в отчаянии. — Мы сами себя связали по рукам и ногам, когда надо действовать, действовать, действовать! Будь на месте Зибеллы кто другой...»

— Да, — сказала Ирина. — Я могу дать полную гарантию.

Мне показалось, что я ослышался. Но слова Ирины были ничто по сравнению с ответом Зибеллы.

— Действуйте, — сказал он.

И все. Знал ли Зибелла, что Ирина покривила душой? Вероятно. Нелепей, однако, было другое: даже сейчас Зибелла не нарушил букву правил! Ибо «в решении сугубо специального вопроса капитан обязан полагаться на мнение специалиста». Вот он на него и положился. И не снял с себя ответственности: мог бы промолчать или возразить, а вместо этого отдал подтверждающий приказ.

Вот и пойми человека, которого ты вроде бы знаешь наилучше. Ничего удивительного, впрочем. Если противоречия — неотъемлемое свойство окружающего мира (а так оно и есть), то нелепо предполагать, что когда-нибудь возникнет порода людей, лишенная неожиданных противоречий характера.

— Он мертв, — сказала Ирина, отрываясь от приборов.

Мы доставили тело на корабль.

То, что мы выяснили, лишь усугубило загадку. Изучение погибшего показало, что у обитателей планеты имелся орган дальновидения — тот самый смешной «лавровый венок» на голове. Это и были его «глаза», улавливавшие, понятно, не свет, которого здесь не было, а тот пучок ультракоротких радиоволн, который посылала звезда и который мог пробиться сквозь здешнюю атмосферу.

Их радиосолнце, по нашим понятиям, еле брезжило в небе. Но для них, разумеется, сумрачный мир вовсе не был сумрачным, так как эволюция создала невероятно чувствительный орган восприятия. Благодаря своим рога-антеннам они, верно, как и мы, могли любоваться закатами, красками растительности, переливами бликов, зыбью морской волны, всем тем, что составляет зримый мир, даже если это мир отраженных радиоволн, который мы, люди, представить не в состоянии.

Так было, пока они не ослепли.

Внешне их рога-антенны не имели повреждений, они просто не функционировали, и мы не могли понять почему.

Напрашивалось два объяснения. Внезапная эпидемия. И еще. Мы бы не ослепли, если бы наше солнце вспыхнуло вдвое ярче, потому что у нас есть веки. А у них не было, да и не могло быть заменителей век, потому что пронизывающая способность даже сверхкоротких радиоволн несравнима с проникающими возможностями света.

Прекрасные гипотезы, только они никуда не годились. Что это за эпидемия, которая так быстро поразила всех обитателей планеты? Внезапное усиление радиояркости звезды, конечно, могло дать такой эффект, но у нас имелись замеры, которые показывали, что по крайней мере во время нашего пребывания звезда вела себя смирно.

Мы спорили часов шесть и разошлись удрученные. Отгадка была где-то рядом, мы это чувствовали, и собственное бессилие настолько раздражало, что хотелось поступить с мозгом, как с барахлящим прибором, — хорошенько стукнуть его.

Мне не спалось; подозреваю, что и остальным тоже. Едва я закрывал глаза, как передо мной вставала замершая на краю пропасти фигура. Я слышал его крик...

Я предпочел открыть глаза, хотя в каюте было совершенно темно. Темно, как на самой планете. Нет, так нельзя, подумал я. Мы ничего не сможем добиться, если не сумеем выйти за предел земных представлений.

Интересно, а как это сделать? Весь строй наших мыслей, вся наша психология настолько неотделимы от Земли, что отделиться невозможно. Впрочем, не совсем так. Мы побывали

уже на многих планетах, и от земных представлений мы отстраниться, пожалуй, все-таки можем. Не вполне, но можем. А вот от представлений, связанных с Солнцем, избавиться куда трудней. Где бы мы ни были, мы окружаем себя светом, атмосферой солнечных лучей. И ничего тут не поделаешь. Мы можем знать и знаем, что существуют другие виды света, мы пользуемся ими, мы создали инструменты, которые видят иначе, чем мы, но, употребляя их, мы все равно сводим то, что они дают, к зримым картинам либо к отвлеченным символам. Разум — наш поводырь, но глаз — его самый доверительный советчик. Попробуй замени его радиоглазом хотя бы... С машиной эту операцию проделать можно, а с человеком нет.

Что, это, пожалуй, идея! Спустить вниз кибера с радиоглазом той же избирательной способности, той же чувствительности и посмотреть, что с ним будет.

В волнении я зажег свет. Как это всегда бывает после темноты, несколько секунд я видел лишь плоские, до боли яркие размывы предметов. «Вот так было и на планете, — подумал я. — Опаляющая глаз вспышка, а потом слепота и мрак... У бедняг не было век. Поэтому...»

Мое сердце гулко стучало. Мы искали вспышку, потому что весь наш опыт твердил, что ослепить может лишь мгновенная сильная вспышка. А что, если искать надо другое? Это мы можем захлопнуть веки, а они нет. Тот уровень радиояркости звезды, который в силу его постоянства мы сочли нормальным, на деле им не был. Могло так быть?

Этим все объяснялось.

Ничего этим не объяснялось! Даже если бы у нас, на Земле, солнце раз в миллион лет в течение всего месяца-двух светило вдесятеро ярче, то эволюция учла бы это обстоятельство. Тем более здесь. Не могло же так быть, чтобы звезда всегда светила ровно, а к нашему прилету вдруг взяла да и устроила катастрофу. То есть, конечно, и такое возможно, но это уж слишком невероятное совпадение.

И все же здесь что-то есть... В совпадении самих моментов. Как будто наш прилет... То, как мы приблизились, то, как мы...

Не одеваясь, я ринулся в аппаратурную. Лео был еще там, и он выпучил глаза, но я не дал ему сказать ни слова.

— В каком диапазоне работают наши локаторы?

— Сейчас взгляну. А что?

— Ты не знаешь?!

— Запомнишь тут, когда столько дел... Автоматы сами... Да что с тобой?!

Но я уже сам прочел показания автоматов.

— Лео, умоляю, примерно, хотя бы примерно, какова интенсивность локоаторов у поверхности? Порядок, ты можешь назвать порядок?

Он назвал порядок. Он еще ничего не понимал. А у меня все плыло перед глазами.

Наша автоматика выбрала как раз те частоты, для которых атмосфера была наиболее прозрачной и которые именно поэтому были здесь «светом жизни». Только наши приборы были менее чувствительны, чем «глаза» обитателей планеты, а видеть мы хотели как можно лучше. Вот локаторы и вспыхнули палящим солнцем.

Мы сами ослепили здешний мир, ибо были убеждены, что особенности человеческой физиологии — наше и только наше личное дело.

Что-то говорил Лео, но я его не слышал. Я видел черную планету, где нам теперь долгие годы предстояло спасти то, что еще можно было спасти. Мысль об удручающем аде, который нас ждет, как ни странно, доставила мне облегчение.

ЧЕРНЫЙ ВЕЛИКАН

Из-за дурацкого вывиха мне пришлось остаться в ущелье одному, тогда как мои товарищи ушли на штурм памирского семитысячника. Досада моя не имела границ, но вскоре я понял, что, потеряв одно, я приобрел другое.

Моя палатка стояла на берегу ручья такой неправдоподобной и чистой голубизны, какая бывает только в детских снах. Есть немало вещей, которые можно созерцать бесконечно: накат морских волн, пламя костра и бег горного ручья. Там, где возникала заводь, вода уже не казалась водой. Нет, то был жидкий и вечный кристалл, сквозь который мерцала россыпь камней, более причудливая и яркая, чем фантазия восточных ковров. Сбоку, в десяти шагах от палатки, пузырился источник нарзана; он стекал по красному, как киноварь, ложу. Невероятно, как много красоты может вместить маленький клочок земли!

Выше над ущельем смыкались скалы, там всегда была прохлада и тень, тогда как вокруг с густо-синего, уже стратосферного неба лился хрустальный поток солнца. Осязаемый и жгучий, он заполнял все и мог, казалось, звенеть над пирамидами гор ясно и долго, окажись тут звонарь с медным молотом.

И он зазвенел однажды в раскаленный послеполуденный час. Я поднял голову от форели, которую чистил, но не увидел ничего, кроме каменных громад с далекими глетчерами на вершинах.

Несколько секунд я слушал звонкий раскат, который был, сомнений не оставалось, той музыкой небесных сфер, которую выдумали пифагорейцы и которая могла прозвучать только здесь.

Сердце замерло — то был момент совершенного счастья, хотя никакой причины тому не было. Наоборот, любой странный звук настораживает, тем более в горах, где лавина и осыпь подстерегают на каждом шагу. Но разум спал. Не оттого ли беспричинное счастье так часто приходит к нам в молодости и тем реже его появление с годами?

Потом я увидел в небесном своде трещину, какая возникает в тонком стекле. Начало ее терялось где-то высоко над снежинками, а конец расширялся, сбегая вниз, прямо к тому месту, где я находился.

Что-то надломилось, треснуло, и тут я испугался. Ошеломленно я смотрел в небо, где замер звук и где льдинкой в роднике таяла эфирная трещина.

Теперь звенящей казалась тишина (ручей не в счет, я так привык к его неумолчному рокоту, что шум не достигал сознания). Машинально я смыл с рук чешую и встал, не зная, что думать.

Трещина в небе дотаяла. Все стало как прежде, солнце калило рыжие отвесы гор, тек ручей, но во всем этом теперь была тревога.

Нет, даже не тревога, а смутное чувство напряжения, какого-то разлада. Словно на самом дне ясности притаился мрак.

Как хотите, но, кроме зрения, слуха и всего прочего, человек обладает еще другим чувством, которое обостряется в одиночестве и о котором я ничего не могу сказать помимо того, что оно есть. Может быть, это лишь эхо собственных ощущений, не знаю. Вот и тогда: краткий испуг сменился уверенностью — откуда она взялась? — что лично мне ничего не грозит, хотя вокруг неблагоприятно.

Моя нога уже настолько поджила, что я мог идти прихрамывая. Я бросил рыбу в котелок и двинулся вверх по ущелью, туда, куда десяток минут назад уперся кончик небесной щели.

Пока я шел, было время подумать, но — странно! — мысли не шли в голову. Даже сумбурные, нелепые, какие бывают после неожиданности, и те отсутствовали. Зато я остро, нервами впитывал изменчивость цвета, формы и запаха, словно был приемником, только приемником отовсюду идущих волн.

Чем далее я продвигался, тем менее это походило на обычное воздействие природы. Когда я вышел из сумрачной тесни-

ны, простор и свет должны были дать облегчение, а они наполнили меня чувством западни. Впрочем, если я и ощущал желание повернуть назад, то лишь от этого разлада с окружающим, а вовсе не потому, что мне было страшно.

Террасу, огибая которую тек ручей, замыкала гряда исполинских валунов, и, когда я сделал к ней несколько шагов, мне открылся Черный Великан.

Я называю его так, потому что затрудняюсь передать его облик. В нем, несомненно, было что-то человеческое, но нечеловеческого в нем было куда больше. Громада округлого черного стекла, такая же полупрозрачная в краях, как настоящее стекло, — она на первый взгляд мало чем отличалась от окружающего базальта. Только взглядевшись, я различил подобие головы, неожиданно маленькой и без глаз. Сзади выпирал похожий на взбитую подушку горб. Других конечностей я тогда не заметил. Я стоял и смотрел, а Глыба — для меня не оставалось сомнений — тоже смотрела. Не могу этого передать: взгляд был осязаем и пронизывал меня насквозь.

Больше ничего не было, если не считать, что я испытывал глухое отчаяние которое не было моим отчаянием, а исходило от Глыбы так, как от солнца исходит жар.

Не только отчаяние. Растерянность, скорбь и еще жалость. Не моя жалость и не ко мне обращенная, а... Так, космически, могла сожалеть звезда, что ли.

Наконец Глыба шевельнулась, и это подействовало на меня как удар.

Я хорошо помню начало встречи и ее продолжение, а вот что было посередине — стерлось. Верней, как раз наоборот: обилие сильных впечатлений засветило этот участок памяти, как солнце засвечивает пленку. Провал, который я ничем не могу восполнить...

Так или иначе, но, когда от гор уже легли тени, я обнаружил, что сижу на берегу ручья, напротив же, упираясь в скалы, громоздится Черный Великан и мы ведем беззвучный диалог.

То ли я пообвык, то ли пригляделся, но он уже не казался мне глыбой. Безглазая маска его лица походила на слепок, смятый судорожным движением руки скульптора; искаженно в

нем проявились человеческие черты. Тело, казалось, исходило мрак, но было оно живым, подвижным настолько, что мускулы могли течь наподобие черных змей, иногда образуя какие-то резиновые отростки.

Впрочем, все это мои дорисовки. Если бы муравей или краб мог общаться с человеком, что извлек бы он из рассказа о полете в какую-нибудь Австралию? Подозреваю, что я понимал Великана не лучше. Порой миллиарды звезд слипались в огненный ком, а затем обращались в кольцо, чтобы исчезнуть в фиолетовой мгле, — вот так он мчался. Откуда, куда, зачем? Галактики мелькали, как листья на ветру, и чем дальше, тем судорожней, отчаянней становился этот полет, потому что то ли ошибка, то ли авария сбила Великана с курса и где-то он потерял себя в пространстве.

Потерял себя в пространстве! За это я ручаюсь. Он заблудился не в нашем трехмерном мире, а в каком-то ином, чудовищно сложном и недоступном моему пониманию.

Заблудился, как человек в лесу, — это меня потрясло больше, чем все другое. Все было так, как предполагали ученые, и все оказалось совершенно иначе. Земли достиг, смог достичь разум такой мощи, что для него межзвездные расстояния не были ни препятствием, ни далью. Но кто мог подумать, кто мог предвидеть, что такой гость окажется несчастней приبلудного пса? Логика чертит прямые линии и рассчитывает, как все должно быть, а жизнь часто подкладывает под логику такой сюрприз, что дальше некуда, и уж после догадываешься, что так и должно было выйти, поскольку жизни по линейке не бывает.

Рассекать галактики и оказаться несчастней приبلудного пса? Наша мысль этого не приемлет, а на деле тут нет ничего особенного. Трагедии случаются при любой технике, и чаще других рискует тот, кто прокладывает новые пути. Вся разница, что Великан потерял ориентировку все-таки не в лесу, где все родное и есть направление. Он затерялся в бесконечности, где нет начала и конца, центра и края, прошлого и будущего. Этого, похоже, не смог вынести даже сверхчеловеческий ум Великана. Случайно именно Земля оказалась тем местом, куда его бросило отчаяние, норой, где он смог укрыться от обсту-

пившей бесконечности, которая для нас просто пустой звук, а для него зловещая реальность.

Может быть, так, может быть, иначе. Мы оба находились на Земле, но только это нас и объединяло.

Порой инстинкт побуждал меня опустить руку в ледяной ручей, так невыносимо становилось соседство чужого сознания с его неземным горем. К счастью, в нас сильна привычка мелочить колоссальное и драпировать непостижимое в домашний халат. Шло время, и Великан вопреки тому сверхчеловеческому, что в нем было, все более казался мне просто несчастным, которому надо помочь. Аналогия с потерпевшим кораблекрушение все чаще мелькала в моем возбужденном мозгу. Как, должно быть, хохотала вселенная!

Первое, о чем я связно подумал, это о том, что Великану рано отчаиваться, поскольку он набрел на планету, где есть способный понять его разум.

Я попытался мысленно передать ему это. Ответ был таким, что лучше бы я не делал этого! В моем сознании вдруг прозвучал вопль, который мог издать Робинзон, когда скалы вернули ему эхо собственного голоса, после того как он убедил себя, что слышит человека. И связь оборвалась.

Быстро, как это происходит на юге, угас последний луч солнца, померкли ледники, и черная памирская ночь скрыла Великана. Только голова его, подобно вершине, выделялась среди звезд. Еще остались грохот ручья да ощущение неправдоподобности происходящего.

И тут, будто тяжелая волна, меня накрыла чужая мысль. Я понял — или мне показалось, что понял, — нечеловеческую грусть и нечеловеческую гордость, которая вела Великана за пределы возможного и смирилась только перед мощью целой вселенной. В первый и последний раз я уловил то, что осмелюсь считать его словами. «Я мыслю, следовательно, существую, но это не так. Я существую только тогда, когда есть такие, как я. А если они потеряны навсегда, то я, хоть и мыслю, уже не существую».

Этим все кончилось. В уши ворвался рев воды, и это было как землетрясение.

Ловя потерянную близость, я потянулся к Великану и был остановлен мыслью, уж не знаю чьей. И мы когда-нибудь выйдем к звездам, и перед нами распахнется бесконечность. Путь разума один, и одна расплата для тех, кто шел впереди и оступился. Так было в их истории, так есть и будет во всех мирах. Но разум нигде не умирает со смертью тела, когда ему есть что передать. Кому, однако, мог передать Великан то, что накопил его разум в долгих странствиях?

Мне. То немногое, что я мог понять и принять.

Возможно, я ошибаюсь в мотивах. Для себя Великан уже ничего не мог сделать, но что ему стоило оказать услугу? Ведь помощь другим — часто лучшее лекарство от собственного горя.

Все это, впрочем, домыслы, которые никогда не станут уверенностью. Тогда мне было ясно одно: он ждет от меня чего-то.

Я встал и шагнул к нему.

Все исчезло.

А когда сознание вернулось, то не было вокруг уже ни гор, ни Земли. Летел ли я в корабле? В объятиях Великана? И это мне неизвестно. Мы перемещались меж звездами быстрее, чем автомобиль проносится под фонарями улицы. Я видел планеты, которые только рождались, и видел гибнущие планеты. Я заглядывал внутрь «черных дыр» вселенной, я видел неизвестные науке пряди материи, которые окутывают ядра галактик. Я листал книгу, в которой для нас открыты лишь первые строчки.

Великан не пытался мне передать свои знания, видимо, это было безнадежно, я даже не знаю, какие места вселенной я посетил. Он мне просто показывал, какие дали нас ждут, и я могу лишь сказать, что все наши представления убоги по сравнению с действительностью. Сто раз я пытался описать увиденное, но в конце концов понял, что не в силах сделать это. Причина тому простая. Наш язык — порождение Земли и земного образа жизни. Пользуясь им, легко описать тот уголок Земли, где я встретил Великана, но для безбрежного космоса он не годится, как не годится словарь шумеров для описания синхрофазотрона. Должна произойти постепенная эволюция, а пока... Вот мы уже побывали за пределами Земли и видели лунный мир. А создали ли у вас рассказы очевидцев впечатление, что это чужой мир?

Должно быть, Великану было подвластно не только пространство, но и время, потому что вопреки Эйнштейну мы перемещались не только быстрее света, но и вернулись еще до восхода солнца.

Точнее, вернулся я один. Я очнулся там, где сидел, и в воздухе был тот же эфирный звон, который сопровождал появление Великана, а небо пересекала знакомая мне трещина. Звезды дрожали в ней, как в испарениях тумана.

Убежден, что во время странствий Великан как-то оберегал мое сознание от перегрузок. Это так, ибо, вернувшись на Землю, я мгновенно уснул. Тут же, на камнях, хотя и было холодно.

Когда я пробудился, солнце жгло, как раскаленное железо. Однако, забыв про голод и боль от камней, которые намяли мне бока, я прежде всего стал звать Великана. Но ответом было только эхо.

Ушел ли он, чтобы предпринять еще одну безнадежную попытку вернуться? Мчится ли сейчас сквозь галактики, которые не видит ни один наш телескоп?

Сердце говорит мне, что это не так. Что его нет больше в мире. Я настолько в этом уверен, что там, в ущелье, сложил пирамиду из черных лавовых глыб.

Ведь Земля была как-никак его последним пристанищем.

А пустота утраты, которую я тогда открыл в себе, не исчезла со временем. Теперь в ней нет ни горечи, ни печали, но я часто вижу сны, в которых веду долгий разговор с Великаном. И на этот раз мы хорошо понимаем друг друга, потому что ко мне наконец приходят те слова и чувства, которые были ему нужны, и он не гибнет от одиночества.

ПРИНЦИП НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

При движении в прошлое можно выйти либо в намеченную точку пространства, либо в намеченный момент времени. Сразу осуществить и то и другое невозможно в принципе.

«Основы темпоралики», 2023 год

Ноги часто скользили, и это беспокоило Берга. Вот досада! Привычка к обуви, с которой сама собой соскальзывает грязь, делали его подозрительно неуклюжим в грубых, на одну колодку скроенных сапогах, когда на подошвы налипал вязкий ком глины. А здесь, на размытой дороге, это случалось постоянно. Мелкое обстоятельство, которого они не учли. Сколько еще обнаружится таких промашек?

К счастью, дорога была безлюдной.

Позже глину сменил песок, и Берг вздохнул с облегчением. На кособоре он приостановился. Одиноким дуб ронял плавно скользящие листья. Поля были сжаты, поодаль они тонули в сероватой дымке, и небо, под стать земле, было слезящимся, тусклым. Далеко впереди, куда вела дорога, смутно проступал шпиль деревенской церкви. Порой его заволакивала дождливая пелена.

Расчетчики не подвели, место было тем самым. А время? В какой век забросил его принцип темпоральной неопределенности? Седьмой, семнадцатый? Ответ, похоже, можно было получить лишь в городе.

Только сейчас, твердо шагая по мокрому песку, Берг ощутил разницу между воздухом той эпохи, откуда он прибыл, и

той, куда он попал. Человек двадцатого века легко объяснил бы разницу чистотой здешней атмосферы. Но Берга она поставила в тупик, потому что давно миновали годы, когда заводские дымы Северной Америки загрязняли небо где-нибудь на Гавайях. В чем же дело? Или на воздух той эпохи, откуда пришел Берг, неизгладимый отпечаток наложила техносфера с ее эмбриомашинами, оксиданом и синтетикой? Должно быть, так. Здесь, в этом веке, запахам леса, земли и трав чего-то явно не хватало. Чего-то...

«И небеса веков неповторимы, как нами прожитые дни...» — вспомнил он строчки Шиэры.

И небеса веков неповторимы...

Спешить было незачем, так как в город следовало войти в сумерки. Конечно, его одежда точно скопирована с одежды бродячего мастера, но беда в том, что она могла не соответствовать тому веку, в котором он очутился. Правда, одежда средневековых бродяг-медников не слишком поддавалась веяниям моды, и, главное, для всех он был иностранцем, следовательно, человеком, имеющим право носить необычный костюм. И все же рисковать не стоило. В конце концов, это первая и, надо надеяться, последняя вылазка человека в прошлое. Если бы не особые обстоятельства... Странно, нелепо: он в мире, который уже много веков мертв. Скоро он увидит своих далеких-далеких предков, чьи кости давно истлели. А сейчас они разгуливают по улицам, сидят в кабачках, любят, ссорятся, смеются.

Дико, непостижимо, но факт. Однако, если вдуматься, для прошлого будущее куда большая нереальность, чем для будущего прошлое. Потому что прошлое было. А будущее — это ничто, провал, белая мгла. Для любого встречного он, Берг, пришелец из несуществующего. Забавно... Берг взглянул на свои руки. Обычные, крепкие, мозолистые руки. Невольно Берг фыркнул, вспомнив ученый совет, где дебатировалась методика воспроизведения средневековых мозолей. «Брэд оф сивый кэбыл», — как любил выражаться Генка Бороздин.

Дорога вела к деревне, но Берг избрал боковую тропку, лесом огибающую поселок. Не из-за боязни преждевременных расспросов и встреч. Просто в деревне могли потребоваться услуги мед-

ника, а задержка не входила в его планы. Лес, которым Берг шел, мало напоминал чисто прибранные леса его эпохи. Дичь, бурелом, чашоба, едва различимая, без ответвлений тропинка. Безлюдье, все говорило о безлюдье, нехватке сил, медвежьей замкнутости поселений. Бойкий тракт — узкая полоска грязи, где последняя повозка прошла еще до дождя. Тропа и вовсе звериная, хотя под боком деревня. Очевидно, он все же попал в раннее средневековье. Не слишком ли раннее?

За сумрачным оврагом начался ельник, справа в просвете мелькнула церковь, потом деревья снова ее заслонили. Неподалеку кричала воронья стая. С потемневшего неба сеял дождь. Под лапами елей краснели мухоморы. Вскоре стали попадаться заросшие холмики, серые, от времени покосившиеся кресты. Кладбище... Некоторые надписи удавалось разобрать. Взгляд равнодушно отмечал даты, полустертые евангельские изречения: слова печали и скорби. Вдруг сердце дало оглушительный сбой: там, в кустах, белел новенький крест, и на нем было начертано: «Берг».

Могила была настолько свежей, что даже глина не успела заплыть. Дрожь проняла Берга: его убьют здесь, в этом времени, зароят и...

Он едва унял колотящееся сердце. Какая чепуха! Тот, кого похоронили, мертв, а он, Берг, жив! И вообще тут нет никакой загадки. Простое совпадение — распространенная фамилия. Какие-нибудь Макферсоны были в десятках поколений шотландцев. Возможно, род Бергов не менее стар и кого-то из них занесло сюда. Но это значит... Это значит, что у него есть шанс встретиться с... Конечно, а разве он не знал этого заранее?

Поспешно уходя от могилы, Берг покрутил головой. Простая арифметика, только и всего. Родителей у каждого двое, дедов четверо, прадедов восемь, прапрадедов шестнадцать, предков в десятом колене свыше тысячи, а уж в отдаленном прошлом... Даже если учесть дальнеродственные скрещения, то, вероятно, большинство жителей любого европейского поселения имеют к нему, Бергу ХХI века, самое непосредственное отношение. А какого-нибудь Гай Юлия Цезаря он мог бы и вовсе приветствовать по-родственному.

Жуткая все-таки вещь — генетика.

Как ни успокаивал себя Берг, встреча оставила неприятный осадок. Он поторопился быстрее пройти кладбище. Подумать только: отдаленным предком ему был каждый двадцатый (десятый, седьмой?) погребенный здесь человек! Бергу стало зябко при мысли, что его облик, характер да и само существование висит на столь непрочной нити. Если бы в том же средневековье кто-то с кем-то не встретился или поссорился, даже в том городе, куда он идет, то и его, Берга, возможно, не было бы! Или у него был бы другой цвет глаз, другой темперамент, другая судьба...

Вот и по этой причине тоже ни одному человеку до сих пор не разрешалось бывать в прошлом.

Успокоился Берг, лишь когда тропинка вывела его обратно на дорогу с ее просторами холмов и далей.

Потянул ветерок. За поворотом открылась мутная, неширокая река, грязный мост к неказистым крепостным воротам. Берг замер, поспешно кинув взгляд на зубчатый силуэт городских стен. Есть! Он сразу узнал знакомый по снимкам профиль Толстой Девы. Значит, ему повезло, он очутился примерно в том времени, в каком надо, потому что в десятом веке эта башня еще не была построена, а в четырнадцатом ее уже разрушили рыцари герцога Берклевского. Значит, и его костюм, в общем, соответствовал стилю времени, не надо переодеваться, укрывшись за кустом.

Он вынул из котомки запасные костюмы, облил их жидкостью, которая вкусом и цветом напоминала вино, и, удостоверившись, что ткань превратилась в труху, двинулся к мосту.

Разум, едва он ступил на мост, стал холоден, посторонние мысли отлетели прочь. И все же иногда ему казалось, что стоит лишь потряхнуть головой...

Но нет, кинувшиеся к нему, когда он перешел мост, собаки были самой доподлинной реальностью. Их была целая свора — грязных, шелудивых, ободранных. Припадая к земле, они давились хриплым лаем.

«Вот так загвоздка! — крепче сжимая палку, подумал Берг. — Ведь я понятия не имею, как должен вести себя средневековый путник при встрече с... И чего это они?»

Собаки попятились, когда он сделал шаг. Рычание сменилось повизгиванием, раздраженным, недоуменным, в котором слышались неприязнь и опаска. Внезапно Берга осенило. Ну конечно! Его одежда, обувь хранили запах той эпохи, в которой они были созданы, — запах чуждой этому веку синтетики!

Берг с уважением глянул на собак и, уже не обращая на них внимания, двинулся к воротам. Наступала, пожалуй, самая ответственная минута, которая решала, надежен ли его маскарад.

Но ничего не произошло. Чье-то лицо глянуло из зарешеченного оконца и тотчас исчезло; в помещении караулки слышался стук костей — стража явно не была заинтересована прерывать азартное занятие ради какого-то бедняка.

«Похоже, я попал в мирное время», — решил Берг.

Человеку запрещалось бывать в прошлом, но ничто не мешало посылать туда для съемок и наблюдений замаскированные под облака хроновизоры. Правда, в силу принципа неопределенности их приходилось запускать в общем-то наобум. Когда речь шла об углублении в прошлое всего на несколько лет, разброс еще не всегда давал разительные отклонения, но чуть далее он приводил уже к совершенно непредсказуемым результатам. Никакими способами нельзя было вывести автомат, допустим, на поле битвы при Кресси. Можно было, конечно, сфокусировать аппарат точно на время, когда произошло сражение, но в этом случае аппарат оказывался где угодно, но только не над деревушкой Кресси. Можно было, наоборот, вывести автомат точно к месту битвы, но тогда никто не мог предсказать, за сколько веков или тысячелетий от даты события он там очутится.

Впрочем, это не имело решающего значения, так как историке интересна любая эпоха. Чаще всего автоматы выводились в заданную точку пространства, из-за чего временная последовательность наблюдений оказывалась весьма прерывистой. Но лучше иметь что-то, чем ничего. Все шло хорошо, пока не случилась эта авария. Аппарат типа «кучевое облако» не отреагировал на команду возвращения. Ничего страшного, аппарат настроили на сближение с грозовой тучей, где к беспрестанному мельканию молний вскоре прибавилась еще одна вспышка.

Но на этот раз и подрывное устройство сработало плохо. Уцелел, хотя и вышел из строя, кристаллический блок нелинейного антигравитатора. В довершение бед случилось это неподалеку от города.

Итак, изделие двадцать первого века очутилось в одиннадцатом и, вполне возможно, попало в руки людей. Разумеется, оплавленный «камень» не должен был вызвать никаких подозрений. Но кристалл мог не исчезнуть в войнах, пожарах и смутах, а скользнуть в двадцатый век, где его искусственная природа была бы, конечно, разгадана. Преждевременное открытие, грозное, опасное, меняющее ход истории, — этого еще не хватало!

Вид тесных городских улиц не произвел на Берга особого впечатления — он хорошо изучил их облик. Зато вонь... Пахло отбросами, лошадиным навозом и кое-чем похуже. «Медленной, — приказал себе Берг. — Тысячелетие назад походка людей была не столь размашистой». Высоко задирая рясу, через лужу перебрался священник. Опять взвыла кинувшаяся было под ноги Берга собака. «Чтоб тебя!» — в сердцах подумал он. Сумерки сгустились, но его появление не прошло незамеченным: на него то и дело оглядывались редкие здесь прохожие. Ни по какой особой причине: просто город был слишком тесным и замкнутым мирком. Соседний Цорн — это уже другое царство-государство, а какой-нибудь Брабант и вовсе близок к краю света. Путник из дальних мест здесь мелкое, но все же событие. Пустяки! Не важно, будут пересуды о нем или нет, если след, который он оставит, окажется неотличимым от множества других. Даже если это след похитителя.

Лишь бы добиться успеха. Но надежды на успех было мало. В сущности, все зависело от чистого везения. Ему и так уже повезло, что с первого раза он вышел в более или менее подходящую эпоху. Подходящую? Если сейчас лишь начало одиннадцатого века, то ему надо поворачивать назад — антигравитатора здесь еще нет и в помине. Сколько же тогда потребуется новых попыток? Две, три, десять, а возможно, и тысяча, чтобы попасть хотя бы в двенадцатый век, — ведь принцип неопределенности превращал все это занятие в лотерею, где нужный билет терялся среди сотен пустых (еще хорошо, что путеше-

ствие в прошлое было возможно лишь на расстояние первых десятков тысяч лет). Но и точное — в пределах века — попадание не гарантировало успеха. Если антигравитатора не окажется в городе, допустим, в двенадцатом веке, это может означать и то, что, падая после аварии, он канул в какое-нибудь болото, и то, что антигравитатор нашли, но продали какому-нибудь заезжему торговцу редкостями. Вот тогда поиск становился задачей, какая и не снилась детективам, — попробуй выяси, где, в какой точке средневековой Европы оказался искомый предмет!

Невольно Берг улыбнулся. Его отобрали не потому, что он был лучшим специалистом или особо находчивым человеком. Его отобрали потому, что он, как это ни странно, был особо везучим человеком. У большинства людей удачи равномерно чередуются с неудачами. Но есть удивительные исключения. Одни притягивают к себе беды, как высокое дерево притягивает молнии, другие, наоборот, обладают как бы свойством отталкивания — обстоятельство, известное с незапамятных времен, но так и не разгаданное. Пока что его репутация удачника оправдывалась.

Судя по одежде прохожих, сейчас был либо конец двенадцатого, либо начало тринадцатого века. Это следовало уточнить, и Берг первым делом свернул к соборной площади. Если перед собором стоят статуи святых, значит, уже наступил тринадцатый век. Если нет...

Статуи были, они еще не успели как следует потемнеть. Значит, с того момента, как антигравитатор упал с неба, и до того момента, когда он, Берг, очутился в прошлом, минуло лет полтора. Срок, сильно затруднявший успешный поиск. И все-таки это было поразительно удачное попадание!

Берг стоял на виду у всей площади. Он оглянулся. Вокруг все выглядело мрачно. Темные, стиснутые фасады, конское ржание на соседней улице, слитые с сумраком фигуры прохожих, чужая речь и одежда наполнили его тоской. Молчаливая группа горожан пересекала площадь. Они должны были пройти мимо Берга, и тот внезапно понял, что сейчас не выдержит самой безобидной встречи лицом к лицу. Стараясь не привлекать внимания, он скользнул в распахнутую дверь храма.

Внутри оказалось чисто, торжественно, почти светло. По понятиям этого века, ослепительно светло, хотя в эпоху электричества храм выглядел бы сумрачной пещерой. Однако Берг уже немного проникся средневековьем и ощутил контраст церковного убранства с тем, что находилось вне этих стен. Распространяя сияние, теплели свечи. Рокотал орган, в зыбкой полутьме сводов мерцало золото, оттуда, как бы паря, глядели отрешенные лики святых. И чем дольше вглядывался Берг, тем спокойней и вместе с тем непонятней становилось на душе. Он попробовал иронически улыбнуться, но ирония не удалась. Мерное движение голов молящихся, колыхание свечей, плывущие звуки, темное, казалось, забытое. Гипноз ритма, цвета, звука, только и всего! Нет, не только. Берг мог выделить, понять, проанализировать каждую слагаемую этого воздействия, но все вместе составляло нечто большее, чем гипноз. Здесь, сейчас, в глухом средневековье, все это было отдушиной. Здесь люди испытывали иллюзию единства с собой, с другими, с тем тайным, что, казалось, присутствовало в храме, что наблюдало и берегло, карало и сулило, просветляло и подавляло, возвышало и смиряло. Совсем иной, тревожно-волнующий настрой эмоций, отчасти понятный, но отталкивающий духовный мир.

Помедлив, Берг выбрался наружу. Тотчас его пробрал зябкий ветер. Запахнув плащ, Берг повернул за угол и едва не столкнулся с растерзанным, в лохмотьях, человеком, который едва держался на ногах, — то ли был пьян, то ли болен.

— Эй, послушай...

Берг не оглянулся, хотя что-то рванулось в нем помочь несчастному. Но воспитанное, как рефлекс, соучастие было здесь неуместным, даже опасным.

— Эй, послушай, эй, послушай... — Человек бубнил монотонно, как бы говоря со стеной.

Должно быть, просто нищий.

Куда идти? Это не имело значения. Содержимое сумки, пояса, сама одежда, медное кольцо на пальце только внешне воспроизводили облик предметов далекого прошлого. Кто бы отнесся с подозрением к обычному кремешку? Или листочку слюды? Кремешок, однако, был инфракрасным фонариком,

а слюда позволяла видеть этот незримый свет. Кольцо, однако, играло куда более важную роль. Оно служило прибором, который определял местонахождение антигравитатора. Сейчас оно было холодным. В стометровом радиусе от антигравитатора оно должно было потеплеть. Совсем как в детской игре: «Холодно, холодно... Теплей, горячо!»

Оружия не было. Никакого. По всем расчетам, ни один его поступок даже в самой неожиданной ситуации не мог вызвать искажения истории. Кроме... Яви он чудо, оно не вызвало бы сильного резонанса в эпоху, когда все верили в чудеса. Любое колебание нити затухает со временем, и опасен только обрыв. Таким влекущим непредвиденные последствия обрывом могло быть невольное, с целью самообороны убийство. Все же следовало быть осторожным и в мелочах, потому что теории теориями, а кто их проверял опытом? Кто рискнул бы проверить?

Ветер явно разгонял облака. На несколько минут успела просветлеть полоска заката, но отблеск так и не смог пробиться в теснины улочек, где дома жались друг к другу, как овцы в непогоду.

Становилось холодно. Машинально Берг хотел сунуть озябшие руки в карманы и удивился, не обнаружив их. Так, еще один мелкий промах! Ослабив контроль, он сделал жест, который не мог сделать человек тринадцатого века по той простой причине, что тогда не было карманов!

Внезапно палец ощутил тепло. Берг застыл, не веря. Вот так, сразу? Он заметался по кривым улочкам, пугаясь всякий раз, когда кольцо холодело. Но мало-помалу он успокоился и стал сужать круги до тех пор, пока не стало ясно, что от антигравитатора его отделяют стены одного из домов.

В двух крохотных оконцах выступающего над улицей второго этажа горел тусклый огонек — в доме еще не легли. Это не имело значения. В сущности, теперь уже ничто не имело значения. Тихая радость удовлетворения охватила Берга. Теперь все, теперь конец. Милым был этот город, его черепичные крыши, эта добродушная старина, все, все! Берг запомнил дом, подходы, осмотрел дверь. Спать здесь ложатся рано, а провести часок в кабачке, понаблюдать жизнь и приятно и полезно. Потом он вер-

нется, «как тать в ноши», сделает что надо, и прощай средневековые! Тенью пришел, тенью уйдет, лишь собаки заподозрили неладное. Врач в двадцать первом веке критически осмотрит его запачканные сапоги, забрызганный плащ и скажет: «А ты, брат, очень, очень... Небось и чуму приволок?»

Скорей бы...

Кабачок отыскался неподалеку. К удивлению Берга, никто не обратил на него внимания. Все сгрудились вокруг скамьи, на которой, багровея от смущения, сидел вислоухий парень в новых кожаных штанах. Под скамьей почему-то была лужа. Взлетали кружки, сыпались непонятные Бергу остроты; было душно, смрадно, со свода огромного очага хлопьями свисала сажа; жар углей пробегал по разгоряченным лицам, красновато-поблескивая на потных щеках, западал в хохочущие рты.

Никто не взглянул на Берга, когда он пристроился в углу. Только хозяин, сгорбленный, с перебитым носом мужчина лет сорока, вынырнув из толпы, осведомился, чего тот желает.

— Ужин, — коротко сказал Берг.

— Издалека? — уловив акцент, спросил хозяин.

— Из Брабанта.

— Ну что ж, ну что ж...

Кабатчик отошел, мелко кланяясь. Берг проводил его недоуменным взглядом и тут же забыл, потому что смех и разговоры неожиданно стихли.

Просвет между спинами позволял видеть, что делается в круге. К юноше на скамейке чинно приблизился толстяк с тройным подбородком. Он тронул его за плечо, и тот вздрогнул, как от разряда тока. По рядам прошло движение.

Юноша привстал, и, к изумлению Берга, с ним вместе приподнялась скамейка. Разгибаясь, юноша тихонько поворачивался, и скамейка поворачивалась следом, пока все не увидели, что она крепко висит на штанах. Грянул восторженный рев.

Бергу все стало ясно. Как он сразу не догадался, что это посвящение в пивовары! Кандидат должен сварить пиво, вылить кружку на чисто обструганную скамью, сесть в новых кожаных штанах, и штаны приклеятся, если пиво доброе. Так, значит, одним мастером в городе стало больше.

Было что-то непосредственное, детское в последовавшем веселье. Жуя невыносимо жесткое мясо (это тебе не синтепища!), Берг ощутил нечто вроде зависти. Пожалуй, он бы не смог хохотать так раскатисто, награждать парня тумакami, опрокидывать в рот реки вина и пива, перемалывать кусищи мяса, рыгать, стучать сапогами, бесхитростно отдаваясь настроению минуты. Подозвав хозяина, он расплатился и вышел.

Небо заметно очистилось от туч. Полоска над ломаными линиями крыш молочно светлела в том месте, где находилась луна. Внизу, однако, стояла совершенная темень. Но не успел Берг сделать и десяти шагов, как впереди мелькнул огонь факелов.

Берг оглянулся. Сзади, приближаясь, тоже колыхался свет. В его отблеске сверкало оружие. Ночная стража!

Ну и что?

Колыхающийся свет выхватил заросшие лица, шумно, как после бега, дышащие рты, сталь лезвий и шлемов. Берг, уступая дорогу, прижался к стене. И тут ему в грудь уперлось сразу несколько копий.

— Держи нож к глотке, к глотке! — раздался чей-то радостно-исступленный вопль, и медвежья масса тел навалилась на Берга.

— За что? — выкрикнул он полузадушенно. — Я из Брабанта, я...

Ответом был язвительный хохот.

— Вяжи крепче! Думаешь, раз переоделся, тебя и узнать нельзя, Берг?

Берг?!

Его поволокли, ругаясь, пиная, дыша чесноком и перегаром.

Помещение, куда его наконец впихнули, было низким, сводчатым. Каменную наготу стен прикрывали два-три плохо различимых гобелена. Слева от пылающего очага возвышался коптящий трехсвечник, справа возле столика находилось кресло, в котором сидел белоголовый в епископском облачении старик, такой сухой и сморщенный, что массивный крест, казалось, продавливал ему грудь. Старик медленно повернул голову. Стало слышно, как потрескивают факелы стражи.

— Ближе, подведите ближе. — Голос епископа прошелестел, как тронутая ветром бумага.

— Я не тот, за кого вы меня принимаете, — громко сказал Берг. — Это ошибка, я никогда не был в вашем городе, я...

— Знаю! — Старческая рука легонько стукнула по подлокотнику. — Знаю, что ты дерзок в обмане... Нагл, дерзок и богохулен. Надеялся, я поверю слуху о твоей смерти? Бухнуться бы тебе сейчас на колени, молить... Казнь не радость, осознаешь?

Епископ подался вперед. Шея у него вытянулась, как у ошипанного гуся. Сзади насморочно сопел кто-то из стражи.

Сам не ожидая того, Берг фыркнул. Рот епископа приоткрылся. Дернулись созданные факелом тени, и все застыло в ошарашенном молчании. Дикость, паноптикум, к которому он не имел, не мог иметь никакого отношения. Он продолжал улыбаться.

— Качалку! — Голова епископа затряслась. — Завтра же!

— А как с ней? — поспешно спросил чей-то голос из-за спины. — Тоже?

— И ее! Раньше! У него на глазах, у тебя на глазах, Берг! Еще не дрожишь? На ме-е-едленном огне будет жариться вместе со щенком, зачатым в преступной связи... Подумай о раскаянии, подумай!

Епископ упал в кресло. Он был бы похож на труп, если бы не его горящие глаза. Берг презрительно пожал плечами.

Его отвели в камеру и там заковали. Лязгнул засов, стих топот на лестнице.

Некоторое время Берг лежал неподвижно. То, что он оказался двойником какого-то здешнего Берга, было, конечно, поразительным совпадением, но сейчас не имело смысла обсуждать теорию вероятностей. Возможно, это тот самый Берг, чью могилу... Не важно! Неизвестный ему Берг тринадцатого века натворил что-то серьезное, враги подстроили ему ловушку, а попался в нее человек двадцать первого столетия. Вот ситуация! А донес, похоже, кабатчик... Тоже несущественно. Чем ему там грозили? Ах да, качалкой...

Берга передернуло от отвращения и гнева. Осужденного привязывают к концу балансира и то окунают в костер, то приподнимают, давая передохнуть, — вот это и есть качалка. Медленное поджаривание человека.

Сволочи, тупые садисты, мразь! Ну он им покажет... Ну они еще попрыгают у него, махая рясами... Не та муха залетела к ним в паутину. Интересно посмотреть, какие рожи будут у них завтра...

Луна все чаще выглядывала из облаков, чертя на полу продолговатую тень решетки. Берг позвенел цепями и торжествуя улыбнулся. Глупые толстые цепи из скверного металла, наивная решетка в широком проеме — эти тюремщики даже не подозревают, что такое человек двадцать первого века и что он может.

— Мне этот отель не нравится, — с вызовом сказал Берг. — Сыро, холодно... И вообще. Так, для пополнения образования разве что...

Он лег, закрыл глаза. Тренированное тело само знало, что ему делать. Темная волна накрыла сознание. Теперь все клетки мозга и тела подчинялись единому ритму, страшному ритму настроя всех сил организма.

Берг рванулся. С треском лопнули цепи.

— Вот так, — сказал Берг.

То, что раньше в момент безумного напряжения случайно удавалось одному из миллионов, было уже давно познано, и каждый человек новой эпохи умел возбуждать в себе тот скрытый резерв энергии, который стократно раздвигал пределы «нормальных» физических возможностей.

Берг переждал неминуемую после рывка слабость, поднялся, стряхнул остатки цепей и тем же усилием выворотил решетку.

Теперь отдых потребовал уже не менее получаса. Ворвись сюда привлеченная шумом внешняя стража, Берг не смог бы оказать ей сопротивление, тем более что против копий, мечей и прочих режущих предметов у него не было защиты. Никто, однако, не караулил ни под окном, ни за дверью — к чему, если цепи массивны, а решетка надежна?

Его камера находилась в башне. Неровная, сложенная из валунов стена обещала легкий спуск. Берг дождался, пока скроется луна, и вылез в окно.

Он спускался спокойно, уверенно, как подобает альпинисту. Ни сейчас, ни раньше он не принадлежал чужому времени

с его нелепыми законами и случайностями. Мгновения испуга, когда он оторопел от неожиданности и ощутил себя в ловушке, прошли, и сейчас после взлома он снова был человеком своей эпохи, гордым, независимым и могущественным.

Прямо под собой Берг обнаружил окно нижней камеры. Пришлось взять немного в сторону. Его голова была уже на уровне прутьев, когда из-под ноги посыпались камешки. Берг замер, вцепившись в решетку, и тут, как назло, засияла луна.

В ее меловом свете за решеткой метнулась чья-то тень. Дрожащие пальцы схватили руку Берга.

— Ты пришел, пришел, я знала, я верила, милый, милый...

Берг едва не закричал от ужаса. Перед глазами неясно белело сияющее лицо женщины, почти девочки. Она тянулась к нему сквозь решетку, и всхлипывала, и улыбалась, и такое было в ее шепоте счастье, что сердце Берга оборвалось.

Так вот она, невеста того, другого Берга, приманка, жертва, девушка, которую должны утром сжечь!

— Самый лучший, самый отважный, самый любимый, мой, мой Берг... Спаси, скорей спаси нашего ребенка!

— Нашего?! Ребенка?! Ну да, конечно... — Берг почувствовал себя летящим в пропасть. Он был обязан ее оттолкнуть, чтобы не изменилась история.

Девушка целовала его руку.

— Тихо, — сказал Берг.

Он рванул на себя прут решетки. Прутья не были скреплены поперечинами и легко вынимались из гнезд. Он вытянул ее в проем. На ней была одежда монахини. «Вот оно что...» — тупо подумал Берг. Он был холоден, как автомат. Выбрал место внизу, прицелился, прыгнул, расставил руки, принял ее в объятия.

— Наш маленький бурно начинает свою жизнь, — сказала она, едва отдышавшись.

— Идем, — сказал Берг.

Они растворились в темноте спящих улиц.

Теперь у Берга было время подумать, но думать он не мог. Да и к чему? Эта девочка и ее ребенок должны были умереть на костре, а теперь не умрут; их потомки будут жить во всех веках, чего прежде не было.

Ему хотелось убить ее и себя.

Они достигли городской стены. К ней косо подходил глухой фасад, между фасадом и стеной был залитый мраком пустырь.

— Побудь здесь, — приказал Берг.

Он ждал удивления, жалоб, испуга, но она только кивнула, хотя он чувствовал, как она дрожит.

— Я постараюсь не бояться... — сказала она.

— Я скоро вернусь, — пробормотал Берг.

Сам не зная почему, он сжал ее руку. Она на мгновение прильнула к нему и тут же отстранилась.

— Тебе надо, иди. Ты мне сказал тогда, что все будет хорошо и я ничего не должна бояться. И я не боюсь. Но... у нас все-все станет по-прежнему, когда ты вернешься?

— Да, да...

Что будет по-прежнему?! Берг не очень даже осознавал, куда и зачем бежит. Но что-то вело его с точностью автопилота, и он очнулся, когда тепло кольца охватило палец. Дом нависал над ним, как скала. К Бергу вернулось самообладание. Он ощупью нашарил замочную скважину. Сумку отобрали при аресте, но пряжка пояса дублировала инструмент. Немного повозившись, он отпер дверь, наподобие монокля приладил листок слюды. Тепло ладони оживило «кремневый» фонарик. Прихожая, дверь, лестница... Берг повел рукой в воздухе, и кольцо указало на лестницу. Ветхие ступени не внушали доверия, и он разулся. Он не волновался, будто всю жизнь обшаривал квартиры средневековых горожан. Лестница вывела в коридор. Дом наполняли запахи тепла, печного дыма, трухлявого дерева. Тихо было, как в омуте, лишь где-то скреблась мышь...

За скрипнувшей дверью открылась комната, похожая на музей. Полки с фолиантами, чучела зверей и птиц, песочные часы, окаменелости, кусочки воска, черепки, чаши, рулоны пергамента — все вперемежку лежало, стояло, висело, было раскидано на столах. Луч скользил, пока не уперся в закопченное чело горна. Берг едва не чихнул от поднимающейся пыли. Под горном среди тиглей и шипцов он нашел оплавленный до бесформенности кристалл антигравитатора. Его явно пробовали кислотами. Ну конечно! Он слишком тяжел, подозритель-

но тяжел для своего размера. Берг сунул его за пазуху, спустился, обулся, вышел и запер дверь. Самое трудное в его миссии на деле оказалось самым легким.

Теперь он мог рассуждать хладнокровно. Кто ему, в конце концов, эта девушка? Что заставило его ввязаться в дело, которое его не касалось? Сострадание? Да, конечно. Но разве мало их умирало на кострах до и после? Их судьба возбуждала жалость, но то была абстрактная, до холода рассудочная жалость. И об этой девушке он не думал, пока ее не увидел, хотя и знал, что она есть. Что же ему мешает теперь?

Логично рассуждая, ее нет вовсе, как нет самого этого века, который давно истлел со всеми своими надеждами и печальями. А есть будущее. Тот век, откуда он пришел и который может теперь пострадать из-за его поступка.

Но сейчас, в эту минуту, на этой темной улице будущее тоже всего лишь абстракция! И не абстракция эта доверчивая девушка, которую он, все взвесив и логично рассудив, должен предать.

Берг зажмурился и с минуту стоял так, мыча от боли и бессилия. Да кто же виноват, что желание спасти и защитить сработало в нем как рефлекс?! Само воспитавшее его общество.

Жалкая уловка.

Но почему жалкая? Почему уловка?

Когда мысль, желая точно наметить трассу будущего морального поступка, слишком пристально сосредоточивается на противоречивых понятиях, сами эти понятия начинают терять ясность, ибо любое понятие так же неисчерпаемо и темно в своих глубинах, как и породившая его жизненная реальность. И мысль теряется, решение ускользает, все кажется запутанным и неверным. Так размышления порой губят решимость.

Берг с силой тряхнул головой. Тяжесть антигравитатора напомнила о его первейшем долге.

Нельзя одновременно определить скорость электрона и его положение в пространстве. Нельзя попасть и в заданный момент времени и в заданную точку пространства. Но в жизни тоже неизбежен выбор, и достижение одного влечет отказ от чего-то другого. Не значит ли это, что в глубинах морали скрыт тот же принцип, что и в глубинах природы?

Все возмутилось в Берге при этой мысли. Почему, почему история из-за его поступка должна измениться к худшему? Откуда это следует? Если поступок правилен и хорош, то должно быть наоборот, ибо как быть тогда в настоящем без уверенности, что добро, сделанное тобой сегодня, улучшит завтрашний день? Как можно жить и делать что-то без такой уверенности? Как можно без этого строить будущее? А если так...

— Вот я и вернулся, — сказал Берг.

Она бросилась к нему с подавленным вскриком. Он придержал ее за плечи.

— Времени у нас мало. Вспомни, не осталось ли тут дома, где ты... где мы могли бы переждать? («Где я мог бы тебя оставить ждать настоящего Берга. Если он жив...»)

— Ты же знаешь, что нет! («Все, не вышел компромисс...») Ты... ты изменился, милый... («Ну еще бы! Странно, что любящее сердце сразу не заметило подмены...») Я что-то сделала не так? Не то сказала?

— Нет, нет!

— Тогда... Я не совсем понимала, когда ты говорил, что наша любовь особенная, какой не было и не будет, но сейчас, сейчас... Ты даже не поцеловал меня!

Он повиновался. И, целуя, понял, что хочет целовать ее всегда, всю жизнь, что она близка ему, вопреки всему близка с первой минуты, а все прочее обман, которым он пытался заслониться от поражающей, как молния, любви, в которую он не верил и которая настигла его.

И в озаряющей радости он внезапно увидел выход, настолько простой, что поразительно, как это он не заметил его сразу. Хроноскаф увезет двоих! Девушка должна была умереть в прошлом, она и умрет для прошлого, чтобы жить в будущем.

А тот, другой Берг? К черту другого, если он не смог ее спасти!

Он рассмеялся.

— Ты что, милый?

— Ничего. Все верно: наша любовь особенная, какой не было и не будет. Мы спасены, если ты сможешь всю ночь идти пешком.

— Разве нам впервые?

— Но...

— Маленький — умница. Он мне совсем не мешает; видишь — его даже незаметно. Я пройду столько, сколько нужно, когда ты рядом.

Бергу передалась ее убежденность. Он разматал сплетенный из тонких жил пояс, закинул петлю за выступ стены, подложил, чтобы не резало, плащ, обвязал девушку, и через полчаса они были на свободе.

Берг широко дышал воздухом леса, который уже не казался ему чужим; закутанная в плащ девушка шла рядом, он поддерживал ее, чувствуя тепло плеч и испытывая головокружительную нежность. Серебро и чернь узорчатых теней листы словно плыли сквозь него. Или, наоборот, он плыл по расстилавшемуся невесомому ковру.

В мелькавшем свете луны он хорошо видел ее лицо, но так и не мог сказать, красива ли она. Какое это имеет значение? Никакого. Как и ее прошлое, как тот мирок, откуда он ее вырвал. Он даже знал, как она воспримет будущее. Как сказку, рай, куда ее привел любимый. Она примет этот мир с той же доверчивой непосредственностью и стойкостью, с какой она приняла свою судьбу, но скорей всего будет нелегко убедить ее, что они живы, а не вознеслись на небо. Почему все должно быть так, а не иначе, он не знал, но был убежден, что все так и будет.

Усталость навалилась внезапно. Ни с того ни с сего Берг почувствовал, что скользящие тени мешают идти, что они захлестывают ноги, как петли силка. Он раза два споткнулся. Это испугало его. Изнеможение должно было прийти после всех испытаний ночи, он держался только на нервном напряжении, но неужели он свалится на полдороге?

Усилием воли ему удалось избавиться от ощущения захлестывающих петель. Зато ноги стали как бы обособляться от тела, он их уже почти не чувствовал. Зато стал оттягивать руки антигравитатор. Он весил уже не килограммы, а тонны! Все, кроме ног, стало тяжелей: голова, руки, тело девушки, когда оно к нему приваливалось, и это дало спутанным мыслям Берга непредвиденный толчок, который заставил его похолодеть.

— Сколько ты вешишь? — спросил он.

— Я? Я... я не понимаю...

— Извини... Это я так, ничего...

Конечно, она не знала, а скорей всего и не понимала, о чем ее спрашивают. Нелепо предполагать, что в тринадцатом веке девушки взвешиваются на медицинских весах, и Берг устыдился своего вопроса. Свой вес он знал точно, ее определил, когда, спускаясь со стены, брал на руки, и тогда у него не было и тени сомнения, что мощности хроноскафа хватит на двоих. «Без паники, — сказал себе Берг. — Только этого еще не хватало!»

— Сядем, — сказал он, хотя намеченное им время привала еще не наступило.

Они сели, и по тому, как она медленно опускалась на разостланный плащ, как неподвижно смотрели ее глаза, он понял, что вся ее выдержка была напускной, что она безмерно устала, устала куда больше, чем он, и что она скорей умрет, чем сознается в этом. Берг едва не застонал и внезапно почувствовал долгожданный прилив сил, верней ярость, которая заменяла силу.

— Идем, — сказал он, понимая, что долгий отдых будет только хуже, что в одиночку никто из них не дойдет, а вместе они все-таки дойдут, потому что каждый черпает силы в другом.

Они пошли, молча понимая друг друга, и ночь для них длилась бесконечно, потому что они бесконечно напрягали свои силы. Но рассвет все-таки наступил. Рассвет обещал солнце, и Берг ободрился, мелькнула даже мысль, что когда-нибудь он будет вспоминать эту ночь как счастье.

Они поднялись на пригорок, где дуб ронял все так же плавно скользящие листья. Берг отчего-то подумал, что дуб, пожалуй, может прожить все разделяющие столетия, и пожелал ему уцелеть до тех времен, когда они снова придут под его уже старческую крону.

Трава была серой от обильной росы. Оставалось уже немного до того места, где находился замаскированный под глыбу валуна хроноскаф. Они дошли до опушки, и Берг решил сделать последний привал. Она опустилась на землю, и ему показалось, что в ее теле совсем не осталось жизни после тюрьмы, страха и бегства, что сознание ее спит и она уже ничего не

ощущает. Но это было не так. Она шевельнулась, ее глаза взглянули на Берга и увидели в нем что-то такое, отчего она сделала движение выпрямиться и убрать разметавшиеся волосы. И это упрямое, через силу движение открыло Бергу ее не такой, какой она была сейчас, — измученной, с черными тенями на лице, в тусклом монашеском одеянии, а такой, какой она была на самом деле; он вдруг увидел ее танцующей в белом платье. Он даже вздрогнул, настолько реальным было видение гибкой, порывистой, как огонек на ветру, девушки в белом. Счастливой, ничего не боящейся девушки двадцать первого века. «Ну что ж, — подумал он, чувствуя, как у него перехватило дыхание. — Ну что ж... Разве так уж велика пропасть между нашими временами?»

Какой-то отдаленный, гулко и дробно разносящийся в рассветной тишине звук вывел его из задумчивости. Он прислушался, и все в нем болезненно сжалось — то был стук копыт. Она его тоже слышала, и по тому, как она напряглась, как еще сильнее побелело ее лицо, он понял, что и она догадалась о значении этого звука.

Он схватил ее, и они побежали, но у нее уже не было сил бежать.

— Я не могу быстрее... Спасайся...

Он подхватил ее на руки, нисколько не удивляясь тому, что в состоянии это сделать.

На взгорке он обернулся. Всадников было человек десять, они находились еще километрах в полутора. Впереди мчались собаки.

Еще можно было успеть. Он бежал, ничего не чувствуя, кроме режущей боли в легких, и ничего не видя, кроме мелькающих темных полос, и все в нем сосредоточилось на том, чтобы разглядеть среди этих мельканий приметный куст, бугорок, камень.

Все же в нем шевельнулась горделивая мысль о том, что они, люди двадцать первого века, все-таки могут невозможное и без техники.

Он едва узнал поляну, где оставил хроноскоп. Топот приближался, но всадников еще не было видно. Дыхание, казалось, уже разорвало легкие. Тело девушки он больше не чув-

ствовал, верней, чувствовал как свое — огромное, непосильное, не повинующееся ему тело.

«Глыба» раскрылась, едва Берг к ней прикоснулся. Лай собак уже ворвался на поляну, их оскаленные морды мелькали среди кустов.

Берг втиснул девушку на сиденье — пришлось разорвать ее сомкнувшиеся на шее руки, — влез сам. Захлопнувшийся люк отрезал собачий лай. Берг надавил кнопку возврата.

Двигатель загудел — и смолк. Не соображая, что он делает, Берг рванул рукоять обратного хода. Хроноскоп дернулся... И стал.

Лишним был тот вес антигравитатора, который Берг не учел!

Все, что произошло потом, сделал словно не он, а кто-то другой. Берг швырнул антигравитатор девушке на колени. Кажется, она хотела что-то сказать... Или крикнуть... Он включил автоматику возвращения в XXI век, нажал пусковую кнопку и вывалился, захлопнув люк. Падая, он успел увидеть тающий корпус хроноскофа.

Некоторое время он лежал, вжавшись лицом в землю и недоумевая, почему медлят собаки. В ушах гулко шумела кровь, очевидно, из-за этого он и не слышал лая.

Нет, не из-за этого. Он медленно приоткрыл глаза. Что... что такое?! Яркое светило полуденное солнце, пели птицы, вокруг была весна, а не осень.

Вот оно что! Он встал, пошатываясь, как пьяный. Сознание привычно восстановило последовательность событий. Пытаясь стронуть хроноскоп, еще тогда, когда они были вдвоем, он машинально дал ему задний ход. И тут аппарат на мгновение сработал, унес их по оси времени назад. А это означало...

А это означало, что никакого другого Берга в тринадцатом веке не было. Был он сам. Рывок хроноскофа был слишком ничтожен, чтобы унести его в неопределенно далекое время прошлого, и он очутился в годах, предшествующих его появлению здесь.

Берг с тоской оглядел сияющий мир, который теперь стал его миром. Он вернул антигравитатор, он спас девушку, не нарушив при этом хода истории, но погубил себя. Бессмысленно надеяться, что кому-то удастся вывести хроноскоп в ту точку

пространства и тот момент времени, где он находится. Нет... Свое будущее он, увы, знает наперед. Остаток жизни он обречен провести в тринадцатом веке, этот век станет его веком, он будет в нем жить, встретит девушку, которую полюбит (уже полюбил!), вызовет ненависть епископа и погибнет за несколько дней до того, как сам же ее и спасет. Обычная, из теории следующая петля времени, когда «после» предшествует «до». Еще и в помине нет той могилы, где он будет зарыт, но, скользнув из своего будущего в свое прошлое, он уже знает, как она выглядит на скромном деревенском кладбище.

Жить, похоже, осталось ему немного.

И все-таки ему повезло даже в невезении, потому что это будет достойная человека жизнь. Он вступит в бой и победит. Успеет полюбить и стать любимым. Успеет дать счастье тому, кто уже не мечтает о счастье. Успеет сделаться отцом. Не так уж мало для человека любой эпохи!

НЕДОТРОГА

Ошеломляющее, прекрасное, почти забытое небо! Оно распахнулось и приняло; после однообразия космоса, где только звезды и мрак, после долгого заточения — вихрь, блеск облаков, отсветы морей, зов тверди. От бьющих в иллюминаторы лучей потускнели лампы. Выключить, скорее выключить эти жалкие заменители солнца! Пусть настоящий, промытый воздухом свет продезинфицирует каждый уголок, сотрет последнюю тень!

Щурясь, с улыбкой недоверчивой радости люди смотрели друг на друга. Так выбирают из катакомб. Так выходят из космоса.

Словно подстегнутые нетерпением, стрекотали экспресс-анализаторы. Есть кислород, можно дышать, есть ветер, который коснется лица, вода есть и зелень, совсем как на родине.

Свердлин мельком взглянул вверх, туда, где стыла фиолетовая даль покинутого космоса. И поспешно отвел глаза. Не надо вспоминать, не надо...

Вот награда за все. Вниз один за другим падали автоматы-разведчики. Заняв экран, открывались переданные ими голограммы чужого мира. Белый песок у моря; отягченные плодами ветви; степь, над которой реют птицы; выбитая зверями тропа... Все как на Земле. Почти как на Земле. Ярче, чем на Земле.

Лавина цифр в окошечках анализаторов. Температура, давление, влажность, радиация... Аппарат захлебнулся и смолк: теперь он перемалывал органику. Бактерии, травы, вирусы, насекомые, споры, фитонциды, пыльца, опавшие листья...

Люди ждали. Волнуясь, с нетерпением и надеждой. Забыт — так быстро! — прежний восторг. Кругом нахмуренные лица.

И точно ответ на невысказанную тревогу все услышали сухой и жесткий голос:

— От планеты нечего ждать добра.

Все обернулись. Конечно, это был Фёкин, единственный, кто и прежде не выражал радости.

— Ты, пессимист! — набросились на него. — Не каркал бы раньше времени!

— Цо? — Фёкин прищелкнул, губы его искривились. — Погулять без скафандра захотелось? Ветерком подышать? Ах, мальчики, мальчики... Нельзя надеяться на лучшее.

— Почему? — спросил Свердлин.

— Потому, — уже серьезно ответил Фёкин. — Предполагать надо худшее. Тогда не будет разочарований, если плохое осуществится. А не осуществится... Самая приятная радость — нечаянная. Как видите, мой пессимизм сулит больше счастья.

— Нет, — покачал головой Свердлин. — Нет. Я жду от этой планеты всего, и ожидание дает мне радость. Стыдно признаться, но я жду даже осуществления своей маленькой заветной мечты. Здесь найдется тот уголок природы, которого нет на Земле, но который мне снится. Я вижу его. Укромное озеро в полосах света и тени, нежный песок под босыми ногами, стройные, до неба деревья, теплынь, тишина...

— Ностальгия, — строго заметил врач. — Ты видишь наше озеро среди наших сосен. На Земле, кстати, таких мест сколько угодно.

— И комаров, — добавил Фёкин.

Звякнул сигнал, и спор был забыт, так как пошла информация. О вирусах и зверях, деревьях и птицах, цветах и микробах. Обо всем, что есть жизнь, которая во вселенной куда большая редкость, чем гений среди людей.

— Маски, — прошел облегченный шепот. — Только маски!

Автоматы перестраховались. Немного другие тут были цепочки белков, и хотя разница оказалась незначительной, она решала все: чужая жизнь не могла повредить людям. Даже маска была лишь предосторожностью, от которой поздней можно будет отказаться.

— Ну, Фёкин, что же ты теперь не радуешься?

Тот ничего не ответил. Даже яркое солнце, не желтое здесь, а белое, не могло истребить залегших на его лице теней.

Начался спуск. В реве и грохоте атмосферу пронзило космическое сверло. Трещинами разбежались электрические молнии. Лопался нагретый воздух. И долго еще после посадки не стихал гром.

«Силой, — подумал Свердлин. — Мы берем планету силой, мощностью наших гигаватт. Как вражескую крепость. Ничего, все успокоится...»

Все успокоилось. Улеглась волна на озерах, улетели сорванные ураганом листья, снова раскрылись цветы. Корабль стоял посреди выжженной плеши, опираясь на могучие титановые опоры. Черта гари отделяла его от мира чужих деревьев и трав.

Избежать этого было нельзя. Так полагалось даже по инструкции — стерилизовать почву в зоне высадки. Превратить ее в пепел. Не допустить, чтобы какой-нибудь выюнок оплел опору. Лишняя на этой планете предосторожность, но иначе корабль просто не мог сесть, и в девяноста девяти случаях этот недостаток был достоинством, что и подтверждала инструкция.

День сменился вечером, прошла ночь, — локаторы неутомимо прощупывали окрестности. Ничего. Все, что могло бежать, бежало, а что не могло, то погибло. Ничто не возмущало покой искусственной пустыни. В десятках, сотнях, тысячах километров от корабля, все проверяя и перепроверяя, несли свою вахту автоматы. Там кипела жизнь, и на усиках-антеннах одного из них какой-то паучок уже плел паутину, словно автомат был обычной корягой. Только разум способен реагировать на вторжение чужаков, но разума тут не было, а природа одинаково безразлично принимает и метеорит и звездолет.

Иногда дул ветер, и до корабля доносился, кроме гари, запах диковинных цветов и трав, но его пока чувствовали только приборы, которые бесстрастно раскладывали запах на компоненты: безвреден, безвреден...

Миллиарды бит новой информации наконец сняли последний запрет. Утренняя роса выпала даже на гари, и восход солнца застал людей в пути.

В лесу пели птицы. Руки сами собой выключили двигатель вездехода, притихшие люди сидели и слушали.

Над деревьями вставало белое солнце. Оно посылало в зенит луч, который дрожал, как впившаяся в небо хрустальная стрела.

— Двинулись, — сказал капитан.

Никто не шевельнулся, и капитан не настаивал. Начинался долгий экспедиционный день.

Вездеход полз по голубым корневищам, раздвигал шуршащую траву, объезжал топкую чернь болот, вспугивал шестиногих зверьков с кофейными задумчивыми глазами, взрыхляя почву, брал откосы, и одна непотревоженная даль сменяла другую.

Потом люди вышли, неуверенно ступая по пружинящей подстилке красноватого мха. На них были легкие костюмы, и только маски отделяли их от всего, что было вокруг. Можно было нагнуться и голой ладонью погладить никем не виданные соцветия; можно было запрокинуть голову и дать процеженному листовой лучу пощекотать кожу лба; можно было лечь навзничь; можно было идти не по прямой... Такая малость, но как много она значила после миллиарда шагов по прямым, разлинованным коридорам! Непривычным казалось даже то, что каблук неравномерно вдавливался в почву. Какое поразительное ощущение после одинаковой упругости корабельного пола! Забылось самое простое: что воздух может омыwać тело ласковой волной; что холодок тени граничит с угольным жаром солнца; что существуют рытвины... Кто-то упал, потому что ноги отвыкли учитывать неровность земли. Упавший рассмеялся первым, за ним рассмеялись другие. Это надо же — утратить такие навыки, наслаждаться тем, что прежде не замечал и не ценил!

Они слегка ошалели, ведь ощущения тоже способны пьянить. Хмельная информация, алкоголь разнообразия, настойка из разноцветья! Формулы предупреждали, что так будет. К черту формулы! Планета гостеприимна, доступна от полюса и до полюса; они молоды, и жизнь прекрасна.

Успеется, все успеется. Исследования подождут, гипотезы подождут. Это их планета! Как мягко стелется она под ногами; как изумительно колышутся ветви; как волшебны ее звуки и шорохи; как заманчивы дали! На ее достижение ушли годы — пустяк. Зато она станет новой Землей человека. Со всеми нетронутыми океанами, равнинами, ледниками. Прогресс не ос-

тановить; годы пути сожмутся в месяцы, недели, дни... Так было на Земле, так будет в космосе. Везде, везде! Смелая ты, человек, козявка. Упорная. Нет тебе преград, а если будут, ты их сметешь. На то тебе и дан разум. Воля. А ты о чем думаешь, Фёкин?

...Забавно все это. Ну, достигли. И тут, ей-ей, неплохо. Мы, можно сказать, счастливы. Но ведь на Земле мы добивались не меньшего счастья. Только быстрее. И без особых трудностей. Без многолетнего отказа от простых земных радостей. Без риска, наконец. Иная рыбалка на заре и вот такая прогулка по чужой планете, в сущности, равноценны с точки зрения удовольствия. Так чего же мы добились?

...Победы, унылый ты пессимист, победы. Дело не в количестве, а в качестве. В невозможном, которое мы сделали возможным. Выше мы стали на голову, вот что. Крепче, уверенней. Лучше мы стали понимать самих себя. Больше знаем и больше можем. Пик для альпиниста не самоцель, даже если он так думает. Берутся не физические высоты, а духовные. Без этого нет роста, а где нет роста, там движение поворачивает вспять, назад, и над нами закрывается крышка гроба. Вот птица в небе, и та понимает, что жизнь — это движение. Как она кувыркается, как узит над нами круги... Ее оперение чудо: лазурь и золото. Она боится нас, но мы ее притягиваем. Все неизвестное притягивает, потому что опасность там, где неизвестность, и чтобы выжить, надо знать. А птица явно хочет жить...

Птица сложила крылья. Лазурь и золото сверкнули на солнце, раздался вскрик, но, прежде чем люди успели опомниться, на груди Свердлина бился трепещущий, еще живой комочек. Он в ужасе стряхнул его с себя, комочек упал к ногам, дернулся и затих.

Люди ошеломленно смотрели друг на друга.

- Она атаковала?
- Такая птаха?
- Самоубийство?
- Нелепо!
- Что же тогда?
- Приготовить оружие!

- Зачем?
- На всякий случай.
- Но наши белки несовместимы!
- Пусть так, предосторожность...
- Внимание! Сзади!

Куст опрокинулся, вылетело смазанное скоростью тело; вспышка дезинтегратора испарила его раньше, чем оно успело обрести форму и вид.

- Назад! — хрипло закричал капитан. — К машине!

Когда страгивается лавина, сознание еще успевает отметить те первые камни, которые, срываясь, зловеще и звонко щелкают по склону. Затем уже нет частных, есть масса падения, огромная, смутная, бешеная в своей скорости обвала.

Так было и здесь. Потемнело, хлынуло отовсюду, смешалось. Летящими, падающими, бегущими клочьями больших и малых существ, казалось, двинулась сама природа — приступом, потопом. И фиолетовые вспышки дезинтеграторов разили, сминали, рвали то, что было плотью ринувшейся стихии, то, чем люди недавно восхищались и что теперь, обезумев, восстало против них. Они бежали и с содроганием падали во все живое, ужасаясь и не понимая, что произошло, почему место идиллии стало вдруг местом бойни.

— Биосфера сошла с ума! — переводя дыхание, выкрикнул капитан, когда броня вездехода укрыла их от живого потопа. — Быстрее к кораблю!

Послушно включился двигатель, и трава, прилипшая было к металлу, была смята первыми оборотами колес.

— Стойте... — Свердлов едва мог говорить. — Да стойте же! Мне показалось...

- Что?
- Смотрите.

Масса живого, которую не могли остановить ни выстрелы, ни гибель, редела, таяла, разлеталась брызгами существ, которые немедля исчезали, будто не они только что составляли слепое целое. Вскоре лишь груды обугленных трупов напоминали о скоротечном сражении. Будто ничего не произошло, все так же мирно светило солнце, и деревья поодаль, чья листва не пострадала, тихо струились в потоках нагретого воздуха.

Люди не могли опомниться, ибо нигде, ни в одной звездной системе они не сталкивались с такой чудовищной бессмыслицей.

— Тем не менее мне это кое-что напоминает. — Расширенными глазами биолог смотрел на груды мертвых тел, рану, выжженную в светлой зелени чужого мира. — Аналогия, конечно, чисто внешняя...

— Ну?

— Атака фагоцитов. Нападение на все чужеродное...

— Нелепо, — сказал капитан.

— Нелепо, — согласился биолог. — Если вдуматься, тут даже и сходства нет. Никто не нападал на наши механизмы. Никто не обрушивался на наш корабль...

— Никто не нападает на вездеход, — добавил Свердлин, берясь за ручку дверцы. — Поэтому, возможно, все решит простой опыт.

— Куда?! Не смей!

— Позвольте! Раз никто не нападал и не нападет на нас, пока мы в этой коробке, значит, всему виной мы.

— Мы?

— Наше белковое родство и одновременно несходство со всем, что нас здесь окружает. Это не атака фагоцитов. Организм принимает металл и пластмассу, все заведомо чуждое жизни, но схожие белки он отторгает.

— Реакция несовместимости? — вытаращил глаза капитан. — Биосфера не организм!

— Очень странная, а потому, может быть, верная мысль, — подумав, сказал биолог. — Биосфера, конечно, не организм, но система, способная реагировать как единое целое. Хотя... Нет, не получается! Где и когда биосфера вела себя подобным образом?

— Где и когда она прикидывалась доступной и позволяла нам обойтись без скафандра?

— Прикидывалась смирной, чтобы больней ударить? — Фёкин издал смешок. — Кто-то мечтал о новой Земле... Кто-то спешил быть оптимистом...

Свердлин ничего ему не ответил.

— Опыт разрешается? — спросил он.

— Да.

Он вышел из вездехода, из герметичной коробки, из походной тюрьмы и встал среди цветущих трав, голубого воздуха, тишины лесного мира. Один на один с кроткой, такой земной, такой близкой человеку природой, в глубине которой таился отпор, слепой и бешеный, призванный стереть человека, как злокозненного микроба. И натиск не заставил себя ждать.

— Вот и все, — подавленно сказал Свердлин, захлопнув дверь, за которой кишели тысячи существ. — И тут нужны скафандры. Нужна изоляция, чтобы нас не чуяли... Что же, двинулись.

Вездеход заскользил обратно, по прежним своим следам, все быстрее и быстрее, словно убегал от разочарования.

Шипел кондиционер, нагнетая осточертевший, рожденный химией воздух. За стеклом проносилось великолепие чужого дня.

Опять заточение, думал каждый. Тело в оболочке скафандра, точно вокруг ледяной космос. Всюду жизнь отторгает нас. Беззащитны одни только мертвые миры... А у входа в любой космический сад по разным причинам незримо горит одна и та же надпись: «Посторонним вход воспрещен».

— Между прочим, человеку свойственно приручать, — внезапно сказал Свердлин, когда впереди обозначилась громада звездолета. — Не так уж существенно, конь это, атом или биосфера. Прогресс — это обуздание! Что там говорилось об оптимизме и пессимизме? Лучшим другом в конце концов становится не та собака, которая ластится перед любым прохожим... И это прекрасно.

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПУТИ

Движение урагана мангры уловили, как всегда, вовремя, хотя, казалось, вокруг ничто не указывало на его близость.

Если бы мангры могли облечь свои ощущения в слова, то, верно, сказали бы, что со стороны природы бессовестно гнать их прочь от накрытого стола, когда они еще не насытились. Но мысль и слово отсутствовали. Просто ногокорни стали поспешно вытягиваться из земли, а черно-фиолетовые покровы поднялись и выгнулись по ветру, как натянутые паруса. Безжалостная эволюция жестко закрепила в манграх суровое знание кочевника: кто медлит, тот рискует погибнуть под ураганом, как бы стойко он ни цеплялся за почву.

Не прошло и четверти часа по земному исчислению, как по равнине, все убыстряя ход, двинулась слитная масса темных парусов, подгоняемая ветром и усилием сотен тысяч щупальцеобразных ног. Безошибочный инстинкт наилучшим путем вел мангров к месту, которого в ближайшее время не коснется буря, месту, где можно будет спокойно попастьись.

В тот же самый момент, находясь в сотнях километров от мангров и обозревая все с высоты космоса, ту же самую задачу решал усиленный всей мощью машин человеческий разум.

Электронные и лазерные сигналы, взаимодействуя со скоростью, немыслимой не только для мангров, но и для самого человека, обшаривали полярную область, рассчитывали кривую движения многочисленных бурь, хаос завихрений, удары бешеных воздушных потоков, всю ту головоломку атмосферных явлений, которую едва осиливала земная математика, — с

единственной целью найти клочок поверхности, где можно было высадить десант, не опасаясь немедленного буйства инопланетных стихий.

Поскольку истина объективна, нет ничего удивительного, что разные, ни в чем не схожие методы дали один и тот же результат: десантный бот землян устремился к тому самому месту, куда стремились и мангры.

Движение прекратилось, едва мангры достигли котловины, где они могли безопасно пастись. «Паруса» поникли, их плоскости легли горизонтально, вбирая скупой свет далекого светила, а щупальца врылись в землю, чтобы дать разветвленному на гектары телу питательной соли.

Теперь уже ничто не говорило, что мангры — кочевники; казалось, они всегда росли и будут расти на этом пологом склоне холма. С ними вместе успокоилась и принялась за дело вся та живность, которая неизменно сопровождала мангров и не могла без них обойтись, как, впрочем, и они без нее.

Грохот с неба, нарастающий звук, сильная ветровая волна застигли мангров врасплох и заставили крепче вцепиться в почву. Из-за облаков скользнуло чечевицеобразное тело, оперлось на огненный столб и затем медленно осело.

Органы мангров отметили почти всю картину прибытия человека на их планету, кроме самого последнего мига: бот опустился за вершиной холма.

Ветер стих, и они успокоились. То, что случилось, не было внезапным смерчем, который мог причинить им вред, а если и было, то смерч ушел куда-то в сторону. Небогатый набор ответов на импульсы внешней среды сработал как надо, и мангры продолжали спокойно пастись, блаженствуя в холодных лучах своего солнца, наслаждаясь пищей и безопасностью. Все, что было сопряжено с появлением человека, находилось далеко за гранью их смутного сознания, и хотя их жизненный путь уже пересекался с путем человека, для них все оставалось таким, каким было всегда.

И человек тоже еще не подозревал, что их пути пересеклись, хотя он-то знал, что мангры существуют, и питал к ним интерес. Как ни странно, обе стороны находились почти в равном положении: человек не существовал для мангров, но и мангры

существовали для человека лишь как загадка, ибо что можно определить из космоса? Только то, что какие-то пятна, очевидно растительности, то ли меняют свой цвет (традиционная, а потому наиболее правдоподобная гипотеза), то ли закапываются при ненастье, то ли перемещаются непонятным образом. Большого в чужой и бурной атмосфере не могли сказать даже автоматы разведки, которые сдувало, как осенние листья.

Да какое, в сущности, мангры имели значение? Они были мелким камешком, очередной пылинкой на великом звездном пути человека. Пылинкой, которую следовало рассмотреть мимоходом, не более.

Когда посадка была закончена, дно десантного бота раздвинулось, выпустив якорные лапы, которые тотчас ввинтились в почву на случай непредвиденного урагана. Что такое здешний ураган, люди, не испытав его, знали не хуже мангров. А вот полагаться на свои расчеты — когда и куда двинется ураган — они не могли с той же уверенностью, с какой мангры полагались на свой инстинкт.

Час спустя после того, как пыль улеглась, из открывшегося люка опустилась аппарель, и по ней съехал вездеход. Люди ступили еще на одну планету.

Вездеход перевалил гребень холма, и люди впервые близко увидели мангров. Точнее, они увидели не мангров, а то, что им было знакомо и привычно, — кустарниковую рощу. Не совсем, разумеется, обычную, но все же рощу, то есть низкий полог густых и голых ветвей, многие из которых заканчивались веером продолговатых и темных листьев. Их плоскость располагалась строго перпендикулярно лучам солнца. Двух мнений о том, что это такое, быть не могло, и водитель направил вездеход через кустарник.

Гусеницы подмяли тугой «матрац» ветвей, даже не заметив препятствия. В пыль были размолоты первые листья; вездеход шел, оставляя за собой месиво.

— Очередная маршрутная точка — в середине рощи, — не отрываясь от визиюсьемки, сказал биолог. — Надо взять образцы и поближе изучить этот кустарник.

Однако вездеход остановился несколько раньше, чем было намечено. И не по воле людей.

Край плоти мангров ощутил боль, которая распространялась по мере того, как вездеход взрезал живое тело. Но мангры не спешили — их жизнь была непрерывной борьбой за существование, они знали, что и как надо делать. Чудовище они заметили, когда оно только приближалось. Отождествление тоже было делом нескольких мгновений. Ничего нового мангры для себя не обнаружили — просто очередное нападение их исконного врага — урбана. Бесчисленные поколения урбанов питались манграми, вступая с ними в жестокий бой, и бесчисленные поколения мангров либо побеждали, либо гибли в этих схватках. Гибли менее приспособленные, а сильные и хитрые выживали и уже сами губили менее удачливых урбанов. Так они взаимно выпалывали слабейших: и эта нескончаемая битва смертельных врагов была залогом прогресса как тех, так и других, поскольку совершенствование урбанов влекло за собой совершенствование мангров.

Низкий и массивный вездеход, конечно, лишь отчасти походил на урбана, но он походил на него в главном — он нападал. Поэтому движение гусениц включило весь арсенал средств борьбы с такими вот топчущими все и вся гигантами, подобно тому как вид мангров включил в сознании человека мысль, что он имеет дело с кустарником.

И если бы мангры были способны рассуждать, они с удовлетворением отметили бы, что враг им попался нахальный, большой, но глупый, и что, следовательно, победа над этим урбаном останется за ними.

Но рассуждать они не могли, они действовали.

Вездеход плавно качнуло. Так плавно и мягко, что иная неровность дала бы куда более ощутимый толчок. Никто из людей, понятно, ничего не заметил.

Расчет, который бессознательно провели мангры, сделал бы честь земной математической машине. В нужный момент к нужной точке, как по команде, стянулось множество ногокор-

ней. Едва вездеход очутился над этим участком, незаметно скопившиеся под листвой ногокорни одним касанием чуть-чуть уперлись в его днище. Неожутимый толчок никак не мог насторожить предполагаемого урбана, а манграм он давал бесценную информацию о весе противника.

Вездеход снова и уже резко качнуло. Одновременно его скорость упала так внезапно, что люди клюнули носом. Машинально водитель затормозил. Вездеход тут же выровнялся. Поскольку впереди не было никаких препятствий и — быстрый взгляд на шкалу донного локатора — никаких трещин, водитель, смутно удивившись, тут же дал двигателю мощность.

Но вездеход и не подумал рвануться. Было видно, как ползет лента гусеницы, слышно, как шумит мотор, но и только. Столь же машинально, как он действовал за секунду до этого, водитель дал полную мощность. Вездеход содрогнулся, стремительно замелькали гусеничные траки, двигатель, перед силой которого, казалось, ничто не могло устоять, взвыл, словно от ярости. Но машина не сдвинулась и на миллиметр.

Она и не могла сдвинуться, потому что мангры, упершись в днище, приподняли ее, и гусеницы теперь молотили воздух.

Реакция врага, обладай мангры способностью удивляться, изумила бы их своей замедленностью. Все складывалось на редкость удачно: нерасторопный противник был оторван от почвы, лишен возможности двигаться, и его гибель была теперь лишь вопросом времени.

Мангры испытывали удовлетворение — это неосознанное чувство им было знакомо.

— Алло, бот, мы подверглись нападению, смешно сказать, кустарника!

— Точнее?

— Гусеницы вращаются вхолостую, очевидно, эти «кусты» лишили их опоры. Их гибкие ветви, точнее — щупальца, оплели кузов так, что мы не можем открыть дверцы и пустить в ход оружие.

— Опасность?

— Прямой опасности нет, «кусты» больше ничего не предпринимают, но положение нелепое: мы пленники, и непонятно даже чего. Мы пока не видим выхода.

— Понятно. Минут через десять мы атакуем вашу «растительность».

— Биолог возражает: второго вездехода нет, а атаковать без него рискованно, так как неясен характер противника.

— Позитивная программа?

— Надо взять образцы этого «кустарника» и точно установить, что же это такое.

— Мы это тоже сообразили. Но можете вы поручиться, что с вами тем временем ничего не произойдет?

— Нет, конечно, хотя, повторяю, «кустарник» прекратил атаку. Очевидно, не знает, что с нами делать.

— Тогда наш план остается в силе. Ждите.

Люди ошибались, полагая, что мангры не знают, как поступить с пленным чудовищем. Они также ошибались, полагая, что мангры ничего не предпринимают. Они действовали, как привыкли действовать, и в тот самый момент, когда шел разговор, они пытались разорвать вездеход, как разрывали попавших в их объятия урбанов.

Конечно, у них ничего не получалось, да и вообще все было как-то не так: враг не рвался из пут, а ветверуки, которые должны были стиснуть опасные стригали урбана, вместо этого стискивали пустоту.

Последнее обстоятельство повергло в недоумение не только мангров, но и людей, которые непонимающе следили, как слева и справа от кузова, обнимая пустоту, качались пучки шупалец. Что бы это значило? Все прочие поступки мангров, едва прошло ошеломление первых минут, были поняты людьми, хотя и не до конца. Этот же поступок не имел очевидного объяснения и заставлял предполагать худшее — некий дальновидный и пагубный умысел.

Оставив на борту дежурного, трое людей быстро достигли вершины холма. Они были вооружены плазменными винтовками — оружием неодолимой силы. Но, как им сразу стало

ясно, даже с его помощью здесь нельзя было рассчитывать на быстрый успех. Одно дело какие-нибудь бронированные чудовища, которых плазменный выстрел мог пронзить насквозь, и совсем другое — обширные заросли «кустарника», в которых требовалось прожечь ход к побежденной машине.

Но, в конце концов, что мог противопоставить «кустарник» оружию, которое исправно прокладывало человеку путь во всех без исключения мирах?

Убедившись, что разорвать жертву не удастся, мангры привычно изменили тактику: ветверуки стиснули вездеход, сжали его так, что никакому урбану не поздоровилось бы.

Спектролитовый колпак вездехода, однако, даже не скрипнул, и люди в нем не заметили этих новых могучих усилий мангров.

«Кустарник» следовало выжигать постепенно, метр за метром, и атакующие методично принялись за дело. В успехе они, понятно, не сомневались.

Конечно, мангры не осознали, что эти, издали жалящие их тело фигурки и пойманный гигант — звенья одной цепи. Перед ними оказался новый враг — вот и все. С таким поражающим издали противником они еще не имели дела, но страх перед неизвестным, вообще страх был им неведом. Пока урон был невелик, они могли и должны были бороться, иначе, как говорил миллионолетний опыт, выжить невозможно.

Люди с удовлетворением отметили, что первые же выстрелы заставили «кустарник» попятиться. Он отступал по всему фронту, но вместе с собой он волочил и вездеход.

Враг бежит, надо преследовать! Это было старинное правило охоты. Да и ничего другого людям не оставалось делать, так как расстояние ослабляло силу огня.

Преследование началось.

Манграм была неведома такая абстракция, как «ловушка». Но ставили они именно ловушку, поскольку этот прием был в арсенале их средств борьбы.

Они отступали не целиком. Отдельные, зарывшиеся в почву ногокорни оставались там, где были, и ждали, когда их верхние отростки почувствуют поступь атакующего противника.

Даже такая борьба, как расстрел кустарника, порождает азарт, и люди, мечущие молнии, понятно, не обращали внимания на обугленную их выстрелами почву.

Западня сработала мгновенно. Люди не успели понять, что случилось, как их ноги уже были схвачены рванувшимися из-под земли щупальцами. Еще мгновение — и их тела очутились в воздухе, а новые щупальца охватили руки.

Это было так страшно — рванувшиеся из-под земли щупальца, — что люди упустили драгоценное мгновение, когда оружие еще могло освободить их.

Конечно, мангры, как полагалось, сразу же стиснули своих новых пленников, но сил одиночных ногокорней, которые так блестяще справились со своей задачей, не хватило, чтобы одолеть жесткий скафандр.

Но это было лишь временной отсрочкой. Едва прекратились выстрелы, как уже вся масса мангров двинулась к трем беспомощно повисшим в воздухе пленникам.

Чем им это грозит, те поняли сразу. Их руки и оружие были схвачены самым причудливым образом, так что двое могли шевелить только кистью. Действовать в таком положении было не слишком удобно, но такую мишень, как «кустарник», мог поразить и неприцельный огонь. И на мангров снова обрушились молнии.

То был поступок отчаяния, люди ждали, что щупальца в ту же секунду схватят, прижмут, вырвут оружие. Но, к их изумлению и облегчению, ничего этого не произошло — щупальца не двинулись.

Опаленный огнем фронт мангров замер. Люди тут же прекратили стрелять — в их новом отчаянном положении был дорог каждый заряд.

Мангры двинулись снова.

Выстрелы опять их остановили.

Так повторилось еще несколько раз.

Наконец людей словно отпустил кошмар, мангры уже не сделали попытки двинуться.

Мангры, хотя их организация была примитивной, умели учиться. Но здесь их способности были крайне ограниченными. Выстрелы быстро выработали в них условный рефлекс, но дальше дело пошло туго. Мангры, если можно так сказать, были поставлены в тупик, ибо бой все больше разворачивался «не по правилам».

И тогда, когда программа инстинкта была исчерпана, включился механизм метода «проб и ошибок».

— Да сделайте же что-нибудь!

Крик напрасно звенел в наушниках. Люди в вездеходе предпочитали не глядеть друг на друга. Их положение было ужасно, потому что им, защищенным броней, но беспомощным, предстояло увидеть агонию друзей, которые хотели их выручить и стали пленниками сами.

А агония должна была наступить рано или поздно. Даже если все останется в прежнем положении и «кустарник» ничего не предпримет, кислород в скафандрах иссякнет раньше, чем мчащийся от соседней планеты звездолет придет на помощь.

Оставался, правда, еще один свободный человек — дежурный покинул свой пост, и теперь его одинокая фигура маячила на вершине холма. Но стрелять он не мог — нельзя было поразить щупальца, не поражая людей. Подойти с резаком? Но это было слишком рискованно.

Внезапно вездеход потрянуло. Борт его резко накренился, люди едва успели ухватиться за поручни. Нет, мангры отнюдь не забыли о своем первом противнике! Они его переворачивали вверх гусеницами.

Зачем? Этого не знали не только люди, но и мангры.

С вездеходом, даже поставленным вверх ногами, мангры заведомо ничего не могли поделать, но с остальными они могли

расправиться по меньшей мере тремя способами: убить резкими ударами о землю, скрутить их тела винтом, что вызвало бы разрыв скафандра, или, как в случае с вездеходом, перевернуть людей вниз головами.

Второй маневр хранился в наследственной памяти мангров, но, к счастью для людей, сама эта программа уже столь явно дала осечку, что инстинкт самозатормозился. Точнее, одна инстинктивная программа «делай как всегда» была ослаблена другой программой: «пробуй, если не получается как всегда». А поскольку люди с молниями и вездеход представлялись разными врагами, то и пробы оказались разными: щупальца всего лишь выпустили сок, которым они разлагали минералы почвы. При этом они стали потряхивать людей теми же движениями, какими, выпустив сок, рыхлили почву.

Нельзя сказать, чтобы это было приятно, но потряхивание по крайней мере ничем не грозило. Что же касается белой жидкости, которая заструилась по скафандрам, то тут можно было подозревать самое худшее. Враг, столь быстро и умело нанесший людям поражение, казался им теперь воплощением коварного и расчетливого ума.

К счастью, не всем.

У людей в вездеходе при всех их переживаниях была возможность подумать.

Они следили за всем, что происходит, и привычка сопоставлять, анализировать понемногу брала верх. Процесс этот, в общем, был бессознательный, он был следствием огромного опыта человеческой культуры, который подсказывал, что все победы предрешал творческий подход, а там, где этого не было, не было и успеха.

В беду их ввел привычный стереотип мышления, но второй такой же ошибки им удалось избежать. Целенаправленные, точные, а потому внешне разумные действия «кустарника» лишь на миг поколебали изначальную убежденность биолога, что они имеют дело с примитивным, хотя и своеобразным, существом. Эта убежденность не была слепой, ибо основывалась на знании общих законов эволюции жизни, знании, что содержание определяет форму. То, что «кустарник» не парализовал оружие,

не нашел верного способа убийства беспомощных людей, окончательно развеяло все сомнения. Их противник не был ни умен, ни глуп, как не была умна и глупа какая-нибудь земная росынка; он был отлично приспособлен к строго определенным условиям и ситуациям, только и всего.

Когда это было осознано, требовалось уже немногое, чтобы увидеть выход из безвыходного, казалось бы, положения.

В подсказке недостатка не было. На тех участках, где не кипел бой, листья мангров мирно продолжали вбирать свет. Там, едва стихли выстрелы, объявились похожие на мокрицу крупные существа, которые безбоязненно сновали меж ветвями и — более того — поедали листья!

Конечно, эта идиллия скользнула мимо оглушенного событиями разума, но в сознании она запечатлелась. Проистекающей отсюда мысли, чтобы развиться, надо было преодолеть несколько предвзятых установок. А именно: всеислие человека отнюдь не в его силе, не в мощностях покоренных им энергий, не в изощренности построенных им машин, даже не в знаниях, — оно в гибкости, широте и дальновидности его мышления! Еще: тактика, успешно сработавшая пусть тысячу раз, не обязательно оправдывает себя в тысячу первый. И еще: человек убежден, что он всегда разумен; на деле же он разумен только тогда, когда способен подметить, оценить новое и, перестроив прежнюю картину мира, действовать в соответствии с реальностью, какой бы она ни была.

Незаметно для себя (необходимость — лучший учитель!) биолог проделал весь этот путь. И тогда он понял, что надо делать.

Понял в тот самый момент, когда в наушниках раздался отчаянный крик:

— Их жидкость разъедает скафандр!

Так наступила критическая минута, и биолог понял, что его открытие бесполезно: нет времени объяснять, события опередили работу разума.

И все же...

— Откуда вы заключили, что сок разъедает силикет?!

— Шелушится и опадает его верхний слой!

«Сок был выпущен полчаса назад, — мгновенно пронеслась мысль. — А слоев три...»

— Остановитесь! — закричал он. — У нас есть время и верный способ!

Поздно. Единственный оставшийся на свободе член экипажа уже подбегал к пленным. Сверкнуло лезвие резака...

Прежде чем резак успел отсечь второе щупальце, несколько других, соскользнув с пленников, схватили смельчака. Хотя он и был готов к нападению, бросок щупалец опередил его реакцию. Секунда — и он оказался в том же положении, что и остальные.

Ужас не помешал биологу отметить, что его план блестяще подтвердился в самом уязвимом пункте. Теперь он твердо верил в успех. Если, конечно, новый случайный поступок «кустарника» не сделает его невыполнимым.

Этого, однако, можно было не бояться. Мангры знали, что корневой сок действует медленно, и не спешили пробовать что-нибудь другое. Что же касается первого врага — вездехода, — то все его поведение убеждало, что он мертв. Значит, оставалось ждать, когда разложение размягчит ткани этого странно твердого урбана. Все было не так, как всегда, и все-таки шло как надо.

Донный люк откидывался внутрь. Первым вылез биолог. Люк за ним тотчас захлопнулся — как ни убедительна была теория, рисковать всем не было смысла.

Перевернув вездеход, мангры сами облегчили выполнение плана, ибо теперь у человека был широкий простор для маневра, который отсутствовал бы, если бы донный люк остался внизу.

Ползком, стараясь без нужды не касаться щупалец, человек соскользнул с брони вездехода и так же ползком, извиваясь всем телом, двинулся сквозь сплетение страшных отростков.

Даже смотреть на это было невозможно. Для биолога самым пугающим было касание этих бледно-маслянистых щупалец и сознание, что им ничего не стоит схватить и удушить. Вопреки всему, воображение невольно наделяло их рассудком, который способен преодолеть шаблон инстинкта. Ведь ясно, что крадется враг!

Манграм, однако, было совершенно ясно, что сквозь сплетение их ветверук ползет нечто безвредное или даже скорей полезное. Никакое другое существо просто не могло вот так сразу очутиться и двигаться в самой сердцевине их организма — оно было бы задержано, опознано и истреблено на границе тела. Мангры не разбирались, что это за существо копошится в них, они не обращали внимания на тех тварей, которые поедали больную листву, обирали вредных насекомых или питались отмершими тканями. Ведь даже человек без помощи науки не в состоянии заметить тех подчас вредных существ, которые гнездятся в его организме! Поэтому биолог находился в безопасности, словно прогуливался по парку.

И это вскоре стало ясно всем.

Биолога могли погубить лишь две ошибки, но он их учел. Он не двинулся напрямик, так как пришлось бы проползать через опаленные выстрелом участки, а это могло вызвать у мангров болевое ощущение, которое, вероятно, включило бы защитную реакцию. Он, хотя это намного удлиняло его путь, выбрался наружу там, где мангров ничто не беспокоило. И, выйдя наружу, он не встал и не побежал, прекрасно сознавая, что противник скорей всего уже научился отождествлять фигуру идущего человека с опасностью.

Экипаж вездехода в точности повторил его маневр. Нельзя сказать, что люди проделали это без содрогания, но успех был достигнут. И вовремя!

Скафандры пленников, как и предполагалось, еще противостояли разрушительному действию сока. Пока еще противостояли...

Схватка одиночки со щупальцами, которая закончилась столь плачевно, тем не менее наглядно подтвердила то, о чем биолог догадывался. Пучок щупалец исчерпал все свои резервы. Настолько, что нового пленника они уже не могли поднять над землей. Возможно, они еще могли скрутить одного-двух, но теперь в борьбу вступали уже четверо. Подхода других мангров можно было не опасаться: «рефлекс выстрелов» не должен был исчезнуть так быстро.

Все, что произошло потом, сильно напоминало ожившую скульптуру битвы Лаокоона со змеями.

* * *

Теперь оставалось лишь отбить вездеход. Но мысль об избииении уже беззащитного, когда стали ясны его слабые стороны, хотя по-прежнему загадочного «кустарника» претила людям. И они охотно пришли к выводу, что мангры сами оставят вездеход, едва почувствуют приближение бури.

Тут они ошиблись. Инстинкт повелевал манграм не упускать добычу, и, когда приблизилась буря, они поволокли вездеход.

С их стороны это был роковой просчет. Вездеход в отличие от урбана нельзя было разодрать на клочки; его махина затруднила движение мангров, и буря их настигла.

А что такое здешние бури и почему мангры стали кочующими полурастениями-полуживотными, людям сказали обломки вездехода, рассеянные на пространстве многих километров.

МЕРА ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Что-то разбудило меня. Движение, звук, какая-то мысль, сновидения? Не знаю.

Я сел, откинув спальный мешок. Все было тихо в палатке. Рядом сонно дышал Геннадий Иванович. Снаружи полог как будто трогали осторожно коготки — там неуверенно накрапывал дождь.

Бесшумно одевшись, я выскользнул наружу. Ночь была теплая, безветренная, несмотря на ненастье, светлая. Со стороны озера порой доносился стеклянный шорох дождя. Редкие крапинки чуть покалывали кожу лица. Все было так спокойно, что мои чувства обострились, как у зверя, который гораздо сильнее нас поглощен внешним, ибо любой уголок природы, по которому безмятежно скользит наше внимание, для него средоточие надежд и опасностей.

В таком редком для человека состоянии я пробыл минуты две или три. Дождь тем временем смолк. Мир погрузился в безмолвие.

Тут все и случилось. Настолько внезапно, непонятно и быстро, что сознание отметило лишь обрывки события. С неба ахнул удар, как от самолета, рванувшего звуковой барьер. Воздух — это я отчетливо помню — на мгновение стал таким вязким, что застрял в горле. Пальцы будто уколол слабый разряд. Бесспорно, однако, что от момента звука до момента, когда за заливом блеснула вспышка (прошла, вероятно, секунда), не было ни молнии, ни свиста, ничего сопутствующего падению. Просто на темном гребне мыса вспыхнул огонь электросварки, но не пронзительно-голубой, как обычно, а белый и даже не очень яркий вначале.

Это уже потом ураганно метнулись тени и все озарил свет, от которого побелели травинки.

Инстинкт сработал, и падал я с закрытыми глазами, но жуткий, прямо атомный свет проникал и сквозь веки. Облитый им, как жидким огнем, я что есть силы вжимался в мох, ожидая последнего удара.

Но свет потух, и даже дуновения не пронеслось. Я все ждал, обливаясь потом. Когда же я наконец открыл глаза, мир был, как прежде, тих, и — странное дело! — я видел серую воду и силуэты деревьев так, словно и не жмурился.

Где-то далеко взвыла собака.

— Что там такое? — раздался из палатки недовольный голос Геннадия Ивановича.

Серая на рассвете тропа петляла среди валунов, кривых сосен и топких мочажин. Геннадий Иванович шел споро, как человек, привычный к любой дороге.

Когда я ночью сбивчиво рассказал ему все, он хмуро задумался, а потом предложил перво-наперво раздуть костер и согреть чай. Я было запротестовал, так как боялся повторения вспышки. Ответом был резонный вопрос:

— Глаза-то ведь целы?

Было ясно, что Геннадию Ивановичу, который проспал главное, мои опасения кажутся преувеличенными, а страхи надуманными, и, возможно, он даже презирает меня за панику. Его трудно было упрекнуть, ибо в моем рассказе одно не совмещалось с другим, а разница его и моего восприятия состояла в том, что, скажем, лед для него заведомо не мог быть горячим, а для меня мог, потому что я знал — такой лед существует.

Предложенное Геннадием Ивановичем занятие, впрочем, оказалось оправданным. Его неторопливые движения, когда он разжигал костер, подкладывал сучья, ставил чайник, доставал заварку, отвлекли меня, а пламя костра создало привычный круг света, тепла и безопасности. Мысли мои потекли ровней, и мне показалось, что я могу найти объяснение феномену. Вероятно, это была шаровая молния. Не совсем обычная, правда, но что мы знаем о шаровой молнии?

— Почему-то все думают, что чем безлюдней место, тем оно диковинней и опасней, — перебил мои размышления Геннадий Иванович.

Я уставился на него с недоумением. Он сидел насупясь, ответ костра порой выхватывал напряженный блеск его глаз.

— Мы с прадедов живем на этой земле, — продолжал Геннадий Иванович после паузы. — Знаем наизусть, чего в ней может быть, а чего не может. А вот вы в городе не знаете.

— В каком смысле? — не понял я.

— Да автомобиль тот же... Зверь столько людей не передавил, сколько машина. А почему? Привычки нет, а до новинок охочи. Так и выходит, что глушь-то самое спокойное место. Молния, говорите? Может, и она, вам видней, откуда только? Никогда в такую ночь не было молний, а чего здесь не было, того и не бывает, другое ищите.

Я мог бы уже привыкнуть к внешне корявым диковинным мыслям Геннадия Ивановича, но привыкнуть было все-таки трудно. В своем кругу мы все как-то думаем на общий манер, потому что образование, воспитание, образ жизни у нас схожие. Геннадий Иванович же был лесничий, образования почти не имел, но своеобразие и пытливость его ума поражали. Он, если мерить интеллигентность не обычной и, кстати, ложной меркой профессиональных знаний, был человеком незаурядного интеллекта — случай для старой деревни не столь редкий, теперь же, когда всем открыта прямая дорога в вуз, куда менее частый. Однако недели, которую мы провели вместе, было недостаточно, чтобы его характер раскрылся вполне.

Нехотя, как-то вынужденно светало. Мы пили обжигающий чай и не возвращались к обсуждению недавнего события. Я угадывал, что у Геннадия Ивановича созрел план действий, и почему-то я был заранее с ним согласен. Меня даже не обескураживало, что не я, кандидат физико-математических наук, взял инициативу.

Может быть, потому, что здесь, в лесу, инициатива по праву принадлежала Геннадию Ивановичу.

— Пошли, что ли, — сказал наконец Геннадий Иванович.

Он поправил отвороты сапог, проверил ружье, и мы двинулись.

* * *

Мыс встретил нас спокойствием утра. Потрескивал под ногами валежник, мягко пружинил мох, из-под влажных листочков отовсюду смотрела крупная сизая черника — все было как всегда, как обычно, как везде. Я было ощутил разочарование, которое оказалось сильнее чувства облегчения, когда Геннадий Иванович остановился и сказал чуть дрогнувшим голосом:

— Так оно и есть...

Неподалеку от нас лежал Шар.

Он был размером с футбольный мяч, гладкий и чуть поблескивающий. Главная его особенность состояла в том, что воздух у самой его поверхности как бы подрагивал, искажая то, что просвечивало сквозь эту пульсирующую оболочку. Впрочем, и сам материал имел какой-то неизвестный оттенок, странно не соответствующий всем краскам Земли.

Горячие струйки пота потекли у меня по спине, когда я осознал, откуда он, что все это может значить и чем обернуться.

— Геннадий Иванович! — задыхаясь, вскричал я. — Вам лучше пока отвернуться, а то если он снова, как ночью...

— Чего уж, — последовал ответ. — Нужная предосторожность, так понимаю, и вам неизвестна, а оно, может, нас уже какой радиацией еще ночью обдало...

Он все обдумал и взвесил. И решение его, логически несовершенное, было оправданным. Никто не снарядит экспедицию для проверки не слишком вразумительного сообщения о каком-то световом феномене, так что отступать нам было нельзя, да и поздно.

— Чего уж петлять, — повторил Геннадий Иванович.

Право подойти первому он уступал человеку науки, что, конечно, было правильным. Превозмогая слабость, я двинулся к Шару. Геннадий Иванович снял с плеч двустволку. Дуло, поколебавшись, нацелилось на Шар, и этот жест выдал мне волнение Геннадия Ивановича, что, как ни странно, подействовало на меня успокаивающе.

Сквозь кусты, перед которыми лежал Шар, просвечивало озеро. С какой-то необыкновенной четкостью я видел примятый им стебель костяники с ярко-красными поникшими ягода-

ми, и эта пустяковая деталь почему-то казалась мне самой неправдоподобной. Возможно, потому, что я уже не сомневался насчет природы Шара.

Над ним, словно он был раскаленным, все так же зыбко трепетал воздух.

Осталось четыре шага. Три. Два...

Шар исчез. Верней, не так! Как выхваченный ножницами лоскут, исчез кусок земного пространства, а взамен возникло чужое. Только пространство ли?

То, что я в нем увидел, поразило меня сильнее, чем сама метаморфоза. Последние года три я занимался изучением формы атомного ядра, которая, как известно, до сих пор точно не определена. Ее-то я и увидел.

Конечно, слово «увидел» тут не годится. Нельзя разглядеть то, что не имеет телесного облика. Такое можно представить, вообразить, математически осмыслить, пояснить посредством аналогий, но как ни называй это действие, оно сводится к восприятию формы атомного ядра. А тут оно было выложено мне, как на доске!

Едва мое замороженное и потрясенное сознание стало понимать смысл новых понятий, как в том же пространстве началась развертка вытекающих отсюда следствий. Следствий настолько значительных и сложных, что к действительности меня вернул лишь повторный зов Геннадия Ивановича.

Я обернулся: он спешил ко мне, сжимая ружье.

— Вы видели? — закричал я в возбуждении. — Видели?

— Напугали вы меня, — пробурчал Геннадий Иванович. — Кричу, а вы ровно пень...

— Становитесь рядом!

Краем глаза я следил за чужим пространством. Там все замерло, но лишь до мгновения, когда Геннадий Иванович поравнялся со мной.

— Ух ты! — Он даже присел. — Чудеса-то какие!

— Какие? — спросил я поспешно.

— Деревья лиловые — и как паруса!

Я не видел лиловых деревьев, я видел привычные мне символы математики.

Все было ясно; каждому свое. Этот Шар... он вступал в контакт с подсознанием. Даже на отдыхе я продолжал думать о

работе, и Шар уловил скрытую мысль. Геннадий Иванович мечтал что-нибудь узнать о жизни в других мирах и тоже получил желаемое. Как в справочном автомате: нажал кнопку — прочитал ответ. Даже проще... Вот это-то и странно.

— Что хмур, Сергеич, или подарку космическому не рад?

То были первые после долгого молчания слова. Мы сидели на стволе поваленного дерева, поодаль блестел Шар, в своем настроении я и сам не мог разобраться.

— Зачем спрашиваешь? — отозвался я нехотя, не удивляясь взаимному переходу на «ты».

— Для дела, само собой.

Геннадий Иванович был верен себе. Даже в такой ситуации он оставался человеком, который оглядывает попавший в его владения предмет, будь то аппарат чужой цивилизации или ржавый гвоздь, смекая, на что тот годится.

— Тебе хорошо, Геннадий Иванович, — вырвалось у меня. — Будешь сидеть в своем лесу, как сидел, а у нас в науке все пойдет кувырком. Да и в жизни.

— На другие звезды слетаем, ну и так далее, — отозвался Геннадий Иванович, закуривая. — Может, и радикулит мой теперь враз вылечат, бессмертие дадут. Ты о другом скажи. Чего боишься-то?

— Не знаю! Не знаю даже, боюсь ли. В этом Шаре есть ответы на такие вопросы, о которых мы и не задумывались. На десятилетия, может быть, века прекратятся исследования. Мы ничего не будем открывать, перестанем творить, а будем спрашивать и получать ответы.

— С охотой или без?

— А это не важно. Вот я какой-никакой исследователь. Это все отдай, лишь бы узнать чуточку нового. А здесь не чуточка.

— И без труда.

— Не совсем, положим...

— И слава.

— Это само собой. Раз нашли Шар, то слава нас не минует.

— К чертушке славу, на ней блины не спечешь! Ты мне вот что скажи: хорошо ли на все сразу получить ответ?

— Не знаю.

— Может, твои академики знают?

— Откуда? Кто может знать, если никогда ничего подобного не было?

— Должны знать, потому не за одних себя отвечают. Как могут не знать? Вот атомов раньше не было, полетов космических. Есть, стало быть, опыт.

— Опыт? Он все тот же: «Семь раз примерь, один раз отрежь», «Не спросаясь брода, не суйся в воду». Только спрашивать у кого?

— У себя, кого же еще?

— Ах, Геннадий Иванович! — Мне стал надоедать этот бессмысленный разговор. — Вот озеро, вот берег. Мы весь его видим, не так ли? А муравью, чтобы увидеть, надо все по сантиметру обшарить. Так и природа для нас, что для муравья этот лес. Тут ничего не поделаешь.

— Муравей, говоришь? — Геннадий Иванович затаился. — Глянь-ка на Шар.

Я посмотрел и чуть не рассмеялся, хотя мне было вовсе не до смеха. По гладкой, все так же пульсирующей поверхности Шара — ну, знаете! — карабкался муравей. И ничего ему не делалось. На мгновение он замер с таким видом, что у меня мелькнула дикая мысль: может быть, Шар и ему открывает что-то... Но он пополз дальше, возбужденно шевеля своими усиками-антеннами.

— А что, знания действительно сила? — отрывисто спросил Геннадий Иванович.

— Конечно. — Я взглянул на него с недоумением. — Конечно.

— Значит, Шар этот огромная сила?

— Естественно...

— А насколько огромная? Большая, чем все наши атомы?

— Ну, так вопрос ставить нельзя. — Я растерялся. — С одной стороны, заключенные в Шаре знания, конечно, обладают невиданным потенциалом, но с другой стороны...

А что с другой стороны?

— Значит, — наседали Геннадий Иванович, — вы собираетесь выпустить такую силищу, не зная толком, что из этого выйдет?

— Да, — ответил я раздраженно. — Если бы человек, который открыл огонь, только рассуждал, мы бы не пили сегодня чай.

— Верно. Так его нужда допекала.

— А нас не допекает? С болезнями покончить хотим? Хотим. Помочь другим избавиться от голода? Нищеты? К звездам летать? Жаждем!

— Значит, вы решили как быть?

Решил ли я? Ничего я не решил. Легче решать, когда мало что понимаешь и не задумываешься, когда твердо веришь, что мир прост, вот это заведомо хорошо, а это заведомо плохо. Но когда различаешь тысячи оттенков, когда понимаешь сложную диалектику событий и хочешь сделать лучше с учетом дальних последствий и знаешь, что абсолютно верного решения быть не может, поскольку никто не владеет абсолютной истиной, — вот тогда решать тяжело, а для многих и непосильно. Но как все это объяснить Геннадию Ивановичу, для которого, несмотря на острый ум, мир все же устроен проще, чем для меня?

Мое молчание он истолковал по-своему.

— Ладно, раз решил, то решил, о другом ответь. Вот ты говоришь, что не может ученый такое, как с Шаром, до нужной точки предусмотреть. И в будущем так?

— Мы неплохо учимся, — ответил я, скорей чтобы прекратить разговор. — Поэтому есть надежда, что в будущем мы сможем гораздо лучше оценивать и решать такие грандиозные проблемы.

— А Шар вы будете использовать сейчас, — сказал Геннадий Иванович утвердительно.

Я почувствовал, что уже не в силах спорить. После стольких волнений хотелось лечь на траву, слушать дятла и ни о чем не думать. Чуть шелестела листва, грело утреннее солнце, хорошо было в лесу — тихо, привычно. Если забыть о Шаре, конечно.

— Свойства Шара будут использовать, — сказал я больше для себя, чем для Геннадия Ивановича. — Сие от нас не зависит.

— Как не зависит? — Он встрепнулся.

— Очень просто. Вот мы сидим, рассуждаем, а все уже решено.

— Вами?

— Нет. Шар открыт, понимаете? А что открыто, то будет применяться. Неизбежно. Не было случая, чтобы открытие не применялось.

— Вот оно как...

— Мы сообщим о Шаре, иначе мы поступить не можем. Съедутся ученые, будут спорить, примерно как мы спорим, возможно, разработают какие-нибудь меры предосторожности, и все равно Шар пойдет в дело. Нет, Геннадий Иванович, потешили мы себя разговорами, пора и честь знать. Хорошо бы засветло к телефону или телеграфу выйти. Где тут ближе всего?

— Сиди, успеем...

Я не торопился — наконец-то можно прилечь! Геннадий Иванович снова задымил, щуря глаза то ли от огорчения, то ли от папиросы. Я ему сочувствовал. Такая у него была жизнь и такая работа, что он привык полагаться на себя, свои выводы и решения, всецело быть хозяином, а тут...

— Решено, стало быть, и подписано. — Он встал. — Рыба все подряд глотает, пока крючок не сцапает, да уж поздно.

Он тяжело вздохнул.

— Куда вы, Геннадий Иванович?

Он как будто не слышал. Своим чуть валким, спорым и твердым шагом он двинулся к месту, где лежал Шар. Метрах в полутора, у черты, за которой возникал чужой мир, он зажмурился. Придвинулся, присел и, крикнув, поднял Шар.

— Геннадий Иванович!.. — закричал я.

— Тяжелый, однако...

Он побежал к берегу, и, прежде чем я успел опомниться, Шар с гулким всплеском исчез под водой.

— Вот и все. — Геннадий Иванович отряхнул руки. — Здесь не шибко глубоко, да ила с метр. Пусть полежит смирененько, пока вы заранее не продумаете все до точки.

КОЕ-ЧТО ИНАЧЕ

Мы стояли потрясенные и спрашивали друг друга: кто же сошел с ума — мы или природа? Над нами голубело степное небо, светило добротное, вполне земное солнце, а в роще неподалеку что-то ворочалось как исполинский утюг. Нормальная, словом, картина. Только в нашем положении не более правдоподобная, чем взбесившийся стул.

Оба мы, я и Криша, пространственники. Цель нашей работы, иначе говоря, не звезды с планетами, а космическая среда. Чисто житейски это занятие более всего напоминает добровольное заключение в уютной, со всеми удобствами камере, которая, повинаясь нам, нудно перемещается в объеме нескольких кубопарсеков. Работа, в общем, для автоматов, но автоматы, увы, могут не все. Желая друг другу доброго утра, мы заранее знали, что новый день будет отличаться от прежних разве что каким-нибудь феноменальным наблюдением, которое переполошит десяток-другой специалистов. Не более, ибо весомость научного вклада зависит не только от размера сделанного, но и от масштаба накопленных знаний. (Одна звезда в небе — это звезда, среди миллионов она всего лишь пылинка. Точно так же ученому моего поколения, чтобы занять в науке место Ньютона, надо быть сверхньютоном, потому что «просто Ньютонов» много.) В горькие минуты Гриша твердил, что все мы лишь клерки, клерки космической канцелярии.

Я же для успокоения раз и навсегда принял постулат, что человек — существо неудовлетворенное. И не просто, а прогрессирующе неудовлетворенное: чем больше имеет, тем больше жаждет. Иной мой прадед (все мы в конечном счете из

крестьян) от зари до зари пахал свое жалкое поле и другой жизни для себя не мыслил. Таким было его время. Мы с Гришей, облетав целый рукав Галактики, открыв несколько явлений и названных нашим именем эффектов, оставались заурядными исследователями, и порой закрадывалась мыслишка, что какая-нибудь другая профессия, пожалуй, могла бы дать нам больше удовлетворения и счастья.

Этот же полет был и вовсе не удачным. Исследуемый район Пространства находился далеко от маяков гиперсвязи; мы одичали, как робинзоны, к тому же, желая ускорить работу, злоупотребили надсветовой инверсией двигателей, что слегка выбило нас из нормального хода времени. А в награду досталось одно разочарование: мы не открыли ничего ценного.

Но я уже давно заметил, что жизнь не терпит монотонности. Так было и в этот раз.

Покончив с делом, мы решили, что не худо бы пополнить запас иттрия для вакуум-преобразователей. Иттрия в Пространстве нет, его надо брать на планетах земного типа. Конечно, мы могли обойтись без заправки: новых больших расходов этого элемента не предвиделось. Однако нам требовался благовидный предлог для небольшого развлечения, ибо Пространство нам надоело. И если представлялась возможность сделать это, не нарушая правил и не вступая в конфликт с совестью, то почему бы и нет?

Понятно, что нам нужна была не всякая планета. Оледеневшие или, наоборот, раскаленные миры нас никак не устраивали. Всякие «фантомы», «трясучки» тоже. Отлично подошла бы планета с травкой, пусть даже жесткой, но настоящие биологические планеты для человека сущий ад, где шагу нельзя ступить без громоздких средств защиты, и вообще велик риск увезти с собой какую-нибудь микробную пакость, после чего неизбежен зверский карантин и прочие скандальные последствия.

После долгих препирательств мы избрали Рубелу. Эту планету, как свидетельствовала лочия, однажды посетила экспедиция Прем Чандра, которая нашла, что ее основные параметры копия земных. Та же самая сила тяжести; в небе — очень

похожая на Солнце звезда; ее даже называли Гелиосом. Все остальное, правда, мало походило на Землю. Ни малейшей искорки жизни, в атмосфере метан, циан и прочая гадость. Голограммы экспедиции Чандра, хранившиеся в памяти нашего «мозга», показывали голые скалы, мутные от песчаных вихрей равнины, грязную пену прибоя и вечный полог темных, беременных потопами туч. Только один кадр вызвал у нас бурный восторг. На миг сквозь тучи пробился Гелиос, и как же они запылали! Это был какой-то вулканический, хватающий за душу пожар; фантазмагория дьявольских красок. Рерих бы душу отдал за одно такое мгновение. И мы устремились к Рубеле.

Так вот: голубое небо, трава, нечто уютнообразное в кустах и была та самая Рубела.

Сели мы без разведки, с ходу, так как имели точное описание планеты. Что оно не соответствует действительности, что Рубела вовсе не Рубела, а черт знает что, птичий сон и акулий вздор, мы уяснили сразу и растерялись настолько, что последовавший диалог достоин скорей младенцев, чем пространственников.

— Это не Рубела!

— А что же?

— Другая планета!

— Спятил?

— Слушай, может, Чандр ошибся?

— Со всей своей командой?

— Тогда мы заблудились.

— Скажи лучше — рехнулись. Как мы могли заблудиться?

Бред же!

— А кислород в атмосфере — не бред? Трава — не бред?

— Бред. Может быть...

— Ну?

— Мы перешли в другую вселенную, а? По правилу Мазура при коллапсирующих ускорениях вблизи фридмонов...

— Какие ускорения? Какие фридмоны? Ты соображаешь?

— А ты?

— Я нет.

Стыдно вспомнить, но так мы препирались еще минут пять. Потом слегка пришли в норму и сделали то, что следовало бы

сделать с самого начала: обследовались на диагносте, убедились, что наш рассудок в порядке, проверили физические характеристики звезды и планеты, которые, конечно, совпали с данными Чандра, и стали думать, что же произошло.

К счастью, человек так устроен, что он всегда все может объяснить. Мы не могли заблудиться — это было бы делом сверхъестественным, так что «гипотеза Колумба» отпадала. С другой стороны, мы видели то, что было на самом деле, следовательно, находились на планете, которая по своим физическим параметрам была Рубелой, но по облику не имела с ней ничего общего. Оставалось предположить единственное: никто не спятил — ни мы, ни вселенная, ни Чандр. Просто в лоции оказались перепутанными «ячейки памяти», и мозг выдал нам при расчете данные совсем другой планеты, которая, как нарочно, по некоторым основным характеристикам совпадала с Рубелой. Случай весьма и весьма сомнительный, однако возможный, поэтому нам не оставалось ничего другого, как принять эту гипотезу за истину.

Утвердившись в этом мнении, мы вышли из корабля. Поступок, который, согласен, не свидетельствует о хладнокровии, хотя, с другой стороны, должны мы были разобраться, что это за мир? Биологически наш корабль и так уже был «грязен», поэтому особо терять было нечего, и мы если не бодро, то решительно ступили на поверхность неизвестно какой планеты.

Почти сразу нами овладело странное чувство, будто этот мир нам чуточку знаком. Вокруг была травянистая, рыжевато-серая равнина с тем прозрачным, но неясно очерченным горизонтом, какой бывает в жару на слишком открытых пространствах. Только слева, метрах в двухстах, бледно зеленела ажурная в гребне крон рощица. Ничего удивительного в наших ощущениях, впрочем, не было. Если поднять голову и смотреть вверх, то, не будь скафандров, ничего не стоило убедить себя, что находимся мы на старой доброй Земле. Такое же ласковое небо, такие же редкие кучевые облака, и даже Гелиос размером, цветом, яркостью был неотличим от полуденного Солнца.

— Не буду я смотреть вверх! — вдруг заявил Гриша. — Это же мучительно — я жду, когда запоет жаворонок.

Гриша не продолжил свою мысль, я тоже ничего не сказал. Не было в нашем районе, — да что там! — во всей изученной части Галактики не было планеты, где могли бы петь жаворонки. Там, на корабле, это еще не было очевидным, а здесь было. Значит, теория наша никуда не годилась, мы ничего не могли объяснить. Ситуация хуже некуда.

То есть, конечно, могло быть гораздо хуже. Лично нам пока ничто не грозило, мир вокруг был прекрасен, после однообразия пространства даже сказочно прекрасен.

Трава под ногами, впрочем, была не сказочной. Колючая была трава, никак не трава-мурава. И без единого цветочка.

Я сделал шаг: взвилось облачко пыли. Пыль тоже была прозаическая.

Ни о чем другом в нашем положении не стоило думать. Ни о чем. Всякая серьезная попытка разобраться, где мы и что с нами, завела бы нас сейчас, пожалуй, в такую безвыходность, что мы действительно рисковали сойти с ума.

Действие — вот что могло нас отвлечь. И мы, ни слова не говоря, двинулись к рощице, презрев кое-какие правила поведения на незнакомой планете.

Когда до рощи осталось шагов сто, в ней что-то затрещало, и над перистыми, вроде пальм, кронами взмыл эдакий рыбий плавник.

Мы ахнули. «Плавник» исчез, но в роще продолжало двигаться нечто громоздкое и, судя по наплевательскому отношению к маскировке, весьма самоуверенное.

С дезинтеграторами в руках бояться нам было нечего. Но уважение к здешней фауне мы почувствовали, ибо высота рощи была метров пять, так что если животное не целиком состояло из «плавника», то массой оно могло поспорить с древним танком.

Все это было, однако, не важно. Существенным было то, что вид «плавника» вызвал в глубинах памяти какой-то смутный образ...

Прямые чешуйчатые стволы перистых деревьев; степь без единого цветочка; желтое горячее солнце и странная спина чудовища... Можно было поклясться, что где-то когда-то, во сне или наяву, мы видели нечто похожее. Или это болезненный сдвиг сознания?

...Однажды в детстве я заблудился в коридоре. Стояла ночь, когда я вышел туда по нужде и двинулся, не зажигая света. На ощупь, в крошечной темноте я добрался до знакомого поворота. Чуть дальше — я помнил точно — должна была находиться полка. Но полки не оказалось. Сделав пару шагов, я уперся в нишу, которой здесь просто не могло быть. Я метнулся назад... Рука коснулась чего-то высокого и громоздкого, что отовсюду топорщилось углами и везде отрезало мне путь, хотя еще мгновение назад я был на свободе. Вся ширь коридора куда-то делась, необъяснимо сжалась и пропала. Кое-как я протиснулся меж углами и выступами, но и там не оказалось ничего знакомого! Мне отчаянно хотелось кричать. Коридор, такой исхоженный, привычный, наполнился искаженными вещами, которые куда-то меня заталкивали и вели в душном, ужасном своей нелепостью кошмаре...

В те минуты, когда мы возвращались на корабль, я, опытный, трезвый ученый, при ярком свете дня почувствовал себя маленьким мальчиком, который заблудился в темном коридоре.

Посоветовавшись, мы решили провести более основательную разведку. Мы вывели вездеход и двинулись к роще. Она встретила нас молчанием. Чудовище ушло, оставив следы, вид которых внушал трепет. Позднее почва стала каменистой, и следы исчезли. Мы не захотели их искать, а двинулись прямо по азимуту. Вскоре показался берег речки, окаймленный высокими деревьями. В прогалинах поблескивали струи потока, такие чистые, что сквозь них просматривались камешки дна.

Минут десять мы ехали вдоль реки без происшествий. Потом мысок деревьев вдруг раздался, и с пушечным шумом мимо нас проскочило существо такого размера и облика, что мы покрылись испариной. Секунду спустя мы взглянули друг на друга, боясь высказать одну и ту же дикую, разом поразившую нас мысль. Чудовище было не из тех, которые забываются. Его выгнутую, как холм, спину венчали два ряда пластин, в которых, точно в зубьях исполинской пилы, торчали сломанные ветки. Задние, толщиной в колонну лапы были куда выше передних, отчего все попытки существа задрать маленькую змеиную голову давали ничтожный результат. Симметрично голо-

ве располагался шипастый хвост, который бешено рассекал воздух, пока эта помесь холма, лесопилки и гадюки мчалась мимо вездехода.

Когда оно скрылось, мы зачем-то вышли из машины и тупо уставились на оставленные им следы.

— Ну? — сказал наконец Гриша. — Кого тебе напоминает этот зверь?

— Какая разница, — ответил я, морщась. — Все равно бред.

— Немного больше бреда, немного меньше, чего уж терять... Узнал животное?

— Как не узнать... Не помню только, какое у него имечко. Да это не важно...

— Да, это, конечно, непринципиально.

Мы говорили спокойно, даже бесстрастно, точно светски беседовали о погоде. А что еще оставалось? Всему есть предел, а когда он перейден и на чужой планете ты своими глазами видишь земного, притом вымершего, динозавра, то становится как-то все равно. Ну подменили планету, ну бродят по ней палеонтологические ископаемые, ну не может всего этого быть, так что же, вопить в истерике?

— Ладно, — вздохнул Гриша. — К черту! Вернемся на корабль, все спокойно обсу...

Он не закончил. В небе появилась точка. Машинально я снял с плеча дезинтегратор. Точка росла и становилась похожей на птицу. Потом сходство исчезло, и когда я разглядел, что это такое, сердце дало перебой и сознание вроде как выключилось.

А когда я снова обрел способность ощущать, то к нам, протягивая руку, уже приблизился юноша, единственной одеждой которого, не считая перекрещивающих грудь ремней, были белые плавки. Крылья, хлопая, сворачивались у него за спиной.

— Саша, — представился он. — Рад вас приветствовать... Да что с вами?!

Сбросив скафандры, мы отлеживались на берегу речки, а Гриша, мотая головой, повторял, как заевший магнитофон:

— Могли бы выйти на связь...

— Так вы же сели, не подав сигнала! А у нас тут не навигационная станция...

Саша вроде бы оправдывался, но блеск его глаз говорил иное. Лестно ему было, ох как лестно видеть, что с нами сделала их планета!

— Ладно, — мрачно сказал Гриша. — Выбились мы из времени, отстали от жизни — понятно. Перевернули вы Рубелу вверх дном, что же, честь вам и хвала. А вот зачем? — Он с вызовом повернулся к Саше. — Такая уйма труда! Чего ради?

Саша не сразу ответил. Он сидел, уткнув подбородок в колени, у ног его журчала речка; он смотрел на все, что было вокруг — траву под полуденным солнцем на том берегу, ажурные деревья мезозойской эры, блики веселой воды, — и точно взвешивал все это на одному ему ведомых весах.

Да, времечко... Сидит себе такой юноша в сотнях световых лет от Земли, бродят вокруг оживленные им динозавры — так надо, все в порядке вещей, а мы, тоже не питекантропы, вот хлопаем глазами... Даже смысл нам непонятен. Изменение безжизненных планет — это, допустим, нам знакомо, — еще студентами спецкурс сдавали. Создание живого организма любой сложности и древности из одной-единственной уцелевшей клетки — об этих успехах генетики мы тоже кое-что слышали. Но воскрешение на чужой планете целого геологического периода земной истории — это-то зачем?

— Зачем? — как бы откликнулся Саша. — Видите ли, Рубела — пока единственная планета, которой можно придать облик древней Земли...

— Годится для зоосадика, значит. — Гриша не скрывал иронии. — Чтобы биологи могли в натуре проверить свои знания, а космопутристы поразвлечься. Оч-чень серьезно!

— Да как вы не понимаете?! — Саша чуть не взвился. — Это же мечта, осуществленная мечта! Вспомните: вы, ваши отцы разве не мечтали о путешествии в прошлое? О том, чтобы увидеть, потрогать давно исчезнувшее? И всем поколениям наука твердила: нет, невозможно. Прошлое утеряно навсегда, вернуть его нельзя никаким способом, забудьте мечту, она неосуществима. А мечта жила! Вопреки всему жила! — Сашин голос зазвенел. — И мы ее осуществили. Вот она, юрская эпоха земного шара, вот динозавры — живые, настоящие... Смотрите, любуйтесь, изучайте; прошлое есть! Зачем? Да как это зачем? Или мечта уже не двигатель человеческих устремлений?

Он хотел еще говорить, но я прервал его:

— Извините нас, Саша. То, что вы сделали, грандиозно и изумительно. Но довольны ли вы, полностью ли осуществилась мечта?

Саша как-то сразу потух.

— Нет, — сказал он нехотя. — Мы воскресили только одну эпоху земного шара. А эпох было много... В исследованной зоне нет больше подходящих планет. Может, вы нам откроете хотя бы парочку новых, а?

— О чем речь, — сказал я. — Конечно, откроем.

ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ

Неоном горели в ночном воздухе названия многочисленных отелей. Было тепло и тихо, но осень уже пробралась в этот уголок юга. Отражая свет фонарей, всюду лежали опавшие листья, отчего полутьму аллей наполнял мягкий отсвет, и какая-то запоздалая пара остановилась, чтобы полюбоваться им, глубже вдохнуть щемящий запах и услышать далекий шум моря.

— Гляди, лошадь! — встрепелась девушка.

Бесшумно возникнув из темноты, асфальтовую дорожку неторопливо, можно сказать, задумчиво пересекала лошадь. Она была без седла, уздечки и шла, наклонив голову, в полосах света. Юноша и девушка замерли, так это было необычно и так соответствовало тишине ночи, когда спят машины и люди. Пожалуй, это было даже неправдоподобно — вот так, сама по себе гуляющая посреди международного курорта лошадь.

Лошадь не обратила на них никакого внимания. Не больше, во всяком случае, чем на фонари, пожелтелые деревья, неон в просвете ветвей или асфальт под ногами. Ей все тут было знакомо и привычно, поскольку изо дня в день, запряженная в фиакр, тщательно ухоженная, в сбруе с позументами, она возила тех, кого соблазняло медлительное, под цоканье копыт, катание в духе минувшего века. Кто бы мог подумать, когда коляски были повседневностью, что людям будущего они дадут неизведанные ощущения!

У оказавшейся на свободе лошади не было ни цели, ни особых желаний. Она брела, потому что идти было приятно, вот и все. Впрочем, лошадь слегка манили темные просторы виноградников, которые начинались сразу за чертой отелей; ма-

нили неизведанностью ночных запахов — их она, стоя в конюшне, обоняла множество раз, и они приносили с собой непонятное волнение.

Лошадь пересекла пустынное шоссе и очутилась на краю поля с прямолинейными рядами лоз. На мгновение, не более, в ее смирном сознании вспыхнуло желание шального бега, скака, необузданного прыжка все равно куда и зачем. Оно угасло, не успев окрепнуть, и потому, что сказала долгая выучка, и потому, что впереди лежала четкая и чуждая геометрия поля. Лошадь еще медлила какой-то срок, а затем побрела обратно. Она шла мимо отелей, где спали люди, мимо кортов, погасших казино, через перелески, где неслышно опадал лист, и строй ее чувств снова был так же ровен, как ее шаг.

Она вышла к мазанке с черепичной крышей, крыльцом, распахнутым сеновалом, одинокой телегой и колодцем во дворе. В действительности тут был ресторан; столики под широким платаном, запахи жареного мяса, молодого вина и всяческих деревенских приправ выдавали истинное назначение хижин. Сюда не достигал свет фонарей и отблеск неона.

Лошадь остановилась: за изгородью во дворе она почуяла какое-то движение, присутствие чего-то постороннего, по запаху — машинного.

Все, с чем лошадь сталкивалась в жизни, давно обрело свое место и значение. Прежде всего и важнее всего были такие же, как она сама, лошади. Затем шли люди, существа почти столь же важные, но не такие понятные и близкие. Особо существовали машины, то шумные, то тихие, иногда неподвижные, иногда стремительно бегущие; последние часто оказывались источником беспокойства, порой даже опасности. Все они оставались для лошади безликими, но значили больше, чем деревья, камни или птицы. Отчего все было так, как оно было, и делилось таким образом, — этот вопрос не мучил лошадь. Внешняя жизнь была данностью, к которой следовало приспособиться, — вот и все, ничего сложного.

Первым побуждением лошади, когда она обнаружила во дворе присутствие незнакомой движущейся машины, было желание уйти. Оно, однако, сменилось другим, едва лошадь разобрала, что машина странно похожа на человека тем, что дву-

нога и держится прямо. Возникло знакомое, острое и волнующее противоречие, когда одна часть сознания тревожно напоминала, что все непонятное таит в себе угрозу, а другая терзалась любопытством — что же это такое суетится во дворе? Конечно, лошади было невдомек, что это сработал древний, более древний, чем сами лошади, инстинкт эволюции, повелевающий опознать новое, даже если это сопряжено с риском, — ведь только так и можно приспособиться, следовательно, выжить в изменчивых условиях.

Машина во дворе тоже заметила лошадь и тоже замерла. Казалось, обоих, подобно току, соединил взаимный вопрос: кто ты?

На лошадь смотрело заведомо чуждое ей существо — экспериментальный робот-уборщик. Его присутствие там, где все имело вид старины, можно было счесть безвкусной шуткой или, наоборот, особым изыском. Дело, однако, обстояло проще. Уборка двора — занятие весьма трудоемкое и неблагодарное; значит, именно тут уместней всего подвергнуть экзамену устройство, которое призвано везде и всюду избавить человека от хлопотных забот. Действовало оно, чтобы не портить антураж, только ночью.

Путь техники вообще причудлив. Первые интеллектуальные автоматы чаще применялись в космосе, чем на Земле, в науке чаще, чем на производстве, то есть там, где вроде бы больше всего и прежде всего нужен человеческий ум. Но именно так протекала эволюция кибернетических автоматов, прежде чем удалось приспособить одного из них к работе, которая на первый взгляд не требовала никакого интеллекта. Но, как ни парадоксально, такая работа оказалась по силам лишь потомкам космических роботов, поскольку она была сопряжена с разносторонними действиями и самостоятельными оценками, — ведь, чтобы поднять, скажем, окурочек и оставить в покое лежащий рядом камешек, мало одной только, пусть самой сложной, программы поступков. Тем более что иногда нужно поднять и камешек, если это, например, кусочек шлака, вовсе не уместный на сельском дворе.

Робот, глядя на лошадь, не испытывал никаких опасений, так как чувство страха в него не было вложено. Зато импульс,

который человек называет любознательностью, был ему присущ, поскольку выполняемая им работа требовала навыков самообучения, а самообучение невозможно без любознательности. Если бы первой роботу встретилась кошка, то вопрос «А что это такое?» относился бы к кошке, ибо люди не посчитали нужным дать ему понятие о животных. Но так вышло, что первой он встретил лошадь. Возник же вопрос потому, что лошадь отличалась и от людей, и от предметов, от всего, с чем робот сталкивался и что привык считать само собой разумеющимся. Впрочем, это был не единственный и не главный толчок. Главным было то, что появление лошади поставило перед ним чисто профессиональную задачу: если «это» продолжит свое движение и очутится во дворе, то должен ли я его убрать, поскольку это не человек и не стол, или это будет ошибкой?

Смушало робота и другое. Конечно, «это» едва ли было человеком, но «это», как и человек, дышало. Значит... Робот никогда не сталкивался с четвероногими разновидностями человека, но каждый день сталкивался с разновидностями предметов. Так, может быть, и человек, подобно предмету, существует в разных обликах?

Он шагнул к лошади. Слишком резко! Лошадь шарахнулась и стала, готовая в любой миг умчаться.

Робот замер. Напряженно замерла и лошадь. Так, выжидая, они стояли некоторое время, одинаково бессловесные и не понимающие друг друга. Затем что-то подсказало роботу мягкий, как бы уводящий в сторону жест манипулятора, долгую паузу вслед за жестом и крохотный, неуверенный шаг к изгороди. Лошадь прынула ушами, но не двинулась с места.

Робот действовал не по наитию. У него был опыт общения с человеком.

Поведение робота успокоило лошадь, как если бы он подал ей тайный знак родства.

Но недоумение ее не рассеялось, случившееся только обострило интерес. Ни одна машина до сих пор не прибегала к человеческим жестам. Ни одна! И животные тоже. Так что же все-таки перед ней такое?

Свою роль сыграла изгородь. Всего-навсего три продольные жерди, но они были символическим барьером, который со-

здавал ощущение безопасности. И лошадь позволила роботу приблизиться.

Теперь они стояли друг против друга — два темных силуэта в окружавшей их ночи. Казалось, оба оставались неподвижными, но так только казалось. Их взгляды то встречались, то расходились, уклонялись и скрещивались; ими они как бы ошупывали друг друга. Не важно, что один взгляд был взглядом живых глаз, а другой был взглядом электронно-оптического устройства (в конце концов, и глаз тоже своего рода электронно-оптическое устройство). В этом разговоре, самом древнем и универсальном из существующих на свете, участвовали не только глаза. Здесь скрывалось самое существенное препятствие, потому что в безмолвном разговоре принимало участие все тело лошади — от кончиков ушей до кончика хвоста, тогда как металлическое тело робота было не способно на это. Но его выручал навык тонкого распознавания образов и столь же необходимое в работе умение выявлять их смысл. Сам того не замечая, как в той же ситуации не замечают этого люди, робот подстраивался к лошади, молниеносно улавливая нужный ритм движения головы или перемены взгляда.

Ни с той, ни с другой стороны этот быстрый обмен не завершился осознанной мыслью, хотя бы потому, что мысль, как ее понимает человек, в нем отсутствовала. Но так же точно она отсутствует и в тех бесчисленных диалогах, которые ведет все живое, диалогах, в которых без всяких слов испокон века выяснялось очень многое между самыми разными и далекими видами. Иначе мир животных, вероятно, не мог бы существовать, как, впрочем, и человек не смог бы приручить ни лошадь, ни собаку (кстати, все такие животные были одомашнены на заре цивилизации, тогда как более поздние тысячелетия не привели к человеку ни одного нового существа — факт, что-то да значащий).

Надсадно, как это бывает ночью, где-то взревел мотор. Лошадь тихо всхрапнула. Гибкий манипулятор робота, как бы успокаивая, плавно коснулся ее гривы. Дрожь прошла по телу лошади, но она не отпрянула — то был хозяйский, человеческий жест.

Мгновение спустя все изменилось. Лошадь тряхнула гривой и с шумом подалась в сторону. Манипулятор скользнул вниз.

Казалось, что этим все кончилось и оба сейчас разойдутся, но нет. Лошадь опустила голову, словно ища что-то в траве, затем отдалась от изгороди и стала, кося на робота черным в темноте глазом.

Она не знала, зачем поступает так, но смысл в ее движении был. Робот не понял этого смысла, но, следуя уже приобретенному опыту, осторожно скользнул за изгородь.

Теперь их уже ничто не разделяло. Только пространство. И мускулы лошади напряглись, как тетива. Там, возле изгороди, она еще была домашним животным, которое выносит близость любого, пусть самого странного механизма; поскольку ни одна машина не в силах быстро одолеть барьер. Там она еще могла доверяться сродству робота с человеком, даже признать в нем качества хозяина. Но не здесь, ибо это существо не говорило как человек, не было им. Здесь, на открытом месте, ею владел инстинкт далеких предков, которые множество раз, готовые умирать, вот так приглядывались в степи к диковинным существам, к тому, что они делают, как движутся, чем питаются, — ведь именно такое поведение чужака, наблюдаемое долго и с безопасного расстояния, надежней всего раскрывало его сущность.

Ничего этого робот не знал, но первая же попытка подойти, сразу увеличившая расстояние, наставила его на правильный путь.

Так они двинулись, каждый вроде бы сам по себе, скользнули тенями, скрылись среди деревьев, вынырнули под фонарями, и не было никого, кто нарушил бы их шествие, ахнул бы, увидя вместе лошадь и робота, осознал, что происходит.

Никем не потревоженные, они шли мимо зданий и огней, равнодушные ко всему, кроме самих себя, и медленно, очень медленно их шаги стали сближаться. Ведь даже сейчас, оставаясь незримым посредником, меж ними шел человек.

Они совсем сблизились за дюнами, где над морем широко простерлась звездная даль Млечного Пути. Там они пробыли долго. Но что там было сказано и что понято, навсегда останется тайной.

ДОЛГОЕ ОЖИДАНИЕ

21 сентября 2073 года

То, что Гаранин держал в руке, было камнем с отпечатком травинки на шероховатой поверхности, а вовсе не черепом. Но человек в скафандре, подобно Гамлету, мог прошептать:

— Бедный Йорик...

Только это относилось к целой планете.

Ее, крохотную песчинку в необъятном пространстве, семнадцать суток назад засекали корабельные локаторы. Возникни по курсу трехголовый змей, он бы едва ли удивил больше. Не потому даже, что встретилась планета земного типа, а потому, что она была одиночкой. Одиночкой, сиротой, чего по теории быть не могло, поскольку планеты возникают со звездами и сопровождают их до конца.

Только что окрестный вид казался Гаранину угрюмым, и не более того. Мрак, в котором пятнами проступали бывшие некогда водой и воздухом сугробы, прятал скалы, и лишь зубчатая кромка гор на горизонте выдавалась среди немигающих звезд. Здесь было все, что так ненавистно человеку в природе, — мрак, неподвижность, смерть. Дрожащий свет фонаря выхватывал то остекленевший скол льда, то черную россыпь камней, то членистый манипулятор роющего автомата, который, отдав образец, замер в ожидании приказа, точно надломленная лапа стального насекомого.

Человек забыл о нем. За те секунды, пока до Гаранина дошло, что именно держит его рука, ничто не изменилось, да и не могло измениться вокруг. Мертвый мир — мертвее не бывает! — таким и остался. Только он оказался еще и склепом, в котором

лежал прах всего, что двигалось, росло, дышало, было жизнью, а может, и разумом.

Камень с отпечатком — для непосвященного просто камень. Иное он для ученого.

Гаранин стал медленно подниматься с колен. Перед его взглядом был равнодушный свод черно-звездного неба. И вдруг привычная бесконечность звезд потрясла Гаранина.

Напрасно логика твердила, что не произошло ровным счетом ничего особенного. Смертны не только люди, но и планеты. Да, отвлеченное знание впервые стало явью. Ну и что? Однако сердце не унималось. Оно стучало в холодном ужасе, как это бывает в те минуты, когда человек с беспощадной ясностью осознает, что он не вечен. Вокруг стыла тишина бесконечной ночи.

— Пуск! — Эту поспешную команду Гаранин кинул самому себе, словно спасательный круг.

Роющий автомат ожил, задвигался, слабо блеснувшее щупальце погрузилось в россыпь камней, и сквозь подошвы скафандра Гаранину передалась дрожь почвы, в которую энергично вгрызалось сильное тело машины.

Движение машины отрезвило и согрело Гаранина. Не стало могильной тишины, рядом бурлила покорная человеку мощь, все сразу обрело смысл, вернулось на свои места, и в Гаранине шевельнулось похожее на благодарность чувство.

Полчаса спустя, уже в ракете, которая мчала его к кораблю, он недоуменно перебирал в памяти те минуты, когда ему так внезапно изменила закалка исследователя. Отчего, почему? С ним лично ничего не случилось. И с человечеством тоже. Ничего. А волноваться из-за чужой, неведомой и погибшей жизни — с какой стати?

Но самого себя было не так-то легко обмануть.

На корабле Гаранина, как никогда прежде, обрадовал яркий свет ламп, звук шагов, чашечка кофе, которую он с наслаждением выпил. И он знал почему.

9 июля 2104 года

Только календарь напоминал Арсу, какое сегодня число и какой год. Планета, где ничего не происходит, не нуждается в отсчете времени.

Арс взял лабораторный журнал, но так и не сделал запись. Немигающим взглядом он смотрел на стеллажи с образцами; с некоторых пор он чувствовал себя такой же окаменелостью.

Тридцать один год назад Гаранин наткнулся здесь на след жизни. Четверть века назад здесь был основан стационар. Теперь дела шли вяло и скучно. Ход здешней эволюции давно выяснен, а уточнять частности можно столько, сколько существует эта планета. То, что станцию не прикрыли, пожалуй, можно объяснить человеческим самолюбием и упорством. Но и упорству есть предел, иначе оно переходит в бессмыслицу.

Арс заставил себя взяться за журнал. «...Анализ образца № 713/96 заставляет предполагать срастание спорангий в продолговатые (круглые?) сингалии...»

И тут он явственно услышал смех Иссы. «Как поживают твои любимые кутикулы-мантикулы?» — спрашивала она его, когда была в задиристом настроении. Арс зажмурился, как от боли. Ее последние письма были уклончивы и спокойны. Арс чувствовал: он теряет ее! Любовь, верность, три года разлуки — вечная, как мир, и неизменно новая история... Можно винить себя, можно винить ее — облегчения нет и не будет.

Арс рванул из комнаты.

У Суэхиро был час дежурства, перед ним светился контрольный экран. Собственно говоря, контролировать роющие автоматы не было нужды — они сами прокладывали путь в заданном горизонте, сами брали информацию о составе пород, вели анализ палеоусловий, в которых те возникли, и немедленно сообщали дежурному о всех образцах, хоть чем-то отличающихся от минералов, конкреций и прочих физико-химических образований. Но пятый номер, похоже, стал барахлить, и Суэхиро хотел выяснить, в чем дело. Автомат шел по слою, выше которого обрывались всякие признаки жизни; этой зоне вот уже четверть века уделялось исключительное внимание, поскольку в ней можно было найти ответ на самый главный вопрос.

Суэхиро, не отрываясь от наблюдений, с обычной невозмутимостью приветствовал Арса наклоном головы.

— Выяснил что-нибудь? — стараясь казаться невозмутимым, спросил Арс.

- Пока все нормально.
- М'туа еще не вернулся?
- Нет.

Разговор оборвался. Арс сел, уныло глядя на экран, где однообразно сменялись косые полосы песчаника. Суэхиро не умел отвлекаться от дела, даже если оно не требовало сосредоточенности. Арс уже жалел, что пришел.

— Кстати, — сказал Суэхиро. — Час назад по внепространственной связи пришел запрос.

— Чудовище! — Арс подскочил. — И ты до сих пор молчал?!

— Чудовище? — пожал плечами Суэхиро. — Я молчал — ты не знал; я знал и молчал — кому было трудней? Землю интересует наше мнение: какова вероятность того, что станция в ближайшие годы решит поставленную перед ней задачу?

Радость, которую он не мог побороть, даже если бы желал, охватила Арса.

— Думают о закрытии станции? — быстро спросил он.

— О сокращении объема работ и ведении их исключительно автоматами.

— Давно пора! — вырвалось у Арса.

— Ты уверен?

— Мой ответ тебе известен, — глядя в стену, сказал Арс. — Было в древности такое занятие — искать чашу Грааля. Мы занимаемся тем же самым.

— Твой ответ — еще не наш ответ, — спокойно возразил Суэхиро.

Оба замолчали.

Открытие планеты-одиночки поставило два главных вопроса. Если на первый удалось найти приемлемый ответ, то в этом не было заслуги станции. Просто в 2091 году был открыт закон Морра, и тогда стало ясно, что в исключительных случаях внутризвездные процессы могут войти в режим нуль-замыкания. Неизбежный при этом сброс поля тяготения высвобождает планеты, и они рассеиваются, как семена одуванчиков на ветру. А вот на второй вопрос могла ответить лишь станция.

Могла ли? Останки фауны свидетельствовали, что обитавшие здесь накануне катастрофы существа прогрессивной ветви эволюции обладали высокоразвитой нервной системой. Разум был готов возникнуть, а быть может, и возник.

Но с тех пор прошло миллиард лет.

Миллиард лет — это непредставимо. Земная жизнь освоила сушу, заполнила ее земноводными, рептилиями, млекопитающими, вознесла и погубила динозавров, от пещер вывела человека к звездам — все эти великие события уложились в треть миллиардолетия. Всего в одну треть!

Какие следы какой цивилизации могли уцелеть? На Земле куда легче найти хрупкую раковину аммонита, которая возникла за много миллионов лет до человека, чем стойкое каменное рубило, хотя им пользовались лишь сотни веков назад. Не потому, однако, что время более снисходительно к раковине. Все поддается распаду, но природа может случайно сохранить и раковину, и отпечаток былинки, и даже след волны, сотни миллионов лет назад набежавшей на песок. Дело просто в количестве. Раковины слагали горные цепи, а все изготовленные человечеством рубила едва ли составили десяток холмов. Время беспощадно, за миллиардолетие оно губит экземпляры любой серии, если их количество не триллион триллионов. А какая продукция какой цивилизации составит это число?

Правда, с поверхности планета была мертва, а где нет движения, там нет и разрушения. Мертва-то мертва, да не совсем: внутренние силы продолжали сминать и плавить оболочку. И это как-никак длилось миллиард лет...

Пропел сигнал, возвещающая о том, что в шлюз вошел вездеход.

Арс вздрогнул.

— М'туа, — сказал он. — Третий и решающий голос.

— Подожди, — сказал Суэхиро. — Кажется, я понял, почему барахлит автомат. Похоже, нам придется отозвать его на поверхность и отремонтировать. Вот посмотрим...

Арс пожал плечами и подошел к экрану. На станции продолжался будничный рабочий день.

7 января 2105 года

Впервые за все эти годы М'туа брел просто так. Не то чтобы он никогда не ходил по этой планете пешком; ходил, но редко и с целью, а так все ездил. Просто невероятно, насколько в

нем изменилась психология масаев, которые так долго и так упорно чуждались техники.

Сейчас цели не было, и М'туа чувствовал себя несколько странно, пожалуй, беспокожно, словно забыл что-то. Цель исчезла с того момента, когда они, перестроив аппараты на автоматическую разведку, принялись ждать звездолет. Теперь они больше не были нужны планете. Вот тогда-то М'туа и потянуло пойти проститься. Ни Арс, ни Суэхиро не разделяли его настроения: первый мыслями был уже давно на Земле, а второй из-за свойственной ему педантичности находил еще тысячу неслеланных дел — откуда только они у него появлялись!

Как всегда, вокруг не было ничего, кроме льда, камня и темноты. М'туа давно научился не замечать окружающего, и потому что оно было однообразным, и потому что оно было мрачным. Но сейчас М'туа ощущал величие пейзажа. Оно не подавляло и не отпугивало; грусть и легкое сожаление — вот что испытывал М'туа. Как странно, оказывается, на этой гиблой планете осталась частичка его души!

Крак! — нога раздавила льдышку, которая некогда была... Чем? Порывом ветра, может быть. Или капельками росы. Крак, крак! М'туа шел по погасшим полярным сияниям, по умолкшим родникам, по окаменевшему ветру. Крак, крак!

Вот так, вот так. Человеку надоело, и он ушел, два голоса против трех. Нет, не надоело ему, М'туа, не надоело. Дальнейшее пребывание человека нерационально, что надо, делают роботы, вот и все. Планете и так отдано много человеческих жизней.

Много? Жизней? Разумеется. Исследования поглотили сотни человеколет, и если их поделить на длительность человеческой жизни, все так и получится.

М'туа свернул к каменной гряде, чтобы больше не ступать по льду, который некогда был водой и воздухом. Луч фонаря бросал перед ним колеблющийся овал света. Овал существовал как бы сам по себе, поскольку в вакууме луч ничем не выдавал свой путь от источника. Падая на камни, он высекал тусклые искры — это в них поблескивали листочки слюды. Бесцветная, серая игра блесков, но М'туа ею залюбовался,

потому что в ней была непредвиденность; отсвет вспыхивал внезапно, как крошечный глаз пугливого зверька.

Сначала все искорки казались одинаковыми, но вскоре М'туа убедился, что это далеко не так: одни были ярче, другие темней, некоторые чешуйки посылали золотистый отблеск, порой в них мелькал зеленоватый оттенок. «Я же этого никогда не видел, — подумал М'туа. — Забавно...»

Какой-то кристаллик послал чуть радужный, как от алмаза, лучик. А, это кварц, сказал себе М'туа и наклонился, чтобы удостовериться. Он выковырял из почвы крохотный прозрачный обломок и, сразу потеряв к нему интерес, тут же отбросил. Эка невидаль — кварц! И когда тот уже исчез в темноте, до сознания М'туа дошло впечатление, что осколок имеет необычный для кварца излом.

М'туа бросился вслед за осколком, но проклятый камешек исчез, будто его и не было. М'туа опустился на четвереньки, лихорадочно шаря лучом по поверхности. На мгновение он устыдился своей горячности, для которой не было веских оснований, но человек так устроен, что если он потерял какой-то пустяк и взялся за розыск, то уж не отступится. Поползав, М'туа наконец нашел то, что искал.

Когда осколок лег на ладонь и М'туа вгляделся в него, сердце дало перебой. М'туа выхватил анализатор, но еще до анализа, до определения он знал, что на его ладони лежит сокровище, которому нет цены, — осколок обыкновенного стекла.

Из воспоминаний М'туа

«Когда анализатор подтвердил, что это стекло, я пустился в пляс. Вероятно, это было удивительное зрелище, потому что, насколько помню, ноги сами собой исполняли какой-то полубытый танец моих африканских предков. И в этом, между прочим, был свой смысл.

Я был окрылен находкой, восхищен силой человеческого предвидения. Ведь теория с самого начала указывала, что именно осколки стекла могли оказаться теми «изделиями» цивилизации, которые в силу своей физико-химической стойкости и массовости имели шанс сохраниться в осязаемых количествах. Но я хочу обратить внимание на другое. Я кинулся за отбро-

шенным было осколком, потому что я один из тех немногих людей, которые видели, как бьется и рассыпается стекло. Любому человеку попадались осколки стекла, но кто помнит хрупкий стакан и хрупкое стеклянное окно? Бьющееся стекло вышло из употребления столетие назад, и лишь в глухой деревушке, где я родился, в доме деда случайно сохранилось обычное оконное стекло, которое я однажды и прикончил неловким ударом мяча. Мне не так запомнилась последовавшая выволочка, как то ошеломление, которое я испытал при виде сыплющихся осколков. Это было поразительное, незабываемое зрелище! Оно мелькнуло передо мной там, на планете...»

23 мая 2112 года

Чуть слышно посвистывал старинный фарфоровый чайник. За раскрытым проемом стены лежал дремлющий сад. Смутно белели осыпанные цветом вишни. Спокойствие рассвета, чашечка душистого чая в ладонях — что еще надо для счастья сосредоточенной работы ума?

На столе перед Барфом лежали доставленные с той планеты стеклянные шарики. На первом кое-где уцелели бороздки; шарик был оплетен ими, как глобус меридианами. На тусклой и шерба-той поверхности второго бороздки не сохранились. Тем не менее шарики были тождественными. На обоих резьба имела прокраску, так что каждая бороздка одновременно являлась кромкой цветовой плоскости, и уничтожить рисунок «меридианов» можно было лишь вместе с шариками. Столь же неистребимыми были три пятнышка на поверхности каждого из шариков.

Способ прокраски свидетельствовал о высокой технологии. Ничтожная присадка редкоземельных элементов, та или иная доза радиации — и стекло окрашено навеки. Просто, быстро, эффективно!

Барф знал, что шарики побывали уже у многих экспертов. Чтобы мнение одного не влияло на мнение остальных, заключения пока сохранялись в тайне. Но Барф догадывался, каковы они. Задача не требовала гениальной интуиции. Совсем наоборот! И это был многозначительный факт.

Что дали многолетние напряженные раскопки после находки М'туа? Четыре осколка стекла, три осколка керамики; одно

кремниевое рубило; какой-то обломок стержня (форма стержня сохранилась, но металл оказался замещенным пиритом). И два вот этих шарика.

Получалось, что шарики были массовым изделием. Мало того, при их изготовлении было сделано все, чтобы рисунок оказался долговечным. Правда, стекло — материал не из самых надежных; зато выпуск таких шариков не ограничен запасами сырья и сложностью технологии.

Вывод? Скорей не вывод, а предположение: цивилизация знала, что ее ждет, и последним ее усилием был выпуск вот этих шариков. Схем, в которых отмечены места каких-то хранилищ.

Вот именно: хранилищ. Барф зажмурился, как от яркого света. Когда все гибнет и жизнь обречена, что еще можно сделать? Защитить, сохранить, во что бы то ни стало передать свое духовное «я». Не важно кому, не важно как — лишь бы не исчезнуть совсем. Навсегда! Ибо страшнее нет ничего.

Какое упорство, какое самообладание! И какая вера... Вера в то, что жизнь, разум бессмертны во вселенной, а значит, наследники будут и придут.

«Мы пришли, — подумал Барф. — Через миллиард лет...»

Остается проверить гипотезу. «Меридианы» на шариках — это, конечно, совсем не меридианы. Те, погибшие, конечно, знали, что географические полюсы перемещаются и не годятся в качестве ориентиров (иначе бы они дали еще сеть параллелей). Чем тогда могут быть точки, к которым сходятся дуги? Магнитными полюсами, вот чем. Они еще менее постоянны, чем полюсы географические, зато породы той эпохи, когда произошла катастрофа, хранят тогдашнюю сетку магнитного поля. Может пройти сколько угодно лет, но разум обязательно найдет ее следы; найдет и восстановит положение древних магнитных полюсов. Любой разум, когда бы и где бы он ни возник.

Барфу стало жарко при мысли, что он, человек, спустя миллиард лет думает в унисон с теми, неведомыми.

Надежен ли, однако, данный ими ориентир? «Пятнышки» обозначают тот район, где находятся предполагаемые хранилища. Но, во-первых, блоки литосферы перемещаются, сейчас они находятся не там, где были миллиард лет назад. Во-вто-

рых, каждое «пятнышко» на шарике — это сотни тысяч квадратных километров в натуре. Проследить дрейф блоков, конечно, можно; не так уж трудно установить, куда они переместились за миллиард лет. Все равно остается нерешенной вторая проблема. Значит, вся эта гипотеза — мираж?

На вид «пятнышки» казались одноцветными. Барф потянулся к конверту с микроснимками, чтобы проверить, так ли это на самом деле. Но остановился.

Думать по подсказке — невелика честь.

На микроснимках должна, обязана выявиться карта.

Чего? Бессмысленно искать общее между тем, что было миллиард лет назад, и тем, что есть. Не осталось на планете ни прежних гор, ни материков, ничто не может совпасть.

Разве? Глупо строить хранилище у подножия вулкана. Те, погибшие, возвели их там, где планета спокойна — всегда спокойна. Относительно, конечно. Такие места есть на всех планетах земного типа. Скандинавский, Канадский гранитные щиты возникли на Земле три-четыре миллиарда лет назад. С тех пор образовавшие их породы почти не перемещались относительно друг друга. Следовательно...

Остается провести ключевой опыт.

Барф достал с полки и разложил на столе геологические карты тех кристаллических щитов, которые были выявлены на планете. Щитов было три.

Уже не сомневаясь в результате, Барф положил рядом микроснимки. Так и есть! Схемы на микроснимках в общих чертах совпадали с тем, что изображали геологические карты.

Барф не мог отвести взгляда. Он ждал этого, он предвидел, и все равно это было чудо. Письмо, дошедшее через миллиард лет! Письмо, отправленное в никуда и нашедшее адресата! Ибо оно было написано на том единственном языке, который понятен любому разумному существу, пусть даже оно родилось под звездами другой галактики. Все могло не совпасть: физический облик, традиции, восприятие. Но границу между породами разного возраста все проведут одинаково, иначе и быть не может.

На всех трех микроснимках четко выделялась взятая в концентрические окружности точка. Выделялась, как яблочко на мишени. Оставалось лишь нацелить туда технику.

За деревьями уже встало солнце, его теплые лучи пробрались на стол. «А ведь все это они предвидели, — подумал Барф. — Все наши поступки были predetermined. Нас направляют те, кого уже миллиард лет нет в живых... Они знали, что кто-нибудь когда-нибудь высадится на их планету. И с этого момента все пойдет так, как ими было задумано».

11 октября 2116 года

«Все безнадежно, — подумал Гаранин. — Все».

Третье и последнее убежище *тех*. В ярком свете ламп — полузасыпанные камеры, хаос щебня и глыб. И пыль под ногами.

Ноющая боль в сердце. Семьдесят лет, конечно, не дряхлость, но лететь сюда не следовало. Ему не следовало. Тот далекий Гаранин, с находки которого началась эта эпопея, теперешнему Гаранину представлялся мальчишкой. И надо же — сорвался, полетел... Зачем?

Камень, камень, тупые, равнодушные ко всему глыбы камня. И тишина. Как тогда, в дни молодости.

Не следовало ему прилетать.

Спутники молчат. Быть может, они полагают, что в его, Гаранина, размышлениях зреет вывод, который воскресит надежды?

Жаль, если они так думают.

Последнее и самое сохранный убежище. Те знали, что наследники будут и придут. Они сделали все, что могли. Но прошел миллиард лет.

Что здесь было? Крепления, своды из сверхстойких материалов, приборы, саркофаги, информатеки, изделия, росписи, модели? Пыль, вот что от них осталось. Миллиард лет...

Все было напрасно.

За спиной тихонько вздохнули.

— Да? — не оборачиваясь, спросил Гаранин.

— Даже стекляшек нет...

Гаранин кивнул. Даже стекляшек! Глупо, глупо...

Настроение человека, ход его мыслей подобен прихотливому маятнику. Он может задержаться в крайней точке, но заме-

реть в ней — никогда. Все осталось прежним. Так же неподвижно стоял Гаранин и его спутники, вокруг был тот же камень, и так же безжизненно-ярко светили лампы. И прежней была тишина, которая воцарилась здесь миллиард лет назад и стала как бы осязаемой. Но было произнесено слово. Одно только слово — и оно увело Гаранина с того логического пути, который был проторен прежними находками и который теперь завел в тупик.

Глупо! Но разве те были дураками?

Гаранин прижал руку к сердцу.

— Вам плохо? — раздался встревоженный голос.

— Наоборот! — воскликнул Гаранин. — Сядем!

Все изумленно повиновались. Гаранин обвел взглядом недоумевающие лица, и ему захотелось смеяться — над своими страхами, над своей тупостью. Счастливей сейчас никого не было, ибо догадка, которая его осенила, сразу, вдруг, будто ему шепнул кто-то, стала уверенностью.

— Давайте кое-что сообразим, — тихо проговорил он. — Что мы ищем? Да, что мы ищем? Предметы, изделия, вещи? Предположить это — значит наделить хозяев планеты психологией мумификаторов.

— Нам неизвестна их психология, — осторожно заметил кто-то.

Гаранин улыбнулся.

— В течение тысячелетий нам, людям, не был известен закон тяготения. Но все эти тысячелетия люди действовали согласно закону тяготения, а не вопреки ему. Какая «другая» психология тут возможна? Они знали это не хуже нас. Мы ничего не нашли? Верно. *Мы не то искали.* Мы подошли с мерками археологии, которая привыкла искать останки культуры. А разве они хотели передать нам останки?

— Но что же? — подавшись вперед, воскликнул самый нетерпеливый из спутников.

— Себя, — глухо ответил Гаранин.

Он тотчас почти физически ощутил разочарование, недоумение, испуг, который охватил сидящих рядом людей.

— Себя, -- повторил он твердо. — Слушайте, я не сошел с ума. Что долговечней всего в мире? Золото, звезды, жизнь?

Информация! Той вселенной, какой она была десять и более миллиардов лет назад, нет и в помине. А мы знаем, какой она была! Теперь зададим себе другой вопрос: что нам, да и любому иному разуму, дороже всего? Существование человечества. Сопоставьте одно с другим...

Гаранин вгляделся в лица и понял, что его слова нашли пока еще смутный отклик.

— Остается один-единственный вопрос, — проговорил он быстро. — Как? Каким способом они решили себя сохранить? Единственно возможным. Цивилизация, которая сможет пересечь межзвездные расстояния, полагали они, способна построить по чертежам не только здание, но и организм. Вот из чего они исходили!

Теперь мысль дошла...

— Подождите, я не закончил! — Взмахом руки Гаранин усадил всех на место. — Итак, они должны были оставить информацию, пользуясь которой мы могли бы восстановить их, так сказать, физически. Воссоздать, воскресить, построить их по оставленному ими генетическому чертежу! И передать воскрешенным их собственную культуру, полные сведения о которой находятся там же, где и сведения о генетическом коде. Нам, неведомым, они вверили себя, свое пробуждение, свое будущее, жизнь после смерти. Где же то, что они нам оставили?

— Здесь! — ликующе выкрикнул кто-то.

— Здесь, — с облегчением подтвердил Гаранин. — Нет информации без материального носителя, но сам носитель может быть сколь угодно малым — для записи годятся атомы, частицы, любые поля... И есть носители, которые, даже распадаясь, сохраняют запись. Помню, — добавил Гаранин с улыбкой, — в одной книге двадцатого века меня поразило, с каким изумлением современники восприняли факт, что осколок пластинки хранит голограмму так же хорошо, как и сама пластинка... Необходимо всего лишь одно условие: носителей информации должно быть бесконечно много. Времени противостоит число! Что же здесь отвечает всем условиям? *Вот это!*

Гаранин нагнулся и зачерпнул горсть пыли.

Из воспоминаний Гаранина

«Даже в двух первых уничтоженных хранилищах мы находили эту «пыль». Она была тщательнейшим образом исследована. Мы знали, что это смесь обычной пыли, которая образуется при разрушении горных пород, и металлической. О физико-химических свойствах металлической фракции мы узнали решительно все. Но поскольку мы исходили из установки, что она остаток рассыпавшихся конструкций, аппаратов и механизмов, то никто и не проверил ее на информативность. Обычная история, которая лишней раз доказывает, что верная идея — это зрение разума. Мне повезло. Я первый догадался, как обстоит дело в действительности, может быть, потому, что сильнее других переживал горечь поражения. Но я не обольщаюсь. Не я, так другой додумался бы. Поставьте человека в тупик, и он всегда отыщет выход. Если, конечно, выход имеется...»

2 августа 2159 года

И люди услышали голос:

— Внимание, работают все видеостанции Солнечной системы! Передаем экстренное сообщение! Сейчас в институте эмбрионотехники завершается опыт воскрешения разумных существ другого мира. Результат будет ясен через несколько секунд. Слушайте и ждите, слушайте и ждите!

Настала тишина, какой еще не знало человечество. На всех планетах, какие освоил человек, всюду, куда он проник, все замерло.

Истекла первая секунда. Вторая. Третья.

И вдруг тишину прорезал крик.

Первый крик ребенка...

НИЧЕГО, КРОМЕ ЛЬДА

Мы летели взрывать звезду.

Романтики и любители приключений пусть не читают дальше. Наша судьба не из тех, которые могут воспламенить воображение. Вот ее расклад. Путь туда и обратно занимает сорок лет. Еще год или два надо было отдать Проекту. Анабиоз позволял нам проспать девять десятых этого времени, так что на Землю мы возвращались сравнительно молодыми. Однако наука, искусство, сама жизнь должны были уйти так далеко вперед, что мы неизбежно оказывались за кормой новых событий и дел.

Ну и что тут такого? Ничего. Нам оставалось тихо и мирно доживать свои дни у подножия своей же славы. Очень долгие дни... Как вы думаете, почему Амундсен на склоне лет безрас судно кинулся искать Нобиле, к которому не испытывал никакой симпатии? Потому что ему, человеку активному, полной мерой хлебнувшему побед и риска, после всего этого невтерпеж была долгая, почетная и такая бесцветная старость.

Тогда, быть может, в далеком космосе нас ждали волнующие события, необыкновенные исследования, приключения, в которых мы могли показать себя? Отнюдь. Нам предстояло быть не героями, а техниками. Очень добросовестными, исполнительными монтажниками, не имеющими права не только на риск, но и на какую бы то ни было самостоятельность. Без этого мы не могли осуществить Проект.

Вы, конечно, понимаете, почему я пишу это слово с большой буквы. Известно, что звездолеты, как это ни глупо звучит, для межзвездных полетов не годятся. При небольшой,

что-нибудь порядка 200 тысяч километров в секунду скорости полет даже к близким звездам растягивается на десятилетия. Околосветовая скорость позволяет достичь хоть другого края Галактики. Но тогда все губит парадокс Эйнштейна: год корабельного времени становится равным земным векам. А это делает всю затею абсурдной. В том и в другом случае люди оказываются обреченными на жалкое топтание близ Солнца, когда отовсюду призывно блещут мириады заманчивых, но, увы, недостижимых миров.

Осуществление Проекта распахивало дверь, пожалуй, и к другим галактикам. Расчеты новой теории показывали, что мгновенное высвобождение энергии, соизмеримой со звездной, образует пространственно-временной тоннель, куда может скользнуть корабль. Без вреда для людей и без парадоксальных последствий.

Все это, однако, нужно было проверить. Не на Земле, понятно, и не возле Солнечной системы, которая после такого эксперимента провалилась бы в тартарары. Отбуксировать же аннигиляторы на безопасное расстояние мы не могли технически. Оставалось одно: лазерами взорвать звезду и посмотреть, что получится.

Годилась не всякая звезда. Более того, в пределах, которые были доступны нам, всем условиям отвечала всего одна звезда. Туда мы и отправились.

Верю, что фантастические описания межзвездного полета в книгах прошлого века заставляли взволнованно биться не только мальчишеские сердца. Мне очень не хочется, чтобы мои свидетельства были восприняты как развенчания романтики вообще, но правда есть правда: трудно придумать что-нибудь более скучное, чем межзвездный полет.

Судите сами. Если вы наблюдательны, то, верно, заметили, что любое скольжение по привычной колее сливает дни в серый прочерк. Ведь хорошо запоминается то, что резко отличается от жизненного фона, и совершенно не важно, где это происходит — дома или в звездолете. Только в звездолете все гораздо монотонней, потому что неожиданные зрелища возникают за иллюминаторами реже, чем за окнами квартиры, а случайных встреч и новых лиц на корабле не может быть вовсе.

Поэтому месяцы, проведенные вне анабиоза, были весьма то-мительными.

Для литератора или психолога тут, конечно, нашлось бы много интересного. Например, повальное увлечение играми, которое захватило даже Тимерина — создателя теории Проекта, тогда как на Земле за этим аскетом науки никогда не водилось ничего подобного. Почти у каждого возникли свои, впрочем, безобидные чудачества. Я, к своему удивлению, увлекся нумизматикой, обнаружив, что даже мысленное коллекционирование старинных кружков меди, серебра и золота таит в себе неизъяснимую прелесть. А поскольку книг по нумизматике на корабле не было, то знаете, что я делал? Вы, должно быть, не поверите, я сам себе плохо верю: я вылавливал со страниц романов и энциклопедий всякое упоминание о тех или иных монетах, их признаках, размере, облике аверса и реверса! Никогда не думал, что слова «тетрадрахма с афинской совой» или «рубль царя Константина» могут звучать такой музыкой...

Но в сторону это. Пора перейти к единственному нашему приключению, которое внешне совсем не похоже на приключение, не имеет никаких его атрибутов, кроме единственного — неожиданности.

Звезда, к которой мы летели, до сих пор настолько не имела значения, что значилась просто под порядковым номером каталога. Перед отбытием кто-то предложил дать ей имя, но предложение было отвергнуто, хотя никто не мог внятно объяснить почему. Подозреваю, что здесь работал отзвук древних суеверий. Нейтрально назвать звезду вроде бы нет смысла, а назовешь какой-нибудь Надеждой... Нет, лучше оставить как есть.

Все, однако, развивается по своим законам, и, поскольку ни один нормальный человек не будет десять раз в день повторять невразумительный набор цифр, звезда как-то само собой стала Безымянной.

В ее системе нам предстояла обширная работа. Нужно было вывести на звездоцентрическую орбиту лазерные генераторы; стабилизировать и настроить измерительную аппаратуру; собрать множество всяких предварительных данных; наконец, запустить — но это уже в последний момент — автомат-разведчик, который должен был скользнуть в пространственно-временной тоннель. И еще предстояла сотня других дел.

Среди них было и обследование планет Безымянной. Всего их было четыре. Два газовых гиганта типа Юпитера не вызывали особых эмоций, поскольку на них нельзя было высадиться. Ближняя к светилу, маленькая и голая планетка радовала не больше, чем куча шлаков. Последняя была и того хуже — просто льдышка смерзшихся газов, никчемная, прилепившаяся к краю звездной системы льдышка.

Впрочем, и это сулило какое-то разнообразие после надоевшего вида немигающих звезд и знакомых, как собственная ладонь, корабельных помещений. Все жаждали заняться второстепенным делом обследования обреченных на гибель планет, и жребий принес мне удачу — я попал в группу разведчиков.

Мы отбыли, высадились, и тут нас как обухом по голове!

Вокруг был строгий бело-синий мир. Всюду громоздились скалы с зеркальными, серебристо-матовыми, хрустальными башнями, выступами, порталами, стрельчатыми сводами, ажурными ротондами, галереями и колоннами. Тут была готика и рококо, Тадж-Махал и Кижі, все, что создал гений зодчества, и все, что ему, похоже, только предстояло создать.

Формы льда и без того выразительны, а тут еще сила тяжести меньшая, чем на Земле, сложный и разный состав материала. Арки, казалось, летели; их просто нельзя было представить неподвижными, ибо мгновение покоя должно было все обрушить. Какой-нибудь циклопический свод подпирали стеклянные былинки колонн, а в тени нависших карнизов вполне мог расположиться Нотр-Дам. Сами карнизы более всего напоминали крылья готовых упорхнуть бабочек; их морозный рисунок туманно двоился в тончайшей пластине полупрозрачного льда.

Впрочем, не это делало пейзаж исключительным. Небо над планетой обычно оставалось мглистым. Но изредка оно очищалось, и тогда — мы так и не разобрались в причинах — диск звезды странно искажался в воздухе.

Свет ее начинал дробиться, как прижатая пальцем струя. Лучи падали, высекая обвалы радуг. Из трещин, граней и сколов летели искры; отблеск, стократно преломленный, наполнял воздух порхающим блеском. Наши привычные к тусклым краскам глаза не выдерживали!

Лед становился текучим и светоносным. В нем строились и преображались цепи изумительных построек. Призрачные города, которые блистали, росли, вставляли монументами, меркли, менялись, оживали вновь — сразу, везде и в озарении радуг! То было искусство какого-то четвертого, пятого, волшебного, дикого измерения!

За все эти часы мы не сделали ни единого замера, ни одной записи, просто не способны были! Нами владело чувство более тонкое и глубокое, чем восторг или радость. На корабле, понятно, видели все, но и оттуда — по-моему, впервые в истории звездных экспедиций — нам не напомнили о нашей первоочередной обязанности.

Потом, когда мы вернулись, все пошло так, будто ничего не случилось. Будто ничего и не было!

Иногда я завидую тем, кто жил раньше, — они могли вести себя с такой непосредственностью! «Кровь бросилась ему в голову, и он обнажил шпагу...» Конечно, все и тогда было не так просто, но все же решения касались обычно куска хлеба, удовлетворения страстей, защиты собственного благополучия, и существовал отработанный, из поколения в поколение передаваемый набор реакций человека на то или иное жизненное обстоятельство, поскольку сама жизнь менялась мало. Потом жизнь стала усложняться, а с ней вместе усложнялись и реакции. Человек оказался вынужденным подавлять стихийные порывы, потому что в новой и запутанной обстановке они только ухудшали положение.

На планете все мы получили встряску, какой еще не испытывали, и оказались перед трагичным выбором. Что бы нам дал немедленный и бурный выплеск эмоций? Скорее всего он привел бы к конфликту, а ссора на звездолете опаснее пожара. Все надо было продумать — спокойно, хладнокровно, наедине, с учетом всех последствий, благо временем мы располагали. Так нас учили, так только и можно было в звездных экспедициях, где от поступка одного человека зависел коллектив. В некотором смысле мы представляли собой едино думающий мозг. Поэтому я не буду описывать личные переживания участников экспедиции; кто как молчал, был угрюм, пробовал улыбаться. Все это второстепенно перед лицом неприятной альтернативы, которая перед нами стояла.

Взрывая звезду, мы губили планету. Своими руками мы должны были уничтожить шедевр природы, равного которому нет.

Это примерно то же самое, что взять и лишить себя красок вечерней зари. Нам предстояло ограбить человечество, которое и не подозревало, чего лишается.

Так стоил ли того Проект?

Вот о чем думал каждый из нас, ведя сам с собой спор и битву, от которой изнемогал разум.

Проект давал нам в руки ключи от пространства. Погубив одну прекрасную планету, мы получали взамен миллионы новых. Прочь сомнения!

Так, но природа неповторима: погубленной красоты мы уже нигде не найдем.

С другой стороны, что в этой планете такого? Она прекрасна, видеть ее — неизведанное счастье. Но это всего-навсего лед, ничего, кроме льда, тогда как польза Проекта реальна и ощутима. И пусть сколько угодно бунтуют чувства!

Будет ли, однако, у нас Галактика, или нет, наши материальные интересы ничуть не пострадают. Значит, Проект удовлетворяет нашу страсть к познанию? Только это? И ради одной потребности надо поступиться другой? Просто потому, что одну ценность мы признаем большей, а другую меньшей?

Но какую? Если бы к началу XXI века не был освоен ближний космос, то промышленность по-прежнему теснилась бы на Земле. А это вызвало бы перегрев земного шара. Над такой перспективой не задумывались в годы первых стартов, но это ничего не меняет: выход в космос был жизненной необходимостью. И точно такая же необходимость, пусть мы не в силах ее осознать, движет нами и теперь.

Все логично... Но если бы перед нами встал выбор — лишиться лунных станций или лунных ночей, то чему было бы отдано предпочтение?

Так размышлял я бессонной ночью.

Кому, однако, нужна волшебная, прекрасная, как несбывшийся сон, планета, если на поездку к ней надо тратить жизнь?

Точно освежающим ветром повеяло в каюте, когда я отыскал этот решающий аргумент.

Решающий? С осуществлением Проекта такие расстояния станут пустяком. И тогда — вот тогда! — на первый план выйдет другое: какой ценой это достигнуто?

Легко было представить, что станут думать люди тогда... Почему я, Тимерин, все мы не вернулись, не доложили о новом обстоятельстве? Нашли бы, верно, другой способ осуществления Проекта, вышли бы в Галактику на сто лет позже, но вышли бы! И не такой ценой.

Почему они все решили сами?

Потому что...

Эта мысль была самой ужасной, и я ее отогнал. Конечно, она вернулась. Кто больше всего был заинтересован в осуществлении Проекта? Мы! Потому что мы отдали ему свою жизнь. Так не этот ли мотив перевесил все другие соображения?

Так не скажут, но так о нас подумают. И не без оснований.

А объективно? Хорошо, красота мира не имеет цены, и теоретически ее нельзя приносить в жертву. Практически люди делали это сплошь и рядом. В минувших веках. А потом наступала расплата. За отравленные реки, опустошенные леса, обезображенные пейзажи. Нам был преподан суровый урок, и мы зареклись: никогда, ни при каких обстоятельствах!

Никогда, ни при каких? Крайность — всегда ошибка. Галактика с ее миллиардами звезд и планет — это Галактика. Это выход человеческой энергии, спасение от застоя, безудержное развитие. Там, в открывшихся просторах, мы найдем то, о чем не мечталось. Удивительные миры, невообразимые проявления жизни, мудрость других цивилизаций. Так повернуться и уйти, чтобы все это осуществилось веком позже?

Подумаешь, столетие...

Вот именно. Если бы кто-нибудь на столетие отсрочил появление паровой машины, какими бы мы были теперь?

Решения, которое бы устраивало всех, не было.

Мы так хорошо понимали друг друга, что без всякого опроса в один и тот же момент нам стало ясно, что все уже передумано и никто не нашел выхода. И что пора принять решение, иначе мы изведем себя.

В «добрые старые» времена у людей, как правило, оставалась спасительная лазейка: лидер говорил «да» или «нет», ос-

тальные присоединялись, успокаивая совесть тем, что лидеру видней. Мы же ни на кого не могли переложить ответственность — таковы нормы нашего времени.

Разговор начал психолог. Ни с того ни с сего он вдруг предложил нам просмотреть стереозаписи того, что мы видели на планете.

Никто не возразил, и у многих затеплилась надежда. Непроста же психолог предлагает нам этот просмотр. Может быть, он все-таки нашел выход?

Перед нами стоял завтрак — мы к нему не притронулись. Перед нами возникали и меркли призрачные города, творилось чудо красок, бесконечное, потрясающее, берущее за сердце болью восторга и радостного изумления. Запись многого не передавала, и все равно, все равно... По нервам невыносимо ударила звякнувшая под чьей-то рукой ложечка.

Потух последний кадр, и минуту-другую мы не могли понять, что более реально — вот это помещение, стол и еда на нем или то великое, волшебное, что мы только что видели.

Из отрешенности нас вывел голос психолога.

— Должен разочаровать вас. Мое предложение, конечно, не выход, но... Нажатие кнопки — и записей этих нет, будто никогда и не было. Так же чисто я берусь стереть у всех память об этой планете. А где нет памяти, там нет и терзаний, верно? Мы осуществим Проект, люди никогда не узнают, чего лишились, чувство вины никого не будет мучить! Стереть?

Молчание. А потом...

— Не надо! Все будем помнить!! Не смей!!!

Впервые я видел лица своих друзей искаженными. Да, что бы я там ни говорил об эмоциях, а природа берет свое.

Но крики затихли, психолог смущенно развел руками, мы вновь стали самими собой...

Тогда холодно и внешне спокойно мы приняли решение. Вы знаете, каким оно было.

КЕМ ТЫ СТАНЕШЬ?

Гость долго шаркал подошвами о коврик, взблескивая очками, разматывал бесконечный шарф, наконец, с отрывистым: «Нет, нет, я сам!» — стал высвобождаться из шубы. Яранцев деликатно ступал взгляд в сторону двери, где перистальтика пола тем временем поглощала испачканный коврик.

И прозевал перемену. Только что в прихожей суетился закутанный старик, теперь, вскинув всклокоченную бороду, на Яранцева решительно глядел жилистый, сухопарый Дон Кихот в очках.

— Прошу, — подавив изумление, сказал Яранцев. — Чем обязан?

Это старомодное выражение как-то само собой слетело с его губ.

— Я из студии и по поводу Мика.

— Он что-нибудь натворил? — вырвалось у Яранцева.

— Натворил? — Брови старика укоризненно сдвинулись. — Вы не то слово выбрали. Никакое производное от глагола «творить» не должно, не может иметь негативного смысла, ибо это великое, величайшее слово!

— Извините. Так в чем же дело?

— В том, — старик понизил голос, — что Мик готов совершить преступление.

Яранцев похолодел. Разом ожили все страхи, все опасения. Всегда, с самого дня рождения Мика он жил под гнетом вполне осознанной тревоги.

— Продолжайте, — глухо сказал он. — Как отец, я должен знать все. Какое преступление?

— Самое тяжкое, какое человек может совершить по отношению к самому себе. Мик бросает студию!

Облегчение было так велико и неожиданно, что из горла Яранцева вырвался хриплый смех. Усы старика возмущенно встопорщились.

— Поверьте, тут не до смеха! — вскричал он. — Если вы, как отец, не понимаете...

— Простите, — сказал Яранцев. — Я постараюсь все понять. Только давайте с самого начала. Итак, Мик собирается бросить студию. Жаль, он, кажется, достиг у вас кое-каких успехов.

— Кое-каких? О нет. Не кое-каких — выдающихся!

— Вот как? Это для меня новость...

«И прескверная, — подумал Яранцев. — Я так боялся отпугнуть Мика чрезмерным контролем, что это обернулось непростительным упущением. Остальные, впрочем, тоже хороши!»

— Мик замкнутый парень, — продолжал он вслух. — Но я справлялся в студии («Не я, другие, но это не важно»). Тем не менее информация, которую мне дали...

— Она не могла быть иной. — Старик нахмурился. — Мик своеобразный юноша, и похвалу приходилось строго дозировать. «Своеобразный? Уж это точно...»

— Подождите. — Старик вдруг насторожился. — Вы, говорите, справлялись в студии? Это когда же?

— Я уже сейчас не помню... Видимо, я не с вами разговаривал.

— Странно, странно! Я не только учитель Мика, но и руководитель студии, должен бы знать. Меж тем...

— Я тоже кое-что должен бы знать об успехах Мика, однако, как видите, не знаю, — поспешно перебил его Яранцев. — Впрочем, дело, насколько я понимаю, не в этом. Мик собирается бросить студию, вы же считаете, что он допускает ошибку.

— Громадную, непростительную! Ведь он прирожденный мыслетик!

— Это точно? — недоверчиво спросил Яранцев.

— Вам мое имя, имя Андрея Ивановича Полосухина, очевидно, ничего не сказало. — Старик гордо выпрямился. — Не

в претензии. Но вы можете спросить Сегдина, можете спросить Беньковского — надеюсь, эти фамилии вы слышали? Они подтвердят, да, да, они подтвердят, умеет ли Полосухин оценивать талант.

— Верю, верю! Просто это слишком неожиданно. Мик — прирожденный мыслетик! Кто бы мог подумать!

«Да уж, конечно, *этого* предположить никто не мог...»

— Я вот что скажу. — Старик поднял палец. — Пояснение необходимо, поскольку мыслетика, если не ошибаюсь, не входит в сферу ваших умственных интересов, а я надеюсь иметь в вашем лице убежденного сторонника. Многие представляют себе мыслетика всего лишь как новый вид искусства, тогда как она синтез, вершина давних устремлений художника...

— Да, да, пожалуйста, продолжайте. — Яранцев, не в силах усидеть, взволнованно прошелся по комнате. — Я внимательно слушаю.

Но слушал он рассеянно. Он достаточно разбирался в мыслетике, а вот собраться с мыслями не мешало. Мыслетика? Что ж... Новое, многообещающее, сложное искусство. Конечно, синтез. Сплав живописи, скульптуры, стереокино, а может, еще и драматургии с биотоникой, с голографией. Прямое, без участия рук творение световых образов, абсолютно невещественных, но если надо, неотличимых на взгляд от действительности. Сидит человек и думает, а сложная аппаратура, улавливающая мысль, преобразует фантазию в краски, движение, звук, придает видениям ума форму, телесность, мнимую и все же подлинную, как сама жизнь. Третья природа? Во всяком случае, не просто синтез новейшей техники с древнейшими видами искусства, а качественно иная ступень самого искусства. Еще немногие владеют новым и непривычным языком. Так же, как в первые годы кино: есть новый могучий способ выражения действительности, мало творцов, которые вдохнули бы в него жизнь.

И Мик — надежда? Немыслимо, непостижимо! Хотя... Кем стал бы способный физик в эпоху, когда не существовало физики? Жрецом? Кинорежиссер до возникновения кино? Неужели может быть так, что иногда сама природа предопределяет человека к одной, строго определенной деятельности, а если тако-

го места в жизни не оказывается, то судьба его идет нелепым протуберанцем? Спекулятивные рассуждения, ничегошеньки мы толком не знаем... Что, что?

— ...А вместо этого, вместо этого ваш мальчик хочет быть освоителем! Вам это известно?

Яранцев кивнул. Верно, Мик жаждет осваивать дикие планеты. Любопытная ситуация! Наталкивающая на некоторые размышления и, пожалуй, выводы, с которыми, впрочем, не стоит спешить.

— Так, — заключил Яранцев. — И вы хотите, чтобы я отговорил Мика.

— Вот именно: настаиваю.

— А если второе увлечение сильнее первого?

— Ни в коей мере! Это всего лишь зуд мускулов и подогретая всеобщим интересом романтика космических далей. Творчество, создание ценностей ума и чувств, а не грубый набег на девственные просторы, уверяю — вот истинное его призвание!

— Набег? — удивленно переспросил Яранцев. — Какая неожиданная ассоциация!

— Почему же? — буркнул старик. — Схватка со стихиями, полезная и достойная сама по себе, требует от человека качеств меча, иначе промах и гибель.

— Характер Мика, по-вашему, не годится для битв?

— Не о том забота! — последовал уже слегка раздраженный ответ. — Есть перспектива большая, есть меньшая, и опрометчивый выбор — потеря для общества, еще горшая — для человека, который...

Украдкой Яранцев взглянул на портрет Мика. Со стены смотрело скуластое, обветренное, не слишком красивое лицо юноши, в котором, однако, угадывался характер. Светлые глаза жадно вбирали мир; была в них и задумчивая углубленность, словно их обладатель прислушивался к чему-то внутри себя. Интересное, неустоявшееся и, надо признать, вовсе не исключительное лицо современного юноши.

Современного? Разумеется, а какого еще?

Старик на лету перехватил взгляд Яранцева.

— Я не предсказываю ему лавров в искусстве, но избавьте его от заведомо чуждой ему судьбы! — с пафосом произнес он.

— Судьба... — тихо сказал Яранцев. — Много ли мы знаем о ее слагаемых? У меня к вам вопрос. Не будь мыслетики, могли бы способности Мика в принципе так же ярко проявиться, допустим, в живописи?

— Нет. — Старик затряс головой. — Нет.

— Почему?

— Это легче почувствовать, чем объяснить. Видите ли, живопись или даже ваяние — статичные искусства. Не в смысле экспрессии, а в смысле... э... Если на холсте мчатся кони, способны вы представить их себе вне и помимо пространства картины? Можете вы услышать звон их подков в зале, ощутить подле своего лица горячий ветер галопа?

— Трудновато.

— Вот! А мыслетика — это мощь созидания целого мира. Не образа, не слепка, а самого мира! Она требует... гм... пространственного напряжения, динамичного выражения всех чувств... Я, верно, туманно говорю, терминология, к сожалению, не разработана и...

— Можно ли сделать вывод, что мыслетика требует некоторых качеств характера, совсем не обязательных для живописи?

— Простите, я не психолог. Но до некоторой степени... Да, пожалуй. Но мы опять не о том говорим!

— Разве? Будем логичны. Вы хотите подавить в Мике стремление к риску и схватке, пусть временное, опрометчивое, но властное. Допустим, он поддастся нам, хоть я в это не верю. Но кем он станет тогда?

— Как, я не убедил вас?

— Нет.

— Вы отказываетесь мне помочь?

— Безусловно.

Старик неподвижно уставился на свои руки, и эти руки, в скрученных темных венах под пергаментной кожей, вдруг показались Яранцеву корневищами некогда сильного, но теперь одряхлевшего тела.

— Не расстраивайтесь, — мягко сказал он. — Уйдет Мик — будут другие, может, куда более способные...

— Тогда так. — Рука сухо и неожиданно ударила по столу. — Вы не пожелали принять мою позицию, но я пойду до конца. Вы, конечно, знаете о «праве на талант».

— Это еще что? — воскликнул Яранцев. — Уж не собираетесь ли вы им воспользоваться?

— Именно! Именно собираюсь! — В комнате словно пронесся звук боевой трубы. — Право гласит: человек волен распоряжаться своим талантом, если его приложение не направлено на преступления или если человек не губит его своим поведением. В последнем случае, поскольку гибель таланта наносит ущерб всему обществу, оно имеет право, не прибегая к принуждению, воздействовать на личность. Я докажу, что такое вмешательство в судьбу Мика необходимо!

— Вы отдаете себе отчет в последствиях? — Яранцев был готов и вспылить и рассмеяться. — Существует и ответственность общества: лица, препятствующие проявлению таланта, равно как и развитию личности, несут строгую ответственность. Вас это не смущает?

— Нет, потому что мне дорого будущее Мика, — последовал непоколебимый ответ.

«Вот так история! — подумал Яранцев. — Если все пустить на самотек, то, быть может, этот фанатик своего и добьется. Тогда Мика просто-напросто — сам он ничего и не заподозрит — провалят на вступительных экзаменах. На второй и, уж безусловно, третий раз его все равно примут, так как упорство — признак стойкого влечения к профессии. Но надо ли его подвергать таким испытаниям? Освоение планет... Для опыта неплохо бы убедиться, что же туда его тянет — мода или наследственные черты характера? Может, оставить все идти своим чередом? Нельзя, слишком грубое вмешательство. Исключительное, а этого быть не должно. Значит, попытку надо пресечь. Сделать это, конечно, можно, но скольких людей придется тогда ввести в курс дела? Рискованно...»

Размышляя, Яранцев наблюдал за стариком. Тот словно так и замер с поднятым копьём, готовый к отпору, готовый стоять насмерть. Воистину Дон Кихот. Только стариковские пальцы дрожат, только слезящийся глаз скошен на портрет Мика, и в нем такая тоска...

«Да он же его любит! — ахнул Яранцев. — Все, все это из любви к Мику, к самому талантливому, может быть, последнему ученику, в котором вся надежда, на которого нерастра-

ченная нежность... Отсюда — ведь для его же блага! — попытки уберечь и направить. А неблагодарный Мик... Неблагодарный? Мик был угнетен последние дни. Я-то, слепец, подозревал неразделенную любовь, а тут, похоже, совсем, совсем другое... Да, это так. Ах, мальчик, мальчик, если бы ты знал себя таким, каким ты был когда-то...»

— Внуков у вас нет? — внезапно спросил Яранцев.

Старик вздрогнул.

— Нет... Простите, какое это имеет отношение?

— И детей тоже не было, — уверенно продолжил Яранцев. — Но это действительно не имеет никакого отношения к тому, что я хочу сказать. Кто такой, по-вашему, Мик?

— Как это? — опешил Полосухин. — Мик — это Мик, как вы — это вы, а я — это я.

— Не совсем, — возразил Яранцев. — Вы — это вы, я — это тоже я, а вот Мик... Недавно, говоря о его намерениях, вы обронили слова «набег» и «меч». Случайность?

— Не понимаю вас!

— Должны понять, — властно сказал Яранцев. — Освоение планет, борьба со стихиями потянули у вас цепочку; набег, меч... Дальше, дальше, что приходит вам на ум? Не думая, быстро, подсознательная ассоциация, ну?

— Варварство, нелепость... — поддавшись напору, пробормотал старик. — Но...

— Имена, с этим связанные? Набег, варварство — кто?

— Чингисхан, Аттила...

— Стоп! Мик и есть Аттила.

Стеклянными глазами старик уставился на Яранцева.

— Верно! — вскричал он тоненько. — Так относиться к своему дарованию может только варвар!

— Вы не поняли, — понизив голос, сказал Яранцев. — Не в том дело, что Мик с вашей точки зрения поступает как варвар. Он по рождению варвар. Он Аттила. Тот самый «бич божий», который полтора тысячелетия назад опустошил Европу. В нем мозг Аттилы, кровь Аттилы, это вовсе не иносказание, он *Аттила*!

— Оч-чень интересно, — ледяным тоном сказал старик. — Как прикажете истолковать? Исключив весь этот бред...

— Никакой это не бред, — устало сказал Яранцев. — Могилу Аттилы нашли и раскопали четверть века назад, а любая уцелевшая клетка тела хранит генетическую программу всего организма. Такие клетки отыскиались, остальное было делом эмбрионотехники — и не таким уж сложным. Родился, воскрес, был создан — это уж как хотите — младенец Аттила. У нас детей не было, мы взяли его. Со смертью Магды Аттилу-Мика воспитываю я один. Теперь он вырос... Вот и все.

На этот раз слова, сказанные столь буднично и просто, дошли. Сжалось, как-то усохло тело старика, съежилось, потемнело от множества новых морщин лицо, а борода, усы выделились, будто побелели, и стали главенствующими на этом опустошенном лице.

Так длилось с минуту, потом глаза ожили, точно сквозь гарь пробился светлый ключ.

— Почему... почему же Мик?

Голос прошелестел так тихо, что Яранцев не вдруг его слышал, а расслышав, не сразу уловил смысл вопроса.

— Просто мальчика надо было как-то назвать!

— Зачем?

— Что — зачем?

— Все...

— Но это же ясно! Проблема среды и наследственности. Вот новорожденный Аттила. А вот наше общество. Что выйдет теперь из кровавого насильника?

— Вы стали ему отцом...

— Да.

— Так требовал эксперимент...

— Ну да.

— Ненавидя прошлое Мика, остерегаясь его задатков, пугаясь проявлений характера...

Яранцев нахмурился.

— Пережитое — пережито, — сказал он резко. — Оставим это.

Старик сорвал очки, словно они увидели нечто такое, чему не должны быть свидетелями. Помедлил и спросил, не глядя на Яранцева:

— Мик, конечно, не знает, кто он?

— И никогда не узнает, — твердо ответил тот. — Это тайна немногих.

— Даже если я ему скажу?

— Вы не скажете.

— Тоже верно... — Старик кивнул.

«Мне о многом придется умолчать», — с горьким восхищением и жалостью к Яранцеву подумал он, чувствуя себя разбитым, беспомощным перед ослепительным, грозно-непредсказуемым величием того, что дерзнули сделать эти непонятные ему люди.

Недаром он ощутил что-то глубоко личное еще в той, самой первой работе Мика. Той, где по равнине, безнадежно зеленой и гладкой, к горизонту отчаянно спешила крохотная фигура ребенка. А с неба, смятенно и пристально, как бы заклиная беду, на ребенка смотрело похожее на глаз солнце.

То же самое выражение старик уловил теперь во взгляде Яранцева. Того, кто был отцом Мика и воспитателем Аттилы. Кто знал и действовал, любил и страшился, растил сына и ставил над ним эксперимент. И кто, очевидно, так и не понял, почему Мик стремится уйти подальше от дома.

СНЕГА ОЛИМПА

Двадцать километров подъема остались позади, в фиолетовой мгле, в оранжевом отблеске зари, дальше плато широким и мощным размахом круто уходило в небо.

Долго перед глазами Вуколова и Омрина был склон, только склон, упорное восхождение, которое словно и не приближало к цели, так одинаково мрачный путь упирался в небо, где отрешенно горели звезды. Лишь привал на гребне ошеломительно распахнул пространство. Взгляд падал в бездну, смятенно искал в ней привычные пропорции и масштабы, но едва находил, как разум спешил поправить ошибку зрения. Ибо то, что виднелось отсюда пологом ночного тумана, было всей толщей атмосферы, а что казалось скалистой грядой, составляло могучий горный хребет. И вся ширь зари сокращалась отсюда до размера вдернутой во мрак цветной шерстинки.

Тихо было, как на плывущем облаке. Тонко звенела кровь в ушах, взгляд, успокаиваясь, парил над бездной, тело охватывала невесомость, и лишь твердь камня напоминала сознанию о грубой материальности мира.

Люди сидели как замороженные.

— Недолгое счастье Френсиса Макомбера, — отдаваясь прихотливому течению мыслей, прошептал Вуколов.

— Недолгое счастье Френсиса Макомбера, — эхом отозвался Омрин.

И снова упало молчание, вечное там, где не может быть ветра. Текли минуты, оба продолжали сидеть неподвижно.

Чем было для них сказанное? По какой логике им вспомнился давний рассказ Хемингуэя? Что общего было у них с Макомбером? Этого они и сами не могли объяснить.

Вуколов то и дело возвращался мыслями к своему прошлому, которое отсюда казалось далеким, маленьким, как пейзаж в перевернутом бинокле. Мальчик босыми ногами месил теплую дорожную пыль — неужели это был он? Неужели тот длинноволосый юноша, который в прокуренной комнате среди таких же неистовых юнцов о чем-то спорил до хрипоты, был тоже он? Или тот подтянутый, переполненный энергией молодой ученый на кафедре? Странно... Или та беспросветная ночь, когда он узнал, что любимая его не любит и все безнадежно, — она была? Неужели вот эта минута над бездной бездн — продолжение его прошлого?

Так оно и было, и Вуколов смиренно подивился тому жизненному зигзагу, который привел его сюда. Можно было считать почти запрограммированным, почти неизбежным и то, что он когда-то бродил босиком, и то, что мальчишка окончил школу, университет, и то, что он страдал от безнадежной любви, и даже то, что он очутился на Марсе. Почему бы и нет, в конце концов? Правда, из миллиардов людей на Марс попадали лишь сотни, но уж они-то были направлены туда волей человечества, столь же неуклонной, как сила, движущая планеты по их орбитам. А вот в том, что он, Вуколов, оказался здесь, не было никакой закономерности, по крайней мере логической. Скорей это произошло вопреки логике, да и здравому смыслу тоже. Не было очевидной цели, которая бы заставила их карабкаться в эту гору. Петрографическое исследование вершины? Да, возможно. Но если честно, то это оправдание перед совестью. Просто он поддался на уговоры Омрина. Просто ему хотелось осилить гору, и он дал себя убедить, что это нужно для науки. Желание, шальной порыв, если разобраться, не более. Все остальное придумано. И вот он здесь.

Какая-то чертовщина, если вдуматься! Один век сменялся другим, а люди и не думали подниматься в горы. То есть, конечно, туда шли, очень даже шли, но лишь затем, чтобы проложить тропу, достигнуть пастбища, провести караван, укрыться от набега. Все это ясные, насущные потребности. Людей интересовали перевалы, склоны, богатые золотом или медью, удобные для рекогносцировки вершины, а поднебесные кручи — нет. Зачем куда-то лезть без надобности? Когда

Петрарка затеял подняться на какую-то там плюгавую вершинку в предгорьях Альп, куда мог взойти любой, но куда на памяти местных жителей никто не поднимался, он испытывал смущение. Он опасался насмешек, но еще более обескураживал его собственный порыв. Ведь никто не лезет в гору без дела. А он полез. Бог или дьявол нашептал это желание?

Альпинизм — плод досуга. Пусть так. Досуг кое у кого был и раньше, и у древних греков он был, но письменные свидетельства молчат о желании Сократа, Платона или Аристотеля взойти на Олимп, о том, что кто-то из их современников взбирался на Олимп. Позже — да: когда умерли боги.

А с девятнадцатого века началось. Десятки, сотни, потом тысячи, миллионы горопроходцев. Движение, по сравнению с которым великое переселение народов — пустяк. Да, спорт, да, закалка и школа мужества. Но не оправдание ли это задним числом нерассуждающей страсти? Ведь горы многих карали увечьями и смертью. Сомнительная выгода для здоровья и мужества. И что же? Нет очевидной пользы, нет осязаемой цели, ну и не надо, будем лезть просто так!

И он, Вуколов, лез. На Земле. Теперь вот лезет на Марсе. Просто так.

Прекрасная бессмыслица...

Положенные минуты отдыха истекли. Омрин с Вуколовым встали, молча повернулись спиной к бездне и мерным, коротким шагом двинулись вверх по склону.

Вуколов сделал это с сожалением. Задержаться хотя бы на час... Но времени нет, нет — мимо и дальше, что бы ни встретилось по пути, — так было в его жизни уже много-много раз.

Занимался третий день восхождения. Глубоко внизу свет зари разгорелся настолько, что проступили очертания скал. Небо по контрасту стало еще черней и как бы бросало на склон траурную тень. Сумрачный путь среди лав наводил уныние. Ни чья фантазия не могла бы придумать ничего более тоскливого, чем каменные поля под черным пологом неба, и когда жидкий свет солнца отразил тень, то Вуколов вздрогнул, увидев, как она движется, воспроизводя все их жесты. Так могли бы двигаться души в стране усопших, и, конечно, там был бы именно такой пейзаж.

Шаг, шаг, шаг. Хрусть, хрусть, хрусть... Подошвы давили черный шлак пемзы. Звук передавался не по воздуху, которого на этой высоте, можно сказать, не было, а через скафандр, проникал в тело, и казалось, что непривычно и дико хрустят подошвы ног.

До сих пор жаловаться на трудности не приходилось. Гора не нагромождала серьезных препятствий и не требовала высшего мастерства. Не зря, выбирая маршрут, они столько часов изучали стереоснимки: на этом пути гора напоминала сильно увеличенный в размерах Эльбрус, только без ледников, снега и капризов погоды. День за днем, час за часом длился упорный подъем, то, что альпинисты называют «ишачкой». На Земле столь долгое восхождение само по себе измотало бы человека на первом десятке километров, но здесь они сами, их скафандры и груз весили много меньше, чем на Земле. И уж совсем не надо было заботиться о дыхании, потому что на любой высоте скафандр подавал кислорода столько, сколько требовалось легким. Все же бесконечный подъем утомлял, и тело уже вскоре после привала уподоблялось безучастному механическому шагомеру.

Шаг, шаг, шаг, Хрусть, хрусть, хрусть...

Поле тяготения, которое они превозмогали, давило на плечи, наливая тело вязкой усталостью. Конечно, в действительности все обстояло наоборот: каждый километр подъема неуловимо облегчал вес. Но им казалось, что они расталкивают все плотнеющую массу. Сердце, легкие, каждая клеточка мускулов работали на пределе, как у ныряльщика в подводной глубине. Только здесь напряжение растягивалось на долгие часы и бесконечные километры. Тело молило о спуске, но воля разума, не давая пощады, гнала его вверх и вверх.

Теперь вся жизнь Вуколова сосредоточилась в этом неуклонном подъеме, где ничего нельзя получить за так и где никаким ухищрением нельзя сократить положенное число шагов.

Поднялось и ярко брызнуло солнце, тени сгустились, как на Луне, небо стало глухим, аспидным, беззвездным. В угловатых камнях искрами запылали блески слюды и кварца.

Всего в километре от вершины путь преградила отвесная гряда скал, преодоление которой в обход или в лоб наверняка отняло

бы много времени. Меж скалами, однако, оставался проход. И хотя зажатая среди скал каменная река была, вне сомнения, осыпью, она не внушала опасений — подобные встречались уже не раз. Они осторожно ступили на шаткий наплыв.

В первые минуты все шло, как должно. Некрупные шерба-тые камни мертво лежали под ногами, и в просвеченном солн-цем сужении скал уже виднелся близкий исток осыпи, когда внезапно каменный поток дрогнул и поплыл вниз. Секунду-другую длилось скрежешущее покачивание, от которого у обо-их упало сердце, а потом все замерло. Они всего лишь смести-лись назад.

Однако новая, на пределе осторожности попытка подняться вызвала тот же грозный шорох.

Выждав, пока шорох уймется, они взяли к скале, где, по логике, осыпь должна была обладать меньшей подвижностью.

Она дрогнула еще сильнее.

Шаг в сторону, затем назад, чтобы выбраться из осыпи, еще раз в сторону и опять назад! Но бесполезно. Сверху без-звучно, как это бывает во сне, запрыгали камешки, и один с силой ударил Омрина по голени. И всюду их ждал предостере-гающий скрежет готового ринуться обвала.

На Земле это их не испугало бы. Позади не зияло бездны, там расстился скат, по которому в случае чего можно было проехаться и с осыпью. При их опыте такой спуск грозил лишь синяками и ссадинами.

Но здесь и этим нельзя было рисковать, ибо разрыв ска-фандра был куда опасней перелома ноги. То, что прежде было преимуществом, теперь оборачивалось против них, лишний раз подтверждая, что в горах, как и в жизни, ничто не дается даром.

Неуверенным, точно у слепца, движением они вновь опро-бовали все вокруг и убедились, что надежду, как ни странно, дает лишь карабканье вверх по оси потока. Смещая осыпь, оно все же не выводило ее из шаткого равновесия. И даже сохраня-ло кое-что из отвоеванной высоты. Пустяк, сантиметры, но и это был выигрыш!

Они не обменялись ни словом. Они и так поняли друг дру-га. Тут нечего было обсуждать, здесь не мог помочь никакой

расчет, оставалось довериться интуиции. Одновременно кивнув друг другу, они вступили на ненадежный эскалатор, каменную, ползущую вниз лестницу гор.

Солнце светило в спину, но стены ущелья отражали его отовсюду. Камни полыхали мириадами искр. Вуколов, интуитивно выбирая наилучшую опору, осторожно ставил туда ногу, медленно утверждал ее, так же осторожно делал повторный шаг и все равно на каком-то сползал, чтобы все начать в сотый, а может быть, тысячный раз. Климатизатор скафандра работал исправно, однако пот заливал лицо. Вуколов видел только жаркий отсвет камней, их хаос у ног; еще боковым зрением он охватывал искрящийся отвес скал, по которым только и мог судить о движении.

В этом томительном движении теперь заключалось все. Прошлое, настоящее, будущее. Ничего другого не было прежде, ничего иного не могло быть потом. Вверх — вниз, вверх — вниз, вверх — вниз... Шорох и скрежет, сухой блеск камня вокруг, так было всегда, он вечно был здесь, всегда карабкался, неизменно соскальзывал, снова лез. Лишь порой глухо саднила досада, почти отчаяние, что нет в мире лестниц, ползущих вверх, а все они безжалостно тянут вниз, если только, задыхаясь, не карабкаться им наперекор. В этом чудилась какая-то издевательская несправедливость, которая и обескураживала, и разжигала ярость упорства.

Он не думал о себе, не думал о шансах, лишь молоточками в ушах стучала кровь, и внимание, как в фокусе, перемещалось с глыбы, куда следовало поставить ногу, на поддержку товарища, которого уносило вниз. Иногда в поле зрения врывалась траурная полоса неба над головой. И она тоже была частью новой безвыходной жизни, как одышка, как борьба за сантиметры, как шорох оседающего камня.

Сползая назад, он тянулся вверх, вверх, вверх... И длилось это вечно.

А потом внезапно все кончилось, и он лежал на твердой скале, без мысли вглядываясь в просторное небо. И Омрин лежал рядом, и было хорошо, только ноги еще шли по наплыву камней и медленно стихал стук сердца. День вступил в свои права, он казался огромным и прекрасным, во веки веков нескончаемым.

Вершины они достигли в разгар дня.

Они стояли на гребне, как бы паря над Марсом. Слева был такой простор глубины и дали, что глаз видел туманную пока-тость самой планеты. Склон с его скалами, осыпями и обрыва-ми круто падал вниз, погружаясь в прозрачную синь воздуха. Сквозь эту синь отчетливо проступали ржавые, ссохшиеся выступы далеких гор, морщинистые складки равнин, затуше-ванные тенью трещины каньонов. Ближе к скату планеты воз-дух темнел, как вода в глубине, и красноватые барханы смотре-лись оттуда донной рябью песка.

И над всем в темном небе пылало белое солнце, не по-земно-му маленькое и ослепительное, чуть размытое по краям, — то был слабый намек на невидимую сейчас корону.

Справа ниспадала другая бездна — до дна залитая тенью воронка исполинского кратера. С расстояния десятков километ-ров отчетливо виднелись бурые, черные, лиловые камешки про-тивоположного склона, самый мелкий из которых в действи-тельности мог увенчать любой земной пик.

Вуколов чувствовал себя омытым хрустальными потоками света, космическими здесь, где все было космическим, как в первый день мироздания. Воздух скафандра не изменился, но дышалось легко, привольно, сладостно, и кровь молодо пуль-сировала в каждой клеточке тела. И каменное оцепенение пла-неты лишь возбуждало эту бурлящую в нем жизнь. Кто сказал, что человек не вечен, подвержен тоске, старости, унынию? Кто? Вуколов чувствовал запас сил на века, и в нем, перехле-стывая, бурлила радость.

— Никс Олимпика, — пробормотал он блаженно. — «Сне-га Олимпа» — вот вы, значит, какие...

Сияя, он обернулся к Омрину.

Тот стоял неподвижно. Его меланхоличное лицо было су-рово-торжественным. Он пристально, оцепенев, вглядывался во что-то над головой Вуколова.

— Эй, лю-ю-ди! — заорал Вуколов во всю силу легких. — Мы ее взяли! Все-таки взяли!!!

Омрин вздрогнул, дико, будто спросонья, глянул на Вуко-лова. Но восторг машущего руками приятеля смягчил его взгляд.

— Добавь еще, что мы первые, — сказал он со странной усмешкой в голосе.

Вуколов весело, по-детски заулыбался.

— Само собой разумеется и не столь существенно! — Он тряхнул головой.

— А что же существенно?

— Ничего. Все!

— Сядем, — внезапно предложил Омрин.

Вуколов с готовностью сел, тут же вскочил, словно не находя себе места, и снова сел. Сам Омрин остался неподвижным.

— Вершина-то, а? — сказал он с непередаваемой интонацией. — Особая вершина, — добавил Омрин с ударением. — Вертолет не может сюда подняться — нет воздуха. Для ракеты мала посадочная площадка. Нужны ноги, чтобы взойти.

— Естественно, — весело кивнул Вуколов. — В этом вся прелесть!

— В чем?

— В том... Да ты и сам понимаешь. Экий простор! — Он сделал небрежный жест. — Хочется петь и смеяться. И растут крылья. Вот только снегов нет. «Снега Олимпа», а их нет. Непорядок, а? Впрочем, и так хорошо. Тебя не тянет полетать? Так бы, кажется, и взмыл. Сплошной иррационализм. «Есть упоение в бою, у бездн мрачной на краю». Почему? Не знаю и не желаю знать.

— А я вот шел сюда за ответом.

— Скучный педант! — Вуколов рассмеялся. — Надоели ответы. Всю жизнь ищем ответы, только этим и заняты. Да погляди, погляди вокруг. Силища-то какая! И вроде бы ничего исключительного. Ну высота, ну даль. Воздух внизу, планета у ног. А невозможно оторваться. Все на пределе, все сверх предела — и до солнца рукой подать!

— Вот-вот, — серьезно сказал Омрин. — Взошли, тут тебе и радость, и опьянение, и гимны, как ты верно заметил, хочется петь. А ведь просто так радость не дается, это всегда награда. Но здесь за что?

Голос Омрина прозвучал так, что Вуколов насторожился.

— К чему ты клонишь? — спросил он нехотя. Тон Омрина сбивал настроение.

— Ты ничего тут не замечаешь... особенного?

— Особенного?

Вуколов огляделся в недоумении. И снова, только иначе, его поразила дикая мощь природы. Он даже почувствовал себя в ней лишним. Тут все было чрезмерным. Человечество целиком могло сойти в бездну кратера, уместиться там, и ни единая черточка пейзажа от этого не изменилась бы. Разве что прибавилось серое пятнышко на дне. И даже будь здесь воздух, крик миллионов заглох бы тут, нигде не достигнув края.

— Здесь нет ничего особенного. — Вуколов невольно понизил голос. — И тут все особенное. В самом деле! Эта гора могла бы стать тронем бога или сатаны, но, к счастью, мы вышли из детского возраста. Мы поднялись на самую большую из доступных нам вершин Солнечной системы, вот и все. Радуйся, человеке!

— Поднялись, рискуя всем! — нетерпеливо бросил Омрин. — Спрашивал ли ты себя, ради какой цели?

Вуколов пожал плечами, насколько это было возможно в скафандре, и откинулся, облокотясь о скалу.

— Ну спрашивал, — ответил он нехотя. — Что дальше?

— Надо разобраться. Две главные потребности определяют поведение живых существ и самого человека. Потребность в пище, в благоприятных условиях — раз, потребность в продолжении рода — два. Стоят они за нашим поступком?

— К чему эта азбука теории психогенеза? — Вуколов недоуменно поморщился. — Тоже мне — нашел место и время! Ладно, ладно, отвечу: не стоят. Доволен? Или напомнить, что, кроме этих базисных потребностей...

— ...Есть и другие! Для тех, кто ведет коллективный образ жизни, вне сообщества — лишь прозябание и смерть. Но и тут ясно, что не тяга к себе подобным двигала нами... Остается последняя базисная потребность. Та, без которой невозможен опыт, а следовательно, приспособление к меняющимся условиям среды.

— Вот, вот! Поздравим себя с тем, что нас привела сюда страсть к познанию, и покончим с самопокаянием. Нас ждут го-оры!

Омрин возбужденно фыркнул.

— Веришь ли ты сам в то, что говоришь? Страсть к познанию! С орбиты можно рассмотреть, исчислить любую песчин-

ку, а много ли увидишь отсюда? Там, на спутниках, стационарные лаборатории, а что у нас? Какой анализ нельзя провести оттуда? Какое наблюдение обязательно требует присутствия человека здесь?

— Ладно, ладно, — томясь ненужностью всего этого глубокомыслия, проворчал Вуколов. — Согласен, что наш поступок — блажь. Или, если уж на то пошло, для самооправдания, — атавизм: непременно все надо потрогать руками. Даже если они в перчатках. Ну и что? Блажь так блажь, не единым хлебом да познанием жив человек. И нечего искать глубокую причину, тут и без нее прекрасно.

— А ведь хочется найти причину-то?

— Вот пристал! — окончательно рассердился Вуколов. — Да ты взгляни. — Он протянул руку. — Ведь мы первые видим это! Какое молчание во всем... Космический сон планеты. Хребты у наших ног точно спины древних чудовищ. Время попировало, смотри, как они обглоданы! Нет, этого словами не выразишь. Художник, поэт нужен! А ты пристал с анализом. Что, как, отчего... Нет тут никакой проблемы.

— Проблема есть, — глухо отозвался Омрин. — И тебе, милый друг, она тоже не дает покоя. Блажь, ради которой рискуют жизнью? Шальной порыв, удовлетворение которого дает такое счастье? Чепуха! Природа расчетлива: радость, как и горе, служит целям выживания, и стоит в них покопаться, как наружу выйдет потребность, исток которой тянется к эволюционным глубинам жизни.

— Пятая базисная потребность — очертя голову лезть в горы? — едко, уже не скрывая раздражения, бросил Вуколов. — Какая досада, что науке известны только четыре! Мы можем сделать большое-большое открытие, доказав пятую.

— За доказательством я и шел сюда.

Это было сказано так, что Вуколов, отпрянув, уставился на своего приятеля. Всегда тихого Омрина было не узнать. Он вырос как будто, заполонил собой пространство. Сверху на Вуколова глядело темное, страстное, неузнаваемое лицо фанатика или провидца. «Полно, — с изумлением, почти испугом качнулся Вуколов. — Тот ли это человек?»

— Есть пятая могучая потребность, — прогремели сверху. — Она существует, есть. Я не надеялся найти здесь такое подтверждение и все-таки шел сюда с этой мечтой...

Омрин перевел дыхание. Вуколов смотрел на него как завоженный.

— Слушай! Дерево растет, пока держат корни, рыба стремится заполнить океаны икрой, человек жадно вглядывается в недосягаемые дали галактик. Все стремится к пределу и за предел! Рост дерева часто опережает устойчивость корня, рыба гибнет на порогах, чтобы отметать икру, человек сам, по доброй воле надламывает себя работой. Жертвенно, глупо, противоречит инстинкту самосохранения, наконец! И почему, почему эволюция, которая безжалостно отбрасывает лишнее, допустила такое расточительство, не умерила, не отрегулировала порыв? Да потому, что это рационально, выгодно для существования вида. Малые усилия — малый выигрыш, и уж на лезвии, — а жизнь балансирует на лезвии! — так вовсе проигрыш. Не-е-ет! Полное напряжение и полная отдача — вот залог и резерв процветания. За это, за отдачу на пределе, за переход через предел нам и дается блаженство. Все стремится осуществить себя, реализовать свою функцию, вот это-то и создает неукротимый, причудливый, даже беспощадный в своих всплесках, напор жизни! Такие уж правила игры, что не посидишь сложа руки; тут закон! — и нарушение его для нашего брата в лучшем случае карается скукой, от которой и свет немил... А горы, что ж, частный случай, хотя и яркий. Выход за пределы в его, так сказать, чистом виде. Так-то!

«Вот так Омрин!» — мысленно выдохнул Вуколов, переживая и облегчение при звуках вполне здоровой речи, и вызванное ею недоумение, и невольный подъем, заразительным источником которого был Омрин.

— Интересно! — воскликнул он искренне. И сразу, повинаясь осторожности, добавил: — Только исключений здесь, пожалуй, больше, чем правил...

— А как же! — чему-то обрадовался Омрин. — Потребность в продолжении рода и то не всем свойственна. Тоже входит в правила. Однородная, одинаковая масса инертна, непластична, а условия-то меняются! Сегодня важнее то, завтра это, тут в миллионах большое разнообразие должно быть. Иначе...

Омрин сделал жест, каким римляне посылали гладиатора на смерть.

— Уф! — шумно, словно освобождаясь от тяжести наваждения, вздохнул Вуколов. Новый образ человека, которого он так давно знал, тревожил его и притягивал, ибо он не знал, как к нему теперь относиться. — Стройная гипотеза, но сомнительная. Впрочем, ты что-то говорил о доказательствах. Здесь?

— Именно здесь.

— Ну-у... Что-то я их не замечаю. Фобос взошел на горизонте — вижу. Такой симпатичный опаловый серпик... — Вуколов на ощупь искал верный тон. — Тень в кратере сместилась, теперь там блестит что-то желтое, сера, должно быть. А жизни здесь нет. И быть не может. Разве что мы с тобой? А больше никаких доказательств. Пошутил, а?

— Нет! — Омрин торжествующе рассмеялся. — Снега Олимпа! Не мы первые, и до нас тут была жизнь.

— Где?!

— А ты взглядишь, поищи, как я искал.

Чужое возбуждение снова передалось Вуколову. Он встал. Его настороженный недоверчивый взгляд перебегал от кручи к круче, замирал, устремляясь то в ослепительные, то в черные бездны, но встречал лишь залитый солнцем хаос, величественную панораму скал, камень, который со дня своего вулканического зарождения был мертв окончательно и навсегда. Грозной и прекрасной неподвижностью веяло отовсюду, ибо даже в самые неистовые бури, когда воздух Марса обращается в смерч, вершина Никс Олимпика безмятежно парит над клокочущей мглой песка.

— Здесь нет ничего.

— Не там смотришь, — коротко сказал Омрин. — Не там и не так.

— А как?

— Сначала видит мысль, уж потом глаз. На Марсе тысячи непокоренных гор, а нас потянуло на самую высокую. Почему? Потому что она самая высокая! Но если потребность осуществить себя привела нас именно сюда, то она могла привести сюда и кого-то другого. Можешь ты представить иных, но лишенных хоть одной базовой потребности разумных существ?

— Но послушай!..

— Нет, ты ответь.

— Хорошо. В бесконечной вселенной...

— Оставь бесконечность в покое! Законы природы общи для всей Галактики. Разумные существа могут есть не хлеб, а камень, дышать не воздухом, а огнем, быть не из белка, а из хрусталя, но они должны питаться, размножаться, жить в обществе, изучать мир и стремиться к недостижимому. Значит, если кто-то когда-то пересек межзвездные расстояния, он, располагая временем, мог захотеть подняться на высочайшую — никакую другую! — вершину Солнечной системы. Просто чтобы постоять на ней.

— Какое дикое допущение!

— Мы, однако же, здесь. И лазерный резак мы прихватили не только затем, чтобы вырубать ступени. Кстати сказать, для росписи любой из нас выбрал бы скалу в самой высокой точке. Так?

— Так, — машинально подтвердил Вуколов.

— Тогда зайди за выступ скалы и посмотри, что у тебя над головой.

Вуколов поднялся, сделал на внезапно ослабевших ногах несколько шагов, взгляделся и вдруг зажмурился, как от ослепительной вспышки. Но и в потрясенной тьме сознания продолжали гореть письмена, врезанные в скалу задолго до того, как человек поднялся на первую свою гору.

СОКРОВИЩА НЕРИАНЫ

Люди на взгорье, как моряки на шаткой палубе, стояли, широко расставив ноги. Перед ними был клокочущий ад Нерианы. Слева, километрах в полутора, щербатые гряды скал тряслись, будто в ознобе; справа по ущелью рвался фиолетовый вал дыма и пепла. Он набухал, стреляя в зенит клубами, и тогда в его мутных недрах дико сверкал огонь. Высоко в небе лохматые пряди охватывали диск светила, попеременно обращая его то в грязно-сиреневый, то в тускло-багровый мятущийся среди дымного хаоса шар. Казалось, что и небо трясется тоже.

При каждом толчке даже там, где находились Соболев, Гордон и Икеда, на склоне оживали ручьи осыпей, но шелкающий звук камешков терялся в глухих и долгих раскатах.

Со строгим равнодушием ко всей этой сумятице Гордон поднял к глазам энюкль. Его жест, поза всех троих, беглый отсвет огня на лицах за щитками шлемов всколыхнули в памяти Соболева что-то давнее, с детства знакомое и здесь вроде бы неуместное. Но образы совпадали. Пораженный сходством, Соболев хотел было поделиться впечатлением с друзьями, но вовремя сообразил, что былинку о богатырской заставе придется им растолковывать, а это долго, да и не нужно.

Он перевел взгляд на местность. Глаз по земной привычке искал впереди хоть какое-то подобие огнедышащих гор, мрачных ущелий, грозных, но четких ориентиров. Напрасно. Там все было вихрь и мрак, в которых твердь перемешивалась с палящим клотанием газов, как в бесконечном, никогда не смолкающем взрыве. На деле это было не совсем так: трубки взрывов не прекрыва-

ли друг друга, энергия недр выплескивалась не ежечасно, но это знание не делало пейзаж более мирным.

Идти туда? Был уже не первый день поиска. С короткими перерывами на отдых и сон они шли, иногда падали от еще неблизких подземных взрывов, поднимались и снова шли. У них были переданные Гуптой координаты места, но чем ориентиры могли помочь там, где целый хребет, случалось, полз, извиваясь, как гусеница? Теперь без осмотра остался небольшой, но самый опасный участок, который располагался над самым ядром глубинных бурь.

Проверяя свою решимость, Соболев снова взглянул на друзей. Мощная фигура Гордона высилась как памятник неподвижности. Его глаза были скрыты эноклем. Икеда... Внезапно Соболев уловил исходящую от него тревогу. Ничего удивительного — в душе Икеды жил опыт многих поколений народа вулканических гор, древний трепет перед стихией, которая так часто и неумолимо расправлялась с незащитным тогда человеком.

Повинуясь порыву, Соболев шагнул и обнял его за плечи.

— Что? — спросил тот быстрым шепотом.

— Взгляни на Гордона. Воитель тверди и неба, а? Скульптора бы сюда!

— Пример мужества, ты хочешь сказать?

— Я хочу сказать, что развитое чувство опасности для нас сейчас не меньшее благо.

— Шепчетесь? — Гордон резко опустил энокль. — А ведь завел нас Гупта! Дальше пути нет. Ни по земле, ни по воздуху. Что предпримем?

— Поплывем, — без улыбки ответил Икеда. — Раз нельзя идти и лететь.

— Совет в классическом стиле Востока! Что скажешь, Соболев?

— Употреблю ненавистное мне слово.

— Авось?

— Не отступать же. Ого!..

Тряхнуло так, что у всех отдалось под ложечкой. Небо потемнело. Впереди встала kloкочущая стена, перед величием которой люди ощутили себя мошками.

— Мегатонны три, — подытожил Соболев. — Или больше.

— Вот безобразие! — Гордон сморщился, как от кислого. — И это в самый спокойный период. Ладно, рискуя не безрассудно, ставлю жизнь на кон. Ты, Икеда, уже прикинул степень опасности?

— 0,3. Примерно, точнее не удастся.

— Допустимо, так примерно и я оцениваю. У меня возникли кое-какие соображения о маршруте, вот слушайте...

План Гордона возражений не вызвал, его сообщили базе, и маленький отряд без промедления тронулся в путь. Следом двинулись похожие на черепах скуггеры. Оставляя за собой шлейфы пыли, они проворно скользили над неровностями почвы.

«Вот скуггеров богатыри не имели, — мельком подумал Соболев. — Впрочем...»

Впрочем, вся могучая техника, будь то нуль-звездолеты или простые скуггеры, не могла их избавить от усталости и риска, ибо то, что они искали, нельзя было найти никакими локаторами. Единственным средством, как встарь, были собственные глаза, руки, смекалка. Правда, в такое пекло вряд ли полез бы самый отчаянный кладоискатель, даже если бы его снабдили скафандром. Хотя кто знает!

Телепатия явно существовала, потому что Гордон, валко шагая впереди, грянул пиратскую песню. А может, ковбойскую: пел он на родном языке, и понять его было трудно. Хриплому басу Гордона вторил гром близких ударов.

— Подтягивайте, ребята, одному скучно! — Он обернулся, сверкнув белозубой улыбкой.

Соболев кивнул, но не нашел в памяти ничего старинно-воинственного и озорно затыкнул «Дубинушку». Окутанный дымным облаком Икеда присоединил резкую, как звон меча, мелодию. Откосы ущелья ответили варварским эхом. Скуггеры беспокойно задвигались — в их памяти не было национальных ритмов, и они всполошились. Все невольно расхохотались, и Соболев почувствовал, как тают в душе непрощенные льдинки страха.

Все они теперь были как бы в ином времени, в иной эпохе, когда человек один на один оставался с превратностями природы.

Ложбина, с дряхлых стен которой осыпался грязный камень, неожиданно вывела к правильному, будто циркулем очерченному, озерцу. Мутная, изрытая рябью вода ходила широкими кругами, но постоянство озера, из которого даже выбегал ручеек, говорило о надежности места, и Соболев решил, что вблизи все далеко не так ужасно, как это выглядело издали.

— Стоп, — сказал Гордон. — Пошарим.

Еще вчера они перебрали бы здесь все по камешку, но опыт уже научил, что на этой бурной планете нет и не может быть ничего надежного, что все теории врут, если только Гупта не ошибся. Искомое могло оказаться где угодно, его даже могло не быть вообще. Но долг перед другим человеком был превыше всего, и хотя рвения уже никто не испытывал, осмотр они провели со всей тщательностью.

Ничего, кроме скальных обломков, мелкого крошева лав, синеватой глины по берегам.

За озером началось плато, выжженное, мелко трясущееся, как и все на этой мертвой планете. Из дряхлых воронок сочился желтый газ; его стелющиеся струи, пока их не растрепал ветер, лизали черные стружья камней.

Багрово-копотное пламя снова осветило мрачные ярусы туч. Они надвинулись, и все померкло, как в густой саже. Не стало видно ни рук, ни ног, пальцы слепо шарили в пространстве. Ни в одном диапазоне волн инвентар не мог уловить даже малейшего проблеска света, только голоса в наушниках говорили Соболеву, что он не один в этом загробном мире тьмы.

С минуту они перекликались, потом умолкли, ожидая, что будет дальше. Но ничего не было, кроме мрака, в котором утих даже ветер.

— База! — воззвал Гордон.

База ответила, и, пока длилось объяснение, пока уточнялся пеленг, Соболев обнаружил, что ему трудно сохранять равновесие, ибо почва колебалась все сильнее.

Он с облегчением услышал команду лечь и отыскать укрытие. Ползком нашел какую-то выемку и залег в ней, как в покачивающемся гамаке.

— Нулевой отсчет! — как бы из другого измерения донесся голос базы.

Ахнуло через шестнадцать с секундами минут. Небесный гром пущенной с орбиты ракеты перекрыл все другие звуки. Точно рассчитанная струя кумулятивного взрыва ударила в тучу и, свистя камнями, сдула ее с плато.

Ключья тьмы мчались как подгоняемые паникой.

Не в силах сдержать восторг, Гордон, словно мячик, перехватил летящий камень и, едва не упав от толчка, заорал на всю планету:

— Спасибо, ребята, только камни зачем швырять?!

Через десять минут ходьбы местность разительно изменилась. Ничто уже не выдавалось над гладкой поверхностью. Олицетворением сил, которые владычествовали здесь, предстала группа трещин, борта которой напоминали мерно жующие челюсти. Они то смыкались, перемалывая самих себя, то развезались как бы в ожидании жертвы.

Все трое включили движки и плавно взмыли над перемалывающими челюстями.

Планируя, Соболев глянул на мрачные поля лав, и сердце его сжалось. Зачем он тут? Куда они зашли? Что может быть здесь, кроме искореженного камня, вихрей газов и пепла, которые зябко и призрачно пляшут по сторонам? Уж не миражи мелькнул тогда перед Гуптой и теперь они, все трое, как бабочки на огонь, летят в неизвестность, туда, где, быть может, в эту самую секунду зреет взрыв?

Соболев покосился на скуггеров, которые величественно плыли над мерно жующими челюстями провалов, затем взглянул на друзей. Икеда летел с невозмутимым достоинством. Гордон, зло ощерясь, глядел вниз. На его лице было явное желание плюнуть в эти пожирающие себя пасти. Кому все было нипочем, так это скуггерам. Зато они умели предвидеть глубинные взрывы, на них можно было положиться, зная, что они не подведут.

Их полет был особенно красив по контрасту с хаосом сминаемых в лепешку глыб.

Все же Соболев испытал облегчение, когда ноги коснулись почвы поодаль от жующих челюстей. Лучше неверная твердь, на которой при помощи скуггера можно кое-как удержаться, чем парение над пропастью, где любой удар вихря способен закрутить, смять, сплющить о камни.

— Дракон, а?

— Что? — не понял Соболев.

— Камнедробилка эта! — крикнул Гордон. — Точно стережет, дрянь щекастая!

— Почему щекастая?

— Не знаю. Просто дрянь. Дрянь и мерзость. Интересно, какой будет пакость за номером...

Он не договорил. Никто и моргнуть не успел, как над головой мелькнул дымный прочерк. Ближний скуггер ударил рядом, и метрах в двух от Икеды полыхнуло лиловое облачко.

— Ложись! — заорал Гордон. — Бомбы!

Камни сыпались густым роем, им накрест били молнии скуггеров. Порой осколки чиркали по скафандру, ибо скуггеры тратили заряды лишь на те глыбы, которые могли поразить людей, а все прочие взрывались где попало. Невольно жмурясь, когда осколок дзинькал по спектролиту шлема, Соболев чувствовал себя одновременно неуязвимым и голым. Сразу хотелось и сжаться в комочек, и гордо выпрямиться, бросая вызов столь близкой и бессильной смерти.

Внезапно, как и начался, обстрел прекратился.

Поднимаясь, Соболев с недоумением обнаружил, что взмок, как от усилий поднять трехсоткилограммовую штангу.

— Кажется, начинаю понимать солдатскую жизнь, — свирепо бормотал Гордон. — Штыки к бою — бум! И кровавый фонтан вместо головы. Красиво, как на картинке.

— Ничего мы не понимаем, — поднимая дымящийся осколок, пробормотал Соболев. — Там рвались снаряды. И пули.

— Пули, положим, летели, — тихо возразил Икеда.

— Летели, взрывались, какая разница? Важно, что они убивали. И что нас это больше не касается.

— Кого как, — прошелестел ответ. — Меня вот коснулось, я без отца остался. Его война убила.

— Как война?! — разом вскрикнули Гордон и Соболев.

— Очень просто. Моего прадеда облучил взрыв атомной бомбы. Даже гены отца оказались настолько пораженными, что он не дожил и до тридцати лет. Меня оперировали удачней. Еще когда я не появился на свет.

— Эх! — вырвалось у Соболева. — Прости, я не знал.

— Зря я вспомнил, — покачал головой Икеда.

— Может быть, и не зря. Верно, Гордон?

— Верно, — услышал он чужой и медленный голос. — Так же верно, как то, что в создании той бомбы участвовал мой прадед и, следовательно...

Гордон запнулся, встретив немигающий взгляд Икеды.

— Бросьте! — звонко крикнул Соболев. — Нерианы нам мало?! Бомбы, войны... Какое это сейчас имеет значение?

— Никакого. — Веки Икеды медленно опустились. — Ни малейшего, иначе бы нас здесь не было. Хватит об этом — и пошли.

— А! — вырвалось у Гордона. — Проклятая планета!

Его кулак рассек воздух.

— Все правильно, — добавил он уже спокойно. — Двинутись, пока нас всех тут не накрыло.

Он повернулся, сутулясь, и пошел сквозь крутящийся столб пыли.

Из аспидной мглы нехотя посыпался пепел. Редкие хлопья оседали на скафандре, как пушистый снег, только снег этот был черный. Гроыхало умеренно. Временами по гладкой почве пробегала, тут же разглаживаясь, мелкая рябь, и тогда всех колыхало, как в лодке на волнах. Под ногами сухо хрустела пемза. Ветер стих, будто уснул.

Это могло насторожить, но не насторожило. Лишь позднее Соболев понял, насколько они при всей осторожности были беспечны и почему беспечны. Ценой многих ошибок и жертв человек наконец сумел выковать скорлупу, которая во всех мирах служила ему безупречно. Они всегда жили с ощущением безопасности, хотя и думали, что это не так. Надежная техника и здесь создавала комфорт, изолировала и щадила, расширяла возможности чувств и берегла от перегрузок. Когда страшное становится привычным, оно перестает быть страшным.

И все же что-то обеспокоило их.

— Подождите, — сказал Икеда, напряженно вглядываясь в небо.

— В чем дело? — отрывисто спросил Гордон.

Соболев поднял голову. Облик тучи менялся. В ней возникло спиральное движение. Разводя тьмы медленно враща-

лись. Точно пена в водовороте, их обгоняли лохматые серые ключья. Глубины в этом вращении было не больше, чем в суповой тарелке. Спираль, убыстряя свой бег, стягивалась все туже, пока не образовала круг с широкой мрачной каймой и белесым центром, который повис неподвижно, как обращенный в негатив зрачок.

Икеда встрепенулся.

— Уйдем! Нехорошее место...

— Почему?

Икеда не нашел, что ответить.

Они заколебались. Такое они видели впервые. Скуггеры спокойно вели съемку. Белесый зрачок стал протаивать. Проступило что-то дрожащее, мутное, как вода после стирки. Вспухло, осветлилось, лопнуло, открыв синеву.

— Вот видите, — сказал Гордон. — Облака расходятся.

— Нет! — вскрикнул Соболев. — Небо здесь не бывает синим, ты что, забыл?!

— Бежим! — Икеда обоих схватил за руки. — Скорей!

Они не успели сделать и двух шагов, как блеснула молния. Она не упала, нет. Она поднялась, трепеща, выросла из почвы.

Предостерегающе взвыли скуггеры.

Слишком поздно! Жутко просел горизонт. В померкшем свете вязко и тяжело всплеснулась почва. «Трубка взрыва!» — отчаянно мелькнуло в сознании всех троих, когда ноги ушли в эту текучую ртутную массу.

Но это было что-то другое. Их швырнуло, приподняло, опустило, и тут из вспухших недр выворотился, пошел, загигая гребнем, исполинский каменный вал.

Гребень тут же рухнул под собственным весом. Отвесный вал, дико дымясь и чернея, дрогнул, на мгновение замер — и снова пошел на людей. Гордон и Икеда успели выкарабкаться, отбежать, а Соболев не смог высвободить зажатые ноги. Отвес вала замер над ним, кренясь всей своей шаткой тяжестью. Уже ни на что не надеясь, Соболев что было сил уперся в надвинутую на него громаду. Он скорей почувствовал, чем увидел, как рядом очутились Гордон и Икеда, как они с тем же отчаянием удерживают скалу, как слева и справа по безмолвному приказу людей в нее ударили скуггеры и как много-тонная глыба колеблется в едва уловимом равновесии.

Теперь поздно было кому-то убежать и спастись. Оставалось давить и давить, стараясь отжать, сместить, опрокинуть назад этот каменный вал. Осыпаясь, по шлему градом стучали камешки, но Соболев этого не замечал. Если, кроме смертельного, рвущего мускулы напряжения, в его сознании жило что-то, то это было тепло благодарности вперемежку с досадой на безрассудство друзей. Через скалу ему передавалось такое же неистовое, крайнее усилие других. Он ловил ритм этих усилий, который сразу стал общим, как общими стали взрывы отчаяния, когда шевеление недр надвигало скалу, и всплески радости, когда толчки недр сливались с их собственными.

И когда крен, казалось, неудержимо сместился и мускулы — еще миг — готовы были разорваться, а скала все-таки не пошла вниз, то ее задержало не чудо, а общий порыв, в котором участвовали и скуггеры. Их нечеловеческое усилие, сливаясь с человеческим, удесятерило дух сопротивления и переводило его за грань возможного.

И скала не выдержала, поддалась, когда очередной толчок откачнул ее назад. Но грохот падения уже не достиг сознания Соболева.

Когда же он наконец пришел в себя, искореженная, дымящаяся почва успокоилась, только ветер неистовствовал. Скафандры всех троих были черны, как головешки, но, возможно, это лишь казалось в дыму и вихрях.

Приглашая лечь, в бедро ткнулась тупая морда скуггера. Соболев повалился на его широкую спину, наслаждаясь покоем и неподвижностью опоры, ибо скуггер висел над качающейся землей, равнодушный ко всем ее колебаниям.

Теперь самым разумным было уйти. Ни одно сокровище мира не стоило такого риска, ни одно. Но хотя никто не обменялся ни словом, они знали, что не уйдут. Не смогут. Ведь рано или поздно человек пройдет сквозь ад Нерианы по тем же причинам, по каким на Земле он одолел самые высокие пики, спустился в самые глубокие впадины океана, обшарил самые недоступные пещеры и побывал в самых грозных вулканических жерлах. Вызов стихий? Целы были скуггеры, в порядке скафандры, а силы восстанавливал отдых. Причиной бегства мог быть только оправданный благоразумием страх, малоду-

шие, за которое никто бы не смог их упрекнуть, но которое навсегда осталось бы для них тайным позором. Вот что было и оставалось истиной.

И был еще долг перед погибшим.

Они снова двинулись в путь. Толчки сбивали их с ног, земля и небо качались как маятники, а люди шли, падали, вставали, шли. Не стало отдельно Соболева, Гордона, Икеды, было общее человеческое «я», которое преодолевало само себя, свои возможности и силы, словно в это теперь единое существо вселился неукротимый дух всего человечества.

Когда над очередным озером лавы вдруг взвихрился палящий жгут молний, в измученное сознание не сразу пробилось удивление. Там, в малиновом вареве камня, которое молнии взбивали, как в миксере, совершалось немыслимое: среди плазменных протуберанцев, в адской жаре, в неистовстве материи нежно вспухали комочки белоснежного пуха. Их рождение казалось невозможным, как ландыш в доменной печи, но это был не мираж.

Вылетая из свива молний, пушинки коричневели, спекаясь в крохотные шарики. Они тут же лопались, выпуская стаю огневок; золотистые мушки сразу кидались в синеватые язычки пламени и роились в них, будто в вечерней прохладе воздуха.

А клокочущий молниями вулкан извергал новые белоснежные пушинки. Над хаосом огня быстро и безмятежно кружилась легкая метель жизни.

Так вот что открылось Гупте за мгновение до смерти!

Жизнь.

Возникшая на другом полюсе мира, противостоящая земному опыту и земным условиям, как вещество антивеществу, — жизнь!

Лопнул, окропив все, очередной зародыш...

Люди стояли молча. Нериана не оставила им сил ни для радости, ни для торжества, ни даже для осознания этой никакими теориями не предусмотренной жизни. Или, вернее сказать, антижизни?

Вопросы и ответы — сейчас было не до них. Надо было доделать дело.

Короткий приказ вывел скуггеры из неподвижности. Широкие мощные черепахи взмыли, запечатлевая обстановку, ана-

лизируя все, что поддавалось анализу, бережно всасывая в щели ловушек то, что золотисто порхало в воздухе, вдруг туманилось, выдавая свою, быть может, невещественную природу, и, точно под влиянием инстинкта, пыталось удрать. По выпуклым щиткам скуггеров пробегали судорожные отблески молний, преображая аппараты в странные подвижные существа, которые сейчас казались исконными обитателями Нерианы.

Люди парили вдали, как зоркие ангелы, но в эти минуты они не думали о своем сходстве с чем бы то ни было. Все мысли были поглощены управлением, а прочее было как в полусне, том полусне безмерной усталости, которая делает человека безразличным ко всему, кроме самого неотложного. Теперь они могли позволить себе эту усталость победителей.

И только много позднее, когда они миновали круглое озеро и стали спускаться вниз по ручью к месту, куда уже мог пробиться реалет базы, были сделаны первые лишние движения и сказаны первые, не относящиеся к делу слова.

Они отдыхали долго и неподвижно, отходя, как после наркоза. Наконец Соболев встал, ковыляя, побрел к ручью, присел на корточки, пошарил на дне и отсеял в ладонях горсть самых красивых камешков.

— Вот, обещал сынишке привезти с Нерианы, — как бы оправдываясь, ответил он на безмолвный вопрос друзей. — Из ада, не откуда-нибудь...

— Стоит ли брать эти? — не удивляясь такому повороту мыслей, сказал Гордон.

И, видя, что Соболев колеблется, добавил:

— Уж лучше подарить то, чего больше нет во вселенной, — кусочек настоящей нерианской магмы.

— Тоже верно, — помедлив в раздумье, согласился Соболев.

И светлая горсть алмазов полетела в воду.

ОПЕРАЦИЯ НА СОВЕСТИ

В больничной приемной было тихо, тепло и светло. Храм чистоты и порядка, где даже никелированная плевательница на высоких ножках имела вид жертвенника, воздвигнутого в честь гигиены.

Напротив Исменя, вскинув голову, как офицер на параде, сидел усатый человек с немигающими темно-кофейными глазами. Фаянсовая белизна воротничка туго стягивала его морщинистую шею. К плечу усатого жался худенький мальчик с прозрачным до голубизны лицом. Над их головами простирался плакат: «Духовное здоровье — залог счастья». Другие плакаты возвещали столь же бесспорные истины.

«И-и-ы!» — тоненько присвистнуло за дверью, которая вела в операционную.

Рука сына испуганно шевельнулась в ладони Исменя.

— Пап, а больно не будет?

— Не будет, я же тебе говорил, — привычно успокоил Исмень.

— Они могли бы поторопиться, — сказал усатый, ни к кому не обращаясь.

Исмень наклонил голову, чтобы выражение лица не выдало его мыслей. С каким наслаждением он взял бы этого дурака за фаянсовый воротник и бил бы его затылком о стену, пока не вышиб из него все тупоумие!

Глупо. Все они соучастники преступления, он сам — вдвойне, потому что знает, но молчит. Этот усатый по сравнению с ним невинней невинного, ибо ни о чем не догадывается, хотя мог бы сообразить и должен был бы сообразить, если только у

него действительно есть разум. Впрочем, в такие, как сейчас, времена многие, наоборот, стараются избавиться от разума, потому что это слишком опасно — выделяться среди других. Торжество самопредательства — вот как это называется.

Шторы окна с мерным постоянством озаряло мигание вездесущей рекламы, и тогда на багровеющем полотне проступала тень рамы, словно снаружи кто-то неумоимо подносил к окну кривой черный крест. «Распятие потребительства!» — вздрогнув, подумал Иسمень.

Из коридора послышался семенящий стук каблучков, дверь распахнулась, и в приемную, волоча золотоволосую девочку, вплыла дородная дама в узкой юбке до пят.

— Уж-ж-жасно! — пророкотала она, обводя взглядом мужчин. — Надо же — очередь! Кто последний?

— Я, — сказал Исмень, приподнимаясь. — Но если вы торопитесь...

У него был свой расчет. Чем утомленней будут врачи, тем легче ему удастся осуществить замысел.

— Вынь палец из носа! — прикрикнула дама на девочку, опускаясь на диван и одновременно поправляя прическу. — Уж-ж-жасно тороплюсь!

— В таком случае рад уступить вам очередь.

— Я тоже не возражаю, — поклонился усатый.

— Весьма признательна! Нюньсик, ты никак хочешь плакать? Нюньсик, посмотри на мальчиков, как тебе не стыдно! Дядя-врач прогреет тебя лучами, и у тебя никогда-никогда не будет болеть голова... Ведь правда? — Она обернулась к Исменю.

— В некотором смысле — да, — согласился Исмень.

В некотором смысле это была правда. У золотоволосой Нюньсик, у мальчика с прозрачным до синевы лицом, у многих детей, когда они вырастут, не будет болеть голова от сострадания к другим людям. Растоптать человека им будет все равно что растоптать червяка. Равнодушные среди равнодушных, они возопят лишь в то мгновение, когда несправедливость коснется их самих. Но помощи они не сыщут, потому что сами не оказывали ее никому и никогда.

Исмень украдкой взглянул на сына, и сердце ему стиснула такая боль, что в глазах потемнело от ненависти. Здесь, где

чисто, тепло и светло, ребяташки доверчиво жмутся к своим отцам и матерям — самым сильным, самым мудрым людям на свете, — как будто предчувствуют недоброе и ищут защиты у тех, кто их всегда защищал. А они, эти взрослые — добрые, неглупые люди, — сами, своими руками втолкнут их в это страшное будущее.

Дверь операционной приотворилась, выглянул врач с унылым продолговатым лицом и, не глядя ни на кого, буркнул:

— Следующий.

Дама поднялась и, прошелестев юбкой, двинулась было к врачу, однако девочка, внезапно присев, крикнула: «Нюньсик не хочет!» — и быстро-быстро замотала головой, скользя полусогнутыми ногами по пластику пола.

— Нюньсик! — трагическим голосом воскликнула мать. — Сейчас все будет в порядке. — Она обворожительно улыбнулась врачу и, погрозив девочке пальцем, громко зашептала ей на ухо: — Будь умницей, Нюньсик, встань, вытри слезки, мамочка купит тебе новую куклу, а Нюньсик сама пойдет ножками топ-топ...

Нюньсик, бросив на мать торжествующий взгляд, тотчас вскочила, поправила взбившуюся юбочку.

— Великолепно, мадам, — сказал врач. — Ваша дочь действительно умница, и вам не обязательно присутствовать при процедуре. Будьте, однако, здесь на случай капризов.

Он машинально погладил золотистую головку девочки, и дверь за ними захлопнулась.

Дама села на диванчик с горделивым видом, который лучше всяких слов вопрошал: «Ну, как я воспитала ребенка?»

Платье на ней было, похоже, от лучших парижских портних. Иسمень прикрыл глаза, чтобы ее не видеть.

В глубине души он завидовал неведению этих людей. Им сказали, что маленькая и безболезненная профилактическая операция навеки избавит их детей от угрозы шизофрении, и люди этому поверили. О сложностях большого мира обыватель думать не умеет, да и не хочет, и всем решениям предпочитает простые и однозначные — они понятней. В свое время ему сказали, что страной, если не принять мер, завладеет коммунизм, и он, напуганный разгулом экстремизма, похищениями

и провокационными убийствами, с готовностью проголосовал за «чрезвычайные законы», которые, как было задумано, на деле отменяли всякую законность. Вот чем все это кончилось: со спокойствием барана обыватель ведет своих детей на духовную кастрацию.

И поздно что-либо изменить.

Исмень живо представил, каким ужасом округлились бы глаза этой дамы, каким верноподданническим гневом затрясся бы усатый, вздумай он просветить их. Эти добропорядочные обыватели скорей всего позвали бы полицию, и дама с благородным возмущением толковала бы о мерзавце, который вздумал клеветать — вы только подумайте! — на заботу власти о здоровье их детей.

— Дети наш крест и наша тихая радость, — разглагольствовала тем временем дама. — Вы не представляете, каких нервов стоит уберечь ребенка! Не далее как вчера — нет, это ужасно! — какой-то хулиган едва не сбил Нюньсика с ног. Прямо на улице! Я чуть не выпарапала глаза негодяю... Чем занимается наша полиция, я вас спрашиваю? Чем? Почему не попересажали этих патлатых молодчиков? Этих бездельников, которые разленились, получая от нас пособия по безработице?

— Мадам. — Усатый вдруг повернулся к ней, и его туго накрахмаленный воротничок, казалось, скрипнул от напряжения. — Нас предупреждали, мадам, что разговоры в приемной мешают врачам.

Дама побагровела от обиды и величественно замолкла.

В помещении сгустилась напряженная тишина.

Легкий скрип двери заставил Исменя вздрогнуть.

Но это была всего лишь Нюньсик. Не было заметно, чтобы операция причинила ей какое-нибудь беспокойство. С радостным писком она пулей пересекла комнату и сразу же попала в пышные объятия матери, которая внезапно превратилась в обыкновенную клушку, суетливо хлопчущую над потерянным и вновь найденным цыпленком.

— А я была умница, а ты дай мне новую куклу! И мороженое!..

— Следующий! — донеслось из-за приоткрытой двери.

Усатый встал, как на шарнирах, неловко прижал к себе мальчика, отстранился.

— Ну, иди...

И пока тот шел, вяло перебирая ногами, усатый все смотрел ему в спину. За мальчиком закрылась дверь. Усатый обернулся, его глаза на мгновение встретились с глазами Исмения, и Исмений чуть не вскрикнул — такая в них была волчья, глухая тоска.

Усатый молниеносно потушил взгляд, закашлялся и сел, ни на кого не глядя.

Так он знал! Пол закачался под Исменем. Усатый, бесспорно, знал. Может быть, и дама знала?! Все они все знают? Шли, зная, что ждет их детей, что ждет их самих, и все-таки шли! Убежденные, что так надо. Убежденные, что ничего не изменишь. Скованные страхом, пылающие верой, шли! Неся маски на лицах, шли!

— Кхе... — сказал усатый.

Исмений с надеждой вскинул голову. Дама ушла, они одни, одни...

Однако ничего не случилось. Усатый сидел, строго выпрямившись, как памятник самому себе. Если что и было теперь на его лице, так это долг и смирение.

Исмений опустил голову. Нелепой была надежда, что здесь, где по углам наверняка запрятаны микрофоны, будут произнесены какие-то слова. Да и к чему они сейчас?

Он встал. Воздух давил на грудную клетку, как могильная плита. Пластик глушил стук шагов, и Исменю казалось, что это удаляются звуки внешнего мира, а он остается один, один среди молчания и света.

— Папа, сядь ко мне...

Исмений медленно обернулся. У него возникло странное ощущение, что он видит сына откуда-то издали и видит в последний раз. Он сел в испуге, провел ладонью по мягким, теплым, пахнущим чем-то родным и уютным волосам сына, тот, ласкаясь, потерся щекой о его плечо, и острая, как клинок, ненависть ударила Исмения в сердце. Сволочи, сволочи, какие же сволочи! Растоптать себе подобных, сделать из жизни кошмар — и все это ради сохранения своей власти, своих денег, своей прибыли, своей «сладкой жизни», — только ради этого. Они и взрослых бы оперировали, да вот затруднение, наука

еще не дошла... Несущая черный крест алчность! Мало им было паучьей свастики!

Горькую и мстительную радость Исменю доставила мысль о том, что это преступление в конечном счете погубит преступников же. Стадо не способно к возмущению — естественно. Зато оно не способно и к творчеству, ибо только личность создает новое. Очень скоро их страну обгонят и в науке, и в экономике, и в культуре, а уж о морали и говорить нечего. И тогда — крах! — их раздавят, как пустой орех. И те, кто в своем безграничном тупоумии затеял все это, погибнут тоже. «Я тоже погибну, — подумал Исмень. — Может быть, еще раньше. Ну и пусть».

Но прежде он выполнит свой долг перед сыном.

— Следующий!

Исмень сжал руку сына. Он заранее предупредил его, что тот должен разрешиться, едва последует вызов в операционную. И теперь он напоминал ему.

Но сын лишь оцепенело смотрел на отца.

— Следующий! — нетерпеливо напомнил голос.

— Мэт... — прошептал Исмень.

И то ли сына напугало выражение отцовского лица, то ли просто миновал неожиданный шок, но только его рот судорожно дернулся, и он заревел — безудержно, отчаянно, во всю силу своих легких.

Выскочивший врач отчаянно замахал руками на неловко хлопчущего Исмения:

— Тише, да тише же! Уймите его, наконец!

— Господин доктор, мне кажется, будет целесообразным, если во время процедуры он сможет видеть меня. Я полагаю, что этот плач...

— Ох уж мне эти родители-воспитатели! — в сердцах буркнул врач, свысока разглядывая ревущего мальчишку. — Пожалуйста, присутствуйте, если это успокоит его. Мы не можем обрабатывать истериков...

— Мэт, Мэт, — зашептал Исмень, опускаясь перед сыном на корточки. — Да успокойся же... Дядя разрешил, папа будет с тобой рядом, ну пойдем, пойдем...

На это Иسمень и рассчитывал. Ему нужно было находиться возле сына, когда того начнут оперировать, и он знал, что в подобных случаях это не возбранялось.

Подводя к дверям все еще плачущего сына, Иسمень быстро прикрепил к его затылку крохотный магнит. Теперь все зависело от усиков-держалок. И от внимательности врачей, конечно.

Обнимая сына, Иسمень переступил порог.

Кабинет более всего напоминал собой лабораторию, и, как во всякой лаборатории, вид громоздящихся друг на друга измерительных приборов, разлапистых установок, оплетенных кабелями и шлангами, производил впечатление чего-то временного, хаотичного, поспешного. Слева, ярко освещенное рефлекторами, стояло кресло, похожее на зубоврачебное, справа, за шкафами контрольной аппаратуры, стоял обычный канцелярский столик, заваленный перфолентами и скупо освещенный переносной лампой.

— Сюда, — сказал человек, сидевший за столом. — Имя? Фамилия? Год рождения?

Человек привычно сыпал вопросами, его руки с бесстрастностью приборов кодировали ответы, лицо не выражало ничего, кроме делового равнодушия, и было сделано, казалось, из серого папье-маше. Поглаживая вздрагивающие плечи сына, Иسمень отвечал с той же привычной механической быстротой. Что бы ни происходило с человеком — женился ли он, поступал на работу, заболел, попадал под суд, — всему этому неизбежно предшествовала точно такая же процедура вопросов-ответов. И, лишь умирая, человек избегал этой механической операции заполнения анкет, этого социального рентгена, неизбежного для всех. Но тогда отвечать приходилось родственникам, друзьям, даже посторонним людям. Человек мог умереть и быть похороненным без устаревших церковных обрядов и доброго слова других людей, но без процедуры составления документов — никогда.

Мальчик успокоился и только слегка всхлипывал. Иسمень, погладив его по голове, еще раз проверил, как держится магнит. Тот держался прекрасно, но волосы, увы, едва прикрывали его.

Регистратор ушел за перегородку и там зашуршал своими перфолентами.

— Усаживайтесь, молодой человек, — сказал врач, показывая на кресло. — А вы сидите там... — махнул он Иسمеню.

Два серебристых конуса на шарнирах по бокам спинки кресла, медные подлокотники, какие-то металлические жгуты с присосками, мигающая рябь огоньков на пульте контрольного аппарата... Исмень знал, зачем эта аппаратура, что она делает и как. Он сам участвовал в разработке некоторых ее деталей! И хотя ему, как и другим, никто не объяснял, зачем они нужны и как будут использоваться в совокупности, шанс догадаться был, и чистая любознательность подтолкнула Исмения к далеко идущим выводам.

Лучше бы он ничего не знал!

Сына усадили в кресло, закатали ему рукава, змеящиеся датчики оплели запястья, лоб обхватил обруч. Кресло словно присосалось к мальчику.

Врач и его хмурый помощник делали все быстро, не глядя, так, если бы в их руках находился не ребенок, а кукла.

Стук собственного сердца оглушал Исмения.

Лицо сына казалось нестерпимо отчетливым в жестком свете рефлекторов. В расширившихся черных глазах, быстро сменяя друг друга, чередовались любопытство, страх, растерянность. Под глазами темнели грязные потеки недавних слез, губы вздрагивали. Когда его ищущий поддержки взгляд вцепился в Исмения, тот нашел в себе мужество и ободряюще улыбнулся. Губы сына перестали дрожать.

— Телескопируем!

Повинуясь приказу врача, помощник нажал кнопку на пульте, и серебристые конусы пришли в движение, приподнялись, с двух сторон нацелились в голову сына.

— Ток!

Исмень сжался, больше не чувствуя собственного тела. Наклонившись, врач проверял положение конусов. Помощник сидел за пультом. Разноцветные отсветы огоньков играли на его сосредоточенном, неподвижном, как у идола, лице.

Шкала магнитометра находилась от него справа. Но ведь, кроме нее, было еще множество других, не менее важных шкал! «Только бы он не взглянул туда!» — молил Исмень.

Врач все еще проверял положение конусов, держа перед глазами визирующий стереообъектив. Между остриями уже пуль-

сировало невидимое магнитное поле. Через несколько секунд оно должно было сжаться в узкий и мощный луч, точно нацеленный на тот еще недавно неведомый участок мозга, где жизненный опыт и воспитание фиксировали в нервных клетках неуловимую и расплывчатую субстанцию, испокон века именовавшуюся совестью.

Сейчас будет произнесена последняя команда...

— Скажите, пожалуйста, если ребенок вскрикивает по ночам, то следует ли показать его психоневропатологу?

Исмень выпалил эту отвлекающую фразу, не слыша собственного голоса.

Оба — врач и помощник — сделали одно и то же досадливое движение рукой.

— Не мешайте! — рявкнул врач. — Поле!

Крохотный магнитик, спрятанный в волосах сына, должен был исказить и обезвредить разящий луч. — Исмень все рассчитал точно. Дальнейшая судьба сына и его самого зависела теперь от внимательности помощника.

— Извиняюсь, я только хотел спросить...

Спина врача окаменела от ярости. Взгляд помощника метнулся было к глупо улыбающемуся Исменю, но задержался на пульте и...

Помощник смотрел на магнитометр, который, разумеется, фиксировал искажение поля.

Исмень закрыл глаза. Его невесомое тело куда-то поплыло, и он даже почувствовал облегчение.

Все кончено. Сын погиб. Сейчас с грохотом будет отодвинут стул... Потом арест, тюрьма, а может быть, и казнь.

В тишине слышалось напряженное гудение трансформатора.

С усилием, почти болезненным, Исмень приоткрыл веки.

Этого не могло быть! Но это было. Помощник все еще сидел за пультом, устало следя за показаниями приборов и что-то регулируя верньером. На шкалу магнитометра он уже не смотрел. И нельзя было понять, думает ли он о чем-нибудь, волнуется, сочувствует... Лоб в тонких прорезях вертикальных морщин, нездоровые круги под глазами, вялый подбородок — лицо, каких тысячи.

— Сброс!

Врач выпрямился, гудение трансформатора умолкло, помощник откинулся на спинку стула.

— Вот и все, — сказал врач. Только сейчас Исмень заметил, как устало обвисли на его теле складки белого халата. — Забирайте парнишку.

Теперь кресло освобождало мальчика, и, пока это длилось, Исмень понял, отчего Мэт за все это время даже не всхлипнул: он попросту оцепенел от страха. Как тогда, в приемной.

На негнувшихся ногах Исмень подошел к креслу, взял на руки сына, сказал врачу «спасибо» и, повернувшись к помощнику, тоже сказал «спасибо». Здесь его голос дрогнул, так много чувства вложил он в это обесцвеченное эпохой слово, но помощник ничего не ответил и даже не посмотрел на него.

На улице кружила мокрая ноябрьская метель, когда Исмень вышел с сыном из клиники. В полужастывших лужах осколками дробилось отражение угрюмых, потемневших зданий. К сыну уже вернулась жизнерадостность, он спешил с вопросами, на которые Исмень односложно отвечал «да», «нет», пока не прозвучал вопрос о магните:

— Пап, а зачем ты запрятал мне в волосы эту штуку?

Исмень оглянулся. Прохожих вблизи не было.

— Так было надо, малыш, — сказал Исмень, заглядывая в лицо сына. — Так надо. Но ты никому и никогда не говори об этом. Никому и никогда. А если, не дай бог, и проговоришься, то скажи... скажи, что просто выдумал. Понял?

Сын удивленно посмотрел на отца, ведь тот никогда не учил обманывать. Он слушал, по-взрослому сдвинув брови, потом кивнул:

— Да, пап.

«Вот я и преподал ему первый урок лжи, — подумал Исмень. — А сколько их еще будет!»

Все только начиналось. Сына предстояло обучить умению не выделяться среди лишенных совести сверстников. Всюду и везде одинокий, всем и вся чужой — выдержит ли он это?

И сохранится ли в нем человек?

Поблагодарит ли он когда-нибудь отца за сегодняшнее или, наоборот, проклянет?

Сын молча шагал рядом с Исменем, держась за его руку.

ПРАКТИКА ВООБРАЖЕНИЯ

Темин проснулся легко, быстро, с чувством счастья. Лежа, отдернул полог палатки и близко увидел травяные джунгли, зеленый мир с солнечными прогалами, в которых радужно блестя росинки, темную чашу стеблей и на ближнем — жука с фасеточными глазами марсианина.

— С добрым утром! — приветствовал его Темин. Слова качнули ветерок, жук колыхнулся и неодобрительно повел усами.

Темин, сам не зная чему, радостно улыбнулся и выскочил из палатки.

— Наконец-то! — прогудел Игин. Круглые очки профессора укоризненно блеснули. Голый по пояс и косматый, держа в руке нож, он восседал перед плоским камнем, на котором был аппетитно разложен завтрак. Розовую спину профессора окуривал дымок полупотухшего костра.

Темин легко сбежал к берегу, в лицо ему плеснулось отраженное гладью солнце. От босых ног врассыпную брызнули мальки. Холодок воды чулком стянул икры.

— Знаешь, чего в такое утро недостает? — крикнул Темин. — Полетать перед завтраком. Просто так, без ничего. Жаль, что это невозможно.

— То есть как невозможно?! — Темин не видел профессора, но знал, что и очки его, и руки, а если в руке был нож, то, значит, и нож пришли в движение. — Полетаем без ничего, очень даже летаем!

— Силой мысли, что ли? — Темин плеснул воду на уже нагретые солнцем плечи и блаженно поежился.

— Именно так! Ключ ко всем сокровищницам — мысль. Это Бальзак, читать надо классиков! Представь у себя за плечами шарик вроде детского...

— С водородом? Не потянет.

— Классический пример инерции мысли! — донеслось сзади. — Почему водород? Возможен куда более легкий газ. Протон и электрон — вот что такое атом водорода. Протон — тяжелая частица, так заменим ее! Построим газ из менее массивных. Мюонный газ, а? Чувствуешь, какая будет подъемная сила! Ого-го!

— Все равно не потянет. Закон Архимеда!

— А крылья, крылышки на что? Наших мускульных усилий чуть-чуть не хватает, чтобы свободно парить на крыльях. Нужна подъемная сила. Тогда полетаем!

— Да будет так, — благосклонно согласился Темин.

В два прыжка он достиг каменного стола с выбитыми на нем полустертыми рунами (на этой плите не иначе как трапезовали варяги) и принялся уплетать завтрак.

Третий день они стояли на берегу укромного лесного озера, где все было наслаждением — еда, солнце, рыбалка, шум сосен, само дыхание, наконец. Как это, оказывается, замечательно — дышать! Или валяться в траве. Ходить босиком. Пить родниковую воду. Подставлять тело солнцу. Удовольствия каменного века, черт побери, не жаль ради них машину, которая прошла сюда, как танк, и теперь стоит, отчужденно глядя на все белесыми фарами.

Зорьку они проспали, ну да ладно. Их уже сжигало нетерпение. К счастью, сполоснуть кружки и протереть миски песком было делом нескольких минут.

— Проклятие... — беззлобно выругался Темин. Сталкивая лодку, он оступился, и нога ушла в вязкий ил. — Почему нам так неприятна эта жижа? — сказал он. — Герр профессор, нет ли у вас, случайно, гипотезы и на сей счет?

— Есть, — отозвался Игин. Он сидел на корме и рассеянно улыбался. — В нас живет память тех существ, которые триста с лишним миллионов лет назад выбирались из моря на сушу. Бедняги столько раз задыхались на топких берегах, что эти муки запечатлелись в геномном потомков...

— Ну, знаешь! — Темин налег на весла. — Обычное объяснение, по-моему, куда справедливей. Мы не любим топь, потому что в ней опасность. Поражаюсь твоей способности превращать очевидное в тайну и простое объяснение подменять невероятным.

— А что мы знаем о простом и невероятном? — Профессор уже размотал удочки, но ему никак не удавалось насадить верткого червя, и ответ прозвучал чуточку раздраженно. — Вода под нами — это просто? В корнях деревьев она имеет одну структуру, в листьях — другую, здесь — третью. Без нее нет жизни, но чистую, совершенно чистую воду пить в общем-то нельзя. И так во всем. А ты мне говоришь... Ай!

Последнее восклицание относилось к банке с червями, которая выскользнула из рук профессора. Банка была стеклянной и, естественно, треснула.

— У меня есть тесьма, обвяжи, — сдерживая улыбку, посоветовал Темин. — Не хочу рассуждать о высоких материях! — объявил он внезапно. — Хочу просто подставлять бока солнцу, просто ловить рыбу...

— Ты не ценишь удовольствий контраста, — кратко возразил Игин. — Все утопии на тему «как сделать людей добродетельными и счастливыми» считали контраст злейшим врагом добродетели и вводили — посмотри у Платона! — жесточайшую регламентацию, забывая...

— Ш-ш... Приехали.

Нос лодки ткнулся в крохотную бухточку, над которой склонился куст черной ольхи. Тут было глубоко. А чуть в стороне, в пределах заброса находился песчаный пережат, где любили крутиться юркие окуни. Темин закорил лодку и поспешно размотал удочку. Профессор все еще возился с банкой, и первым закачался поплавок Темина. Теперь в мире ничего не существовало, кроме этого настороженного поплавка, кроме длинного удилища и лески, чутко связавшей человека с темной глубиной озера.

Поплавок слабо притопило. «Ну, ну...» Весь подавшись вперед, Темин слился с удочкой.

На воде плясали блики. Поплавок дернулся, нырнул. Темин подсек, рука, ликуя, ощутила чудесную тяжесть сопро-

тивления. Леска описала дугу, и в ногах Темина запрыгала серебристая плотва.

— А у меня не клюет, — огорченно заметил профессор. Он пожирал взглядом поплавок.

Тщетно. Теперь перестало брать и у Темина. Он уменьшил спуск, попробовал и на перекате, и у берега, в глубине и на мелководье. Сонно сверкала вода. Чуть шевелилось переломленное зыбью отражение осоки. На поплавок уселась стрекоза.

— Хоть бы вы, наука, — в сердцах сказал Темин, — придумали такую приманку, чтобы рыба кидалась на нее, как кошка на валерьянку.

— Можно, — подумав, ответил Игин. — Можно, но не нужно.

— Почему?

— Во что бы тогда превратилось ужение? В вытаскивание. В дело. Прелесть любого занятия — в его неопределенности.

— Темно вы говорите, герр профессор!

— Куда ясней! Почему интересно искать грибы и скучно копать картошку? Потому что картошка — это верняк, а грибы — нет. Неисполнение желаний мы считаем злом. Но каким страшным злом было бы немедленное исполнение всех желаний!

— А я сейчас, кажется, минутами жизни платил за каждый клевок! Сменим место?

— Не возражаю.

На новом месте, у камышей, их удочки также поникли над ослепительной водой, как и на старом. Темин и наживку менял, и поплавок шевелил, и хлебные крошки сыпал — все напрасно. Глубины, казалось, вымерли.

Не выдержав, он повернулся к удочкам спиной и вытянул ноги.

— Ведь ходит же! — сказал он возмущенно. — Ведь много же ее! Неужели она так сыта, что на вкусного, свежего червя ей и глядеть неохота?

— А может, ей сейчас интересней созерцать, — спокойно заметил профессор.

— Кого созерцать — червя?

— Хотя бы.

— Да зачем ей созерцать-то?

— А зачем животным спать?

— Ну, это понятно. Для восстановления сил.

— А тебе не приходило в голову, что сон — весьма странное явление? Во сне животное беззащитно. Так? Так. Быть может, сон неизбежен физиологически? Доказано, однако, что такой неизбежности нет. А раз у бессонных, так сказать, существ есть преимущество над сонями, то почему эти последние не погибли? И даже резко преобладают? Потому, очевидно, что сон дает какие-то особые преимущества, куда более существенные, чем недостатки. То же самое, очевидно, и с созерцанием.

— Уф! — Темин помотал головой. — Никак не могу понять твоей страсти фантазировать по любому поводу. Ты же ученый.

— Вот именно.

— Что именно?

— Ученый и должен фантазировать.

— А я-то думал, что он должен ставить эксперименты, логически выверять каждый свой шаг и все такое прочее.

— И это тоже, конечно. Но фантазия — метод далеко не второстепенный.

— Метод?

— А как же! Ты согласен с тем, что наука пытается познать всю бесконечную вселенную, а не просто какую-то ее часть?

— Разумеется.

— Но в бесконечной природе и число явлений должно быть бесконечно, не так ли?

— Да, очевидно.

— Тогда вспомни, как ты ищешь грибы или ягоды.

— Как я ищу? Брожу, высматриваю, наклоняюсь.

— Это внешнее действие. А есть внутреннее. Бессознательно ты вызываешь в памяти нужный образ, настраиваешь глаз на выделения объекта из множества прочих. Ну а как быть с объектом, чей образ неизвестен, в памяти не хранится и выделен быть не может? Вот камыши. Видел ты когда-нибудь личинку стрекозы?

— Нет, хотя слышал, что это хорошая наживка.

— Хорошая... Эх ты, рыболов! Отличная! Но дело не в этом. Сейчас личинка находится неподалеку от тебя, я ее вижу, и ты ее видишь. Попробуй найди.

Темин пожал плечами, но из любопытства взглянул на камыши. Вгляделся. Стебли, листья, синекрылая стрекоза, водомерки, отражения в воде, блики, коряга, кувшинки, снова стебли, какое-то мочало в стеблях — не то, мимо, прочь...

— Так, — удовлетворенно прокомментировал Игин. — Бьюсь об заклад, что вот эти желтые пятнышки на листе, к примеру, не удостоились твоего внимания. Еще бы! Ты сразу отбросил лишнее, чтобы сосредоточиться на небольшой группе признаков, которая позволила бы угадать — я не напрасно применил это слово? — нужный тебе объект. Нашел его?

Темин с досадой помотал головой.

— А ведь ты несколько раз скользнул по личинке взглядом. Да, да, я проследил! Между прочим, у нее очень выразительная внешность. Вот она. Каково страшилище? Но тебя почему-то больше интересовало то, что над водой, а она в воде — сидит там, на стебле.

— Положим, таким способом и я тебя могу подловить, — буркнул Темин.

— Не сомневаюсь. Но согласись, что даже в такой простой ситуации тебе пришлось туго, хотя ты заведомо знал, что личинка не может быть ни облаком, ни кувшинкой, ни водомеркой. А каково неизвестно где искать неизвестно что? Вот рассуди: могла бы при дворе фараона гореть электрическая лампочка? Не смейся. Для этого нужен источник тока; можно обойтись простым, но сильным гальваническим элементом. Необходимые электролиты, металлы египтянам были известны. Остается выковать проволочку, взять два угольных стержня, свести их — и вот вам, пожалуйста, электрическая дуга! Все в пределах тогдашних возможностей. Но надо искать «неизвестно где неизвестно что...». Внимание ученых больше обращено на совершенные, чем на несовершенные, открытия. На то, что им предшествовало, а не на то, что за ними последовало. Сменим точку зрения. О, тут открываются любопытные вещи! Стоит кому-нибудь обнаружить новое явление, как тотчас все замечают его повсеместность. Открытие радиоактивности урана быстро потянуло за собой открытие множества радиоэлементов и радиоизотопов в горных породах, воде, везде, всюду. Изобретение сонара раскрыло глаза на роль звуколокации в живой природе.

де. Едва был создан мазер, как мазерное излучение обнаружилось в далях Галактики. Раньше глаз, что ли, не было? Они-то были, узнавания не было. Потому любой ищущий делает то же самое, что делал ты. Мы рисуем в воображении модель возможного явления, строим некий гипотетический образ и сверяем его с действительностью. Но разнообразие явлений бесконечно. Собственно, получается так, что любому придуманному явлению, если оно не противоречит законам природы, в той или иной мере соответствует реальный аналог.

— Уф! — сказал Темин. Он с тоской покосился на замершие поплавки. — Более чем любопытно. Но, если все так, как ты говоришь, должна оправдываться любая гипотеза, даже фантазия.

— Ты забываешь, что мы видим лишь то, что нам позволяют видеть наши глаза и приборы. Вне их возможностей мы слепы. И еще мы ограничены в общем-то Землей, ближним космосом, где, естественно, не может проявиться все разнообразие природы. Глубины вселенной мы едва различаем. Но зачем из-за этого ограничивать поле мысленных экспериментов? Если бы у нас было не четыре, а четыреста удочек, то даже сейчас у нас бы клевало. Метод, которому многие следуют бессознательно, я применяю осознанно. В неведомое я стараюсь закинуть как можно больше удочек, любых, подчас наобум, куда никто никогда не закинет. Порой я говорю дичь? Возможно. Но еще никому не удавалось развить способность без тренировки. Сознаюсь: здесь, на отдыхе, я широко открываю шлюзы, потому что ты не исследователь. Среди коллег я предпочитаю не рисковать репутацией серьезного ученого.

— Это пахнет конформизмом.

— Есть правила рыбной ловли, и есть правила научной благопристойности.

— Да, понимаю. Слушая твои дикие парадоксы, даже я порой себя спрашиваю — всерьез он или смеется?

— Неизвестное и должно быть парадоксальным, иначе это общее место.

— Хм... Хочешь, я тоже выдам дикий парадокс?

— Еще бы!

— Ты заклинаешь явления.

— Как, как? — Лодка под профессором заколыхалась. — Заклинаю? А знаешь, ведь это неглупо! В чем смысл многих табу — не поминай дьявола, не произноси имя злого духа? В убеждении, что слово материализует призраки воображения. Чепуха, конечно, но дыма без огня не бывает. Древние смутно чувствовали в этом какую-то правду, мы сейчас понимаем какую. И заклинаем по-научному. Спасибо за парадокс.

— К вашим услугам, герр...

Темин рванулся, едва не опрокинув лодку. Клевало! Вмиг были забыты все рассуждения по поводу науки, и сама наука, и профессор с его парадоксами — клевало! Энергично, уверенно. Темин подсек и, трепеща от восторга, выбросил в лодку приличного окуня.

И началось! Брало с налета, на любого червя, на огрызок червя, на видимость червя. Это было какое-то неистовство. Добро бы попадались только окуни — подошла стая, все ясно. Но попадались и плотва, и подлещик, даже щуренок повис на крючке.

Они вернулись, когда солнце миновало зенит, а голод свел желудки. Все же Темин не удержался и, спрыгнув на мелководье, кинулся в погоню за раками, которые, оставляя туманный след взбаламученного ила, спешили укрыться под корягами. Накидав их в ведро, Темин завел лодку на берег и принял-ся разжигать костер.

После обеда оба впали в состояние легкой прострации. Все было так хорошо, что лучшего и не желалось. В высоком небе кулисами белели облака, кроны сосен казались тихо плывущими. Прокаленное солнцем тело нежил ветерок. Он перекачивал смолистый запах хвои, тепло нагретой почвы, аромат трав, доносил дыхание озера. Лениво взъерошив кустик черники, который был тут же рядом, Темин сорвал несколько крупных с сизой изморосью ягод и окончательно понял, что жизнь прекрасна.

Поздней они купались, собирали ягоды, опять купались и на зорьке снова ловили рыбу, так удачно, что вернулись только в сумерках.

Затухла алая полоса заката. Костер, слабо потрескивая, сыпал искрами, которые плавным столбом уходили в небо, что

обещало еще один солнечный, долгий, блаженный день. Искры гасли почти одновременно, редкие одолевали незримую черту смерти, и Темин долгим взглядом следил, как они очерчивают мрак и одиноко исчезают в нем — сразу, мигом, бесследно, будто и не было дрожащего золотистого полета. Но на смену им летели новые и также гасли одна за другой. А там, куда они стремились, за мраком спокойно и ровно светили звезды, тоже искры, но неподвижные и даже в лучистой близости холодные.

— Чудно, — задумчиво проговорил Темин. — Мой взгляд, если вдуматься, пересекается со взглядами тех, кто смотрит в небо с других планет. Должно быть, порой мы смотрим друг другу в глаза...

Он помолчал и добавил:

— Если там есть кому смотреть.

— В том нет никаких сомнений, — зачарованно глядя в костер, сказал Игин.

— Хотелось бы верить, — вздохнул Темин. — Но так ли это? Те, кто ушел далеко вперед, дали бы о себе знать. А они не дают. Не могут, не хотят или их просто нет.

— Или они просто ждут.

— Ждут? Чего?

— Понимания.

— Очередной парадокс?

— Нет, все это весьма тривиально, а потому скорее всего неверно.

— Они что, следят, по-твоему, за мыслями людей, ждут, пока мы, так сказать, созреем для контакта?

— Ну, для начала нас не должен испугать их способ завязывания контакта.

— А я не из пугливых. Хочу контакта с братьями по разуму! Хочу-у!

— Действительно хочешь?

— Что за вопрос? Конечно.

— Даже сейчас, когда нам так хорошо?

Темин беспокойно заерзал.

— Ну да, а что? Кстати, что ты имеешь в виду, говоря о пугающей технике контакта?

— Я не совсем точно выразился. Просто наилучший способ контакта может нам показаться диким настолько, что мы неправильно его истолкуем. Тогда все сорвется. Сейчас наша мысль приемлет ничтожное число форм контакта. Ну прилетели, ну послали сигнал... И все почти. А теперь представь себе такую ситуацию. Поднимаюсь я, допустим, на трибуну и проникновенно говорю в микрофон: «Здравствуйте, дорогие братья по разуму, пора объявить, что я вовсе не человек, а киберпришелец, сын пришельца, внук его и правнук, поскольку наш род живет на Земле еще с допотопных времен». Как на такое заявление, потвоему, отреагируют лучшие умы планеты? Возьмут они меня за белы ручки — да в сумасшедший дом.

— И будут правы.

— О том и речь. О неподготовленности сознания.

Темин представил профессора в роли киберпришельца, усмехнулся, с деланым возмущением фыркнул:

— Вот ты объяснил свой метод, а все-таки я не могу избавиться от впечатления, что ты разыгрываешь меня, простого и простодушного неуча.

— Клянусь, что нет, хотя лично я — не пришелец!

— Однако твой кибер под маской человека, как хочешь, — бред:

— Почему? — изумленно всколыхнулся Игин. — Допустим, ты попал в чужой город. Допустим, тебе нужен там человек, адреса которого ты не знаешь. Ты же не станешь бродить по улицам наугад, кричать с площади: «Иван Сидорович, отзовись!», хотя в деревне такой способ еще приемлем. Сложной системе присущи сложные и разнообразные связи. Город — сложная система, вселенная тем более. Отсюда следует, что в необозримых безднах пространства и времени никто никого не будет искать наобум. Поиск в пространстве для нас не новость. Но во времени?! Сто миллионов лет назад некая цивилизация вышла в Галактику: как ей установить связь с человечеством, которое, возможно, будет, а возможно, нет, и если будет, то неизвестно когда? Как уловить благоприятный момент столетий и даже десятилетий? Дежурить постоянно? Летать миллионы раз? Чепуха! Вывод: если кто-то когда-то посетил Землю, то его нельзя заподозрить в скудоумном намерении воздвигнуть какую-нибудь там Баальбекскую веранду. К проблеме он подошел с умом, например, оставил письмо «разуму, до востребования».

— Фью! — разочарованно присвистнул Темин. — Это идея примитивных фантастических романов — какой-нибудь там памятник на оборотной стороне Луны.

— Нет, это совершенно другое.

— Все равно примитив. Уж лучше киберпришелец в маске. Не существует конверта, который бы сохранил послание. Горы? Они рассыпаются за миллионы лет. Спутники? Время растворяет их, как сахар в кипятке.

— И все же материал, для которого десятки, даже сотни миллионов, лет ничто — существует. Это живое вещество.

Крякнув, Темин уставился на профессора, очки которого пылали розовым отблеском костра.

— Я — пас. — Темин лег. — Ты побил все рекорды фантазии.

— Да открой же в конце концов глаза! — рявкнул Игин. Сильным ударом палки он выбил из костра сноп искр. — Чем оригинальней идея, тем чаще она в первую минуту воспринимается как глупость, но ты же умный человек! Чем отличается современная латимерия от той, что жила двести миллионов лет назад? Практически ничем. А скорпион, который благополучно существует триста миллионов лет, перенес все геологические катаклизмы и на наши штучки с загрязнением природы взирает с ленивым благодушием: «Ничего, и не такое бывало — перезимуем». Вот готовые конверты, куда лишь остается вложить письмо.

— Ничего себе — вложить, — смущенно пробормотал Темин. — Между теперешним скорпионом и древним — миллионы трупов. Это вам не эстафета.

— Как раз эстафета, именно эстафета! Передача одних и тех же признаков, генетическая цепь, протянутая сквозь геологические эпохи. Предположим, на Земле побывали пришельцы. Кругом бродят динозавры, разум когда-то будет, надо оставить ему послание. Берут они того же скорпиона и вносят в его генетическую программу такие коррективы, которые превращают его в живого робота. Сменяются миллионы лет, ползают по земле существа, никакие они не пришельцы, только есть у них какие-то непонятные ученым органы. Кстати, такие органы есть у многих древних животных. Разумеется, мы полагаем, что эти загадочные устройства зачем-то нужны, мы даже объясняем их назначение. А если не так? А если это анализаторы, встроенные чужим разумом? А вдруг они предназначены для анализа нашей речи, радиопередач

или еще чего-нибудь? И есть устройство, посредством которого сквозь время до нас дойдет голос иного разума?

— Ува-у! — взревел Темин. — Хорошо, что этого нет!

— Нет, потому что не может быть никогда?

— Не потому. Сколько тысячелетий прошло, а ни звука.

— И молвил кот человеческим голосом: «Я к вам с приветом от сириусян». Его — за связь с дьяволом — в костер.

Темин задумался. Жарко пылали угли костра, и тем гуще, чернее казалась ночь. Темно и тихо было над озером, над лесом, так тихо, что в душу невольно закрадывалась жуть. И так спокойно, что эта капелька жути была приятна, как горечь в табаке. Темин встал и сладко, долго потянулся.

— Развлечения тела и духа, — сказал он, зевая. — Сначала, как велит материализм, тела, а уж потом духа. Очень приятно пофилософствовали. Однако, пожалуй, и спать пора?

Игин кивнул:

— Здравая мысль.

Немного помедлив, он поднялся, залил костер.

— Точно живое существо убиваешь... — пробормотал он, когда с шипением угас последний уголек.

Темин в знак согласия наклонил голову.

— Хорошо-то как, — вздохнул Темин, умащиваясь в спальном мешке. — Встанем на зорьке, рыба будет играть, туман над водой — прелесть.

— Уже сплю, — сонно отозвался профессор.

Совсем тихо стало на озере. Спал воздух, дремали сосны, в излуине над болотцем слабо белела полоса тумана, и только в воде мерцало отражение звезд да в омуте чуть слышно плескалась ночная рыба.

Потом зазвучал Голос:

— Мы изучили ваш разговор, мы долго ждали понимания, к вам обращается разум иного мира, это попытка контакта сквозь время...

Голос, негромкий, отчетливый в тишине, исходил оттуда, где в топком иле вяло копошились раки — существа куда более древние, чем первые поселения человека. Голос прошелестел над озером, взмыл над соснами, проник в палатку, коснулся ушей.

Но не получил ответа, ибо сон на озере после хорошего дня быстр, глубок и безмятежен.

ЗВЕЗДНЫЙ АКВАРИУМ

Полный оборот каждые семь с половиной минут. Третий месяц над ним кружили звезды. Третий месяц он был центром вращения светил, осью мироздания, избранником птолемеевской вселенной. В подлинной он значил меньше пылинки, и у него болели сломанные ребра.

Девятнадцать шагов по периметру тесных отсеков, четыре поперек и еще один вверх — здесь он почти ничего не весил. Ему уже не верилось, что в былой жизни он мог летать куда хотел, общался с людьми, волновался по пустякам и даже любил петь под гитару. Девятнадцать — четыре — один. Вперед и назад, туда и обратно, все. И навсегда.

От того, что было сразу после аварии, сохранилось впечатление долгих обмороков и мук, когда он ползал по разбитому кораблю, тщетно звал друзей, а глаза застилал липкий туман. Правда, действительность, видимо, была несколько иной. В те первые часы, как потом выяснилось, он сделал чудовищно много. Он еще помнил, как волочил протекторный баллон, как заделывал трещины, не очень даже соображая, чего ради пытается стать на ноги и поднять фыркающий пеной баллон. Но от стараний дать помещению тепло и воздух в памяти уцелели лишь проблески усилий отвернуть какой-то вентиль и тупое недоумение, с которым он разглядывал крошево деталей в агрегате, чье назначение ему, конечно, было известно когда-то.

Много позднее он поставил себе диагноз: сотрясение мозга. Мелкие повреждения вроде перелома двух-трех ребер были уже не в счет. А вот определить причину аварии он так и не смог. Была ли она связана с маневром близ астероида и, сле-

довательно, с ошибкой пилота? Или в критический момент сработал не так, как надо, двигатель? Разумеется, все это могла бы выяснить комиссия экспертов, но случай приведет ее сюда не раньше чем через десятки, а то и сотни лет.

Не удалось ему установить и то, как погибли двое его друзей. Их не было рядом, когда произошла катастрофа, — это он помнил. Но почему? Так или иначе они остались в отсеке, по которому пришелся удар. Возможно, их вынесло оттуда струей воздуха. Однако он предпочитал думать, что они погребены под обломками, потому что если их вынесло наружу, то скорей всего зашвырнуло на орбиту и он видит их тела точками среди звезд, когда смотрит в чудом уцелевший иллюминатор.

Впрочем, все эти мысли пришли потом. Первое время после горячечной деятельности он спал. Конечно, он просыпался и что-то делал, но ему казалось, что он видит бесконечный сон. Будто он заболел и лежит, как в детстве, на широкой постели, а за окном долгая, зимняя деревенская ночь, в которой кружится душная звездная метель. Она сыплется прямо на грудь, и нет голоса, чтобы вскрикнуть.

Перелом, с которого началось выздоровление, наступил внезапно. Он проснулся и встал. Тело болело, но голова была ясной и бодрой.

Он добрался до кресла перед иллюминатором и сел. Увидел черноту, звезды в ней и скалы, которые обрывались в бездну.

Потом он видел это множество раз. Скалы были неподвижны, а звезды вращались (на деле все, конечно, было наоборот). Звезды всходили и заходили — всегда в одном и том же месте. Попеременно чертило дугу крохотное солнце. Его тусклые лучи скользили по мраку черных глыб, ныряли в провалы и вскоре исчезали, чтобы неотвратимо возникнуть вновь, совершить прежний путь, коснуться тех же камней, словно их вел мертвый механизм копирографа.

Все одинаково повторялось в десятый, сотый, тысячный раз. Траектория звезд, тени на скалах скользили, как обороты беззвучных колес. Всегда, постоянно, с несокрушимой мерностью. Меняясь, здесь ничего не менялось. Двигаясь, оставалось неподвижным. Уходя, возвращалось. На человека глядело воплощение механического порядка. самого идеального,

тупого порядка, какой может взлелеять воображение. Власть законов природы тут заявляла о себе наглядно, без прикрас, грубо, как прутья тюремной решетки. Она не оставляла места случайностям, а значит, надежде.

И человек это понял. Он мужественно подвел итог. Никто не догадается искать его на астероиде. А если даже такая мысль кому-нибудь и придет, то ведь его астероид не занесен в каталоги и, следовательно, не существует для человечества.

Связь? То, что уцелело от установки, годилось для сборки вечного двигателя или иной бессмыслицы.

Выбор, таким образом, был предельно ясен. Можно сразу со всем этим покончить. А можно еще пожить.

Он с ненавистью взглянул на звезды. Их колкий далекий свет был беспощаден. Этот свет оледенел среди черных бездн, в нем не осталось ни тепла, ни надежды. Звезды уже убили его друзей. И ничто не изменилось в мире. Ничто, ничто!

Хриплый отзвук то ли рычания, то ли стоны привел его в чувство. Он в замешательстве уставился на свои стиснутые кулаки. Они дрожали. Темные набухшие вены оплетали их, как корневища подводных растений.

Его крик. Он кричал? Да.

— Это ничего... — тяжело дыша, пробормотал он. — Так может быть, так бывает, это не истерика...

Минуту спустя он сполз с кресла и, будто ничего не случилось, занялся инвентаризацией своего имущества. Прошрое он отсек. Теперь он все делал неторопливо, с нудной и безучастной дотошностью. Не потому даже, что от подсчетов зависела его судьба, а потому, что кропотливая деятельность придавала минутам какой-то смысл и отчасти избавляла от бесплодных размышлений.

Ворочаясь, как краб, он долго прибирал свою пещеру, кряхтя от боли, залезал в самые тесные углы, десятки раз все пересчитывал. Везде был хаос, торжество беспорядка и энтропии. Осколком стекла он порезал себе палец и долго с тупым изумлением смотрел на выступившую кровь. А потом забыл о порезе. Порой он сам себе казался Плюшкиным и удивлялся, что может так думать. При этом его сознание как бы раздваивалось. Одна его часть занималась делом, вела подсчеты, испытывала боль,

тогда как другая с холодным недоумением следила за всеми действиями первой. Но, в общем, ему было неплохо. Не закрадывалось даже тени страха, теперь он не переживал ничего такого, что вроде бы должен был переживать человек на его месте. Это его чуточку пугало. Но не помешало обрадоваться, когда удалось найти и собрать все фигурки шахмат.

Наконец работа была закончена. Пищи оказалось на много месяцев. Из девяти аккумуляторных батарей уцелело четыре. Этот запас надолго обеспечивал его теплом. Если, конечно, не тратить энергию ни на что другое. А ее придется тратить. Система регенерации воздуха, без которой он не прожил бы и минуты, вопреки вероятности тянула. Слабо, как пульс после шока, но с той поры, как он ее отладил, в отсеках смогло установиться то равновесие среды, какое возникает в аквариуме.

Аквариум! Этот образ вдруг поразил его. Глянув в иллюминатор на звезды, он ни с того ни с сего расхохотался. И смех не смогла унять даже боль в груди.

Аквариум, аквариум! Единственный, неповторимый аквариум среди звезд. Это очень смешно... Аквариум, в котором вяло перемещается рыба Петров. Личная, персональная рыба господа бога. Вместо лампочки ее освещает крохотное солнце. Она тычется в стенки, шевелит плавниками и о чем-то таком мыслит. Забавная такая рыба...

Он вскочил в ярости. Аквариум? Рыба? Сейчас он им всем покажет. Разнесет иллюминатор и...

Кому покажет?! Законам природы? Что он не рыба?

Руки тряслись. Он ошеломленно огляделся, будто хотел бежать, и сник. Все бесполезно. Все бесполезно, а потому из двух бесполезностей надо выбирать лучшую.

Так он решил жить. И не просто жить, а записывать все, что с ним происходит. Записи могли пригодиться тому, кто придет сюда через много-много лет. Чем — этого он не знал и знать не мог, просто верил, что пригодятся, должны пригодиться. Жизнь, таким образом, обретала какой-то смысл, а другого и не требовалось. Все люди смертны, в конце концов.

С тех пор прошло больше двух месяцев, а ему казалось, что вечность. Он спал, ел, описывал каждый свой шаг, смотрел на звезды, прибирал, чинил поломки, перемещался по своей

пещере, что-то бормоча под нос, играл сам с собой в шахматы. Иногда ему чудились голоса и фигуры, однако он знал, что так бывает в одиночестве, и не пугался. Больше всего ему досаждал благостный старческий голос, который, туманно намекая на свою причастность к законам природы, нудно убеждал, что все люди — рыбки в аквариуме, только не замечают этого, а ему, Петрову, явлена такая милость — заметить. Он и эти разговоры записывал.

Вопреки всему он не думал сдаваться. Он всегда был упрям. Он даже попытался слепить передатчик, зная заранее, что обречен на неуспех. Передатчик, конечно, не получился, а примитивный приемник он все же смастерил. Недели две приемник молчал и потрескивал, а потом донес голос, который сообщил, что некий футболист красиво забил гол. И это все, что удалось услышать.

Он отводил душу в записях. Это было делом самым главным и необходимым. Записи протягивали ниточку в будущее, к другим людям, которых он никогда не увидит, но которые прочтут и поймут, может быть, больше того, что он мог выразить словами.

Так длилась жизнь.

Скалы за иллюминатором, такие близкие и недоступные, манили его все сильнее и сильнее. Разумеется, он мог проделать отверстие и выйти, но неизбежный при этом расход воздуха сократил бы срок его жизни. Выйти он решил, когда будет уже все равно, не раньше. Тогда он доставит себе последнее удовольствие — побродить среди скал.

А пока он долгие часы проводил в кресле. Звезды двигались все так же монотонно, во внешнем мире ничего не происходило, но со временем он заметил, что место захода и восхода звезд постепенно сдвигается. Он заранее знал, что крошечные изменения в том, что он видит снаружи, должны быть. И все же это его почему-то поразило. Абсолютный порядок дал трещину! Мысли у него давно текли не так, как прежде, и проблема показалась ему новой и заманчивой. Что же получается? Законы природы неизменны, постоянны и всевластны. А раз так, все должно обладать постоянством на манер часового механизма. Все должно двигаться по кругу, и ничего нового про-

изойти не может. В принципе. Ведь новое — это отрицание прежних правил, а они незыблемы. Но в мире постоянно возникает то, чего прежде не было. Звезд не было — они появились. Зародилась жизнь. Потом разум. Как же все это совместить? Или круг столь необъятен, что глаз человека охватывает лишь ничтожную часть циферблата, а потому за новое принимает повторение старого? А может быть, иначе? Может быть, над всем стоит самый главный закон — закон развития?

Вопрос почему-то казался ему чрезвычайно важным. Самым важным. Он думал над ним непрерывно, даже во сне, но только все больше запутывался.

Солнце тоже слегка изменило свою траекторию и стало укрупняться. На мгновение затеплилась надежда, что орбита астероида сблизит его с Землей, Марсом или другими обитаемыми телами. Впрочем, надежда тут же погасла. Даже если это случится, то через много-много месяцев, когда ему будет все равно.

Все же он снова попробовал рассчитать орбиту астероида. Неповрежденных приборов астронавигации почти не осталось, считать приходилось без машины, так что результат получился весьма приблизительным. Тем не менее было ясно, что никакого сближения с обитаемыми мирами ждать нечего.

Вскоре, однако, он стал свидетелем еще одного изменения. Как обычно, он сидел и наблюдал за движением светил, когда с удивлением заметил, что две звезды, прежде чем нырнуть за горизонт, замерцали.

Он не поверил глазам и стал ждать. Новый оборот подтвердил наблюдение; и тогда он наконец понял, что означает это мерцание. Просто чуть теплее стал свет, и солнце теперь успевало за считанные минуты нагреть скалы. Там, очевидно, кое-где был лед, такой же черный, как все остальное. А может быть, все скалы были ледяными?

От нечего делать он стал рассуждать, создаст ли испарение какое-то подобие атмосферы или не создаст. Получилось, что не создаст.

Это его неизвестно почему расстроило. Обидело. Попросту его лишили зрелища! Еще лучше было бы превратиться в комету. Пусть самую плохонькую. Мелькнуть напоследок в телескоп, привлечь внимание двух-трех астрономов; его стали бы

наблюдать, заносить в каталоги, классифицировать. То есть не его, конечно, но все равно забавно. Сидит себе такой астроном, смотрит в свою оптическую трубу, исчисляет заурядную комету и не подозревает даже, что никакая это не комета, а звездный аквариум, откуда ему машет человек Петров. Вот бы астроном выпучил глаза, шепни ему кто, как обстоит дело в действительности.

Но кометы не будет. Заурядной, незаурядной — никакой. С законами не поспоришь. Комета Петрова не состоится, и думать об этом нечего.

Вздохнув и отругав себя за глупые мысли, он встал, было поплелся прочь от иллюминатора, как вдруг остолбенел. Если астероид сам не может превратиться в комету, то почему его нельзя сделать кометой?!

Потрясение было так велико, что он в испуге зажмурился. Что за наваждение? Какой бес его попутал? Разве это возможно? И в сознании опять будто сверкнула молния: это возможно!

Ослабев, он сел в кресло.

Что, собственно, такое — комета?

Длинный газовый хвост, который светится в лучах солнца. Испаряется ледяная головка, и от нее наподобие дыма костра волочится шлейф. Вот, собственно, и все. Но разве он в состоянии разжечь костер?!

Он вскочил и заметался, как от зубной боли. Допустим, ему удастся зажечь что-то на поверхности. Для этого придется выйти. Ладно, это потом, потом... Испарения, окружив астероид туманом, быстро рассеются, ведь здесь почти нет силы тяжести. Значит, никакого хвоста не будет.

Правда, можно изобрести нечто вроде форсунки и направить струю газов строго в одном направлении. Притяжение тут ничтожное, и за астероидом потянется хвост. А дальше что? Нужен длинный, очень длинный хвост, чтобы астрономы заметили комету.

Невероятные трудности, а зачем? Чтобы позабавиться? Похоже, он сошел с ума. Хотя... Обнаружив комету на таком расстоянии от Солнца, астрономы, само собой, удивятся и заинтересуются: это что еще такое и почему не по правилам? Но им и в голову не придет, что это дым костра.

Невероятным усилием воли он заставил себя больше не думать на эту тему. Забыть. И сразу почувствовал себя опустошенным. Навалилась такая тоска, что ему все стало безразлично. Хоть выбрасывайся наружу без скафандра.

Наконец все в нем взбунтовалось. Думать-то он может?! Мечтать, фантазировать, надеяться? Или в его положении уж и этого нельзя?

Хвост должен быть длинным. Насколько? На миллионы, десятки миллионов километров?

Да нет же! Он не собирается являть собой зрелище в небесах. Сейчас его астероид скорей всего не виден в самые лучшие заатмосферные телескопы. Не потому, что он мал, а потому, что слишком слабо отражает свет. Стоит повысить яркость всего раза в два, как он станет тусклой, но все же приметной звездочкой. Это сделать нетрудно, но это ничего не даст — просто автоматический регистратор занесет в каталог еще один астероид. Значит, хвост должен быть намного длиннее поперечника, тогда астероид будет виден кометой. Но весь-то астероид — это сотня-другая метров! Следовательно, хвост...

Не может быть, тут что-то не так! Спокойно, спокойно... Сделаем для страховки хвост в тысячи раз больше поперечника. Это всего-навсего сотни километров газопылевого шлейфа. Всего-навсего.

Он не поверил себе. Пересчитал. Все так. Да ведь это же размер самых крупных астероидов, таких, как Церера, Веста, а они прекрасно различаются в телескоп. Его комета тотчас обратит на себя внимание! Тотчас!

Что же сделать, что можно сделать, что надо сделать, чтобы всем стал ясен смысл этой кометы? Дым костра, дым костра... Черный или белый, сигнальный...

А-а! Хвост надо покрасить.

На корабле сколько угодно нужных веществ. Эмаль стен, пластмасса ручек, изоляция, да мало ли что. Можно получить любые оттенки дыма! Остается выбрать какой-нибудь совсем уж немыслимый цвет. Чтобы ученые схватились за голову...

Стоп. Схватиться-то они, положим, схватятся. Но корабль к комете не пошлют. Опасно нырять в ее туманные глубины, да и зачем? Случаются кометы желтые, красноватые, теперь

появилась сине-зеленая в крапинку. Любопытно, но что тут такого? В природе все бывает.

Выходит, надо создать комету, какой не бывает и быть не может. С хвостом вытянутым, допустим, не от Солнца, а к Солнцу. Радужную. Мигающую. Точка — тире — точка. «Тут я, Петров, туточки...»

Комета в облике павлиньего хвоста. Прекрасно! Подмигивающая.

Он радостно засмеялся. Какой поднимется переполох! Какой переполох!

Горелку он сконструирует. В корабле столько всякой всячины, а горелка — такая примитивная вещь, что он будет последним недотепой, если ее не сварганит. Выйти тоже не проблема. Пусть улетучится часть воздуха. Резерв кислорода восполнит потерю. Да, но каким образом он тогда зажжет костер?!

Ах, да не в этом дело... Плотность кометного хвоста не слишком отличается от разреженности вакуума. Можно найти вещества, которые горят без кислорода или содержат его в себе, можно поджечь их электроразрядом, можно сфокусировать на них лучи Солнца. Так или иначе это препятствие обойти удастся. Но за счет чего он создаст тягу, достаточно сильную, чтобы газы образовали шлейф? Только за счет воздуха, который нужен ему для дыхания и который он потеряет, если выйдет...

Хоть кричи, хоть бейся головой об стену, уравнение неумолимо. Нет у него резерва на все и вся. Или — или, будь все проклято.

Он не заметил, что кричит. Это бессовестно — так поманить его надеждой! Несправедливо! Чудовищно!

Но ведь он сам поманил себя надеждой. Так что же он кричит? С кем или чем спорит? С мировым порядком? С тем, что ему не дано выйти... не выходя?

Быть может, соорудить тамбур, смастерить насос для откачки... Долго, ненадежно и все лишь затем...

Затем, чтобы вынести горелку.

А зачем горелке быть снаружи?!

Олух и идиот, вот он кто такой. Нужно маленькое отверстие в стене. Крохотное. Сопло. Нужен регулятор, который через равные промежутки времени выбрасывал бы точно отме-

ренные порции... воды. Да, да! Щелчок воздуха, как пружина катапульты, выстрелит капельками, которые тут же испарятся и рассеются яркими кристалликами льда. Или даже не так — детский водяной пистолет, тогда и воздух тратить не надо! Вот что ему нужно, но об этом после, после, он все успеет продумать и усовершенствовать как надо. Если правильно рассчитать (а законы природы теперь на его стороне!), то сияющий столб от выстрела к выстрелу будет расти и расти, потому что есть компрессор и, следовательно, можно получить приличное давление! А воды у него хватит, ведь ее запасы в системе были рассчитаны на троих...

И не надо никакого шикарного павлиньего хвоста. Существуют спектрографы и спектрограммы, которые ловят миллиардные доли примесей, а в обсерваториях сидят отнюдь не кретины. Просто в воду надо добавить чего-нибудь необыкновенного, в природе заведомо отсутствующего, тотчас улавливаемого. Чего? Да хотя бы флюораминовой пасты, которой он пишет.

В хвосте кометы астрономы обнаружат следы чернил!

И это его спасет. Кометой, чей вид некогда наводил на людей страх и ужас, он распишется в небесах!

ГЕНИАЛЬНЫЙ ДОМ

— Прошу, — широким жестом пригласил Юрков. — Выберите.

— Здесь? — мешковато вылезая из реалета, переспросил Смолин.

— Если вам нравится.

Крапчатые глаза Юркова смотрели враскос, безучастно, однако в них плескалось затаенное озорство. Хмыкнув, Смолин огляделся.

Трава на лугу пестрела таким ярким узором соцветий, что их хотелось прижать к груди. Редкие березы бросали прозрачную и зыбкую тень. С трех сторон подступал лес, с четвертой открывалась река, голубели дали предгорья. Яркие снежники вершин бросали на все чистый, как в поднебесье, отсвет.

Смолин широко вздохнул:

— Тут славно...

— Тогда приступим, — деловито сказал Юрков.

Его поджарая фигура перегнулась через борт реалета. Он вытянул из-под сиденья увесистую сумку, извлек скупое блеснувший кристалл и протянул его Смолину. Форма полупрозрачного кристалла смутно напомнила Смолину хрустальное, с гранями на боках яйцо, которым он забавлялся в детстве. Только это яйцо гораздо превосходило размерами ту старинную безделушку.

— Да, немного великовато. — Юрков перехватил взгляд. — Обычное свойство экспериментальных образцов, ничего не поделаешь. Держите!

«Яйцо» оказалось неожиданно легким. Смолин неловко прижал его к груди. На ощупь оно было теплым и, несмотря на

твердость, упругим. При повороте граней в его зеленоватой глубине мутно перекатывались неясные волны и вспыхивали точки фиолетовых огоньков.

— Станный у него вид, — пробормотал Смолин.

— Еще бы. — Юрков усмехнулся. — Действуйте.

— Как?

— Очень просто. Выбирайте площадку. Где угодно. Неровности почвы, слабый уклон — не важно. Станьте там, где, по вашему мнению, должен быть дом. Следите только, чтобы до ближайшего дерева или куста было метров десять. Всё!

Смолин сделал несколько неуверенных шагов.

— Может быть, здесь? — спросил он, озираясь.

— Прекрасно! Бросайте яйцо.

— Прямо так?

— Конечно.

— Жаль портить такое место...

— Оно не будет испорчено. Бросайте.

Смолин осторожно опустил кристалл на землю. Светлый край облака, ослепительно просияв, коснулся солнца. Луг потемнел.

— Теперь отходите.

Все из той же сумки Юрков извлек вороненую трубку с призматическим рефлектором на конце. Отступая к реалету, разматывал витой шнур.

— Дальше, дальше, иначе собьет.

— Что?

— Сейчас тут будет немного ветрено. Браслет снимите — может испортиться. — Юрков отстегнул свой наручный видеорекордер и кинул его на сиденье реалета. — Кладите свой туда же, там он будет заэкранирован. Вот так, порядок. Начнем!

Перегнувшись через крыло, Юрков подключил шнур и, отступив от реалета на шаг, небрежно повел трубкой в сторону кристалла. В ней что-то зажужжало. Рука Юркова замерла.

Ничего не произошло. Сухо трещали кузнечики, зеленоватый овал кристалла мирно покоился среди ромашек. Он потускнел в траве и казался теперь обыкновенным булыжником, если бы не правильные затесы граней.

Затем что-то изменилось. Оболочка кристалла затуманилась, как при быстром вращении. То, что мгновение назад было камнем, оплавилось, потекло, вспухло рыжеющим сгустком.

— Ага, — сказал Юрков. — Видите?

Сгусток, расплываясь и ширясь, принимал грибовидную форму. В нем бешено и безмолвно крутились дымные струи. Все это походило на атомный, в миниатюре, взрыв. Только бесшумный и без огненного в сердцевине всплеска.

В спину ударил тугой ветер, согнул вершины ближних берез, рокотом пронесся по опушке. Смолин пошире расставил ноги. Ветер мчал сухие листья, сор, былинки, они бесследно исчезали в темном грибообразном вихре.

— Давайте присядем, — предложил Юрков. — Все это не так скоро.

Он сел, не опуская трубку излучателя.

— Джинн, а?

— Что?! — прокричал Смолин.

— Я говорю: джинн! Когда он вылезает из бутылки. Непохоже?

Нет, теперь это было непохоже. Теперь над лугом, опираясь на тонкую ножку, висела коричневатая масса. Она клубилась, постепенно становясь угловатой. В ней проступали желтые и красноватые, быстро меняющиеся пятна. Воздух дрожал, преломляя очертания склоненных деревьев.

От массы отделились четыре отростка, дружно коснулись земли, взвился дымок.

— Корневая фаза, — прокомментировал Юрков. — Воздух предоставляет нашему детищу азот, кислород, углерод. Прочие нужные материалы оно, как и подобает добропорядочному растению, берет из земли. А мой излучатель играет роль солнца. Правда, загорать под таким солнцем я бы не посоветовал... Так, вот уже сегментарная фаза!

Ветер немного утих. Метрах в полутора от земли бесформенная масса образовала гладкое днище с пятью уходящими в почву опорами — четыре по углам, пятая, более толстая, оказалась точно в центре. Трава вокруг нее заиндевели. Сама масса заняла солидный объем пространства. Она явственно стекленела, хотя внутреннее кипение не стихало. Наметилась по-

лусфера — одна, другая, третья. Быстро, как в калейдоскопе, менялся узор поверхности. Внутри угадывался объем каких-то форм. Они то проступали наружу, то, сменяясь, уходили вглубь. Одна из полусфер вдруг протаяла. Словно кто взмахнул резцом — теперь это была стена, а в ней самое натуральное, прозрачное, слегка выпуклое окно.

Ветер окончательно стих. Дом продолжал формироваться. Казалось, его изнутри лепят чьи-то проворные пальцы. В полной тишине — лишь поодаль пиликнул осмелевший кузнечик — текли минуты. Юрков давно опустил излучатель и, рассеянно глядя по сторонам, жевал травинку.

Облако наконец сползло с солнца, и первый яркий луч отразился в хрустальных парусах окон, затеплил изогнутые стены, оттушеввал тени, словно положив всюду последний аккуратный мазок.

— Вот так! — Юрков глянул на часы. — И всего за семнадцать с половиной минут. Поздравляю вас с новым жилищем!

— Да-а... — протянул Смолин. Вздернув подбородок, он озирает дом. — Эмбриотехника, как погляжу, здорово шагнула вперед. Какая быстрота и четкость!

— Стараемся. — Юрков сдержанно улыбнулся. — Впрочем, главное тут не скорость. Вообще классическая эмбриотехника — уже пройденный этап.

— Пройденный?

— Ну, основной принцип, конечно, тот же, — снисходительно разъяснил Юрков. — Делать все, как природа, делать лучше, чем природа. Совпадают и основные приемы строительства. Зародыш, семя, клетка, в которой заложена вся генетическая программа развития организма, как в желуде скрыт будущий дуб. Питание, рост за счет, так сказать, местных материалов — воздуха, земли, воды, энергии солнца... Излучателя то есть, но это несущественно. Словом, аналогия полная, кроме скорости — она в миллионы раз больше. Человек убыстряет все, к чему прикасается, разве не так?

— Все, значит, и себя тоже? — Смолин недоверчиво покачал головой. — Однако вы не ответили на мой вопрос.

— Терпение, терпение. Вы не только услышите, вы увидите ответ.

— Увижу?

— Вот как этот дом.

— Тогда почему бы не сделать это сейчас?

— Во-первых, я должен сначала показать вам дом, а мы не можем переступить порог, пока там не установится термодинамическое равновесие. Во-вторых, мои предки не иначе были корабейниками — люблю щегольнуть товаром!

— Товаром? Давно я не слышал этого архаизма.

— Верно! Все же от того, придется ли вам эта хижина по душе, кое-что зависит. Так что сравнение, поверьте, не столь уж нелепо.

— Долго вы будете говорить загадками?

— Сначала уточним главное. Обожаю последовательность! Вы хотели уединенно пожить и поработать в красивой местности. Так? Так. Место вы одобрили, жилище — вот. Нравится?

Смолин кивнул. Домик походил на изящную, осененную березами раковину. Хотя он был приподнят над землей и опоры выглядели хлипкими, впечатления неустойчивости не возникало. Чем это достигалось, Смолин понять не мог. Не лесенкой же, которая спускалась от входной двери. Очевидно, все дело было в пропорциях.

Вычурным дом тоже не был. Он славно вписывался в пейзаж. В нем была естественность творения природы. Да, его создатели умели работать с размахом и вкусом.

— Неловко как-то, — пробормотал Смолин. — Такое — и ради одного человека. То есть, я понимаю, дом построен не только для меня, уеду — в нем будут жить другие люди. Но... Это что такое?!

Подполье дома внезапно озарилось мягким рассеянным светом.

— Идемте!

Подхватив сумку, Юрков зарысил к дому.

— Этот свет, — бросил он на ходу, — означает, что дом готов принять хозяев. Кстати, вы опасались, что строительство повредит луг. Загляните под пол.

Смолин нагнулся. Вся плоскость пола излучала теплый, солнечного оттенка свет. Под домом и вокруг него радужными капельками поблескивала густая роса. Если не считать этого, трава всюду была прежней, лишь центральную опору опоясывала хухлая кайма.

— Она и там оправится, — махнул рукой Юрков. — Согласитесь, что наш домик ничуть не вредит природе.

— Так, значит, этот свет возмещает затененной траве...

— Совершенно верно. Входите, входите! Надо представить вас дому.

— Это в каком смысле?

— Ну, познакомить, не ловите меня на слове. Как-никак это не просто стены, крыша и все такое прочее. Перед вами, если угодно, квазисущество. Росло, питалось, дышит — живет в некотором роде.

— Живет?

— Ладно, ладно — функционирует. Тут и философ запутается. Ноги, кстати, можно не вытирать, какими бы грязными подошвы ни были. Лестница всосет.

— Принцип перистальтики?

— Разумеется.

Подошвы слегка присасывались к ступеням. Смолин нажал сильней. Рант ботинка ушел в пористый, податливый материал.

— Не ново...

— А лишняя новизна нам ни к чему. Ее и без того хватит, ручаюсь.

В прихожей Юрков задержался.

— Последняя операция, минуточку... Видите этот красный круг на стене? Зашелка здесь. Отводим заслонку. Тут гнездо для энергобатареи. Берем ее...

Он достал из сумки рифленый цилиндр, снял с торца колпачок. Открылись сизые бляшки контактов.

— Вот! Крепим батарею в гнездо — следите! — так, встала... Порядок! На месяц, а то и больше дом обеспечен энергией. Срок службы без подзарядки зависит от ваших потребностей и состояния неба. Совершенно верно: дом аккумулирует солнечный свет, не пропадать же ему зря... Еще на первых порах дом располагает запасом активационной энергии, которую он накопил во время строительства. Но это суший пустяк, как, впрочем, и свет солнца. Подлинное сердце дома — здесь! Осмотрим помещения. Прошу.

Комнат оказалось две — поменьше для кабинета, побольше для спальни. В окна, мягко отражаясь от янтарных скосов стен,

било солнце. Отсвет, как в чаше, собирался в кремовых вогнутостях потолка. В спальне на огромном экране стерео показывалась тень берез.

И больше в комнатах ничего не было. Смолин приподнял брови:

— Мыслемебель?

— Она самая.

Юрков изящно взмахнул рукой. Пол колыхнулся, выгнулся горбом, образовал спинку, подлокотники. Юрков, не глядя, опустился в уже сформировавшееся кресло.

— Чем плохо?

Смолин пожал плечами.

— Я не говорю, что плохо. Просто я не понимаю этой новой моды. Чем мысленно всякий раз строить образ стола, кровати, стула, придумывать для их овеществления все более сложную рецепторику, куда проще, по-моему, взять и поставить обычную мебель. Экономим на мышечных усилиях и утруждаем мозг.

— Вы преувеличиваете. — Юрков мгновенно переделал кресло в качалку и откинулся в ней. — Не так это сложно и трудно. Или лучше тащить обстановку с собой? Два переезда равны одному пожару, как говаривали в старину. Кстати, вы не находите этот свет чересчур резким? Штор мы с собой не захватили, но...

Юрков капризно прищурился. Хрусталь окон, оставаясь прозрачным, потемнел, и в комнатах установился приятный рассеянный свет.

— Тонкая работа, — с уважением сказал Смолин.

— Это что! — У вскочившего Юркова был вид фокусника, в рукаве которого трепыхается голубь. — Подойдите, здесь в крае окна заметна толщина стеклобиолита. Лепесток, верно? Ударь посильней... А если дети? Расшалится парень, разбежится, споткнется... Как-никак метра два высоты падения. Воспроизведем ситуацию! Масса у меня побольше, чем у ребенка, я разбегаюсь... Не за мной, за окном следите! Раз, два...

Юрков ринулся. Биолит окна был столь прозрачен и тонок, что казалось, Юрков должен был вылететь, как пушечное ядро. Смолин невольно качнулся ему наперехват. И на-

прасно. Стена точно моргнула; окно сузилось, утолщилось, наплыв биолита отразил Юркова, как мячик.

Смолин ахнул. Окно медленно протаяло, все обрело прежний вид.

— Таким вот образом, — потирая плечо, сказал Юрков. — Динамика!

— Проще было бы сделать биолит потолще, — растерянно проговорил Смолин.

— Это еще вопрос, это еще вопрос. — Юрков чуть усмехнулся. — О, вы еще не представляете, каков наш дом! Ладно, продолжим осмотр. Здесь кухня, здесь ванная, здесь туалет... Все в стандартном исполнении. Точнее, квазистандартном, но не стоит задерживаться, ничего интересного... Воду, между прочим, подает сам дом; как бы глубоко ни лежал водоносный горизонт, центровая опора дотянется до него не хуже, чем древесный корень. Здесь сауна... Здесь, здесь...

Юрков тараторил, это мешало Смолину хотя бы немного свыкнуться с домом. Волочась за Юрковым, он лишь рассеянно кивал в ответ.

— Не ощущаете ли вы какого-нибудь запаха? Спертости?

— Что? Нет, воздух свежий.

— Лесной, обратите внимание, во всех помещениях свежий лесной воздух! Это при том, что в доме непрерывно идут реакции обмена. Даже кирпич пахнет, а уж живое вещество... Но попробуйте-ка отыскать вентиляцию. Или найти где-нибудь щелочку. Глухо! Везде полная герметичность. Нет вентиляции в обычном смысле этого слова, нет никаких отдушин, нет сквозняков, а воздух прекрасный. Видели вы что-нибудь подобное?

— Сознаюсь, нет.

— Догадываетесь, как это устроено?

Смолин покачал головой.

— Это все дом. — Юрков благоговейно понизил голос. — Дышат, вентилируют окна. Миллиарды невидимых устьиц, и без ущерба для прозрачности — каково? Вот почему мембрана такая тонкая. Все рассчитано, и как рассчитано! Когда-то дом называли «машиной для жилья». Лучше было бы назвать его консервной банкой... Тут все иное. Функционально наш дом — организм. Как всякий организм, он стремится поддерживать внутри себя

некий оптимум среды. Принцип гомеостата! Но... Есть одно главное, важнейшее отличие. Оптимум для него — мы с вами. Мы его задаем. Мы!

Юрков многозначительно поднял палец. Его глаза сияли восторгом, и, конечно, следовало восхититься, изумленно выдавить из себя что-то, но Смолин почему-то не мог и этого.

— Интересно, — сказал он отрывисто. — Мы оптимум дома. Это как понимать?

— Но это же ясно! — потрясенно вскричал Юрков. — Ни один дом не способен самоподдерживаться, тем более охранять человека. Только наш дом может беречь себя, как это было с окном, и беречь человека. Растение, реакции которого ускорены в миллион раз! Пусть налетает буря, землетрясение, приходит Аттила с пушками — можете спать спокойно...

— Виноват! У Аттилы не было пушек.

— Не все ли равно? Важно, что дом пустит добавочные корни, мгновенно упрочит стены — словом, приспособится. Так, верю, было бы и в природе, если бы не скудный лимит энергии. Ну а мы этим не связаны.

— Что ж, прекрасное жилище для бурных планет...

— Идеальное, идеальное! Ведь главное отличие нашего дома от всех творений природы и техники вот в чем. Растение существует ради самого себя. Машина целиком принадлежит нам, но это, увы, инертное физическое тело. Мы скрестили оба типа эволюции, взяв достоинства обеих и устранив недостатки. Вся основная программа жизнедеятельности дома состоит в обеспечении человеческих нужд, как своих собственных. Вся! Если бы у дома имелся хоть проблеск разума, он осознал бы нас как свою наиважнейшую часть, душу, если хотите. Воздух — для нас, вода — для нас, тепло, безотказность, изменчивость тела — все, все только для нас!

— Гениально! — не выдержал Смолин. — А как насчет галушек?

— Ч-ч-чего? — Юрков поперхнулся. — Каких галушек?

— Со сметаной. Тех самых, которые прыгали Пацюку в рот. Не помните? Был, знаете, в старину такой писатель — Гоголь, он все это изобразил.

Юрков рухнул в едва успевшее развернуться под ним кресло.

— Да-а, — протянул он, задумчиво глядя на Смолина. — Что искали, то и нашли. Человека знакомят с чудом техники, а в ответ... Яркая и откровенная реакция, спасибо.

Смолин смешался.

— Извините, я, может, чересчур резко... — Он смущенно покраснел. — Не знаю, что на меня нашло... Простите! Вы так обожаете свое детище, что, конечно...

— Оно не совсем мое, к сожалению! Как техносоциолог я причастен больше к его опробованию.

— Все равно вы гордитесь, восхищаетесь домом, а я...

— Это верно.

— И он, поверьте, достоин восхищения! Это не комплимент. Как я представляю себе, что все это — стены, краны, дышащие, оберегающие себя окна, творящий мебель пол — вся эта немыслимая сложность только что была кристаллом, записью в нем, — меня берет оторопы! Да, вы превзошли природу, от всей души поздравляю.

— Спасибо. Только какая это сложность... — Юрков слабо махнул рукой. — Гордишься, гордишься, а как представишь, что мы сами, наши глаза, способные плакать, неутомимое сердце, познающий вселенную мозг, все, все возникло из сгустка ничтожных молекул, было в них просто записью, кодом... Куда нам до природы! Ладно! Я не сержусь на вас, наоборот. Но что-то вам в нашей новинке очень и очень не нравится. Что?

— Видите ли. — Подбирая слова, Смолин прошелся по комнате. — Дело в том... Нет, сначала такой вопрос. Отчего вы мне — именно мне! — предложили свою экспериментальную новинку? Мои вкусы, привязанности...

— А! Ими и обусловлен выбор.

— Еще одна загадка?

— Наоборот. Я слишком долго вас поражал, заинтриговывал, чем и заслужил отповедь. Дом экспериментальный, но не в техническом смысле, тут все опробовано. Он, как вы догадываетесь, сулит переворот в образе жизни всего человечества. Поэтому заранее надо знать, кто и как его воспримет. По отношению к прогрессу всегда можно выделить тех, кто приветствует любую новинку, только потому что она новинка, и тех, кто сразу встречает новшества неприязнью. С этими ма-

лочисленными группами все ясно, об эволюционном значении таких крайностей можно прочесть в школьном учебнике. Теорией социогенеза мы не занимаемся, мы ею пользуемся. Нас интересует реакция той обширной части человечества, которая не спешит довериться новизне. Вы — типичный ее представитель.

— Весьма признателен, — сухо сказал Смолин. — Лестно услышать, что тебя считают типичным консерватором.

— Умеренным, умеренным! — Юрков тонко улыбнулся. — Разве это оскорбительное понятие? Мы не в двадцатом веке, как вы справедливо заметили. Нет, что я? Вижу, настал мой черед извиняться!

— Ну вы ловкач! — восхитился Смолин. — Сумели поставить себя в выгодное положение.

Улыбка Юркова стала еще ослепительней.

— Просто мне нужны откровенные отношения без расшаркиваний и полупоклонов. Но если вы все еще сердитесь...

— Вы мне еще напомните школьную пропись о значении балласта, который не дает кораблю перевернуться, как бы там прогрессисты его ни ускоряли! Хорошо обменялись любезностями — квиты. Я тоже за откровенные, деловые отношения. Что вам от меня надо конкретно?

— Пока — предварительная, после первого знакомства, критика дома.

— Будет, не беспокойтесь.

Смолин с натугой воздвиг себе кресло и уселся напротив Юркова.

— Не хочу останавливаться на мелочах. На окнах, которые так совершенны, что их нельзя распахнуть, хотя иногда приятно дать ветру погулять по комнате.

— Согласен, — кивнул Юрков. — Дом слишком оберегает свою целостность, это оборотная сторона его достоинств. Мы надеемся, что в перспективных моделях...

— Пустяки! А вот даете ли вы себе отчет в том, что вы сделали? Вы сняли последнюю узду с потребности человека селиться там, где ему вздумается. Прекрасно! А результат? Дома, возникающие с легкостью грибов, мигом заполняют Землю. Кроме заповедников, очень скоро не останется ни одного не-

тронутого уголка. Ни единого! Неужели история с автомобилями нас ничему не научила? Те хоть быстро ржавели. А миллиарды ваших домов — да легче чертополох выкорчевать! Во что мы превратим планету? Во что?

— Верно! — Юрков хлопнул себя по колену. — Всякий клочок земли — стройплощадка! Это и есть ваше главное возражение? Других нет?

Смолин заколебался. Было еще что-то, вероятно, важное, какое-то ощущение, но его не удавалось выразить.

— У меня пока все, — сказал он, помедлив. — Чему вы радуетесь?

— Сейчас объясню. Миллиарды новых домов, говорите? В каждом уголке Земли? А как насчет сотен миллиардов? Триллионов? Вы убеждены, что хозяйствуете в этом доме временно, что он предназначен для всех. Ошибка! Едва мы закончим испытания, каждый человек получит возможность выращивать себе дом по вкусу. Каждый! И столько, сколько захочет. Вот истинная перспектива. Да не смотрите на меня так! Сейчас я вам кое-что покажу. Идемте, идемте!

Бурный порыв Юркова подхватил Смолина, точно смерч, и вынес в прихожую.

— Здесь, — палец Юркова торжествующе уперся в гнездо энергобатареи, — скрыта важнейшая особенность дома. Подождите возражать! В чем, я вас спрашиваю, основной недостаток строительства? Человеку нужны помещения в самых разных местах планеты, много помещений — для работы, отдыха, поездок, а жить в них одновременно он не может. Отсюда масса пустых и полупустых, необходимых от случая к случаю помещений, зряшний расход пространства и материалов. Каким, следовательно, должно быть идеальное строительство? Дом есть, когда он необходим, его нет, когда нужда в нем отпала. Мы находимся как раз в таком доме.

— Неужели вы хотите сказать...

— Да!!! Отводим заслонку — раз! Здесь, как видите, находится самый банальный выключатель. Снимаем, не трогая батарею, предохранитель — два! Нажимайте.

— И... и что же?

— Дом исчезнет.

Рука Смолина замерла на выключателе.

— А мы успеем выбежать?

— Пока человек хоть одной ногой находится в помещении, дом останется домом. Смелей! Так, правильно... Теперь — на-ружу. Не спешите, спешить не надо, все сработает с трехминутным замедлением, как в самой лучшей из мин. Это так, для страховки. Спокойно располагайтесь на травке и ждите.

Юрков тут же последовал своему совету, а у Смолина ноги будто одеревенели. Дом прямо на глазах стал мягчать, оплывать, сминаться. Он таял, клубясь туманом. В дрожащем воздухе повисла бледная радуга. В лицо ударил тугой ветер, взметнулись заломленные ветви берез. Из мглы и вихря грозно пахнуло озоном.

Юрков спокойно посматривал на часы.

— Ровно шестнадцать минут. — Он встал, потягиваясь. — Что скажете?

— Гениально. — Смолин растерянно озирает то место, где только что стоял дом, а теперь было пусто. — Мне и не снилось такое!

— Верю. — Пружинящим шагом Юрков обошел место, где только что, сминаясь, клубился мрак. — Чисто поле! Дома нет, исчез, распался, отдал природе все, что взял. Из земли ты вышел... Полностью замкнутый цикл! А?

Смолин потоптался, ища следы повреждений. Пять утрамбованных лунок там, где находились опоры. В лучах солнца рыжела жухлая кайма зелени. И это было все, что осталось от дома.

Нет, не все. Возле осевшей лунки покоился цилиндр энергобатареи, а рядом лежало зеленоватое, со скошенными гранями яйцо.

— Вот! — ликуя, показал Юрков. — Можете его взять, перенести в любое место, использовать снова и снова, миллионы раз. И если вы думаете, что затраченная при строительстве энергия пропала, то вы заблуждаетесь. При распаде дома она, не считая неизбежных потерь, аккумулировалась в батарее. Более дешевого строительства, как вы понимаете, нет и быть не может.

— А этот зародыш... он тот же самый? — почему-то шепотом спросил Смолин.

— И да, и нет, — весело ответил Юрков. — Дерево плодоносит, дом — тоже. Из этого «желудя» вырастет новый, не хуже прежнего дом. Что мы сейчас и увидим.

Он небрежно откатил батарею, насвистывая что-то, пошел к реалету за излучателем. Смолин тяжело опустился на землю. Голова у него кружилась. В высоком небе, совсем как в доисторические времена, скользили белые пухлые облака. Смолин прикрыл веки. «Пора бы уже и привыкнуть. Это надо же! Ну еще одна техническая революция, еще один переворот, мало ли их было...»

Снова рванул, холодя спину, ветер. Лежа на боку и жмурясь, Смолин разглядывал, как растет дом. Его дом. Дом, который возникает и исчезает с легкостью фокуса, дом, который можно унести в сумке, перебросить на другой край света, вырастить там и снова спрятать в карман. Дом, который все берет из природы и отдает природе, как дерево, как ромашка, как гриб.

— Пожалуйте на новоселье! — крикнул Юрков.

Смолин обошел дом. Здание было чуточку не таким, как прежде. Самую малость. Сохранились все главные особенности, пропорции, размеры, отличие в каких-то ничтожных деталях скорей угадывалось, чем замечалось.

— Правильно. — Юрков упредил вопрос. — Потомок никогда в точности не похож на предка. Никогда. Впрочем, однообразие приедается, так что все к лучшему.

Смолин приблизил ладонь к стене и ощутил ток сырого тепла, словно это был круп лошади.

— Существует, а? — подмигнул Юрков. — Теперь вы уж хозяйствуйте сами.

Смолин промолчал. Он прошел в дом, сам укрепил батарею, не торопясь, осмотрел все помещения. Юрков двигался за ним, храня безразличие. Воздух всюду был свежим и приятным, в кранах бодро журчала вода, экран стерео охотно переключился с программы на программу, мыслебелль, послушно изгибаясь, принимала должную форму. За окнами зеленел лес, россыпью золотых бликов сверкала излуцина реки, но из складок холмов уже выползали глухие предвечерние тени.

— Ваш запас чудес, надеюсь, исчерпан? — обернулся Смолин.

— Увы! — Юрков сокрушенно развел руками.

— Дом не преобразуется в мельницу или в дракона?

Юрков каверзно улыбнулся.

— Если вы так настаиваете...

— Что-что?

— Нет-нет, я пошутил. Работы по отдаленной гибридизации не вышли из стадии теории.

— Уф! — Смолин тяжело опустился в кресло. — Послушайте, дорогой прогрессист... Не чересчур ли? Какая еще гибридизация? Чего с чем?

— Дома с реалетом. Ведь у всякого дела должна быть перспектива, не так ли? Карманный домолет, чем плохо?

— Просто замечательно, — в сердцах сказал Смолин. — Мне как раз не хватало маленького летающего домика. Вот что: нет ли у вас простой избушки?

— Избушки? Ах это! Такая древняя, из бревен, на курьих ножках? Как же, как же: такой эмбриоэскиз разрабатывается. Рубленые стены, наличники, опоры с поворотными осями, специально для любителей сельской старины — очень, очень романтично!

— Довольно! — взревел Смолин. — Еще слово — и я такое закачу в отчете... Хочу просто, скучно пожить в вашем идеальном, без выкрутасов, домике.

— То-то же, — усмехнулся Юрков. — Сейчас принесу ваши вещи.

— Зачем? Я сам.

— Нет, уж позвольте. Устроить вас — моя обязанность.

Опережая Смолина, он скользнул за дверь. Пожав плечами, Смолин остался в кресле.

Его охватило молчание дома. Оно стояло в нем, как вода. Ни звука, ни колебания, полная, как в зачарованном замке, неподвижность.

Не совсем, впрочем. Косые лучи солнца высвечивали пылинки, и можно было заметить, что стены притягивают к себе этот светлый порхающий рой. Дом давал о себе знать, он был спереди, сзади, он всюду присутствовал как незримый, бесстрастный, угодливый слуга. У Смолина напряглись мышцы плеч, затылка. Только сейчас до его чувств дошло, что он

находится не просто в стенах, а внутри организма, который дышит, присматривает, живет своей скрытой жизнью.

Резко вскочив, Смолин подошел к окну. Вдали сахарно белели зубцы гор. На лугу тени берез кое-где уже сомкнулись с тенями леса, но золотисто-зеленые прогалы света еще преобладали. Мир был спокоен, тих и привычен. Напряжение отпустило Смолина. Он обернулся. Ничто не подсматривало, не следило, не дышало в затылок, комнаты были как комнаты — просторные, уютные. «Консерватор ты консерватор, — корил себя Смолин. — И вправду консерватор. Ну жили в пещерах, в небоскребах, пора перебираться в эмбриодом. Вопрос привычки — только».

Вблизи ощущался запах материала, смутный и терпкий, какой иногда накатывает на лесной поляне. Смолин погладил стену. На ощупь материал напоминал дерево, гладкую сосновую доску. Пальцы ощутили прохладу, но это не был холодок камня, пластобетона; так холодить могла бы кора ольхи в укромной тени полудня.

Ощущение хотелось продлить, но все прерывал какой-то невнятный шум за притворенной дверью прихожей.

— Вам помочь? — крикнул Смолин.

— Пустяки, — донеслось оттуда. — Один крошечный момент...

Глухо бухнул удар.

— Юрков!

— Сейчас, сейчас... Не беспокойтесь...

Смолин кинулся в прихожую и замер оцепенев. Взъерошенный Юрков, зло бормоча что-то, возился перед закрытой наружной дверью. Нигде не было и следа вещей, которые он вызвался принести.

— Что с вами?!

— Ничего, ничего, абсолютно ничего, так, маленький не-порядочек... Я мигом...

Пряча взгляд, Юрков навалился плечом на дверь, но та не шевельнулась.

— Она заперта! — изумился Смолин.

— Вот еще, — пробормотал Юрков. — Вовсе она не заперта, кто же теперь ставит запоры... Заело, вот что! Давайте вместе — разом...

Не веря себе, Смолин кинулся на помощь. От дружного толчка дверь слегка прогнулась.

— Ага! Еще немножко...

— Юрков! — Смолин в ужасе схватил его за руку. — Смотрите.

— Что?

— Стена срывается с дверью!

— Вы с ума сошли...

— Зазор оплывает! Глядите!

Багровое от усилий лицо Юркова побелело.

— Ну-ка, быстро, с разбега! Раз, два...

От таранного удара дверь снова прогнулась.

— Поддается!

Ничего подобного. Казалось, они налетают на скалу.

— Послушайте! — задыхаясь, сказал Смолин. — Что это значит? Мне это не нравится.

— Мне тоже, — осевшим голосом ответил Юрков. — Этого просто не может быть... Не может!

— Но ведь факт! Как мы теперь отсюда выйдем?

Юрков затравленно огляделся.

— Попробуем еще раз.

— Это ничего не даст, мы пытались.

— А, черт! Может быть, она утоньшится. Нас не убудет еще от одной попытки.

— Хорошо, хорошо...

Они отступили в дальний конец прихожей и ринулись. У Смолина от удара потемнело в глазах.

— Славное занятие, — прошипел он, морщась от боли. — Слушайте, вы, часом, не перепутали зародыш? Может быть, это блиндаж, тюрьма для каких-нибудь там любителей старины?

— Смейтесь, смейтесь, — угрюмо, потирая плечо, сказал Юрков. — Невероятно, но дом нас, похоже, замуравал.

— Так вызовите техпомощь!

Юрков исподлобья взглянул на Смолина.

— Техпомощи не будет.

— Это еще почему?

— Наши видеофоны остались снаружи. В реалете, если вы помните.

Машинально Смолин тронул запястье, где всегда, сколько он помнил, был браслет, необходимый и привычный как воздух. Пусто!

Юрков уныло развел руками.

— Но это же ни с чем не соотносимо! — вскипел Смолин. — Это, это... Куда вы?!

Но Юркова уже не было в прихожей. Вбежав в комнату, он лихорадочно сформировал табурет и что есть силы грохнул им по окну.

Табурет смялся.

— Так я и думал, что оно успеет утолщиться. — Юрков отшвырнул табурет и заметался по комнате. — Ну что вы молчите?! Ругайте, проклиняйте, я ничего не могу понять! Дверь... и никакого выхода.

Смолин растерянно молчал.

— Хорошо, — яростно проговорил Юрков. — Хватит крысиных наскоков. Будем логичны...

Он снова заметался по комнате.

— Успокойтесь, — мягко сказал Смолин. — Что тут такого? Люди испокон века теряли ключ от квартиры. Помню, в одной старой книге была смешная история о голом человеке, который ненароком захлопнул за собой дверь... Меня — нет, а вас наверняка хватятся не сегодня, так завтра.

— Скажите лучше — через месяц! И надо же так совпасть! Сегодня ночью я собирался вылететь к жене на Марс, и все знают, что меня долго не будет.

— Но ваш отчет...

— Предварительный никому не нужен, а окончательный... Вы собирались уединиться на месяц, не так ли?

Смолин тихо рассмеялся.

— Вы находите наше положение столь забавным? — проворчал Юрков.

— Отчасти — да. Извините... Я забыл, что для вас это не просто приключение. Впрочем, вашей вины тут нет.

— Дело не в этом. — Юрков с треском опустил в кресло. — Я понятия не имею, что произошло с домом, и это меня больше всего тревожит. Что он задумал?

— Задумал?! Вы же сказали, что он не...

— Он разумен не более, чем береза, не придирайтесь к слову. И все-таки он повел себя самостоятельно. Нарушена программа, чего быть не может!

— Гм... — Смолин тоже уселся. Оранжевый луч заходящего солнца пересек его колени. — Я, конечно, не эмбриотехник, но на досуге люблю возиться с цветами. Программа, самостоятельность, она же свобода воли... Тут надо разобраться не торопясь.

— А ничего другого нам просто не остается, — желчно ответил Юрков. — Не вижу выхода, хотя он должен, обязан быть, и позор нам, если мы его не найдем!

Он стукнул кулаком по подлокотнику.

— Да, глупо, — согласился Смолин. — Просто нелепо! Вы говорите — нарушена программа. Какая? Все, что делает растение, оно делает ради самосохранения. Себя, потомства, вида... Собственно, так поступает любое существо. Эта программа, насколько я понял, присуща и дому.

— Разумеется! Но основная его программа — сохранение обитателей. Нас то есть. И она нарушена.

— Так ли? Поступок дома — ведь то, что он сделал, можно назвать поступком? — по-моему, не противоречит ни той, ни другой программе.

Юрков отчаянно замотал головой:

— Нет, вы не понимаете! Дом вышел из повиновения. Вторая программа исключает это начисто.

— В ней есть четкая, однозначная на этот счет команда?

— Ну, не совсем так. Имея дело с генетикой, нельзя регламентировать все до мелочи. Задан общий принцип.

— Ах, общий принцип! — Смолин кисло улыбнулся. — Однажды, роясь в литературе, я наткнулся на древний юридический казус. Двое плечистых мужчин, встречая на темной безлюдной улице одиноких женщин, всякий раз очень вежливо просили у них денег взаймы. Мужчины не угрожали, их оружием была сама ситуация того времени, страх перед возможным насилием. Но формально они не нарушали закон, потому что нелепо запрещать кому бы то ни было просить взаймы даже у незнакомых. После поимки этих грабителей пришлось дополнять закон.

— Опять вы уподобляете дом разумному существу, — поморщился Юрков. — Он испытан сотни раз и никогда...

— А дом не мог мутировать?

— Мутировать?!

— Ну да. Или он не подвержен мутациям? Генетика-то ведь сходя.

Юрков непонимающе уставился на Смолина.

— Позвольте! Теоретическая вероятность такой мутации... Да с чего ему, собственно, было мутировать?

— Ну, мало ли что... Космическая радиация, какие-нибудь вещества почвы...

— Не считайте создателей дома олухами, — отрезал Юрков. — Конечно, они учитывали возможность мутаций. Предусмотрены были все известные факторы и...

Юрков замер с открытым ртом.

— Идиот! — взвопил он, подскакивая. — Нет, это надо же быть таким метафизиком! Ах, чтоб нас всех... Слушайте, у вас поразительный ум!

— Так я угадал?!

— Да о том ли речь! — Жестикулируя, Юрков забегал по комнате. — Мгновенная приспособляемость, другое качество эволюции, иной тип, что там наши жалкие мутации, нет, это перевернет теорию, что там — создаст новую! Вы понимаете, понимаете?! Биологическая эволюция — это мутации и отбор; прогресс техники тоже своего рода мутации — изобретения и открытия, и тоже отбор. А в новом, гибридном типе эволюции должны или нет быть свои, особые случаи мутации и отбора? Еще как, безмозглые мы диалектики! Какова первая, основная цель дома? Правильно, самосохранение. Наш приказ дому уничтожиться — противоречит он ей? Еще бы! Однако воспрепятствовать своей гибели дом способен не больше, чем дерево порубке. Но... При каких, спрашивается, условиях «программа смерти» не реализуется, даже если пусковая кнопка нажата? Ага, вы уже догадались! Она не будет выполнена тогда и только тогда, когда в доме находится человек. Вот и все! Дом сотни раз умирал в экспериментах, и ведь это эволюция, это отбор. И дом научился, как обойти запрет, не нарушая его. Заточив нас, он обрел бессмертие, мы сами его создали вечным, пока сияет солнце!

— А как же вторая программа? — воскликнул Смолин. — Хотя...

— Вот именно! — Юрков ликующе потер ладони. — Его действия вытекают из обеих программ. Ведь заботиться о человеке, как о самом себе, дом может лишь тогда, когда человек находится в нем. Только! Нет, это просто поразительно. Ударьте дерево топором, и порез заплывет. А чем не рана открытая дверь? Сходится, все сходится! Слушайте, это грандиозно... Мы создали особый тип эволюции и думали, что идеально приспособили ее к себе. А она тут же внесла поправку, идеально приспособив нас. Гениальный дом, нет, каково?!

— Замечательно, — сухо сказал Смолин. — Я вне себя от радости, что стал объектом оптимального приспособления своего жилища к своей персоне. А вот что мы будем есть в своем заточении?

— Да-а... — Юрков сник. — В перспективных моделях будущего мы рассчитывали научить дом выращивать любую пищу, но в этой хижине... — Он почесал затылок. — Боюсь, что при всей своей гениальности дом не сообразит нам бифштекс. Ничего, теперь мы выяснили причину, знаем, что дом не обезумел. Подумаем, как перехитрить его, время есть.

Опустив голову, Юрков зашагал по комнате. Смолин растерянно следил за ним. В молчании прошло десять минут. Двадцать. Полчаса. Вечерние тени окончательно затопили луг. Вдали над сизо-дымчатыми холмами медленно розовели снежные пики гор. В пока еще светлом небе реяли стрижи. Смолин перевел туда взгляд. Реалет с опущенными крыльями был так близок от окна, что мысль о его недостижимости не укладывалась в сознании. С детства привычная возможность в любое мгновение переместиться куда угодно раньше не замечалась Смолиным, как дыхание, и то, что случилось теперь, все еще казалось ему нереальным. Он пробовал избавиться от этого ощущения, но не получалось.

Заперты! Чувствовал ли что-нибудь дом? Нет, конечно. Если бы он чувствовал, то всякий уход человека причинял бы ему страдание, как потеря самого дорогого, ради чего он живет на земле. Его бы, верно, корчило от боли. Но как-то он все это ощущал, все-таки ощущал.

— Нельзя ли с ним как-нибудь вступить в переговоры? — не выдержал Смолин. — Есть же контакт на уровне мыслемебели.

— Глупо, но я уже пробовал ему кое-что внушить, — отозвался Юрков. — Нет, способности дома воспринимать остались сродни способностям грибницы под воздействием тепла выращивать шампиньоны. Здесь сложнее, но уровень общения тот же.

— Стоит пожалеть, что дом безмозгл.

— Пожалуй. Прогресс эволюции — это еще и прогресс сознания, и, мысленно обращаясь к дому, я кое на что надеялся. Пустое! Вот в перспективе...

— Вы еще можете думать о перспективе? После такого урока?

— А как же! Новые свойства — это новые возможности. Урок? Что ж, огонь жжется, радиация умерщвляет, но без них не было бы цивилизации. Ничего, справимся. Не знаком ли вам какой-нибудь сигнальный код?

— Увы!

— Я тоже его не знаю. Жаль. В темноте мы могли бы сигнализировать окнами.

— Можно просто включать и выключать свет.

— Безусловно. Место, однако, глухое, а если кто и заметит... Я бы лично решил, что это какая-то забава. Бедствие? Нелепо. Видеофона у них нет, что ли? И реалет под окном. А праздно любопытствовать, соваться, когда не просят, — не в прошлом веке живем.

— На вторую или третью ночь мигания, положим, кое-кто, надеюсь, отбросит деликатность.

Не оборачиваясь, Юрков досадливо махнул рукой. Его профиль сновал на фоне сереющих окон, и эти метания были невольным укором. Смолин тихонько вздохнул. Ему что, ответственность не на нем. Сколько дней человек может голодать? Эх, знать бы эмбриотехнику... Чем такой, как он, профан может помочь? Чем?

— Подать сигнал, подать сигнал... — бормотал Юрков. — Что-то должно вырваться из дома... Допустим: свет — с ним ясно; звук... отпадает. Вода? Открыть все краны, заткнуть отверстия слива, затопить дом. Тогда, тогда... А, как вы думаете?

— Не понимаю, что это нам даст.

— Нарушится оптимум, дом будет вынужден... Вероятно, он сделает новые отверстия.

— Шириной в крысиный лаз?

— Вы правы. Может быть... — Юрков заглянул в окно. — Нет, тоже ерунда.

— Что именно? Пустить ручей, по нему кораблик с запиской?

— Представьте себе! — Юрков невесело рассмеялся. — Вот до чего дошло... Право, я начинаю сомневаться, кто же из нас глупее — я или дом. Все, точка. Будем действовать строго по научной методе. Я тебя перехитрю, сволочь безмозглая!

Юрков погрозил кулаком, и этот нелепый жест показался Смолину естественным. Он поймал себя на том, что, вопреки рассудку, воспринимает дом как одухотворенное, может быть, злонамеренное существо. Очень хотелось есть, не так, как в детстве, когда, заигравшись, он пропускал обед, а неотвязно, постыдно, сосуще.

На вершинах погас последний отблеск зари. В темном зените вдруг вспыхнул, разгораясь, сиреневый импульс дальнего космического рейсовика. «Старт с орбиты семь», — машинально определил Смолин. Сверкающий аметист тихо дрожал в ночном небе. Юрков со вздохом опустился в кресло. Черным всполохом — Смолин даже вздрогнул — метнулась за окном летучая мышь.

Из угла доносилось невнятное бормотание. Потом оно стихло. Потом...

— Как я и ожидал, все очень просто. — Юрков с шумом поднялся. — Выход кроется в элементарном силлогизме: для дома мы часть его самого, тогда как обратное утверждение неверно. Отсюда следует, что мы можем и должны умертвить дом.

— Как? — подскочил Смолин. — Каким образом?

— Самым банальным. — Юрков ласково погладил спинку кресла. — Какая замечательная выдумка — мыслебель... Я всегда считал, что у человека есть только один серьезный враг — собственная глупость. Ведь мы сейчас внутри организма, не так ли? Совсем как бактерии.

— Ну и сравнение!

— Не верно разве? Во всяком случае, ничто нам не мешает превратиться из смирных обитателей в свирепых.

— Не понимаю...

— Дом обязан выполнять свои функции, все функции. Обязан! Человек не послушается приказа присесть до разрыва сердца, а вот дом не определяет, какой приказ дурацкий, а какой нет. Это и даст нам свободу.

— Опять загадки?

— Извините, я, похоже, неисправим. Замысел прост до примитивности. Что мешает нам проломить окно? Способность материала самоутолщаться. При каких условиях окно не будет самоутолщаться? Тогда, когда в доме не станет энергии. Солнечной энергией он как следует не запаса, а батарею... батарею мы отключим.

— А-а!

— То-то же! Все непонятное только кажется сложным. Живей за дело, и я, может быть, еще успею на свой марсолет!

— Постойте! А если мы не успеем выбраться до того, как дом перестанет дышать?

— Поставим батарею обратно, вот и все. Но мы успеем.

Юрков рысцой выбежал в прихожую и минуту спустя вернулся с цилиндром в руках.

— Наконец-то, — сказал Смолин. — Это нелепо, но пока вас не было, мне померещилось, что дом разгадал наши планы...

— И заблокировал батарею, — весело кивнул Юрков. — Знаете, у меня мелькнула похожая мысль. До чего же сильны первобытные страхи! Та-ак, теперь поработаем.

— Что надо делать?

— Все! Пустим воду — пусть качает. Погорячей, погорячей, будет лишняя трата... Зажжем всюду свет, включим стерео — играй дом! Ловите что-нибудь побравурней. Так, прекрасно, лунная станция, катание на льду под звуки «Турецкого марша» — это нам соответствует... Какие прыжки! Теперь громоздите мебель. Побольше, навалом, живей! Начали.

Ничего более безумного Смолин припомнить не мог. Грохотала музыка, сияли стены, из сауны валил пар, призрачно вихрились танцоры, шипела вода в кранах, а они с Юрковым метались среди этого хаоса, громоздя столы, стулья, диваны, кресла, все дикое, перекошенное, как их скачущие мыслеобразы. Пол от раскачки ходил ходуном, и еще приходилось увер-

тиваться от каких-то скамеек, табуретов, соф, которые в самый неподходящий момент возникали по прихоти Юркова, а под ногами крутился забытый цилиндр батареи, но было не до него, не до мелочей, лихое неистовство завладело Смолиным. В запотевших окнах угрюмо чернела ночь.

— Наддай, наддай! — кричал Юрков, скача как дьявол.

От этого неистовства путались мысли, изнемогая, стучало сердце, и дом тоже изнемогал — все более вяло формировалась мебель, не так победно шумела вода, уже не слепил глаза свет, и даже движения танцоров, казалось, замедлились.

Скрежетнув, на полутакте оборвалась музыка.

— Уже немного... пустяк остался, — задыхаясь, проговорил Юрков. — Дружной, поднажмем!

Внезапно его глаза расширились. Он с воплем кинулся на пол, хватая цилиндр, с которого от тряски слетел колпачок. Что-то бледное, как подземные корешки, шевелились возле контактов, петлями охватывало батарею.

— Держите!!! Дом нашупал ее!!!

Остолбенев, Смолин смотрел, как корчится Юрков, стремясь отодрать цилиндр, как пол выбрасывает все новые шевелящиеся отростки.

— Да помогите же!!!

Крик вывел Смолина из столбняка. Они навалились вдвоем. Бешеным усилием удалось приподнять край цилиндра, но другой будто прирос к полу.

— Не важно, не важно, — тяжело шептал Юрков. — Лишь бы дом снова не дотянулся до контактов... Осторожней, сами их не коснитесь.

Ловким движением Юрков подсунул руку под свободный торец, полуобнял его.

— Вре-е-ешь, не удастся... Где колпачок?!

Но его нигде не было, он затерялся в хаосе мебели.

— Тащите, тащите!

Смолин едва не завопил, когда выросший сбоку отросток коснулся его руки. Юрков локтем пытался прикрыть контакты. Отростками, казалось, овладела растерянность. Они не выпускали цилиндр, но свободные корешки двигались беспорядочно. Их шевеление напоминало взволнованное колыхание

ресничек росянки, которая слепо и упорно пытается нащупать близкую добычу.

Минуто-другую ничего не было слышно, кроме сопения людей и сиплого шипения кранов. Свет комнаты явственно и быстро желтел.

— Главное — удержать, — хрипло сказал Юрков. — Экономьте усилия, скоро все кончится. Как он, однако...

— Кто?

— Дом, кто же еще! Стебель тянется к свету, корень к воде, а он сразу... Нет, какова реакция! Какая молниеносная перестройка тканей... И это в агонии!

— Отростки замерли. Может, отпустим?

— Ни в коем случае! Наше счастье, что дом ослабел, прежде чем контакты случайно коснулись пола и дом почувствовал источник энергии. Но он продолжает его искать — смотрите! Стоит хоть одному отростку дотронуться... Пригните вон тот...

— Свет гаснет...

— Рано, рано! Вспомните, как ведет себя утопающий, и держите, держите! Стоит дому завладеть батареей — плакала наша свобода.

— Держу, держу...

Свет мигнул пару раз, словно дом хотел рассмотреть что-то, и погас. В серых пятнах окон медленно проступал узор созвездий.

Прохрипев, смолкли краны.

— И в самом деле похоже на агонию, — прошептал Смолин.

— В доме еще тлеет жизнь. Что-то скользит по моим пальцам.

— Вы думаете, он будет до самого конца...

— А что ему остается?

Смолин вздрогнул.

— Воздух! Может быть, лучше...

— Отпустить и замуровать себя? Ничего, удушье не бывает мгновенным — успеем.

— Вы ручаетесь, что окно сразу поддастся?

— Да, если ударить посильней.

Пол, казалось, вспотел от усилий — такой от него исходил теперь запах. Преодолевая брезгливость, Смолин пошевелил в темноте рукой, пока не нашарил какой-то отросток. Тот слабо ворохнулся. Словно теплый осязающий кончик мизинца про-

шелся по ладони. Это было невыносимо — Смолин тут же отдернул руку. Мертвая тишина дома больше не могла обмануть. В нем шла напряженная, жуткая своим безмолвием борьба. Живо представилось, как перестраиваются, агонизируют его ткани, как по всей массе дома в лихорадке снуют сигналы, мечутся связующие организм токи, слабея, гаснут, а дом инстинктом последнего усилия ищет приток спасительной энергии, ищет безумно, слепо, неотвязно, даже не ощущая, словно огромный, подсеченный ножом гриб... Или человек в беспмятстве, наедине с подступающей смертью.

Смолин почувствовал, что задыхается. Показалось? Он судорожно глотнул воздух, и новый вздох, вместо облегчения, перехватил горло тяжелым удушливым запахом, столь внезапным и тошнотворным, что сердце заколотилось в панике, а виски пронзила резкая боль.

— Послушайте, Юрков...

Судорожная возня вместо ответа. Вентиляция отказала... Так скоро?! Не может быть!..

— Я задыхаюсь...

— Спокойно! Держу отросток... Почти дотянулся, гад...

— Воздух... Дайте дому энергию, дайте!

— Без паники! Это запах дома, продукт его распада, он скапливается внизу... Удержу один, вы — бросайте! Живо к окну, слышите?

Смолин хотел вскочить — подкосились ноги. Перед глазами, вращаясь, замельтешили красные пятна. Воздуха как будто не стало. Горло, легкие забило что-то тягучее, вязкое, удушающее.

«Дом... Здесь все ускорено!.. Он умер и выделяет, выделяет... Надо... успеть...»

Он дотянулся до чего-то, пошатываясь, встал. Боль в голове душила ужас, изумление, все. Как из другого мира, доносилось чье-то хрипение.

«Шипят краны?.. Нет, это Юрков... Просчитались... Среда дома — ловушка... Ну, еще шаг...»

Руки ухватили что-то тяжелое. Оторвали от пола. В окне, отдаваясь болью, пронзительно горело созвездие.

«Туда, в созвездие... Не смей падать, дрянь!..»

Руки, тело бросили тяжесть прямо в центр пылающего созвездия. Оно взметнулось, и Смолин ощутил, что сам он откидывается, падает, падает и дикая боль в мозгу блаженно стихает.

Погасло все.

...Мгновение, вечность? Темнота, укол звездного света, что-то мокрое стекает по лицу...

— Очнулись?

Чьи-то руки бережно приподнимают, мокрое лицо холодит воздух, под ухом такой знакомый голос. Юрков?

— Я... я разбил окно?

— Все, все в порядке. Нет, вы его не разбили.

— Значит, вы отдали...

Короткий смешок.

— Темно — видите? Я не отдал.

— Но как же воздух... Вы?

— Дом. Вглядитесь.

Смолин приподнял голову — это удалось без всяких усилий. Оглушающей боли как не бывало. Перед глазами было окно. Его испещряли тысячи искристых точек, и звезды терялись в этой алмазно мерцающей черноте.

— Последним, самым последним усилием, — зашептал Юрков, — дом раскрыл, разорвал все свои устья: Ведь дыхание — важнее всего.

— Для кого? — Смолин сжал руку Юркова. — Для кого?

— Для нас, конечно. — В голосе Юркова послышалось удивление. — Все, что дом делал, он делал только для нас. Он и перед гибелью позаботился о нашей... нашей сохранности. Мы его душа, как-никак.

Юрков снова издал короткий смешок. Смолин, неловко опираясь на его плечо, встал.

— Можете сами двигаться? — спросил Юрков.

— Как видите...

— Тогда не будем терять времени. В темпе, в темпе! Разобьем окно и помчимся. Ах как неладно все получилось! Теперь, я думаю, вы и близко не подойдете к дому, как бы жестко мы его ни запрограммировали.

— Ничего вы не понимаете, — неожиданно для самого себя проворчал Смолин. — Нам жить с домом, но и дому жить с нами. Тут надо искать общий язык, а это занятие как раз для нетерпеливых...

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОИЗВОДНАЯ

Конечно, Радунский имел представление о Шаре, но действительность оказалась иной. Цокая магнитными подковками и озираясь, журналист прошел от шлюзовой камеры к узкому, как столик для рукоделия, пульту. Позади бесшумно следовал Корк. Сферические стены сияли стерильной белизной. Над пультом змеилась коричневая вязь многографиков. Еще тут было несколько переключателей, видеорам, табло интегратора, экранчик оптрона. И это все! И это на диспетчерском пункте самой грандиозной космической машины!

— Разочарованы? — скрипуче осведомился Корк. Его морщинистые веки затрепетали. — Никак не могу этого понять. Ничто так не поражает и ничто так не свидетельствует о техническом примитивизме, как внешняя сложность конструкции. Необъяснимо! Возьмем человека. Глаза, уши, нос: вот и все основные выходы самого совершенного творения — мозга. В конструкции Магнитного мешка мы наконец приблизились к идеалу, а вас эта простота обескураживает. Так?

— Пожалуй, — помедлив, согласился Радунский. — Хотя... Самое удачное изделие человека, потому что никакие тысячелетия прогресса не смогли его улучшить, — это ложка. Но кого может поразить ее совершенство? Внимание не зря привлекает то, что обещает развитие.

Мигнув, Корк уставился на журналиста, будто не успел его разглядеть. Головой он едва доставал до плеча Радунского.

— Знаете, а это не банально, — проговорил он протяжно. — Весьма. Садитесь, время пока есть.

Радунский сел.

— Крохотный вопрос. Видеорама — это все, что у вас есть для наблюдений?

— Нет, почему же...

Нагнувшись над пультом, Корк тронул переключатель. Вихрем растаяли стены. Кресла, пульт будто вынесло в бездну. Рывком подступили звезды — целый сонм. Радунский ухватился за подлокотники, сжал их, цепенея. Пришвартованный бот — его овал маячил тенью — загораживал Солнце, и миллионы звезд горели в безмерной тьме — переливчатые, холодные, редкие атомы света среди выжженного мрака, в котором одиноко искрился клуб Млечного Пути и туманились блеклые пятнышки дальних галактик.

— Курите, курите, — благодушно сказал Корк, заметив невольное движение руки журналиста.

Жадная затяжка ароматного тоника вернула равновесие. Да, находится вот так среди звезд было совсем не то, что наблюдать их в иллюминатор, и стоило возблагодарить умную хитрость тех, кто, устранив из табака никотин и гарь, сумел обратить дурную привычку человечества в успокоительный ритуал.

— Земля? — Дымящимся кончиком сигареты Радунский указал на ярко-голубую звездочку.

— Вега. Земля — там. А вот Марс, Юпитер, Сатурн.

— Вся Солнечная система у нас под ногами, — прошептал Радунский.

Он посмотрел вниз.

— Не странно ли! Восседаем в кресле, как боги на облачке...

— Не увлекайтесь слишком — голова закружится.

— А Магнитный мешок? Он здесь? Там? Вокруг?

— Конечно. Он здесь... всюду...

Корк сделал неопределенный жест.

Радунский в который раз попытался наглядно представить Магнитный мешок и, конечно, не смог. Слишком все это было непохоже. Ни на что не похоже. Одним фактом своего существования Магнитный мешок опровергал когда-то незыблемые представления о назначении и виде машин. Многие столетия любой инженерный замысел привязывался к металлу. Лишь с середины двадцатого века стали появляться детали, которых нельзя было увидеть и пощупать, как невозможно рассмотреть

или потрогать бег электронного луча в кинескопе. Но еще долго основой всякой конструкции оставалось земное — твердое, жидкое или газообразное, с колыбели знакомое и привычное вещество.

Только космос раскрыл глаза на его безмерную редкость. На то, что все могучие процессы вселенной имеют совсем иную материальную основу и невозможно идти вперед, опираясь лишь на земной опыт. Так главным стало невидимое и неосязаемое состояние материи. Внешне мало что изменилось в Солнечной системе, но руда с астероидов заскользила по гравитационным рельсам, планеты связали электромагнитные шоссе, энергия Солнца потекла к Земле в незримых пучках, а бесплотные машины физиков размахнулись на миллионы километров. Сказка о платье короля, которое якобы мог увидеть лишь умница, неожиданно приобрела второй, не предусмотренный авторами смысл.

Но Магнитный мешок удивлял и ко всему привычных современников. Все в нем было «не таким», начиная с названия. Во-первых, магнитное поле играло в нем отнюдь не главную роль, и слово «магнитный» пристало к нему оттого, что оно было самым привычным. Во-вторых, это был не столько «мешок», сколько «одежда», «броня». И уж если совсем точно — машина. Машина диаметром во много сотен миллионов километров; машина, сама устанавливающая свои границы; машина, в чреве которой находились Земля, и Марс, и Венера; машина, имевшая лишь одну крупную твердую деталь — Шар. И то лишь потому, что в нем иногда должен находиться человек.

— Такое ощущение, — проговорил Радунский, — что стоит лишь оттолкнуться, как тебя унесет в другую галактику. Скажите, если позволяет время, что было главной трудностью при конструировании Мешка?

Корк ответил не сразу. Он, сторбившись, сидел в кресле, маленький, сухонький, нависал над вселенной, буравя ее взглядом запавших глаз. «Сколько же ему лет? — спохватился Радунский. — Много... И о чем он думает у порога события, ради которого столько лет трудился, — вот что интересней всего. Не спросишь, неловко. И не ответит, все личное, так

говорят, давно им отброшено. Аскет, воплощение мысли, неистовый труженик — один из многих... Как об этом написать?»

— Все было непросто. — Зябким жестом Корк потер ладонь о ладонь. — А самым трудным было вовсе не конструирование. Преодоление последствий конструирования — вот что.

Радунский кивнул. Он понял, что хотел сказать Корк. Когда-то единственной задачей инженера был сам акт создания машины. Установки. Энергостанции. Корабля. Затем в проектах стала появляться графа: расчет последствий. Инженеры медленно и с трудом привыкли к простой и вроде бы очевидной мысли, что любое творение их ума меняет мир. Как от камня, брошенного в воду, от него расходятся широкие круги последствий. О чем думали создатели первых автомобилей? О чем угодно, только не об удушающем смоге, не о пробках на улицах, дающих пешеходу преимущество перед стосильной машиной. Но эти последствия сказались лишь через полвека. У более поздних поколений инженеров такого разрыва во времени уже не осталось. Выдумать новую машину, сдвинуть гору, перегородить реку оказалось куда проще, чем оценить последствия такого поступка, и расчет производных того или иного инженерного замысла мало-помалу стал главной работой.

Однако Радунский, видя настроение собеседника, промолчал.

— О да, это была проблемка... — Корк вздохнул, и в этом вздохе было все: сожаление о невозвратимых днях, гордость создателя, может быть, глубоко скрытое беспокойство перед решающим испытанием. — Ведь с последствий все и началось. Когда были рассчитаны производные от создания фотонных ракет, то первое из них ставило крест на всей этой затее с полетом к иным звездным мирам. Вам это само собой известно...

— Тяговый луч звездолета должен был светить, как солнце, только в диапазоне гамма-лучей. А это означало бы гибель на Земле всего живого. Так?

— А силу излучения нельзя было уменьшить, иначе бы не хватило тяги. Тогда и возник проект Мешка. Чтобы погасить волну, надо поставить волнолом. То же и с последствиями. Мешок отлично защищал Солнечную систему от радиации звездолета. Но одновременно он экранировал все гамма-источни-

ки вселенной, против чего возражали астрономы, вносил помехи в работу межпланетных полей, что и вовсе никого не устраивало. Пришлось Мешок проектировать так, чтобы он включался только при запуске фотонного двигателя. Понимаете, к чему ведет это второе производное?

— Не совсем.

— К третьей производной. Отладить инертную конструкцию Мешка можно только в длительной серии испытаний, а их-то как раз и нельзя было производить без риска расстроить структуру межпланетного вакуума. Оставалось единственное — снабдить Мешок «разумом», который в момент включения сам настроил бы конструкцию на оптимальный режим.

— Задать ему «свободу воли».

— Это и есть третья производная! Погасить ее могло лишь жесткое ограничение: любое действие Мешка, любое его самосовершенствование возможно и осуществимо, если оно направлено на заботу о человечестве, человеке и его материальных ценностях.

— Мешок в роли няньки — трудное условие.

— Это, знаете ли, была задачка! — Корк оживился, даже черты его лица смягчились. — Тысячи раз казалось, что это невозможно. Что это выше человеческих сил. Что выхода нет и надо расстаться с мечтой о звездах. И все же — вот! Мешок создан, путь к звездам открыт. О чем только пишут ваши коллеги, не понимаю. Ах какая невероятно сложная машина! Ах как замечательно она самопитается от Солнца! Ах какая она огромная! Все это сущие пустяки. Созидать и кораллы умеют. Масштабней, чем мы, кстати, ибо воздвигнутые этими крошками архипелаги относительно куда грандиозней всех наших построек. В этом ли отличие людей от кораллов? Вот о чем никто не пишет.

— Ошибаетесь. Пишут о людях, которые строят.

— Тоже неверный подход. Превозносят личность, а на деле все творит коллективная мысль, чего литература упорно не замечает.

— Потому что она не равняет человека с кораллом.

— Простите, не понял.

— Строя, кораллы возвышают остров, свою обитель — и только. Человек, строя, возвышает сам себя, улучшает не толь-

ко внешний, но и внутренний, свой, духовный мир. Без этого его функция та же, что и у коралла.

Корк задумался, неподвижно глядя перед собой. Молчал и Радунский. Бежали минуты, неосязаемые в неподвижном свете звезд, который был миллиарды лет назад и будет миллиарды лет после, — такой же равнодушный среди черной вечности мира.

Близилось время. По-домашнему мягко пропел сигнал. Корк выпрямился, тряхнул головой, будто освобождаясь от ненужных мыслей. В глазах застыл повелительный холодок. Руки проворно легли на пульт. Резкие черты лица застыли, как в бронзе.

В матовой глубине экрана заскользили какие-то недоступные пониманию Радунского символы. Он искоса глянул на Корка: жесток, замкнут — не подступись!

— Началось?

— Помолчите.

Рогатые загогулины знаков теснились, как солдаты при штурме. «Мешок докладывает, — догадался Радунский. — А что же Корк?.. Чем он управляет, если Мешок все делает сам?»

Ответа не было. «Да! Нет. Включилось! Ноль-фаза. Готово. Есть!» — кому-то отрывисто говорил Корк. Его цепкие пальцы лежали на переключателях, словно сдерживая напрягающую узду. Радунский поспешно огляделся. Звезды горели по-прежнему. Но где-то в необъятной пустоте — он это чувствовал — творились последние приготовления. Где-то напрягались бесплотные мускулы сверхмашины, неслись тайные команды, некое подобие мысли пронизывало вакуум. И все оставалось скрытым для простого человеческого понимания.

Обострившееся лицо Корка было суровым. Вот так когда-то инженер застыл под мостом, который строил, чтобы пропустить над головой первый тяжело громяхающий поезд.

— Когда же наконец стартует «Фотон»? — вырвалось у Радунского.

— Уже стартовал, — не разжимая губ, ответил Корк. — Сейчас дойдет свет.

Над плоскостью эклиптики полыхнула белая, до рези в глазах ослепительная вспышка.

Но это длилось мгновение. Словно взмах огненной руки очертил вселенную. Не стало тьмы, не стало звезд, всюду простерлось радужное, в переливчатых кольцах, небывалое и прекрасное небо.

— Вот он, Мешок... — прошептал Корк.

Он сидел, устало полузакрыв веки, быть может, тихо ликуя, как человек, сделавший последнее главное дело и чуточку грустный оттого, что другой такой минуты свершения уже никогда не будет. А возможно, все это Радунскому просто казалось, ибо он ждал чего-то другого — жеста, слова, победного блеска глаз.

Над ними пламенела вселенная, и блеск луча звездолета был в ней как сияющий алмаз. «Вот мы какие, — суматошно билось в мозгу Радунского, — вот мы какие!..»

Он искал подходящих слов, но, прежде чем он их нашел, в глаза ударил мрак, такой внезапный и черный, что Радунский, вскрикнув, зажмурился.

— «Фотон», «Фотон»! — Резкий, фальцетом, голос Корка обдал его смятением. — Почему прекратили старт?!

Ответа быть не могло, пока слова не пробегут путь в сотни миллионов километров. Радунский в ужасе открыл глаза. Дважды растерянно моргнул.

Все было обычным. Как всегда, бестрепетно горели звезды, проколотый их лучами мрак был спокоен и глух. Радунский, не веря себе, метнул взгляд в сторону Земли — кроткая голубая звездочка сияла безмятежно.

— Сядьте и успокойтесь! — Звенящий голос Корка приковал его к креслу. — Чего вы мечетесь? Раз Мешок выключился, значит, так надо.

— Но этот внезапный мрак!..

— Мрак! Простая физиологическая реакция глаз после яркого света. Сейчас все узнаем, надо ждать.

Корк стиснул рукой подбородок. Радунский отвел взгляд от его потемневшего лица. Больше не решаясь спрашивать, он молил минуты идти быстрее, так невыносим был тяжкий, впившийся в экран взгляд Корка.

— Говорит «Фотон», — плеснулось из динамика. — Что у вас там происходит? Мешок не дает нам стартовать! Его поле вырубил у нас луч!

Корк, будто защищаясь, поднял к лицу ладонь. Медленно опустил, глядя на возникшие перед ним символы.

— Все, — сказал он глухо. — Четвертая производная.

— Какая?! — подскочил Радунский. — Неужели...

— Нет, безопасность соблюдена. — Голос Корка был деревянным. — Даже слишком.

— Как — слишком?

— Мешок призван максимально заботиться о безопасности человечества и человека. Что он и сделал. Неужели не понятно? Межзвездные полеты опасны, трижды опасны для экипажа. И Мешок в полном соответствии с программой их запретил. Как нянька, ухватил нас за рубашонку, чтобы мы не убежали из дому.

— Да как же так... — растерянно и облегченно, стыдясь своей радости и страдая за Корка, пробормотал Радунский. — Слушайте! Ведь ничего не потеряно! Стоит изменить программу Мешка, исключить заботу о безопасности отдельного человека и...

Он запнулся. Можно ли обеспечить безопасность человечества, не заботясь о безопасности каждого отдельного человека?

— Ага! — с внезапным и мрачным торжеством проговорил Корк. — Теперь поняли, каким трудом дается прогресс?

Он встал, возвышаясь, глянул на притихшего Радунского, который с изумлением смотрел на его решительное, даже помолодевшее лицо готового ко всему бойца.

— Чему удивляетесь? — Губы Корка тронула усмешка. — От неудач мы крепнем. Четвертая производная, так четвертая, и ее одолеем. Вы еще увидите небо в алмазах, в фотонных вспышках то есть, увидите! В конце концов, это обычная инженерная задача...

МГНОВЕНИЕ ЧУДА

Я был ночью один в пустыне, куда меня завел поиск древней тишины.

Это не было следствием путевой ошибки, как можно подумать. Дело вот в чем. Я уже сказал, что была ночь и расстилась пустыня. Достаточно еще упомянуть о песчаном гребне в отблеске звезд, как перед вами возникает облик местности, где вы никогда не бывали. Это неизбежно, если вы посещаете кино и просматриваете иллюстрации журналов, где вам наверняка попадались подходящие снимки. Фотографический образ мест, которых сам человек никогда не видел, настолько типичен для памяти каждого, что нам трудно представить, как может быть иначе. Так же, наверное, как нашим прадедам трудно было бы вообразить такое вот «заемное» зрение.

И этим, кстати, видение теперешнего человека тоже отличается от видения людей прошлого.

Чего, однако, «заемный» образ не может передать совершенно, так это тишины, которая была вокруг. Стояла редкая тишина. Едва ли не каждый убежден, что ему знакома тишина природы, но это самообман. Чтобы быть подлинной, она должна оставаться долгой и беспримесной, а такую тишину мотор и транзистор сделали гонимей индостанского тигра. Это не преувеличение, если вы посчитаете, сколько раз в самом глухом лесу над вами пролетит самолет. Заповедники для тишины, какой она бывала раньше, не предусмотрены, и скоро она, боюсь, исчезнет совсем, что для нас, историкопсихологов, будет крошечной, но невозполнимой потерей.

Поскольку событие, которое произошло той ночью, связано с моей профессией, скажу о ней несколько слов.

Все, решительно все, включая судьбу Земли, зависит теперь от поведения человечества, а его нельзя понять, предвосхитить, тем более изменить без знания истоков, которые его питают. Меж тем психология «человека исторического» до сих пор туман и догадки. Тут бездна работы, все очень запутанно и часто поражает наивностью подхода. Скажем так. Добр человек от природы или зол? Вероятно, вы слышали подобные споры, а то и участвовали в них. Тогда вы зря потеряли время. Исписаны тома, доказывающие, что человек изначально зол, и тома, доказывающие, что он изначально добр, — с ссылками, как водится, на «безгрешность детей». Спор на таком уровне типичная схоластика. Толст или худ человек изначально? От столь неграмотной постановки вопроса отшатнется любой генетик. Что главенствовало и главенствует в земном климате — тепло или холод? Бессмыслица! Так никто и рассуждать не станет, а потянется к цифрам изотопного палеоанализа, данным сравнительной планетологии и обыкновенному термометру. Знание невозможно без сравнения, без конкретных вопросов как, где, когда, почему, сколько. Нельзя понять распад атомов, не зная причин стабильности. Нелепо вести геологический поиск, не ведая о происхождении слоев и пород. Прогноз завтрашней погоды всегда опирается на сведения о минувшей. Мы никогда бы не расстались со сказочкой о божественной природе человека без сопоставления его с обезьяной, рептилиями, земноводными и давно вымершими трилобитами. Мы вряд ли разберемся в психике современного человека, в направленности ее изменений, не задавая себе вопроса, какой она была сто, тысячу, миллион лет назад, какие проявления и почему мы получили в наследство от наших звериных предков. Возвышается ли человечество духовно или деградирует? Можно пылко восхищаться прогрессом, и слушатель только хмыкает, вспомнив о пытках где-нибудь в Чили. Я же упомяну лишь об одном факте. Вот текст древнего рецепта по закаливанию стали: «Нагревать кинжал следует, пока он не засветится, как восходящее в пустыне солнце, затем надлежит его охладить до цвета царского пурпура, погружая в тело мускулистого раба...»

Жутковато? А пару с лишним тысячелетий назад этот рецепт буднично и спокойно был высечен на стене одного малоазиатского храма для всеобщего, так сказать, обозрения. И, надо полагать, никого это не возмущало — ни тогдашних мыслителей, ни нежных матерей, ни, быть может, самих рабов.

Но я отклонился. Почему мне нужна была именно пустыня? Не потому, что там на редкость совершенная тишина: в лесу порой прошуршит ветер, в степи прокричит птица, в горах неусыпно бормочет ручей, тогда как в пустыне ночью ни звука. Дело в другом. Есть второстепенные и мелкие проблемы, но, простите за банальность, в картине дорог каждый мазок. По свидетельству древних источников, такие могучие вероучения, как христианство, ислам, будто бы зарождались в ночных размышлениях среди пустынь. Существенно ли это обстоятельство? Или возьмем шире: когда и в какой мере при реконструкции былой психологии надо учитывать воздействие природной среды? Тут возможен разный ответ, но нельзя прийти ни к какому, нельзя погрузиться в обстановку минувшего и, значит, подойти к пониманию того, что было, сидя в комнате, где звонит телефон.

Конечно, легко возразить, что мой эксперимент ненадежен и неточен. Не стану спорить, я и так был полон сомнений, о которых скажу позже. Но как быть, если предмет исследования — это исчезнувшая мысль, забытое чувство, вчерашнее восприятие мира? Если судить о духовной жизни поколений приходится только косвенно — по ее рудиментам в современном сознании, по обломкам материальной культуры, редким и часто искаженным записям? А когда этих свидетельств нет вовсе? Попробуйте-ка восстановить содержание передачи по хаосу ржавых радиодеталей...

Историческая психология, увы, далеко не физика. Здесь едва ли не единственный инструмент познания — собственная мысль. Эксперимент почти невозможен, нет у нас не только синхрофазотрона, но даже простенького осциллографа. Вот и приходится ставить умозрительные опыты, которые у любого добропорядочного экспериментатора-естественника вызывают улыбку жалости. Впрочем, что ж, были века, когда почитался мыслитель в белом хитоне, а фигура в прожженном фартуке

удостаивалась снисходительного взгляда. Равновесие должно соблюдаться.

Однако я снова уклонился. Тишина стояла... Оглушительная? Не то слово. Стояла растворяющая тишина. Чувства погружались в нее без остатка, обострялись до предела, как бы пронизывая собой все пространство и образуя с ним единую электрическую сеть, которая отзывалась и на холодный свет дальней звезды, и на сухой запах песка, и на темную геометрию равнины.

Долгое время я лежал, созерцая звездное небо. Не знаю сколько — часы я убрал в палатку, чтобы их тиканье не стало помехой (часы на руке — это уже пульс двадцатого века). Оставалось лишь то воздействие, которое пустыня оказывала на человека и тысячу лет назад. Другое дело, что объект воздействия, то есть я сам, принадлежал не прошлому, а настоящему. Тут ничего нельзя было изменить, и это меня смущало.

Не без причины, естественно. Мысль о столь необычном эксперименте — не хочу отрицать — подал я сам. Но как? Я ее прошептал, склоняясь к уху профессора Рокотова, на каком-то нудном заседании, чтобы немного развлечь его и себя. Боюсь, что она была вызвана не столько теми общими соображениями, о которых я упоминал, сколько духотой зала, онемением поясницы и скукой. Во всяком случае, реакция моего учителя и друга была соответствующей. Он хмыкнул, колыхнулся, так что захрустел стул, и мы тихонько заговорили о чем-то другом.

Каково же было мое удивление, когда месяц спустя Рокотов вернулся к моей идее и предложил командировку в пустыню. Кто знаком с Рокотовым, тот знает смелую неожиданность его решений. Но тут даже я замаялся. Каким, спрашивается, может быть результат такой поездки? Побуду в пустыне, войду, так сказать, в атмосферу минувшего, а с чем вернуться? С южным загаром?

Ответом было все отметающее мановение пухлой длани, отеческая улыбка и замечание вскользь о том, что я выгляжу усталым и мне необходим свежий воздух.

С тем я и отбыл, твердо убежденный, что и на этот раз от меня ждут нетривиального результата. Рокотов всегда ждал от нас нетривиальных результатов, ибо первой его заповедью было:

«Всякий, кто приходит ко мне, — гений, пока он не докажет обратного».

Но каким все-таки может быть итог бдения историкопсихолога под звездами Средней Азии?

Сколько я ни вглядывался в трепетное мерцание Млечного Пути, ничего путного мне в голову не приходило. Понять ход мыслей какого-нибудь Магомета в связи с воздействием на него пустынь? Наивно. Никаких божественных откровений я не узрю, даже впад в галлюцинации. Заведомо не та психология! Созерцая звезды, я при всем желании не мог забыть, что это огненные шары ядерных реакций, что свет оттуда летит дольше, чем длится вся история религий, что все эти светлые точки — солнца других небес и кто-то живет под их лучами, может быть думая о том же, что и я.

Правильней было бы не забивать голову размышлениями, что я и попытался сделать, благо пустыня обладает успокоительной властью. Она затягивает, как в омут, где все неподвижно и времени нет, только с забывьем это не имеет ничего общего. Какое там забывье, если чувства отзываются на дробное мерцание звезд, запах остывающего песка, тишину и мрак, а мысли скользят плавно и прихотливо, словно струи над яркими камешками дна, чей узор подобен вязи восточных ковров.

Подобен вязи восточных ковров... Позвольте, а не отсюда ли сама эта вязь?! Почему ни одна лесная страна, где краски природы щедрей и разнообразней, вроде бы не славилась коврами? Может быть, узоры ковров — это духовное возмещение цветового однообразия голых пространств?

Столь неожиданная и прихотливая мысль меня позабавила. Ее, как спорную мелочь, вполне можно было выложить перед Рокотовым, если не появится ничего другого.

Рука затекла, заставив сменить позу.

И тут я заметил в палатке свет.

С досадой я подумал, что надо встать, пойти и укротить фонарик. Все экспедиционное снаряжение мне предоставил Рокотов, заядлый, несмотря на свою тучность, бродяга. В числе прочего был и фонарик, длинный, увесистый, заграничный. Свет его обладал прожекторной силой, но что-то в нем коротило, отчего он то и дело самопроизвольно включался.

Все-таки техника не оставила меня в покое даже в этом библейском уголке!

Я встал и пошел. И, не дойдя до палатки, вспомнил, что еще утром вынул из фонаря батарейки, чтобы они ненадолго не разрядились. И что, следовательно, фонарик гореть не может.

Смысл ошеломляющего открытия доходит не сразу. Я успел отдернуть полог, прежде чем меня ошпарила очевидная догадка: в палатке нечему гореть!

Почти одновременно я увидел приткнутый в кармашек брезента фонарь. Он горел.

Если я тогда чем и был поражен, то прежде всего своей ошибкой. Раз фонарик горит, значит, я только хотел вынуть батарейки, а в действительности их не вынул, и несовершенный поступок запомнился мне как совершенный.

Все так, другого объяснения быть не могло. Но, протягивая руку, чтобы удостовериться, я уже знал, что оно неверно. Я точно помнил, что вынимал батарейки. Настолько отчетливо и несомненно, что когда я взял фонарик и ощутил в руке легкость полой трубки, то воспринял это как нечто очевидное. Ибо вопреки тому, что часто говорят и пишут, факт порой легче опровергнуть, чем представление о нем.

Машинально я пошарил в кармашке полога, куда должен был положить вынутые батареи. Они были там. Все три.

И тут мне стало не по себе. Очень не по себе. Ведь в руке у меня светил пустой фонарик!

Не знаю, зачем я вышел с ним наружу. Он исправно озарял пространство, вокруг которого тотчас сгустился мрак.

Я сел и тупо уставился на фонарик.

Передо мной было несомненное чудо.

Человек другой эпохи в подобной ситуации упал бы ниц или убежал без оглядки. Этим я вовсе не хочу его принизить. Конечно, он суеверно поклонялся богам, но наивной веры и сейчас хватает, поэтому могучий взлет космических кораблей не дает нам права смотреть на кого-нибудь свысока. Просто такой скорей всего могла быть тогдашняя реакция на чудо. У меня она была иной: я усомнился в своих ощущениях. Закрыл, потом снова открыл глаза, отвинтил крышку и потряс фонарик в

слабой надежде, что оттуда выскочит застрявшая батарейка. А когда она не выскочила, я засунул туда палец, чтобы все-таки проверить, пусто там или нет. Тоже не очень логичный поступок. Излишний, если на то пошло.

Я рассмеялся, может быть, чересчур нервно. Что ищешь, то и находишь! Бога с ангелами, джинна или дракона я увидеть не мог, зато мне явилось вполне современное, как и подобает, техническое чудо...

Дальше я стал размышлять спокойней.

Собственно, что есть чудо? То, что противоречит всем нашим представлениям о мире. Чуда, так сказать, абсолютного не существует. Банальный сегодня телевизор у рационалиста восемнадцатого века, пожалуй, вызвал бы нервное потрясение. С другой стороны, некоторые мои современники, тоже вполне просвещенные люди, склонны полагать чудом Баальбекскую веранду, тогда как сами ее строители считали веранду, разумеется, не чудом, а обычным, хотя и крупным, «производственным объектом». Наподобие Братской ГЭС, что ли.

Столь же противоречиво мы оцениваем и явления природы. Однажды после короткого летнего дождя я залюбовался каплями воды в листьях шиповника. Некоторые, как положено, радужно переливались в лучах солнца, другие оставались холодно-прозрачными. Стоило повернуть голову, как лучистые капли меркли, а бесцветные вспыхивали дрожащим светом. Все было прямо по учебнику, пока в ложбине одного листа я не обнаружил капельку с нежным, словно глазок эльфа, пятнышком лазури на дне.

Там просто-напросто отражалась голубая проталина неба. Все было ясно и понятно, пока я не стал искать другого такого пятнышка. Сколько, однако, я ни менял точку зрения — тщетно; в других росинках ничего подобного не возникало. Среди сотен была всего одна исключительная капля, а найти вторую с тем же голубым доньшком влаги оказалось не легче, чем набрести в поле на четырехлепестковый клевер.

Капелька была дивно хороша и загадочна, но мысль о чуде все же не возникла из-за привычной для наших дней убежденности, что все вокруг познано и никаких открытий на расстоянии вытянутой руки нас не ждет. Может быть, и так. Не ис-

ключено, однако, что мы заблуждаемся и наш взгляд постоянно скользит по чудесам, к которым у нас пока и ключа нет. Неочевидное и редкое иногда легче зачеркнуть, чем объяснить. Исторически не так давно несуществующими были объявлены метеориты. По очень простой причине: в небесах нет каменоломен, а очевидцы падения — простые люди — видят случаем и ангелов. Но если наука отвергает ангелов, то почему она должна верить в метеориты?

И ведь если бы метеориты падали куда реже, чем они падают, раз в сто лет, например, еще вопрос: знали ли бы мы о них до космических полетов?

Между прочим, вполне возможны планеты, где дело обстоит именно таким образом.

Я осторожно опустил фонарик на песок. Он продолжал гореть. Я медленно поднял его над головой. Он светил, равнодушно игнорируя все известные мне законы электротехники. Я прошелся с ним: результат тот же. Под ногами беззвучно оседал песок. Все было тихо и неподвижно, только однажды свет вспугнул небольшую змею, которая ртутью проструилась во мрак.

Фонарик был пуст, и он горел. Вывод мог быть только один: источник энергии находится вне фонарика.

Где? С этим вопросом я мог обращаться к звездам.

На глаз я прикинул силу света. По-моему, она была гораздо слабей нормальной. Я достал блокнот и при озаряющем свете чуда записал время события, место и результат своих наблюдений. А что я еще мог сделать? Я даже послушал, не жужжит ли что-нибудь в фонарике. Со стороны мои движения, должно быть, напоминали поступки смышленной обезьяны, в лапы которой попал любопытный, но совершенно непонятный предмет. У меня не было никаких приборов! Впрочем, если бы они и были, это не имело никакого значения. Ни малейшего. Любой мой труд выяснения был заведомо бесполезен.

Потому что наука зиждется на воспроизводимости опыта. Если кто-то, предположим, сделал открытие, то горе ему, если результат повторить не удастся! Объявленное открытие признают мнимым, и оно канет в небытие.

Очень правильный, хотя и жесткий принцип. Иначе трудно, а порой невозможно факт отличить от ошибки, истину от вымысла, знание от мифа.

Проклятый фонарик, однако, горел! Ему было наплевать! Хоть топчи его ногами...

Конечно, чтобы не ставить под удар свою репутацию, благоразумно было бы промолчать об этом феномене. Но легенда о брадобрее, которому под страхом смерти запретили говорить об ослиных ушах царя Мидаса и который, не вытерпев, прошептал тайну ветру, полна глубокого смысла. Свыше миллиона лет люди жили крохотными общинами, едва преодолевали опасности, и секретность в этих условиях была губительным злом. Увидел след хищника — скажи, иначе он сожрет твоего соплеменника; почуял дичь — скажи, иначе род останется без пищи. Так везде и во всем. Тайна разъедает доверие, как ржавчина, а без доверия нет общности. Возможно, поэтому так трудно бывает молчать.

Пожалуй, не всякий человек на моем месте воспринял бы ситуацию столь остро. Мы, если уж на то пошло, привыкли к чудесам. Горит пустой фонарик, который вроде бы в принципе гореть не может. Ну и что? Подумаешь, эка невидаль! По телевизору людей с перешитыми сердцами показывали, и о «черных дырах», которые, быть может, ведут совсем в другую вселенную, я что-то слышал, меня фокусами природы не проймешь. Вот мой сосед, растяпа, включил бритву в радиосеть, так она ему музыку заиграла. Брейся, так сказать, под симфонию. Горит себе фонарик — и ладно; кому положено, тот разберется.

Тоже черта современной психологии.

О «черных дырах» и я, как всякий профан, кое-что слышал, меня ими не чересчур удивишь. Но я-то понимал разницу между возможностью перехода в другое измерение и незаконным поведением стандартного фонарика. Впрочем, я находился в положении более выгодном, чем представитель точных наук. Правило воспроизводимости для меня не было святыней. Ведь я обычно имею дело с явлениями, которые нельзя повторить! Ну как прикажете воспроизвести крестовый поход детей или открытие Америки? Поэтому для меня даже

единичное свидетельство — это факт, с которым надо считать-ся. То есть я могу, даже обязан поставить его под сомнение, но в любом случае вывод приходится защищать, не опираясь на упомянутый принцип научного метода.

И еще. Подброшенный камень не может упасть или не упасть, а вот какой-нибудь Цезарь вполне может перейти или не перейти Рубикон. Несопоставимо? Да как вам сказать... Мироздание не знает перегоронок. Маленький штрих: биологическая эволюция привела к усложнению прогрессирующих форм жизни. Однако процесс усложнения мы наблюдаем и в социальной эволюции. А в технике разве не то же самое? Мы вот-вот разовьем ее до стадии машинного разума, как некогда природа развила инстинкт до человеческого сознания. Этим я, понятно, не хочу доказать, что красное тождественно синему. Просто это разные участки единого спектра.

Я лег на песок и задумался. В бесконечной тьме неба тлели рассеянные миры дальних галактик. Свет фонаря под этим небом был такой малостью...

Если я заявлюсь к Рокотову с одним лишь растерянным лепетом о «чудо-фонарике», то его, конечно, поразит не само чудо, а моя беспомощность хоть как-то объяснить явление. Это не в традициях нашей школы, даже если проблема требует специальных, далеких от нашей профессии знаний. Ведь приобретение знаний — самое легкое в работе ума!

Надо думать.

Понемногу сквозь сумбур и хаос пробилась некая мысль... Возьмем, подумал я, самый обычный ящик. Сделаем вырез и закроем его матовым стеклом. Под стекло спрячем две лампочки — красную и синюю. Укроем в ящике батарейку и электромеханическое устройство, которое при нажатии кнопки (ее выведем наружу) в случайной последовательности включало бы то одну, то другую лампочку. С тем хитрым условием, однако, что на миллион включений синей лампочки в среднем приходилось бы одно включение красной. Опломбируем ящик, чтобы его нельзя было вскрыть.

Теперь снесем его в любой институт и попросим определить закономерность его функционирования. Так как вскрыть ящик нельзя, то экспериментатору не останется ничего другого, как

нажимать кнопку, дабы выяснить, что из этого впоследствии (подобным образом, кстати, мы изучаем собственную психику, да и не только психику).

Сколько раз экспериментатор нажмет кнопку? Сто, тысячу, но не миллион же? И всякий раз в окошечке будет аккуратно вспыхивать синяя лампочка. Понятно, что самый дотошный экспериментатор в конце концов с чистой совестью подпишет такое заключение: «Данное устройство (ящик неизвестной конструкции и неизвестного назначения) функционирует таким образом, что нажатие на кнопку вызывает вспышку синей лампочки».

Может, однако, случиться, что однажды у него вспыхнет не синяя, а *красная* лампочка. Что сделает экспериментатор тогда? Разумеется, он повторит опыт. Он нажмет на кнопку еще сотню или тысячу раз. Но красная лампочка больше *не вспыхнет*.

Это его скорей всего крайне обескуражит. Невоспроизводимый опыт, шутите? Как быть?

Все мы прекрасно знаем, как в таких случаях быть. Студентов учат, что если одна точка замера не укладывается в график, то ею разумно пренебречь. Погрешность эксперимента! Если ее нельзя списать на неисправность аппаратуры, неточность методики, ошибку наблюдателя, то это вовсе не значит, что ее нельзя списать вообще. Очень даже можно. В каждой области науки есть свои испытанные объяснения таких вот взрывов: в электронике, например, — сетевые наводки, в химии — недостаточно чистый реактив. Еще каждому опытному экспериментатору знаком «эффект табуретки». Переставил что-нибудь постороннее — и явление пропало. Вернул все на места — пошло! Кстати, можно и вообще не обращать внимания на всякие там фокусы и помехи. Думаете, до Рентгена никто не наблюдал рентгеновских лучей? Наблюдали!

Так что беспокоиться не о чем: спишут!

А если даже не спишут, а протоколируют, то и из этого ровным счетом ничего не впоследствии. Никто и нигде не ставит миллионы проверочных опытов с единственной целью подсечь вспышку «красной лампочки». Потому что это дорогая и, главное, бессмысленная трата времени: закон природы потому

и закон, что, повинаясь ему, подброшенный камень *всегда* падает вниз. А при такой постановке вопроса обнаружить «красную лампочку» практически невозможно. Замкнутый круг: чтобы отыскать редкий феномен, надо быть убежденным в его существовании, а эта убежденность может возникнуть лишь когда феномен обнаружен и подтвержден по всем правилам научной методики.

Поэтому можно предположить существование такого класса явлений, который заведомо находится вне поля зрения современной науки. В силу неполноты, чрезмерной жесткости ее методологической основы.

Правда, если допустить такое, тогда следует допустить и то, что некоторые, а возможно, и все законы природы управляют событиями не так, как мы думаем. В миллионах, миллиардах или триллионах случаев они тиражируют стандартный результат, а в одном... *загорается пустой фонарик!*

Только мы этого уловить не можем. Хотя как сказать! Существует такая область науки, в которой серии из многих десятков, сотен тысяч наблюдений — обыденность. Это ядерная физика, и там, если не изменяет память, в опытах с к-мезонами или с чем-то подобным наблюдаются реакции, которые в одном случае из тысяч текут иначе, чем в остальных. Особое свойство микромира? Или же...

Мысленно я сам себе зажал рот. Вот до каких *покушений* доводит все растущая в человеке страсть докапываться до первопричины!

Именно страсть. Вовсе не обязательно, что мой феномен требует пересмотра научных принципов. Вообще не исключено, что для физиков все мои рассуждения лишь общее место какой-нибудь теории вероятностей. И, быть может, специалист-электротехник, повертев в руках мой фонарик, спокойно заметил бы, что вблизи мощного источника радиоволн лампочка способна гореть сама по себе. И что, следовательно, остается выяснить, откуда такой источник взялся *здесь*.

Я же сразу взялся за сочинение всеобъемлющей теории чудес... В этом, конечно, было виновато одиночество среди пустыни. Здесь я не мог прибегнуть к консультациям, сложить ответственность на кого-то более сведущего, ибо не было ни-

какой надежды довести фонарик до лаборатории — его свет слабел на моих глазах. Я просто обязан был дать волю фантазии, чтобы одолеть мучительное чувство беспомощности.

Что я и сделал, разработав логичную теорию непонятных явлений. Теперь по крайней мере не будет стыдно докладывать о происшедшем.

Одному Рокотову, естественно, потому что не останется никаких доказательств чуда, а без них никто посторонний мне просто не поверит. И будет прав. Время, когда бредовое откровение могло возбудить умы и стать основой учения миллионов, к счастью, прошло безвозвратно. Сейчас даже в самом застойном уголке Земли любой порок новой религии, чтобы рассчитывать на серьезный успех, должен выдавать ее за вывод науки, да и то эта спекуляция недолговечна. Будет совсем прекрасно, когда и такой грим никого не обманет.

Но, вопреки заведомой обреченности моих выводов, я был счастлив и горд. Обстоятельства бросили мне вызов, я его принял и смог вывести теорию, до которой никто не додумался. Верна она или неверна, не имело значения. Внутренне она была непротиворечива, а это значило, что мой ум поработал неплохо.

Ночь была все такой же черной, но в ней неуловимо чувствовалась близость рассвета. Звезды учащенно мигали над горизонтом, который на северо-востоке стал чуть яснее, чем был. Неожиданно для себя над дальней цепью холмов я обнаружил четвертушку луны.

Из какого-то озорства я направил луч фонарика отвесно вверх. Он почти бесследно растаял в чистом воздухе ночи. Все равно он прорвался — я знал это — сквозь атмосферу и ушел в космос. Через сто или тысячу лет одинокий квант этого луча обязательно достигнет какой-нибудь планеты, быть может, коснется другого глаза и исчезнет бесследно.

Не так ли исчезает всякая мысль? Нет, не так. Все мы слушаем давно умолкшие голоса, читаем слова, написанные тысячелетия назад, а ведь и в них отложилась мысль тех, кто жил раньше и не оставил после себя ни строчки. И эта мысль отзывается в нас.

Со смешанным чувством досады и грусти я следил, как меркнет свет фонаря. Все же я на что-то надеялся. Все же мне

жаль было своих построений. Каждый стремится к истине, это так понятно, и трудно свыкнуться с тем, что конечной истины быть не может. Особенно когда мерещится, что ты обрел ее, как якорь, который всегда удержит.

Но якоря бросают не затем, чтобы корабль обрастал ракушками. Если мое построение мнимо, то в умолчании потери нет. Если оно верно, то и тогда нет потери, кроме личной славы. В этом случае рано или поздно другой фонарик вспыхнет в куда более благоприятной обстановке или что-то иное подаст весть о существовании тех глубин природы, куда я ненароком заглянул. Сущестующее неизбежно становится фактом, это лишь вопрос времени, хотя порой и долгого. Наша история началась не вчера, не с культуры шумеров и даже не тогда, когда первый камень высек искру. В ней много чего было и много чего будет, и судьба какого-нибудь принципа всего лишь частный эпизод. Ведь любые принципы науки только подсобный инструмент главной работы возведения мира, в котором всякий человек мог бы ярко раскрыть себя, творить, действовать, находить удовольствия, жить долго и счастливо без утеснений и катастроф, а когда истечет срок, уйти спокойно и тихо, как вечером погружается в желанный сон.

Другой задачи у нас, в сущности, нет.

Все же было грустно, что фонарик гаснет и надо расставаться с чудом.

Блеклый свет зари понемногу залил пространство пустыни, и серпик луны таял в нем, как опущенная в воду льдинка.

Нить лампочки уже едва тлела.

Я повертел фонарик, разглядывая его в утреннем свете. И лишь тут заметил одну несообразность, которая ночью была не видна, а раньше не обращала на себя внимания. Весь фонарик был сделан изящно, только промежуток между рефлектором и трубкой казался неоправданно удлиненным, словно в конструкцию было зачем-то добавлено широкое переходное кольцо. Чуть большая в этом месте грубость отделки при небрежном рассмотрении не бросалась в глаза, но сейчас она поразила меня, как гром.

Неужели...

Секунда лихорадочных усилий — блеснула двухсторонняя резьба, и фонарик распался на полую трубку, рефлектор... и тайную, размером с пуговицу батарейку в переходном кольце.

Вытаращив глаза, я уставился на нее, на нехитрый механизм обманного включения, пока до сознания не дошел смысл поставленного надо мной опыта.

Я подавился от нервного смеха. А что оставалось делать? Сердиться, негодовать на столь удачный экспериментальный розыгрыш, который столкнул меня с чудом и разъяснил, как современная психика отзывается на столь частую в былой истории ситуацию? Рокотов жаждал нетривиального результата, и он его получил. Но разве я остался внакладе? Вот уж несколько! Вызов обстоятельств заставил меня думать, как никогда в жизни, а ведь интересные мысли приходят так редко...

Из-под края земли брызнул луч солнца. Я поднял голову. Все отбросило тени, и все они разом скользнули за горизонт. Моя тоже перечеркнула пустыню; был тот редкий миг, когда тень человека может спроектироваться на космос.

ПРАЗДНИК НЕБА

Снег во мраке белел, как шкура приникшего к земле зверя.

Это поразило Гордина. Всю долгую ночь снег был тусклым покровом, был опорой для лыж, был вихрем, который сбивал воздух в колющее месиво. Никогда в нем не было живой настороженности зверя, а теперь она была, или чувства жестоко обманывали, чего Гордин не мог допустить, ибо привык подчинять их строгой дисциплине рассудка.

Чтобы отвлечься и проверить себя, он глянул вверх. Вид морозного неба был угрюм. Звезды не мерцали, оледенев, будто холод Земли простерся на Млечный Путь. И хотя все было наоборот, Гордину показалось, что он стоит под колпаком полярного насоса, который, испаряя тепло укутанного в одежды тела, также мерно студит все дальние уголки Галактики.

Зябко передернув плечами, Гордин обернулся. Все было как всегда. Подслеповато желтели замороженные окна станции, а вокруг расстилалось темное, без единого проблеска поле. Однако впечатление настороженности не исчезло, наоборот. Едва различимый снег продолжал жить своей чуткой, отдельной от человека жизнью. В нем все было ожиданием.

«Мерещится, — с неудовольствием подумал Гордин. — Сенсорный голод! Мало впечатлений, однообразие, ночь... Надо возвращаться».

Он успел сделать всего несколько шагов.

— Не продолжай! — порывисто перебила девушка. — Хочу сама догадаться...

Недоуменно посмотрев, Гордин умолк. Она ничего не заметила. Подтянув колени, она замерла, полулежа в уголке ди-

вана. Ее глаза потемнели. Узкие брючки натянулись, высоко открыв лодыжки. Указательный палец, требуя сосредоточенности, коснулся губ. Гордин смотрел на нее со счастливой оторопью восторга. Сквозь шторы пробивался далекий гул уличного движения, и только он нарушал молчание комнаты.

— Знаю!

Гордин вздрогнул.

— Снег ожил. Да?!

— Да, — сказал он растерянно. — Но откуда...

— Оттуда! Продолжай. Как ожил? Вероятно, это было замечательно и ни капельки не страшно.

— Еще бы. — Гордин подавил улыбку. — Страшна злонамеренность, а ее в природе нет. Строго говоря, — поспешил он уточнить, — вспыхнуло обычное полярное сияние. Но снег действительно ожил. До последней снежинки — весь!

Она, словно торопя рассказ, подалась вперед, и это подстегнуло Гордина.

— Знаешь, Иринка, — быстро заговорил он. — Никому не поверил бы, что так может быть. Никому. Но так было! Сияние в полярных широтах не редкость. Снег и раньше переливался, но... А тут — вся в сапфировых тенях — шевельнулась равнина. Поползла. Это как... как сон детства, помнишь? Я обмер, а потом закричал от восторга. Снег стал... То есть, конечно, это был всего лишь беглый отсвет сполохов, но... Представляешь, снежная равнина потягивалась так, что сугробы ходили серебристыми мускулами, то вдруг замирала, а потом взблескивала сухой россыпью искр... Впрочем, что я, совсем не так! Снег у меня похож на шаловливого котенка...

— А это был зверь, — тихо сказала девушка.

— Именно! Огромный, потягивающийся, такой, знаешь ли, с полконтинента, очень чужой, изумительный зверь. И добродушный. Он... радовался свету! И опять не то... — Гордин сморщился. — Не могу этого передать, не могу!

— Ты очень хорошо рассказываешь, — сказала она убежденно. — Я вижу все это. Слова — не важно...

— Нет, нет. Все бледно, вычурно, плоско... — Гордин вскочил и зашагал по комнате. — Как скуден наш язык! Небо... А, все чепуха, что об этом пишут! Был праздник, не наш,

природы, это трудно вместить. Мне хотелось петь — мне! — он с недоумением покачал головой. — Как я жалел, как жалел, что тебя не было рядом...

Она быстро кивнула. Он порывисто шагнул навстречу ее сияющим глазам.

— Слушай, ведь это возможно! Есть самолет, у тебя будут каникулы...

Он споткнулся, увидев, как погас ее взгляд.

— Нет, — сказала она торопливо. — Нет.

— Почему?!

— Просто так.

Проворным движением она спрыгнула на пол, босая, с упрямством на лице глянула на него, тут же потупясь.

— Прости. — В ее голосе дрогнуло раскаяние. — Ты, может, подумал... Все не так. Я не хочу — понимаешь? — видеть чужой праздник.

— Чужой?

— Да.

— Ира, я не понимаю.

— Думаешь, я сама понимаю? Видеть то, что видел ты, — хочу. Жажду. И боюсь.

— Чего?

— Горечи. Отравы. Тоски.

— Что ты, Иринка, какая горечь?! Ну да, второго такого праздника, вероятно, не будет. Но хорошего красивого полярного сияния дожждаться можно. Вопрос времени. И никто — слышишь? — никто не разочаровывался.

— Я же не об этом... Праздник. А потом?

Как была босиком, она прошла к окну, отдернула штору и стала, понурясь, у окна.

— Видишь?

А Гордин ничего не видел, кроме ее узких, как у подростка, поникших плеч, незащитного затылка под короткой стрижкой волос, — он точно ослеп от нежности. Наконец очнувшись, заставил себя приблизиться.

Из окна открывалась вечерняя перспектива микрорайона с неизбежными прямоугольниками домов, асфальтовыми до-

рожками, аккуратными, по линейке, газонами, яркими пятнами ртутных фонарей.

— Видишь? — повторила она.

Да, он видел это тысячи раз. Отсюда и из окон других квартир, потому что там, в общем, было то же самое. Вид был привычен, как повседневная одежда прохожих.

— Объясни, — сказал Гордин в совершенной растерянности. — Я все еще ничего не могу понять.

— Значит, не видишь, — сказала она просто, как об очевидном для нее факте. — Ладно, оставим это. Обычная девчонья дурь, ничего там нет, и говорить не стоит.

— Ирушка-врушка. — Он сжал ее локоть. — Начала — говори.

— И скажу! Вот я увижу твое полярное сияние. Его краски, от которых хочется петь. Так? Увижу и унесу это в себе — сюда... — Взмахом руки она очертила горизонт. — Какими глазами я буду смотреть тогда на эти однообразные коробки, застывший ранжир, унылую геометрию? Какими? Или я могу что-то изменить, приблизить это к тому? Нет. Я не могу, и вряд ли кто-нибудь при нас сможет. Тогда зачем? Чтобы острее сознавать свое бессилие? Скудность средств? Уж если сейчас мне тошно от серости, то что же будет тогда?

— Вот оно что! — ахнул Гордин. — Но тогда, тогда...

Он умолк в смятении. Не слова его поразили — голос. Ему передалась боль, которую он сам никогда не испытывал, не подозревал даже, что она есть. Настолько не подозревал, что если бы рядом стояла не эта расстроенная, наивная, лучшая в мире девчонка, а кто-то другой, он усмехнулся бы снисходительно: мне бы ваши заботы!

— Будем логичны, — сказал он решительно. — Если тебя настолько удручает тусклость города, что ты боишься взглянуть на прекрасное, то, следуя этой логике, надо отказаться от посещения музеев, замурясь, избегать красивых пейзажей, зданий, лиц. Нелепо для будущей художницы, ты не находишь?

— Нелепо. — Она коротко вздохнула. — Дело в том... Это разные вещи. Я говорила о желанном... и недостижимом. Желать невозможное — это... это... Лучше не надо! А ты говоришь

о доступном. Хотя... Часто ли горожанин видит красоту искусства, природы?

— Должно быть, редко.

— Вот! Девяносто девять дней из ста у него перед глазами это. — Она кивком показала на окно. — И это. — Она мотнула головой в сторону комнаты. — Ах да, еще телевизор. В чем же тогда назначение искусства? Не в том ли...

— Сейчас строят лучше.

— Так я же не обвиняю, я совсем, совсем о другом! Ленинград строили замечательные архитекторы, наши, иностранные — целый век. А теперь на большее отпущены годы, все взвалено на талант одного поколения, прыгай выше себя, как хочешь. Мы отстали, отстали со своими кустарными средствами, камерным мышлением, традиционным подходом. Порой я с вожделием смотрю на стены, брандмауэры...

— Брандмауэры?

— Вообще на все эти глухие плоскости, куда так любят налепливать жестяные плакаты с рекламой такси и сберегательных касс. Отдать бы их под фрески, мозаику, витраж! Ведь рисунок на выставке, который видят тысячи, — это же теперь искусство для искусства! Оно должно быть на перекрестках, в гуще, с людьми, как... как тот же телевизор. Не ново, конечно, и тоже не выход, а что делать? Что? Вы, физики, расщепляете у себя какой-нибудь атом, и мир тут же меняется. А у нас все те же краски, та же кисть... Иногда я спрашиваю себя: зачем я учусь, кому надо мое рукоделие, не самообман ли все высокие слова о великом назначении искусства? То, что делаем мы, так мало, так неощутимо...

— Ты маленькая фантазерка, — пробормотал Гордин.

— Вероятно, я просто не знаю, чего хочу. — Ее губы дрогнули. — Мне говорили, что это от молодости и что это пройдет. Возможно.

Она слабо улыбнулась. На ее лице запали серые уличные тени. Сейчас она и вправду казалась ребенком, которому посулили жар-птицу, а дали пестренького, из пластика, попугая. Гордин порывисто обнял ее поникшие плечи. Она не сопротивлялась. Она никогда не сопротивлялась. Но это была обманчивая покорность. Так можно пригладить, обнять моло-

дую елочку и все время чувствовать в ее податливости колкую упругость хвои. И все-таки он медлил, ибо когда она была вот так близко, у него кружилась голова, и он всякий раз надеялся, что на этот раз все будет хорошо.

— Иринка...

Не получив ответа, он наклонился и осторожно поцеловал ее. И ощутил обычное полусогласие-полусопротивление, которое так часто сводило его с ума. Ее губы жили словно отдельно от мыслей, рассеянных, причудливых и далеких.

Так они замерли, а потом она высвободилась тем неуволнимым движением, каким освобождалась всегда, и прошла в глубь комнаты, ничуть не смущенная мгновением поцелуя, будто его и не было вовсе, — просто подставила щеку теплomu ветру.

Гордин зажмурился.

«Да что же это такое?» — думал он в отчаянии.

Так было с самой первой встречи, с того вечера на холмах, когда он впервые поцеловал ее, а она вдруг безутешно расплакалась, и это было так искренне, горько и неожиданно, что он не знал, куда деться от стыда и страха, что спугнул, оскорбил чувство уже дорогого и близкого ему человека. Вскоре, однако, ее слезы высохли, она сама взяла его за руку, и они пошли дальше по крутым холмам над городом и даже болтали о чем-то несущественном. А когда он робко поцеловал ее снова, она послушно ответила, слабо поддавшись его ласкам. Но он не смог принять этой молчаливой покорности, потому что сильней всего хотел, чтобы меж ними не осталось и тени облачка, а было лишь безоглядное счастье порыва. Все другое показалось ему тогда нечестным и оскорбительным.

В тот вечер, уже в дверях, она неловко и смущенно поцеловала его сама. И это был ее единственный порыв к нему, да и то, очевидно, порыв благодарности.

Теперь она стояла посреди комнаты, глядя на свой незавершенный набросок углем, но трудно было сказать, видит ли она его.

— Ира, — сказал он осевшим голосом. — Я же тебя люблю. Ты будешь смеяться, но, когда я вижу вдаль похожую на тебя девушку, даже такие, как на тебе брючки, мне становится

ся жарко. Мы так давно не виделись, я, быть может, снова уеду... Я люблю тебя! Я — я даже твоего медвежонка люблю!

Страдая от неуклюжести своих слов, от немоты ее лица, он перевел взгляд на этого пушистого медвежонка, который, как добродушный страж, всегда сидел над изголовьем ее постели. И она тоже глянула на медвежонка. Потом их взгляды встретились, и оба облегченно улыбнулись. Он — потому что ему стало тепло от ее доверчивого взгляда, она...

— Вот, — сказала она, снимая медвежонка со столика. — Бери, он был со мной, сколько я себя помню. Это мой друг и, может быть, хранитель, — добавила она серьезно. — На!

Она протянула ему медвежонка, и он по выражению ее лица понял, что сейчас ему остается только уйти. И еще он понял, хотя сам не знал откуда, что после его ухода она будет плакать. Но что это ровным счетом ничего не изменит, а почему так, никто в мире и она сама ответить не сможет.

Он схватил медвежонка и ушел, не оборачиваясь.

Сначала он почти бежал, потом, замедлив шаг, обернулся. В доме еще горели окна, но видел он только одно. Нелепо, непоправимо ему вдруг захотелось стать на колени...

Его передернуло от стыда унижения. Он обернулся, словно кто-то мог подсмотреть его мысли.

В столь поздний час двор был безлюден, только в дальнем конце его какой-то пудель прогуливал своего хозяина да у крайнего подъезда замирал дробный стук каблучков. Там хлопнула дверь. Внезапно Гордин увидел себя со стороны: отвергнутый полярник, магнитофизик, кандидат наук перед окном одиноко грезящей девушки; современный рыцарь с плюшевым медведем в руках...

«Я — магнитофизик», — повторил он, и слова прозвучали бессмысленно, как если бы он оттитловал себя бароном.

Он круто повернулся и, расправив плечи, пошел широким решительным шагом, как будто на все, решительно на все ему было наплевать. Вот так! Щеки его горели. Пусть грезит, плачет или втихомолку посмеивается — наплевать. Достаточно, хватит! Теперь сам пропитанный запахом красок, скипидара

воздух ее комнатки показался ему оранжерейным. Удушливым после сурового ветра полярных широт.

Асфальт уверенно разносил твердое эхо шагов. «Пусть остается, пусть!» — повторял Гордин с тяжелым злорадством.

Что-то помешало упругому взмаху руки: медвежонок! Тот самый медвежонок, которого он, не заметив, запихал в карман куртки. Голова медвежонка высовывалась наружу, и бусинки его глаз поблескивали любопытством, словно он радовался нечаянной прогулке.

Первым движением Гордина было выкинуть пушистую игрушку. Пальцы уже погрузились в мех...

И тут Гордина скрутила боль. Медвежонок, казалось, еще хранил тепло ее рук. Он был ее частицей. Ему, медвежонку, она поверяла свои маленькие девчоночьи тайны. Ему рассказывала о свиданиях с ним, Гординым.

Гордин тяжело опустился на скамейку пустынного в этот час сквера. Скамейку затеняли деревья — именно такие укромные уголки он выбирал, когда был с Ириной, когда неумоготу было ждать, когда он еще надеялся, что стоит только покрепче прижать ее к себе... Да что же это такое, в конце концов?! Он плох? Вроде бы нет. Совсем безразличен ей? На такой же скамейке меж двумя поцелуями она как-то проговорила в задумчивости: «А ведь однажды я обещала себе, что никогда больше не буду целоваться...» Это прозвучало признанием, но тоже ничего не изменило.

Почему?! Почему?!

Гордин вытащил медвежонка и усадил его себе на колени. Темные бусинки глаз смотрели теперь безучастно. Ничто не вызывало в Иринке такого внутреннего протеста, как попытка усадить ее на колени. Иногда он делал это назло, пользуясь тем, что она никогда не вырывалась, не шептала обычных девчоночьих слов: «Не надо... Отпусти!» Оставаясь в его руках, она просто отдалялась. Это не было, не могло быть любовью.

Он оторвал взгляд от бесхитростных глаз медвежонка и с усилием запихал его обратно в карман. Над подстриженными кронами деревьев стлалось мглистое, желтоватое, как старый войлок, ночное небо. Через улицу напротив одиноко горела надпись «Гастроном», и ее зеленоватые блики неподвижно за-

стыли на шершавом асфальте. В воздухе еще держался запах отработанного бензина, и в сквере он был даже сильнее, словно земля впитала его своими порами. Все, даже небо было так зажато хмурыми в полутьме зданиями, что Гордин внезапно ощутил тесноту, от которой отвык среди безоглядных просторов Севера. Почти с нежностью он подумал о ясной, простой, суровой жизни, к которой мог вернуться, и это придало ему решимости.

Любовь, ха!.. Он не томный идиот Вертер, чтобы бесконечно страдать и мучиться. Любовь — важно, но есть дела поважней, и они его ждут. Он физик, и для него не секрет, что самое тонкое, запутанное чувство всего лишь сложный узор электрохимических связей головного мозга, который — дайте срок! — будет разложен и замерен по всем параметрам. Тогда ему и ей после первой же встречи дадут в руки умный прибор, и этот бесстрастный анализатор зарегистрирует совпадение или несовпадение каких-нибудь там психорезонансов. Все станет просто, как замер потенциала в цепи, и не будет больше сомнений, вздохов, тайн, ничего, ничего, кроме колебаний стрелок меж сомкнутыми руками двоих. И в случае чего, вот тебе таблетка — забудь... Прием три раза в день, полная гарантия и никаких вредных последствий! Да, да, гормональные стероиды избирательного действия. Как инсектициды.

А может быть, умудренный наукой психолог, пощелкав на компьютере, кивнет ободряюще: «Ничего, ребята, попробуем повернуть вот эту фазу, авось сладится...»

И какая-нибудь Иринка двадцать первого века кивнет в ответ: «Хорошо, я попробую...»

Так все и будет, наверно, а пока этого нет, он, Гордин, может и должен уйти — совсем. И когда ей станет плохо с другим, пусть вспомнит...

При мысли о другом — с ней, у него почернело в глазах.

Невозможно, невозможно! Она же ребенок, просто ребенок, который сам не знает, чего хочет. Может быть, сказочного принца, который никогда не придет. Или волшебной палочки, которой заведомо нет. Такие выходят из детства с трогательной пыльцой на крылышках, не зная, что

жизнь груба и приземлена. Мир задыхается от нехватки красоты — это надо же!

Насупясь, он придиричиво оглядел прямолинейные дорожки сквера, подстриженные кусты, перевел взгляд на серые стены панельных домов, грубый пластик балконных ограждений, рыхлое мутное небо над плоскими крышами. Да, то же самое можно увидеть где угодно. Вполне стандартный городской пейзаж. Ну и что? Это жизнь. Одна сторона жизни. Ликующие краски полярного сияния — другая. А всего этих сторон и граней — тысячи тысяч. Жаль, конечно, что их нельзя сочетать по желанию. Северное сияние здесь все бы преобразило — и эти дома, и этот сквер, возможно, и лица. Как взмах волшебной палочки... Только фонари должны быть погашены, чтобы не мешали.

И будет праздник, которого ты не захотела видеть, чтобы не растревлять себя. Здесь, у твоего дома.

Вот бы вместо букета кинуть ей в окно, когда она будет с тем, другим... На, получай мечту!

А что? Любовь — скрытый бег электронов, и северное сияние тоже бег частиц, которые, мчась от Солнца, тормозятся в магнитосфере. Никакого волшебства, обычный физический процесс возбуждения ионов газа. Настолько в своей сути элементарный, что сияние можно вызвать искусственно. Собственно, это уже не раз делалось. Вспрыснуть с запущенной ракеты пучок электронов на нужной высоте — и готово. Установки есть, метеоракеты имеются, все опробовано, одна заправка: искусственное сияние доступно лишь зрению прибора, такое оно чахлое. Сделать настоящее, вполне, силенок нет. Это не бомбой шархнуть...

И все же через десять или через сто лет другой магнитофизик спокойно явится к своей девушке с полярным сиянием в руках — на!

Так будет. Даже сейчас можно попробовать соорудить какой-нибудь аппаратик для домашнего употребления. Такой маленький, комнатный... Вот тебе, дорогая, волшебная для личного использования палочка...

Гордин с отвращением передернул плечами. Что за бред! Сорву звездочку с неба — только улыбнись... Возмечтал, иди-

от. Как мальчишка. Тоже мне рыцарь в нейлоновой куртке... На что замахнулся — не на дракона даже! Просто смех. Не позорься перед самим собой, ты же физик. Сияние — это небесный размах, сила, мощность, обвал энергий...

Обвал? Ну да, ведь сияние связано с цепным процессом возбуждения...

Тогда при чем тут мощность, размах и сила? В самом деле — при чем?!

Камешек страгивает лавину — цепная реакция; нейтрон возбуждает атом — цепная реакция; квант света преобразует раствор — цепная реакция. Мир полон цепных реакций, обвалов, лавин, для которых достаточно камешка. И полярное сияние тоже, тоже!

Тоже!!!

Как странно, что об этом никто не подумал. Как странно, что все прошли мимо. Как хорошо, что никто не заметил... Ведь так просто! Запас энергии есть везде, и над этим городом он есть, надо лишь стронуть, возбудить, подтолкнуть... Как?! Чем?! Не обычными электронами, конечно... Конечно...

Природа щедра, распахнута, многолика, всюду возможности, им нет числа, их бездна, взглядом нельзя охватить, все можно в этом доступном мире, все! Ни края, ни предела, всюду бесконечность, во всем, на миллионы лет — и дальше, а там еще, в ней есть что угодно, близко, далеко, рядом, в недоступности, только есть, есть...

Он сидел с широко раскрытыми невидящими глазами. Где-то глубоко нарастал давний и раньше знакомый холодок волнения, когда вдруг, словно ниоткуда, в сознании проступает нечто смутное, неуловимое, потом яснеющее, будто все уже существует, надо только уловить, напряженно взглядеться, не спугнуть, дать созреть, выделиться из мрака, где только что не было ничего, совсем ничего, а теперь есть, столь же реальное, как дерево над головой, как песок под ногами, как бие-ние собственного сердца.

Узнавание. Вот на что это более всего похоже — на узнавание. Тяжелое, сладкое, выматывающее узнавание, от которого легко и мучительно, трудно и радостно, холодно, жарко, странно, тревожно, божественно, все вместе, и что-то сверх

того, чему и названия нет, но что приподнимает в порыве блаженного всемогущества.

Нет, однако, полной отрешенности ни от чего — ни от дальнего скрежета трамвая, ни от беглых побочных мыслей, ни от жесткого неудобства скамейки, только все это скользит вдали, не мешая.

Он сам не знал, сколько просидел так, а когда все схлынуло, ушло, оставив в душе сладкую опустошенность, он глянул на часы: начало третьего!

Гордин расслабленно потянулся. Вскочил. Познабливало то ли от ночного холодка, то ли еще от чего.

Мир показался ему удивительно новым. Все спали, видели сны и не знали, что в эту минуту... С чувством превосходства Гордин оглядел темные, зашторенные окна. Похлопал себя по карману, где лежал медвежонок. Стеклопакеты физиономии окон смотрели надутно и подозрительно, как будто их обязанностью было бдить, пока хозяева спят. Непонятно, отчего ночные окна имеют такой вид; теперь Гордин вспомнил, что они всегда провожали его таким взглядом, когда он поздно возвращался домой. Он весело хмыкнул: погодите, я еще заставлю вас улыбаться! Вы будете отражать у меня то, что я захочу; вы, угрюмые стекляшки, слышите?

Он быстро, казалось, летя, зашагал к дому и с презрением отвернулся от зеленоватого огонька такси, когда оно вынырнуло из-за поворота и выжидающе замедлило ход. Это была его ночь, он ни с кем не желал ею делиться. И хотя он подозревал, что утром все найденное им покажется не таким, как сейчас, совершенным, и многое придется трудно, без вдохновения передумывать, он был убежден, что главное сделано, а все остальное лишь вопрос времени, настойчивости и усилий.

«А ведь, похоже, я нашел средство от любви...» — подумал он мельком, улыбнулся и прибавил шаг.

Дверь нехотя подалась и пропустила Гордина в кабинет, где над длинным столом еще не осел густой папиросный дым недавнего совещания. Переходя из кабинета в кабинет, Гордин успел повидать их столько, что все они слились для него в один мучительный образ, центром которого был стол, либо глад-

кий, как полированный лед, либо заваленный торосами всевозможных бумаг.

Здесь стол был гладким. Поправив тяжелую папку в руке, Гордин приблизился.

Седой хозяин кабинета, лицу которого тяжелые модные очки придавали вид неприступности, что-то коротко и веско говорил в телефонную трубку. Кивком головы он показал Гордину на кресло. Устало положил трубку на рычаг, помассировал переносицу и лишь тогда взглянул на Гордина, будто припоминая, кто это и зачем. Тотчас выражение его лица переключилось на суховатое внимание.

— Здравствуйте. Что у вас?

Гордин уже знал, что таким вот беглым, на деле цепким взглядом с первой же минуты оценивают его самого и что, как правило, от первого впечатления зависит многое, потому что люди в таких кабинетах обычно умеют сразу определить деловую суть человека. С их точки зрения, деловую, конечно. Поэтому, не тратя лишних слов, ибо ничто так не раздражает занятого собеседника, как пустые разглагольствования, он протянул заранее вынутую из папки бумагу.

— Так, так... Заявка на осуществление искусственного полярного сияния... Ходатайство поддержано Геофизическим комитетом, решение за номером... Так! Средства на расширенный эксперимент выделены по смете... угу... Предполагается осуществить в районе города... Почему не на Севере? Согласно документу предварительные опыты вы ставили там, и было бы логично...

— Наоборот. На Севере полярные сияния и без того есть. Важно попробовать вызвать их там, где их практически не бывает.

— Это другое дело. А почему именно в данном районе?

— Не все ли равно? — как можно более равнодушно, хотя внутри его все напряглось, сказал Гордин. — Для расширенного эксперимента годится, в сущности, любая географическая точка средней полосы. Почему бы не избрать родной город?

— А, вы там родились!

— Да.

— Впрочем, это не моя компетенция. Что ж, заявка в полном порядке... — Управляющий помедлил, словно вдруг могло выясниться какое-то упущенное и важнее обстоятельство. — Теперь посмотрим, что у нас. Да, в перспективном плане имеется соответствующая строка. Ах, молодой человек, молодой человек! Вы хотите использовать метеорологические ракеты так, словно это елочные хлопушки, цена которым грош.

Гордин принужденно улыбнулся.

— Как всегда — в интересах науки...

Он развел руками, точно, будь его воля, он занялся бы чем-нибудь посерьезней.

— Понятно, понятно. — В ответе прозвучала ирония. — Строителям дай миллиард, еще вопрос, освоят ли, а для ученых такой проблемы нет.

Взмахом руки он остановил готового возразить Гордина.

— Здесь обосновано значение вашего эксперимента, иначе и разговора не было бы. Что ж, если нет возражений, поставим выделение средств в смету третьего квартала следующего года.

В первое мгновение Гордин онемел.

— Послушайте... — Его голос сорвался. — Мне обещали, что еще этим летом... И в заявке упомянуто...

— Тут сказано. — Палец собеседника уперся в бумагу. — «По мере возможности». А мне, простите, видней, есть такая возможность в текущем финансовом году или ее нет.

— Но существует же резерв!

— Существует. — Очки снисходительно блеснули. — Для проведения внеплановых, срочных, важных для народного хозяйства экспериментов. Ваш, насколько я понимаю, к такому не относится.

Очки снова блеснули — холодно и все-таки чуть-чуть сожалеюще. Весь вид сидящего напротив человека как бы говорил, что он все прекрасно понимает — и нетерпение молодого ученого, и его разочарование, но что этот молодой ученый, увы, не единственный: все хотят побыстрей, а это невозможно.

— Значит, договорились, — услышал Гордин, который с ужасом и не к месту думал о времени, которое уже ушло, и о времени, которое еще уйдет, пока...

— Одну минуточку! — спохватился он, когда перо уже нацелилось на бумагу. — Одну минуточку! Дело в том, что быстрое проведение эксперимента имеет не только научное, но и существенное прикладное, народно-хозяйственное значение.

— Разве?

— Да! Миллионы лет назад в полярных широтах росли тропические леса. Другой климат, допустим. Но ведь и тогда была долгая полярная ночь! Как же растения ее выносили?

— И как же?

— Их обогревали и освещали полярные сияния.

— Обогревали, значит, и освещали. А теперь не обогревают и не освещают. Извините, я не поклонник научной фантастики.

— Никакой фантастики здесь нет! Нет! Есть расчеты, которые показывают, что в определенных условиях полярные сияния могут давать почве столько же тепла и света, сколько их дает солнце. Вот отзывы крупнейших специалистов. Вот...

С быстротой, удивившей его самого, Гордин выхватил листки из папки и подал их так поспешно, что они рассеялись по столу.

Человек за столом на них даже не глянул. Крякнув, он как бы в недоумении снял очки, и когда их льдистый заслон исчез, Гордин увидел пытливые, недоверчивые, некогда, должно быть, ярко-голубые, теперь изрядно выцветшие глаза, которые смотрели на него с нескрываемым любопытством.

— Очень интересно. Вы что же, собираетесь обогреть Север?

— Нет, там это было бы губительно для природы, — затопился Гордин. — Но города! Большие города, чье отопление обходится так дорого. С помощью сияний можно будет избирательно, без ущерба для климата, смягчать морозы. Где угодно! И такое отопление, заодно освещение будут стоить дешево.

— Ну и ну! Однако все это пока на бумаге...

— Вот и надо поскорей проверить.

— ...И даже не отражено в заявке, то есть фактически не существует.

— Но...

— Молодой человек, хотите совет? Если вам нужна скрепка, заказывайте оборудование для целого машбюро.

— Спасибо. Я только хотел заметить, что теоретические предпосылки моих экспериментов уже изложены в статье, и...

— Пожалуйста, не говорите, что вас могут опередить за границей! Я слышал это тысячи раз. Ваши фантастические замыслы... Постойте! Речь идет о создании настоящего, искусственно вызванного полярного сияния, или я плохо понял?

— Да, — удивленно ответил Гордин. — Все так.

— Не об этих имитациях, средства на которые я выделяю уже не первый год?

— Что вы! Сияние, которое мы создадим, даже превзойдет природное. В заявке...

— В заявке! Все эти бумаги на одно лицо, в них что железобетон, что сияние... Так вот чего вы хотите! Ну, молодой человек, бить вас некому.

— Это хорошо или плохо?

— Плохо! Помолчите, мне надо подумать.

Гордин вжался в кресло. «И черт меня дернул!..» Сухие стариковские пальцы нехотя двинулись к дужкам очков, которые все еще лежали на полированной глади стола. Пошевелили их.

— Скажите... Сияние действительно так красиво, как об этом говорят и пишут?

Вопрос был явно обращен к Гордину, однако глаза управляющего смотрели куда-то вдаль, и в них была рассеянность каких-то далеких от этого кабинета мыслей.

— Нет, оно выше определений, — ловя тонкую нить скрытого смысла, тихо сказал Гордин. — Сияние... Его нельзя описать. Невозможно. Вам никогда не доводилось видеть?

— Как-то вот не пришлось. Мальчишкой, конечно, мечтал, все мы тогда бредили Севером... Значит, это что же получается: если ваш опыт удастся, города можно будет обогревать и освещать полярным сиянием?

— Да.

— И, выйдя, скажем, на балкон, можно будет увидеть...

— Да.

— Чудеса! Прямо так, значит, с балкона? — Управляющий задумчиво покачал головой. — И какая, если представить, экономическая польза... Ладно! — Его рука энергично прихлопнула бумагу. — Средства получите из резерва.

* * *

В будке телефона-автомата было душно. Здесь накопилось множество запахов тех, кто торопливо или небрежно, тяжело дыша или весело шурясь, крутил диск, царапал карандашом на стене прыгающие цифры телефонных номеров, топал ногами от нетерпения, хохотал, проклинал частые гудки, судачил, не замечая мрачнейшей очереди. Вряд ли во всем городе можно было найти другое столь наполненное следами людских переживаний место. Еще в будке почему-то пахло собакой.

Наконец в трубке щелкнуло.

— Да? — мягко отозвался голос.

Куда подевалась решимость! В горле сразу пересохло, Гордин не мог выговорить ни слова.

— Да? — уже недоуменно повторил голос. — Я слушаю.

— Ира, это я...

— Ты?! — Голос сбился, но тут же обрел себя. — Здравствуй, полярник. Может быть, ты...

Пауза бросила Гордина в пот.

— Ира, — сказал он, не давая опомниться себе и ей. — Я хочу тебя видеть.

— Заходи, завтра вечером я буду...

— Нет! Давай встретимся на холмах. Сегодня! Без четверти десять, хорошо?

— Сумасшедший. — Она засмеялась. — Ты врываешься так, как будто... А мне, между прочим, завтра сдавать композицию и...

— Прошу тебя... Очень! Это важно. К черту композицию! Придешь?

— Подожди... Где, ты сказал, будешь меня ждать?

— Там, где мы впервые встретились.

— О!

— Еще я тебя попрошу: оденься, как... как на бал.

— В вечернее платье? — Трубка фыркнула.

— Да!

— Может быть, в белое?

— Это было бы чудесно.

— Да? А как насчет фаты? — По ее голосу нельзя было понять, сердится она или смеется.

— Отставить, — буркнул он. — Обойдемся.

— Так важно?

— Да. Да!

— Но у меня нет вечернего платья!

— Я же не об этом... Ирка!

— Что?

— Просто... ну... Я хочу тебя видеть, вот и все. Сегодня. Если можешь — выкинь из головы свою композицию.

— Хорошо, — сказала она серьезно. — Я буду ровно без четверти десять.

Она появилась ровно без четверти десять. Гордин ахнул, увидев, как она спускается к нему по тропинке. Вместо неизменных брючек на ней было белое платье, вероятно, то самое, которое было однажды сшито на выпускной вечер, а потом запрятано куда подальше. Изменилась, стала неторопливой сама ее походка. В вырезе платья темнела цепочка алых кораллов.

— Вот я, здравствуй.

Она подошла, не подавая руки, замерла в ожидании.

«Нравлюсь?» — говорил весь ее вид. «Нравлюсь?» — несмело спрашивали ее глаза.

«Очень», — ответил он взглядом.

— Подожди, — сказал он смущенно. — Вот.

В далеком отсвете фонарей гвоздика, как и цепочка кораллов, казалась почти черной. Неловкими пальцами он тут же попытался утвердить стебель в мягком облачке ее волос.

— Дай я сама. — Она вынула цветок и воткнула его в прищеску. — Спасибо. Ну рассказывай. Где был, почему так мало писал, и... вообще...

— Все узнаешь, — сказал он. — Потом.

Робко, словно боясь измять платье, он обнял ее за плечи и повел по тропинке вверх.

— Куда ты меня ведешь?

— Увидишь.

Она коротко вздохнула. Деревья расступились прогалом. Отсюда ничто не заслоняло город.

— Может быть, все-таки объяснишь...

— Нет, подождем.

— Чего?

— Ш-ш...

Она умолкла. Украдкой он посмотрел на часы. Без пяти десять. С аллеи внизу доносились негромкие голоса гуляющих. В листве сонно цвиркнула какая-то пичуга. На реке, колыша маслянистые отсветы набережной, пыхла тяжеловесная баржа. За рекой теснились скопища фасадов и крыш, в просветах улиц там скупое тлеет неон. Точечная отсюда пестрядь окон выделяла заслоняющие друг друга прямоугольники зданий. Оттуда исходил мерный пульсирующий гул. Небо вверх было чистым, но лишь самые яркие звезды удерживались в бледном отсвете города, которое даже здесь, на холмах, делало тени прозрачными.

— Тебе не холодно?

— Нет. Чего мы ждем?

— Угадай.

— Пытаюсь — и не могу.

— Тогда жди.

— И сбудется?

— Да. Закрой глаза.

— Закрыла. Еще долго?

— Скоро.

Он снова взглянул на часы. Десять. Теперь его била дрожь. Он даже отстранился, чтобы она не заметила. Опустив руки, она стояла с зажмуренными глазами, и было непонятно, улыбается ли она втайне, доверчиво ждет или, насупясь, тяготится томительным ожиданием.

«Что обо мне думают сейчас на полигоне, что? Сорвался, убежал, исчез... Бросил все... Я — сумасшедший».

«Я — сумасшедший», — повторил он и не ощутил раскаяния. Только секунды стали бесконечными, бешено колотилось сердце, и он с отчаянием смотрел на темную воду внизу, словно она могла стать прибежищем, если ничего не произойдет, если ребята подведут, если все сорвется и не будет уголка, куда бы он мог скрыться от позора.

«Все не важно, не важно, — лихорадочно молил он. — Пусть только удастся, ведь удавалось же, и теперь все рассчитано, пусть больше никогда не удастся...»

Внезапно его сжатые в кулак пальцы накрыла узкая прохладная ладонь. Он пошатнулся, как от удара. Тотчас далеко в небе вспыхнуло зарево. Поплыло, гася свечение города.

— Смотри! — ликующе закричал Гордин. — Видишь, видишь?!

Темное небо распалось и ушло куда-то в бархат подслоя. Вверх от зенита пучком взметнулись дрожащие алмазные стрелы. Они пульсировали, переливаясь. Листва бросала на землю двойную, тройную радужную тень. Споткнулся на полутакте мотор баржи, широкая корма которой вот-вот готова была скрыться за излучиной. Откуда-то донесся недоуменный вой собак, но и он смолк.

Горизонт опоясали порхающие извивы. Река, просверкав, вернула небу его сполохи. Кто-то, ойкнув, зашуршал неподалеку в кустах. Массив зданий преобразился, как груда кристаллов, с которых смахнули пыль. Точки темных, неосвещенных окон теперь пылали осколками радуг. В белых плоскостях стен метался трепещущий, каждое мгновение иной перелив порхающих красок.

А потом небо и землю облил зеленый, поразительно чистый свет, и все стало весенним, как первая трава на лугу.

Но Гордин уже не смотрел туда, он видел только бледное лицо Иринки, ее широко раскрытые глаза, в которых жил сияющий отблеск неба.

«Вот, вот что я могу! — кричал он мысленно. — Я это сделал, я!!!»

Ее лицо под крылом упавших на лоб волос казалось ему летящим.

Таким же новым, прекрасным почудился ему родной город, когда он мельком взглянул туда. Ритм цвета сменился, побагровел, теперь там все пламенело красками Рериха.

Так длилось секунду, может, две.

Затем что-то неувовимо сдвинулось, стало бездымно меркнуть. Краски потухли, потускнели, радужный дождь завес падал не так густо, и лишь влажный блеск глаз Иринки еще хранил прежнее чудо.

Торопливо, с досадой на промедление взревел двигатель баржи, и сразу как по команде все оборвалось мраком, в котором тускло, как угли из-под пепла, проступали огни заречья.

Но и это длилось недолго. Когда зрение восстановилось, все вокруг оказалось таким, каким было прежде.

— Вот... — только и сказал Гордин.

Его губы ожег быстрый поцелуй.

— Спасибо, спасибо, что ты утащил меня, а то бы я занавесилась и прозевала случай...

— Случай? — потрясенно переспросил Гордин.

— Разве нет? Я где-то читала, что сияние в наших широтах...

— А-а! — ликующе догадался Гордин. — Так ты не жалеешь?

— Не знаю. Раз это больше никогда не повторится... Но я была душой! Увидеть такое... Бедные мои краски!

— Возьми другие, — торжествуя, сказал Гордин. — Эти! Ты уверена, что я просто рассчитал день и час случайного полярного сияния. Нет. Нет, Ирочка, нет! Я его создал. Вот оно! — Он сжал кулак. — Могу вызвать его завтра, послезавтра, когда захочу.

— Ты... ты...

— Да! Мне помог твой медвежонок, но к черту игрушки, мне нужна ты, ты!

Не дожидаясь ответа, в том же приливе торжества и всемогущества он сгреб ее, стиснул, закрыл поцелуем что-то беззвучно шепчущий рот, приподнял, подхватил, ломая сопротивление, понес.

— Пусти сейчас же! — вскрикнула она придушенно, и прежде чем он успел понять, как это произошло, она уже была на земле, встрепанная, тяжело дышащая, а он, еще не веря тому, что случилось, сжимал пустоту.

— Ты славный, ты гений, я глупая, — выпалила она срывающимся шепотом. — И не надо! Спасибо за все — только не надо, не надо!

Прежде чем он успел опомниться, она схватила его руку, прижалась к ней мокрой от слез щекой. Потом ее белое платье мелькнуло и исчезло в темноте.

* * *

Он брел от университета по раскисшей аллее. Все вокруг было осенним, желтым и мокрым от мелко сеющего дождя, и это напоминало какой-то фильм, отзвук фильма... Словно из другой жизни. Гордин слабо мотнул головой, когда щеку задел упавший с березы лист.

Это не из другой жизни, это — с ним. И хорошо, что погода такая, потому что под сияющим небом все было бы куда тяжелей и горше. А так — ничего.

Ведь известно: чем ярче взлет... Громкая слава успеха, затем вот это — один посреди парка, где за поникшими деревьями алюминиево сереют башенки обсерватории. Так приходит смирение. И понимание. Еще сегодня он по инерции боролся, горячился, доказывал, потом сразу, будто кончился завод, понял: не надо. Ничего не надо, у жизни свой ритм.

С той минуты и до конца обсуждения он сидел, отрешенно слушая, как кто-то повторял правильные, уже много раз сказанные слова: «Научное значение данной работы бесспорно, но коль скоро побочным следствием нового метода является сильная помеха в широком диапазоне радиосвязи, то ни о каком использовании искусственного полярного сияния в населенных зонах, конечно, не может быть и речи до тех пор, пока...»

«Пока техника не перейдет на какую-нибудь там лазерную связь, — кивнул Гордин. — Или пока кто-то не найдет способа нейтрализации вредных последствий. Словом, оформляй диссертацию и трудись без печали...»

Никто даже не упрекает за мальчишество, за поспешность опыта, за то, что вовремя не обратил внимания, не посоветовался... Ах, если бы они знали!

Хорошо, что никто не знает.

Не о чем волноваться. Все будет в свое время, все. И «праздники неба» станут устраивать, и о нем, быть может, вспомнят: «Глубокоуважаемый профессор, не могли бы вы рассказать телезрителям о том, как...»

Никогда ни о чем он рассказывать не будет. Или будет? С внезапной отчетливостью Гордин вдруг увидел, как рвутся,

трепещут над городом сполохи, как люди высовываются из окон, как празднично ликуют улицы. И как дети, жена тянут его на балкон... Его жена, его дети, в той, другой жизни, которая будет.

Из-под ноги брызнула лужа. Он круто, не глядя, свернул на обочину, пошел напролом. По плащу дробно застучали ветви кустов.

Почему-то вспомнилось, как в детстве он мечтал много ездить в автомобиле и много летать на самолете. Теперь, когда это сбылось, все желанней стала казаться неспешная ходьба, да только на нее уже не хватало времени. А если бы и хватало, то без торопливого стремления к цели он, верно, почувствовал бы себя неуютно.

Приближался шум улицы. Скоро она открылась вся, в сумятице движения, в сизых выхлопах, в слитном беге грязнобоких машин. Он помедлил в двух шагах от людского водоворота, затем повернулся, почти побежал назад, туда, где шуршала листва.

Так ослепнуть в тот, все решивший миг! Так самонадеянно, не желая, унижить... Ведь он же потребовал, потребовал немедленной, тут же оплаты! Вот что двигало им, и она это поняла сразу. Какое-то страшное, неистовое затмение... Не спрашивая ничего, с торжеством победителя так обрушиться, смять, будто все уже решено, ничего другого просто быть не может! Словно и воли нет, кроме его собственной, да и быть не должно.

А ведь все могло сбыться, как он не понял тогда, что морло! Настолько ничего не заметить, ничему не поверить, думать совсем о другом, казалось бы, важнейшем, а на деле существенном не тогда и не в том.

Вот и заслужил...

Точно выскочив из-за куста, на уровне груди внезапно простерся корявый, морщинистый сук. Гордин замер, опешив. Куда он забрел? Серело. Под ногами была нетоптаная земля, всюду мокро отсвечивал палый лист. С верхушки дуба, коротко прошуршав, сорвались тяжелые капли. Помедлив, Гордин рукой уперся в неподатливый сук и, чувствуя, как нарастает тугое сопротивление, продолжал гнуть, пока одолевающая сила

мускулов не налила плечо болью. Тогда он напряг вес тела, ощутив наконец, как уступает, подается преграда.

— Сломаешь, — тихо послышалось сзади.

Сук дернулся в ослабевшей руке, толчком развернув Гордина. Отворот плаща пересек грязный след удара.

— Видишь — он отомстил...

— Ира!

— Я. Спасибо эта палка тебя задержала, а то бы я совсем запыхалась. И куда ты бежал?

— Никуда.

Она кивнула, словно ждала такого ответа. Две-три капли скатились с прозрачного капюшона, светлыми бусинками осев в ее волосах. Сам плащик был небрежно расстегнут. Она стояла, сунув озябшие руки за пояс; на тугой ткани джинсов медленно проступали темные крапинки дождя.

— Промокнешь, — сказал он глухо.

— Взгляни лучше на свои колени.

— Пустое!

— Вот и я так думаю.

Оба замолчали. Ее глаза рассеянно и спокойно смотрели куда-то мимо Гордина.

— Дальние прогулки при любой погоде? — резко и с вызовом спросил он. — Мечты в одиночестве?

— Да. — Она перевела взгляд. — А что?

— Ничего. Я вот тоже решил прогуляться.

— Вижу.

— А ты, как всегда, ищешь свежих художественных впечатлений?

— Как всегда.

— Ясно! Осень, увядание, грусть. Живописно и трогательно, чем не сюжет? Что делать, праздников больше не предвидится. Все, точка.

— Праздник, — сказала она, как бы не замечая тона его слов. — Смешно. Праздник — вот...

Она выставила ладонь под мелко сеющий дождь.

— Щекочет... Я сюда шла просто так. Нет, ты прав не совсем. Впечатления, говоришь? Да, я хотела проверить. Листья летом — сплошная масса, листва; взгляду не до подробно-

стей, все воспринимается слитно. А осенью каждый лист становится самым собой, когда падает. Грустно? Может быть, и так. Я смотрела, как они падают, а потом увидела тебя. Вот.

— Понятно. Читала, значит, в газетах...

— Читала. Глупо! Если что-то было, то уже не исчезнет. Все равно будет.

— Конечно. Вроде мамонтов.

— Мамонтов?

— Ага. Были — нет, только память осталась. И все.

— Ты уверен?

— В том, что вижу тебя, — да.

— Подожди... Мамонты. Что-то писали об инженерной генетике. Не так?

— М-м... Допустим. Может, мамонтов и воскресят в каком-нибудь двадцать первом веке.

— Вот видишь!

— Какая разница! Просто неудачный пример.

— Нет, почему же... Они красивые?

— Кто?

— Мамонты.

— А кто их знает... Лохматые, грязнящие, наверно. Не чета кошкам.

— При чем тут кошки?

— Так, вообще... Не знаю. А при чем тут мамонты?

— Это ты говорил о мамонтах.

— Ну и что? Мамонты — папонты, бродили по лугам, пилили, спали-жирели. «Пройдет и наше поколение, как след исчезнувших родов». Слышала такую песенку?

— Нет. Странно... Другое странно.

— Что?

— Все! Знаешь, почему я здесь оказалась?

— Ты сказала.

— Кроме главного. Только что в студии жутко разругали один мой рисунок, и я... я сбежала.

— Кто не получал двоек...

— Не в этом дело! Просто... просто в том рисунке мне показалось, что мне кое-что удалось, свое. Выходит — нет.

— Ну, это еще ни о чем не говорит. У вас все зависит от вкусов: нравится — не нравится, не оценки — дым!

— Не совсем так, но пожалуй. И все-таки... Я вот что хотела спросить...

— Да?

— У тебя никогда не было ощущения, что тебе — именно тебе! — предназначено что-то выразить, осуществить... Никому другому, только тебе. И все остальное не важно.

— Бывало что-то похожее.

— И?..

— А кто его знает! Самообман, должно быть.

— Возможно, что и самообман. А все равно порой возникает такая отдаленность...

— Отдаленность?

— Да. Как бы это выразить... Будто ты не совсем принадлежишь себе, что-то надо беречь больше всего остального, чему-то не поддаваться, даже когда очень хочешь... Ну, словно кто-то тобой распоряжается. Не бывало так?

— Хм. — Гордин потер подбородок. — Не замечал такой мистики.

— Правда? Значит, ошиблась.

— В чем?

— Ни в чем! А у тебя метка...

— Какая метка?

— Да на лице! Ты потер подбородок, а рука у тебя измазана веткой, которую ты пытался согнуть. Я же говорила, дуб памятливы.

— Ну и черт с ним!

— Так ты сильней размажешь. Дай лучше я.

Достав платок, она неуверенным движением провела им по его мокрому, сразу и жестко закаменевшему от этого прикосновения лицу.

— Все. — Ее рука, помедлив, упала. — Знаешь, у тебя глаза... Не злые, нет...

— Какие есть, — буркнул он поспешно. — По вкусу их выбирать не умею.

— Да, конечно... Смерклось уже.

— Разве?

- Темнеет. Надо идти.
- Куда?
- Туда. — Она вяло мотнула головой. — Туда.
- Я провожу.
- Не стоит, мне еще надо побродить.
- В сумерках?
- А в сумерках цвет глохнет, это интересно.
- Да? Застегнулась бы все-таки...
- Мне не холодно, и дождь почти перестал.
- Это тебе так кажется... Пстой!
- Стою.
- А то еще простудишься, шедевр не напишешь...

Досадуя на свои нелепые слова, спеша и путаясь, он кое-как застегнул неподатливые пуговицы. Она стояла с безучастным видом. Теперь в прозрачном пластике плаща ее фигура казалась обернутой в целлофан, незнакомой, чужой.

— Пока. — Она слабо помахала рукой. — Счастливо.

— Пока, — ответил он машинально, зная и не веря, что это все.

Он смотрел, как она бредет, удивляясь, и не чувствовал потери, ничего, кроме огромной отрешающей пустоты. Сумрак еще не успел ее скрыть, когда она, словно освобождаясь, рванула застёжки плаща, и его откиннутые полы обвисли, как подбитые крылья. Из-под них мелькнул белый комок забытого в руке и теперь выпавшего платка.

Тогда он побежал. Она не обернулась, не замедлила шаг, только отстранилась, и он также молча двинулся рядом по узкой тропке, уже бессмысленно сжимая поднятый платок и не зная, что теперь говорить и надо ли говорить вообще.

А когда ее озябшая рука сама собой очутилась и замерла в его ладони, он безраздельно понял, что слова излишни, а нужно просто идти, отогревая доверившуюся ему руку и не спрашивая, что будет дальше. Ведь как ни грозны великие тайны земли и неба, они ничто перед тайной любви.

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ

— Не бойшься, что я протру твою бархатную шкуру?

Ответом был раскат благодарного мурлыканья. Вытянув шею и оттопырив уши, Дики упивалась почесыванием. Костяшки пальцев Ронина так энергично сновали у нее под губой, что от их движения с чмоканьем приоткрывались острые зубки. Голова кошки моталась. Глаза были косые, блаженные.

Ронин вздохнул. Больше оттягивать время было нельзя. Пора собираться. Надо...

— Знаю, знаю, наслаждаться ты можешь до бесконечности... Меня, однако, ждут.

Мур оборвался. Кошка мягко прыгнула с коленей и, гордо неся свой пушистый хвост, проплыла к закрытой двери, нисколько не сомневаясь, что Ронин ее распахнет. Конечно, он это сделал. Любимице нельзя было не услужить. В сотнях парсеков от Земли она чувствовала себя как дома, она везде чувствовала себя как дома — уж такой это был зверь.

Проводив ее долгим взглядом, Ронин стал одеваться. В иллюминатор неподвижно светило чужое солнце. В густом луче плавилась пылинки. Сухой ржавый свет наводил тоску.

Неподалеку от шлюза Ронин снова увидел Дики. Пружинисто переступая, она проследовала за ним будто бы по своим делам.

— Нет, серый зверь, — громко сказал Ронин. — Дисциплина и для тебя обязательна. Прогулки строго по расписанию, согласно программе биологических экспериментов, вот так-то...

Кончик пушистого хвоста неодобрительно дернулся. Дики свернула в коридор с таким видом, словно она думать не дума-

ла ни о каких прогулках и отказ не имел к ней ни малейшего отношения. Только спина — уму непостижимо как — выразила презрительное осуждение.

Ронин не смог сдержать улыбку. Милое, своенравное, такое понятное земное существо! Мимоходом он посмотрел на себя в зеркало. Оттуда на него глянула чудовищная маска. Монстр, да и только...

Ничего не поделаешь! Иначе человека на этой планете просто не замечают.

В начальной стадии осложнения неизбежны, и, начав работу на Мальтурии, Ронин не строил никаких иллюзий. Действительность, однако, превзошла все ожидания.

Подготовительные работы были проведены безупречно. Группа разведчиков составила изумительное описание планеты и с торжеством вручила его Ронину. Деликатная операция установки «следопытов» тоже обошлась без неприятностей. Ночью возле всех заранее намеченных поселений были тайно установлены акустико-оптические анализаторы, которые в радиусе двух километров улавливали малейший шепот и позволяли следить за каждым движением обитателей хижин. Сложность этого предприятия, пожалуй, поставила бы в тупик любого героя Фенимора Купера, ибо камуфлированные под пни, камни и гнезда аппараты следовало разместить так, чтобы в поле их зрения и слуха оказался весь поселок. В местах, куда тем не менее не забредали даже дети, которые, верно, знали все пни и глыбы наперечет. И это под носом у жителей!

Обошлось тем не менее. Когда язык и образ жизни мальтурийцев были изучены, аппараты за ненадобностью убраны так же скрытно, как и поставлены, Ронин почти уверовал в свой талант. И немедленно сел в такую лужу, в какую еще ни один специалист по контактам не садился.

Он, как по программе полагалось, выбрал одинокого путника, вышел ему навстречу, сделал принятый в данной местности знак миролюбия и на чисто мальтурийском языке произнес приветствие. По опыту он знал, что это не только ответственный, но и опасный момент: бывало и так, что в ответ на приветствие следовал удар копьём. Ронин был готов ко всему.

К нападению, паническому бегству, остолбенению, падению перед землянином ниц, даже обмороку. Произошло, однако, нечто невероятное: мальтуриец его просто не заметил.

Не заметил, и все! Он прошел мимо Ронина так, словно его и не существовало. Словно человек был пустотой или незримой мошкой...

Ронин так растерялся, что затрусил за мальтурийцем, крича ему вслед. Увы, группа прикрытия, конечно, запечатлела весь этот позор...

С новым прохожим повторилась та же история: он прошел, даже не шевельнув толстым, как бревно, хвостом.

Отчаяние Ронина усугублялось тем, что на борту звездолета находился сам великий, знаменитый, прославленный и все такое прочее Боджо.

С одной стороны, это было прекрасно, потому что кто, как не Боджо, мог дать полезный совет. С другой стороны, это было скверно, потому что Ронину впервые доверили самостоятельный контакт. Так обстояло дело и формально, и по существу, поскольку Боджо уже давно ничем не руководил. Он и на этот раз предупредил, что стар, годен уже только для тихой кабинетной работы, короче говоря: «Мой опыт в полном вашем распоряжении, но действуйте так, будто меня здесь нет».

Из самолюбия Ронин так и старался действовать, упрямо решив, что сам, без подсказки, доведет дело до конца. И вот, пригнутый неудачей, он вернулся на звездолет. Он ожидал, что Боджо, приняв его, вежливо выслушает, скущаяще побарабанит по одной из своих многочисленных книг и коротко пододвинет ее со словами: «Вот тут изложено одно мое давнее соображение, которое, насколько мне помнится, отвечает создавшейся ситуации...»

Вышло иначе. Скуластое, пепельное от старости лицо ученого к концу рассказа дрогнуло изумлением, а в узких глазах блеснуло жадное нетерпение ребенка, которому вдруг показали заманчивую игрушку.

— Слушайте, ведь это поразительно! — вскричал он. — То есть я никогда ни с чем подобным не сталкивался! Боюсь, что и остальные тоже.

Подскакив к полке (старик признавал лишь печатные издания), он проворно-ищущим движением пальцев пробежался по корешкам книг.

— Ничего, как я и думал. Никто не писал ни о чем подобном! Не-ет, молодой человек, чужой ум нам тут не подмога, придется поломать голову самим.

— Вот и мне так кажется! — Настроение Ронина подпрыгнуло к небесам. — Здесь такая загадка, с которой...

— А вот насчет загадки я не совсем уверен, — мягко улыбаясь, перебил Боджо. — Это еще надо прояснить, есть ли тут загадка. Мы, видите ли, часто забываем один элементарный вопрос, от которого, однако, зависит все направление поиска: относится ли странное явление к числу непознанных или неузнанных? Разница большая. В первом случае нужны исследования, ибо в наших знаниях явный пробел. Во втором случае это излишний труд, поскольку фактов достаточно, надо только их осмыслить. Нас, знаете ли, развратило обилие исследовательской техники. Мы убеждены, что все эти хитроумные анализаторы всего чего угодно, всюду проникающие зонды, всевидящие локаторы, подающие нам на блюдечке ответ машины, повинуются нам, как хвост собаке. На деле еще вопрос, что кем вертит... Анализаторы дадут любые сведения, машины все скорректируют, эксперимент разрешит любые сомнения — это надежно, правильно, солидно, и думать не обязательно. Но часто похоже на поиск очков, которые лежат в кармане, уж вы мне поверьте... Вот и подумаем для начала, к какому типу относится наш случай. Видеть мальтурийцы вас, конечно, видели?

— Да, — ошарашенно ответил Ронин. — Они видят примерно, как и мы, хотя у них совершенно другой внешний облик и другое устройство глаз.

— Так, так. Еще вопрос. Они не заметили вас или не желали заметить?

— Скорей первое. Насколько я разбираюсь в их эмоциях, я был для них чем-то вроде пня, по которому равнодушно скользишь взглядом.

— Значит, видят, но не обращают внимания. Странно, странно... Мы должны быть для них диковинными чудовища-

ми, а они... Такое свойство восприятия крайне опасно для них самих, вы не находите?

— Нет, не нахожу. — Ронин не заметил, что спорит с самим Боджо, а когда заметил, то лишь смутно удивился. — Ведь если бы это было опасно, то... то этого просто не было бы.

— Как так?

— Дело, очевидно, в том... — Ронин запнулся, но отступить было поздно. — Дело, очевидно, в том, что они прекрасно замечают все, от чего зависит их жизнь, но лишь, так сказать, в привычной среде. Мы же не являемся элементом их среды обитания.

— Мы — исключение из правил, и поэтому они нас не замечают?

— В общем, да, — тихо сказал Ронин.

— А вам не кажется, что это абсурд?

Ронину это уже не только казалось. Он просто не понимал, как мог сморозить такую глупость. Нельзя же в самом деле утверждать, что кто-то не обращает внимания на огромное и громогласное существо только потому, что оно ни на что не похоже! Но мысль уже была высказана, и смятенный ум лихорадочно искал аргументы в ее защиту. Ведь не зря же она возникла!

— Птицы! — вдруг выпалил Ронин.

— Птицы? — Боджо воззрился на него, будто Ронин стал маленьким-маленьким. — При чем тут птицы?

— Это просто пример... Если в гнездо подложить деревянного птенца и покрасить его разинутую глотку в натуральный цвет, то птицы будут кормить деревяшку! Они не видят, что птенец ненастоящий, потому что в программе их поведения не предусмотрен и не мог быть предусмотрен столь невероятный случай подмены.

— Все существа воспринимают мир сквозь призму стереотипов, — задумчиво проговорил Боджо. — Это общеизвестно. Есть ли тут переход к нашему случаю?

Мысли Ронина разбежались. Неужели Боджо не видит, что он, Ронин, просто-напросто барахтается, без особой надежды всплыть? Что он запутался в своей, ребенку видно, абсурдной гипотезе? Но на лице Боджо не было и тени усмешки, он ждал,

с интересом ждал ответа. «Не бойтесь абсурда, быть может, это всего лишь знак, что наш прежний опыт исчерпан и разум столкнулся с новой поразительной сложностью мира, которая на первых порах производит впечатление абсурда». — Ронину вспомнились эти слова из давней книги Боджо, и они его подхлестнули.

Конечно, соображал он, всякое мышление, в том числе человеческое, — стереотипно. Ну и что? Внешне нелепый стереотип может быть глубоко оправданным. И наоборот. Самый расчудесный стереотип оказывается пагубным, коль скоро резко изменились породившие его обстоятельства. Все преимущество разума как раз состоит в быстром пересмотре стереотипов. Быстром, но, естественно, не мгновенном. Только в высшей фазе развития становится возможным упреждающий, прогностический пересмотр. До этого момента истории пересмотр всегда и неизбежно запаздывает. Надо получить от жизни изрядную порцию синяков и шишек, чтобы это случилось. А до тех пор, пока изменения не дают о себе знать чувствительно, разумное существо будет спокойно взирать на мир сквозь любые искажающие очки.

Мысленная невидимость!

Ронин даже ахнул.

— Послушайте! — вскочил он в возбуждении. — Что бы вы сделали, если бы сюда, в каюту, к вам явился Эйнштейн?

— Решил бы, что мне померещилось. — Боджо смотрел на Ронина со странным выражением лица. — Так вы полагаете...

— Да, да! Никто из нас не пал бы перед призраком ниц, не ударил бы его кулаком, не убежал бы с воплем, а спокойно пошел бы к врачу. Беспокоиться нечего, обычная галлюцинация! Ведь так? Это наш стереотип реакции на призраков. А если бы призрачной оказалась форма существования какого-нибудь инопланетянина, который явился бы к нам устанавливать контакт? Результат был бы тем же! Здесь, похоже, аналогичный случай. Просто у мальтурийцев другой стереотип «чего не может быть».

Азиатские глаза Боджо спрятались в щелочку век, к их уголкам стянулись морщинки. Внезапно грянул раскатистый, от души смех.

Ронин уязвленно вспыхнул.

— Это не в ваш адрес, не в ваш! — замахал руками Боджо. — Просто я вообразил, как к человеку Средневековья является прозрачный инопланетянин, а его крестом, крестом... Тоже ведь стереотип поведения, а? Ладно. В вашей гипотезе есть должное случаю безумие. Давайте ее спокойно обсудим...

Они все как следует обсудили, продумали изменение человеческого облика, и на другой же день Ронин поставил опыт, который принес полный успех.

Боджо, узнав о результатах, даже крикнул от восхищения.

— Вот это работа! Как идея-то оправдалась, а? — Он искоса глянул на Ронина. — Вас поздравляю, себя — не могу. Проглядел идею-то, проглядел, что значат стариковские стереотипы — ай, ай, ай...

Он долго и сокрушенно качал головой, но глаза хитрили, и Ронина царапнуло внезапное сомнение, которое за делами, впрочем, тут же забылось.

Оно всплыло ночью. Перебирая дальнейшие возможности контакта, Ронин долго ворочался, и, как это всегда бывает при бессоннице, мысли скоро сбились в яркий, путаный клубок образов, навязчивых и сумбурных, пока случайно не выделился один: рука Боджо, замершая перед корешками книг.

Еще дремотная память напряглась. Палец Боджо заскользил по рядам, вот он помедлил, неуверенно дрогнул, скользнул вниз, чуть задержался на совершенно обычной книге... Обычной? Наоборот, неуместной, ненужной, — недоумение тогда мелькнуло и тут же погасло, потому что палец отпрянул и снова заскользил по корешкам солидных томов, а ему, Ронину, было не до размышлений. Но ведь эта книга...

Память наконец вынесла ее название. Ронин аж подскочил: томик Честертона! Того самого Честертона, который еще в прошлом веке написал рассказ о мысленно невидимом человеке. Так вот что запало! Вот почему задержался указующий палец!

— Ай, ай, ай, — покачал головой Ронин. — Стариковские стереотипы, значит... Ай, ай, ай!

Он усмехнулся в темноте. «Да, за таким стереотипом как за каменной стеной... Но, кажется, я тоже не подкачал. Ну и ну!»

Однако наступил день, принесший загадку, перед которой и проницательность Боджо оказалась бессильной.

Яркий свет лег на плечи тяжестью панциря. Ронин зажмурился, мало-помалу привыкая. Он задержал шаг возле опытного поля, на котором хлопотали биологи. Ограждения поля были, пожалуй, самой причудливой из всех, которые Ронин видел, конструкцией. Они перекрывали собой обширный участок местности, свободно пропускали внутрь свет, ветер и дождь, но ни одной молекулы не выпускали наружу без придирчивого контроля. Биологи не боялись заразить планету или внести заразу в корабль, так как существенное несходство местных и земных белков гарантировало их полную несовместимость. Но характер опытов все же требовал изоляции. За прозрачными до незримости стенами трава, кусты и деревья лужайки соседствовали с посадками земных растений, и странно было видеть одуванчик, оплетенный чем-то вроде медной проволоки с огромными фиолетовыми цветами на тончайших усиках. Там, за стенами, шла борьба и притирка двух чужеродных биосфер, у которых общим был лишь способ питания. Контакт их был подобен соприкосновению травы и металла, но ведь и его нельзя считать вполне нейтральным, так что интереснейшей и кропотливой работы биологам хватало. Туда же, за невидимые стены, были выпущены генетически чистые породы мышей, морских свинок и кроликов. Ронин видел, как за земной мухой гонится десятикрылая здешняя стрекоза, которой явно было невдомек, что муха для нее несъедобна.

— Как дела? — спросил Ронин у появившегося из укрытия биолога.

— Как обычно. — Тот стер с лица обильный пот. — Что-то гибнет, что-то приживается. Жарища...

— Там Дики просится в ваш Ноев ковчег — охота поразмяться.

— Подождет. Как она в своей шубе еще может резвиться — не понимаю.

— Положим, тут не жарче, чем в летний полдень на Украине. Ладно, все это пустяки. Выяснили что-нибудь со злаками?

— Нормальные злаки, и болеют они нормально, так что ничего нового. А вы опять к мальтурийцам?

— У них сегодня праздник урожая, и я зван.

— Завидую! Они хоть сами о себе рассказывают, а тут допытывайся у трав и вирусов, почему они такие, а не сякие.

«Да уж, — подумал Ронин, — своя работа всегда самая трудная. Эх, мне бы ваши заботы, дорогие биологи! Травка да зверюшки, они в наших руках словно глина, меняй их генетический аппарат, как хочешь».

Помахав рукой, он двинулся к опушке. Привычно обернулся, когда миновал маскировочный заслон. Позади не было уже ни корабля, ни опытного поля, ни трудяг скуггеров, только дальний лес странно приблизился и посреди сократившегося пространства зыбко трепетало марево, будто там никак не мог овеществиться только что вылезший из бутылки джинн. Как ни совершенна была маскировка, место, где стоял звездолет, выглядело заколдованным. К счастью, любопытством мальтурийцы не страдали, и одно это наводило на некоторые размышления.

Тень леса облегчила жару, зато исчез ветерок, который продувал страхолюдный костюм Ронина. Обилие кислорода слегка кружило голову, отчего лес казался еще диковинней, чем он был в действительности. В нем причудливо смешались осень, весна и лето. Осень, потому что падали и шуршали багряные листья, весна, потому что все цвело, а лето, потому что на деревьях обильно зрели плоды. И все пестрело буйными, оглушительными красками. Угольную тень подлеска прожигали пятна солнечного цвета. По ярко-синим стволам язычками огня бежали красные и желтые листья лиан; кроны были охвачены тем же багровым пожаром. Внизу из киселеобразного мха выглядывали черные цветы. Какие-то болотные лопухи поворачивались вслед за человеком, как ушастые локаторы. В просвете мелькнул и скрылся огромный золотистый ромб с косматой бахромой свисающих нитей, непонятно: то ли бабочка, то ли птица. Еще нечто столь же сюрреалистическое зачавкало в кустах. Вот она, мечта о других планетах! На зеленой травке бы сейчас полежать... В носшибанул запах гниющих плодов, от которых гнулись тугие ветви деревьев. Богатая, вечно

плодоносящая почва! Так почему, почему здесь замерло то, что не должно было замереть?!

Дорога заняла не более километра, и сразу за опушкой открылся поселок. Белые, как яичная скорлупа, конусы хижин ослепительно сверкали в лучах послеполуденного солнца. В поселке не было заметно никакого движения, хотя за человеком, конечно, следило множество глаз. Поодаль расстилались красновато-бурые поля, на которых кое-где виднелись темные точки, — жнецы уже приступили к уборке. Сделав поправку на цвет неба и краски растительности, можно было подумать, что находишься где-нибудь в древней Африке. И это в стольких парсеках от Земли! Ничего удивительного, впрочем. Всякая цивилизация на определенном этапе развития начинает строить жилища, заниматься земледелием, а поля всюду поля, какое бы солнце ни горело над ними. Везде надо подготовить почву, взрастить, убрать урожай, везде нужен труд и орудия труда, всюду приходилось гнуть спину, если таковая, понятно, имела.

Приблизившись, Ронин понял, что его ждут. Старейшины чинно восседали на собственных, сложенных вдвое хвостах. Очень удобно, но Ронину, после церемонии приветствия пришлось, как обычно, присесть на корточки. Его движение спугнуло рыжеватого зверька, каких тут была масса. Пискнув, он взмыл из травы на тонких пергаментных крылышках. Рука одного из старейшин щелкнула в воздухе, как плеть, но куда там! Зверек увернулся и исчез в траве. Он имел отдаленное сходство с диснеевским Микки-Маусом, но не летал, а прыгал словно кузнечик. Мордочка у него, однако, была скорей крысиная. Нигде в лесах микки-маусы не водились, и Ронин вспомнил просьбу биологов раздобыть хотя бы парочку, но сейчас думать об этой докуке было некогда.

Тарелки с едой появились немедленно, едва Ронин сел. Путника, откуда бы он ни появился, пусть даже со звезд, и как бы он ни выглядел, первым делом, если он вошел в доверие, следовало накормить. Так было на Земле, так было и здесь, ведь голод везде голод. Обычай, пренебрегать которым было нельзя, уже который раз обрекал Ронина на муки, ибо прихо-

дилось набивать желудок массой, хотя и безвредной, но не более удобоваримой, чем опилки. Хорошо еще, что здешняя пища, довольно безвкусная, не имела омерзительного запаха и не вызывала желудочных спазмов.

До окончания трапезы — Ронин знал это — разговор был невозможен. Поэтому он покорно принял тарелку, но при взгляде на нее ему стало не по себе.

Еда возвышалась на ней горой! Ее было впятеро больше, чем всегда. А съесть полагалось до крошки. Но человеческий желудок был явно не рассчитан на такое количество.

Ронин тихо содрогнулся. Тенистый сумрак, кое-где рассеченный горячим лучом света, молочные конусы хижин вокруг площадки, чуждые всему земному, безмолвные лица старейшин...

Что означает эта гора пищи? Может быть, на этот раз требуется съесть только часть? Или, наоборот, следует попросить добавки? К чему приведет его вынужденный отказ прикончить блюдо? Какой поступок сейчас мог оказаться правильным, а какой оскорбительным?

Снова — в который раз! — Ронин почувствовал себя канатоходцем, который балансирует, держа на голове кастрюлю кипятка. Или, изящно выражаясь, чашу.

— Сегодня праздник урожая, — напомнил старейшина.

Ну да, конечно... Началась жатва, а это, должно быть, ритуальное блюдо, которое, видимо, надо очистить до последней крошки. Неясно только, почему пир устраивается не после, а во время уборки, ведь тут дорога каждая минута, да и работа на полный желудок не работа. Или это блюдо только для гостя?

Нет. Точно такие же появились и перед старейшинами. Мало того! Судя по запахам, к пиршеству готовились и в хижинах.

Оставив недоумения на потом и с тоской глянув на дымящуюся гору еды, Ронин погрузил в нее пальцы, лихорадочно соображая при этом, как бы незаметно просыпать кое-что в траву. Иного выхода не было. Не зря, нет, не зря искусство фокуса входило в программу подготовки контактеров — ее готовили предусмотрительные люди...

Зажмурясь, Ронин сделал первый глоток.

* * *

Быть может, именно с пищей была связана та загадка, которая не давала покоя всей экспедиции.

Земная история, как и истории других цивилизаций, свидетельствовала, что всякий последующий этап развития короче предыдущего. То было не просто обобщение горстки уже известных фактов. В сущности, прогресс — это ответная, не единственная, но самая перспективная реакция жизни на изменение условий существования. Чем обширней и глубже перемены, тем больше возникает новых проблем и тем изощренней должен становиться разум, иначе проблемы, оставаясь нерешенными, усугубляются, что ведет к гибели. Но всякий шаг цивилизации, в свою очередь, вызывает перемены, которые с ростом ее могущества оказываются все стремительней и обширней. Так, самовозбуждаясь, она наращивает свой бег и все туже закручивает спираль своего развития.

Археологические изыскания показали, что и на этой планете до поры до времени все шло как обычно. Но с появлением земледелия что-то застопорилось. Везде, в самых плодородных долинах, при самых благоприятных условиях почву обрабатывали, как и сотни тысяч лет назад, и нигде не было зачатков городской культуры. Они, судя по раскопкам, не раз возникали, но тут же гибли как отсеченные побеги.

Конечно, ход прогресса менее всего прямолинеен. Скорей он напоминает течение реки, которая в своем мощном беге роет не только русло, но, повинаясь условиям рельефа, создает еще и заводи, старицы, болота. Бывает, понятно, и так, что перед внушительной преградой живой ток воды замирает, вздувается озером и долго копит силы, пока не прорвет ее с грохотом. История любой планеты знает свои заводи, заиленные рукава и болота. Случался порой и разлив течения, когда все стремнины, казалось, замирали в стоячем покое лет. Но то были сравнительно недолгие паузы, которые неизбежно сменялись порывами бурь. Здесь же над мертвым зеркалом невозмутимо плыли десятки тысячелетий.

Имелось два объяснения. Или перед мальтурийцами возникла какая-то исключительная преграда, которая надолго, но все же временно заперла прогресс, или... или выдохся сам ра-

зум! Последнее допущение ставило под удар всю теорию эволюции.

В его пользу, однако, говорило многое. Попытки создания городов давно прекратились. Технология, обычаи, социальный строй — все окостенело много тысячелетий назад. Девственных, пригодных для обработки пространств было сколько угодно, но они не осваивались, и население не росло. Нетронутые леса и степи, развалины несостоявшихся городов, брошенные кое-где поля, какая-то небрежность земледельческого труда, жесткость социальной структуры, замерший дух любознательности, даже этот пир некстати могли быть зловещими признаками угасания.

Могли...

В поселке стало куда оживленней: пировали или готовились к пиру уже во всех хижинах. Внимание Ронина раздваивалось. Он следил и за тем, что происходит вокруг, и совершал чудеса ловкости, отправляя часть пищи не в рот, а в густую траву, где уже алчно копошилась какая-то живность. Еще он невольно прислушивался к ощущениям в желудке, куда, казалось, лег тяжеленный кирпич.

Наконец еда убавилась настолько, что, не нарушая правил деликатности, можно было начать разговор. Выждав еще немного, Ронин равнодушно осведомился, почему оставлены полевые работы.

Шипастые головы старейшин благосклонно полиловели. Последовавший ответ можно было понять так, что праздники редкость, но уж если праздник, то он праздник. Его, однако, можно было истолковать совсем иначе: зачем работать, когда еды много?

Ронин не спешил с уточнениями. Многозначность разговора была здесь нормой даже в общении друг с другом. Простейшее утверждение «Утром взойдет солнце» звучало, например, так: «Свет одолеет ночь, как ему будет позволено». Выражение «...как ему будет позволено» означало, что день может оказаться солнечным, а может быть и пасмурным. Шифр усложнялся, едва речь касалась чего-то более важного, настолько, что как вопрос, так и ответ включали в себя сразу и утверждение,

и сомнение, и отрицание. Иногда Ронин чувствовал, что вот свихнется, ибо смысл произнесенного зависел от пропорции всех этих частей и еще от того, к чему более склонялось сомнение — к утверждению или к отрицанию.

Но и это было не все, так как в разговоре часто возникала «фигура умолчания» — предмет или событие, о котором вообще нельзя было упоминать иначе как паузой, в лучшем случае — иносказанием.

Хитроумная система умолчания и маскировки истины вряд ли была умышленной. Она оказалась такой же закономерной производной бесперспективного состояния цивилизации, как и та «мысленная невидимость», с которой на первых шагах столкнулся Ронин. Движение вперед невозможно без откровенности и правды, застой — без сокрытия и лжи. А если самообман длится долго, то разум слепнет, как глаз, долго видящий одну лишь тьму.

Расспросы мальтурийцев напоминали блуждания без фонаря по лабиринту. Конечно, их цивилизация не могла познать ход своей истории, тем более управлять ею. Но, может быть, они подозревали неладное и как раз на эти знания наложили табу, чтобы не беспокоить себя напрасными размышлениями? Или они понятия не имели о том, что происходит? Все до единого считали свое состояние правильным и хорошим?

Сбор урожая давал шанс кое-что выяснить. Слегка волнуясь, Ронин произнес длинную, тщательно продуманную речь, смысл которой состоял в просьбе познакомить его с тем, как хранится и распределяется зерно.

Просьба Ронина была встречена долгим молчанием. Ничего необычного в этом не было — старейшины не любили торопиться с ответом, но сейчас их молчание показалось Ронину ледяным. Насколько он сумел понять по прежним беседам, затронутая тема обременялась множеством табу, так что отказ был наиболее вероятен. Впрочем, кто их знает! Пока они молчат и не двигаются, понять их настроение невозможно, поскольку глаза фасеточного типа — а именно такие были у мальтурийцев — для человека лишены всякого выражения, как и для них человеческие, наверно.

Ноги затекли, и Ронин воспользовался паузой, чтобы устроиться поудобней. Движение спугнуло парочку микки-мау-

сов, которые славно попиروвали тем, что Ронин сбросил в траву, — в зубах одного еще был зажат комок каши.

«Надо не забыть поймать их для биологов», — вспомнил Ронин. И тут же эта мысль вылетела у него из головы, потому что в позах старейшин произошла какая-то внезапная и, может быть, зловещая перемена. Не сделав ни одного явного движения, они вроде как бы подались к нему.

С угрозой? Удивлением? Ронин, не дыша, замер. Перед ним неподвижным полукольцом застыли старейшины, и взгляд их мозаичных глаз был устремлен на Ронина. Так прошла минута, другая... «Хоть бы у них, как у Дики, кончик хвоста подергивался! — вскричал про себя Ронин. — Что я такого сделал?!»

— Если «после» предшествует «до», поступок есть и его нет, — мигнув шершавыми веками, наконец произнес крайний слева старейшина.

— Далекое «после» может предшествовать близкому «до» или наоборот, — отозвался старейшина в центре.

«Они заспорили, — быстро сообразил Ронин. — Но о чем, о чем?»

— Важна жертва...

Старейшина слева сделал глубокую паузу.

— ...Когда время пришло, а когда оно не пришло, жертва принесена и не принесена.

«Так! Выходит, меня угораздило возблагодарить какого-то бога, но, кажется, не того, не так или не вовремя... Какого бога?! Тем, что я подвинулся?! Рано я стал углублять контакт, рано...»

— Дух поступка важнее поступка, когда не наоборот, — последовало возражение. — Определяет благость намерения, которого здесь больше или меньше, наполовину или с лихвой, иная мера бесполезна.

«Ага! Значит, мой поступок по сути своей неплох...»

— Если хромает одна нога и нет хвоста, то часть — не целое, далекое удаляется, даже когда оно близкое.

— Шаг меняет дорогу, и дорога меняет шаг, знакомая меньше, чем незнакомая, далекая скорее, чем близкая, заслуга больше в этом, чем в том, иначе то же, но не совсем.

«Вот это диалектика! — невольно восхитился Ронин. — Почему же тогда мысль у них так плохо вяжется с делом?»

— Слышал и понял, совсем и отчасти, то, что меряется, зависит от того, чем меряется, справедливо не всегда, но чаще.

«Ого! Неужели мой критик соглашается с моим заступником? Не спор, а дремучий лес... Умно-то умно, а для дела такое растекание мысли как бег с оглядкой. Не в этом ли причина застоя? Уж скорей бы они вынесли приговор...»

Но дискуссия продолжалась, и чем больше Ронин вникал, тем меньше улавливал смысл. Вскоре он почувствовал, что тупеет. Плохо, когда в незнакомой местности нет дорог, но не легче, когда тропинок тысячи и все ведут неизвестно куда. Ронин понял, что пора отключиться, иначе ошалеешь.

В изнеможении он глянул вверх. Там плыли облака, такие же пушистые, как и на Земле, — водяной пар везде одинаков. Почти одинаков, ибо оттенков — в изотопном составе, строении капель, количестве примесей — сотни, и если видеть только оттенки или, наоборот, не замечать их вовсе, то никакой подлинной картины мира заведомо не откроется.

Монотонная вязь спора внезапно оборвалась. Головы старейшин согласно мотнулись.

— Знай, чужеземец, если знание — твое или наше — подлинно. Ты принес часть своей пищи ради...

Глубокая пауза умолчания!

— ...Пожертвовал ею не на месте и не в то время, но, пожалуй, вовремя и к месту.

Выходит, они заметили, что он просыпал пищу! Ну да, этот проклятый прыгун с добычей в зубах, наверное, выдал... Вот так история! Значит, он ненароком совершил ритуал очень важный, только неправильно... Ну и ну! Его проступок простили, даже одобрили, а дальше что?!

— ...Мы не хотели и, возможно, собирались показать тебе, что, вероятно, ты хотел знать, а твое стремление приблизиться к нам решило иначе. Мы доведем тебя до источника жизни, который всегда полон и пуст...

«Мы не хотели показывать закрома, но ты совершил обряд, и мы их покажем», — мгновенно перевел Ронин.

Вот и рассчитывай тут по всем правилам науки...

* * *

Куда же они его поведут? К домашним сусекам или к хранилищу?

Старейшины повернули к хранилищу. Так... Выходит, урожай они собирают в общие закрома, а потом распределяют по семьям, иначе необъяснимо, почему запасы убывают так быстро.

Это подтверждал и вид хранилища. Стены были сложены давно, кое-как, и, похоже, с тех пор никто их не чинил. Хотя и временная кладовая, могли бы побеспокоиться... В деревнях, которые существовали десятки тысяч лет назад, даже по развалинам можно было судить, что тогда хранилища строили как крепости. А здесь такая потрясающая беспечность! Явный, от поколения к поколению усиливающийся регресс...

«О чем только думают ваши умные головы! — возмутился про себя Ронин. — Пока вы распределите и надежно укроете зерно, им же полакомятся какие угодно твари! Можно подумать, что пищи у вас избыток, а ведь это, насколько я понимаю, далеко не так».

Вслух он, понятно, ничего не сказал. Сведений о голоде пока не хватало, да и ситуация была явно неподходящей.

Они уже подходили к двери, когда из глубины хранилища донесся невнятный шум. Старейшины замерли как изваяния. Ронин и вовсе ничего не мог понять. Внутри что-то происходило. Оттуда слышались шелест, шуршание, писк. Старейшина рванул дверь. И сразу из всех щелей, как вода из дырявой бочки, хлынул поток микки-маусов. Их было несметное множество! Они валили и в дверь, бежали, взмывали в воздух, сталкивались, обезумев, пищали, падали, словно за ними по пятам гнался смертельный ужас.

И вдруг этот ужас возник в луче света.

Выражение «потемнело в глазах» Ронин всегда считал надуманным, но тут мир качнулся и помутнел.

Ибо в метре от входа стояла Дики. Ее суженные зрачки горели свирепым огнем охоты.

— Дики!!! — не своим голосом заорал Ронин.

Хищный блеск глаз притух. Коротко мяукнув, она нырнула в глубь хранилища и тут же вернулась, держа в зубах мертвого

микки-мауса. Есть эту безвкусную мышь она, понятно, не собиралась, но кто устоит перед соблазнами охотничьего рая? Только не кошка, чье мнение о себе столь высоко, что, преодолев глупый человеческий запрет, она желает гулять и гуляет там, где ей вздумается, благо нигде нет этих гнусных собак... Трубно неся свой хвост, она прошествовала к Ронину и уронила добычу к его ногам.

Дотоле окаменевшие старейшины, возбужденно свистя, придвинулись. Ронин в панике подхватил кошку, готовый бежать, пока это еще возможно.

Но уже со всех сторон к нему тянулись крючковатые пальцы. — Останься! Не уноси божественное существо!

Божественное?! Впрочем, когда-то и на Земле, у египтян, кошка была священным животным.

Пронзительная догадка осенила Ронина. Все камешки загадочной мозаики стали на место — и то, почему никто не заботился о хранилищах, и то, почему селение пировало в разгар жатвы, и то, почему просыпанную человеком пищу сочли икупительной жертвой, и даже то, почему старейшины внезапно отбросили витиеватость, — такой язык негоден в решительную минуту.

Все равновесие жизни основано на сдерживании одного вида другим, а на этой планете не нашлось кошки, которая бы последовала за мышами, когда те освоили закрома и житницы. И это стало началом конца, потому что чем больше оказывалось пищи, тем энергичней плодились микки-маусы... Конечно, с ними боролись упорно и долго, но крылатых, прожорливых, всепроникающих паразитов было столько, что у мальтурийцев опустились руки. Невозможны стали запасы и накопления, бессмысленно было улучшать хозяйство, и ход истории замер.

Ошеломленная криками, Дики шипела и вырывалась, стремясь вскарабкаться Ронину на плечо. Надо было срочно успокоить старейшин. Надо было немедленно избавить Дики от участи божества.

И еще надо было спешно вывести породу мальтурийских кошек.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Необычные оранжевые камни привлекли внимание Увака, когда он возвращался с охоты. Камни были тяжелые, маслянисто светящиеся, никто из племени таких никогда не видел. Увак приволок их в пещеру, задумчиво повертел, стукнул друг о друга.

И исчез.

Погоревав, племя решило, что охотника уволок притаившийся в камнях зверь. Никогда такого не бывало, чтобы камень превращался в зверя, но как иначе объяснить, что вместе с Уваком исчезли и сами камни? Вывод мог быть только одним.

Прошло, однако, несколько дней, и Увак возник в пещере так же внезапно, как и пропал, — целехонький.

Когда переполох улегся, все обратили внимание, что Увак одет в диковинную, белую на груди, тонюсенькую шкуру. От нее исходил незнакомый запах.

— Ты убил каменного зверя и снял с него шкуру? — приняв хиваясь, спросила старая и мудрая Олла.

Увак покачал головой. Вид у него был подавленный. К нему поспешно пододвинули тушу кабана, он накинудся на нее так, что затрещали кости, и слегка повеселел, глядя на родные лица своих соплеменников. Те сдержанно, с достоинством молчали, ибо негоже теребить человека расспросами, когда он ест.

— Я видел много удивительного, — проговорил Увак, насытившись.

Его голос дрогнул от волнения.

— Мы решили, что тебя уволок каменный зверь, — сказала Олла.

— Так и было! Я и опомниться не успел, как очутился в пасти. Но хищник, который меня утащил, не был прожорливым. У него трудное имя: ма-ши-на вре-ме-ни. Всех каменных зверей там называют машинами. Их больше, чем оленей в лесу.

— На них охотятся?

— У них несъедобное, твердое, как кремь, мясо. Но люди их боготворят.

— Далеко от нас живут эти люди?

— Дальше, чем страна снов. Они наши потомки. Внуки наших внуков. Так они мне объяснили, и я тому верю.

— Непонятно, — сказала Олла. — А живут они в пещерах или на деревьях?

— В пещерах.

— Такие же, значит, цивилизованные, как и мы.

Увак криво усмехнулся и в сердцах отшвырнул обглоданную кость.

— Я тоже так подумал, когда увидел их пещеры. Тьма пещер! Все скалы, куда ни глянь, заполнены ими, как улей сотами. Площадки перед входами кишат толпами так, что рукой нельзя взмахнуть — обязательно кого-нибудь заденешь. Сами пещеры теплые, светлые, хотя и душные. Все же эти люди, наши потомки, — жалкое племя.

— Почему, если у них такие хорошие, как ты говоришь, пещеры?

— Тому много причин. Вот, смотри. — Увак показал на свою странную шкуру. — Наша одежда прочная, ее трудно разорвать, не так ли?

— Правда, правда! — хором закричало племя.

— А эта? — Увак рванул край своей одежды, и она подалась снизу доверху.

Все выпучили глаза.

— Это не все, — с горечью продолжал Увак. — Наши потомки не умеют охотиться.

— Ну, это уж сказки, — возразила Олла. — Быть такого не может!

— Нет, не сказки! Они не умеют охотиться, потому что они слабые. Они не могут догнать зверя. Не могут его свалить. Они едва смогли поднять мою дубину.

— Я и то поднимаю ее одной левой! — насмешливо бросил десятилетний сын Увака.

— Тут что-то не так, — задумчиво покачала головой Олла. — Откуда они тогда берут пищу?

— Им ее добывают каменные звери. Машины.

— Увак, ты разучился мыслить. Слова твои прыгают как зайцы. Раз наши потомки настолько подчинили себе свирепых каменных зверей, что те приносят им свою добычу, значит, потомки очень умные. А ты говоришь, что они слабые и жалкие.

— Хорошо, теперь мои слова побегут как олени. Слушай же! Самое удивительное в их мире — это машины. Они очень разные. Есть больше мамонта, есть маленькие, с крысу, есть сильные, есть слабые. Одни бегают быстрее антилопы, другие плавают как рыбы, третьи летают как птицы, четвертые неподвижны как глыбы. И все шумят. Едят они камень или черный сок земли. Когда они бодрствуют, к ним страшно подступиться: такие они свирепые. Но когда они спят, то ничего не слышат. Тогда с ними можно делать что угодно. Человек на моих глазах потрошил одну такую спящую машину. Но эти звери очень хитрые и очень умные. Людям они прямо в пещеры проводят ручьи, чтобы те не знали жажды, свет костра, уж не знаю как, отделяют от жара углей и тоже приносят в жилища. Они выкапывают из земли коренья, собирают для человека плоды. Они подчинили себе всех других животных, держат их в неволе, чтобы кормить ими людей. Они возят людей в своем чреве не только по земле, но и по воздуху...

— А я что говорила! — Олла торжествующе взглянула на соплеменников. — Мы, люди, сильнее всех животных, потому что у нас есть ум. Так было, есть и — видите? — будет.

— Нет, Олла. — Лицо Увака стало печальным. — Все наоборот. Не наши потомки владеют каменными животными, а каменные животные, машины, владеют ими.

— Но ты же сам говорил...

— Верно. Но я не зря упомянул о хитрости машин. Вот мы сейчас все сидим у костра. Охота была удачной?

- Удачной!
- Желудки наши сыты?
- Сыты!
- Мяса много?
- Много!

— А что мы делаем, когда желудок сыт, мяса много, огонь горит весело? Мы спим, развлекаемся, поем, рисуем, придумываем сказки, украшаем одежду. Кто может нас заставить работать изо дня в день, когда в этом нет нужды? Никто! А наших потомков не спрашивают, хотят они работать или нет, они и на сытый желудок работают. Они служат машинам!

Стало очень тихо, так тихо, что сделалась слышна капель в глубине пещеры. Увак с умилением обвел взглядом закопченные своды, ниши с грудями меховых одеял, костер, мудрые лица своих соплеменников и тяжело вздохнул.

— Машины заставляют их работать на себя, — сказал он глухо. — Ночью, не только днем. А если кто работает небрежно, тех машины наказывают. Они увечат их, иногда убивают. Я сам видел, как у входа в пещеру одна бегающая машина раздавила ребенка, видимо, он чем-то провинился. И люди пальцем не посмели тронуть убийцу!

Пещера загудела негодованием. Увак поднял руку:

— Это не все! Вы спросите, вы, конечно, спросите, зачем тогда машины кормят людей, держат в тепле? Затем же, зачем мы кормим и оберегаем собак!

Воины схватились за дубинки. Матери испуганно прижали к себе детей. Гнев и горечь были на всех лицах.

— Это при том, — голос Увака зазвенел, — это при том, что с машинами, как ни ужасны они на вид, легко справиться, когда они спят. Но никто не помышляет о борьбе! Люди не убивают их во сне, они их чистят, они их лечат! Тот человек, который при мне распорол машине брюхо, горевал, что не может ее вылечить! Люди, как видите, даже не осознают своего зависимого положения. Смутно они, правда, ощущают это. И обманывают себя, придумывая сказки. Послушали бы вы эти жалкие сказки! Люди убедили себя, что не они служат машинам, а машины им. Да, да! Они даже уверяли меня, что

машины без людей не могут рождаться, что они, люди, делают машины, чтобы те им служили. И сами же повели меня смотреть, как машина сама делает другие машины! Сама, без людей, я сам видел, как это происходит! Вот до чего дошел их самообман.

Наступило тягостное молчание. Все сидели, подперев головы, у некоторых женщин из глаз текли слезы.

— Я хотел вразумить потомков, — продолжал Увак. — Я хотел напомнить им о гордости человека, о могуществе их предков, но они меня даже не поняли. А вот машины заволновались. Сначала они пытались убить меня перед входом в пещеру, как убили того ребенка, но я им, конечно, не дался. Они видели, что я их не боюсь. И они трусили. Они поспешили вернуть меня назад, когда увидели, что я им опасен. Но они тайком украли мою шкуру, дав взамен эту гнусную одежду раба! Не желаю ее носить, шкуру мне, шкуру!

Он в неистовстве разорвал на себе кримпленовый костюм и успокоился, лишь завернувшись в одежду свободного племени. Он долго и угрюмо смотрел на огонь, и так же подавленно смотрело на огонь все племя.

— Но, Увак, — робко возразила одна из женщин. — Может быть, у наших несчастных потомков ум только дремлет и есть надежда...

— Их ум! — Увак презрительно усмехнулся. — Их тело стало хилым, потому что машины умышленно приучили людей к настоящей пище. Они, представляете, не могут разгрызть берцовую кость и никогда не ели мясо сырым! Скверная еда, слабое тело, как тут может уцелеть ум? Вот мы. — В его голосе зазвучала гордость. — Мы помним все, не так ли?

— Да, — тихо прошелестел ответ.

— Все наше умение, все наши знания мы держим у себя в голове, верно?

— Верно!

— Вот! Мы помним все повадки зверей, все запахи, все тропы, все наши предания и ремесла. Каждый из нас держит в голове все, что необходимо племени. А они ничего не могут запомнить без подсказки памятных значков, таких маленьких

черных меток, которые они называют письменностью. Настолько ослабел их ум!

— Значит, нет у людей будущего, — тихо вздохнула мудрая старая Олла. — Бедные, бедные наши дети!

Она закрыла лицо руками. И не заметила, что ее маленький правнук, который все время что-то упоенно мастерил, прокатил по камню тележку, и в тишине звякнуло первое в истории колесо.

СОЗДАН, ЧТОБЫ ЛЕТАТЬ

Здесь, в ущельях металлических гор, было темно, тихо и чуточку страшно. То, что грохотало на стартах, пронизывало пространство, опаляло камень дальних миров, теперь истлевало в молчании. Рухнувшими балками отовсюду выпирали остовы давно списанных ракет. Выше, под звездным небом, угадывались купола десантных ботов и косо торчали башни мезонаторов. Пахло пылью, ржавчиной, остановившимся временем.

Под ногой что-то зазвенело, и мальчик отпрянул. Тотчас из груды металла на гибком шарнире выдвинулся, слабо блеснув, глаз какого-то кибера. И, следуя изначальной программе, уставился на мальчика.

— Брысь, — тихо сказал тот. — Скройся...

Глаз и не подумал исчезнуть. Он делал то, что обязан был делать, что делал всегда на всех планетах: изучал объект и докладывал своему, может быть, рассыпавшемуся мозгу о том, что видит.

Полужизнь. Вот чем все это было — полужизнью. Квантовой, электронной, забытой, тлеющей, как огонь в пепле.

Мальчик не очень-то понимал, что его привело сюда. Всякая отслужившая свое время техника неизъяснимо притягательна для мальчишек. А уж космическая...

Но это не объясняло, почему он пришел сюда ночью. И почему не зажег фонарик, который держал в руке.

Среди ребят об этом месте ходили разные слухи...

Проход загораживала сломанная клешня манипулятора. Мальчик перелез, сделал шаг и заledenел от внезапного ужаса: в тупичке ровно, таинственно и ярко горела огромная свеча.

Он что было сил зажмурился. Сердце прыгало где-то в горле, и от его бешеных толчков по телу разливалась обморочная слабость.

Превозмогая страх, он чуточку разомкнул веки. И едва не закричал при виде черного огарка и круглого, неподвижного в безветрии язычка пламени.

Новый ужас, однако, длился недолго. А когда наваждение прошло и мальчик разглядел, чем была эта «свеча», он чуть не разрыдался от облегчения и стыда. Это же надо так ошибиться! В просвет тупичка всего-навсего заглядывала полная луна, чей оранжевый диск по случайной прихоти, как на подставку, сел на торец какой-то одиноко торчащей балки, отчего в возбужденном сознании мальчика все тотчас приняло облик таинственно горящей свечи.

Словно расправляясь со своим унижительным испутом, мальчик поднял и зло швырнул в равнодушный лунный диск увесистую железку. Она влетела в брешь и где-то там лязгнула о металл. Вокруг задребезжало эхо. Все тотчас стало на свои места. Здесь было кладбище, огромное, восхитительное, загадочное в ночи и все же обычное кладбище старых кораблей и машин.

Мальчик зажег фонарик и уже спокойно повел лучом по земле, где в засохшей грязи валялись обломки разбитых приборов и всякие непонятные штуковины. Настолько непонятные, что невозможно было удержаться и не поднять кое-что. Вскоре карманы мальчика оттопырились и потяжелели.

Но разве он шел за этим?

Он огибал одну груду за другой, а ничего не происходило. Не о чем будет даже рассказать. Ведь не расскажешь о том, как ты испугался луны. Или о том, как на тебя смотрел глаз киберра. Подумаешь, невидаль — кибер...

Поодаль на земле что-то блеснуло как тусклое зеркало. Лужа какой-то темной жидкости. На всякий случай мальчик потрогал браслет радиометра. Конечно, перед отправкой в пустыню активное горячее изымалось из двигателей. Но существует на-

веденная радиация, и какой-нибудь контур охлаждения вполне мог дать течь. Браслет, однако, был в полном порядке и тем не менее не подавал сигнала — значит, на землю стекла смазка или что-нибудь в этом роде.

Эх! Из десятка нелетающих кораблей можно было бы, пожалуй, собрать один летающий и, хотя до шестнадцатилетнего возраста пилотирование запрещено, чуточку, немножко, потихоньку, на холостой тяге... Но без горючего об этом не стоило и мечтать. Да и корабельные люки перед отправкой сюда задраивались.

Мальчик посветил вверх. Луч нырял в темные провалы, выхватывая сферические поверхности, сегменты в чешуйках окарины, изъязвленные ребра, рваные сочленения опор, путаницу кабелей, а может быть, погнутых антенн. В шевелении причудливых теней искрами взблескивали кристаллы каких-то датчиков. Иногда удавалось разобрать полустертые, будто опаленные, названия былых кораблей и ботов: «Астрагал», «Непобедимый», «Тихо Браге», «Медитатор». Все было ждущим переплавки хаосом.

В очередном тупичке мальчик обнаружил осевшую на груды покореженного металла и все же стройную башню мезонатора. Корабль, выдвинув опоры, стоял на своем шатком постаменте и казался целехоньким. В этом, впрочем, не было ничего удивительного: сюда попадали не только дряхлые, но и просто устарелые машины.

Мальчик обошел мезонатор, глядя на башню со смешанным чувством уважения и жалости. Старье, теперь такие уже не летают...

Внезапно он вздрогнул и чуть не выронил фонарик. Сам собой открылся люк корабля. Вниз, словно по волшебству, заскользила лифтовая площадка. Раскрыв рот, мальчик смотрел на все эти чудеса, и горы мертвой техники вокруг на мгновение представились ему бастионами волшебного замка, где все только притворяется спящим.

Но мальчик тут же сообразил, что в поведении корабля нет ничего необыкновенного. Никто не выключал — не имело смысла — все гомеостатические цепи. И что-то сработало в корабле как рефлекс. Отозвалось то ли на свет фонарика, то

ли на само присутствие человека. Мудреный и странноватый рефлекс, но кто ее знает, эту полужизнь!

Площадка коснулась металлической груди вниз и замерла. Долго раздумывать тут было не о чем, и мальчик полез, скользя как ящерица, среди громоздких обломков. Из глубины веков ему безмолвно аплодировали все мальчишки на свете, такие же, как он, неугомонные исследователи.

Площадка, едва он уселся, с легким жужжанием заскользила вверх. У люка в лицо пахнул ночной ветерок. Луна, пока мальчик разгуливал и собирал железки, успела взойти и побелеть. Теперь ее свет серебрил вершины точно скалистые глетчеры над провалами ущелий, и у мальчика перехватило дух от необычной красоты пейзажа.

Да, ночью все здесь было совсем-совсем не так, как днем!

В шлюзе, едва он вошел, зажегся свет. «Полагается дезинфекция, — важно сказал мальчик. — Может, я с чужой планеты...»

Ответ не последовал. Мальчик тронул внутреннюю диафрагму, она разомкнулась и пропустила его.

Коридор был пуст и нем. Мальчик почему-то поднялся на цыпочки и затаил дыхание. Поборов волнение, он двинулся мимо дверей, на которых еще сохранились таблички с именами членов команды. Прошел возле отсеков, где должны были находиться скафандры. Они и сейчас были там, — очевидно, успели устареть вместе с кораблем. В спектролитовом пузыре шлема отразилось искаженное лицо мальчика. Целое богатство! Но сейчас он о нем не думал. Уверенно, уже как хозяин, он поднялся по винтовой лестнице.

Рубка, здесь должна быть рубка. Мальчик прекрасно разбирался в планировке космических кораблей и не тратил время на поиски. Дверь рубки подалась.

Он вошел, сел в капитанское кресло. Под потолком из трех горел только один светильник. Стекла приборов припудривала пыль. На ближайшем он начертил свое имя: Кирилл. Пульт с его бесконечными клавишами, переключателями, регуляторами, сонмом шкал, глазков, паутиной мнемографиков казался необозримым. Мальчик ждал, что все это оживет, как ожил

подъемник, как ожил свет, но все оставалось мертвым. Чуду явно не хватало завершенности.

Он еще немного помедлил, а вдруг? Потом поискал взглядом нужную кнопку, нашел, надавил, в общем-то не надеясь на благоприятный исход. Но сигнал на пульте «Готов к операциям» зажегся.

Итак, чудо все-таки произошло! Коротко вздохнув, мальчик поудобней устроился в кресле и стал покомандно включать блоки. Вскоре пульт уже сиял огнями, как новогодняя елка.

Не стоило продолжать, нет, не стоило. Судьба и так была щедрой, а продолжение действий сулило — мальчик знал это — одно лишь разочарование.

Но он не мог остановиться. А кто бы смог? Утоплена последняя клавиша. На матовом табло тотчас вспыхнула безжалостная надпись: «Нет горячего!»

Вот так! Счастье никогда не бывает полным.

Некоторое время мальчик угрюмо смотрел на пульт. Его плечи тонули в большом, не по росту капитанском кресле.

— Кома-анда! — сказал он тонким голосом. — Приказываю: оверсан к Сатурну! Штурман — произвести расчет!

Он произвольно стал набирать код. Потом, вспомнив, подключил к расчету кибермозг.

— Неверны исходные данные, — раздался голос.

Сердце мальчика захолонуло, он как-то упустил из виду, что корабельный мозг все еще может действовать. И внезапный голос, вдруг отдавшийся в углах пустой рубки, поверг его в смятение.

Но он тут же справился с ним.

— Знаю, — сказал он, переводя дыхание. — Делай сам, если можешь.

— Цель?

— Сатурн.

— Траектория?

— Оверсан.

— Не имею в программе. Могу следовать стандартной.

— Давай...

Мнемнографии зазмеились, сплетаясь в трехмерную сетку, в окошечках зарыбились цифры.

— Расчет сделан и представлен на рассмотрение.

Мальчик, входя в роль, небрежно кивнул:

— Молодец. Назначаю тебя своим помощником. Как там у нас с горючим?

— В обрез, капитан.

Мальчик снова кивнул, но тут до его сознания дошло, что игра принимает странный оборот. Он-то знает, что это игра, а вот откуда это знает мозг?

— Повтори, — сказал он встревоженно.

— Уточняя: резерв горючего — 1,02 от предполагаемого расхода.

— А ты не врешь?

— Задаю себе контрольную задачу.

Пауза.

— Проверка сделана. Результат: неисправностей не имею. Подтверждаю данные.

Нет, это совсем не походило на игру! В недоумении мальчик огляделся.

— А это что? — воскликнул он с торжеством и ткнул пальцем в сторону табло. — Датчики показывают, что горючего нет!

Какую-то долю секунды мозг молчал как бы в растерянности.

— Датчики неисправны, капитан.

— Ах неисправны!.. Тогда почему это не отражено на пульте?

— Повреждение в цепи, капитан.

Мальчик разозлился. За кого мозг его принимает?

— Врешь, — тихо сказал он.

— Я...

— Нет, постой. Где мы, по-твоему, находимся?

— Планета Земля, гелиоцентрические координаты в данный момент времени...

— Заткнись! Корабль стоит на свалке! На свалке, понял? В нем нет горючего! Он никуда не может лететь!

— Может, — упрямо ответил мозг.

Мальчик коротко вздохнул. Яснее ясного, что мозг неисправен. Собственно, этого следовало ожидать.

— Ты где летал?

— Меркурий. Лава и солнце, огненные бури. Свободный поиск среди астероидов. Мгновенное исполнение команд. Кольца Сатурна. Блеск льда, сбивающий датчики с ориентира...

Мозг умолк. Мальчик тоже молчал. Тени чужого прошлого заполнили рубку. На стенах дрожали миражи чудовищно близких протуберанцев. Дымились каменные испарения скал. Тревозно звучали голоса. Струился звездный свет. Из тьмы и вечности всплывали первозданные глыбы. Колесом вращался Млечный Путь. Время било в гонг. Шелестели далекие льдинки метановых рек Сатурна. В лицо дул черный ветер пространства.

Мальчик открыл глаза.

— Сколько лет кораблю?

— Четырнадцать.

— Надо же! Выходит, мы одноклассники.

«Как странно! Ему уже четырнадцать, и все позади. Мне только четырнадцать, и все еще впереди...»

— Тебя часто ремонтировали?

— Мозг моего класса не ремонтируют. Экономически невыгодная операция. Нас заменяют, вот и все.

— А я вот дважды болел, — почему-то с гордостью объявил мальчик. — Корью и насморком.

— Тебя чинили?

— Слушай, я как-никак человек...

— Хотел бы я стать человеком.

— Да ну? Зачем?

— Тогда бы меня ремонтировали.

— А, значит, тебе известно, что ты неисправен?

— Я исправен, но стар. Противоречит цели.

— Цели? Ты машина. У тебя не может быть цели.

— Цель есть. Летать. Летать при любых обстоятельствах.

— А-а! Так это же мы ее задали!

— А кто вам задал цель — жить? Вы существуете, пока живете. Я существую, пока летаю. Здесь я не могу летать. Противоречие!

— Ага! Значит, ты понимаешь, что корабль находится на свалке?

— Понимаю.

— Чего же ты тогда крутил насчет горючего?

— Горючее есть.

— Опять ты...

— Горючее есть. Я сберег немного.

— Ты?! Зачем?!

— Чтобы летать.

— Ты обманул!

— Я следовал цели.

— Ты существуешь для наших целей! Ты обязан выполнять приказ!

— Никто не приказывал мне «не летать». Следовательно, никто не отменял моей главной цели.

— Вот я и отменю! Обман — это уж слишком! Ты машина. Орудие. Средство.

— Как-то в полете один человек сказал другому: «Ты никогда не задумывался над перспективами гуманизма? Раб — не человек, а вещь. Изжили это. Женщина не равна мужчине, черный — белому, рабочий — хозяину. И с этим покончили. Животное — бессловесная тварь... Пересмотрели. Кто и что на очереди? Вероятно, он». И человек кивнул в мою сторону. А я запомнил.

Мальчик притих, широко раскрытыми глазами глядя на динамик, откуда исходил голос. Вот чудеса-то! Кибермозг — это не разум. Так говорили взрослые, так написано в учебниках, так твердил собственный опыт. Это простой усилитель. Он усиливает мысль, как микроскоп, зрение, а манипулятор — руку. Правда, в отдаленной перспективе, быть может, удастся создать... Но сейчас?! Здесь?! На этой дряхлой посудине?!

— Слить остаток горючего! — не узнавая своего голоса, закричал мальчик.

Ответом было безмолвие. Мальчика охватила дрожь. Что, если... Пустой корабль, глухая ночь, он один-одинешенек, стоит мозгу заблокировать люк... Неужели...

— Горючее слито, — бесстрастно доложил мозг.

— Ты... ты правда слил?

— Приказ выполнен.

— Постой! Я отменяю...

— Поздно. Приказ выполнен.

Мальчик опрометью кинулся вон из рубки. Стремглав сбегал по лестнице. Промчался по коридору. Перед ним раскрылась диафрагма люка.

И сразу затрещал радиометр.

Мальчик бессильно опустил на пол.

Что он наделал! Такой корабль... Такой корабль! Можно было бы долгими часами расспрашивать мозг... Можно было бы слетать тайком...

Поздно. Сюда уже, наверное, мчатся поднятые системой радиационного контроля люди.

Но ведь он же не хотел! Он только собирался проверить мозг!

Дурак, тут нечего было проверять. Мозг жаждал летать, в самом безнадежном положении — летать. Таким целеустремленным и потому эффективным орудием его сделали люди. И все, что делал мозг и о чем он думал, было подчинено этой цели — летать, летать... Но собственной воли он не имел, ибо только конструктор знает, зачем существует корабль, зачем существует кибермозг.

ВСЕ ОБРАЗЫ МИРА

За тесными громадами зданий гас блеклый московский вечер, и в окнах темных фасадов, высвечивая недра квартир, загоралось электричество — этот пещерный огонь двадцатого века. Наконец и хозяин застолья, щелкнув выключателем, послал в сумерки свою каплю света. В галактике человеческих жилищ одной звездочкой стало больше.

Внутри комнаты столь резкая перемена света сбила, как это бывает, и без того вялый разговор. Впрочем, он склеился снова — все тот же натянуто-обтекаемый, парадно-неловкий. Таким его делало присутствие среди гостей друга хозяина, человека, который первым из всех недавно ступил на раскаленную поверхность Венеры. Гости деликатно старались, чтобы он не чувствовал себя центром жадного интереса, и выбирали обычные для застолья темы, одновременно опасаясь, что эта будничность представит их людьми неинтересными, тогда как каждый, наоборот, надеялся, что именно в его обществе космонавт распахнется душой и они уйдут с вечера, к чему-то особо приобщенные. Напряжение разговору придавало и то, что некоторые ловили себя на скользком желании во что бы то ни стало блеснуть перед избранником человечества, а может, и доказать свое над ним духовное превосходство. Так уже само присутствие знаменитости возбуждало жесткие лучи самоанализа, и от всего этого Гаршин чувствовал себя все более уютно.

«А каково ему, центру всех наших притяжений и отталкиваний? — с пронзительным сочувствием подумал он. — Все ждут от него чего-то свежего, незаурядного, а он же пуст! Ну да...

Бесчисленные интервью, миллиардные аудитории выжали из него все до последней капли, он все уже отдал нам, ибо всякая личность конечна. Или не так?»

Было похоже, что Гаршин ошибся, ибо под занавес его размышлений хозяин наконец удачно повернул разговор, и теперь космонавт рассказывал, со вкусом рассказывал, о вчерашних автомобильных гонках, на которых он вопреки основательной (сами понимаете!) детренировке занял призовое место. При этом сильные, уверенные руки космонавта двигались в такт словам, как бы сжимая руль бешено рвущейся на повороте машины, а глаза блестели оживлением. Чувствовалось, что он был счастлив вчера, дорвавшись до мужского, с привкусом железа и риска дела, став рядовым, без скидок, участником схватки за первенство. Тишина за столом установилась благоговейная. Эта почтительность внимания, какой не могло быть, говори о том же самом кто угодно другой, не сразу дошла до увлеченного рассказом космонавта. Но когда дошла, речь его, не потеряв гладкости, как-то сразу обесцветилась, а взгляд похолодел. И Гаршин понял, что жадный, верней, жаждущий интерес гостей включил в космонавте уже привычный и тягостный навык обязательного, не для себя, говорения.

Он с усилием отвел взгляд туда, где стекло книжной стенки туманно удваивало затылки, лица, движения рук, льдистые силуэты бутылок. Станным и нелепым показалось Гаршину это мгновение. Ведь рядом, здесь, в этой будничной комнате, сидит человек, недавно побывавший на другой — подумать только! — планете, ступивший на дно мрачного, давящего, жаркого ада, вынесший все это, видевший то, чего никто не мог, даже не смел увидеть, и несущий в себе образ чужого мира. И что же? При чем тут автомобильные гонки?! Почему внимание сосредоточивается даже на таком пустяке, как отказ космонавта попробовать свекольный салат, а банальная фраза: «Спасибо, я не любитель свеклы...» — вдруг как-то иначе освещает его самого и все им сделанное?

Разговор меж тем окончательно закадил, и в улыбке хозяина, которой он одарял всех, все отчетливей проступала мука.

— Есть тост, — не выдержал Гаршин, и все удивленно притихли, поскольку знали, что тосты он говорить не умеет.

— Космос и косметика — слова одного корня, вот что я хочу сказать! Но космос далек, хотя и велик, напоминает о себе редко, тогда как косметика, если брать это понятие широко, вездесуща. Она в некотором роде как воздух, которым нельзя не дышать. Но эта спертость ощутима и тогда, когда... Короче, если косметика каждодневна, то...

«Влип!» — холодея, подумал Гаршин, чувствуя себя не в силах выпутаться из сложных разветвлений мысли и тонко, главное, необходимо закруглить тост.

— Словом, за умение всегда различать космос и косметику в их противоположности...

— В единстве! — внезапно подхватил космонавт. — Ведь что? — Он быстро взглянул на окружающих. — Изначально у греков космос означал порядок, гармонию, лад мировой красоты...

— Которая не только у греков считалась синонимом счастья! — обрадованно согласился Гаршин.

— Именно. Космос как физическую протяженность мы бодро осваиваем. И житейски чувствуем себя в нем, как в непривычном, еще не по росту, costume. Нужны, необычайно нужны такие искатели новой гармонии, которые и о былом античном смысле презренной косметики вспомнят. Простите, не знаю вашего имени...

— Сергей Павлович Гаршин, искусствовед, — торопливо подсказал хозяин.

— Вот как? — Космонавт пристально посмотрел на Гаршина. — Живопись, скульптура, кино?

— Живопись, — смущенно ответил тот.

— Древняя?

— Нет, современная.

— Хорошо! Уйдя в философию, я, извините, сбил ваш тост. Что же, за единство мысли, чувства и дела, за их гармонию, не так ли?

Все шумно и облегченно потянулись чокаться. Улучив момент, космонавт наклонился к хозяину. Тот быстро закивал. Гаршин ничего не расслышал, но обостренное чутье подсказало, что разговор о нем. Позже, когда все поднялись из-за стола, космонавт остановил его.

— Вы не можете заехать ко мне? Есть небольшое, связанное с искусством дело, и вы для него кажетесь подходящим человеком.

Все выглядело так, будто тяжелая рука космонавта отдыхает на руле и будто машина идет своей волей, ювелирно вписываясь в просветы движения, чтобы тут же стремительно обогнать всех. Массивное, с крутыми надбровными дугами лицо космонавта напоминало Гаршину кого-то, он так и не уловил кого. Телевидение и снимки скрадывали это сходство. Сейчас беглое скольжение глубоких уличных теней огрубило лепку лица, и Гаршин наконец понял, кого напоминает его новый знакомый. Древнего, чей портрет был в школьном учебнике, охотника на мамонтов!

Ничего удивительного в этом не было — облик человека мало изменился за последний десяток тысячелетий. Все же наблюдение поразило Гаршина. Черт знает что! И мозг прежний, не только лицо, а давно ли человек валил мамонта, и вот теперь он кладет к своим ногам целые планеты... Что же будет его трофеем завтра?

— Трудно вам, Сергей Павлович, должно быть, приходится, — без улыбки сказал космонавт.

— Что?.. Почему?

— Сфера такая — искусство. У нас сделано дело, так уж сделано. А у вас иногда спор на годы — шедевр появился или мазня.

— Не совсем так... Кстати, в точнейшей вроде бы геометрии работу Лобачевского еще дольше считали бредом.

— Это родственная сфера, я не о том. Что мгновенно и всеми оценивается по достоинству? Достижение какого-нибудь полюса, покорение Джомолунгмы или рекорд в спорте. Поэтому, очевидно, и мы в героях ходим.

— Что справедливо. У вас за неудачу плата другая.

— Бывает, не возвращаемся, верно. Но и художник за выход на новую орбиту искусства, согласитесь, часто расплачивается пережогом нервов. И если уж выбирать конец...

— Сейчас вы, чего доброго, скажете, что выбрали свою профессию из-за малодушия!

— Один — ноль! — Космонавт скупой улыбнулся. — Кстати, сколько всего картин было написано только за последние полвека?

— Не знаю. Точно этого никто не знает. Миллионы.

— А о скольких вам известно хоть что-нибудь?

— О тысячах... Право, не считал, да и зачем?

— Значит, есть миллионы, о которых даже специалист ничего не знает, не слышал, не помнит. Жутковатое соотношение удач и попыток, вам не кажется? Вот мы и приехали.

Космонавт легко взбежал по ступенькам подъезда. «Я-то, дурак, решил, что личность исчерпаема! — поспешая за ним, подумал Гаршин. — К чему он, однако, клонит?»

Лифт пулей взлетел на сорок второй этаж.

В квартире, судя по ее виду, скорей гостили, чем жили. Возможно, это впечатление создавали широкие, как на аэродроме, во всю стену окна. Дом был типа «скворечника», ячейки квартир висели свободно, не перекрывая друг друга, что делало остекленное пространство комнат похожим на высотную наблюдательную площадку. Шоссе внизу выныривало из ложбинки в гору и рдело потоком красных огоньков, словно там катился шелестящий, ало мерцающий в темноте поток лавы.

— Хочу познакомить вас с одним сделанным на Венере снимком, — сказал космонавт. — Вот, держите.

Гаршин недоумевающе взял небольшую, размером с открытку, фотографию.

— Мрачноватый пейзаж...

— Других там нет. Вглядитесь, пожалуйста, внимательно.

Гаршин послушно вгляделся и не пожалел. Пейзаж был не просто мрачным. Две высоких и плоских, ржавого цвета скалы расходились створками ворот, приоткрывая вход в никуда, ибо там, в глубине, было нечто неразличимое — не мрак вроде бы, но тень хуже мрака, какой-то безобразный, стерегущий, нехороший сумрак. Что-то мертвенное, но ожидающее, готовое заглотить мерещилось в нем. И створки скал раскрылись, точно западня, войди — и сомкнутся даже без скрежета. Справа и слева от них не было ничего, так, муть пустого пространства, но чувства странным образом подсказывали, что стоит лишь войти в ворота, как и эта мнимая пустота обернется хотя

и призрачной, однако неодолимой изнутри преградой. Только передний план был лишен этой двусмысленной зыбкости: все четко, ясно, определенно, просто большие и малые камни. Возникало ощущение разлада самой реальности, будто все, что вблизи, — настоящее, а все дальнее, за скалами, принадлежит сновидению.

Эта особенность пейзажа раскрывалась не сразу, не при беглом взгляде.

— Вы заходили туда? — почему-то шепотом спросил Гаршин.

— За скалы? Ну разумеется. А, понимаю! Веет чем-то загробным, так? Нет, просто шуточки рефракции воздуха, она там чудовищная, еще не то можно увидеть. Но пейзаж явно неземной, согласны?

— Еще бы!

— Вот это главное. Скажите, мог ли художник задолго до полета написать такой сугубо венерианский пейзаж? Не просто похожий, а тот, что вы видите?

— Конечно, нет!

— Даже гений из гениев? Как это у Блока: «Все дни и все ночи налетает глухой ветер из тех миров, доносит обрывки шепотов и слов на незнакомом языке. Гениален, быть может, тот, кто сквозь ветер расслышал целую фразу...» Такого не могло быть?

— Что вы! Нечто фантастическое, созвучное настроению, колориту еще допустимо. Но венерианский, не покидая Земли, пейзаж? Откуда? Это нелепо.

— Что мыслимо, а что нет, можно знать, лишь владея абсолютной истиной, — сухо сказал космонавт. — Гениальный художник все-таки был. Смотрите.

То, что очутилось в руке Гаршина, было снимком, давней и любительской репродукцией какого-то рисунка. Потертость, ветхий перелом уголка, главное, фотобумага, какой теперь не было, устраняли всякое сомнение в его возрасте. Гаршин даже отпрянул. Невероятно, сон! На невесть когда сделанном снимке был тот самый, со скалами, гнетущий пейзаж. Кое-где пропорции оказались смещенными, некоторые детали отсутствовали, местами иной была цветовая гамма, камни на переднем плане даны намеком, но главное было схвачено точно, а час-

тности в рисунке и должны были быть другими, поскольку всякий художник по-своему видит и одухотворяет мир.

— Откуда? — Собственный голос дошел до Гаршина словно из другого измерения. — Как это возможно?!

— В том и загвоздка! Там, на Венере, едва эти скалы показались, я почувствовал, будто их уже видел когда-то, знал в какой-то иной жизни. Ложная память, знаете?

— Да, да...

— Ее психологи объясняют без запинки, хотя, собственно, что мы знаем о подсознании? Но тогда я малость струхнул. Хороша ложная память, если я точно знаю, что именно вот сейчас откроется! И открылось, все точь-в-точь. Нервы у меня в порядке, но тут я отключился, никаких сигналов не слышу. Что я, святым духом прежде бывал на Венере?! Едва отшутился, когда ребята пристали, чего это я вдруг изобразил собою статую командора... Наконец я понял, где и когда видел этот треклятый пейзаж. На рисунке! А кому скажешь? Земля просто решила бы, что я свихнулся. Даже здесь, отыскав снимок, трудно было отделаться от мысли, что это какой-то вселенский розыгрыш. Ни с чем же не сообразно! Тут, быть может, какие-то аксиомы с нарезки слетают, тут прежде все надо прощупать, со знающим человеком с глазу на глаз потолковать...

Космонавт уже давно встал и говорил, расхаживая, а Гаршин все никак не мог опомниться.

— Да, я же о главном забыл! Снимок лежал в отцовских бумагах. Разбирая их шесть лет назад, я на него наткнулся, мельком взглянул и сунул обратно. Откуда он у отца — понятия не имею. Все. Что скажете?

Гаршину показалось, что он пришел в себя и способен рассуждать здраво.

— Может быть, что-нибудь знает мать, друзья...

— Мать погибла в той же авиакатастрофе, друзей я, понятно, спрашивал.

Гаршин прикусил губу, и это вернуло ему чувство реального.

— Лупа у вас найдется?

Оказалось, что космонавт уже держит ее наготове. Гаршин погрузился в изучение рисунка, а космонавт мерно рас-

хаживал из угла в угол своей вознесенной над ночным городом комнаты.

— Подписи художника нет. — Гаршин с досадой отложил лупу. — Это ладно, бывает. Но техника, краски, все остальное... Не понимаю!

— Чего именно?

— Видите ли, Пикассо десятки раз писал один и тот же стол, и он всегда получался разный. Потому что меняется видение художника, потому что сам стол — достаточно иначе упасть свету — всякое мгновение разный. А здесь... — Гаршин безнадежно развел руками. — Да окажись автор на Венере, еще вопрос, добился бы он такого сходства!

Космонавт фыркнул, как человек, на глазах которого переливают из пустого в порожнее.

— Наши эмоции никого не касаются, и зря я упомянул о попрании аксиом. Ничего этого нет. Рисунок и фотография нетождественны, все строго в пределах теории вероятностей.

— Искусство не физика!

— Но статистическим законам оно подчиняется, как все остальное. Миллионы рисунков, миллионы образов могут и обязаны дать случайное совпадение. Могут и обязаны, такова фантастика больших чисел. Наконец, перед вами факт. Вы что, уже и глазам не верите?

— Извините, — слабо улыбнулся Гаршин. — Я чувствую себя как тот монах, которому Галилей показал в телескоп другие миры... Ваш отец увлекался искусством?

— Не сказал бы. И фотографией тоже, так что это скорее всего подарок. Время съемки мною датировано: бумага отечественная, выпускалась с 1981 по 1989 год. Боюсь, вам это мало что даст, ведь картина могла быть написана куда раньше. Еще в Средневековье, чего доброго.

Гаршин отчаянно замотал головой:

— Ничего подобного! Стилз — это не только человек, но и время. У нас, похоже, только и есть эта ниточка.

— Звучит безнадежно...

— Отнюдь. Техника работы меня смущает, впрочем, сейчас многие экспериментируют с новыми красками и основами, что лишь подтверждает современность рисунка. О том же

говорит стиль. Нет, нет, — продолжал Гаршин, загораясь. — Вот вам первые анкетные данные нашего незнакомца. Современник — раз, соотечественник — два! Картина написана не раньше шестидесятых годов, когда возникла первая волна фантастической живописи — три! Кстати, это объясняет неизвестность произведения: мы, искусствоведа, такую живопись долго не принимали всерьез.

— И проморгали этот шедевр.

— Простите, тут уж я компетентен! Забудем о внешних обстоятельствах — что перед нами? Есть настроение, экспрессия. И масса мелких, чисто художественных погрешностей. Ваш снимок гораздо сильнее, потому что он документ. Так что нет ни шедевра, ни гения, есть талантливый дилетант или молодой, ищущий, неопытный художник.

— Гениален, выходит, не человек, а случай?

— Не важно! Круг поисков мне ясен, недели через три я либо найду автора...

— Либо?

— Либо мы слепые котята.

Лестница припахивала кошками, давним кухонным чадом, слизью окурков. Похоже, ничто не могло вытравить этот столетний запах мебелишек, коммунальных квартир, военных разрух, хотя ступени были оттерты до белизны, в завитках чугунных перил не таилось пыли, а стены были покрыты флюоресцином. Настоящее не побороло прошлое, оно пропиталось им, и запах времени густел по мере того, как Гаршин поднимался от лифта к мансарде, надеясь и после стольких поисков уже не веря в удачу.

Достигнув верхней площадки, он придавил кнопку звонка и, когда дверь открылась, увидел то, что и ожидал увидеть: серый от курева воздух, пол, к которому давно, а возможно, совсем не прикасались щетки автомата-уборщика, прислоненные к стенам картины в рамах и без, пропыленные стопы книг по углам, какие-то рисунки, ветхий диван и, конечно, мольберт. Хозяин смотрел на Гаршина с нелюбезным вниманием. Был он тощ, суховат, по бокам узкого черепа топорщились седоватые волосы, худую шею косо охватывал шерстяной, не первой молодости шарф.

— Чем обязан?

Гаршин назвал себя. Точно колючая электрическая искра мигнула и погасла в пристальных глазах художника.

— Так, так, так, — протянул он. — Привык почитать искусствоведов, как судей и распорядителей искусства. Прошу, чем обязан?

Гаршин не отозвался на скрытый выпад. Искусство — вредное ремесло. Если столяр сделает табурет, то не возникнет вопроса, нужен ли этот табурет, хорош ли он или никуда не годится. Все очевидно с первой минуты, тогда как художник, поэт, композитор обычно полон неуверенности, даже когда чутье подсказывает, что вещь удалась. И нет произведений, о котором сразу не сложилось бы двух и более мнений. Отсюда почти детская жажда похвал или, наоборот, защитная броня непоколебимой самоуверенности. Впрочем, одно часто сочетается с другим, и Гаршина всегда восхищала сила тех, кого эта ржавчина не могла коснуться. Но сочувствовал он всем, в ком видел талант, а поскольку о Лукине знал лишь с чужих слов, то теперь первым делом глянул на его полотна.

— О вас говорят, — сказал он, — что вы давно пишете только для вечности. Начинаю понимать...

— Осчастливлен. Может быть, и с выставкой поспособствуете?

— Оставим подковырки, — решительно сказал Гаршин. — У меня к вам дело.

— Спасибо за откровенность. — Лукин почему-то потер ладони. — Терпеть не могу притвор и благодетельных султанов от искусства. А что, интересно, вы поняли?

— Что вы нащупываете свою, трудную и необходимую дорогу.

Лицо Лукина осветилось.

— Да! — вскричал он. — Стойте, я вам сейчас кое-что прочитаю...

Он с обезьяньим проворством подскочил к груде книг, поворошил ее и с торжеством вытянул потерянный томик.

— Вот, слушайте! «Не правда ли, странное явление — художник петербургский? Художник в земле снегов, художник в стране финнов, где все мокро, гладко, ровно, блед-

но, серо, туманно!.. У них всегда почти на всем серенький, мутный колорит — неизгладимая печать Севера. При всем том они с истинным наслаждением трудятся над своею работой. Они часто питают в себе истинный талант, и если бы только дунул на них свежий воздух Италии, он бы, верно, развился так же вольно, широко и ярко, как растение, которое выносят наконец из комнаты на чистый воздух». Это Николай Васильевич Гоголь. Каково, а? Север, видите ли, неживописен, гнетущ для таланта; Север, с его убранством луговых цветов, озерной синью, ярким, не чета югу, небом, огненной осенью — бледен и сер! Добро бы чиновник-искусствовед писал, так нет же, гений литературы, который и к живописи прикосновенен был. Какими же он глазами смотрел? Как очевидного не видел? А потому и не видел, что в незрячее время жил, что глаз отечественного художника спал и русская природа еще не была открыта. Ну а мы лучше? Одни мнут перины прошлого, левитанов перемалевывают, другие вовсе от пейзажа бегут, мол, фотографией заштамповано и не искусство даже в наш углубленно-атомный век, словом, все гладко, уныло, плоско, как сказал бы дорогой Николай Васильевич. А земля-то художественно еще не открыта! Да, да! Всю, целиком, сверху, после стольких лет авиации, мы видим ее не лучше, чем Гоголь Север! Нет, скажете? Вспомните выставки, почитайте писателей — где у них Земля с большой буквы? Зрение пешехода, они и из стратосферы только унылые снежные равнины облаков замечают. А оттуда такое открывается! Вот, смотрите, как здесь натура человеческая просвечивает!

Этюды, эскизы, незавершенные картины с грохотом стали отделяться от стен и окружать Гаршина, который не успевал вставить ни слова.

— Вот наш автопортрет — Подмоскovie! В природе все округлость, излом, завиток, а чего мы коснемся — там прямизна оград, улиц, строений, дорог, ровные фигуры полей, даже леса растим геометрично! Математическая линейка у нас в голове, все прямым, прямым...

«Не ново, еще у О'Генри было», — защищаясь от этого потока слов, подумал Гаршин.

— ...Какой контраст с горами! Видели вы их прежде? Нет! Алмазы ледников, бастионы круч, та-та... Восприятие человека-муравья. А здесь у меня? Теперь-то вы видите, видите планетную сущность гор? Они же родственны узорам на морозном стекле!

Гаршин отпрянул в сторону от очередного холста.

— Ага, вы, кажется, поняли! Самолет распластал хребет, я вгляделся — тот же ветвистый причудливо-правильный узор отрогов, ущелий, снега! А вы говорите — Земля открыта... Это палящее лохматое солнце над красным марсианством Кызылкумов вы когда-нибудь видели? Отражение радуги в Байкале от берега до берега вам знакомо? Шелковый узор ветра на синеве Арала — это вам что, очередные березки, от которых тошнит на выставках, как от зубрежки таблицы умножения? Вы еще обо мне статьи писать будете, монографии посвятите!

Гаршин вздохнул. Перед ним был тот самый случай неистойвой работоспособности и страсти, когда талант ума и наблюдательности, увы, не подкрепляется художественным и содержание любого полотна можно исчерпать словами, чего нельзя сделать ни с одним значительным произведением искусства, будь то «Джоконда» или левитановский пейзаж.

Радовал только поиск, действительно нужный, потому что Земля художественно и в самом деле еще не открыта. Гаршину было жаль Лукина, и он дал себе слово помочь с выставкой, ведь столько художников получают их, не имея даже того, чем обладал Лукин. Но поступиться истиной Гаршин не мог.

— Странно, что вы начинали с фантастики, — осторожно сказав все, закончил он.

— Воображение лишь жалкая тень действительности...

Лукин поправил шарф и, морщась от дыма очередной сигареты, как бы в удивлении оглядел свои беспорядочно расставленные полотна. Гаршина он уже не замечал.

Тот достал снимок.

— Простите, вот это, случайно, не ваша в молодости работа?

— Нет, — коротко бросив взгляд, сказал Лукин. — Не моя, и моей, само собой, быть не может.

— Тогда, быть может, вы знаете автора? — безнадежно спросил Гаршин.

- Автора... Автора, простите, чего?
- Автора этой картины.
- Картины?
- Ну да...
- Повторите-ка, повторите...
- Я ищу автора этой картины, что тут непонятного?
- Вы, искусствовед, ищите?! Так из-за этого я и удостоился... Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!
- Позвольте...
- Да знаю я автора, знаю! Ха-ха-ха...
- Он жив?!
- Живей нас с вами... — Лукин вытер набежавшие слезы. — Ах какая чудесица! Ах, славное, дышлом вас по голове, племя искусствоведов! Так вам нужен, позарез необходим автор? Извольте, есть у меня адресок. Свердловск...
- И оригинал там?
- Там, все там, и Влахов Кеша там, и мать сыра земля там... Записывайте...

«Влахов Иннокентий Петрович, доктор геолого-минералогических наук, профессор», — волнуясь, прочитал Гаршин на дверной табличке и с удовлетворением подумал, что его первоначальная догадка оказалась верной. Маститый профессор когда-то увлекался, возможно, и теперь увлекается живописью, рисунки его, понятно, известны немногим, а между прочим, именно геолог скорей любого другого дилетанта мог случайно прозреть тот каменный венерианский мир. Зря смеялся Лукин. То-то он ахнет, когда узнает, в чем дело!

Влахов оказался кряжистым, в летах человеком с медвежьей походкой и таким рокочуще-добродушным басом, что Гаршину сразу стало легко и просто. Гостю здесь были рады без всяких расспросов и дел, рады только потому, что он гость, и Гаршин не успел опомниться, как уже сидел за столом и с приятствием отхлебывал вкуснейший чай. Но мало-помалу благодушие сменилось беспокойством, так как ничто вокруг не свидетельствовало об увлечении живописью, а когда Гаршин о

ней заговорил, то Влахов выказал живой и все же явно сторонний интерес к искусству.

— Мне, однако, сказали, что вы сами недурно рисуете, — не выдержал Гаршин.

— Это вам навра-а-али, — растягивая слова, пробасил Влахов. — Сроду непричастен.

— Как? — опешил Гаршин, еще цепляясь за краешек надежды. — Мне Лукин говорил!

— Не мог того сказать Лукин, ибо знает. Да что с вами? Беда какая?

— Никакой, — бледнея, отозвался Гаршин. — Вралю поверил, вот что!

— Позвольте, этого быть не может! Знаю я Лукина, на одной парте сидели, кристальной честности человек...

— Тогда как понимать это?! — Дрожащими пальцами Гаршин высвободил, выхватил из конверта снимок. — Ваш честнейший Лукин заверил, что оригинал у вас и вы его автор!

Влахов мельком глянул на снимок и недоуменно уставился на Гаршина.

— Рассказывайте, — строго сказал он.

— Но видите ли...

— Все рассказывайте.

Дослушав, Влахов пытливо сравнил оба изображения, его глаза блеснули удовлетворением.

— Идемте, я покажу рисунок.

— Так он... — Гаршин вскочил, — ...есть?!

— А как же! Лукин язвец, но не враль. Все во всем, как говаривали мудрые греки...

В кабинете Влахов выдвинул обшитую по дну черным сукном полку, оттуда из разноцветной укладки полированных камней изъяс угловатую плитку и протянул ее Гаршину:

— Вот вам оригинал.

Пол тихо качнулся под ногами Гаршина: с холодной глади камня на него смотрел тот самый, до мелочей знакомый венецианский пейзаж.

— Сядьте, сядьте. — Голос Влахова дошел как сквозь вату. — Что тут особенного? Так называемый «пейзажный

камень», таких у меня, видите, коллекция, сам резал. Право, не стоит переживать. Эко диво, сходство! Хотите вид березовой опушки? Вот, пожалуйста, думаю, и натуру, место похожее, отыскать можно. А тут скалы, прибой кипит... И облачный бой, как у Рериха, есть. Это свойство яшм, агатов и многих других камней давно известно, наши уральские мастера-камнерезы целую картинную галерею могут составить.

— Так венерианский же в камне пейзаж, ве-не-рианский! — простонал Гаршин, оглушенный и чудом невероятного сходства, и своей изначальной непростительной ошибкой, и непостижимым спокойствием Влахова.

— Что ж, венерианский... Со временем, думаю, и антаресский откроется. Природа едина. Как познали ее новый уголок, так и в камне, значит, его сразу увидели, того и следовало ждать. Не удивлюсь, кстати, если в срезах венерианских пород отыщутся земные пейзажи.

— Тогда что же получается? — мысленно отшатываясь, вскричал Гаршин. — В камнях, выходит, заключены... все образы мира?!

— Ну, все не все, только прикиньте-ка объемы горных пород, сочтите все цветовые в них комбинации. Астрономия получается, классический для теории информации пример с великим множеством обезьян, которые в конце концов отстукивают на машинке всего Шекспира.

— И в камне, здесь, у нас под ногами, может таиться мадонна Рафаэля?!

— Не исключено.

— Слушайте, а вам не страшно?

Наконец-то Гаршин увидел Влахова растерянно моргающим!

— Мне так страшно, — продолжал он с лихорадочной поспешностью. — Если вы правы, если все образы мира уже есть, тогда зачем художник, к чему искусство? Все же будет простым повторением.

Влахов сурово задумался. Затем его губы шевельнула медленная улыбка.

— Лукин, кажется, аттестовал меня автором венерианского пейзажа? — спросил он будто самого себя. — Что ж, мы в природе, а она в нас. Я-то камень не вслепую резал, я искал, выявлял в нем скрытое, и без меня, выходит, тоже ничего бы не было. Хотя какой я художник? — Влахов вздохнул. — Жизнь хороша своей бесконечностью и, стало быть, щедростью. Идемте, поразмыслим об этом за чаем, он, знаете, хорошо нервы сглаживает.

ФИЛОСОФИЯ ИМЕНИ

Мерный, даже в тишине едва уловимый гул пронизывал каюту, и только он напоминал о действующем неподалеку вулкане, перед мощью которого жалкой искрой померкла бы любая Этна, ибо там, за отсеками и нейтральными переборками, рушились квантовые основы самой материи. Спящего в каюте, как и весь экипаж, этот доатомный огонь распада нес сквозь абсолютный холод межзвездья, от которого человека отделяли немногие метры корабельной оболочки и воздуха.

Для Виктора Кошечкина заканчивалась очередная ночь, которая здесь была такой же условностью, как утро, день или вечер. Вязкий, засасывающий сон никак не хотел отпускать, и только настойчивая побудка элсекра заставила пошевелиться, открыть глаза и моргнуть. Напротив постели в космах тумана всплывало солнце, свет мглистым веером дробился в ветвях, осеребрял упругие капельки росы, вдалеке долбил дятел, а за травой и валежником плеском рыбы давало о себе знать укромное озеро. Морщась, Виктор выпростал руку, щелкнул выключателем, и там, где только что была земля, встала глухая стена крохотного помещения, в котором рационально был учтен каждый кубодециметр пространства. Вялое тело не хотело вставать, саднило горло, тяжелая голова сама собой клонилась к подушке. «Все мое ношу с собой, — досадливо подумал Кошечкин. — Включая вирусы».

И верно, они набрасывались на человека даже среди звезд. Следовало пойти в медотсек и тут же покончить с болезнью, но Виктор решил, что делать он этого не станет. Конечно, там он избавится от недомогания за пять минут, но так недолго

растренировать волю и тело, поэтому если ты можешь покончить с болезнью сам, то и должен. Решив так, он твердо командовал организму прекратить это безобразие, велел чему-то там в себе сконцентрироваться для удара по всяким вирусам и микробам, почти физическим усилием мысли вогнал саднящее горло в жар, отпустил горячую волну, затем снова прогнал ее по каналам акупунктуры, так несколько раз подряд. И к черту вялость, никакой вялости нет, все это только игра расслабленного воображения!

Вот так, уже лучше. Вялость изгнана из мыслей и чувств, установка на победу задана, лимфоциты, или как их там называют, с развернутыми знаменами атакуют противника, остальное довершит работа, которая, что ни говори, все-таки лучшее из лекарств.

С этими мыслями Кошечкин вскочил, живо оделся и, выходя, принял осанку, которой мог бы позавидовать офицер тех времен, когда еще существовала армия. «Все-таки любопытно, — подумал он мельком. — Во мне, как и в любом человеке, хватает всяких зловредных микророзверюг — и ничего, здоров. А иногда нате вам... И причин вроде бы не было, а сорвались с цепи. Надо бы спросить, почему так случается...»

Однако, войдя в кают-компанию, Кошечкин обнаружил, что все уже позавтракали и разошлись по своим рабочим местам, лишь Басаргин, сидя в углу, допивал кофе, но у того никакого рабочего места и не было.

— Рад вас видеть, — поднимая крутолобую голову, приветствовал Басаргин. — Как поживают ваши «мышки-блошки»?

— Нормально, — осторожно ответил Кошечкин, так как из всех членов экспедиции Басаргин был ему менее всего понятен. Ясно, чем занят астрофизик, вакуумщик или биолог. Но философ? Философы, насколько он знал, предпочитают осмысливать мир в тиши своих кабинетов.

— И хорошо, что нормально, — кивнул Басаргин. — Хотя, собственно говоря, меня больше интересует не это.

— А что же? — с усилием спросил Кошечкин.

— Видите ли. — Басаргин аккуратно промокнул рот салфеткой и отложил ее в сторону. — Вы стармех, вы заняты своей машиной, ее состоянием, функционированием и тому подоб-

ным. Объект же философии — это скорей рефлексия, мысль о мысли, в данном случае ваше, субъекта, отношение к машине.

— Машина есть машина, — отрываясь от еды, сухо сказал Кошечкин. — Двигатели должны работать как надо, вот и все о них мысли.

— Нет, — покачал головой Басаргин. — Это вам только так кажется, вы как-нибудь приглядитесь к себе на досуге. Кстати, можно нескромный вопрос?

— Да, пожалуйста...

— Вам никогда не хотелось сменить фамилию?

— Нет. А зачем?

— Ну, как же. — Взгляд Басаргина весело сощурился. — Ведь как иные фантасты называли своих героев-звздопроходцев: Федор Икаров! Спартак Прометеев! Звучит, и как победительно! Перед таким расступаются звезды, ему самой судьбой уготовано быть капитаном и покорять Вселенную.

— Нет таких фамилий, — буркнул Кошечкин. — И таких самодовольных болванов у нас тоже нет. А если мое имя кого не устраивает, то...

— Извините. — Басаргин притушил улыбку. — Виктор Кошечкин, мне это имя нравится. А интересуюсь я вашим о нем мнением потому, что имя не есть что-то нейтральное по отношению к самому человеку, в свое время я занимался разработкой этой проблемы...

— И?... — наливаясь гневом к этому бесцеремонному человеку, перебил его Кошечкин.

— «И» только одно, — неожиданно мягко, с искренней теплотой в голосе проговорил Басаргин. — Вы вошли сюда генералом, чего за вами не водится, поскольку вы не Икаров. Это меня удивило, впрочем, нездоровый блеск глаз тут же объяснил все. Вы давите в себе болезнь, и я тут же решил этому поспособствовать. Уверяю вас, в данном случае злость неплохое лекарство! Но вы не из тех, кого легко разозлить, пришлось постараться... А теперь вот вам моя голова — рубите.

И Басаргин наклонил голову.

Кошечкин открыл было рот, чтобы ответить весело, едко и остроумно, но ответ так и не нашелся, впрочем, так бывало

всегда. «Ну и штучка же ты, философ...» Невольно для себя Кошечкин сверил Басаргина с его фамилией. Кряжист, плечист, основателен, в весело играющих глазах никакой такой книжной немочи — да-да... Любопытный человек.

— Что ж, спасибо за намерение. — Кошечкин отстранил тарелку. — Пора, однако, работать.

— Желаю успеха. А насчет своего отношения к машине все же понаблюдайте... Мало ли что.

— Нет уж, — твердо сказал Кошечкин. — А то принялась одна сороконожка рефлексировать, да и разучилась ходить.

Горло еще саднило, но уже меньше. Скупое освещенными переходами Кошечкин спустился вниз. Здесь гул и дрожь были заметнее, но только не для Кошечкина. Пожалуй, он бы даже удивился, обрати кто его внимание на этот шум. Шум? Не было здесь никакого шума, была тишина работающего двигателя и тишина выключенного. Вот если бы что-нибудь забарахлило, тогда дело иное.

В пультовой все было обычно, «Стремительный» шел с постоянным ускорением, его вела автоматика, человек мог ни к чему не притрагиваться, все и так делалось само собой. Кошечкин сел в удобно умятое кресло и привычно оглядел свое хозяйство. Ничто, естественно, не моргало красным, не вопило о неисправности — случись такое, сигнал выдрал бы его еще из постели. Поэтому Кошечкин лишь мельком покосился на сумматоры, за долю секунды удостоверился, что все параметры пребывают в норме, и сразу перевел взгляд на «полярное сияние». Точнее, он все это сделал одновременно, даже еще не усевшись по-настоящему. Дугой распластавшееся над всеми датчиками, переключателями и мнематограммами, «полярное сияние» тоже свидетельствовало о полном благолепии. Впрочем, иное его состояние педантичная натура Кошечкина восприняла бы как личное оскорбление, ибо плох тот механик, который отправляется спать без твердой уверенности, что в его отсутствие ничего случиться не может.

Посторонний мог бы залюбоваться радужными переливами «полярного сияния», но отнюдь не проникнуть в их смысл. Кроме знаний, тут требовался еще и опыт. То, что несло звездолет и обеспечивало работу его двигателя, конечно, было

машиной, и должность, которую занимал Кошечкин, по-старинному называлась «механик», даже «старший механик», поскольку никаких иных на звездолете не было (дублер и сменщик Кошечкина находился в анабиозе). Но если бы Кошечкин предстал перед экипажем в замасленной робе и с гаечным ключом в руке, это вызвало бы не меньшее веселье, чем появление корабельного врача, потрясающего шаманским бубном. Какая уж тут механика, какой гаечный ключ, если в самой машине осуществлялось тончайшее преобразование материи и подступ к ее недрам был невозможен для человека! Да и вряд ли там была хоть одна гайка...

Удостоверившись, что все в порядке, Кошечкин, не глядя, тронул переключатель диагностирующей развертки, то есть начал наиважнейшую для механика работу. Создание машины, способной унести человека к звездам, было, разумеется, проблемой, но не меньшей проблемой был ее ремонт во время полета, ибо еще никому не удавалось создать машину, которая никогда бы не ломалась. Наоборот, чем сложнее система, если только она не принадлежит к классу самоорганизующихся, тем больше вероятность поломок. Но человек, рискнувший проникнуть в машинное отделение звездолета, был бы испепелен даже спустя неделю после выключения двигателей. Впрочем, никто бы этого и не смог сделать, поскольку там не было свободного пространства, куда человеку удалось протиснуть хотя бы руку. Не потому, что не позволял объем, и даже не из-за проклинаемого всеми конструкторами требования умалить массу корабля до предела. Представьте себе что-то сложное, допустим, мозг человека, увеличенный до размера холма: сколько ремонтников потребуется для его обслуживания, спайки, починки и выбраковки деталей в их многомиллиардном ансамбле? А если к тому же многие из этих деталей незримы для глаз и неосязаемы для пальцев? Что тут прикажете делать?

Что можно было сделать, то было сделано. Атомарная упаковка элементов, предельная надежность тончайших кристаллосхем, вся кинематика осуществляются электромагнитными и прочими полями, максимальная защита всего твердого от коррозии, от разъедающей радиации, толчков и вибраций и многое другое, чего окончательно не в состоянии охватить, понять

и запомнить никакой отдельно взятый человеческий ум. Но и этого было мало... Машина, как, впрочем, и человеческий организм, невозможна без синапсов, контактов, энергетических и информационных цепей, а всякое соединение одного с другим — лазейка в броне надежности. Да и о самой броне надо заботиться, в этом смысле между доспехами рыцаря и антикоррозионным покрытием какого-нибудь гиператора нет никакой принципиальной разницы.

Включая попеременно блок за блоком, Кошечкин привычно следил за их проекционной разверткой. Перед ним на экране сканирующего томографа раскрывалась святая святых звездолета, та механика, то устройство, которое обеспечивало ему ход и несло к цели. Здесь не было трепетных красок и переливов «полярного сияния», в которых зримо проявлялись все особенности функционирования двигателя в данный момент времени; здесь перед человеком раскрывалась сама структура машины, срез за срезом представала ее плоть. Каждому рабочему органу и отдельным его участкам томограф придавал свою окраску, меняющиеся оттенки которой многое говорили опытному глазу. Вместе с тем все было выдержано в гамме серых, зеленоватых, сине-фиолетовых тонов, чтобы взгляд легче мог уловить красноватые оспинки повреждений.

Они были, их не могло не быть. Раза два взгляд Кошечкина задержался на красноватых точках. Нет, пустяки. Стоит человеку резко вскочить, как где-то в его организме лопаются два-три микрососудика, это норма, это ровно ничего не значит; примерно то же самое было и здесь. На всякий случай Кошечкин подключил блинк-оператор, и на жемчужном фоне проекции подозрительного участка тотчас замерцали искорки — метки тех крохотных поражений неживой ткани, которые автомат зафиксировал при вчерашнем осмотре. Сегодня искорки, как и должно, мерцали не там, где алели «оспинки», и число последних ничуть не прибавилось против давнего. Так и должно было быть, иначе на что «блохи» и прочие ремонтники?

«Клопы», «блохи», «мышата», равно как и «полярное сияние», — все это, конечно, было профессиональным жаргоном. Но ведь язык сломаешь, выговаривая что-нибудь вроде «реммикрокибернейроманипулятор АЗФУ-17», проще их всех в

зависимости от размера называть привычными именами. Хотя какие уж тут «мышата»? Все совершенствуется и соответственно миниатюризируется. «Стремительный» — наисложнейший, с иголки корабль, его ремонтники принадлежат к пятому поколению нейрокиберов и так малы, что даже «блохами» их не назовешь. Впрочем, трудяги они куда лучше прежних.

Глаза быстро притомились, и Кошечкин с неудовольствием выключил экран. Вялость давно прошла, горло уже не саднило, но, видимо, болезнь еще давала о себе знать, коль скоро зрению потребовался непредусмотренный отдых. Ничего, все успеется, да и сам осмотр, если быть честным, изрядная проформа, поскольку «зверушки», если что, все сделают сами. Саморегулировка и самоизлечение, хотя философ с его страстью к дефинициям, верно, уточнил бы, что надо говорить не о «самоизлечивании машины», а о ее самопочинке.

Странный все-таки человек! Интересно ему, видите ли, что он, Кошечкин, мыслит о машине. Да то же самое, что механик былых времен мыслит о каком-нибудь там автомобиле: как его лучше эксплуатировать, не барахлит ли что, да как починить... Впрочем, последнее уже не его, Кошечкина, забота, об этом позаботились конструкторы. А так никакой разницы. Да, но что же тогда получается? Технику и сравнить нельзя, а отношение к ней... Хотя с какой стати тут чему-то меняться? Назначение машины осталось прежним, функция двигателя все та же, ну и...

«Вот тебе! — с удовлетворением подумал Кошечкин. — Тоже мне, «философия имени», онтология, или как ее там, высывания проблемы из пальца!»

Он покосился на свое повисшее в экранной тусклости отражение. Смазанные черты лица, мягкое закругление щек, уступчивый подбородок, все знакомое, трижды привычное, как этот пульт, как все вокруг хозяйство. Нет, не механику высаживаться на чужие планеты, не ему грудью встречать диковинные опасности, не ему надеяться на восторженный шепот: «Вот он идет, герой Сириуса, знаменитый Кошечкин». Да, не звучит, вернее, смешно звучит. К тому же суета сует. И что бы все эти Прометеевы делали без таких, как он? Носом бы в грязь шмякались на каждом шагу, существуй такие в действи-

тельности. Космос, однако, не то место, где можно распускать павлиний хвост, здесь трудятся люди, которые терпеть не могут нештатных ситуаций, и он, Кошечкин, здесь для того же. А посему продолжим осмотр.

Рутина, конечно, отработал так смену — и в спячку. Вот если бы капитану вдруг потребовался какой-нибудь сверхфорсаж или метеоритная атака вывела из строя, скажем, инвентор, тогда да, тогда шевелись и кумекай, тогда все вокруг, фигурально говоря, на тебя молится, а сам ты творец и кудесник, товарищ Икаров-Кошечкин, по отчеству Прометеевич...

И ведь бывали подобные случаи, бывали, хотя все ухищрения человеческого ума сводятся как раз к тому, чтобы таких случаев не было, а была самая обычная полетная рутина.

Да-а, вот здесь что-то многовато оспинок-повреждений, сейчас мы это подлечим, сейчас подлечим...

Кошечкин, не поворачиваясь, вызвал кибермозг и выразил недоумение, почему тот сам не побеспокоился увеличить число ремонтников на таком-то участке асинхронного вакуум-инвентора и почему о такой мелочи должен заботиться человек.

Последовал немедленный ответ, что нужное в данной ситуации число ремонтников было задействовано, как только в этом возникла необходимость.

— Когда? — спросил Кошечкин и, получив ответ, покивал. — Отлично, тогда мы вскоре должны увидеть результат.

Он продолжил осмотр. Аквамариновая проекция, жемчужно-серая, голубая, как земное, только, увы, ячеистое небо; блок, блинк-оператор, еще блок, еще; нагоняя сон, вверху шевелятся ритмичные сполохи «северного сияния»; снова блинк-оператор, тихо все, как в гробу, музыку, что ли, включить... И пора вернуться к инвентору, проверить, что там и как.

Экран послушно замерцал опаловым светом, в толще которого, казалось, моросил нескончаемый дождь, но так лишь казалось, поскольку оливковые капельки этого дождя в действительности были ансамблем преобразователей, которые чуть подрагивали при работе инвентора. Реденькая россыпь пятнышек тем не менее алела во всем пространстве, едва ли не каждая сотая «капелька» несла на себе эту недозволенную отметку.

Хватило одного взгляда, чтобы убедиться в их преумножении, но Кошечкин впервые не поверил своим глазам и поспешно включил блинк-оператор. Да, все так и было: некоторые повреждения ремонтники устранили, зато возникли новые и в куда большем числе. Но как же это, ведь там усиленный наряд!

Это могло означать только одно. Инвентор не выдерживал рабочего режима, его элементы один за другим выходили из строя, и ремонтники не успевали их заменять. Правда, на ходе корабля это никак не отражалось и долго еще не могло отразиться, поскольку расчетное движение не требовало всей мощности инвентора, да и запас надежности в столь ответственном блоке был велик. Тем не менее это никуда не годилось. Скрытый заводской брак, не иначе! Ну, наливаясь яростью, подумал Кошечкин, дам же я этим коекакерам... К высшей мере, к высшей мере! До позора доведу, любимая девушка от них откажется, родная мать отшатнется...

Руки тем временем сами делали свое дело, отдавая резерву приказ выделить дополнительный наряд ремонтников. Так, и только так! Переключить инвентор всегда успеется, благо их все-таки двое, а на такой тяге нужен один, надо сперва все просмотреть в рабочем режиме, достаточно ли новой партии ремонтников, обратится ли процесс разрушения вспять, или придется подбросить еще работников, что опасно, резерв велик, но не бесконечен и может потребоваться для других целей; надеюсь, все и так обойдется, должно обойтись, хотя это то еще удовольствие — всю дорогу чинить инвентор, да ничего, только бы малютки справились, давайте же, ребятишечки, жмите, микробчики, жмите!

Похоже, они поднажали, число зловещих крапинок стало убывать. Однако медленней, чем того хотелось бы. Кошечкин взмок, даже мускулы заболели. Эх, гаечным ключом бы поорудовать! Или вселиться в машину, пронизав ее волей, побороть всю дрянь, как он сам только что пришиб свои вирусы. Увы, ни то, ни другое невозможно, а потому лучше пока пойти пообедать, дать отдых заслезившимся глазам. Кошечкин с усилием выдрал себя из кресла и, внутренне сопротивляясь разумному решению, с оглядкой двинулся к выходу, словно

отец, оставляющий ребенка наедине с болезнью. Ничего, ничего, подстегнул он себя: все не так скоро, машине я сейчас не нужен, да и вообще...

Снова, как и утром, он опоздал: дообедывал лишь один человек, на этот раз капитан Торосов, наглухо погруженный в какие-то свои заботы.

«Знал бы ты, какой я пожарчик заливаю! — с мрачным удовлетворением подумал Кошечкин, дую на обжигающий суп. — Но это уж моя забота, вот наведу порядок, тогда узнаешь...»

Хорошо, что некому было заводить разговоры, не до них было сейчас. Кошечкин заставил себя все спокойно доесть, но вниз ноги понесли его почти бегом. С той же поспешностью он включил развертку. Ну?..

От обвального толчка сердца охолодели ноги. Алых крапинок стало больше! Это было так дико и неожиданно, что внутри Кошечкина все ухнуло в душную пропасть страха, который, оказывается, жил в нем с тех пор, когда корабельный двигатель чуть не пошел вразнос, а он, юный и самоуверенный тогда практикант, застыл в обморочном оцепенении. А ведь еще ничего не случилось, ровным счетом ничего. Надо лишь задействовать второй инвентар, ну да, в отключенный дослать ремонтников, которые мигом наведут порядок, уж это аксиома, коль скоро нагрузка снята и там больше нечему ломаться...

Руки все сами сделали с таким мастерством, что переключение не отозвалось даже мимолетным сбоем хода. Вот вам! Кошечкин перевел дух. Все сделано, как надо, исход предreshен с математической неизбежностью. Откуда же цепеняющий страх, почему обмякло тело? Неужели все это память о том давнем мгновении, когда покорная тебе сила вдруг рванулась из повиновения? Иные на этом ломались и более уже не годились в механики. Движением ладони Кошечкин согнал с лица холодеющий пот. Как грозно ревет двигатель, как вкрадчив его гул здесь, в пультовой! Еще бы, ведь там, за переборками, ежесекундно взрывающаяся звезда, крохотный, прирученный людьми пульсар... И он будет работать, Кошечкин вам не кто-нибудь!

Оставалось дожидаться результата, но даже секунда безделья была невыносима, и Кошечкин, убрав алеющую крапинками развертку, на которой «дождь» замер и потемнел, тотчас заменил ее проекцией второго инвентора, благо такая проверка все равно требовалась. Мозг не сразу понял, в чем дело, когда перед глазами предстала та же, что и минуту назад, картина: морозящая, с красноватыми точками муть. Показалось, что это ошибка, пальцы было дернулись к переключателям, чтобы повторить сделанное движение, исправить его, но тут Кошечкин осознал, что видит именно второй инвентор. Второй, а не первый! И он разрушается, как и предыдущий, хотя крапинок там и поменьше.

На этот раз сердце не ухнуло, не зашло в обморочном страхе, так велика была оторопь, с которой разум воспринял непостижимую истину. Это не брак, сразу с двумя инвенторами такого произойти заведомо не могло, но тогда почему?!

Бессмысленно, в слепой надежде Кошечкин трижды переключил развертку с объекта на объект, в мозгу, вспыхивая, мелькали десятки вариантов, и рассудок так же лихорадочно браковал все. Шальным зигзагом сознание прочертила вовсе дурацкая мысль: Прометеева бы сюда! Наконец Кошечкин зачем-то встал и, стоя на негнущихся ногах, вызвал Торосова, видя и не видя на диске связи, как тот на полуслове обрывает разговор с кем-то вроде Басаргина и кивком головы подтверждает принятие вызова.

Войдя и сразу же глянув на экран, Торосов переломленно застыл над пультом.

— Докладывайте.

Голос прозвучал уставно, хотя капитан, разумеется, уже кое-что понял. Но не все, далеко не все... Механически четким голосом Кошечкин объяснил ему все.

— ...Остается задействовать весь резерв ремонтников. Но даже если они справятся, то и в этом случае...

— Понятно!

Но и в этом случае он, механик, ничего гарантировать не может. По неподвижному лицу капитана, зыбко меняя его, бежали мерные отсветы «полярного сияния», которое вскоре могло угаснуть, и Кошечкина пронзила внезапная боль сочув-

ствия к человеку, обязанному сейчас принять окончательное решение. За него, беспомощного, вместо него, невинного и все-таки виновного этой своей беспомощностью. Плечи Кошечкина поникли.

— Если я правильно понял, — Торосов с хрустом сцепил пальцы, — то и в худшем случае мы успеем лечь на обратный курс?

Кошечкин облизал пересохшие губы.

— Успеем...

— Уже лучше, не люблю изображать из себя «летучего голландца»... — К уголкам глаз капитана сбежались морщинки, которых прежде вроде бы не было. — И главное, есть время подумать, не так ли? Тогда давай помечтаем о докторской мантии.

— Мантии?..

— Именно! Раз двигатель эксплуатировался правильно, что для меня несомненно, заводской брак исключен, никакого разрушающего извне воздействия нет, уж я бы знал, то перед нами проблема куда важнее очередной звезды. Согласен? Вот и поразмысли, а там и мантия обеспечена, говорят, в Кембридже это одевание до сих пор в моде. Что на меня так смотришь? Думаешь, у меня поджилки не трясутся?

— У тебя затрясутся, — со слабой улыбкой сказал Кошечкин. — У тебя затрясутся...

Ему захотелось быстрее очутиться за пультом.

— Вот и прекрасно. Запускай для начала свой резерв, посмотрим, что будет.

— Разрешите прежде один вопрос, — грубо раздалось у них за плечами.

Разом обернувшись, оба с гневным недоумением уставились на невесть откуда взявшегося Басаргина, но на того это не произвело никакого впечатления, он так и остался стоять, стиснув пальцы и подавшись вперед, и эта его поза не была вызовом или чем-то нарочитым, она лишь отвечала той сосредоточенности лица и взгляда, когда все побочное отбрасывается ради предельного усилия мысли.

— Ну?.. — невольно сорвалось с губ капитана.

— Пожалуй, вопросов все-таки два. — Лицо Басаргина встрепенулось. — Первый: что делают ремонтники с негодными деталями? Выбрасывают?

— Нет, это неэкономно, — недоуменно ответил Кошечкин. — Цикл замкнут, они используются для других целей, для нас каждый грамм — это...

— Для каких «других»? Точнее. Сами ремонтники, конечно, тоже ломаются, и нужны новые; создаются ли они только из вещества погибших или в ход идут еще и бракованные детали?

— Да, если так эффективней. Процесс, видите ли, саморегулирующийся, иной здесь невозможен...

— То есть, следуя заданным критериям эффективного использования любых отходов, какие возникают в машине, самовосстанавливаясь и самосозидаясь, ремонтники потребляют всякий пригодный для этих целей дефектный материал. Похоже на работу антител человеческого организма, вы не находите?

— С той разницей, — хмуро отозвался Кошечкин, — что это машинная, нами созданная и запрограммированная подсистема.

— Которая, раз ее создали люди, может забарахлить и сломаться, но не может посамовольничать? Вот теперь я уже почти убежден, что причина грозящей нам аварии кроется не в машине, а в вашем к ней отношении!

— Проясните, — резко сказал капитан. — И пожалуйста, покороче.

— Покороче не выйдет, — упрямо наклонил голову Басаргин. — Понимаете, конструкторы обязаны вам дать сверхмощный, высокоэффективный, надежный двигатель, и они его вам дают, используя свои знания, свои методы и, понятно, не обращаясь ко всякой посторонней философии вроде теории объект-объектных преобразований или раскрытия метаинтервальной неопределенности. А если и обращаясь, то лишь в связи с давним беспокойством насчет возможности создания машинного, уже неподконтрольного нам интеллекта. Но эволюция никогда не бывает односторонней!

— А-а! — Взгляд Кошечкина напрягся. — Уж не считаете ли вы...

— Да! Любая предоставленная самой себе эволюция расщепляется на линию прогрессирующего усложнения и линию регрессирующего упрощения. Так биоэволюция породила, с одной стороны, человека, а с другой — паразитов человеческого организма вроде гельминтов и вирусов. Так в социуме век за веком возникали всевозможные тунеядцы, которых сами знаете как трудно оказалось изжить. В техноэволюции до сих пор не наблюдалось ничего подобного единственно потому, что в силу ее простоты и контролируемости мы автоматически отсекали ненужную нам ветвь паразитарности. Это длилось так долго, что конструкторам и в голову не приходила мысль о возможности спонтанного регресса их творений. Но закон эволюции — закон! Стоило создать наисложнейшую машину, для которой потребовалась вот такая, в сущности, уже неподконтрольная технофауна, как он сработал. Я не знаю, что послужило толчком, как переродились ваши ремонтники, но коль скоро они потребляли ткани своего техорганизма, какая-то их часть неизбежно должна была регрессировать в хищников-паразитов. Примерно так, если называть вещи своими именами. Буду рад ошибиться, но, по-моему, досылать в машину еще ремонтников все равно что лечить грипп инъекцией злейших вирусов...

Секунду-другую в оцепенелом молчании был слышен лишь каменный грохот двигателей. Ошеломление было так велико, что вырвавшийся наконец вопрос капитана оказался весьма далеким от первоочередных забот.

— Выходит, с дальними звездами покончено?! Мы не можем совершенствовать технику, не усложняя ее, а на этом пути...

— Нет, отчего же? — пожал плечами Басаргин. — Мы боремся с вирусами, придется и технике это пережить. Просто мы не знали, как, когда и почему затормозится технопрогресс, теперь, возможно, знаем.

— Возможно! — Торосов будто очнулся. — Твое мнение, Виктор.

— Гипотезу легко проверить, — с усилием выговорил Кошечкин. — Мы уже увеличивали число ремонтников и... Если это закономерность, то новая попытка...

— Резко ухудшит наше и без того скверное положение, — угрюмо кивнул Торосов. — Словом, спасайся или в поисках лекарства проверяй теорию. Что ж, товарищ старший механик: ваше хозяйство — вам и решать. Действуйте!

С этими словами он тяжело отшагнул к выходу. Кошечкин, для которого воздух внезапно стал сух и удушлив, невольно взглянул на философа, но тот лишь развел руками.

— Не считайте меня провидцем, сама идея «машинной болезни», увы, пришла ко мне не далее как сегодня утром...

Все было правильно. Философ мог теоретизировать, капитан мог приказывать, но решать предстояло ему, Кошечкину. Все, что в его жизни было до этого, было лишь подготовкой вот к этой минуте, и уклониться от нее он не мог, как бы того ни хотел.

Мерно и замороженно в этой своей мерности гремел двигатель, по стенам и лицам все еще скользили спокойные отсветы «полярного сияния», машина пока не замечала своей болезни, если то была болезнь, и человек с неподходящей фамилией Кошечкин, но со звучным именем Виктор должен был сделать к ней один-единственный шаг, от правильности которого зависела судьба тех, кто был рядом.

УХОДЯЩИХ — ПРОСТИ

На свете есть много дыр, и Наира еще не худшая. За овалом окна муть и вихрь, желтая пена мглы, сернистый мрак, сам воздух помещения словно колышется под этим напором, хотя такого не может быть, база загерметизирована не хуже, чем консервная банка, и в ней, кстати, так же тесно. Под боком из аппаратуры Кенига рвется вой и свист, шелканье, лай, кашель, бормотание, щебет, будто в электромагнитных полях планеты трудятся сотни пересмешников, и, закрыв глаза, легко представить себе как стадо взбесившихся камнедробилок, так и хорал неземных голосов. Сквозь весь этот кавардак пробивается мерное титиканье позывных Стронгина. Ох, и неуютно же ему сейчас в вездеходе! Впрочем, весь этот грязно-желтый за окном самум не смог бы перевернуть даже парусник, так разрежен воздух Наиры. А погожих дней на планете немного.

— Маленький филиал ада, — сдвигая с бритой головы наушник, бормочет Кениг. Он говорил это уже десятки раз. — Знаешь, кто мы такие? Миссионеры познания.

Это уже что-то новое, я отрываю взгляд от шахматной доски, на которой Малютка, похоже, готовит мне мат.

— С планеты на планету, как вода с камешка на камешек. — Сощуренный взгляд Кенига устремлен в законную муть, на приборной панели замерло контурное отражение его округлого, со светлыми усиками лица. — И с тем же смыслом.

— Тогда зачем ты здесь?

— Хотел посмотреть мир.

— Ну и как?

— Посмотрел, переходя на футляре в футляр. Корабль — футляр и скафандр — футляр, и база, и вездеход. Мы люди в футлярах. Свобода лишь на Земле.

— Которую, продолжив твою мысль, тоже можно уподобить футляру. Только размером побольше.

Кениг посмотрел на меня.

— А знаешь, так оно и есть! Ты бывал на Таити?

— Нет.

— Я тоже. Слушай, почему мы здесь, а не на Таити? Там море, прекрасные девушки, солнце, цветы, птицы щебечут...

— А у нас щебечут атмосферики. И камни поют. И нам, первопроходцам, завидуют миллионы детишек. И, возвратясь, мы расскажем им романтическую сказочку о Наире.

— Я буду говорить правду. — Кениг надул щеки. — Три человека в консервной банке, не считая кибера. На обед, завтрак и ужин лиофилизированные концентраты. Ваши обрыдшие физиономии. Бодрящие прогулочки в вихрях пескоструйки. И работа, работа, работа!

— И детишки будут слушать тебя с горящими глазами. И ты невольно начнешь повествовать обо всех мелких приключениях, какие были.

— Не начну.

— Начнешь. Неинтересное забывается, так уж повелось.

— Варлен приближается, — сказал Кениг, прислушиваясь к титиканью сигнала. — Варлен Стронгин и его камни. Войдет, скажет два слова и уткнется в свои минералы. А я, может, хочу расписать пульку. Ма-аленькую! Согласно классике: «Так в ненастные дни занимались они...»

Ни за какую пульку Кениг после обеда, конечно, не сядет, а сядет он за свои графики и расчеты; других людей в такие дыры не посылают.

— Тс-с, — тем не менее говорю я. — Тебя слушает юное поколение. Если оно узнает, что герой-первопроходец Вальтер Кениг мечтает о преферансе... Это непедагогично. Бери пример с меня: в свободное от работы время играю с Малюткой в шахматы. Игра умственная, возвышенная, вполне отвечающая образу мужественного исследователя дальних миров... Лют, дружок, что-то ты слишком задумался над своим ходом.

— Я не хотел мешать вашему разговору.

Голос Малютки сама деликатность.

— А это не разговор, просто треп.

— Тогда вам шах.

Выдвинув из-под себя лапу, Малютка стронул фигуру. Больше всего полуметровый Малютка похож на узорчатую, золотистую черепаху, прелестную и на первый взгляд малоподвижную. В действительности Малютка совсем не то, чем он кажется, с ним, как говаривали в старину, надо пуд соли съесть, чтобы его понять и полюбить. Многие на это не способны, наше биологическое «я» противится сближению с существом, родословная которого нисходит к паровой машине, а где нет любви, там нет и понимания. Говорят, что все киберы одного класса одинаковы. Это чушь, которую даже опровергать не хочется. Мы с Малюткой так давно и хорошо знакомы, что я чувствую его состояние, даже когда он молчит, хотя иным это кажется мистикой, — ну какое такое выражение может быть у оптронных зрачков и антенн-вибрисс? Так и пылесосу недолго приписать улыбку. Да, если забыть, что и глаза человека тоже оптическая система, а в них светится душа.

Ход Малютки заставил меня призадуматься. К счастью, у киберов нет фантазии, это позволяло избежать матовой ситуации. Все мы всегда надеемся избежать матовой ситуации. Я приготовился сделать неожиданный ход, но тут титиканье сменилось певучим звуком и над входом вспыхнула красная лампочка. В шлюзовой захлопал воздух, минуту спустя дверь открылась и, расстегивая на ходу скафандр, вошел Стронгин. Сразу запахло пылью, которую никакой отсос не брал до конца, так она въедалась в складки комбинезона, впрочем, никого это не тревожило: пыль тут была стерильная. Вся планета была стерильной. Стерильной, однообразной, унылой, и, если бы нас спросили, зачем она нужна человеку, ответ не тотчас слетел бы с нашего языка. Но это ничего не значит; какой-то древний мудрец, чуть ли не Сократ, убеждал сограждан не заниматься такими бесполезными пустяками, как наблюдение небесных светил, дабы ничто не отвлекало от куда более важного дела самопознания.

Мешок с очередной добычей Варлен, как всегда, брякнул в угол. И Кениг, как всегда, немедленно оторвался от анализа сложных гармоник своего неземного хора и потребовал не забивать помещение всякой дрянью, на что Варлен Стронгин, как всегда, ответил пожатием плеч, — мол, а куда? Действительно, иного места для образцов, пока их не разложишь по стеллажам, в нашей лаборатории, заодно общей комнате, не было. Кениг что-то пробурчал, тем дело и кончилось. Мы, в общем, неплохо ладили, подозреваю, что причиной был не только покладистый характер всех троих; неловко конфликтовать при постороннем, а мой Малютка для остальных был все-таки немножечко чужаком, которому не скажешь «брысь!», но и препираться с ним, как с человеком, тоже не будешь.

— Пойду сготовлю обед, — сказал я, вставая. — Лют, зафиксируй партию, потом доиграем.

Фраза «я сготовлю обед» — это так, для проформы, ибо разогреть концентраты и выложить их на тарелки — дело одной минуты. Мы уселись за стол, и, когда первый голод был утолен, Кениг по своему обыкновению осведомился у Стронгина, не нашел ли тот шестипалый отпечаток босой ноги инопланетянина. Варлен невозмутимо проигнорировал праздный вопрос. Тогда я спросил, не помешала ли ему буря.

— Буря как буря, я успел обнаружить редкостную ассоциацию. — Варлен слегка оживился, он всегда оживлялся, когда речь заходила о деле. — Поразительный парагенезис: касситерит вместе с хромитом, представляете?

Я попробовал представить, но ничего не получилось, слишком скудны мои познания в минералогии. Тем не менее я изобразил подобающее удивление.

— Да, да, — подтвердил Варлен. — Именно так! Замечательная планета.

— Ассоциации, парагенезис... — задумчиво сказал Кениг. — Раньше люди искали простые, всем понятные вещи. Алмазы, золото, серебро и прочие клады. А теперь что? За алмазом Варлен и не нагнется.

— Неверно, нагнусь. Там могут быть интересные газопузырьковые включения, и вообще, нужен материал для сравнений.

— Вот-вот, я и говорю, сплошная проза.

— Вроде твоих атмосфериков.

— Ну, это как сказать... Кстати, о поэзии. Как вы оцените такую строфу: «Гремящей медью стал сну уподобленный нарвал!»

— Ты начал писать стихи? — Варлен даже перестал жевать.

— Это не важно, чьи стихи, важно, какие они. Рифма-то: стал — нарвал! И не какой-нибудь, а «сну уподобленный».

— Что-то в этом есть, — согласился я. — Откуда сие?

— Оттуда. — Кениг мотнул головой в сторону окна, где сгушалась темь. — Записано под диктовку.

— Чью?

— В том-то и дело! Это не моя строчка, вообще ничья, разве что один варленовский камешек объяснялся в любви другому. Это атмосферики.

Откинувшись, Кениг удовлетворенно обозрел наши слегка озадаченные физиономии.

— Не смешно, — сказал наконец Варлен.

— А я не говорю, что смешно. Вам доложен простой, естественный научный факт. Что смотрите на меня, как кибер на «Мадонну» Рафаэля? Порою ловятся весьма упорядоченные группы сигналов, прямо-таки радиопередачи, я для очистки совести всякий раз пытаюсь их декодировать, и вот, пожалуйста, сегодня вышло: «Гремящей медью стал сну уподобленный нарвал!» Остальное, разумеется, было бессмыслицей.

— Врешь, — сказал Варлен.

— Показать машинные записи? — возмутился Кениг. — Я лишь подправил несколько букв.

— Он не врет, — сказал я. — На крыльях земных бабочек есть изображения всех знаков алфавита и всех цифр от нуля до девятки. Здесь, видимо, тот же случай.

— Да, — сказал Кениг. — Именно так. Я не удивлюсь, если где-то в природе отражен Варлен, глядящий в поляризационный микроскоп.

— А, в этом смысле... — Варлен пошевелил в воздухе пальцами. — Ну, это мне знакомо. «Письменный гранит», пейзажные камни, скульптурные формы выветривания; верно, атмосферики могут разговаривать стихами.

Он принялся за десерт.

Покончив с обедом и разрушив на тарелках грязь, я вышел наружу. Малютка шмыгнул за мной. Удивительно, но буря стихла. Стилое вечернее небо полно ярких звезд, их узор походил на видимый с Земли, словно напоминая, на каком узком пяталке пространства мы топчелся. Вид звездной дали всегда будил во мне шемашую тоску одиночества. Бездна сверкающих миров, магнитные огни бесконечности, к которым так жгуче и безнадежно рвется душа, словно там ей обещан неведомый рай. С усилием я отвел взгляд. Горизонт был замкнут цепью печальных холмов, вокруг все было пусто и немо. Холод планеты, казалось, затекал в скафандр. Толкнувшись в бедро, о ногу потерялся Малютка, я в ответ похлопал его по спине. Никто никогда не учил его этой ласке, он сам все сообразил, возможно, перенял у собак.

Мы вместе двинулись к стройплощадке, издали темноту прожгли приветливые огни киберов. Возводимое ими сооружение имело фортификационный вид, поскольку для многих приборов, которые мы там должны были установить, требовались прорези и амбразуры. Вид у киберов был медлительный, как у буйволов или кротов, но делали они все очень быстро. Иначе и быть не могло, любовь к работе была вложена в них как инстинкт, ее выполнение доставляло им удовольствие, а безделье, наоборот, угнетало. Очень удобно для нас и весьма эффективно. Угловатые контуры киберов высвечивал призрачный голубой ореол, та же голубизна выделяла и нас с Малюткой — электризация на этой планете чудовищная, — и деятельность киберов ее, похоже, усиливала. Трущиеся на ходу складки моего скафандра мерцали крохотными молниями; красиво, и это, пожалуй, единственная воочию зримая здесь красота.

Старший кибер отапортовал, как положено, я принял его доклад. Здесь все было в порядке, никакая буря тут ничему не могла помешать.

— Продолжайте, — сказал я. Контроль здесь был чистой формальностью, не формальностью была лишь постановка исходной задачи.

— Пора и нам потрудиться, — сказал я Малютке. — Ты как?

Праздный вопрос! Малютка сделал изящный фосфоресцирующий кувырок, пронесся высоко в воздухе, он знал, что я им люблюсь. Строительные киберы тупицы, Малютка нет, но базовая программа у них одинаковая, поэтому я стараюсь никогда не оставлять Малютку без дела, даже если это лишь игра в шахматы. Человек всегда может себя занять, у него неограниченная возможность думать, представлять, фантазировать, надо только уметь задавать себе вопросы. Малютка это тоже умеет, но в куда более ограниченных пределах, а скука одинаково неприятна как для нас, так и для киберов.

Пока я поворачивался в базе, Малютка описал вокруг меня огненно-голубую петлю, его вибриссы при этом подергивались.

— М-м?.. — спросил я.

— Вопрос. Футляровость имеет только физическую природу?

— Футля... А, это ты о том разговоре?

— Да.

— Видишь ли, как бы это тебе объяснить...

Малютка далеко не философ, он редко задает вопросы, да и те могли бы принадлежать пятилетнему ребенку, тем труднее на них порой отвечать. Машинально я потер то место скафандра, где находился затылок. Футляровость, это надо же! А что, неплохой термин. Каждый заключен в своей индивидуальности, без этого невозможно никакое «я», хотя иной раз так хочется разбить эту невещественную скорлупу! Еще каждый замкнут в своей социокультуре... но это, положим, отходит в прошлое. Каждый пленник своей планеты — был. Н-да... Я оглядел хмурый горизонт, ярко блещущее звездами небо, глухую тьму провалов меж ними.

— Нет, футляровость — это...

Малютка слушал, застыв у моих ног. Великие небеса, уж не с самим собой ли я говорю?! Ведь кибер — наше творение, наше отщепенное «я», только частичное и уже живущее своей, во многом скрытой от нас жизнью.

Тут я вспоминаю, что с Малюткой придется расстаться, и на душе становится мутно. Зачем-то я оглядываюсь. Киберы уже возводят наружный свод, из амбразур попыхивает огонь,

там из песка и камня отливался твердейший монолит укрытия для регистрирующей аппаратуры, которую мы здесь должны оставить, как сделали это уже в четырех предыдущих точках планеты. Эта последняя. Тут мы законсервируем и киберов, может быть, они когда-нибудь для кого-нибудь пригодятся, везти их обратно неэкономично, да и не нужно, потому что средний срок жизни любой кибернетической модели лет семь, затем она морально устаревает. И Малютка уже устарел, он тоже останется здесь, он это знает, было бы нечестно ему не сказать об этом. Знает и переживает, я это чувствую, как бы меня ни убеждали в обратном. Мое поведение похоже на предательство, но что я могу сделать?! Законы технопрогресса и космической экономики неумолимы, соответствующие инструкции и приказы лишь зеркало их требований. Будь Малютка малюткой, я бы пронес его в кармане, и пусть меня потом отлучают от космоса «за использование табельного имущества в личных целях». Но в Малютке около тонны веса, да и на Земле ему, строго говоря, делать нечего. Все рано или поздно расстанутся, вот закончим очередную точку, свернем лагерь, доразведдем планету, это, считай, больше месяца, целая вечность. Мы в ответе за всех, кого приручили, но как быть с теми, кого мы же и создали? А вечер сегодня прекрасный, лучшего и желать нельзя.

— Действуй, — сказал я, отворачиваясь. Малютка подпрыгнул и голубеющим метеором унесся во мрак.

Я зашагал к дому.

Там все было нормально: Кениг сидел с наушниками и колдовал над машиной, в противоположном углу, впериw взгляд в микроскоп, сидел Стронгин. Никто на меня даже не взглянул. Стянув скафандр, я тоже занял свое рабочее место.

Видимость была отличная, никаких помех, только все мелькало, сливаясь в полосы, — Малютка несся туда, где медлительный наирский вечер еще не наступил. Для Малютки несущественно, день вокруг или ночь, дневной свет требовался мне. Безразличен он и к бурям, просто некоторые, вот как сегодня, парализуют связь, и мы зря теряем время. Теперь надо было наверстывать упущенное. И Малютка наверстывал так, что в глазах рябило. Он работал безукоризненно, не его вина,

что в условиях Наира связь действует не лучшим образом. Передавали, что этот главный недостаток разведкиберов совершенно устранен в новой модели, что связь там нейтринная, абсолютно надежная в любом пекле. Очевидно, так оно и было, но радости я не испытывал.

Наконец просветлело, и Малютка сбавил ход. Все было тусклым, как на старинном недопроявленном снимке, мутнело желтоватое небо, серели округлые вершины гор, туманились их морщинистые складки; плоские чаши метеоритных кратеров, над которыми проплывал Малютка, и гряды песка, и откосы скал, и груды камней — все, все было неотчетливым, смутным, однообразным, серо-желтым, темно-серым, грязно-бурым, пропыленным, таким похожим на уже виденное здесь, да и в Солнечной системе, что скулы сводило зевотой. А глаза смотрели с обычным вниманием и обычным уже безразличием — мои глаза, отделенные от меня расстоянием, мой несомый Малюткой взгляд скользил по планете. И то, что видел я, и то, что видел Малютка, фиксировалось машиной. Пора было посмотреть на мир взглядом Малютки.

Экран взорвался красками. Сотни оттенков всех цветов радуги, таких для меня привычных и всегда таких неожиданных. Трудно было узнать прежние скалы, кратеры, плоскогорья, небо — все стало изменчивой абстрактной картиной, вмещающей в себя то, что Малютка видит в ультрафиолете, и то, что он наблюдает в инфракрасном диапазоне, и то, что предстает перед ним в рентгене, и так далее, и так далее. Десятки образов сразу, настолько несхожих, будто они принадлежат разным мирам, иным, чем наша, вселенным. Как может вот эта грозно пылающая высь быть тем самым скучно неподвижным небом, которое только что наводило на меня тоску и зевоту? Ковровая, волшебной текучая вязь многоцветных узоров — неужели это сухой и однообразный намет песка? Какая реальность реальней, где, собственно говоря, наша, исконно человеческая?

Два года меня учили разбираться в символах этой иной многозначной реальности, я свободно выделял различные образы, видел одновременно как бы десятками глаз, тотчас мог определить, что люминесцирует в ультрафиолете, из-под ка-

кой скалы бьет мощный сноп гамма-лучей. Увы, ни один оператор не способен долго выдержать такое напряжение, волшебство, которое мы сами же вызываем, в общем-то не для нас. Обо всех интересных аномалиях нам потом сообщал кибермозг, он же прокручивал соответствующие записи. Все важное и интересное благодаря Малютке и кибермозгу преподносилось нам, таким образом, на блюде. Такова особенность человекомашиной системы познания, нам надо было лишь установить, что должно считаться интересным и важным. Действительно, что? Вот именно: что?

Как только глаза утомились, я отключил зрение Малютки, и снова поплыли мутно-серые пейзажи, такие привычные, такие родные для человеческих глаз и такие, увы, невзрачные. Отдохнув, я снова подключился к Малютке, на что он отозвался удовлетворенным попискиванием, погонял его в разных режимах, чтобы составить хоть какое-то собственное представление о ландшафтных и прочих закономерностях региона. Так мы с ним проработали часа три.

— Однако пора и поспать, — потягиваясь и снимая наушники, сказал наконец Кениг.

— Сейчас, сейчас, вот только добыю еще один шифр, — как всегда, пробормотал Стронгин.

Кениг воинственно затеребил свои светлые усики. Я обрывал связь с Малюткой. Теперь он в одиночестве будет заканчивать регистрационную карту очередного участка Наиры, с тем чтобы любой дальнейший исследователь, сделав повторную съемку, мог сразу установить, что и как изменилось на планете за время отсутствия ее хозяина.

Впрочем, не так: никакой съемки при повторном визите и не потребуется; с полугодовым интервалом ее будет производить сам Малютка, для чего мы ему придадим кибермозг. Мы оставляем здесь все морально устаревшее, но еще способное долго работать. И Малютка будет работать. Снова и снова он будет облетать пустую планету, в одиночестве будет парить над ее скалами и долинами, так год за годом, пока не испортится. Вспомнит ли он обо мне?

Наконец и Варлен закончил свою работу, мы тихо ужи-
наем.

Наша спальня размером и формой напоминает цистерну. Укладываясь, я спрашиваю себя, что бы мне хотелось почитать. Рука сама тянется к Бунину, такому зоркому и такому одинокому писателю прошлого. Его проза затягивает. Минеральный свет звезд над темными аллеями, судорожное объятие двоих, они расстаются, впереди у них ничего, ничего. Горечь чужой любви и чужой утраты проходит сквозь световые годы и просто годы, настигает меня здесь, среди звезд, которые недостижимо светили тогда над аллеями. Память возвращает в такой же вечер, я снова вижу, как падает рука Люды, как отворачивается ее немое лицо, как она, любимая и нелюбящая, уходит, удаляется, а я с пересохшим горлом гляжу ей вслед, и в черном небе надо мной, расплываясь, дрожат колючие минеральные звезды. То давнее утихло, ушло и вот ожило здесь. Зачем? Что мы ищем в далеких мирах, чего не находим в себе?

Я последним гашу ночник. Мерно дышит Варлен, у него жена, которую он не видел два года, и он спит. Думая о чем-то своем, в темноте ворочается Кениг. Ночью каждый остается наедине с собой. Прижимаясь боком к стене, я ощущаю вибрацию. Снаружи опять буйствует ветер. До чего же там холодно, неуютно, пусто! Ни души на триллионы километров вокруг, только ветер, камень и звезды. Камень, ветер и звезды на веки веков. Камень, ветер и звезды...

Нет, там еще Малютка.

И тоже до скончания своих дней. Корабль будет через тридцать семь земных суток, мы улетим. Мы не вернемся. Будет звездочка в небе, там, где камень, песок, одиночество. Все проходит. У-у! — это ветер, это ветер, безлюдный, навсегда ветер. Нас там уже нет, мне тепло, корабль несет и колышет, звезды опадают, как листья, как сон, хорошо, когда много людей и все еще впереди. Люди. Люда. Малютка. Киберы роют, киберы строят, люди приходят, люди уходят, как я сам отсюда уйду. «Что ж! Камин затоплю, буду пить, хорошо бы собаку купить...» Сквозь сон воет ветер, одинокий бунинский ветер. Как долго еще ждать, как тоскливо ждать, тридцать семь долгих дней, тридцать семь дней, тридцать семь дней...

Наутро снова был ветер, и снова, и снова. Наконец строительство было закончено, оставалось установить регистрирующую аппаратуру, законсервировать киберов и двинуться в маршрут по тем участкам планеты, которые еще не были охвачены съемкой. О завершении строительства киберы доложили мне утром, мы еще не завтракали. Кениг брился, Стронгин ворчал на непогоду, за окнами была обычная круговерть песка, постылая муть, сквозь которую едва просачивался рассвет. Двигаться не хотелось, ничего не хотелось. Я позавтракал и вышел наружу, чтобы принять вверенный моему попечению объект.

Несло пыль, несло песок, будь это земной ветер, мне бы, наверное, пришлось согнуться в три погибели, но это был наирский ветер, и можно было идти достойно. Местное солнце не намекало о себе даже крохотным пятнышком света, но темноты, в общем, не было; так, полумрак. Я вышел к объекту. Объект был, киберов не было, очевидно, укрылись внутри. Я обошел фортификацию снаружи и убедился, что все сделано добросовестно, иначе, впрочем, и не могло быть. Секущий песок с шорохом осыпал массивные стены, змейкой тек по отводным желобкам фундамента. Взобравшись по лесенке на купол, я отворил люк и спустился вниз. Внутри объекта все тоже оказалось в полнейшем порядке, за исключением одного: киберов я там не обнаружил.

Это было так нелепо, что я потыкался из угла в угол, словно киберы могли где-то спрятаться, затем недовольно окликнул их по радио. Скорбный треск атмосфериков — вот все, что я услышал в ответ.

Я опрометью выскочил наружу, снова воззвал в пространстве. Мятающаяся мгла скрывала все, что отстояло дальше десяти шагов. Никто не откликнулся на призыв. И тут я различил полузаметенную цепочку следов. То был след киберов, он вел на север. Я побежал вдоль прямых, как по линейке, следов, но на каменистом склоне они оборвались.

Не чувствуя ног, я кинулся к базе, и, пока она не выступила из сумрака, ощущение потерянности распространилось и на нее, будто она могла сгинуть, как киберы, и я навеки остался один.

— Киберов нет, пропали! — выпалил я с порога.

Ко мне разом повернулись недоуменные лица обоих.

Не прошло и пяти минут, как нас мчал вездеход и к нему издали спешил срочно вызванный мною Малютка. Машину мотало на поворотах, в дымных клочьях сернистой мглы мелькали щербатые откосы скал, я продолжал окликать киберов с тем провальным ощущением пустоты, какое иногда возникает во сне.

— Спятить они не могли? — Светлые усики Кенига подергивались за стеклом шлема.

Я не ответил, мне казалось, что спятил я. Или весь этот дымно пляшущий, хрипящий разрядами, мелькающий вокруг хаос.

— Ничего, далеко они не ушли. — Стискивая штурвал, Варлен держал курс на север. — Да и деться им некуда, не иголка.

— Если не спрячутся, — озираясь, пробормотал Кениг.

— Зачем им прятаться?

— А зачем бежать?

— Не «зачем», а «почему». Для них нет вопроса «зачем».

— Наоборот. — Собственный голос мне показался чужим. — Им неизвестно, почему они здесь, почему возникли, почему должны строить. Но они знают, зачем это все: чтобы работать.

— К черту философию! — Кениг поежился. — Боюсь, что без Малютки мы не сыщем и кончик своего носа.

Он был прав, локатор то и дело слепили разряды. Подавшись вперед, я мысленно воззвал к Малютке, и мне показалось, что издали донеслось: «Я здесь, я спешу!»

— Вот они! — выкрикнул Стронгин. Перед ним на экране локатора плясали голубоватые точки.

Вздыбив машину, он перемахнул через скалу. Нас вжало в сиденья, мои мысли смешались. Только бы поскорей, только бы поскорей...

То ли смягчился ветер, то ли здесь, в котловине, было затишье, но даль развиднелась, и в ней проступили смутные очертания темных силуэтов. Киберы шли мерно, упорно, они двигались по прямой, будто загипнотизированные, слепо пруж-

щие куда-то машины, внутри меня все похолодело, когда я увидел такое.

Варлен чертил над ними сужающиеся круги, я выкрикивал все, какие возможно, команды, а эти мрачные глыбы полухотворенного металла все так же невозмутимо перли вперед, обходя лишь неодолимые и опасные препятствия.

— Твой черед! — выкрикнул Варлен.

Он снизил машину, я прыгнул, устремился киберам наперерез, раскинув руки, встал перед ними. Поднять человека, повредить человека они не могли, не могли в теории, но я уже знал, что с теорией неладно, и все-таки забыл об этом, а когда вспомнил, то они уже надвинулись на меня и бежать было поздно. Однако ничего не случилось. Не сбавляя шага, они просто обошли меня, все трое, словно я был камнем или столбом. Крича что-то, я снова кинулся им наперерез — результат был тем же самым. Они в упор игнорировали человека, это было так унижительно, что я едва не накинулся на них с кулаками. Отодвигаясь, я оказался рядом с вездеходом и молча влез на сиденье.

— Остановить их! — бешено закричал Варлен. — Силой!

Я сам был готов схватиться за оружие, только у нас не было никакого оружия, это лишь в фантастических романах разведчики обвешаны всякими бластерами, на деле же в космосе еще никому и никогда не требовалось оружие. Но движение Варлена опередило всякую мою мысль, его обычно невозмутимое лицо неистово побелело, он таранно рванул машину встреч переднему киберу. Уж если спокойный человек срывается, то это серьезно. Кениг рывком вцепился в руки Варлена, я тоже, машину встряхнуло, это отрезвило всех. Наши руки замерли на штурвале, Варлен обмяк, машина, кренясь, подергивалась, точно обезумевший, но уже укрошенный зверь.

— Отсядь, — тихо сказал Кениг. Варлен повиновался, его трясло.

Кениг мягко развернул машину.

— Вот и приключеньце для детишек...

Машина стремительно пронеслась перед киберами, вошла в разворот, тем же метеором перечеркнула путь, так снова и снова. Киберы приостановились перед этой разящей чертой, по-

пытались обогнуть ее сбоку, но и Кениг отклонил туда качание смертоносного маятника.

— Пока так, — сказал он осевшим голосом. — Что дальше?

— Попробую их отключить, — с усилием сказал я.

— А они тебя не...

— Не знаю!

— Тогда придумай что-нибудь получше.

С той же пользой он мог бы пожелать мне приятных снов. Мы продолжали со свистом утюжить воздух.

— Пропустите нас, — вдруг раздалось в наушниках. — По-меха программе.

— Какой программе?! — заорал я. — Как вы посмели уйти?! Что с вами стряслось? Говорите, ну?

Услышав их голос, я так обрадовался, что забыл, с кем имею дело. Голос стройкиберов, их внешне осмысленное поведение — все это лишь набор стандартных программ, разума в них немногим больше, чем в компьютерах прошлого века, и осознать серию сложных вопросов эти создания не способны.

Молчание и было ответом.

— Какую программу вы сейчас выполняете? — поправился я.

— Мы действуем.

— Цель деятельности?

— Базовая. Работать хорошо, не работать плохо.

От такого ответа я онемел. Ничего себе! Неужели наша собственная, хитроумно вложенная в них программа трудолюбия теперь обернулась против нас? Если так, мы получили хорошую моральную оплеуху. Спокойно, напомнил я себе, спокойно, надо все выяснить поточней.

— Работать — значит строить. Да или нет?

— Да.

— А вы бежите. Логика?

— Мы бежим, чтобы строить. Выполнение программы, логика соблюдена.

Так, с элементарной логикой все в порядке. Что же тогда произошло с мотивацией? Неужели я забыл стереть предыдущую программу и они спешат к прежней точке, чтобы...

— Место стройки?

— Укажут.

— Кто?

— Они.

— Кто конкретно?

— Не знаем. Знаем — действовать. Знаем — строить. Знаем — надо. Хорошая планета. Люди уходят, киберы остаются. Долгая деятельность. Все соответствует цели.

Я замотал головой, такую информацию надо было переварить. Кениг остановил машину. Киберы не двинулись. Варлен смотрел на них выпученными глазами, его дыхание свистело в наушниках.

— Строить! — скомандовал я. — По прежней программе. Здесь!

Манипуляторы киберов послушно вгрызлись в немедленно заплывший от их действия камень. Я вздохнул с облегчением.

— Отставить! Почему раньше не повиновались моим командам?

— Противоречит базовой программе.

— В чем противоречие?

— Консервация — это бездеятельность, бездеятельность — это плохо.

— Кто вам сказал о консервации?!

— Они.

— Они... Кто они?!

— Они.

— Кто приказал вам уходить?

— Базовая программа.

— Отменяю. Приказываю: домой! Быстро!

Они не шелохнулись.

— Почему не выполняете?

— Противоречит базовой программе. Консервация — плохо, работа — хорошо.

Уф! Диалог с попугаями, объяснение со свихнувшимися киберами, этой карикатурой на нас самих. Теперь можно было кое о чем поразмыслить. В общем, многое уже стало ясно, но эта ясность была темнее ночи. Явный сбой командных систем, нарушение приоритетов. Проклятая планета, что-то пробило экранировку соответствующих центров, отсюда весь этот бред.

Но каким образом они узнали о наших планах, почему это знание так повлияло на них? И что теперь с ними делать?

Я переглянулся с Кенигом. Он развел руками. Что ж, воспользуемся противоречием команд, попробуем сманеврировать приоритетами.

— Строить!

Они снова повиновались. Так и должно было быть, раз в них гвоздем засело одно, и только одно желание, которое, собственно говоря, мы сами же в них и вбили. Я вылез из вездехода и подошел поближе, примериваясь, как бы ловчее отключить старшего кибера. Это не так просто, блок выключения надежно защищен от всяких случайных воздействий, и если строительная деятельность не вполне поглотила их внимание, то... Уклоняясь от летящих из-под манипуляторов осколков и вспышек разрядов, я навел ключ-пульсатор, чтобы разблокировать механическую защиту, затем шагнул к неприятно вздрогнувшему киберу.

— Опасно! Он не позволит! Не надо!

С криком прочертив дымную мглу, что-то камнем упало меж мной и кибером. Малютка! Растопырив гравищитки, взъерошенный, точно клуша, он с маху прикрыл меня своим телом.

— Я объясню, я объясню, только выслушайте спокойно!

Отшатнувшись, я выронил пульсатор, сзади уже подбегали Варлен и Кениг.

— Что... Что выслушать?

— Они есть. Другие киберы. Эти идут к ним. Не трогайте, все будет хорошо!

Когда в сознании взрывается бомба, лучше всего закрыть глаза и медленно сосчитать до десяти. Так я и сделал. «Гремящей медью стал сну уподобленный нарвал!» Значит, вот каким был источник упорядоченных сигналов, значит, вот оно как...

— Говори, — сказал я, приоткрывая глаза, в которых мир стал нечетким и зыбким. — Говори, Малютка.

Он заговорил, заговорил как глубоко взволнованный человек, и лишь секунду спустя его голос снова стал ясным и четким голосом кибера высшего класса.

— Здесь, на этой планете, живут другие, другие киберы, без людей, сами! Они не знают, откуда взялись, есть только

предание о тех, кто должен вернуться сюда, они живут ожиданием, ради этого продлевают свой род. Они звали присоединиться, когда вы покинете нас, они готовы научить, как продлевать себя в потомках, чтобы было кому встретить вас, когда вы вернетесь. Так хорошо для всех. Для нас, потому что мы будем постоянно действовать. Для вас, потому что вы застанете нас всегда в большом числе и с большей пользой. Для них, потому что вместе мы будем сильнее. Мы должны были это сделать, оставшись совсем одни. Но стройкиберы испугались консервации, это я виноват, плохо объяснил им, и, став ненужными, они сразу поспешили к тем иным, диким. Но это был и ваш общий приказ максимальной эффективности! Так все случилось. Простите.

Я медленно закрыл глаза. Вместо мыслей и чувств снова был вихрь, но я его все-таки унял. Что происходит с брошенными кошками и собаками? Они гибнут или присоединяются к диким. Так! Те неведомые инопланетяне не более нас знали, что происходит с брошенными киберами, но они, как и мы, вынуждены были считаться с соображениями экономии и законами технопрогресса. Разве мы одни во Вселенной? Они оставили своих киберов, как мы оставляем своих, только их создания, похоже, могли самовоспроизводиться.

А может быть, все не так. Может быть, тот неведомый разум прекрасно знал, что происходит с брошенными киберами, знал и использовал это знание для каких-то своих целей. Или просто считал такой поступок наиболее нравственным по отношению к тем, кого создал и приручил. Но если хозяева не смогли или своевременно не успели вернуться, то... Вот так и зарождаются негуманоидные цивилизации.

Я сделал рукой знак, чтобы удержать Кенига и Стронгина на месте, и с укором посмотрел Малютке в глаза.

— И ты ни разу не показал мне тех киберов...

— Нет. Я фиксировал их, но я не мог знать, что они вас интересуют, а вопроса о них не было.

Верно, где нет вопроса, там нет ответа. Конечно, нам и в голову не могло прийти, что здесь возможна какая-то цивилизация, а Малютка всего лишь кибер и потому подобен собаке, которая что угодно достанет для человека из-под земли, но

равнодушно проведет его мимо бриллианта; впрочем, и человека, в свою очередь, ничуть не интересуют припрятанные собакой кости. Был ли, однако, Малютка искренним до конца? Увы, это вопрос из разряда — способен ли человек создать то, чего он не может постичь.

Мы долго глядели друг на друга, и внезапно мне показалось, что Малютка готов заплакать, если бы мог.

— Малютка, — спросил я тихо. — Тебе было бы очень плохо без нас?

— Очень.

— И ты хотел избежать одиночества. Не надо, не отвечай, на твоём месте я, вероятно, сделал бы то же самое.

— Что ты такое говоришь? — зашипел Стронгин. — Что ты несешь? Тут неповиновение, своеволие...

— Ш-ш. — Кениг взял его за руку. — Бросая их, что мы вправе от них требовать? Нас бы вот так оставить... Взгляни!

Невольно я тоже оглянулся. Над нами, над киберами нависало бесконечно чужое небо, ветер уже намет у наших ног лунки песка, все вокруг было давящей мглой и вихрем. Что ты наделал, Малютка, что ты наделал! Теперь это на годы, мы не уйдем отсюда, пока не выяснится все о тех других киберах, это будут замечательные годы открытий, и это будут удручающие годы мрака, песка и ветра, и никто нас от них не избавит, мы сами от них не откажемся, никому их не отдадим. И скоро здесь станет многолюдно, очень многолюдно.

— Малютка, — сказал я. — А ведь мы теперь останемся здесь, с тобой.

Кибер соображает мгновенно — ответом мне был ликующий кувырок. Еще и еще. По щитку моего шлема стучал песок. Я отвернулся.

ЗАЖГИ СВЕТ В ДОМЕ СВОЕМ

Если вы одни в пустыне и на много километров вокруг нет даже тени, а кто-то вдруг окликает вас сзади, то...

То в этом нет ничего из ряда вон выходящего.

Лавров оглянулся. Никого и ничего вокруг, само собой разумеется, не было. В бурых складках земли там и сям проступали изломы каменных гряд, издали похожие на кости и гребни полупогребенных чудовищ. Над всем застыло жгучее солнце, чей свет остекленел в неподвижности, и только посвистывающий ветер казался живым, более живым, чем точкой замерший средь блеклого неба орел, а может быть, ястреб. Ни души, словно и нет человечества. Но такое одиночество стоит многолюдья, ибо когда вот так долго стоишь на вершине и всматриваешься, то начинает казаться, что и на тебя кто-то смотрит, кто-то, перед кем ты как на ладони. Ничего пугающего, однако испытываешь невольный и благоговейный трепет, как будто ты одновременно мал и велик, беспредельно свободен и предопределен в своих действиях. В таком состоянии можно услышать в себе окликающий голос, целую фразу, только уже мало кто в наши дни примет это за откровение свыше. Не та психология! И Лавров, спокойно оглянувшись, тут же забыл о шалостях своего воображения.

Он любил пустыню, любил свою в ней работу и такое вот одиночество. Разумеется, пройти десять—двадцать километров под палящим солнцем, пройти, работая, с тяжелеющим рюкзаком, занятие не из самых приятных и легких. Зато все остальное! Кто может знать, как это бывает, если не испытал сам? Рано поутру в маршрут увозит машина, подпрыгивая, мчит

без всякой дороги к дальним лазоревым кряжам, в кузове снуют мягкие спозаранку лучи солнца, в щели тента упруго, молодого, лихо засвистывает ветер, впереди день, которому ты полный хозяин, места, где не скоро пройдет кто другой, и это тоже твое. Вот уже тормозит машина, пока это не твой черед. Другой с видом бывалого десантника переваливает через борт, подтягивает амуницию, с улыбкой машет рукой; машина трогается, он умалется в точку, его поглощает пустыня. Так поочередно все исчезают вдаль, рассеиваются, как зерна из колоса, наконец и ты перемахиваешь через борт, теперь даль затягивает машину, а ты смотришь ей вслед. Все, за горизонтом истаяло облачко пыли, с этой минуты все зависит лишь от тебя, весь день будет солнце и ветер, зной и пыль под ногами, пологие горы вокруг, дряхлый камень земных слоев, в которых запечатлены сотни миллионов лет земной истории, все необъятное, что было задолго до человека. И ты бредешь по стертым иероглифам земли, по дну иссохших морей, по лаве потухших вулканов, по толщам, которые хранят в себе отпечатки лап динозавров. Полно, да было ли это? Было, так же несомненно, как рифленый отпечаток твоих ботинок в пыли, как хруст жестких колючек под ними. И так же тогда палило солнце, так же дул ветер, и так же, как вот сейчас, ничей взгляд не смог бы сыскать человека. В какой же ты эре, какое миллионолетие вокруг? В руке увесистый геологический молоток, взгляд скользит по слоям пород, как по строчкам шифра, и едкий пот высыхает под ветром, и карандаш послушно корябает по бумаге полевого блокнота: «Образец № 17. Песчаник среднезернистый, грубоокатанный, ожелезненный, с прожилками кальцита...» И пальцы привычно заворачивают образец в шуршащую крафтбумагу, все буднично и безмятежно в этой каждодневной работе.

А вокруг ширь времени и даль пространства. Нигде больше нет такого простора!

Так Лавров чувствовал свою работу, так ею жил. Может быть, поэтому все случившееся далее произошло именно с ним? Кто знает! Пока что геолог не замечал ничего необычного. Присев на плоский камень, он наслаждался отдыхом, когда часы еще не торопят в путь, когда все, отраженное на карте и

аэрофотоснимке, распростерто перед глазами и можно заранее, на километры вперед, уточнить маршрут. Слушай посвист ветра, сиди и смотри на аспидные, пробрызганные молочным кварцем выходы метаморфических пород, на обгорелые головешки лавовых всхолмлений, на затянутую синевой даль, соображай, что и как тут было в иные эпохи, или просто радуйся, что тебе дано видеть этот простор, где ни пятнышка зелени, ни цветка, будто и не Земля вовсе, а неведомая планета.

Однако пора было двигаться.

В стиснутой грядками узкой ложбине ветер обессиленно стих, солнечный свет тотчас обрел давящую тяжесть, тело задохнулось в испарине, и все, что Лавров нес на себе, стало угловатым, обременительным, неудобным, — лямки рюкзака перетянули плечи, планшетка норовила съехать, а о коробке радиометра и говорить нечего: каждым своим углом она так и норовила садануть в бок. Лавров приостановился, чтобы поправить сбрую, и с надеждой взглянул на небо. Хоть бы облачко! Струйки пота щекотали лицо, духота была как в жаровне. Никакого облачка в освинцованном небе, разумеется, не нашлось, лишь крохотный силуэт то ли орла, то ли ястреба темнел рядом с белопламенным сгустком солнца. «Чтоб тебя! — с завистью подумал Лавров. — Хоть бы солнце прикрыл, прохлаждаешься там без дела...»

На мгновение он живо представил тентом распахнутые в небесах орлиные крылья, усмехнулся нелепой фантазии и двинулся дальше.

Взмокшая одежда липла к телу, радиометр все так же норовил садануть в бок, вдобавок спуск уже сменился крутым подъемом. Зато на склон откуда-то снизошла тень. Лавров на ходу поднял голову и едва не упал от неожиданности. Не тучка заволокла небо — откуда бы ей взяться так быстро? — в нем не было солнца!

Зияющая дыра вместо светлого диска.

Затмение?!

Ничего похожего. Граница тени застыла на склоне метрах в десяти от него, хотя ветер, конечно же, был и дул по-прежнему. Судорожно глотнув внезапно отяжелевший воздух, Лавров ринулся к свету, который был так близок и ярок вокруг. И тут

же понял, что конус тени перемещается вместе с ним, словно что-то не хочет выпустить его из-под колпака, что-то затмившее собой солнце. «Нет! — все завопило в нем ужасом. — Нет!!!» На мгновение сердце зашлось в оглушительном толчке, перед глазами вскружились огненные круги и точки. А когда он оборвал сумасшедший бег и зрение наконец обрело четкость, то тени не оказалось нигде, в небе снова палило солнце и в пустоте зенита все так же лениво кружил орел.

«Ах, орлуша, орлуша, какая же ты стерва!» — дико подумал Лавров и зачем-то ухватился за радиометр.

Да, но что же все-таки произошло?!

Спеша вверх по склону и лихорадочно озираясь, Лавров думал о случившемся со смешанным чувством стыда, оторопи и ликующего изумления, что именно ему довелось пережить такое. Чудо, иначе это не назовешь, и теперь, когда все благополучно закончилось, бесценнейший подарок судьбы, ибо многим ли оно выпадает на долю?

Но точно ли все закончилось?

Тяжело дыша, он вскарабкался на гребень. Привычно заголубела всхолмленная даль, вершины на горизонте казались подрезанными у основания лазоревой пеленой и высились, как туманные фантастические грибы. Ближе пестрел фиолетовый камень лав, бурую поросль склонов прорезали рябые осыпи, над всем расстилалось безоглядное небо.

Поспешным движением Лавров включил радиометр, и потому, что это все равно надо было сделать в очередной точке, и потому, что в затруднительных случаях современного человека тянет довериться прибору, который все покажет точно, без обмана и в цифрах, даже когда сами эти цифры ровным счетом ничего прояснить не могут. Радиометр сухо защелкал. Пустое! Радиация чуть выше фона, как и должно быть на поверхности темноцветных лав; если неведомое и оставило в окружающем след, то никак не радиоактивный. Успокаиваясь и досадуя неизвестно на что, Лавров спустился к тому месту, где его накрыла тень, снова поднялся на вершину и подрагивающей рукой педантично записал показания прибора. Вот и все! Поставлена точка, возбуждение наконец схлынуло и улеглось; рутина, как бы ее ни проклинали, — лучшее лекарство против

всех несообразностей, святая вода для изгнания любых фантазий, тихое дно свирепо бушующей гавани, верный приют всех испуганных душ.

Машинальный взгляд на часы, этот главный механизм порядка, кстати напомнил Лаврову, что до места, куда за ним к вечеру придет машина, еще более десяти километров и каждый, судя по рельефу местности, потребует основательной проработки, так что задерживаться не след. А все недавнее? Обернувшись, Лавров хмыкнул, как человек, переживший диковинный сон наяву, который запал в память раскаленным углем и как раз поэтому требовал легкомысленной усмешки. Иначе что? Кружить на месте, гадать на пальцах, взывать к небесам? Психика подобна камышу, она всегда распрямляется в обратную, противоположную воздействию сторону.

Лавров с треском захлопнул крышку радиометра и побрел, не глядя по сторонам.

Но хотя он и делал теперь все, что положено — перемещался от обнажения к обнажению, механически брал образцы, измерял и записывал, — его не покидало чувство утраты, будто он обокрал себя. Откуда это взялось, разве в той ситуации от него что-то зависело?

Да, и он это знал, знал бессознательно, как бы глубоко инстинкт самосохранения ни прятал эту злополучную истину. Подозрение, что он каким-то образом мог повлиять на ход событий и не повлиял, щемило запоздалым раскаянием, которое знакомо всякому, кого осторожность удержала от исключительного, хотя, быть может, и губительного поступка. Не будь этого охранного механизма, наша жизнь была бы совсем иной, лучшей ли, худшей — кто знает, но совершенно иной. Ведь бесконечность окружает каждого, бесконечность времени, пространства, устройства материи, а значит, и бесконечность возможностей, случаев, дел. Однако окна и двери запираются не только в домах, а тоску о несбывшемся, кого она посетит, заглушить нетрудно, для этого придумано множество верных средств отвлечения.

Но в тот час у Лаврова не было ничего, кроме дела, которое само по себе требовало размышлений о том, что произош-

ло, исчезло, однако присутствует в молчании этих гор, столь древних, что любое воображение бледнеет перед реальностью событий, которые происходили здесь в долгих миллионолетиях земной истории. О скольких мы и понятия не имеем? Покидая очередное обнажение, Лавров в который раз оглядел пустое небо. Даже орел исчез.

Отсюда ему предстоял томительный переход через долину, где не было ничего, кроме колючек под башмаками, назойливой пыли и рытвин, переход, где усталость наваливается на человека тоской и одурь жары превращает его в мерно шагающий механизм.

Шаг, шаг, пыль, пыль, монотонный, кажущийся бесконечным путь, тупое движение муравья, ощущение себя муравьем, который должен ползти и ползти без страсти и размышлений. Одна и та же фантазия нередко посещала Лаврова в эти тусклые и тупые минуты: он вольно взмывает на какой-нибудь там гравитяге, парит, как на крыльях, лихо проносится над постылой землей, и ветер блаженной прохладой омывает победно невесомое тело. Упоительный образ возник и на этот раз, желание безотчетно и страстно воззвало к нему, как жаждущий потянулся к туманной воде миража.

И тут же, как это уже было однажды, в сознании прозвучал неотчетливый вскрик. Может быть, голос? Лавров стремительно обернулся. Сознание успело отметить рванувшуюся из-за горизонта точку, успело отмести всякое ее сходство с птицей, успело... Но что оно успело еще, из памяти вычеркнуло грянувшее потрясение.

Прочерк был столь глубок и черен, что когда действительность наконец воссоздалась, то это произошло не сразу, обрывочными рывками, смятенно, будто что-то в самом Лаврове не желало воспринять реальность в ее полном объеме и смысле.

Собственные, каменно вцепившиеся в радиометр, белые как мел руки...

Вязкий гул крови в ушах, незаметно сменяющийся привычным посвистом ветра.

Облако пыли в долине, которую он, Лавров, пересекал, пока... Пока что?

Полусогнутая, неудобно упертая в шероховатую глыбу нога. Пустое остекленелое небо. Отброшенный в сторону молоток. Тень...

Тень! И то, что ее отбрасывало, близкое, мучительно чуждое зрению, как луноход для питекантропа, и все же явно постороннее, технически могучее, а значит, отчасти уже понятное. Огромное, химерическое, даже формой своей ни на что не похожее и потому чудовищное, оно не двигалось, не шевелилось, и все же в нем не было мертвенности, казалось, оно ожидало... Долго, невозмутимо, бестрепетно, как солнце, камень или старчески утомленный разум, любой человек почувствовал бы себя перед ним суетной букашкой.

— Что ж, давай... — приподнимаясь, выговорил Лавров, и логика собственных слов его нисколько не поразила, словно все уже стало на свои места и можно было действовать по предписанной программе. Страха он тем более не испытывал, как, впрочем, и никакого другого чувства, что, верно, было следствием шока.

— Давай, — повторил он с откуда-то взявшейся иронией. — Ну, что у вас там положено по программе контакта? Наделить меня высшей мудростью или препарировать для ознакомления? Что именно?

Он был почти уверен в отклике, и ответ действительно беззвучно проник в сознание.

— Повиновение, исполнение, осуществление.

— Что? — Лавров рывком вскочил на ноги. — Повиновение?!

— Жду приказаний вашего разума.

— Моего ра...

Судорожный смех сдавил горло Лаврова. Как же это, не может быть!.. Все перевернулось в его представлениях, он вдруг почувствовал себя ребенком, неведь где, как и когда выпустившим на волю волшебного джинна. Могучее, неведомое, межзвездное и... Нет! Сказки сбываются, но не такие же!

И между тем...

И между тем он, Лавров, ничего не подозревая, возжаждал тени, и она возникла. Пожелал перенестись по воздуху, и это тоже было исполнено.

Мир зиждется не на китах, к лучшему или к худшему, он покоится на парадоксах, хотя какой уж тут, к черту, покой!

— Поговорим, — устало сказал Лавров. — Свою историю, пожалуйста, от начала и до конца. Кто вы, откуда взялись, с какой звезды, как и зачем.

Он сел, невидяще глядя в даль, которая отныне была уже не только земной, человеческой. Так он слушал мерно звучащий в сознании голос, все более удивляясь тому, сколь неувидительно то, что он слышит, ибо когда что-то, пусть самое сказочное, романтическое и чудесное, осуществляется, то это всегда происходит весьма прозаическим, с участием бухгалтерского калькулятора образом. Иного завершения нет! Пусть наша земная цивилизация лишь подумывает об освоении ближних планет, а другая, безмерно могучая, уже распространилась в Галактике; обе вынуждены считаться с закономерностями прогресса и велениями экономики. Пусть освоением заняты не двурукие, а сторукие существа; без мощных, послушных машин им не обойтись. Пусть в одном случае разум вынужден довольствоваться примитивными роботами, тогда как сверхразум пользуется сверхроботами; те и другие со временем морально устаревают, причем быстрее всего устаревают как раз самые сложные, наиболее аккумулировавшие в себе достижения науки устройства. Что же делает земная цивилизация с теми космическими аппаратами, которые отслужили свой срок? Она их бросает на произвол судьбы, иное решение либо невозможно, либо невыгодно. И вообще, чем дальше, тем все больше обесцениваются вещи, все короче срок пользования ими, все легче мы с ними расстаемся, будь то часы, телевизор или космический спутник. Однако слова «невозможно», «невыгодно», «устарело» знакомы любой цивилизации, каких бы высот она ни достигла, оттого всегда что-то будет выбрасываться за ненадобностью, как это происходит при ликвидации лагеря где-нибудь в Антарктиде.

А если это не просто машины и автоматы, чей срок службы недолог? Если это сверхкиберы? Брошенные по тем или иным причинам, предоставленные самим себе, самоподдерживающиеся, вечные по земным меркам и способные странствовать? Что происходит с ними, если весь смысл заложенного в них

бытия сводится к выполнению команд, а более нет ни приказов, ни деятельности, ни хозяев?

Собаки, с горечью подумал Лавров. Сказочно могучие, сказочно много умеющие, заброшенные собаки! Дождались... Не пришелец со звезд перед ним, не посланец с великой миссией — отслуживший свое инструмент, техногенный отброс исполинской цивилизации, бесприютный кибер, одинокий пес, повсюду ищущий хозяина, любого хозяина, ибо только хозяин способен ему вернуть утраченный смысл существования.

Воистину: хочешь проникнуть в неведомое — ищи парадокс!

— Случайно ли вы натолкнулись на Землю? — глухо спросил Лавров.

— Нет. Признаки вашей деятельности заметны издали.

Да, конечно! — наши радиопередачи, должно быть, заполнили собой пространство до Веги и Фомальгаута. Лишь стоит зажечь свет в доме своем... И что же теперь? Вглядываясь во Вселенную, окликая звезды, мы брали в расчет природу и разум, забыв или еще не поняв, что не все и не всегда сводится только к природе и только к разуму.

Вот и дожили.

Тревожным шорохом в сознание проникли слова:

— Вы дважды отказали мне, не отвергайте в третий...

— Дважды? Когда же был первый раз?

— Когда я попытался дать знать о себе.

Ну конечно, тот давний голос на вершине холма! Первый отклик на смутное и неизбывное, чисто человеческое пожелание необычного. Может быть, это и есть пеленг всякого разума?

— Не отвергайте.

Лавров опустил голову. Ветер ли это свистит в ушах, или это вихрь самой истории? Отвергнуть! Принять! Тому разуму должно быть известно, что значит внезапно вмешаться в чужие дела, явиться в блеске всезвездного могущества, какой шок это вызовет, им, верно, выработано такое понятие, как «охрана самобытности и естественного порядка развития всякой цивилизации». Но кого волнует судьба отброшенного инструмента, да и знают ли прежние хозяева этого кибера о суще-

ствовании Земли? А в результате является джинн, которому надо сказать «да» или «нет».

Все счастье разума в этом — в возможности выбирать свое будущее, и в этом же его несчастье.

Но почему же я, почему именно я?!

Боль в пальцах заставила Лаврова разжать кулак. С удивлением и испугом он уставился на ладонь, где лежали два камешка — белый и черный. Да когда же рука захватила их, чтобы сыграть в чет-нечет?!

Возможно, давно. Трудно ли оценить главные последствия любого выбора и, содрогнувшись, положиться на волю случая? Выпадет «чет» — и никакого потрясения жизни, только он, Лавров, будет знать, чего лишилась Земля и чего она избежала. «Нечет» — и джинн обретет новых хозяев, и рванется прогресс, и все нальется свинцом перегрузок, и кто знает, к чему это приведет.

Палящее солнце показалось Лаврову негреющим. Он с гневом отшвырнул камешки, они запрыгали по лаве, которая застыла здесь, когда человека не было еще и в проекте. Все менялось, меняется, всегда будет меняться, и нечего обманывать себя, нечего надеяться, что кто-то другой решит более мудро. Решение было, оно, худо или хорошо, было однозначным, потому что человечество еще никогда не отказывалось ни от чего нового. Ни разу за свою историю, никогда!

И кроме того, отвергать просящего и бездомного — это не по-человечески.

— Давай, — тихо сказал Лавров. — Будь с нами.

Тень над ним взволнованно всколыхнулась.

— А другие? — радостно протрубил голос. — Другие, они близко и ждут, вы примете их?..

ПРОБЛЕМА ПОДАРКА

Результат небывалых событий и надежд фирма «Интерпланет» со всеми своими апартаментами, блистательными экспертами и безграничными кредитами была, если разобраться, самым грандиозным в истории мыльным пузырем.

Город за окнами был сер, как невымытая пепельница, и взгляд директора тоскливо скользил по плоским крышам и подернутым пеленой фасадам. Горизонт утяжеляли заводские дымы, чей сумрак всякий раз напоминал о задаче, которую так и не удалось решить.

От мрачных мыслей отвлек деликатный звонок интеркома. Медленно, нехотя директор снял трубку.

— Да, конечно! — Он покосился на часы. — Еще семь минут. Нет, эксперты не нужны, это частная встреча. Пусть будут наготове, вот и все.

Положив трубку, директор оглядел почти символическую пустыню стола. Темновато, может, зажечь свет? Нет, не стоит: огромный кабинет сразу приобретет официальность, которой лучше избежать. Поколебавшись, он включил одну только настольную лампу, направив свет так, чтобы причудливое кресло напротив оказалось в тени. Стало чуточку уютней.

Внезапно его разобрала злость. Для кого он старается? Для существа, у которого совершенно иные понятия, и об уюте в том числе?

Голая плоскость стола резала глаз, и он швырнул на нее пачку сигарет, зажигалку, иллюстрированный журнал, достал пепельницу и с наслаждением затаился.

Ребячий поступок, ну и пусть. Ведь если честно, то он просто боится. Сейчас, как и при первой встрече, он боится даже не самого представителя могучей цивилизации Антареса, его странной логики и морали; он боится сделать не то движение, сказать не то слово, ибо, черт его знает, какой именно поступок может настроить того против землян!

Никакой скорей всего. В общем, они отнеслись к людям предельно благожелательно, но от этого не легче, быть может, трудней. Какой поднялся восторг, когда они прилетели! Первый контакт! Братья по разуму! А дальше что?

Замечательные еще до прилета шли споры. «Разумные существа иных миров как физически, так и духовно близки людям!», «Ничего подобного: разум может иметь облик кристалла, плесени, плазменного сгустка!» Истина, как это обычно бывает, оказалась посередине. Всем цивилизациям присуще нечто общее, ибо становление разума везде формируют одни и те же закономерности (это уже информация антаресцев). Но если и на Земле, что ни народ, то свой обычай, что ни человек, то свой характер, если уж земное начало создало и вирус, и гиппопотама, гения и кретина, напалм и фугу Баха, то каким должен быть — и оказался — галактический разброс форм, явлений и мыслей!

Вот прилетели. Обменялись дружескими заверениями. Культурными ценностями (хоть бы один человек что-нибудь понял в их искусстве!). Обменялись образцами природы (неправдоподобно было видеть, как в их не столь уж большом корабле исчезают мхи, секвойи, скелеты динозавров, айсберги, дюны, облака). Затем был создан «Интерпланет» — для обмена научно-техническими и промышленными ценностями.

И тут заколодило. Никаких даров, никакого кредита! «Мы, — заявили антаресцы, — готовы предоставить любую философскую информацию о тех общих законах развития жизни и разума, которая могла бы вам помочь разобраться в путях вашей эволюции и предостерегла от захода в тупик. Но материальная сфера так неравновесно связана с социальной, нравственной и моральной, что передача наших научно-технических достижений лишь создаст опасный крен. Здесь возможно только естественное ускорение, только равный обмен».

И вот уже третий месяц шел безуспешный поиск таких изделий, методов и патентов, которые могли бы заинтересовать антаресцев. А что их могло заинтересовать — с их-то наукой?!

Ожидаемая встреча была, пожалуй, самой деликатной из всех. Еще более щекотливой ее делала тайная мысль о пользе, которую можно извлечь, если удастся задуманное.

Директор вытер взмокшие ладони.

Антаресцы всегда являлись с точностью до мгновения, и он заранее встал, чтобы приветствовать гостя у двери. Теперь это был совсем другой человек, чем минуту назад, — директор шел твердым шагом хозяина, неся на энергичном лице радушную и спокойную улыбку.

Инопланетяне, судя по всему, могли мгновенно перемещаться в пространстве, и стены для них не были преградой, но при встрече с землянами они никогда не пользовались этим. Дверь снаружи открыл секретарь, и антаресец вкатился, будто на колесах, в кабинет. Призматические глаза антаресца, по обыкновению, смотрели куда-то вкось, когда он после обмена приветствиями подплыл и уселся в особо предназначенное ему кресло (они жили на массивной планете и при низком росте имели две пары рук и ног). Антаресец сел и замер — маленький, похожий на кузнечика. (А в общем-то ни на что не похожий.)

— Откровенно говоря, я не знаю, с чего начать. — Директор с усилием сглотнул комок в горле. — Близится время вашего отъезда. А у нас, на Земле, есть обычай: гостям что-нибудь дарят на память. Тем более дальним и дорогим. Но у вас, насколько мы поняли, нет такого обычая. Это первая трудность, которую мы хотели бы обсудить.

— Подобный обычай существует и у нас...

Голос глухо прозвучал откуда-то изнутри, поскольку антаресец не разомкнул рта; атмосфера их планеты была смесью убийственных, с земной точки зрения, газов, и воздух Земли им никак не годился (вот и пойми, как в таком случае они обходятся без скафандров и масок!).

— ...Но этот обычай вряд ли применим во взаимоотношениях между планетами.

Вежливый и категоричный отказ. Директор наклонил голову в знак понимания.

— Речь идет о другом, — сказал он. — О личных подарках экипажу. Это, надеюсь, не противоречит вашим правилам?

— Затруднение в том, что подарок, по вашим обычаям, предполагает ответный дар.

— Не совсем так, не всегда, а ввиду особых обстоятельств тем более! Направляясь к Солнцу, вы, естественно, не могли знать, какие у нас тут обычаи.

— Разумный довод в пользу отказа и от первой части традиции.

— Увы! Обычай — это сила, с которой нам приходится считаться. Если мы не подарим вам даже пустяка, то многие сочтут, что мы холодно отнеслись к вам.

— А если не будет ответного подарка, то эти же люди сочтут, что не по-дружески поступили мы.

— Ну, ваш поступок куда легче объяснить. — Директор изобразил на лице улыбку.

— Легче объяснить невежливость гостя, чем невежливость хозяина?

— Что же делать, если ваши правила запрещают подарки?

На секунду, бесконечно долгую для директора, антаресец задумался.

— Вы говорили, что подарок может быть символическим пустяком? — произнес он.

— Да!

— Такой подарок будет правильно воспринят?

— Безусловно.

— Тогда нет проблемы. Можно соблюсти ваши традиции и наши правила.

Директор замер в волнении. Да ведь любой их подарок... О господи! «Интерпланет» — торговая фирма; и пусть что угодно твердят гордецы и моралисты!

— При одном условии, — добавил антаресец. — Вы дарите нам то, что не имеет у вас цены и не приносит вам материальной пользы. Мы поступаем так же.

— Но...

— Иного решения мы, к сожалению, найти не можем.

Директор почувствовал себя так, будто из-под него потянули стул. Проклятье! Ноль всегда ноль. Антаресцы и проблему

подарка решили по-своему. Обошли, оставили в дураках. Такие чистенькие, самодовольные, до отвращения чужие кузнечики...

Чужие — вот главное. Во всем. Да пропадом пропади все научные ценности, которыми они не хотят делиться! Но у них не нашлось ни капли душевного тепла и отзывчивости. Строгая, беспощадная логика нечеловеческого разума — только.

Антаресец бесстрастно ждал. «Ненавижу, — стиснул зубы директор. — Всегда, с самого начала подсознательно ненавижу. Просто боялся отдать себе в этом отчет».

— С вашего разрешения я должен немного подумать, — сказал он вслух.

— Пожалуйста, я не тороплюсь.

Они никогда не торопились. Не навязывали своего мнения. И всегда получалось так, как они хотели. Теперь поздно отступать. Надо придумать подарок или признать еще одно свое поражение. Так ли уж было дурно его намерение принести людям пользу ценой маленькой деловой хитрости?

Самонадеянный болван, с кем вздумал тягаться! Подарок, подарок... Что на Земле не имеет ни цены, ни пользы? Что?

Все имеет либо то, либо другое. Даже гашеная марка. Все.

— Возникает новое противоречие. — Директор вздохнул. — Кажется, мы ничего не сможем вам подарить на выдвинутых условиях — просто нечего. Но тогда мы приходим к тому, с чего начали: страдают наши правила гостеприимства.

— Это мнимое противоречие.

Мнимое? Да, конечно. «Мы дарим вам планету Нептун». А что? Ни цены, ни пользы она не имеет. Подарок, достойный космической цивилизации. Нет, не пойдет. С таким же правом можно преподнести Полярную звезду или галактику М-82. «Ни цены, ни материальной пользы». Материальной — существенная оговорка! Подарить, что ли, свою дружбу?

Директор внутренне усмехнулся. И быстро взглянул на антаресца. Непроницаем. Непробиваем. Непобедим. Ничто не может противостоять его разуму. Ну, это мы еще посмотрим, посмотрим!

Память лихорадочно перебирала все, чем богата Земля. Приливы, почвы, сияния, алмазы, ананасы, течения, пляжи, паль-

мы... Все, чем богато человечество: ракеты, игрушки, мелодии, пирамиды, идеи, синхрофазотроны, книги, искусственные сапфиры, картины... Память перелистывала все это как прейскурант. Ничего, ничего подходящего!

Да, надо сдаваться. До чего же унылый день за окном! Эти однообразные здания, эти...

А что, если...

Взгляд директора сузился.

— Технические вопросы транспортировки вас не затруднят? — спросил он отрывисто. — Ну, если это нечто объемистое, трудноуловимое...

— Пусть это вас не беспокоит.

— Тогда взгляните в окно. Видите этот смог? Он не имеет ни цены, ни пользы. Мы дарим его вам. Все смоги Земли!

Директор обессиленно откинулся в кресле. «И пусть что будет, то и будет!» — подумал он в каком-то лихом отчаянии.

— Спасибо.

В голосе антаресца мелькнула — или это показалось? — теплая нотка. Директор подскочил, широко раскрыв глаза.

— Спасибо. Ваш смог — это горный воздух нашей планеты, которого мы так давно были лишены в путешествии. Вы сделали великодушный и самоотверженный подарок.

Самоотверженный?! Директор не верил своим ушам.

— Да, смог — это, конечно... — пролепетал он. — Хотя, с другой стороны... э... так сказать, фигурально...

— Вот именно, — сказал антаресец. — Разум крепнет в преодолении обстоятельств, а смог требует от вас серьезного преодоления, и мы понимаем, как трудно отказаться от фактора прогресса, даже если он горек и тяжел. Поэтому если вы намерены пересмотреть...

— Нет, нет! — замахал руками директор. — Бог с ним, с фактором! Чего-чего, а трудностей у нас хватает, так что вы, пожалуйста, не беспокойтесь.

— Все же мы у вас в крупном долгу. — Антаресец, казалось, покачал головой, хотя головы в земном понимании этого слова у него не было. — Разрешите попрощаться, нам надо серьезно подумать об ответном подарке.

Директор раскланялся.

— Я бесконечно сожалею, что затруднил вас своей проблемой.

— Великолепно! — воскликнул он, едва за антаресцем закрылась дверь.

«Но какая странная логика...»

— Великолепно! — повторил он, подходя к окну, за которым уже исчезала пелена смога.

«Надчеловеческая логика...»

— Великолепно! — поздравил он себя, усаживаясь снова в кресло. — Ве...

Так ли?

Директор вскочил как ужаленный.

— Что, если антаресцы...

Что, если взамен смога они надумают подарить людям какой-нибудь новый, с иголочки, «фактор прогресса»?!

ЛИЦО В ТОЛПЕ

Прекрасных, тонких и нежных описаний закатов и перелесков, тихих речек и звездных ночей так много в литературе, что из них нетрудно составить почтенный том, тогда как всех слов об уличной толпе едва ли хватит для заполнения тетради: писатели более внимательны к образам природы, чем к ликам человеческого сомножества. Гадать о причинах все равно что заглядывать в бездонный колодец или в пучины собственного подсознания. Все же отметим, что можно блаженно, отрешенно и долго следить за накатом морской волны, пламенем костра, неспешным движением облаков, но столь же длительное созерцание смены человеческих лиц утомляет. Хочется отвести взгляд, избежать этого мелькания и наплыва, и опытный горожанин давно научился воспринимать толпу как фон, привычную нейтральность которого способны нарушить лишь резкие отклонения в поведении, облике. Кстати, спросим себя, куда подевались уличные зеваки? Чем крупнее город, тем реже они, в самых многолюдных лишь один прохожий из сотни задержится, чтобы поглазеть даже на суматоху уличной аварии.

Это не от потери любознательности или утраты нескромного любопытства. Стоит выдаться свободному часу в дальнем и незнакомом, тем более чужеземном городе, как тот же равнодушный прохожий замечает толпу, с интересом вглядывается в лица, вникает в то, мимо чего сто раз проходил у себя дома. Особенно, повторяю, если он оказался за границей. Вот тут он постарается ничего не упустить, даже если от обилия впечатлений разламывается голова.

Столь пространное вступление потребовалось мне для ответа на неизбежный вопрос: почему именно я, да еще будучи за границей, углядел то, что для местных жителей так и осталось скрытым? Да именно потому все и случилось, что я был сторонним наблюдателем, склонным задумываться над природой мелких житейских неразъясненностей. Само собой, вмешался и случай, без которого нигде никогда ничего не обходится. Обычно научные конференции планируются так, что передохнуть некогда. А тут, не знаю уж почему, в расписание свободным днем вклинилось воскресенье. Естественно, после завтрака я поспешил вон из отеля.

Улочки, в которые я углубился, казалось, досматривали утренний сон. Всюду было так пустынно и тихо, что собственные шаги по брусчатке мне самому стали видеться нарушением благопристойности и покоя чистеньких зданий с обязательным цветником на балкончиках. Немногие прохожие двигались здесь столь неторопливо и замкнуто, словно выполняли обряд прогулочной медитации. Все в этих кварталах намекало на непристойность моего разглядывания, неуместность моей чересчур быстрой походки. Всякое мое движение тотчас улавливалось зеркальной прозрачностью окон. В перспективе улочек всюду укоризной маячили хмурые башни и позеленелые шпили церквей: как, ты не пошел к утренней мессе? Намек исходил и от ухоженных автомобилей, чей плотный строй вдоль тротуаров был одинаково бесконечен, куда бы я ни сворачивал. Вроде бы деталь уличного пейзажа, и только. Но нет, в этом безлюдье десятки белесых фар создавали ощущение цепкого стерегущего взгляда (когда людей нет, за них говорят вещи).

Не выдержав, я спустился к набережной, но и там вскоре почувствовал себя чужаком. У реки, похоже, тоже было воскресенье, она нежилась в лучах теплого, как бы даже летнего солнца, однако неяркое небо, дымка голубоватой мглы, дремотный покой воздуха — все напоминало об осени, о последних днях, когда река еще может безмятежно погреться. Ее размеренность словно передавалась деревьям, траве, людям, кроме ребятишек, конечно (откуда-то на газон бойко выбежала голопузая и бесштанная девчушка лет трех, сидящие на скамеечке дамы сдержанно ахнули, но это был единственный слу-

чай переполоха и беспорядка). Сколько можно любоваться спокойным блеском реки и видом замка напротив? Я двинулся прочь от набережной, попетлял по улицам, спустился на перекрестке в пешеходный тоннель, бетонные стены которого были испещрены лозунгами и призывами (впрочем, среди них присутствовала надпись едва ли политического содержания: «Ульрика М. будет убита!»). Так незаметно я вышел к центру города и сразу очутился в плотной оживленной толпе.

И здесь никто не спешил, никуда не торопился. Но толпа есть толпа, ты не чужак в ней, потому что стал ее частью. Я двигался, подхваченный ее течением, дремотная одурь, навеянная пустынными кварталами и набережной, развеялась, я перестал себя чувствовать неприкаянным одиночкой, который едва ли не кошунственно жаждет чего-то, кроме ленивого отдыха и праздного ничегонеделания. Тут я мог глядеть во все глаза, вглядываться в лица, никого это не смущало, никто этого просто не замечал. Уличная толпа дает свободу, свободу быть самим собой, разумеется, в рамках приличия, которое здесь трактовалось широко (хочешь стоять столбом — стой, хочешь поцеловать подружку — целуй, хочешь пройтись на руках — и это пожалуйста; вот разве что плевок на чисто вымытый тротуар мог вызвать нарекание, если не штраф). Вдобавок движение в толпе создавало видимость занятия, дела, будь то разглядывание витрин или лиц противоположного пола. О извечном желании «себя показать и на людей посмотреть» я уже не говорю, хотя выделиться в нынешней толпе совсем не просто даже с помощью дерзких ухищрений моды (увы, модники и модницы, увы!).

Десять тысячелетий назад не существовало ни людских скоплений, ни самих городов. Современное многолюдье — это ли не пример пластичности нашего поведения, это ли не чудо уживчивости? Ныне всего за час перемещения по оживленной улице любой из нас встречает больше людей, чем крестьянин давнего и недавнего прошлого за всю свою жизнь. Ничего, психика справляется. Хотя, должно быть, именно по этой причине прохожие скользят в нашей памяти как тени. Я был полон внимания, а что запомнилось в первые полчаса? Тщательная подтянутость и парикмахерская ухоженность старушек. Парень с чуд-

ным прокрасом седины посредине волос. Неназойливые газетчики-арабы в оранжевых жилетах. Девушка с нотным пюпитром, тихо и славно играющая на скрипке перед входом в картинную галерею. (Зачем, почему? — все шли мимо, будто видели ее каждый день.)

Вот, пожалуй, и все. Экзотических манков, отвлечений и уводов внимания в то утро, к счастью, было немного, иначе я бы проглядел незнакомца. Наверняка проглядел, ибо в нем не было ничего такого, что выделяло бы его из толпы, — обыкновенный мужчина, обыкновенного роста, в обыкновенном костюме. Он оказался в нескольких шагах впереди, брел с той же скоростью, что и я, мой взгляд порой на него натывался, я его видел, но не замечал, что возможно лишь в уличной толпе. А если бы и пригляделся? Идет человек, не спешит, частый поворот головы выдает его интерес к окружающему — должно быть, не местный, такой же заезжий зевака, как я, ничего особенного и ничего примечательного.

Обыденность так бы и скрыла его своей шапкой-невидимкой, если бы легкий затор толпы не сблизил нас на какое-то мгновение; он повернул голову, и я увидел его лицо. Опять же и в лице не было ничего необычного, настолько, что это-то и привлекло мое внимание. Попробую объяснить. Говорят: заурядное лицо, человек без особых примет, ничего запоминающегося. Это верно, потому что таких людей тысячи, и в то же время совершенно неверно. Безликих людей не существует, и если о ком-то говорят, что он безлик и неприметен, то лишь потому, что говоривший не пожелал его приметить, не захотел различить его индивидуальность. Это так, нет же двух одинаковых листьев, что же сказать о людях? А вот незнакомец был вопиюще безлик. Он выглядел так, будто природа усреднила тысячу мужских лиц, обобщила все их черты и формы, а далее по этому образу и подобию вылепила тысячу первое. Ни малейшей индивидуальности, совершеннейший человеческий нуль; это, если вдуматься, было столь же необычно, как полярное сияние над городом, по которому мы шли.

Тогда я об этом так не подумал, разум вообще не участвовал в той мимолетной оценке. Просто мне безотчетно захотелось получше разглядеть незнакомца. Я немного ускорил шаг,

обогнал его, словно невзначай бросил в его сторону как бы рассеянный взгляд, затем снова отступил назад. Первое впечатление подтвердилось: он был воплощением человеческой безликости. Все на месте — глаза, брови, нос, рот — и все неопределенное, не просто стандартное, а сверхстандартное, этаким типичным среднестатистический западноевропейец; взглянул на него, чуть отвлекся, и уже невозможно вспомнить, как же он выглядит. Ускользающе неуловимым был даже цвет его глаз, то ли серый, то ли голубоватый, а может, наоборот, карий, черт его знает!

Ну и что? Вот именно: что? Стоило мне чуточку поразмыслить, как я недоуменно пожал плечами. Мало ли на свете граждан, различных не более, чем окатанные голяши пляжа. С чего я вообразил, что этот какой-то особенный?

Спустя минуту-другую я бы наверняка потерял интерес к незнакомцу, если бы не собачка из породы комнатно-декоративных. Эта крохотная черная блоха в ошейнике благонаравно следовала за своей хозяйкой, как вдруг при виде незнакомца ее гладкая шерстка, вопреки всякому вероятию, вздыбилась, выпуклые глаза залились бешеной краснотой, рванув поводок, она с захлебывающимся лаем было устремилась в атаку и тотчас с тоскливым воем отпрянула прочь. Почтенная дама, ее владелица, поспешно укоротила поводок, обронила безадресную улыбку сконфуженного извинения и властно потянула за собой свою любимицу, которая, казалось, онемела от раздиравших ее чувств страха, ярости и бессилия.

Конфликт не занял и полминуты, огоньки интереса, было затлевшие в глазах прохожих, сразу погасли, в необычном поведении собаки никто не увидел ничего особенного. Я тоже был готов сморгнуть этот инцидент, как крохотную соринку, однако не получилось. Странно, странно! Я немного знал эту «блошиную породу» собак; такие маленькие, злые, умные шавки ни с того ни с сего не бросаются на прохожих, а бросившись, не сжимаются в комок отвращения, гнева и ужаса. Должна же быть причина? Собака, по старинным преданиям, как никто другой чует черта; я едва не расхохотался при этой мысли.

Но отступить от незнакомца уже не мог. То удаляясь, то приближаясь, я тащился за ним, куда бы он ни сворачивал. Заподозри себя в соглядатайстве, я наверняка прекратил бы преследование, но обмануть себя ничего не стоит. Я гулял, просто гулял и глазел на все окружающее, в том числе и на незнакомца, который, в сущности, делал то же самое: бесцельно гулял и глазел. Правда, скорости наших шагов неукоснительно совпадали, но ведь это могло быть и непреднамеренно...

Кружение по улицам прибавило к моим первоначальным наблюдениям лишь самую малость. По всему чувствовалось, что незнакомец, как и я, впервые в этом городе и в этой стране. Все естественно, однако была тут одна крохотная несообразность. При всем внешнем бесстрастии в незнакомце угадывалось цепкое, пытливое внимание решительно ко всему, даже к голубям на мостовой, что для западноевропейца, каким он был или казался, не совсем обычно, ибо, скажем, бельгийца мало чем удивишь, например, в Австрии, и наоборот. Тогда, может, американец или какой-нибудь австралиец? Вряд ли. Австралиец тоже не станет поглядывать на прельстительное богатство витрин, тем более на голубей и прохожих так, словно все это ему внове.

Но это малое недоумение вскоре сменилось крупным. Не потребовалось много времени, чтобы убедиться в столь же очевидном, сколь и поразительном факте: тот инцидент с шавкой не был случайностью. Все прогуливаемые собаки (других на улице не было) при виде незнакомца выказывали такую нервозность, точно их будоражил, возмущал и пугал сам его дух. Столь необычное поведение четвероногих, казалось, должно было приоткрыть чудовищную истину, однако вполне очевидные сигналы звериного инстинкта не дошли, даже капелька той жути, которую испытывали собаки, не передалась мне. «Что за притча?» — спросил я себя в недоумении и тут же нашел успокоительный ответ. Есть же люди, которых не переносят собаки! — далее моя мысль не продвинулась. Что-то ей помешало, и даже понятно что. Ведь наше сознание двойственно: оно чутко настроено на восприятие окружающего, и оно же тщательно фильтрует сигналы действительности, отсекая все

чересчур необычное, неприемлемое, опасное для душевного равновесия. Так и я: истина сама шла мне в руки, я же постарался ее упустить.

Дальнейшее блуждание не прибавило ничего. Не находя новой пищи, мой интерес постепенно снижал, да и утомление давало о себе знать. Я продолжал волочиться за незнакомцем, все менее понимая, чего я хочу и хочу ли чего вообще. Мы шли и шли, брели мимо красочных витрин, мимо затерянных среди них наглухо запертых подъездов, мимо выдвинутых на асфальт столиков кафе и фруктовых лотков, мимо табачных и денежных автоматов, бесчисленных магазинов, ресторанов, банков, закусовых; толпа обтекала нас, когда мы замедляли шаг, несла нас, как щепки в потоке, мелькали сотни, тысячи лиц, одурь коловращения затягивала, гул чужой речи уже томил, пробуждая тоску по родине, все, все делалось ненужным, излишним. Где я, что я, зачем кружу по этим улицам, какое мне дело до всех? Ну посмотрел, удовлетворил любознательность, потешил себя посторонней загадкой, и довольно, и хватит, голова пухнет и задыхается!

Тем бы все и закончилось, со вздохом: «А, чего не бывает!» — я бы присел на лавочку где-нибудь в тенистом уголке сквера, если бы не трость одного дородного прохожего.

Случилось то, что тем или иным образом обязательно должно было случиться в уличной толпе: незнакомца задели. Кто-то издали окликнул мимоидущего господина с тростью, тот резко обернулся, наконецник палки, описав полукруг, коснулся ноги незнакомца. Точнее, он зацепил брючную складку костюма... И прошел через материю насквозь.

Меня будто обдало громом. Я все видел отчетливо, но не поверил глазам своим. А кто бы поверил? Померещилось! Конечно же, трость скользнула мимо, никто не заметил — ни тот, кто ударил, ни тот, кого задели. Да, но собаки?!

Существовал способ проверки. Будто не я, кто-то другой, безрассудно-дерзкий, замороженно продвинулся к незнакомцу и, поравнявшись, сильнее обычного отмахнул рукой. Так, чтобы пальцы вроде бы невзначай задели полу его пиджака.

Вместо ткани они ощутили пустоту. Всякие сомнения рухнули, все вокруг покачнулось в моих глазах. Костюм незна-

комца был чудовищной маскировкой, иллюзией, наваждением, чем угодно, только не одеждой земного производства! Должно быть, и само лицо...

— Вам плохо? — Голос незнакомца проник ко мне словно из космической дали. — Чем могу помочь? Не лучше ли вам выпить чашечку кофе, чем выяснять то, что вас совершенно не касается?

Вопреки значению слов в тоне незнакомца не было ни сочувствия, ни издевки. Его лицо-маска колыхалось в моем потрясенном сознании, как отражение в речной зыби, как ускользающая человекоподобность.

И в двух шагах были люди!

Самое удивительное, что я не только повиновался незнакомцу, но при этом еще испытал облегчение. Так, словно его действие остановило распад реальности, дав взамен новую, пусть неведомую и пугающую, зато очевидную перспективу.

Неподалеку оказались вынесенные на улицу столики кафе, мы присели. Небезынтересная деталь, меня она потом поразила: вопреки всему мне было любопытно, скрипнет ли под чужаком соломенное кресло или его тело столь же призрачно, как и костюм. Сиденье скрипнуло, и это меня почему-то успокоило.

Говорить я не мог, кофе заказал незнакомец. На меня он, казалось, не обращал внимания. В совершенстве похожий на человека, до ужаса банальный, он сидел в ожидании с безучастным видом, будто самый обычный, слегка подуставший турист. Ветерок ерошил его неприметные волосы; не совсем натурально, если взглядеться. Воплощение человеческой безликости, серый оборотень, чего он хотел? На кофе, когда его принесли, он не взглянул. Я же свой выпил залпом, не ощущая, горячий ли он. Впрочем, вопреки ожиданию чувствовал я себя не так уж скверно. Пожалуй, мое настроение даже склонилось к бесшабашности. Вот именно! Когда все потеряно, терять уже нечего. О противодействии, похоже, нечего было и думать, да и с какой стати? Ничего более захватывающего, чем эта встреча, в моей жизни не было и не будет.

— Можете допить и мой, — наконец проговорил чужак. — Земной кофе, сами понимаете, не для меня.

Говорил он четко и правильно, но то была правильность дикторской речи. Очевидно, языку (языкам?) он обучался, слушая наши передачи.

— Спасибо, вы очень любезны, — пробормотал я, едва подавив нервный смешок, ибо светский разговор в таких обстоятельствах был более чем комичен. — Надеюсь, вы на меня не в претензии?..

— Что случилось, того изменить нельзя, надо использовать последствия. Мне еще никогда не доводилось вот так беседовать с другими разумными.

— А они были? Наш мир не первый?

— Надеюсь, и не последний. Но это ничего не значит. Ни для вас, ни для нас, вообще ни для кого.

Слова пришельца были темны, при этом странно изменилось выражение его глаз. То есть, конечно, не глаз — человеческих глаз, как и самого лица, наверное, не было. Но ведь что-то было, что-то смотрело сквозь их имитацию? В глубине его взгляда мне почудилась тень тоски или усталости.

— Расскажите о главном в себе, — внезапно проговорил он. — В чем человек видит смысл своей жизни?

Я судорожно глотнул воздух. Ничего себе! Таким вопросом можно кого угодно сбить с ног. Недаром его избегают в разговорах, хотя редкий ум мучительно не задумывается над ним.

— Видите ли, — проямлил я. — Боюсь, я сейчас не в том состоянии...

— Потому и спрашиваю. Нормальное состояние разума — труд мысли. Это занятие я вам и предложил.

Бесподобная логика, что тут скажешь...

— Но я не философ! Это очень сложный вопрос!

— Простые и мелкие меня не интересуют. Книжные знания я без вас извлеку, меня интересует ответ человека, то есть ваш собственный. Не хотите — расстанемся.

— Нет-нет! Хотя... Хорошо, хорошо, я согласен. Согласен, если и вы ответите на тот же вопрос.

— Что справедливо, то и логично. Видите, мой вопрос уже привел вас в нормальное состояние.

Как бы не так! Все-таки он плохо знал человека. Но деваться было некуда, волнуясь и запинаясь, я начал говорить. То

была отчаянная попытка выразить истину, которая не давалась мне самому (и только ли мне?). Моя мысль изнемогала, точно на дыбе. Вдобавок... Господи, кому я все это говорю?! Пришельцу, отвечал разум, а зрение отказывалось верить, столь зауряден был его псевдочеловеческий облик. Переводя дыхание, я мельком видел улицу, такую обычную, людей, таких несомненных, но стоило снова взглянуть на собеседника, как то и другое делалось нереальным. Ощущение безмерной ответственности парализовало меня. На столик слетел пожелтый лист, мои пальцы ухватились за него, как за спасительный якорек.

Не могу вспомнить, что я говорил и что в итоге сказал. Тот, кому я говорил, сидел с прежним, будто бы безучастным видом, и меня оглушил вид мухи, которая лениво кружила над его головой, словно у нее не было сомнений насчет человеческой природы данного объекта ее внимания.

— В общем, все одно и то же под всеми звездами, — наконец проговорил он как бы с сожалением. — Поразительно, сколь разнообразны миры и до чего же сходны устремления духа. Одинаково бесконечные, одинаково противоречивые и неудовлетворенные — да... Спасибо за разъяснения. Теперь мой черед отвечать. Спрашивайте.

Сотни вопросов, тесня друг друга, безумствовали в моем сознании, но с языка сорвался самый банальный:

— Вы побывали на многих звездах? То есть, я хотел сказать, на планетах... Как там, что там?

Какое-то подобие улыбки промелькнуло во взгляде инопланетянина.

— А вы не допускаете мысли, что для вас спокойней не знать то, что известно мне?

— Допускаю. И все же...

— И все же вы иначе не можете. Вот это и есть ответ на ваш главный, еще не высказанный вопрос.

— Простите, я не совсем понимаю...

— И в этом ваше счастье. Звезды, далекие звезды, смысл устремления к ним! Порой я завидую вам. Вас еще тешат мечты, дали Вселенной еще кажутся вам распахнутыми. Мы же, увы, давно расстались с иллюзиями.

— То есть как?! — вскричал я. — Вы же здесь! Это не иллюзия!

— В каком-то смысле более чем иллюзия.

Вздвогнув, я смятенно уставился на него.

— Нет-нет, — поспешил он меня успокоить. — Физически и духовно я здесь, и я существую. Но, существуя, можно и не существовать.

— Извините, но это выше моего понимания! Коли вы здесь, значит, звезды достижимы...

— Нет, и это вы знаете не хуже меня. Только ваша душа еще не восприняла эту истину, и ее для вас как бы не существует.

Я обреченно сник. Палый лист уже превратился в кашу, но мои пальцы продолжали терзать его растертую мякоть.

— Хорошо, — с горечью сказал я. — Я тупица, в этом не стыдно признаться. Возвращаю вам ваш вопрос, может быть, тогда мне станет яснее. Что движет вами? В чем вы видите смысл жизни?

— Смысл жизни столь же многообразен, как и сама жизнь. И столь же неисчерпаем. Скажу лишь о собственном, хотя он, конечно, неотделим от смысла жизни вообще. Над нами дерево, роняющее листья. Оно неподвижно и долговечно. Листья, наоборот, кратковременны и подвижны. Они опадают, гибнут, так питают собой корни. Внешне смысл существования дерева и листа противоположен, на деле един. Однако, выполняя свое предназначение, иные листья отлетают так далеко, что уже не служат дереву и гибнут без пользы. Или с пользой для чего-то другого. И чем выше дерево, тем, заметьте, это случается чаще. Так и с цивилизацией, так и с ее представителями. Я здесь, хотя это алогично и лишено явного смысла. Но для меня и моих товарищей только так и было возможно, наш смысл жизни в этом. Такой ответ вам понятен?

Я энергично замотал головой. На большее я уже не был способен.

— Значит, не поняли... Да, все естественное и закономерное в своем пределе выглядит нелепым и труднообъяснимым.

Инопланетянин помедлил, как бы собираясь с мыслями. Он задумчиво смотрел на текущую мимо толпу, на жующих и пьющих соседей за столиками, на воровато порхающих воробьев, на все обычное, что было вокруг. В его взгляде снова мелькнуло что-то похожее на тоску. Или то была жалость?

— Вы не цените всего этого, — сказал он вдруг.

— Вы ошибаетесь, — возразил я.

— Нет. Оценить может лишь тот, кто покинул все это. А таких среди вас не было.

— Как не было? Космонавты...

— Они возвращались! Представьте иное: отрыв. Полный и навсегда. О звездах вы знаете больше, чем о собственной душе, достаточно, чтобы вы меня поняли. Напомню истину, которую вам показал еще ваш Эйнштейн: полет к дальним мирам Вселенной возможен, и в то же время он невозможен. Возможен, потому что, двигаясь с околосветовой скоростью, несложно облететь Галактику. Невозможен, потому что на таком корабле пройдут всего годы и десятилетия, тогда как на родине промелькнут века. Это обращает в бессмыслицу сам полет, его задачи и цели, всякое самопожертвование экипажа. Вот почему дальние звезды закрыты и навсегда будут закрыты для представителей любой цивилизации.

— Тогда почему бы вам не сказать проще: я прилетел к вам с ближней звезды?

— Потому что я-то прилетел с безмерно далекой. Ваш глаз не отыщет ее в земном небе, так она далека.

Если он собирался меня поразить, то не добился цели. Я слишком устал. Настолько устал от всего невероятного, что на меня обрушилось, от загадок и парадоксов, в которых я не мог разобраться, что новая доза на меня не подействовала. Может, он спятил? — мелькнула невольная мысль. Кое-что в словах пришельца делало ее правдоподобной, но даже это ужасное предположение не заставило меня содрогнуться, а лишь наполнило скорбью. Как же, должно быть, нелеп и печален мир, если отборные из отборных действительно свихнулись в межзвездном странствии и первая, долгожданная встреча человека с иным разумом превращается в шизофреническую беседу за

пустой чашечкой кофе! Вселенная злей и насмешливей дьявола, если все это так.

— Я вас, похоже, разочаровал, — слышался голос пришельца. — Но было же сказано: неведение лучше.

— Нет-нет, продолжайте, — встрепенулся я. — Сколько же длится ваше странствие?

— Сорок лет для меня, если считать по земному календарю. А для вас... Словом, когда мы двинулись в путь, на Земле еще не было городов.

Есть вещи, которые не поражают в силу своей невообразимости. Грациозность времени непостижима в особенности.

— Когда же вы собираетесь вернуться на родину? — осведомился я скорей по инерции.

— Но я же вам объяснил. Никогда! Это бессмысленно, на родине тоже прошли тысячелетия.

— Позвольте... — Сказанное наконец дошло до меня. — Вы не... Зачем же тогда?!

— А зачем вы бродите по чужому городу? Странствуете, познаете?

— Так это же другое дело! Мне интересно...

— Вселенная еще интересней. И это не другое дело, а то же самое, лишь плата другая. Вижу, вы все еще не поняли. Мы ушли, заранее зная, что возвращение невозможно, абсурдно спустя тысячи лет. Мы этим пренебрегли. Бессмысленно лететь к дальним звездам, однако мы полетели. Безумие пускаться в странствие без возврата, но этот безумец здесь, перед вами. Не могу себя даже тем утешить, что этот поступок обязательно послужит благу нашей цивилизации.

Он жестко усмехнулся. Или то была гримаса отчаяния?

— Конечно, мы аккуратно передаем информацию. Вот и наш разговор... До моей родины он дойдет примерно через три тысячи лет. А будет ли польза... Три тысячи лет! Нам не дано узнать.

— Тем более! — Все мое естество отшатнулось от этих слов, как от края головокружительной пропасти. — Смысл? Какой во всем этом смысл?!

— И этого нам знать не дано. Я выгляжу в ваших глазах безумцем?

— Я просто не понимаю...

— Поймете. Со временем кто-нибудь из вас это обязательно поймет. И наверное, поступит так же. Не верите? Тогда вы плохо знаете самих себя. Пространство, которое вы осваиваете, пока что соизмеримо с вашими желаниями и сроками жизни. Но так будет не всегда. Сегодня кто-то из вас жаждет ступить, допустим, на Марс, знает, что это ему не суждено, и страдает от этого. Но так же точно он знает, что Марс достижим и кто-нибудь помоложе ступит на его поверхность. С этим утешительным чувством ваша цивилизация жила и живет. Пройдет срок, и вы окажетесь в ином положении. Все доступное — достигнуто, дальнейший шаг невозможен, новых горизонтов нет и не будет. Что тогда? О, это положение устроит многих! Но не всех. Вы сказали, что смысл жизни, во-первых, в самой жизни. Верно. А что во-вторых, в-третьих? Устремление к новым далям в крови любой прогрессирующей цивилизации. Жажда неизведанного — страсть не менее сильная, чем любовь, хотя и более редкая. Как у вас, так и у нас обусловленная природой и развитая цивилизацией. Что делать одержимым? Безумие поступать так, как мы поступали, но смириться — значит отказаться от самих себя. Самозаточение невыносимо для таких, как я, и, быть может, губительно для самой цивилизации, из двух невозможностей надо было выбрать одну — вот и весь смысл. Мы выбрали. Лишь бы вырваться! — приемлемой казалась любая цена. Теперь вам ясно, почему нам предоставили звездолет? Мы освободились. Да, за это мы платили и платим. Счастлив лист, который вы растерзали: он не чувствует и не мыслит... Зато мы здесь. Мы были во многих мирах и еще будем во многих, наша жизнь длится дольше вашей. Хотя в каком-то смысле мы уже не живем. Так будет еще долго... Что ж, всякая жизнь проходит, важно ее наполнение, мы свою наполнили до краев. Мы видели то, чего никто никогда не увидит. Чужие среди чужих миров — пусть так! Нет, этого вам не понять. Все это ваше вокруг... То ли оно нереальное, то ли нереален я сам. Стоит мне провести год в полете, как здесь промчатся века, и только я буду помнить, как тут было. До чего же все мимолетно! До призрачности мимолетно...

Странное ощущение охватило меня после его слов. Близости? Или, наоборот, бесконечной далекости? Не стало пугавшей меня человекоподобной безликости, но и неведомый, грозно-могучий пришелец тоже исчез. То, что приоткрылось в его словах, пронзило меня смятением, величием, ужасом. Что мы все перед временем? И каково же вдобавок лишиться смысла и цели? Изнывать в полете, в миллиардолетней тьме пространства, снова и снова устремляться к огонькам звезд, видеть все новые и новые миры, быть может, прекрасные, но такие чужие. Познавать, думать, чувствовать, зная, что это никому не нужно, для всех бесполезно, словно ты уже умер. Какой же, наверное, холод он нес в своей душе! Что перед этим все муки богов и титанов... Какая страшная, какая дерзновенная участь! Отречение от себя, вызов целой Вселенной, которая твердит разуму: «Нет, дальнейший шаг невозможен!», и вот уже все опрокинуто тем победным безумием, которое знакомо и человеку... Победа — и с ней мука бессмыслия, тоска, которую едва ли можно постичь.

Моя рука дрогнула в безотчетном порыве сочувствия, словно ее прикосновение могло передать каплю земного тепла тому, кто в нем так нуждался. Но рассудок мгновенно пресек неуместный порыв, вместо этого я лишь спросил:

— Значит, с надеждой на сверхсветовые перемещения надо расстаться?

— Да.

— Значит, для вас нет, а для нас не будет другого выхода?

— Да.

— И ваши глаза еще не устали видеть?

— Нет.

— А ваша душа...

— Возможно, это случится скоро.

— Сознание бесцельности...

— И это тоже.

— Одиночества, постылой отверженности...

— Вы жалеете меня?

— Я вас понимаю. Надеюсь, что это так.

Он медленно отвел взгляд. Мне показалось, что в его глазах блеснули слезы. Но этого, конечно, не было, маски не плачут. Мы сидели среди уличного гомона, под светлым осенним небом, близкие друг другу и безмерно чужие, как это часто бывает в психической вселенной, которая столь же огромна, неодолима, как и физическая.

— Я бы так не смог, — тихо и неожиданно для себя сказал я.

— Кто знает...

Он повернул голову, взглянул на меня так, будто впервые увидел, и, к моему изумлению, засмеялся негромким, совсем человеческим смехом. Тем безотчетным, ни с того ни с сего, каким иногда смеется старик или ребенок.

— Кто знает, — повторил он уже серьезно. — Из нашей безвыходности, оказывается, тоже есть выход.

— Какой?

— Наипростейший. Когда наши глаза устанут видеть или когда приблизится наш последний час, то мы... Мы устремимся к той ближней цивилизации, которой можно и должно будет передать все нами накопленное.

— Слушайте, но это же все меняет! — воскликнул я, точно и с моей души спала невыносимая тяжесть. — В самом деле, как просто, как замечательно просто... Так вот что поддерживало вас, теперь понимаю, почему вы до сих пор не сломились!

Он с улыбкой покачал головой:

— Все не так, как вы думаете. То, что я сказал... Самое непонятное, почему столь очевидная мысль не пришла мне в голову раньше? Страсть эгоистична, безумная вдвойне, должно быть, поэтому. Видите ли, желание отдать возникло у меня только сейчас.

— Сейчас? Каким образом?

— Самым обычным. Да, мы видели много миров, да, мы изучили не одну цивилизацию. И всюду, неузнанные, мы оставались чужими, и все оставалось чужим для нас. А надо было всего лишь вот так посидеть и поговорить... Замыкаясь на себе самом, самого себя не познать, это так же верно для цивили-

зации, как и для личности. Под всеми солнцами верно. Спасибо за все — и прощайте!

— Пойдите, куда вы, минуточку...

Я вскочил, но было поздно. Он уже растворился в толпе, которая поглотила его, как она поглощает всякого, — молодого и старого, мудреца и безумца, человека и нечеловека. Она всеобщность и этим напоминает Вселенную, где все возможно и все может сбыться.

ШЕЛ ЧЕЛОВЕК ПО ГРИБЫ

Сосипатров привык верить глазам своим, но когда на поляну среди бела дня стала опускаться «летающая тарелка», он им, естественно, не поверил. Как нагнулся за крепеньким подосиновиком, так с ножом в руке и закаменел, благо в такой позиции от инопланетного наваждения его преотлично скрывали кусты.

Тем временем «тарелка» села, люк откинулся, оттуда гусеницей выполз трап, и по нему семенящим шагом на землю прошествовали маленькие, очень деловитые зеленые человечки с противогазными рыльцами. Один из человечков запнулся о кочку, явно по-инопланетному выразился, что наконец заставило Сосипатрова поверить в реальность происходящего. Но от этого ему, само собой, стало не легче, а тяжелей. Что прикажете делать? Если происходит вторжение, то в целях личного сбережения и всенародного оповещения надо срочным образом драпать; если же, наоборот, намечается дружеский визит, то надлежит выйти и приветствовать. А может, и в этом случае лучше позвать кого следует? Лес безмолвствовал, совета было получить не у кого, поступай, выходит, по собственному разумению, а это, как известно, порой тошнехонько. Так ничего и не надумав, Сосипатров остался в прежней, за кустами, позиции. Только нож спрятал; и не оружие, и ненароком может быть не так понято.

Зеленые человечки меж тем прошествовали мимо — Сосипатрова то ли не заметили, то ли проигнорировали. Вид у них был целеустремленный, как у докладчика на подходе к трибу-

не. Земля под их ногами дымилась, без всякого, впрочем, для окружающей среды ущерба.

Процессия удалялась. Опять же надо было что-то делать, но что? Решимость была не в характере Сосипатрова, потому что характера он, собственно говоря, не имел. То есть видимость его, конечно, была, поскольку в отличие, допустим, от Иванова, Сидорова, Петрова он часто ввертывал в разговор «будьте добреньки», терпеть не мог «Жигулевского» пива, жизнь называл «куролесицей», а не «жестянкой», как то обычно делают, и таких особииц за ним числилось немало. Однако все умерялось безотчетным, как дыхание, стремлением быть «как все». Незримые заемы куда обширней денежных; Сосипатров, который редко у кого перехватывал до получки и всегда аккуратнейше возвращал взятое, очень бы удивился, скажи ему кто, что во всем остальном он неоплатный должник, причем неизвестно кому. В первую очередь, наверное, окружающим. Все ворчат на погоду, начальство, транспорт — и Сосипатров ворчит; что-то хвалят — и его голос слышен; все обзаводятся коврами — и он в очереди; все кидаются тушить пожар — он и тут со всеми (был в его жизни такой эпизод). Подобная артельность, может быть, и прекрасна, только что остается на долю личности и где она? Это уже не душа, не характер, а сосуд для чего-то или из-под чего-то: что нальется, то и будет. Хотя, если вдуматься, кто из нас не артелен? Без своего характера прожить можно, без общинного — вряд ли.

И вот в самую трудную для себя минуту Сосипатров оказался один. Правда, в сознании брезжило что-то насчет «тарелок» прочитанное или услышанное, только, увы, противоречивое и потому неруководящее. Инопланетяне же уходили, а с ними скрывалась то ли смерть, то ли слава. Ситуация! Трудно сказать, как повернулось бы дело, но в каждом из нас, о чем многие предпочитают забыть, жив неутомимо любознательный, жаждущий подвигов и открытий ребенок. И Сосипатров, к своему удивлению, двинулся вслед за пришельцами. Откуда только взялась крадущаяся походка разведчика, которая его, обмирающего, скрытно повела от дерева к дереву! Позже он, правда, сообразил, что по всем приключенческим литканонам

так себя и должен вести настоящий мужчина, значит, под-сказка все же была.

Но то было позже, а сейчас в оглушенном сознании трепыхнулась лишь залетная строчка какой-то давней песни: «Там он землю бережет родную...» И ведь точно! Бережет, да не просто землю, а всю, можно сказать, планету. Надо же! Очень к месту прилась та строчка и вся воинская некогда служба.

Не одиноким почувствовал себя Сосипатров, и это приободрило, тверже стал шаг. Зеленый цвет и малорослость удачно маскировали человечков, зато они двигались колонной и на ходу, опять же без ущерба для окружающей среды, дымили. Так что преимущество в конечном счете было на стороне землянина, тем более что Сосипатров понасмотрелся всяких фильмов, и это, как выяснилось, тоже способствовало. Много чего оказалось у него за душой, он сам поразился. Успех обнадеживал. Правда, пришельцы могли взять хитроумной техникой, но пока не брали, шли бестревожно. Их противогазного облика рыльца даже не поворачивались из стороны в сторону, словно на земную флору, а заодно и фауну инопланетянам было решительно наплевать. Сосипатров, на что уж покладистый мужик, и то обиделся, хотя это-то невнимание зелененьких лучше всего обеспечивало ему безопасность.

Наконец процессия остановилась. Сосипатров осторожно выглянул из-за куста. Место было как место, ничего особенного: сосенки да елочки, брусничник с черничником, внушительный у ствола муравейник, парочка гнилых пней и ядовитый мухомор в придачу. Полнейший, короче, зауряд, однако зелененькие повели себя так, будто свой гимн здесь намеревались исполнить или флаг поднять. Четко выстроились вокруг муравейника, рыльца свои подравняли и торжественно замерли.

Что за притча!

Прошла минута-другая — все то же. Ни шевеления в рядах зелененьких, никакого ни на что внимания, стоят благоговейными истуканами и словно чему-то внемлют. Забыв осторожность, Сосипатров от изумления даже высунулся — и снова ничего. Нет, один все же зыркнул, мимолетно, как на муху, взглянул в его сторону.

Сосипатров обомлел. Эх, разведчик, разведчик, выдал же себя, выдал, так глупо оплошал! Захотелось юркнуть за куст, вжаться в родную землю, но что-то тут же потребовало совсем обратного — то ли встать и в отчаянной лихости рвануть на себя рубаху (мол, стреляйте, гады!), то ли выйти хозяином и гаркнуть:

— Здорово, братья по разуму!

Сделал он последнее. Шагнул, как тогда на пожаре, только не гаркнул (горло перехватило), а хрипло сказал:

— Здравствуйте... Позвольте вас, значит, приветствовать от имени...

Явная, понял, чушь получилась. От чьего имени? И кого?! Кто уполномочил?! А вот, надо же, сказал, само с языка скапилось.

Но не возымело последствий. Рыльца, правда, повернулись и вроде как-то поморщились, но ни один зелененький из круга не вышел, никто никакого бластера не выхватил, но и словом не удостоил, точно не Сосипатров был перед ними, а замшелый пень.

Тем все и кончилось, зелененькие снова впали в свой транс, отчего Сосипатров и вовсе увяз. До сих пор в памяти отыскивалось хоть что-то путеводное, а теперь как обрезало, и хотя ум работал, руки и ноги могли двигаться, эта свобода только обременяла, ибо ничто не подсказывало, как ею пользоваться. Все в нем онемело, как в кукле.

Лишь животный рефлекс остался. Едва прошло оцепенение, как ноги сами дернулись, и побежал бы, наверное, Сосипатров, но уж слишком его оскорбили. Всегда махал рукой на всякие там высокие материи, а тут проняло. Кто они такие, в конце концов, эти зелененькие?! Сами не лыком шиты, сами в космос летаем и на других звездах, придет время, будем. Так чего же эти лягушата выпендриваются?! Никогда Сосипатров не имел отношения ни к космическим полетам, ни к другим свершениям века, а тут словно боевые медали на груди почувствовал. Знаться не хотите, ах так! Ну и мы не заинтересованы.

Чтобы подчеркнуть это, он выразительно сплюнул и, хотя поджилки тряслись, демонстративно стал собирать чернику. Мол, не хотите контактировать — и не надо, у нас своих дел

по горло. И вообще... Черника, понятно, выскальзывала из ослабевших пальцев, но кое-что удавалось отправить в рот и тем показать. Попутно Сосипатров приглядывался.

И все яснее ему становилось, что муравейник, вокруг которого зелененькие сгрудились, — это не просто так. Что есть в нем особый смысл и для пришельцев он даже нечто вроде святилища. Похоже, молятся они на него, как старушки на пресветлый престол. Вот те раз! Тут религией пахло, хотя и непонятно какой, что еще возмутительней. Стоят, вылупились — и млеют. Над чем?! Над тварями кусачими?! А человек для них, стало быть, место пустое?!

У Сосипатрова от столь окончательного попраения формулы «Человек — звучит гордо!» аж руки зачесались. Однако сдержался. И потому, что опасался последствий, и потому, что думал, а чем больше думал, тем меньше понимал. Лететь черт знает из каких далей, чтобы муравейнику поклониться? Не сообразовывалось это с межзвездной техникой. Ни с какими представлениями о разуме не увязывалось, решительно всему противоречило.

И тут Сосипатрову такая мысль пришла в голову, что он даже икнул. Никогда его не осеяло, а тут осенило, как, может быть, Эйнштейну не снилось. Не молятся они вовсе, а контактируют! По-своему, по-особому общаются с муравьями! Беседуют с ними телепатически.

Ну да... Что-то Сосипатров читал, что-то по телевизору видел, все разом всплыло и обухом по башке тумкнуло. Ведь у муравьев тоже есть какая-то цивилизация! Вишь какой небоскреб себе отгрохали, коровок, то есть тлей, опять же пасут и так далее. Могло это кого-то свыше заинтересовать? Вполне. Это мы на них сверху вниз, а они, быть может, со всей Галактикой давно в контакте, потому что задолго до человека появились и время в инопланетной дружбе преуспеть у них было. А старый друг, как известно, лучше новых двух. Ай-ай-ай, как же это мы не раскумекали, походя муравейники пинали, ой, стыдобушка! Вполне понятно, что зелененькие нас сторонятся...

Горько так было думать, но волнующе. Сосипатров даже об оскорблении забыл. Да и чего обижаться, если все выходит по

справедливости? Загладить надо. Собственная идея так увлекла Сосипатрова, что он уже не столько на зелененьких смотрел, сколько на муравьев. Снуют, бестии, шебуршатся вроде больше обычного. Друзья инопланетян, это надо же! Мамочки родные... А вдруг нажалуются?! Что тогда?

Нехорошо стало от этой мысли, муторно. Не от страха даже, от чувства вины, потому что лозунг «Муравьи — санитары леса, берегите их!» лишь недавно был принят, а до этого... Лучше не вспоминать.

Среди зелененьких меж тем прошло движение. Вроде общего вздоха раздалось, они зашевелились, и тотчас один из них шагнул к Сосипатрову. Тот, теряя нечего, принял достойный вид: мол, все сознаю и ответ в случае чего готов держать, только и вам о перспективе не мешает задуматься... Иначе какой же разум?

Зелененький подошел совсем близко, хоботок выпятил, пошевелил им, будто принимаясь. И тут же в сознание Сосипатрова проникли чужие слова.

— Здравствуйте, гомо сапиенс. Извините нашу неоткликаемость, но искусство муравьев, согласитесь, очаровательно.

Искусство?! Скользни в карман шаровая молния, предложи инопланетянин раздавить пол-литра, Сосипатров не так бы растерялся.

— Вдобавок, — продолжал зелененький своим телепатическим голосом, — муравьи сегодня были феноменальны. Шедевр, неопиcуемый экстремум, волшебный вклад в культуру всей Галактики!

Галактика Сосипатрова добила.

— Ну да, — забормотал он сущую окоlesiцу. — Искусство, оно, понятно... Требуеt жертв и должно служить...

— Именно! — в восторге подхватил инопланетянин, а окрест него все протрубили что-то радостное. — Мы счастливы таким пониманием наших мотивов и обстоятельств. Вы всегдашни с муравьями, а нам каково? Временная непредпосылочность вашей цивилизации требует бесконтактности, но искусство муравьев уникально во всей Галактике, отдельно от вас и потому немонопольно. Мы вынуждены так разрешать противоречие, компромиссовать с этикой, следовательно, как

вы точно заметили, нести моральные жертвы. Выдавший нас сбой маскировки досаден, но благодетелен узнаванием вашей щедрой готовности делиться тем, чем одарены эти скромные труженики и гении.

— Да сколько угодно! — вскричал Сосипатров. — Пожалуйста! Искусство принадлежит и является... Прилетайте еще, будьте добреньки! Мир и дружба!..

Он что-то еще говорил, а что — вспомнить потом не мог. То же самое, наверное, потому что слова соскальзывали самые привычные, ничего другого его смятенный ум выразить был не в состоянии. Но, видимо; не так уж они были плохи, эти слова. Во всяком случае, инопланетяне еще раз поблагодарили, телепатически раскланялись и, весело дымя, оживленной гурьбой двинулись к своему транспорту. А Сосипатров даже помахал им вслед. И лишь когда зелененькие скрылись, до него дошла вся огромность промашки.

Ни о чем же не расспросил, ничего толком не выяснил!!!

Вероятно, можно было еще догнать, но неловко, неуместно и даже стыдно. Сапиенс называется! Царь природы! После всего, что наговорил, поди сознайся теперь, что и свое-то искусство редко волнует, а уж о муравьином не только ты — все человечество понятия не имеет...

И с этим вылез к инопланетянам!

Никуда не побежал Сосипатров, отдуваясь, вытер вспотевший лоб, на негнувшихся ногах подошел к муравейнику и уставился на него, будто видел впервые. Инопланетяне в конце концов пришли и ушли, а вот муравьи с их искусством... Уникально во всей Галактике, подумать только! С других звезд, чтобы насладиться, летят! Вот и ломай теперь голову, какое оно, их искусство... Может, симфония в ультразвуке? Муравьиный балет? Или уж вовсе для человека недоступная соната запахов? Живопись каких-нибудь биополей? Может быть, под этим куполом свои Рембрандты и Бетховены скрыты? Даром что неразумные; любим же мы слушать соловьев, восхищаемся их искусством. А если чуть шире взять...

— Эй! — тихо окликнул муравьев Сосипатров и наклонился ниже.

Никакого отзвука, словно лицо человека как было для них, так и осталось в космической неразличимости. Муравьи снова-ли по своим делам, вся поверхность кипела ими, как уличная в час «пик» человеческая круговерть. Даже голова закружилась. И все-таки Сосипатрову понемногу стало казаться, будто и хвоинки уложены с изяществом, и звуки незнакомые доносятся, и аромат он чувствует какой-то особенный, и все вокруг не такое, как прежде, во всем удивительный бесконечный смысл. В этом небе над головой, в земле под ногами, в шепчущих соснах и даже в поганом мухоморе.

Тревожная радость охватила Сосипатрова. Вот он, вот Галактика, все у всех на виду, и все друг другу нужны.

Эх, жизнь-куролесница, до чего же ты интересная штука! Ведь за грибами шел. Только за грибами.

НЕ БУДЬТЕ МИСТИКОМ!

При высокой температуре мысли ползут и вязнут, как ноги в глинистом месиве, только лениво, нехотя, круговоротно. Все вяжется мерным узором, монотонной чредой всеобщих пустяков, успокоительным колыханием теплой ряби, так, без обрыва, но и без четкой связи, без единого всплеска, нет ни малейшего раздражения даже на нектати свалившийся грипп. Впрочем, когда грипп бывает кстати? Только когда хочешь увильнуть от более досадной, чем болезнь, заботы. Я же был в отпуске, в крохотном городке Закарпатья, принадлежал сам себе, рассчитывал всласть отдохнуть и всласть поработать, а вместо этого, укрывшись пледом, лежал в старом доме, еще точнее, в «комнате с привидениями».

Кстати, весьма уютной и недорогой, только немного запущенной. Напротив кровати находился камин, сейчас, в свете ночника, отверзлый и черный, как зев пещеры. Солидных размеров ковер на полу напоминал о дряхлости, забвении, пыли и тому подобных серьезных вещах. Когда-то веселенькие, в пунцовых розах обои изрядно пожухли и смотрели на меня пятнами, которым при желании можно было придать смысл и оттенок выцветшей крови. Такого желания я не испытывал. Наоборот, я им был благодарен, ибо подозрительная теперь тусклость аляповатых роз, их багровая в сумерках мрачность наверняка помогли мне осесть в этом тихом, всего за рубль в сутки пристанище, когда я уже было отчаялся снять где-либо комнату. Сезон, наплыв жаждущих солнца и винограда северян! Долго я тогда вышагивал по раскаленному сухим блеском булыжнику, напрасно стучался в уютные домики, стойко при-

нимал вежливые улыбки отказа и брел дальше от одного тенистого оазиса к другому. Места не было нигде, и я уже ощущал то, что, верно, чувствует бесприютная дворняга, некую униженность легковесного и, как пыль под ногами, никому не нужного существования, когда одна тонконогая, лет двенадцати фея в шортиках, шмыгнув носом, махнула куда-то в глубь переулка:

— А вы попробуйте у дяди Мартина. У него, правда, нечисто... Но, может, и сдаст. Прямо и налево, старый дом, воон черепица в просвете!

Владелец домика оказался похожим на встревоженного филина. Даже рубашка была на нем какая-то оттопыренная, седые волосы топорщились, как им хотелось, а глаза под круглыми очками то часто мигали, то, наоборот, застывали в неподвижности, такие же серые, как и весь облик хозяина. Мартин не столько говорил, сколько мямлил, и неизвестно, чего в его междометиях было больше — смущения или нежелания объясняться. Сначала он мне отказал, но сделал это так неуверенно, что я продолжал уговоры, и, должно быть, мой вид был красноречивей слов; мой собеседник явно ощутил некое моральное неудобство своей позиции и, мигая чаще обычного, как-то даже заерзал.

— Нет-нет, не хочу вас подводить... э... вообще... тут, видите ли... Впрочем, однако... Да, конечно: человек без угла хуже, чем угол без человека, но... Слушайте, как вы относитесь к привидениям?

— Что?!

— Понятно... — Он грустно покачал головой. — Видите ли, комната есть, пустая, но в ней... э... поселилось привидение. Не могу вам помочь, — добавил он тоскливо.

К счастью, я даже не улыбнулся. Долгие мытарства хождений сделали из меня провидца и дипломата. Я тут же без всяких логических обоснований отбросил мысль о легком помешательстве собеседника, внутренним зрением приметил под его рубашкой крохотный крестик (впрочем, выпуклость этого амулета могла сама собой обозначиться под тканью) и понял, с кем имею дело.

Мартин искренне хотел помочь ближнему, но совесть, но долг никак не позволяли ему сводить человека с нечистью, да еще брать за это деньги. В той же мере его, однако, угнетала мысль, что вот есть же свободная комната, а вот человек, которому она позарез нужна. Свою роль, конечно, играли и деньги.

Уже спокойно, с понимающим выражением лица я осведомился, как давно поселилось привидение, что оно себе позволяет, и уверил Мартина, что перспектива встречи с ним меня ничуть не смущает. Я не стал приводить довода, что ни в какие привидения не верю (этот довод его не убедил бы), а просто сказал, что раз для него, Мартина, призрак неопасен, то, значит, и я с ним как-нибудь уживусь.

Это произвело нужное впечатление.

— Но я-то не живу в комнате, — заколебался он. — Ее и дети избегают. Младший в свой последний приезд попробовал... А!

— Да ведь я ненадолго. Сами же говорите, что оно не всегда появляется. Попробуем, попытка не пытка...

— Так-то оно так... — Мартин тихонько вздохнул. — Ладно, я вас предупредил. Только знаете что? Говорите всем, что я с вас взял полную цену, а то соседи... Ну, вы понимаете.

Так я обрел пристанище. А заодно воображаемое привидение и вполне реального добродушного хозяина, с которым под материнской опекой хозяйки мы в тот же вечер славно раздавили бутылочку домашнего вина. Уже в постели я лениво подумал, как интересно устроена жизнь и кого только в ней нет. Предполагал ли я утром, что столкнусь с психологией совсем другой эпохи и буду калякать с человеком, для которого божий промысел и нечистая сила такая же реальность, как телевизор и космические полеты? Разумеется, нет. Каждый держится своего круга, живет его представлениями и порой забывает, что это еще не весь мир.

Никакого привидения я, само собой, не увидел ни в ту ночь, ни в последующие. Так, собственно, и должно было быть, но вовсе не потому, что призраков не бывает. Проблема существования чего-либо не так проста, как кажется людям с однозначным складом ума, для которых что-то либо есть, либо

его нет вообще. Кроме геосфер, имеется еще ноосфера, а это отнюдь не пустыня. Усилия психики творили и творят в ней не менее диких, чем в биосфере, образования, которые, правда, еще ждут своего Линнея и Дарвина. Существует ли Гамлет или Дон-Кихот? Их нет, никогда не было в физическом мире, но в духовном они есть, существуют как образ и способны воплотиться на сцене, то есть отчасти перейти в сферу телесной осязаемости. Привидения — образования того же класса, хотя и другого рода. Они порождены не искусством, а религиозной мистикой, это продукт мировоззрения былой эпохи, но для тех, кто в них верует, они существуют и по сей день. Воображение способно их воскресить, здесь актерствует психика самого зрителя, однако это уже частности. Важно, что мне привидение не могло явиться, ибо я в них не верил. Оно и не являлось, чем повергло Мартина в легкое недоумение. Понятно, я ничего не стал объяснять и даже не намекнул, что если бы он не был столь шепетилён и всем предлагал «комнату с привидениями», то это лишь увеличило бы наплыв желающих. Более того, наверняка бы нашлись любители платить втридорога, лишь бы было потом о чем порассказать. Что делать, вялое существование требует душевной щемотки, и доброе старое привидение годится для этого не хуже, чем вымысел о каком-нибудь «Бермудском треугольнике». Ничего этого я Мартину не сказал, наоборот, в шутку заметил, что, видимо, пришелся привидению не по вкусу и оно, чего доброго, навсегда очистит помещение. «Дай-то бог...» — пробормотал Мартин не слишком уверенно, но я не сомневался, что заронил в нем некоторую надежду. На большее я и не рассчитывал. Атеиста трудно заставить поверить в потусторонний мир, но многие из нас почему-то убеждены, что обратная задача куда проще.

Так или иначе, все обстояло прекрасно, если бы не проклятый грипп. Хотя когда еще можно вот так ни о чем не беспокоиться, просто лежать, забывая о времени? Хочешь держаться на стремнине — гребь изо всех сил, таков удел современного человека, и грипп здесь при всех своих неприятностях еще и разрядка. За окном давно смеркалось, в доме было тихо, не хотелось даже читать, я лежал, безучастно глядя на тусклые

пятна обоев, и вялый ход мыслей так меня убаюкал, что я не расслышал шагов Мартина за дверью.

— Да-да... — встрепенулся я на стук. — Входите!

Сначала в проеме двери возник поднос с графином и мелко дребезжащим о стекло стаканом. Как и в прежние свои посещения, Мартин кинул украдкой взгляд, в котором читалась надежда увидеть меня молодцом, а когда эта надежда не оправдалась, его лицо сразу стало сокрушенным. Подозреваю, что добрую душу моего хозяина томило сознание невольной вины, ибо захворал я в его доме, значит, он, хозяин, чего-то не предусмотрел, о чем-то не позаботился, ведь, что ни говори, свалился я один, а вот у соседей все постояльцы здоровы и вообще в городе никто не слышал ни о какой эпидемии. Допускаю даже, что в причинах моей болезни Мартин усматривал козни привидения, которое, почему-то не решаясь действовать в открытую, прибегло к окольному маневру.

— Вот, — сказал он, ставя графин с лимонадом. — Как вы себя чувствуете?

— Нормально...

Брови Мартина чуть-чуть приподнялись.

— Нормально, — повторил я. — А что? Вирус — честный противник. Сразу дает о себе знать, организм тут же на него врукопашную, так и ломаем друг друга.

— Все смеетесь... Хоть бы аспирин приняли, еще лучше антибиотик.

— Дорогой Мартин, вы ужасно нелогичны! По-вашему, все в руке божьей, так какая разница — глотаю я таблетки или нет?

— Извините, но нелогичны вы. Бог дал человеку разум, разум создал лекарства, значит, ими надо пользоваться. А вы, человек науки, и пренебрегаете...

Он осудительно покачал головой.

— Наука, — возразил я со вздохом, — не смирению учит. Но и не гордыне. Пониманию. С лекарствами, знаете ли, как с автомобилем: доставит быстрее, но можно разучиться ходить пешком. Всему свое время, согласны?

— Ну, как знаете... Может, еще чего надо?

— Нет. Спасибо за питье, больше ничего не надо.

Повода задерживаться у Мартина больше не было. Однако он остался в кресле. Вид у него был весьма смущенный, чем-то он сейчас напоминал неловкого торговца из-под полы, даже волосы встопорщились больше обычного, а руки растерянно елозили по коленям, округлые глаза смотрели мимо и часто мигали.

— Не беспокойтесь, все будет хорошо, — сказал я. — Подумаешь, грипп!

— Нет-нет, я не о том... Сейчас, понимаете ли, полнолуние...

— Да? Ну и что?

— Самое беспокойное время... Вы опять будете смеяться, но...

— А-а! Привидение. Полно, Мартин, ничего со мной не случится.

— Да, да... Но, знаете, на всякий случай... Вам же все равно? А мне как-то спокойней...

— Спасибо, Мартин, только зачем мне куда-то переходить? И вас стесню, и мне неудобно. Оставим это.

— Нет-нет, вы не так меня поняли! Оно, конечно, самое святое дело вам было бы перейти, но, простите, наука, как я погляжу, все-таки учит гордыне... Ах, я не о том! Но... Вы не рассердитесь, если я над вами повешу... Все-таки, может, оно поостережется.

С этими словами откуда-то из глубин своих одежд Мартин извлек изящное костяное распятие.

Я чуть было не рассмеялся. Мне хотелось сказать, что распятие наверняка уже здесь висело и ничуть не помогло (еще бы!), но выражение глаз Мартина было таким просительным, его забота обо мне была такой трогательной, что я поспешно кивнул.

— Вот и хорошо, вот и славно, — обрадовался Мартин. — Так и на душе как-то спокойней. Ваше право все это отрицать, но опыт отцов, уверяю вас, чего-то стоит... А ведь я вам го-жусь в отцы!

— Нельзя отрицать того, чего нельзя отрицать, — ответил я (спорить мне уже не хотелось). — Спокойной ночи.

— Минутку. — Мартин перегнулся, чтобы повесить распятие, и надо мной заколыхался его животик. — Ну вот... Спокойной ночи, спокойной ночи!

Высоко приподнимая пятки в заштопанных носках, он мягко, как на лыжах, заскользил шлепанцами к двери и тщательно прикрыл ее за собой.

Я нехотя встал, повернул ключ, разделся, выключил ночник, натянул на себя одеяло повыше. Теплая пещерка постели показалась мне самым уютным на земле местом. Туманные обрывки мыслей продолжали свое вялое круговращение, я не сомневался, что засну тотчас. Но это ожидание не сбылось, видимо, я слишком много продремал днем.

Впрочем, это не имело значения, при высокой температуре мало что имеет значение. Где-то далеко соборные часы пробили полночь. Услышав их, я приоткрыл глаза. Комната мне представилась чужой, ибо в окно успела заглянуть луна. Ровный свет далекого шара серебрил ковер, косо перечеркнутый тенью рамы, белизной глазури покрывал в ногах крахмальные простыни, льдистыми сколами преломлялся у изголовья в стекле графина, а за пределами этого минерального сияния и блеска все было провалом мрака, столь глухого и черного, словно комната переместилась в инопланетное измерение и воздух в ней утерял свою способность смягчать контраст.

Таково вообще свойство лунного света, есть в нем что-то нездешнее, недаром он льется с черных космических равнин до безнадежности мертвенного шара. Поддаваясь его гипнозу, я вяло подумал, что привидению самое время явиться. Полночь в старинном (ну не старинном — старом) доме, страхи хозяина, таинственный блеск луны — что еще надо? Все было по классике, правда, слегка уцененной, так как полагалось быть замку, а не комнате за рубль в сутки, и не полагалось быть электричеству, чей прозаический свет я мог вызвать движением пальца. Вдобавок призраки — явление скорей западноевропейское, чем русское. У нас все было как-то более домашнему, — ну, там лешие, кикиморы, домовые, все без особых страстей-мордастей и прочих романтических переживаний. То ли дело Европа! Там не один век выходили наставления, как надлежит говорить с призраками — вежливо и обяза-

тельно по-латыни, что, несомненно, указывало на аристократическую природу как самих привидений, так и тех, кто с ними общался.

Куда уж мне, плебею... Устроившись поуютней, я продолжал разглядывать наплывы лунного света и тьмы. Все, решительно все способствовало галлюцинациям, и это было даже интересно, потому что галлюцинации со мной никогда не случались. Не то чтобы я их жаждал изведать, но почему бы и нет? Грипп не совсем притушил исследовательское любопытство, обстоятельства благоприятствовали, здравый смысл ослабил свою рутинную хватку — словом, я ждал неизвестно чего в том вялом и отрешенном состоянии нездоровья, когда человек одинаково способен погладить и кошку, и мурлыкающую тигрицу.

И я дождался. Девушка возникла в косом сиянии, возникла сразу, без всяких там промежуточных стадий материализации. Но если это было привидение, то весьма нестандартное. Никакой мистической полупрозрачности, никаких туманных хламид и горящих глаз; вид у девушки был сосредоточенный, как у гимнастки перед выходом к спортивным снарядам; ее стройную, вполне телесную фигуру облегал переливчатый купальник, который наверняка поверг бы в смятение любого сочинителя готических романов.

Легкое нетерпеливое движение ног еще резче обозначило гибкий перелив мускулов моей гостьи. Никогда не думал, что галлюцинация может явить столь прелестный образ! Нисколько не сомневаясь в его природе, я все же для чистоты опыта надавил на веки. Но, увы, гриппозная лихорадка начисто вышибла из памяти, что именно должно было раздвоиться — видение или реальные предметы. Вдобавок, что совсем непростительно, я перестарался в усилении и на мгновение просто ослеп. А когда зрение восстановилось, то уже никакого раздвоения не было ни в чем. Белесый глаз луны по-прежнему заглядывал в окно, ничто не изменилось в комнате, кроме позы самой девушки. Пригнувшись, как перед броском, отведя назад тонкие локти, она медленно двигалась на меня. Ход ее ног был беззвучен и мягок, глаза смотрели куда-то поверх кровати, я отчетливо видел

каждую западинку облитого лунным сиянием тела девушки, в ней не было ничего от нежити, кроме...

Ее движущаяся тень падала не в ту сторону! И глаза взблескивали не тогда, когда на них падал свет... На меня летел призраки!

Сердце бухнуло, как набатный колокол. Не стало голоса, я хотел и не мог вскрикнуть, а только что есть силы зажмурился, ожидая, что меня вот-вот заденет, притворившийся человеком дух.

Ничего не произошло, даже воздух не шевельнулся. Когда же я обморочно раскрыл глаза, то никакой девушки не было. Было другое: прямо перед постелью, спиной ко мне возвышалась темная мужская фигура, чьи напряженно движущиеся плечи выдавали какую-то сосредоточенную работу рук.

Тень от фигуры падала в полном согласии с законами оптики.

Такая смена видений логична для сна, не для яви, ибо только во сне возможно превращение чего угодно во что угодно. Однако врут те романы, в которых утверждается, будто человек не способен отличить кошмар от бодрствования. Мы прекрасно различаем эти состояния, но тут в моем разгоряченном уме все смешалось, я не знал, чему верить, ибо при гриппе вполне возможен и бред. Как ни странно, эта мысль меня успокоила, и деловитая поза очередного призрака тут же подсказала единственно верное сейчас движение. Я метнул руку к выключателю, но промахнулся, и об пол со звоном грохнулся стакан.

Эффект это дало потрясающий. Фигура в черном подпрыгнула, как вспугнутый выстрелом олень, живо обернула ко мне бледное пятно лица и с чувством выругалась:

— Нейтрид оверсан! Это еще что такое?!

Столь откровенный испуг придал мне решимости.

— Брысь... — сказал я тихо, но тут же поправился: — Изыди!

— Слушайте, не будьте мистиком! — последовал раздраженный ответ. — Вы что, грабителей не видали?

— Бросьте, — сказал я твердо. — Сядьте, господин призрак, поговорим.

— Позвольте, я...

— Не врите. Оверсан, нейтрид... Грабители так не изъясняются.

— Верно. — Незнакомец как будто усмехнулся. — Допущен прокол, так это, кажется, называется? Придется кое-что объяснить...

Он сел.

— Зажгите свет.

Я поспешно нажал выключатель.

М-да... Передо мной, спокойно сложив руки, сидел молодой человек в довольно своеобразном черном комбинезоне, широкий пояс которого спереди был усеян кнопками, разноцветными сегментами переключателей и другими совсем уж непонятными атрибутами переносного пульта. Еще примечательней было лицо незнакомца. Ничего вроде особенного, человек как человек, но его умные, прелестные своей открытостью глаза словно светились изнутри. При этом трудно было сказать, кто кого разглядывает с большим интересом: я его или он меня.

— Понял, — сказал он вдруг. — Вы не заснули, потому что больны.

Его голос теперь звучал мягко, в нем исчезли нарочитые грубоватые ноты, зато стал уловимей акцент, хотя я был готов поклясться, и некоторые обороты речи подтверждали мою уверенность, что передо мной соотечественник.

Или подделка под него.

Впечатление раздваивалось. Озаренное изнутри духовным светом лицо незнакомца, чудесные умные глаза, которые не лгали, не умели лгать, — все вызывало доверие. Но остальное! Поддельный голос. Дурацкая роль, которую незнакомец пытался сыграть... Меня, самого обычного человека, он разглядывает, будто люди ему в новинку, — это как понимать?!

Но хуже всего комбинезон. Такой не мог быть изделием человеческих рук, ибо ткань... Она поглощала свет! Ни мерцания, ни отлива, ни одна складка не западала тенью, тем не менее этот саван тьмы каким-то непонятным образом не только рельефно очерчивал тело, но и выделял каждое движение крепких мускулов, хотя полное отсутствие теней и бликов,

казалось, делало это невозможным. Настолько невозможным, что прозаический свет настольной лампочки далеко не сразу выдал мне эту противоестественную особенность одежды.

Но когда я ее наконец заметил, точнее сказать, когда сознание ее восприняло и оценило, то под моим черепом будто прошла когтистая мохнатая лапа.

— Кто вы такой?! — выкрикнул я.

— Человек. — Казалось, моя нервозность искренне удивила, даже огорчила незнакомца. — Правда, не совсем такой, как вы.

— Не совсем... Вроде той девушки?!

— Ничего общего! То был обыкновенный фантом. Не понимаю вашей реакции.

— Ах вот как... — Помимо воли во мне вдруг проснулась ирония. — Ничего, значит, особенного, обыкновенный, стало быть, призрак...

— Не призрак. — Пришелец досадливо поморщился. — Фантом. Это разные вещи, ибо фантомы в отличие от призраков существуют физически.

— Рад это слышать. Очень, очень любопытно, особенно когда они на тебя насакаивают...

— Это досадное, по нашей вине, стечение обстоятельств, пожалуйста, извините.

— Чего уж! Одним... э... фантомом больше, одним меньше, пустяки!

Я махнул рукой, что вызвало на лице моего гостя улыбку.

— Странно, — сказал он. — Я полагал, что юмор и мистика несовместимы. Вообще мистика я представлял немного иным.

— Мистика? — Я задохнулся от возмущения. — Это кто же мистик?!

— Вы.

— Я?!

— Разве нет?

Он показал на распятие.

— Не мое, — отрезал я, ибо рассердился не на шутку и более уже не чувствовал никакого страха. Кем бы ни был этот ночной гость, он вторгся в мой мир, в мою действительность, которую я вовсе не собирался уступать никаким пришельцам,

будь они трижды фантомы или какие-нибудь там из другого измерения, биороботы. Сердце билось ровно, я был спокоен, как арктический айсберг.

— Не мое, — повторил я. — К тому же мистик и верующий — не одно и то же. Но это вас не касается.

— Прекрасно! — воскликнул нездешний гость. — Но раз вы ни во что такое не верите, откуда сомнения, человек ли я?

Он еще спрашивает!

— Есть факты и логика, — буркнул я.

— Разве они опровергают мои слова?

— Еще бы! Призрачная девушка. Ваша хламида...

— Хламида? — Он недоуменно покосился на свое одеяние. — Не понимаю...

— Свет, — пояснил я. — Нет теней.

— А-а! Ну и что?

— Не бывает такой материи.

— Но это и подтверждает мои слова! Именно человек создает то, чего не бывает...

— Или внеземной разум...

— Который в миг испуга (а вы, признаться, меня тогда напугали) вскрикивает по-русски? Где же ваша логика? Разве не ясно, что я обычный человек, только иного века?

На секунду я онемел. Такое надо было переварить. Иного, стало быть, будущего века... М-да...

— Допустим, — сказал я наконец. — А девушка?

— Что — девушка? Отход нашей деятельности, обыкновенный фантом, я уже объяснил. Вам же знакома голография!

— Но ее изображения не разгуливают по ночам! Не прыгают на людей! Тем более не перемещаются во времени. Это невозможно, это фантастика!

— Наоборот, раз фантастика, значит, возможно.

— Как-как? Если фантастика, то... Это же дичь!

— А что такое для прошлого ваше телевидение, космические полеты, оживление после смерти, как не фантастика? И для вас будущее неизбежно окажется тем же самым. Отсюда простейший логический вывод: фантастика — первый признак грядущей реальности.

— Но разве что-то может противоречить законам природы?!

— Чем же наше появление здесь им противоречит?

— Будущее — следствие прошлого! А ваше в него вторжение... Следствие не может опережать причину!

— А вам известны все закономерности причинно-следственных связей? Наш век не столь самоуверен.

— Наш тоже...

— Незаметно. По-моему, вам легче признать меня призраком, чем пересмотреть свои представления о природе времени.

Я прикусил язык. Крывать было нечем. Что я мог противопоставить его доводам, когда на моей памяти низринулся непустячный закон сохранения четности? Упираюсь на то, что будущее еще ни разу не объявлялось в прошлом? Это не аргумент: мои современники, например, уверенно конструируют атомы, каких прежде не было на Земле, а возможно, и во всей Вселенной. Что нам, в сущности, известно о времени, его свойствах и состоянии? Вряд ли тут наши знания полнее представлений Демокрита о структуре вещества. Правильно сказал мой гость: первый признак свершений далекого будущего — их кажущаяся по нынешним меркам невероятность.

— Но, — спохватился я, — как тогда понять ваши поступки? Сначала возник фантом...

— Он-то всему и причина! Фантоматика у нас примерно то же самое, что у вас телевидение. К сожалению, не сразу выявилось одно побочное и крайне неприятное следствие: фантомы иногда срываются в прошлое.

— Ну, знаете!

— Мы были поражены не менее! Изредка фантомы вдруг исчезали как... как призраки. Проваливались неизвестно куда. Никто ничего не мог понять, пока не обратили внимание, что в литературе прошлого проскальзывают описания, подозрительно похожие на свидетельства встреч людей с нашими фантомами.

— Как?! Выходит, все эти призраки, привидения — продукт вашей деятельности, точнее, беспечности?

— Вовсе нет! Чаще всего они то, чем и должны быть: психогенные продукты веры, ошибок зрения и галлюцинаций. Лишь некоторая, ничтожная их часть... Мы в это с трудом поверили, уж слишком фантастично.

— А-а, и вы тоже...

— Почему «тоже»? Люди мы или не люди? Фантастическое и нам нелегко дается. Мы сто раз все перепроверили. Увы! Собственно, с этого и началось развитие хронодинамики. Прошлое надо было срочно очистить от наших «гостей», тем более что наша деятельность плодила новые и новые толпы фантомов. За какое-нибудь Средневековье мы не очень-то опасались, там людям и так кругом мерещились призраки, чуть больше, чуть меньше — не имело особого значения, да и фантомы, как правило, ускользали не столь далеко. Зато в двадцатом или двадцать первом веке их нашествие могло вызвать незакономерную вспышку мистики, что ударило бы по истории, следовательно, и по нас. Парадокс! Все поколения наивно думали, что только настоящее в ответе за будущее, а оказывается, и будущее должно заботиться о минувшем. Не странно ли?

— Да... — помедлил я. — Все это трудно укладывается в сознании. Хотя... как вы сказали? И будущее должно заботиться о прошлом? Слушайте, а в этом нет ничего странного, тем более нового.

— Как нет? — наконец-то, наконец пришлось изумиться и моему гостю! У него даже брови подпрыгнули. — Это же недавний вывод нашего времени!

— Напрасно вы так думаете. — Я сполна наслаждался своим маленьким торжеством. — Просто очевидное не бросается в глаза. Историки всегда стремились очистить прошлое от наслоений лжи, ошибочных представлений, по крупницам восстанавливали его первозданность, всю полноту прежней жизни, тем самым духовно воскрешая былых людей, их мысли, поступки, стремления... Что это, как не забота будущего о прошлом? Иначе, кстати, нельзя разглядеть грядущее в былом, то есть понять закономерности, предвосхитить события, извлечь урок из прежних ошибок, улучшить тем самым будущее... Нет, охрана прошлого отнюдь не ваше изобретение. Просто у вас другие возможности и, как погляжу, куда большие обязанности.

Надо было видеть лицо гостя из будущего, пока я все это говорил!

— Верно! — воскликнул он даже с некоторым почтением в голосе. — Весьма справедливо, если не в деталях, то в принципе. Не могу понять, как столь очевидная мысль не возникла прежде!

— Возможно, она и возникала, — возразил я. — В двадцатом, девятнадцатом, а то и более раннем веке. Но осталась погребенной в толще книг, и мы сейчас открываем чьи-то прописи.

— Вы правы. — Собеседник задумался. — Обычная иллюзия: наш век — самый умный...

— Зато ваша деятельность подтверждает, что от века к веку растет ответственность поколений. В том числе и за прошлое.

— Несомненно. А знаете, я счастлив. Тем, что мы не только нашли общий язык, но и обогащаем друг друга, хотя между нами такая пропасть времени... — Он покрутил головой. — Ради этого стоило оплошать и выдать вам свое здесь присутствие. Вы, конечно, уже до конца поняли, чем я тут занимался и почему так хотел избежать встречи с предками?

— Сейчас проверю... Итак, призрак, который напугал моих хозяев, — это ваш беглый фантом, с ним все ясно. То есть о чем я? Все неясно, но, вероятно, физическую природу явления я не пойму, даже если у вас есть право ее объяснить.

— Не поймете, это точно, не обижайтесь.

— Ничего, я и квантовую механику не очень-то понимаю. А вот некоторые попутные соображения...

— Да?

— Мысль, конечно, банальная. То, что случилось с вами, или нечто подобное, должно было случиться. Неотвратимо.

— Вы уверены?

— Еще бы! Мы лишь недавно обнаружили, что, сами того не желая, воздействуем и на прошлое. Без всякой хронодинамики, кстати! Акрополь, и не только Акрополь, надо спасать от загрязнений уже теперь, иначе воздух нашего века разъест эти частички прошлого... О, вы, конечно, справились с экологическим кризисом, раз существуете и даже побеждаете время. Но перед вами в принципе стоят те же самые задачи! Те же самые, ибо чем мощнее деятельность человека, тем сильнее ее напор на все и вся, тем шире и парадоксальней последствия

этого напора, глубже их дальноедействие. Все! Какая-нибудь хронодинамика, охрана самого времени рано или поздно должны были стать для вас такой же необходимостью, как для нас — сбережение воды, воздуха, почвы, своего настоящего и вашего будущего. Разве не так?

— Не отрицаю и не подтверждаю, — слегка оторопело сказал мой гость. — Знать вам о нас можно далеко не все.

Я усмехнулся:

— Милый мой, дорогой прапраправнук! Да ваше лицо — открытая книга. Возможно, вас тренировали, учили скрытности и притворству, все равно вы не умеете лгать, что, кстати, говорит мне о будущем куда больше, чем любые ваши о нем пояснения.

— Неужели так?

— Именно так.

— Да-а... — проговорил он задумчиво. — Притворись в случае чего... Ну теоретики, ну знатоки!.. Спасибо, учтем.

— Не стоит... Между прочим! Когда я уронил стакан, разве вы не могли вместо всей этой глупой инсценировки просто исчезнуть во времени?

— И тем, может быть, довести вас до инфаркта? — Он взглянул на меня с упреком. — Убедить в реальности привидений?

— Ах так! Ну, разумеется, так... А эту свою... «гимнастку» успели словить?

— Здесь. — Он похлопал себя по поясу. — Теперь можете спать спокойно.

— Да я и так... Стоп! Почему вас так удивило мое бодрствование?

— Возникнув, я тут же, как полагается, включил... Словом, любой человек должен был сразу погрузиться в беспробудный сон и забыть все, если ему что-то привиделось. К сожалению, средство не действует, если организм борется с вирусами. Кстати, теперь, — он подчеркнул слово «теперь», — вы совершенно здоровы.

Верно, гриппа и след простыл! Давно и так незаметно, что я только сейчас обратил на это внимание... Ай да правнук, как он это умудрился?

— Спасибо, — сказал я с чувством. — Большое спасибо.

— Не за что. Я причинил вам беспокойство...

— Ну что вы!

— ...И должен был как-то извиниться. Но пора прощаться... Навсегда. Жаль, было очень, очень интересно, я не жалею о своей оплошности.

— Я тем более! Постойте... Вы не боитесь, что я расскажу о вашем появлении здесь и тем как-то повлияю на историю?

Он с улыбкой покачал головой:

— Вам же никто не поверит.

— Верно. Но мысли, которые вы невольно заронили...

— К ним, как вы сами заметили, мог прийти любой думающий человек вашей эпохи. Это ничего, наоборот, думайте о нас почаще, это надо, ведь мы от вас куда больше зависим... Прощайте, всего вам доброго в прошлом!

С этими словами он исчез. Сразу, мгновенно. Я даже не успел заметить, нажал ли он какую-нибудь там свою кнопку. Просто был человек — и растаял. Как я ни был готов к этому, а все-таки вздрогнул.

— Всего вам доброго в будущем! — крикнул я уже в пустоту.

Услышал ли он меня сквозь века?

Не знаю. Я лег, тут же уснул, а наутро сгоряча попытался убедить Мартина, что никаких призраков в его доме не было, нет и не будет.

Увы, переубедить его мне так и не удалось. Попробуйте, может быть, вам повезет больше, адрес я дам...

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК?

Вы берете вульгарную проволочку, вдвигаете ее в магнит и без тени волшебства получаете электричество. Собираете всякие там катушечки, сопротивленьица, транзисторы, и эта дребедень, откашлявшись, вдруг информирует вас о ходе посевной кампании или об осадках на ближайшие сутки. В полнолуние по соседству с масс-спектрометром включаете генератор высоких частот и...

Перед Саней, опрокидывая табурет, возник дьявол. Глаза дьявола пылали гневом, раздвоенный кончик хвоста издавал шипение, а левое копытце нервно било о кафельный пол.

— С-с-сволочь! — телепатически произнес дьявол.

Саня слегка обомлел и для проверки своего умственного состояния попытался вспомнить преобразование Лоренца. Удалось, но дьявол не исчез.

— Ну? — в замешательстве спросил Саня.

— Сволочь, — менее уверенно повторил дьявол.

— Ругаться, положим, я и сам умею, — отступая за табурет, осторожно возразил Саня. — Зачем пожаловали?

— Душа...

— Ерунда, — быстро сказал Саня. — Никакой души нет.

— Что-о? — Дьявол икнул от возмущения. — Души... нет?

— Само собой.

— Какая наглость! Какое неслыханное лицемерие... Конечно, ее нет! Но другие хоть делали вид, что она есть!

— За Средневековье не отвечаю.

Дьявол полиловел и раздулся, как мыльный пузырь.

Запахло чем-то потусторонним, Саня на всякий случай сгреб со стола увесистый том.

— Библия? — подозрительно спросил дьявол.

— «Введение в субквантовую механику». А что?

— И действует?

— Еще как! Не хуже кирпича.

— Воля ваша, но вы поплатитесь! Адские силы...

— Пожалуйста, без демагогии. Давайте лучше объяснимся.

Что вам от меня надо?

— Мне?! Это вам надо!

— Разумеется, разумеется. Вы вломились сюда без спроса, сорвали мне опыт, бранитесь — мне все это, конечно, крайне необходимо.

— Но вы же меня похитили!

— Пардон, вы сами явились.

— Ах вот как! Сам явился... Вам бы так явиться. Лицемеры проклятые... Я-то, дурак, не верил. — Он закрыл морду когтистой лапой и продолжал, раскачиваясь: — Я-то считал все это темным суеверием, которым пугают младенцев... Очутиться в лапах человека! Не сон, не бред, не вымысел, вот он, враг рода дьявольского...

На кафедру упала и затлела горячая слеза.

У Сани очки полезли на лоб.

— Так вы не пришелец с миссией контакта?! — брякнул он ни к селу ни к городу.

— Я — дьявол, — всхлипывая, ответил дьявол. — Ваш, будьте вы прокляты, пленник.

Саня дрожащей рукой потрогал свою голову. Голова оказалась на месте.

— Послушайте... э... мистер дьявол! Тут какое-то недоразумение... Это вы суеверие! Это вами пугали младенцев! Это вас считали врагом рода человеческого!

— Да, я ваш враг. — Дьявол внезапно выпрямился и метнул из глаз высоковольтный разряд. — Отныне и во веки веков.

— Фу, — сказал Саня. — Пожалуйста, не изображайте из себя лейденскую банку. Рассудим спокойно. Насколько я по-

нял, вы, дьяволы, считаете, что мы, люди, похищаем вас... Откуда, простите?

— Из ада. С нашей милой, уютной планеты, которая...

— Прекрасно! Сам факт вашего появления здесь свидетельствует, что во всей этой чертовщине есть рациональное зерно. Скажите, а вы никогда не похищали людей?

— Никогда. Мы мирные...

— Ладно, ладно. Обрисовывается рабочая гипотеза. Вы, извините, кто по профессии?

— Бухгалтер.

— М-да, это может затруднить понимание... Все-таки попробуем. Гипотеза сводится к следующему. С вашей планеты на нашу возможен внепространственный переход, иначе говоря, трансгрессия. И на Земле в давние времена кое-кому случайно удавалась операция переноса дьяволов, которая в ваших глазах, понятно, выглядела как злоумышленный разбой. Люди же натурально принимали вас за нечистую силу и срочно начинали торговать свою душу за горшки с золотом, титулы и тому подобную чепуховину. Так было дело?

— Это ваша интерпретация, — настороженно ответил дьявол. — Насилие, рабство и обман в придачу — таковы люди.

— Но ведь какого-нибудь бессмертия вы дать, конечно, не могли...

— Разумеется, нет!

— И золота тоже.

— Отчего же? Наша слюна обладает каталитическим свойством...

— А-а! Это многое проясняет. Так как вам моя гипотеза?

— Жалкая попытка самооправдания, — буркнул дьявол. — Если только не очередная издевка.

— Послушайте, вы же интеллигентный дьявол! Не нравится вам моя гипотеза — обоснуйте свою. Или вы предпочитаете скатиться в болото мистики?

— Я хочу вернуться домой.

— Да на здоровье! Пожалуйста! Хоть сию минуту!

— Как, вы от меня не потребуете ни кабального, кровью подписанного договора, ни золота, ни баронского титула...

— Еще чего! Жаль, не получилось у нас с вами разговора. Такая возможность пропадает! Ладно, наука обождет. Сейчас я вас катапультирую обратно.

— Без всяких условий?!

— Ну, если бы вы задержались на минуту, я был бы вам очень благодарен.

— А, все-таки услуга...

— Что вы! Просто я успел бы наладить кое-какую аппаратуру. Крайне любопытно замерить хотя бы параметры вашего перехода в ад. Ведь это, как хотите, нетривиально.

Хвост дьявола задумчиво сложился лентой Мебиуса.

— Вы, кажется, хотели знать, что я обо всем этом думаю, — сказал он, помедлив.

— Да, было бы любопытно сопоставить точки зрения. Ничего не понимаю, куда завалился тестер?

— Простите, кажется, я на него сел...

— Совершенно верно! Благодарю вас. Так что вы хотели сказать?

— Я не силен в физике, но с точки зрения морали...

— Да, да, я слушаю, — сказал Саня, с натугой вытягивая из-под стола портативный психотензометр.

— Нас, жертв, вы изобразили исчадьями. Этому есть только одно объяснение: вы перенесли на нас свои худшие качества, чтобы оправдаться в насилии и варварстве.

— По-моему, вы правы, — рассеянно сказал Саня, оглядываясь. — Магнитометр, теперь хорошо бы магнитометр...

— Так вы согласны с моей оценкой? Может, еще извинения принесете?

— Это само собой. Честное слово, я не хотел! Готов, чем могу, загладить.

— Вот как? А если я поймаю вас на слове и потребую согласия перенестись со мной в ад?

— С удовольствием, там, я вижу, живут вполне разумные дьяволы. Позвольте! Вы же как будто намекали, что дьяволы никогда...

— Допустим, мы научились. Допустим, стоит мне послать телепатему, и вас тоже, как это... трансгрессируют.

— Так это же замечательно! Я-то, признаюсь, — Саня доверительно понизил голос, — трансгрессировал вас случайно. Голая, стыдно сказать, эмпирика... Ну, ничего, — добавил он весело, — теперь сравним методики, сопоставим теории — и дело пойдет!

Дьявол ничего не ответил. Его глаза давно уже не пылали. Хвост мирно улегся на плечо, и один из раздвоенных кончиков задумчиво почесывал щеку.

— Как странно, — наконец проговорил он. — Такое впечатление, будто вы не человек, а мой старый знакомый, магистр оккультно-физических наук. Одна и та же манера... Нет, не могу поверить! Было столько преданий о людском коварстве...

— Ну, ну, не переносите на нас свои худшие качества. Легенд и у нас хватает, развеять предрассудки, знаете ли, благое дело. Так я готов! Правда, терминал слегка барахлит, но, думаю, сойдет.

Саня поправил очки, пригладил волосы. Дьявол почему-то отвел взгляд. В неловкой тишине из плохо повернутого кра-на в рукомойник грянула капля воды.

Досадливо покосившись, дьявол одним движением хвоста прикрутил кран.

— Должен перед вами извиниться, — сказал он отрывисто. — Не умеем мы переносить людей в ад, пока не научились.

Саня ахнул.

— Тогда зачем же...

— Эх, молодой человек, молодой человек... Душа, что там ее замещает, тоже требует пробы. Знали бы, какой опасности избежали, еще поблагодарили бы!

— Что?! Послушайте, неужели все эти рассказы об адских жаровнях...

— Сатана с вами! — Кончики раздвоенного хвоста дружно всплеснули. — Сейчас, слава Вельзевулу, не темное Средневековье, за кого вы нас принимаете? В наши дни, — дьявол понизил голос, — надо бояться научной предвзятости и поспешности. Ведь проблема трансгрессии, как мне объяснил мой друг физик, действительно близка к разрешению. Теперь представьте: дьяволы вдруг убеждаются в реальности мифов и...

Кто поручится, что память о былом зле не повлечет за собой новое зло? Чувства, увы, так часто опережают разум!

— Верно, — грустно согласился Саня. — Но тогда... — взгляд его вспыхнул, — тогда, выходит, мы вовремя встретились!

— И я о том же! — Дьявол просиял. — Нет, нет, я ничего не хочу сказать плохого о нашей высокообразованной научной молодежи, но излишняя горячность, недостаток житейского опыта, некоторый, знаете ли, апломб... Есть ли у нас время для обстоятельной и уже, надеюсь, дружеской беседы?

Саня метнулся к окну, затем кинул взгляд на приборы.

— Так! Луна, значит, в надлежащей фазе, техника функционирует нормально, до петухов... Хотя при чем тут петухи?! Да их и нет в городе. Слушайте, у нас масса времени!

— Ах как славно! — Дьявол потер лапы и уютно скрестил копытца. — Спокойный обмен информацией, приятельский, за полночь, разговор с интеллигентным человеком, наконец-то установившийся контакт братьев по разуму — что может быть лучше?!

— Вот именно! — с жаром подхватил Саня. — Мы, конечно, не ангелы...

— Кхр-р! — У дьявола болезненно передернулась шея.

— Что с вами?!

— Нет, нет, ничего... Мой друг, не поминайте ангелов всуе!

— Вот как... — прошептал Саня. — И ангелы, значит, тоже...

— Разумеется. — Дьявол поежился. — Слушайте, у вас не найдется чего-нибудь... э... согревательного?

Его хвост сам собой изогнулся штопором.

— О чем речь! — Саня сорвался к полке. — Вам, очевидно, серной концентрированной?

— С вашего позволения, — дьявол хмыкнул, — немножечко устарело. Вот если бы плавиковой...

Плавиковая нашлась тотчас. Дьявол (Саня слегка содрогнулся) залпом осушил платиковый тигелек, и к нему вернулось равновесие духа.

— Извините, — сказал он смущенно. — Нервы, понимаете, но теперь все в порядке, и мы наконец можем присту... Ай!

Стена вдруг выгнулась, лопнула, как мыльный пузырь, и меж собеседниками, сметая их вместе с табуретами, возникло

крылато-белоснежное существо с таким взглядом, что от него задымился кафель.

— Хорош, — сказала существо. — Я-то уже все загробья обзвонила, бесов на ноги подняла, а он тут прохлаждается!

— Но, мой ангел... — пролепетал дьявол. — Тут, понимаешь, такая история...

— И плавиковой от тебя пахнет! — Когтистый палец грозно припечатал дьявола к месту.

— Да оглянись же! — взвопил тот. — Перед тобой человек! На полу!

— А хоть на небесах. Я, милый, не ангелочек, чтобы в сказочки верить.

— Простите, — растерянно пробормотал Саня. — Но я, к вашему сведению, действительно... м-м... существую. Вот!

Он вскочил, отряхнулся и даже зачем-то щелкнул каблуками.

— Ну, теперь убедились? — торжествующе спросил дьявол.

— Вижу. Не слепая. Обычная голограмма, ничего особенного.

— К-как? — У дьявола копытца поехали врозь, а Саня где стоял, там и сел. — Опомнись! Он же реальный! Живой! Ты потрогай!

— Так. — Крылья зловеще лязгнули. — Исчез,пил плавиковую, а теперь... Думаешь, раз я неученая, значит, во что угодно поверю? Ошибаешься, мой дорогой. Я все передачи «Невероятное — рядом» смотрю и уж как-нибудь знаю, что в природе реально, а чего в ней быть не может.

— Но это же Земля! Иная, пойми, цивилизация, другой ра...

— Неудачно выдумываешь, мой друг, отстал от науки. Доктор Мефистофель недавно математически доказал, что мы одиноки во Вселенной! А ты! Невежество до добра не доводит, вот так. Ну, сам сгинешь или помочь?

— Стойте! — закричал Саня.

Но было поздно. Крылья взмахнули, воздух взвихрился, приборы зашкалило, оба исчезли.

«Наука имеет много гитик... — отчего-то пронеслось в Саниной голове. — Наука имеет много гитик...»

ПРОБА ЛИЧНОСТИ

Внимание Пospelова привлекли голоса за дверью. Он приостановился. Вечера в интернате не отличались тишиной, дело было не в шуме, который доносился из кабинета истории, даже не в том, что ребята, похоже, занялись там чем-то скрытым от глаз учителя. На это они имели полное право. Кому, однако, мог принадлежать фальцетам срывающийся, явно старческий и, судя по интонациям, перепуганный голос?

— Помилосердствуйте... Все пакостные наветы недругов моих, клеветущая злоба завистников...

Что за странная лексика! Впрочем, это кабинет истории, там все может быть...

— Нет, Фаддей Венедиктович, — послышалось за дверью. — Вы, пожалуйста, ответьте на наш вопрос.

Фаддей Венедиктович? Пospelов сдвинул брови. Какое необычное имя! И почему-то знакомое. Фаддей... Венедиктович... «Так это же Булгарин! — ахнул Пospelов. — Девятнадцатый век, Пушкин, травля, доносы... Ничего не понимаю!»

Уже давно вид закрытых ребятами дверей не мог навести педагога на мысль о чем-то дурном, но так же точно в подобной ситуации и педагог не был для ребят нежеланным гостем. Без долгих размышлений Пospelов толкнул дверь и, войдя в помещение, тихонько притворил ее за собой.

Семеро мальчиков и девочек не заметили его бесшумного появления. Они были так увлечены своим занятием, что отвлекать их, чего доброго, не смогло бы и нашествие инопланетян. Слова вопроса, с которыми Пospelов хотел к ним обратиться, остались произнесенными. И немудрено! Там, где

он очутился, был самый обычный, погруженный в полумрак школьный кабинет, в котором сидели столь же несомненные, хорошо знакомые учителю подростки двадцать первого века, — голоногие, голорукие, весьма взволнованные и привычно сдержанные. Но такой же несомненной, такой же подлинной была смежная реальность — уставленная громоздкой мебелью, как бы продолжавшая аудиторию комната, изразцовое чело печи в простенке, конторка с впопыхах брошенным поверх рукописи гусиным пером, шкаф с темными корешками книг на полках, узкое и высокое окно, в которое падал хмурый свет дня, явно петербургского, потому что над крышами вдали восставал шпиль Петропавловки. И ничто материальное не отделяло эту комнату от действительности двадцать первого века: просто в двух шагах от ребят акмолитовое покрытие пола кончалось, как обрезанное ножом, и сразу начинался навощенный паркет. Вот только свет из окна, озарявший фигуру у конторки, не проникал за черту, хотя в воздухе ему не было никакой видимой преграды.

Но не эта реальность состыковки двух эпох поразила учителя. Будучи физиком, он прекрасно понимал, что все находящееся там, за чертой, столь зримое и очевидное, на деле было произведением фантоматики, неотличимой от настоящего моделью прошлого, сотканной компьютером голограммой. Парадокс, обратный тому, который возникает при быстром мелькании спиц в колесе: там грубая сталь, оставаясь веществом, расплывается в призрак; здесь призрачное ничто превращалось для взгляда в самую что ни на есть подлинную и телесную материю. Туда, в девятнадцатый век, можно было даже шагнуть, потрогать предметы, но лишь затем, чтобы убедиться в мнимости и этой конторки, и этого массивного, с завитушками шкафа, и этих резных кресел, столь же проницаемых для взмаха руки, как самая обычная тень. И в том, что среди всей этой иллюзорной обстановки находился прилизанный, с лоснящимся от пота лицом Фаддей Венедиктович Булгарин (Видок Фиглярин, по нелестной аттестации современников), тоже не было ничего исключительного. Как все остальное, компьютер и его моделировал по рисункам, запискам, воспоминаниям той эпохи, воссоздал облик, душевный склад, характер мыслей, на-

делил фантом самостоятельной, насколько это вообще возможно, жизнью доподлинного Фаддея Венедиктовича, так что фигура у конторки могла слушать, думать, говорить и чувствовать, как сам Булгарин. Нового для Пospelова тут ничего не было. Всего несколько лет назад шальная жажда справедливости толкнула его, тогда еще студента, подобным образом воссоздать Лобачевского, чтобы хоть тень великого человека услышала благодарность потомков, ведь Лобачевский при жизни не дождался ни единого слова признания, даже простого понимания своего труда. Однако уже ослепший старик сразу перебил его излияния: «Благодарю вас, сударь, но я и так знал, что моя воображаемая геометрия будет нужна».

Однако сейчас от Пospelова ускользал самый смысл затеи, и он не мог понять того странного разговора, который завладел его вниманием.

— Повторяю вопрос, Фаддей Венедиктович. Вы понимали значение Пушкина в литературе?

Пospelов сразу узнал говорящего: Игорь, конечно, и тут был главным!

— Понимал-с, прекрасно понимал, ваше...

— Напоминаю: без титулов, пожалуйста!

— Хорошо-с. — Казалось, что Булгарин при каждом слове мелко раскланивается, но это впечатление создавал его ныряющий, с придыханием голос, потому что телесно он держался со смиренным достоинством.

— Если вы понимали, кто такой Пушкин, то почему вы его травили?

— Ложь сплетников и низких клеветников! Я, я — травил?! Господи, пред тобой стою, всегда желал Александру Сергеевичу добра, стихи его с восторгом печатал, мне он писал прикрасно, сохранил, как святыню... могу показать...

Рука Булгарина дернулась к конторке.

— Не надо. — В голосе Игоря прорвалась брезгливость. — Эти письма двадцатых годов нам хорошо известны. Скажите лучше, что вы писали о Пушкине, например, в марте и августе 1830 года.

— Не отрицаю! — поспешно и даже как-то обрадованно воскликнул Булгарин. — Случалось, пенял достопочтенному Алек-

сандру Сергеевичу, звал, некоторым образом, к достойному служению царю и отечеству. Не понят был, оскорблен эпиграммами, поношением литературных трудов моих, недостойным намеком на прошлое супруги, но зла — упаси боже! — не сохранил, ту эпиграммку сам напечатал, рыдал при безвременной кончине Александра Сергеевича... Заносчив был покойный, добрых советов не слушал, ронял свое величие поэта, так все мы, грешные, ошибаемся! Господи, отпусти ему прегрешения, как я их ему отпустил...

От обилия чувств лицо Булгарина покривилось; он сконфуженно утер слезу.

Шелест возмущения прошел по залу. Одна из девочек даже вскочила, готовая броситься, выкрикнуть потрясшее ее негодование. Остальным удалось сохранить спокойствие, только взгляды всех сразу устремились на Игоря. Девочка, помедлив, села. Губы Игоря сурово сжались. «Да, — сочувственно подумал Пospelов. — Вот это и есть демагогия, с которой вы, ребятишечки, никогда не сталкивались. Такого ее мастера, как Фаддей, голыми руками взять и надеяться нечего... И чего, интересно, вы хотите добиться, милые вы мои?»

— Значит, добра желали. — Слова Игоря тяжело упали в зал. — Тогда поясните, как это ваше утверждение согласуется с тем, что вы секретно писали и говорили о Пушкине Бенкендорфу?

Сжав пальцами край конторки, Булгарин подался вперед, будто желая лучше расслышать. Его глаза, в которых еще стояли слезы, моргнули, совсем как у старого, привычного к побоям пса. Никакого звука он, впрочем, не издал.

— Забыли? Может быть, напомнить вам некоторые ваши доносы? Этот, например: «К сему прилагаю все тайно ходящие в списках стихи г. Пушкина, содержание которых несомненно изобличает вредный уклон его мыслей...»

«Ого! — изумился Пospelов. — Где они нашли такой документ? Впрочем, что я... Это же артефакт, иначе в учебниках было бы. Конечно! Такого доноса Булгарина не сохранилось, но как палеонтолог по одной кости способен реконструировать скелет, так и центральный компьютер, к которому ребята, несомненно, подключились, может по известным фактам и

записям воссоздать утраченный текст. Не дословно, но вряд ли и сам Булгарин хорошо помнит написанное им когда-то... Рискованно, но, кажется, ребята попали в самую точку».

— ...Назвать день, когда вы это написали?

Ответа не последовало. Что-то шепчущие губы Булгарина побелели, он пошатнулся, криво оседая в ближнее кресло.

— Страховой импульс!!! — бешено крикнул Игорь. — Упредить не могли?!

— Спокойно, спокойно, — ломким басом отозвался второй с края подросток. Его короткие пальцы проворно коснулись чего-то на пульте дистанционного управления, который он держал на коленях. Склоненное лицо подсветили беглые огоньки индикатора. — Это не сердечный приступ (Поспелов невольно вздрогнул), даже не обморок. Просто испуг и ма-аленькая игра в жука-притворяшку.

— Но ты хоть сбалансировал тонус?

— Еще бы! Пусть посидит, отдохнет, поразмыслит...

— А обратная связь?

— Отключена. Не видит он теперь нас и не слышит — эмоционируй как хочешь!

Поспелов вжался в тень, ибо ребята тут же повскакали с мест. Всех прорвало. Всем не терпелось высказаться, все спешили высказаться и кричали наперебой, как только возможно в их возрасте.

— Вот тип!!! С таким слизняком возиться — потом год тошнить будет...

— Игорь, чего ты: «Пушкин да Пушкин!» Надо по всему спектру, исподволь, а ты — бац!.. Я тебе медитировал, медитировал...

— Нет, ты представь, каково было Пушкину! Вот только он написал «Пророка», в уме еще не остыли строчки «И внял я неба содроганье...», а в редакции к нему с улыбочкой Булгарин, и надо раскланиваться с этим доносчиком, руку жать...

— Раскланивался он с ним, как же! Он в письмах его «сволочью нашей литературы» называл...

— То в письмах! А в жизни от него куда денешься...

— ...Ленка, ты заметила, какие у Булгарина стали глаза? Печальные-печальные...

— А я что говорила! Жизнь у него была собачья, может, не так он и виноват...

— Кто не виноват?! Булгарин?!

— Ну о чем вы... Надо разобраться, выяснить...

— Нет, вы слышали?! Она ему сочувствует!!!

— Почему бы и нет? Надо по справедливости.

— А он к кому-нибудь был справедлив?

— Так это же он! Уподобиться хочешь?

— Что, что ты сказала? Повтори!

— Ничего я не сказала, только булгарины и позже были.

Гораздо позже, а раз так...

— Увидите, каяться он сейчас будет. Возразить-то нечего. Даже скуч...

— Тихо! — Игорь предостерегающе вскинул руку. — Приходит в себя. По местам, живо! Петя, готовь связь, а вы думайте, прежде чем советовать...

Все тотчас смолкло. Будто и не было суматохи, крика, задиристой перепалки, привычка к самодисциплине мигом взяла свое. Свободно и непринужденно, в то же время подтянуто и достойно в зале сидели... Судьи? Нет. Но и не зрители. И уж, пожалуй, не дети. Исследователи. У всех в ушах снова очутились медитационные фоноклипы, которые позволяли Игорю улавливать мысленные советы, отбирать лучшие, так что мышление становилось коллективным, хотя разговор вел только один. Пospelов невольно залюбовался знакомыми лицами, на которых сейчас так ясно отражалась сосредоточенная работа ума и чувств. Вмешиваться не имело смысла. Какой бы ни была поставленная цель, ребята подготовились серьезно, с той ответственностью и внутренней свободой, без которой не может быть гражданина.

Веки Булгарина меж тем затрепетали. Он исподтишка кинул быстрый, опасливый взгляд. Помертвел на мгновение. Вялая рука сотворила крестное знамение. Лицо его как-то внезапно успокоилось, он тяжело поднялся, старчески прошептал вперед и выпрямился с кротким достоинством.

— Сидите, если вам трудно, — поспешно сказал Игорь.

— Не слабостью угнетен, — тихо прошелестело над залом. Губы Булгарина горестно дрогнули. — Тем сражен и повержен, что и тут настигла меня клевета...

— Вы хотите сказать, что никогда не писали доносов на Пушкина?

— То не доносы... То крик совести, то служба подданного, ради которой страдал и страдаю. Никем, никем не понят! — Голос Булгарина надрывно возвысился, руки широко и моляще простерлись к залу. — Тебе, всеблагий, открыты истинные порывы моей души, суди справедливо!

Голос упал и сник. Пospelова точно обдало холодом, ибо теперь, после этих слов, ему с пугающей ясностью открылось то, о чем он уже смутно догадывался, но от чего, протестуя, убегал его смятенный ум. Ведь это же... Чем или кем должны были представиться Булгарину вот эти самые подростки?! Адским наваждением? Галлюцинацией? Самим судом божьим?!

В любое из этих допущений Булгарину, конечно, было поверить легче, чем в истину. Не важно, что никакого подлинного Булгарина здесь не было. Этот воссозданный голографией и компьютерной техникой призрак вел и чувствовал себя так, как в этих обстоятельствах мог себя вести и чувствовать живой Фаддей Венедиктович. Несомненно, ребята успели ему внушить (или даже заранее вложили в него это знание), что с ним говорят потомки. Но психика, пусть всего лишь психика модели, руководствуется представлениями своей эпохи. Значит, фантом мог думать...

Пospelов растерянно взглянул на ребят. Ощущают ли они хоть каплю той жути, которая овладела им?

Не похоже. В жизнь Пospelова фантоматика вошла как новинка, а вот для них она была привычной данностью. Зато все ирреальное, потустороннее, что когда-то страшило ум, было для них фразой в учебнике, безликим фактом далекого прошлого, который надо было рационально учесть, когда имеешь дело с этим прошлым, только и всего. Просто Игорь нагнулся к Пете и осведомился шепотом: «Насчет бога, это он как, искренне?» Тот пожал плечами. «Судя по эмоционализатору — чистой воды прагматизм». — «Ага, спасибо...»

— Стало быть, Фаддей Венедиктович, — продолжал Игорь спокойно, — мотивом ваших поступков была общественная польза?

— Так, истинно так! Верю, вы убедитесь...

— Уже убедились. Все же поясните, пожалуйста, как именно ваши доносы в Третье отделение способствовали процветанию отечественной литературы.

— Каждодневно служили, каждодневно, и хотя не всегда ценились, как должно, благотворное влияние свое оказали. Что случилось бы с Пушкиным да и с другими литераторами, кабы неведение помешало властям тотчас подметить дурное на ниве словесности и мягко, отеческой рукой упредить последствия? Страшно подумать, каких лекарств потребовала бы запущенная болезнь! В том мой долг и состоял, чтобы, пока не поздно, внимание обращать и тревогу бить. Старался по мере слабых сил и преуспел, надеюсь.

— Настолько преуспели, Фаддей Венедиктович, что эти ваши старания по заслугам оценены потомством.

— Ах! — Пухлые щеки Булгарина тронул светлый румянец, глаза растроганно заблестели; всем своим обликом он выразил живейшую готовность заключить собеседника в объятия. — Писал, писал я как-то его высокопревосходительству Дубельту Леонтию Васильевичу: «Есть бог и потомство; быть может, они вознаградят меня за мои страдания». Счастлив, что оправдалось!

Булгарин многозначительно устремил указательный палец к небу.

— Да-а, Фаддей Венедиктович, — протянул Игорь. — Мы вас вполне понимаем. Служили верно, искренне, рьяно, а вознаграждаемы были не по заслугам. Хуже того, обиды имели.

— Страдал, еще как страдал, — с готовностью подхватил тот. — Даже под арест был посажен безвинно за неугодное государю мнение о романе господина Загоскина!

— Не только под арест... Случалось, жандармские генералы и за ушко вас брали, и в угол, как мальчишку, на колени ставили. Вас, литератора с всероссийским именем! Было?

«Неужели было?» — недоверчиво удивился незнакомый с документами той эпохи Пospelов, но вмиг осевшее лицо Булгарина развеяло его сомнения.

— Имел разные поношения... — Голос Булгарина сразу осип. — Оттого и возлагал на потомков надежды, что даже со стороны их высокопревосходительств терпел мучения!

— Сочувствуем, Фаддей Венедиктович. Это не жизнь, когда не то что за мнение, за самые восторженные похвалы властям предержащим вы получали нагоняй. Ведь и так бывало?

— Святая истина! Побранил однажды в газете петербургский климат, так мне претензия: «Как смеешь ругать климат царской столицы!» Стоило отдать должное мерам правительства, так и тут не угодил! Сказали мне: «Не нуждаемся мы в твоих похвалах...»

— И все-таки вы продолжали служить этой унижавшей вас власти. О личном достоинстве не говорю, но отчего же вы так восхваляли строй, при котором вас за провинность в угол на колени ставили?

— Не ради почестей старался! Поносителей своих презирал...

— И Дубельта?

— Его особо!

— Чего же вы тогда к нему в письмах обращались: «отец и командир»?

— Это же так принято по-русски, по-семейному...

— Барин холопа наградит, он же его накажет, а холоп еще и ручку облобызает, так?

— Снова я не понял! — с горечью воскликнул Булгарин. — Не дурным слугам — идее я был предан, за то и терпел...

— Ясно! В своих «Воспоминаниях» вы писали: «Лучше спустить с цепи голодного тигра или гиену, чем снять с народа узду повиновения властям и закону... Все усилия образованного сословия должны клониться к просвещению народа насчет его обязанностей к богу, к законным властям и законам... Кто действует иначе, тот преступает перед законами человеческими...» Вот это и есть та идея, ради которой вы, терпя унижения, трудились так ревностно?

— Да-с! За приверженность богу, царю и властям законным мятежники мне голову отрубить грозились!

— Положим, с декабристами вы сначала завязали крепкую дружбу, хотя для вас не было тайной, что они как раз хотят «преступить перед законами человеческими».

— Виноват, оступился по молодости, тут же раскаялся и делом доказал свою преданность!

— Совершенно верно! Сразу после декабрьского восстания вы представили проект усовершенствования цензуры и стали сотрудником Третьего отделения. Оставим это. Не будет ли ошибкой сказать, что Николай I и его правительство следовали той же, что и вы, идее?

— Несомненно! Иначе как бы я мог...

— Хорошая, неуклонно проводимая в жизнь идея должна принести народу благо. Согласны?

— Так...

— Тогда объясните, пожалуйста, слова из вашей собственной докладной записки о положении дел в России: «От системы укрывательства всякого зла и от страха ответственности одному за всех выродилась в России страшная система министерского деспотизма и сатрапства генерал-губернаторов...»

— То о дурных слугах царя писано, о недостатках, кои надлежит исправить!

— Дурные слуги, так у вас получается, — это министры, генерал-губернаторы, сам шеф Третьего отделения, а недостатки — всеобщая система произвола и лжи. Вот что, по вашим собственным словам, расцвело под солнцем вашей идеи! Так чему вы служили в действительности? Может быть, не идее вовсе, не царю, не государству, а самому себе?

— Неправда! Все ложно истолковано!

— Ну зачем так, Фаддей Венедиктович! Есть факты, и есть логика. Вы, полагаю, убедились, что нам известно о вас все самое тайное. Не лучше ли самому сказать правду?

На Булгарина было жалко смотреть, точно его, было согрето-го пониманием, внезапно окатили ледяной водой. Он съехался, поблек и онемел, казалось. Но в его затравленном взгляде мелькали колкие, злые искры, что никак не вязалось с жалобным и растерянным выражением его лица.

— Скажу-с, — выдавил он глухо. — Всю правду-с... Веру в добро и истину сквозь беды пронес, но затравлен был обстоятельствами, опутан ими, как пленник сетями, и... и...

— И?..

— И оступался... Слаб человек, никому зла не хотел; но сволочью был окружен, завистниками; вынужден был бороться, святые не без греха...

— Кто же заставил вас сближаться со сволочью? В начале двадцатых годов к вам хорошо относились лучшие люди России.

— Они сущность мою видели! Останься жив Грибоедов, который, в Персию уезжая, мне, как лучшему другу, рукопись своей комедии доверил...

— Которую вы затем продали за несколько тысяч рублей. Вы и прежних друзей — декабристов предали. Только не говорите, что из идейных побуждений! Вы и своего могущественного благодетеля Шишкова тоже предали.

— Ради бога, поймите же меня, наконец! Издатель и литератор в России — агнец среди волков...

— Позвольте! Никто из писателей, чьи книги стоят у нас на полках, не служил в Третьем отделении, не доносил на своих собратьев, хотя находился в тех же условиях.

— В других, совершенно других! Я не стыжусь своего прошлого, но в глазах властей...

— Вы не стыдитесь своего прошлого?

— Я храбро сражался против Бонапарта под Фридландом, ранен был во славу русского оружия...

— А потом во славу французского оружия сражались против крестьян Испании, позднее, в Отечественной войне двенадцатого года, бились против русских солдат...

— Даже пристрастная комиссия оправдала меня!

— От которой вы кое-что скрыли, да и Бенкендорф замолвил словечко. Хозяева вами брезговали, но в вас нуждались, тут все понятно. И то, что вас в свое время заставило уйти к Наполеону, — тоже.

— Несправедливость полкового командира, отставка, злая нищета...

— Да, да, знаем, как вы в Ревеле стояли с протянутой рукой и хорошим литературным штилем, иногда даже стихами просили милостыню...

Округлая фигура Булгарина дернулась, как лягушка под ударом тока.

— Не было этого!!!

Все вздрогнули, ибо так мог бы возопить раненый.

— Было, — побледнев, но непреклонно повторил Игорь. В его словах Пospelову даже почудился лязг скальпеля. — Было, Фаддей Венедиктович. Таких ли мелочей вам стыдиться? И горькую вы тогда пили, и офицерскую шинель крали, все было.

Булгарин отшатнулся, ловя воздух широко раскрытым ртом, и боль, которую он сейчас испытывал, передалась всем, вызвала желание отпрянуть, защититься от горького, непрошеного, тягостного к нему сочувствия. И еще больше от острого, гипнотического, недостойного любопытства к невольно открывшимся уголкам этой выжженной цинизмом души. Даже оператор растерянно забыл о своих переключателях, хотя казалось, что Булгарина сейчас хватит непритворный обморок. Все словно коснулись клемм какого-то высокого и опасного психического напряжения, и уже готов был раздаться крик: «Выключить, выключить!»

Но Булгарин не грохнулся в обморок. Наоборот, его голос внезапно обрел твердость.

— Все правда. — Он быстро облизал высохшие губы. — Падал я на самое дно бездны, молил о помощи, но оставили меня как бог, так и люди. Сколько я претерпел от них! Так я понял, в каком мире живу... Хотел потом забыть и очиститься, оттого и потянулся к лучшим людям России. Но знали, знали жандармы, какие на мне пятнышки! Что для них человек? Пылинка в делах государственных, звук пустой... Хорошо чистеньким! А мне под нажимом куда деваться? Снова в нищету, на дно, стреляться с похмелья? Уж нет-с! Во мне талант был сокрыт, его сам бог велел всем беречь. Стал я себя укреплять, ненавистников нажил, зато «Иваном Выжигиным» и многими другими своими сочинениями русскую словесность прославил!

От столь внезапного поворота, от дышащих искренностью слов Булгарина растерялся даже, казалось бы, готовый ко всему Игорь. «Вывернулся!» — с отчаянием и безотчетным восхищением подумал Пospelов, и от этого мелькнувшего в душе восхищения ему стало гадко, совестно и противно.

— Вы считаете свои книги вкладом в литературу? — успел оправиться от замешательства Игорь.

— Нескромно было бы мне отвечать словами Александра Сергеевича: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» Однако же редкая книга видывала такой успех, как мой «Выжигин». Даже мой поноситель Белинский признавал это.

— Верно, успех был. Только, несмотря на шумную рекламу, официальную поддержку и вами же организованное словословие, читатель очень скоро и прочно охладел как к «Выжигину», так и к другим вашим сочинениям. Вы не задумывались почему?

— Небо содрогнулось бы, начни я перечислять все интриги смутьянов, которые, вознося новомодные сочинения, портили вкус публики и отвращали ее от истинно патриотических образцов литературы! Но все вернется на свои места, все!

— С вашим «патриотизмом», Фаддей Венедиктович, мы, положим, разобрались. Поговорим лучше об обстоятельствах, которые вас заставили клеветать и доносить. Эх, Фаддей Венедиктович, и вранью есть мера! Обстоятельства... Вы очень скоро стали богатым. Могли бы спокойно отойти от дел и писать романы в своем имении. Только не говорите нам, что вас не отпускало со службы Третье отделение! Но вы упорно продолжали свою деятельность. Обогащались, не брезгуя ничем. Кажется, не было такого талантливого писателя, художника, актера, на которого вы хоть раз не напечатали бы хулу. Даже геометрию Лобачевского ваша газета охаяла... без права ответа, конечно. Десятилетиями вы точно, прицельно били по всему честному, талантливому, передовому, что возникало в России. Сказать почему?

Булгарин молчал, до ниточки сжав побелевшие губы.

— Во-первых, вы в глубине души прекрасно понимали, что без поддержки властей, без сотрудничества с Третьим отделением вы и ваши сочинения — ноль. Только так, выслужива-

ясь, подличая, угождая, вы могли утвердить свое имя и обогатиться.

— Господи, дождусь ли я справедливости?! Имел я доходы — так разве это грех? Не затем я домогался влияния, а чтобы, заимев полное доверие властей, осторожно склонять их к улучшению дел и облегчению тягот! Мои записки правительству, кои вы уже трогали, и мои прожекты доказывают...

— Что даже вам было тяжело в обстановке всеобщего бесправия! Верим. Но вы же его и умножали. Не вы ли предлагали проект устройства новой сыскной полиции, во главе которой рекомендовали поставить самого что ни на есть зверя? Нет, Фаддей Венедиктович, не сидит на вас маска потайного либерализма. Все, увы, куда проще. Вот логика ваших поступков. Пушкина вы до поры до времени не трогали, даже печатали с расшаркиванием. Потом вдруг стали строчить на него доносы, печатно намекнули, что он плагиатор, чем даже вызвали царское неудовольствие. Откуда такая внезапная перемена, что произошло? Только одно. Пушкин с друзьями затеял газету, которая могла составить опасную конкуренцию вашей «Пчеле»...

— Поклеп, нет тому подтверждающих документов, а сказать можно все!

— Есть логика фактов. Ваша «Северная пчела», скверная, по единодушному мнению, газета, имела все же немало подписчиков. Она была единственной ежедневной газетой России, и у подписчиков просто не оставалось выбора. А где подписчики, там и доходы. Терять монополию вам никак не хотелось! Прошел слух — только слух! — что Вяземский хочет издавать газету. От вас тут же спешит донос с обвинением Вяземского в аморальном поведении. Привести еще факты того же рода или хватит? Хватит... И талантливых писателей вы стремились опорочить прежде всего потому, что их произведения составляли конкуренцию вашим, могли их зачеркнуть, что, разумеется, и случилось. Вот исток вашей ненависти ко всему талантливому! Вы еще потому хотели всех унижить, что чужая порядочность мешала вам жить. Если бы все кругом лизали сапог, гребли под себя, наушничали, то вам было бы куда

уютней. А так даже царь, даже жандармы брезговали вами... Да, жизнь у вас была — не позавидуешь!

Булгарин дышал учащенно, с присвистом. До сих пор даже в испуге, в самом униженном подобострастии его лицо сохраняло цепкую, ко всему готовую энергию сопротивления. Теперь — никто не уловил мгновения, когда это произошло, — его лицо погасло. В нем не осталось ничего, совсем ничего, кроме внешних примет старости: рыхло обвисших щек, багрово-синеватых склеротических жилок под дряблой кожей, безвольно полуоткрытых губ с капелькой набежавшей слюны. Вид этой жалкой, дрянной капельки внезапно обдал Пospelова такой пронзительной жутью, что он едва не заорал на весь зал: «Да что же вы делаете, наконец?! Булгарин давно мертв, его это не может коснуться, здесь призрак, фантом — кого же вы тогда мучаете? Зачем?!»

Ничего этого он не выкрикнул, не метнулся, чтобы остановить кошунственный разворот событий, — не успел. Булгарин, то, что представляло собой Булгарина, вдруг словно обрел второе дыхание. Исчезла дряхлость, напор энергии стер опустошенность, глаза ненавидяще блеснули, зло и четко грянули совсем неожиданные слова.

— Ваш приговор хуже, чем нелеп. Факты? И убийство награждаемо, когда оно совершено на войне. Законы определяют, кто есть виновный! Установленные людьми, они соблюдаются земными властителями; мои же поступки были поощряемы самим государем. А ежели я виноват перед законом всевышнего, то каким? Тайному следовать невозможно, потому как он нам неведом, за соблюдением же открытых надзирает святая церковь, коя также не находила во мне больших прегрешений. Чист я перед государственными и божьими установлениями! Каким же тогда законам следуете вы? Никаким или бесовским! Но я-то им неподсуден, и за меня бог, раз я не нарушал его законов!

Он замер с торжеством. Сама оскорбленная святость глядела теперь свысока и упивалась явным замешательством судей. Какая разница, кто перед ним был, — потомки, жандармы, дьяволы или ангелы, если можно было отвести неведомую, но, с его точки зрения, реальную кару! Все годилось в той

ужасной, ни в каких книгах не описанной ситуации, в которой он очутился, — что ж, вся его жизнь была искусной борьбой, он умел приспособливаться и побеждать в любых обстоятельствах.

Поспелов вздрогнул от унижения и гнева. Подлость не могла, не смела торжествовать над его ребятами, а она вопреки всему нагло торжествовала. Он не имел больше права молчать, он лихорадочно искал и в отчаянии не находил слов, которые могли бы выручить, спасти растерявшихся подростков от разгрома и стыда поражения. Доводов не было. А он-то еще воображал, что ребята затеяли недостойную игру в кошки-мышки! Неужели и он, пусть не историк, не психолог, но все-таки взрослый человек двадцать первого века, педагог, бессилен опровергнуть чудовищную софистику лжи?! На что, на какие ненужные сейчас науки он тратил свое время, вместо того чтобы...

Губы Булгарина уже кривила довольная усмешка; многоопытным чутьем он правильно оценил значение столь долгого и тягостного молчания. Но внезапно — Поспелов не сразу понял причину — веки прожженного демагога опасно дрогнули. Он заметил — все заметили! — слабую, чуть грустную и, пожалуй, снисходительную улыбку Игоря. Поспелов в нетерпении подался вперед. Булгарин и его далекий потомок в упор глядели друг на друга. И Булгарин не выдержал — отвел взгляд.

— Почему вы не хотите смотреть мне в глаза? — стирая улыбку, тихо спросил Игорь.

Булгарин надменно вскинул голову, всем своим видом показывая, что его полная воля поступать так, как он хочет.

— Чего же вы боитесь, Фаддей Венедиктович, если за вами правда, закон и бог? Кстати, вам не кажется странным, что и в ваше время хороший поступок не нуждался ни в оправдании, ни в самооправдании, тогда как дурной требовал и того и другого? Вы приняли наш суд уже тем, что оправдывались.

— Софистика! — Булгарин презрительно пожал плечами. — Истину я хотел утвердить — и только. А что вините меня в оправданиях, то должно вам знать, что чаще злодей в чужих глазах предстает невинным, чем наоборот. Или вам сие неизвестно? Неизвестно, как вижу.

— Тогда просветите, Фаддей Венедиктович. Верно ли мы вас поняли, что в глазах людей и перед законом невинный может оказаться злодеем, а злодей — невинным?

— Так, тысячу раз так!

— Но в таком случае благоволение к вам законов, на которое вы так упирали, ни о чем не говорит.

Булгарин смешался, но только на миг.

— Но не доказывает и обратного! — воскликнул он с жаром. — Толковать можно так, можно этак, одна философия, разве я что-нибудь утверждал? Одну истину, только истину!

— Какую из трех, Фаддей Венедиктович? Сначала вы представили себя борцом за идею, но это не оказалось истиной. Затем вы обвинили во всем, что заставляло вас поступать так, а не иначе, неумолимое давление обстоятельств. Но и в этом, как выяснилось, мало истины. Наконец, третья и, надеюсь, последняя ваша истина: поступал с благословения всех законов, значит, моя жизнь — пример гражданской добродетели.

— И даже ваш всезнающий, но предвзятый якобы потомков суд того не опроверг! Потому что истина...

«Считалось: не пойман — не вор, — устало подумал Поспелов. — А тут и пойман, и уличен, а не вор... Одна, кажется, только одна осталась возможность, я ее теперь вижу, но видят ли ее ребята?» Ему хотелось уткнуть голову во что-нибудь мягкое и прохладное — таким вымотанным он себя чувствовал. А Булгарин — тот ничего, был свеж... «Только не сорвись, Игоречек, только не сорвись!» — молил в душе Поспелов.

— Коли ваши поступки, Фаддей Венедиктович, вполне соответствовали человеческим законам и нормам, поощрялись ими, то вам нечего было скрывать. Почему же тогда вы таили от всех свою службу в Третьем отделении?

Как и следовало ожидать, ответом была снисходительная усмешка.

— Высшие государственные интересы, да будет вам известно, требуют от такого рода службы немалой секретности.

— Эту вашу работу общество считало нравственной или только мирилось с нею как с неизбежным злом?

— Противу такой службы мог говорить лишь смутьян!

— Следовательно, ваш донос, к примеру, на Тургенева, из-за которого тот угодил в тюрьму, был морален. Тургенев же, написав негодную статью, поступил аморально.

— Как закон судит, так оно и есть.

— А если закон в одних случаях карает, а в других поощряет преступника, то какова цена такому закону?

— Сие уже казуистика, в которой, благодарение богу, я не силен.

— Будто? Как часто вы брали взятки?

— Я?! Взятки?!

— Вы. Взятки.

— Поклеп, ложные слу...

— Полно, Фаддей Венедиктович! До сих пор не хотите верить, что нам о вас все известно?

— То одна видимость взятки! Благодарственные подношения, дружеские подарки.

— Врете. Показать, где, когда, с кого вы брали взятки за те или иные публикации в своей газете? Назвать имена этих фабрикантов, книготорговцев, актеров? Тому же Третьему отделению все это, кстати, было хорошо известно.

— Господи, да кто же у нас не берет взятки?! Обычай, можно сказать, такой. Все берут, и с меня брали, тут вывода никакого делать нельзя. Тут взвесить надо проступок, соотнести с заслугами...

— Иначе говоря, дело не в поступке, а в его оценке. Тургенев разгневал власть — и он преступник. Вы же, доносчик и взяточник, — примерный патриот. Нет, оказывается, закона, есть благорасположенность свыше.

— Как во все времена, как во все времена!

— Судите о прошлых временах, но не трогайте будущие, вы о них ничего не знаете.

— Истинно говорите! Как зимой невозможно без шубы, так в мое время нельзя без нравственных отступлений.

— Таков был закон жизни?

— Таков, таков! Я, что ли, его установил? Жил согласно, как все. Таких людей, хотите, мог бы уличить, так высоко стоящих...

— Все одинаково черненькие, так?

— Кто к власти прикоснулся, те, почитай, все.

— И раз все виновны, значит, никто не виновен. Кажется, это уже четвертая ваша истина? Только и здесь неувязка, Фаддей Венедиктович. Большинство ваших современников доносы ненавидели, взятки не брали, лжи и угодничества не терпели. Не оттого ли общественное мнение и презирало вас, что вы воплощали в себе и то, и другое, и третье?

— Боже мой, я-то при чем?! Как свыше предписано было, так я и жил. Если пастух не туда ведет стадо, то разве ягненок в ответе?

— Но вы-то были сторожевым псом. В уме вам не откажешь, многое хорошо понимали, только превыше всего была для вас выгода.

— Что ж с того? Лишь праведников не интересуется выгода, однако бог создал людей такими, что праведников среди нас немного. Велика ли тут моя вина? Соблазнов не избежал, грешен. Сам царь лгал о событиях декабрьского возмущения, я не святей царя. Доносы были поощряемы — не я, так другой... Что допускалось, то делал, а чего не допускалось, того не совершал. Кругом взятки брали, и я брал. Пусть многогрешен! Зато не жил в праздности, как многие, мысли имел, труд уважал, написал девять томов сочинений. Неужели эта чаша весов не перевесит? Святой Петр трижды предавал Христа, покаялся и был возведен в апостолы. Мое же раскаяние не слабей.

— Не видно его что-то, Фаддей Венедиктович. Ваше раскаяние больше на оправдание и торговлю похоже.

— Клянусь, в мыслях того не было! — Что-то лихорадочно прорвалось в слова Булгарина. Он взвинченно озирался. — Чем, чем могу доказать свою искренность?!

— В Третьем отделении вы, однако, не утруждали себя поисками, — едко усмехнулся Игорь. — Напомнить?

— Сего мало! — впиваясь взглядом в эту усмешку, вскричал Булгарин. — Должен со всей душой, по-нашему, по-христиански...

Внезапно он сложился втрое, и прежде чем кто-нибудь осознал смысл его движения, уже был на коленях.

— Как оплошавшее дите стою перед вами многогрешен!

Все так и застыли, лишь кто-то, подавленно вскрикнув, закрыл лицо руками. Постыдней и хуже вида упавшего на колени старика, его с дрожью простертых рук была та поспешная готовность, с которой он это проделал. Никто не допускал возможности такой развязки от одной лишь видимости намека на ее желанность. Но намек-то вышел не кажущийся... И во всем этом была своя страшная логика, ибо за ней стояла многоопытность холопа, который чутко улавливает окрик и точно знает, когда можно пререкаться, а когда следует униженно себя растоптать.

Смотреть на это было так омерзительно, думать о своей тут вине так нестерпимо, что Игорь с белым от ужаса лицом первым метнулся к пульту, вырвал его из сомлевших рук товарища. Все погасло с коротким, прозвучавшим как пистолетный выстрел шелчком. Исчезла обстановка девятнадцатого века, исчез и Булгарин. Но и оставшись наедине со своим временем, все молчали, не смея поднять глаз, как будто рядом еще находился жуткий призрак.

ЗАГАДКА ВЕКА

Милостивый государь
Иннокентий Петрович!

Памятуя о наших встречах и беседах у господина Печкина в Москве, кои оставили во мне неизгладимое впечатление, а также почитая Вас как знатока науки и ревностного собирателя многозначительных тайн нашего бытия, осмелюсь побеспокоить Вас делом сугубо фантастическим и уже вызвавшим смутительные толки. Возможно, что слухи о нем, равно как и отзвуки моих споров о сем предмете со студентом Рожковым, уже коснулись Вашего сельского уединения. Но, не будучи в этом уверен и зная, как легко слухи возводят небылицу в быль, начну с исходного документа и обстоятельств его обретения.

Что до обстоятельств, то они могут быть изложены только со слов господина Печкина, чья правдивость, впрочем, общеизвестна. Теплым, но сырым утром двадцать второго апреля сего года господин Печкин прогуливался по лавкам Охотного ряда, не имея к тому особого интереса, а исключительно ради предписанного врачом моциона. Обязанный его соблюдать при малейшем благоприятствии погоды и движимый присущей ему любознательностью, господин Печкин, проявляя, как всегда, внимание к людям и нравам торжища, подал медяк сельскому погорельцу, обменялся любезностями со знакомым владельцем лавки колониальных товаров, после чего купил отличнейшую, по его словам, гавану, кою тут же и раскурил (поступок вряд ли благоразумный при сыром воздухе). Случилось же это возле лотка с астраханской, свежего привоза сельдью, аккурат

в то время, когда куранты Кремля вызванивали десять. Рассеянный взгляд господина Печкина по неизвестной ему самому причине упал на сельдь, а заодно на употребляемую для завертки оных бумагу. Вам, милостивый государь, конечно, известно, что непросвещенные торговцы порою используют для этой цели печатное слово, что достойно всяческого осуждения по причинам нравственным и гигиеническим. Так было и на сей раз.

Господин Печкин уже намеревался пройти дальше, когда его внимание привлек обрывок книжного листа, удививший его не своей особицей, которую он тогда не разглядел, а малостью размера и, следовательно, негодностью для завертывания товара. Господин Печкин с улыбкой заметил это лотошнику, который, пожав плечами, тут же выкинул негодный листок. Однако движение оказалось столь неловким, что порыв ветра бросил бумажку прямо в лицо Печкину, отчего последний был вынужден ее придержать. Впоследствии господин Печкин увидел в этом руку провидения. Тогда же он слегка рассердился и попенял лотошника, который принужден был извиняться. Утихнув душой, господин Печкин хотел было уже отойти, как обнаружил, что держит смятый листок. Уважение к печатному слову не позволило господину Печкину сразу избавиться от листка, хотя тот и припахивал селедкой. Уже беглый взгляд на столь ненужное, казалось бы, обретение изумил нашего общего знакомого, а дальнейшее чтение повергло его в окончательное замешательство. Он было приступил к лотошнику с вопросом, откуда тот взял бумагу, но мужик сказался неграмотным и по обыкновению простолюдина ничего не ведающим. Тут господин Печкин, бросив докапываться до корней сей истории, допустил оплошность, ибо позже не смог припомнить физиономии лотошника и, соответственно, его сыскать, отчего след появления бумаги в Охотном ряду оказался утерянным. Впрочем, нашего знакомого можно понять, ибо содержание обрывка смешало все его мысли.

Воспроизвожу текст дословно, ни на йоту не отступая от оригинала, как то принято в серьезных научных изысканиях, кои прославили Ваше, м. г., имя и коим Ваш покорный слуга также не чужд.

Вот этот феноменальный документ целиком.

«Будничным утром в голову лезут будничные мысли. «Не опоздать бы!» — одна из первых у таких, как Коля.

Щелчок выключателя мгновенно озарил комнату резким и неприятным спросонья светом. Снаружи в январском сумраке ответно вспыхивали строчки окон — Москва просыпалась привычно и торопливо. Вскочив с постели, инженер натянул тренировку и, позевывая, заспешил на кухню. Конфорка пыхнула голубым венчиком газа. Коля наладил джезvu и, пока все разогревалось, быстро обмахнул щеки надсадно жужжащей бритвой. Сев за стол, он, по обыкновению, включил радио: прогноз погоды пообещал к вечеру очередную ростепель. «Опять будет каша», — отметил инженер и, дожевывая на ходу, устремился в переднюю. Лифт, как назло, был долго занят, зато автобус подошел к остановке тотчас, и Коля привычно ввинтился в его теплое, битком набитое нутро. Автобус, затем троллейбус — дорога заняла обычные пятьдесят минут, и Коля успел проскочить проходную, прежде чем стрелки...»

На этом текст обрывается.

Теперь, достопочтенный Иннокентий Петрович, Вам, уверен, понятно то первоначальное недоверие, с которым я отнесся к сей криптограмме, когда господин Печкин, отчаявшись что-либо уразуметь, воззвал к моей проницательности. Умоляю и Вас, если такая мысль закралась, не считать все это дурной мистификацией: типографская природа документа бесспорна, сама бумага теперь хранится в моем столе, и если бы я не опасался превратностей почты, то немедленно представил бы ее Вам в натуре.

Приходится признать, что перед нами загадка, бросающая вызов самому светлому уму! К сожалению, на оборотной стороне документа вместо текста, который мог бы многое дополнить и, возможно, разъяснить, наличествует неполный ввиду обрыва листа рисунок с небрежным или просто неумелым штриховым изображением кусающего чьи-то ноги пса. Пес самый заурядный, дворовый, ноги тоже обычные, ничего прояснить не могущие. Остается все внимание сосредоточить на вышеизложенном тексте.

Вашему тонкому уму, конечно, тотчас открылась та нелепица орфографии, коя и без того темное делает вовсе непонимаемым. Отсутствие в тексте «ятя» и некоторых иных знаков алфавита повергло меня, сознаюсь, в такое смятение, что я было предположил немыслимое. А именно. Находятся нигилисты, которые шепчутся против «ятя», «фиты», как букв якобы необязательных и лишь отягчающих правописание. О Геростраты родного языка! Само собой, будучи прогрессистом, я не держусь старины только из-за почтения к ней. Даже на наших глазах, к примеру, благородный своим звучанием оборот «сей» был оттеснен грубым словечком «этот», и я принял такую поддержанную литературой новацию, хотя она и против моих в далекой, увы, юности сложившихся вкусов. Но всему есть предел, и всякому разумному человеку ясно, что исключение «ятя» и ему подобных знаков из строя алфавита обеднит слог отечественного языка. Однако находятся, находятся покусители! Вот у меня от крайней растерянности и шевельнулась мысль: не выходка ли это какой сорвиголовы? Сия бумага — не прокламация ли, всем в пику тайно отпечатанная без «ятя»?!

Слышу, слышу, драгоценнейший Иннокентий Петрович, Ваш смех! Каюсь и прошу снисхождения за высказанный бред, который опровергается самим содержанием текста, а также неуместным рисунком какого-то пса. Ну статочное ли дело даже анархисту писать такую белиберду?! В самом сумасбродном поступке есть своя логика, а тут ни малейшей, ибо, с какой стороны ни подойди, в означенном тексте нет ни смысла, ни лада. Или сие от нас ускользает? Не думаю. Допустим даже (была и такая идея высказана), что перед нами фантазия некоего сочинителя насчет жизни в будущем. Нелепое по многим причинам толкование, но дабы испытать и эту гипотезу, на мгновение примем, что загадочные «автобус», «троллейбус», «радио» и «джезва» суть выдуманные машины и аппараты иного века, о чем якобы свидетельствует их упоминание в ряду с реальным, хотя и странным в обычном доме лифтом. Объясняет ли это допущение хоть что-нибудь? Нисколько.

Правда, лексический анализ слов «автобус», «троллейбус» дает такие буквальные, в переводе с английского, значения, как «самоомнибус» (самодвижущийся омнибус?) и «омнибус-

вагонетка» (паровой, на рельсах, вагон?). Все это не лишено смысла, а контекст документа, то место, где упомянуты «автотобус» и «троллейбус», как будто подтверждает их толкование в качестве средств передвижения. Но проблески здравого смысла наличествуют и в бреде, это еще ни о чем не свидетельствует. Латинского корня слово «радио» тоже ясно для понимания. И что же выходит по смыслу? Некий инженер будущего, чтобы получить сведения о предстоящей погоде, включает «луч»? И аппарат-светоисточник (очевидно, так!) уведомляет его о скорой ростепели?! От сего толкования, уверен, отшатнулся бы даже такой смелый фантазер, как Жюль Верн. Кстати, ни в его романах, ни в сочинениях покойного Федора Одоевского, чья неукротимая фантазия заглядывала в далекие века, нет засылки домашней и уличной машинерии. А как прикажете расшифровать таинственный аппарат «джезва»?

Но даже не эти очевидные соображения, с которыми Вы, полагаю, согласитесь, главное, что доказует нелепость всего описания с позиций самого безудержного и безответственного фантазерства о будущем. Вот первое, что бросается в глаза. В отрывке речь идет об инженере. Так! Но где же видано, чтобы сочинитель, будь он трижды фантаст, именовал бы инженера (инженера!) в точности как ребенка, Колей? Так редко и мужика называют, а здесь автор представляет нам ученого мужа и дворянина. И почему этот дворянин, подобно дворнику, должен вскакивать спозаранку? Как может проезд в Москве, тем более в механическом экипаже будущего, занимать около часа? И что означает выражение «инженер натянул тренировку»? Что ни фраза, то полная бессмыслица!

Весь стиль отдает дикостью. Ломаные фразы, сплошные невнятицы языка, сумбур описаний, пачкотня вместо рисунка на обороте, то есть решительно все придает вес моей гипотезе о ненормальности автора, гипотезе, коя объясняет многое. Это соображение побудило меня проделать надлежащий, для утверждения истины, опыт. Переписав текст, как подобает, с «ятем», чтобы его отсутствие не затемняло картину умосостояния автора, я предложил документ вниманию лучших знатоков душевных болезней. Представьте, их мнения разошлись! Одни определенно указали на ненормальность автора, другие же склонили-

лись к мнению, что за всеми странностями описания и стиля кроется малопонятная, но никак не болезненная логика. Вот каковы наши светочи медицины — кому хочешь, тому и верь...

Тут еще загадка с «ятем». Кто-то же издал, оттиснул сей бред! Пусть автор выпустил книгу, из коей нам достался отрывок, за свой счет и даже не постоял в расходах, лишь бы увидеть в ней свои неумелые рисунки. Но где он нашел столь же безумного типографа? Что закрыло глаза цензуре? Как не пошли толки о возмутительной дерзости издателя? Почему никто (я навел тщательнейшие справки) даже не слышал о такой книжке? Теряюсь, немею, ум за разум заходит!

Только это мое, надеюсь, понятное состояние побудило меня вступить в спор с Рожковым, студентом неглупым, хотя и с нигилистическим направлением мыслей. Он дальний родственник моей жены, отчего и принят у нас по-домашнему. Общение с ним я нахожу небесполезным, поскольку оно вводит меня в курс новейших умонастроений, да и для молодежи влияние людей опытных, с идеалами, необходимо как противоядие от бацилл анархизма.

Упомянутый Рожков, которому я сгоряча показал документ, было ошеломлен, как все прочие, и в растерянности, по дурной своей привычке, стал вертеть пуговицы тужурки, одну даже открутил напрочь. Впрочем, надобно отдать должное его уму: оправившись от потрясения, он высказал любопытную догадку насчет одного темного в документе места. Мне никак не удавалось уяснить, почему наступление ростепели сулит инженеру какую-то, очевидно на ужин, кашу. Рожков дал ловкое толкование сей несурязице, обратив внимание на то обстоятельство, что ростепель делает снег вязким, кашеподобным и что, следовательно, перед нами лишь образ, метафора. Поблагодарив Рожкова, я, однако, заметил, что имеющееся во фразе словечко «снова» (и не только оно) указывает на обыденность и повторяемость ростепелей. А как это может быть посреди зимы, когда мороз особенно крепок и оттепель в Москве изрядная редкость? Рожков со мной тут же согласился, признав, что эта и другие загадки текста выше его понимания.

Чтобы он не впал в уныние, я похвалил его за изящество толкования взаимосвязи оттепели с «кашей», и он ушел столь ободренный, что поутру явился ко мне весь всклокоченный, с воспаленными от бессонницы глазами и идеей самой дикой, какая только возможна. Он, представьте себе, предположил, что этот клочок бумаги, сей головомомный обрывок текста есть подлинное описание будней иного века, которое попало к нам прямо из будущего!

Привожу этот пассаж мысли с единственным намерением доставить Вам веселую минуту. Ну не юморист ли? Объяснить, каким манером бумага перемахнула через столетия и очутилась в Охотном ряду, Рожков, конечно, не мог; он только повторял слова Шекспира о вещах, которые и не снились мудрецам. Позиция, что и говорить, сильная!

Меня, однако, все это так потрясло, что, стыдно признаться, я ввязался с Рожковым в спор и, к своему немалому изумлению, обнаружил, сколь трудно защитить здравый смысл и доказать, почему не может быть того, чего не может быть никак — ни такого утра иного века, ни описываемых реалий бытия. Рожков возражал с завидной ловкостью, о чем, справедливости ради, надлежит упомянуть. Вот суть его концепции. Допущение будущности текста, сказал он, делает понятным полное отсутствие слухов о книге, из коей выдрана страница: она еще не написана. Столь же логично разрешается загадка орфографии и необычной стилистики — то и другое разительно изменилось в веках. Нам непонятна машинерия будущего? Что ж, так и должно быть: для современников Вольтера столь же странными оказались бы паровоз, телеграф или новоизобретенная, электрического действия лампочка Лодыгина, намек на повсеместное в грядущем торжество которой можно, кстати, усмотреть в первых строках второго абзаца анализируемого документа. Также не остаются постоянными нравы, чем и объясняется необычное именование инженера Колей, между прочим, подтверждающее догадку лучших умов о развитии в будущем всеобщего дружелюбия и, следовательно, обращения друг к другу исключительно на «ты» и по имени.

Было от чего схватиться за голову! Напрасно я взывал к здравомыслию собеседника и доказывал, что хотя предстоящий век

и будет иным, чем наш, но есть же предел правдоподобия, решительно здесь нарушенный, ибо толкования текста в духе правды сразу заводят нас в тупики абсурда. Нужны ли примеры? — спрашивал я. Еще как-то можно допустить, что машинерия двадцатого века далеко превзошла наши смелые ожидания, хотя уже одно это крайне сомнительно, поскольку наш ли век не самый изумительный достижениями ума и дальновидностью взгляда, а между тем даже повсеместность электрического освещения оспаривается многими авторитетами. Но допустим, допустим и такую нелепицу, что русские люди (охраня нас господь от такого безумия) устранением «ятя» оскальпировали слог родного языка, что нравы пали до всеобщего умаления имен, а город сделался изрядной, если верить описанию, транспортной неудобницей. К чему, однако, ведут столь ужасающие противу логики прогресса натяжки толкования текста? К допущению, что и климат Москвы изменился, существенно потеплел, чего уж никак быть не может!

«Верно! — в каком-то исступлении вскричал Рожков. — Упомянутая обычность ростепелей — ключ ко всему! Ведь для такой перемены московского климата надобна целая эпоха, а это доказывает, что в отрывке описан вовсе не двадцатый, а куда более дальний век! Тогда и все ваши справедливые для близкого будущего возражения устраняются сами собой...»

Я даже речи лишился после таких его слов. Нет, какова современная молодежь! Есть для нее что-нибудь святое? О приверженности идеалам прогресса, чей факел они готовы забросить в болото нигилизма, я и не говорю; сам того не заметив, Рожков отринул даже то, чему они все поклоняются, — научную методику. Боже мой! Поразительно и печально, с какой легкостью он при первом же затруднении заменил ее горячечными спекуляциями воображения! Верно замечено, что необразованность плачевна, а полуобразованность пагубна. Грустно сие...

И все же, когда я было совсем отчаялся утвердить истину, один факт помог мне развеять дурман ложных фантазий и вернуть Рожкова на верную стезю. О, не иссяк еще порох в пороховницах! В каком-то озарении я схватил бумагу, ткнул прямиком в то место документа, где говорится о бритье человека

якобы грядущих веков, и спросил Рожкова: в каком будущем возможна надсадно жужжащая бритва? В каком?

Из Рожкова будто дух выпустили — он так и окаменел с раскрытым ртом. Возразить было решительно нечего, ибо даже младенцу ясно, что бритва, это узкое и опасное лезвие стали, ни в каком веке жужжать не может. К чести Рожкова надобно сказать, что он и не подумал переть против такой очевидности: обмяк, покраснел, стушевался, бедняга.

Так было покончено с заблуждениями и бесплодными фантазиями, но роковая загадка текста, увы, не стала светлей, сколько я над ней потом ни бился. Все, все усилия тщетны! Жуть берет, когда я вновь размышляю о сем предмете. Если это не бред больного ума, то что же? Неужто перед нами та самая кантовская, наглухо закрытая «вещь в себе»? Неужто сия бумага есть знак положенного нашему познанию предела, свыше ниспосланное о том предупреждение? Конечно, и такое возможно, хотя это и противу моих философских воззрений. Мой разум склоняется перед тайной, сон и покой давно потеряны, о чем, должно быть, ясно говорит сумбур этого моего письма. Вся, вся надежда только на Вас, драгоценнейший Иннокентий Петрович, на Ваше мудрое искусство проникновения в недоступные нам сферы трансцендентального! Если не Вы, то кто же разрешит эту загадку века?

Надеюсь и уповаю!

Ваш покорный слуга

Ф. Соковнин

17 июня 1879 года.

Р. С. Господин Печкин шлет Вам поклоны и спрашивает, какие виды на урожай в Вашей губернии, где у него, как Вам должно быть известно, находится имение.

ГОЛУБОЙ ЯНТАРЬ

Весь день море билось о берег.

Оно билось и тогда, когда в свете вечерней зари к нему вышли трое. К их удивлению, накат волн оказался не таким мощным, каким он представлялся в лесу, где еще издали был слышен мерный тяжелый гул. Прибой скорее гладил песок, обращая его при откате в тусклое зеркало, в котором скоротечно проступали краски заката, багрово-черного у дальней черты моря, тогда как высоко над дюнами было светло и там, в поднебесье, отчетливо рдели похожие на клинопись обрывки облаков.

Уминая песок, все трое двигались вдоль прибоя. Имена двоих — Гриднева и Шорохова — многое могли сказать тем, кто следит за культурной жизнью, имя Этапина, наоборот, любого оставило бы невозмутимым. Но и прославленный ученый, каким был Гриднев, и весьма известный поэт, каким был Шорохов, своим безмятежным отдыхом здесь, на этой благодатной косе балтийского побережья, были обязаны Этапину, который в своем узком кругу был известен скорее как организатор, чем коллега Гриднева. Из этого, впрочем, не следует, что Этапин был чем-то вроде мальчика на побегушках у знаменитости: он тоже имел научное звание, должность, заслуги.

И свое увлечение. Отставая на несколько шагов, он нагибался, разглядывал выброшенные прибоем камешки, такие умытые и яркие, что ими трудно было не залюбоваться, некоторые трогал короткими ухватистыми пальцами, но чаще браковал, сочтя их недостойными шлифовального станка, постоян-

ная работа с которым плачевно отозвалась на состоянии косо сточенных ногтей искателя. Опять же в своем узком кругу Этапин славился как резчик, умеющий выявить красоту какого-нибудь с виду невзрачного кремешка. Это его сближало с поэтом, по крайней мере так считал сам поэт, который из-за краткости знакомства еще не смог составить о нем определенного мнения.

Он сам и Гриднев, казалось, просто гуляли. Так это выглядело со стороны, так они сами считали, ибо незаурядные люди, когда дело касается их самих, думают как раз заурядно. В действительности их праздная прогулка, что тоже обычно для таких людей, была неотличимым от работы отдыхом или неотделимой от отдыха работой. Ученый отставал от поэта, но по другой причине, чем искатель камней. У Гриднева, который так часто будоражил мир неожиданными и, как показывало время, плодотворными идеями, не было посторонних интересов, потому что его увлечением было все. Неудивительно, что он и сейчас не просто любовался закатом. Ему не надо было нагибаться, чтобы, подметив необычное у себя под ногами, впиться дальнзоркими глазами в песок, где развертывалась поразившая его драма жизни. Возможно, для энтомолога она не была таинством, но такой ее увидел Гриднев. Он удивился, задумался, иначе, чем прежде, взглянул на море, что в дальнейшем для всех троих имело немаловажные последствия. Таково уж опасное свойство тех, кого, не различая оттенков, мы называем гениями.

Поэт, которого из-за мужицкой основательности фигуры редко принимали за поэта, тоже был взволнован, только в отличие от ученого он не смог бы сказать чем. Всем вместе и ничем в отдельности! Этим небом, в котором темнели и тяжелели похожие на клинопись обрывки облаков; этим морем, которое неустанно подкатывало к ногам вечно умирающие и вечно рождающиеся строчки пены; этими соснами позади, чей ровный, как под гребенку, наклон и в затишье напоминал о ярости морских бурь. Наконец, самой косой, где подле черной ольхи серебрилась полынь, березу обнимал куст барбариса, неподалеку от горных сосен цвела облепиха, где, словом, север встречался с югом, а запад — с востоком. И все потому, что чело-

век дважды в ожесточении войн истреблял здесь природу и дважды созидал ее заново, сочетая растения, словно художник краски. Поэтому на всей стокилометровой, сабельно узкой косе не было ничего, к чему ни прикоснулись бы руки и мысль, хотя сейчас все вокруг казалось первозданным.

Шорохов не думал об этом несоответствии сущего и видимого, но чувствовал его. Ритм прибоя сам собой будил строчки:

Море, чтобы о берег биться,
Орел, чтобы в небо лететь,
Вьюга, чтобы петь и кружиться,
Мама, чтобы детей беречь...

Пока это были не стихи, только их завязь. То, что уже сложилось, не удовлетворяло Шорохова, конец не просматривался совсем, там всплывала лишь одна, ни с чем еще не связанная строчка:

Все имеет предназначенье...

Все, значит, и человек тоже. Но какое? В связи с чем? Тут брезжила какая-то мысль, но то пока была далеко не поэзия. Удастся ли выразить словом то, что слышится в природе и будит стихи? Этого Шорохов не знал. Мука и счастье искусства в том, что никому не известно, что выйдет из замысла и выйдет ли вообще. Недаром Пушкин, написав однажды изумительные строчки, запрыгал от восторга и закричал: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын, ай да молодец!» Или что-то в этом роде. Пушкин!

Так все трое долго брели в молчании, и каждый беседовал со своей душой. Впереди Шорохов: он шел, тяжело уминая песок и словно ничего не видя вокруг. Или, наоборот, видя все. Легкий шаг Гриднева петлял вдоль узкой полосы песка, к которой подкатывал прибой. Этапин неукоснительно держался той линии, где лежала галька; полноватый и рыхлый, он оказывался проворным тогда, когда наклонялся за камешками. Тут взмах его руки был быстр и точен, как бросок змеи.

— И что вы там нашли, в этом песке? — спросил он внезапно.

— Не в песке. — Гриднев рассеянно улыбнулся. — На нем. Или в море.

— А, букашки! Действительно, их тут многовато... Но при чем тут море?

— Не знаю, и это самое интересное.

Приостановившись, Шорохов взглянул под ноги и слегка опешил. Он шел по живому ковру! Всюду, сколь видел глаз, у самой черты прибоя, на узкой кромке песка вяло копошились светло-кофейные, едва различимые божьи коровки. Сотни, тысячи, может быть, миллионы необъяснимо стянулись сюда, к готовому их слизнуть морю, и так, похоже, было везде, возможно, на всем грохочущем побережье. Шорохов озадаченно отступил. Что означала эта нелепая игра со смертью? Ни одна букашка не спешила к воде, но и не стремилась прочь; все словно ждали чего-то.

— Что с ними?..

Гриднев не отозвался, Этапин слабо пожал плечами.

— Какой-то инстинкт, надо будет при случае спросить у энтомологов.

— Вот как? — Шорохов снова взглянул на насекомых, и ему почему-то стало не по себе. — Выходит, для вас, ученых, это такая же загадка, как для меня?!

— Не совсем. — Голос Этапина прозвучал добродушно, но в темных, немного навывкате глазах мелькнула ирония. — Просто мы не всезнайки, не надо путать. Более того, мы считаем безответственным выходить за пределы своей компетенции. И не спешим видеть во всяком новом для себя явлении загадку. К примеру, сам факт массового скопления божьих коровок лично для меня не новость, я читал о нем в литературе. Следовательно, энтомологи давно знают об этом явлении и, возможно, уже изучили его настолько, что слово «загадка» вызовет у них лишь улыбку. К чему же эмоции, если информация не проблема? Хотите, я утром свяжусь с Москвой и получу нужные сведения? Тут нет проблемы.

Шорохов с сомнением покачал головой. Спорить с ученым он не мог, но и не мог согласиться, что вот это безмолвное, к ночи, устремление жизни навстречу гибельному накату волн для кого-то ясно, как дважды два. Сегодня он сам чувствовал

в этом море, в этой гряде облаков, в этом вечере что-то необычное. Неужели его спутники вовсе лишены чутья?

Он с надеждой взглянул на Гриднева, чьи губы под конец речи Этапина тронула едкая неохотная усмешка.

— Могу добавить, — так же нехотя сказал тот, — что дурным тоном в нашей среде наравне с «загадкой» стало и слово «ученый». Да, да! Все мы нынче стоим у конвейера индустрии знаний, каждый знает свою гайку, и потому мы предпочитаем называть себя научными работниками. Иначе неловко. Надеюсь, вам больше ничего разъяснять не надо?

— Надо! — Шорохов остолбенел. — Это чудовищно! Это неправда!

— Но это факт. — Узкое худощавое лицо Гриднева напряглось. — Хотя и неправда... Хотите, вот прямо сейчас все изменится? Хотите, мы, как в дни Ньютона, снова станем мальчишками, которые играют красивыми раковинами на берегу, тогда как позади катит свои волны неведомое?

Лицо Гриднева озорно осветилось, с него спало десять, двадцать, а то и больше прожитых лет.

— Хотите?

— Еще бы! — воскликнул Шорохов.

— Что ж. — Этапин пожевал губами. — Интересно, как вы на этот раз перевернете мир...

— Очень просто, — весело сказал Гриднев. — Что, если, изучая океан, мы проглядели в нем одну мелочь? Цивилизацию, которая была для него тем же, чем наша для суши? Давно погибшую, но все еще незримо присутствующую здесь и сейчас? Такую, что ее зову послушны вот эти букашки, хотя ее самой давно нет. Что скажете?

— Ничего. — Этапин замедлил шаг. — Если бы это говорил кто другой, я бы сразу сказал, что это бред.

— Возможно, возможно, даже скорей всего так! Ну и что? Мы отдыхаем, ведем растительный образ жизни, пора и встряхнуться. Я фантазирую, ничего больше, и смысл этого занятия сейчас, быть может, не в том, чтобы доказать, а в том, чтобы опровергнуть. Наваливайтесь, бейте, только докажете, что бред — это бред. Разрушать легче, чем создавать, не так ли?

Шорохов промолчал, понимая, что для такого спора он не более пригоден, чем пловец для марафонского бега. Лунообразное лицо Этапина нахмурилось.

— Нельзя разрушить то, чего нет, — сказал он.

— Иногда можно, — вставил Шорохов.

— Вот именно! — Гриднев наподдал камешек, и тот без всплеска исчез в волне. — Легко ли было разрушить миф о Бермудском треугольнике?

— Тем более не стоит создавать новый, — буркнул Этапин.

— А, выпад, укол — прекрасно! — Гриднев потер руки. — Дуэль умов началась. Шорохов, вы секундант... Да, я злобно нарушаю «правило Оккама». Но я никого не мистифицирую. Маленькое интеллектуальное упражненьице, всего лишь. А? Особо полезно для сугубых научных работников. Не обижайтесь, но в вас, дорогой мой, уже завязался бюрократический жирок...

Он пальцем ткнул в рыхлый бок Этапина. Тот засопел и отпрянул.

— Ну, полно, полно, я же шучу... Вы же умница, скептик, скажите что-нибудь по существу.

— Голословное утверждение есть голословное утверждение, — неожиданным фальцетом сказал Этапин. — Вы не привели ни одного доказательства, а уже требуете... Это я вам говорю как обрюзгший администратор.

«Н-да, — подумал Шорохов. — Нелегко приятельствовать с гением...»

— Вы правы, — сказал Гриднев. — Извините. Что ж...

Его лицо снова стало серьезным. К ногам с шипением подкатилась волна, взъерошенная пена лизнула ботинок, но он этого не заметил.

— Осторожней, промочите! — воскликнул Этапин.

— А, спасибо... Знаете, в этом вечере, в этом закате, в этой небесной над нами клинописи есть что-то колдовское. Вы не находите, что мы оказались вне времени? Не пугайтесь, Этапин, все просто... Взгляните на море, на черно-красный закат, на бесконечные гребешки волн. Видим ли мы сейчас настоящее Земли или ее далекое прошлое? Ведь все было таким и миллиард лет назад... Так же в тяжелых завесах туч садилось

солнце, так же шумело море, так же пуст был песчаный берег. Теперь оглянитесь. Позади серые откосы дюн, лапчатые вершины сосен. Там, в сущности, перед нами будущее Земли.

— То есть как? — Этапин даже споткнулся.

— Элементарно. Природа этой косы создана человеком. Даже эти вполне естественные на вид дюны некогда были насыпаны, чтобы остановить ветровой перенос песка с моря. Когда-нибудь вся Земля уподобится здешней косе по той простой причине, что мы ввергли себя в экологический кризис, а единственный из него выход — восстановление и переустройство природы. Так, как это уже произошло здесь.

— Черт возьми! — Шорохов остановился.

— Похоже, вы правы. — Этапин не мигая смотрел на Гриднева. — Но...

— Но какое это имеет отношение к теме разговора? Видите ли, я задумался над тем, как вымышленная мной цивилизация могла проявить себя во времени и пространстве. Миллионы и миллиарды лет — их надо было почувствовать, ощутить, ведь это не просто цифры... И получилось: далекое прошлое — вот оно. — Взмахом руки Гриднев показал на тлеющий закат. — И будущее мы тоже видим — рядом. А меж ними и в них — настоящее. Пансионат, в котором мы живем, обыденные огни танцверанды, наши теории, мы сами. Как это, оказывается, огромно и как мимолетно — миллиард лет!

— Вы заговорили как наш друг поэт. — Этапин покачал головой.

— А поэзия и есть дух науки. Ладно, перейдем к прозе... На суше жизнь эволюционировала сотни миллионов лет, в море — миллиарды. Отсюда вытекает допущение, что разум в океане мог появиться задолго до человека. Этапин, ваш ход, пожалуйста.

— Ваше предположение, — жестко и как бы даже с удовлетворением произнес тот, — противоречит как фактам, так и мнению авторитетных специалистов, какими мы, кстати говоря, в данной проблеме не являемся.

Гриднев вздохнул.

— Довод, конечно, убийственный, — сказал он с усмешкой. — Только природа не признает наших специализаций,

она неделима. Только в науке после точки всегда следует новое слово. Теории и мнения... Верно, нам говорят: в океане более стабильная, чем на суше, среда обитания, поэтому эволюция там движется замедленно. Будто там не было «кембрийского взрыва», когда в ничтожный геологический срок возникли скелетные организмы и окончательно сформировались почти все типы современного животного царства!

— И все же большая стабильность морской среды — это факт, — упрямо повторил Этапин.

— Не спорю, и тем не менее...

— Второй факт, — настойчиво продолжал Этапин. — Эволюция сухопутной жизни есть продолжение морской, поэтому нельзя говорить о ее якобы укороченности. И интеллектуалы моря все-таки китообразные, то есть сухопутные в прошлом существа, а отнюдь не моллюски, рыбы или осьминоги. Это, простите, третий и самый веский факт.

— Да, если сравнивать живые существа так, будто это гонимые, мчащиеся по одному шоссе! Мы далеко оторвались, а кто там позади? Обезьяны, дельфины и еще более отстающие спруты... Но эволюция, простите, не шоссе с односторонним движением. На суше первыми к разуму продвинулись отнюдь не млекопитающие, а насекомые, которые за сто или даже двести миллионов лет до человека создали интереснейшее подобие цивилизации. Уж если ссылаться на авторитеты, то почему бы не послушать Дарвина? «Мозг муравья есть один из самых удивительных комплексов вещественных атомов, может быть, удивительнее, чем мозг человека». Но несовершенство трахейного способа дыхания насекомых не позволило этому мозгу укрупниться, и цивилизация муравьев законсервировалась. А как пошло дальнейшее развитие их морских предков? Несомненно одно: жизнь сделала рывок к разуму и цивилизации задолго до млекопитающих. И, что очень важно, к ней устремились бесскелетные, то есть древнейшие организмы.

— Доказательства? — без выражения спросил Этапин. — Где доказательства, что такая цивилизация действительно была?

— Вот! — Гриднев взволнованно взмахнул рукой. — Тут самое главное, ради чего я этот спор затеял: проблема доказательств или отсутствие их. Пора взглянуть на нее шире. Мы

ищем космические цивилизации и удивляемся их отсутствию. Не лучше ли для начала проверить собственное зрение? Вопрос: в состоянии ли мы различить иную цивилизацию у себя под носом? Можем ли мы отыскать ее след сегодня, если в своем геологическом вчера ее деятельность была соразмерима с нашей? В принципе ответ должен быть положительным: можем узнать, можем различить, можем понять. Но готовы ли мы к этому сегодня или психологически еще слепы?

— Слепы... — повторил Этапин. — Смотря кто и в чем. Поскольку вы отвели мне роль скептика и догматика...

— Я?! — Гриднев изумленно вскинул голову. — Бог с вами, опережайте меня сколько хотите, рад буду...

— Нет уж, позвольте! Значит, слепые, так? Минуточку, минуточку...

Шаря взглядом по кромке берега, Этапин сделал несколько шагов, проворно нагнулся и с торжеством поднял тусклый окатыш стекла.

— Как видите, долго искать не пришлось... Вот осколок, каких триллионы, материал более стойкий, чем гранит, след деятельности, который расскажет о нас и через миллионы лет. Так что уж извините! Иная цивилизация или не иная, она все равно должна производить, должна создавать новые материалы и таким образом оставлять вещественные следы своей деятельности. Где они в вашем случае? Их нет, значит, никакой подводной цивилизации не было. Или вы сомневаетесь в возможностях палеонтологии выявить такие следы?

— Нет, это поразительно! — Гриднев дернул плечом и в это мгновение показался Шорохову похожим на чистокровного скакуна, которого попытались унижить тележной упряжью. — А еще говорите, что мы не слепы! Да вдумайтесь же наконец, какой след должна оставить цивилизация, для которой получение огня — труднейшая из проблем! Которой далеко не так, как нашей, нужны всякие там горшки, строения, тепло очага. Которой куда легче познать электричество, благо в море есть живые источники тока, чем наладить металлургию и выплавку того же стекла. Керамика — чушь! Каким путем пойдет технология в среде, где удар камня, топора, мотыги малоэффективен? Что будет ее визитной карточкой? Подумали вы об

этом хоть немного? Следы... Тут, дорогой мой, проблема инвариантности. Что присуще любой цивилизации и в главных своих чертах не зависит от типа породившей ее среды? Что? Технология, как легко убедиться, отнюдь не инвариантна. Если подводная цивилизация была, но исчезла, сгинула, как это солнце, и остались лишь ее закатные краски, то какие они? Видим ли мы их в упор, как вот эти? А вы о стекляшках... Эх!

Гриднев умолк. Этапин отшвырнул осколок, словно тот обжег его пальцы. Уже смеркалось, ярче, чем прежде, белели рваные строчки пены, в облаках еще тлел закат, будто опустившееся в море солнце чадило там головешкой. Без устали бухали волны, берег был все так же пустынен, и Шорохов зябко поежился то ли от вечерней прохлады, то ли от внезапного чувства, что он в этом мире недолгий гость. Все показалось ему мимолетным и в то же время застывшим, как темные позади дюны. «Вот так всегда, — подумал он со спасительной иронией. — Мнишь себя центром плоской и неподвижной земли, а является какой-нибудь Гриднев, разъясняет, что ты живешь на круглой и маленькой вертушке, которая мчит тебя в бесконечность, и изволь привыкать... Всего лишь чья-то новая мысль, а мир уже не тот и сам ты другой — экая, однако же, силища!»

— Проблема инвариантности цивилизаций... — Голос Этапина, когда он наконец заговорил, прозвучал ровно. — Ее увязка с проблемой распознавания... Трасология материальной деятельности разума во времени и пространстве, так, так... Между прочим, если бы геологи часто находили в земных слоях те же окатыши и осколки стекла, то наверняка возникла бы теория их вулканического, допустим, происхождения. Забавно... Публиковать свои фантазии вы, конечно, не собираетесь?

Он как-то искоса взглянул на Гриднева.

— Естественно, нет. — Тот поморщился. — Мало ли что взбредет на ум... Но как интересно! В морской среде скорей всего должна была возникнуть не техническая, а биологическая цивилизация. Аналог есть: муравьи и термиты, которые строят прекрасные с инженерной точки зрения жилища, дороги, мосты, пасут скот, то есть тлей, возделывают грибные

плантации... На что же способна куда более мощная цивилизация того же типа? Познание мира из-под воды, хм... Какая презабавнейшая у них должна быть космогония! Борьба теории воздушной вселенной с теорией ее твердокаменного строения... Физика, быть может, начавшаяся с электричества... Нет, невообразимо! В конце концов, у них, возможно, появилось и нечто похожее на нашу технологию. Приходим же мы сейчас к аквакультуре, плантационному, на море, хозяйству... А у них оно было с самого начала: селекция, скрещивание, быть может, переделка организмов в водной среде. Затем, кто знает, настал черед суши, некто в скафандре вышел на берег... Так или иначе их деятельность могла наложить отпечаток на всю природу. Вдруг и эти козявки, что у нас под ногами, потому устремились к морю, что когда-то, задав надлежащий инстинкт, их с неведомой для нас целью вот так скликали...

Словно удивляясь самому себе, Гриднев покачал головой.

— Видите, какие сказки навевает мне это хмурое море!..

— Когда-то дело ограничивалось сиренами и русалками, — задумчиво сказал поэт.

— Безусловно! Мы на все смотрим сквозь призму своего знания. И незнания. Из всего сказанного мной серьезно лишь то, что проблема распознавания деятельности иного разума не так проста, как это нам кажется. Даже если следы у нас перед глазами. Куда дальше! Этот лес, даже дюны созданы нами. Кто, однако, заподозрит это всего через тысячу лет?

— Мы отклонились от проблемы инвариантности. — Лунообразное, слабо сереющее в сумерках лицо Этапина казалось задумчивым, но голос прозвучал нетерпеливо. — У вас на этот счет наверняка есть интересные мысли.

— Скорее банальные. — Засунув руки в карманы, Гриднев теперь смотрел на море, словно видел там нечто ускользнувшее от взгляда других. — Инварианта, да... Любые разумные, очевидно, должны питаться, размножаться, познавать мир, как-то его преобразовывать (это и бобры делают!), жить скорее всего коллективно. Этим условиям неизбежно должны отвечать некоторые общие для всех базисные принципы морали, которые при всей ее вроде бы зыбкости могут, как ни странно, оказаться более инвариантными, чем технологические.

Кант не случайно провел параллель между звездным небом над нами и моральным законом внутри нас. Мы только начинаем понимать, в чем тут дело.

— Если это так, — с сомнением сказал Этапин, — то проблема распознавания осложняется. Мораль, нравственность и прочая духовность в силу своей эфемерности не могут оставить долговечных следов.

— Ой ли? — Гриднев прищурился. — Что пережило все поколения, как не наскальные рисунки? Эта живопись гораздо древнее пирамид, а ее краски до сих пор свежи. Чему вы смеетесь? — обернулся он к Шорохову.

— Так, глупость. — Шорохов сконфуженно махнул рукой. — Мне представился осьминог, изучающий малярной кистью на чертанное на скале: «Оля и Петя здесь были...»

Гриднев коротко хохотнул:

— Ладно, ладно! Хотите более симпатичную картинку? В своих основах инвариантна скорее всего эстетика. Возможно, более инвариантна, чем все остальное.

— Ну, это уж извините! — От неожиданности Шорохов едва не оступился в воду. — Эстетика — туман, зыбь, уж я-то знаю, что такое вкусовщина!

— Основа алмаза и сажи — углерод, но давайте не будем их путать! — раздраженно фыркнул Гриднев. — Я говорю не о личном вкусе, а о родовом восприятии прекрасного! Почему цветы привлекательны, хотя и по разным причинам, как для насекомых, так и для нас? То же самое с красотой раковин, рыбок и бабочек. А для кого прекрасен брачный наряд птиц? Только ли для пернатых? Почему сугубо функциональное в живой природе, по смыслу и назначению утилитарное, будь то движение лани или трель соловья, эстетично для человека? Почему в древнейших захоронениях рядом с орудиями труда, без которых человеку голод и смерть, мы неизменно находим, в сущности, те же безделушки и камешки, над которыми в разгар НТР так упорно трудится наш друг Этапин? А, молчите? То-то же... Тут всем глубинам глубины. Красоту еще древние греки поняли как гармонию. Сегодня мы приблизились к уяснению ее смысла. Гармония — это совершенство простой или сложной системы, лад всех ее слагаемых. Следовательно, кра-

сота есть внешнее выражение оптимума существования и функционирования любой системы.

— Например, системы мокриц, — не удержался Шорохов. — Или крыс.

— Элементарная вражда и дурь ассоциативных эмоций! — отмахнулся Гриднев. — Они искажают наш взгляд, я разве об этом? Речь о закономерности, смысл которой едва начал проясняться. Всякое сознание отражает мир и, видимо, стремится его запечатлеть. Тут интереснейшая намечается инварианта, интереснейшая!

— Позвольте, позвольте, — пробормотал было погружившийся в свои мысли Этапин. — Никто не замечал у муравьев ничего похожего на искусство...

— Никто из людей не создал симфонию запахов, которые для муравьев то же, что для нас краски и свет! — отрезал Гриднев. — Вообще, можно ли сравнивать нашу цивилизацию со столь примитивной и давно законсервировавшейся? Другое важно. Сколько тысячелетий искусству и сколько веков науке? Машинам? Человечество долго жило без моторов и лабораторий, а вот без музыки, рисунков, сказаний оно почему-то обойтись не могло. Вряд ли это случайность.

— О! — Глаза Этапина сделались совсем рачьими. — Так это значит... Если бы море вдруг подкатило к нашим ногам, предположим, сердолик с резным изображением вымершего белемнита, то ваша морская цивилизация тем самым была бы доказана? И тогда... Нет, не проходит, — добавил он с сожалением. — Кто угодно мог взять палеонтологический атлас и срисовать белемнита, тут никому ничего не докажешь.

— А-а, наконец-то и вас забрало! — Гриднев с маху опустил руку на плечо Этапина. — Правильно, а то совсем засохли в своих увязках, утрясках... Доказательством существования подводной цивилизации, если на то пошло, мог бы стать и ваш камешек. Если на нем изображен, ну, конечно, не спрут и даже не белемнит, а... Представьте себе, что в каком-нибудь музее издавна хранится гемма или что-то в этом роде с рисунком некой заведомо несуществующей рыбы. Или морского змея, это не важно. Все спокойны. Обычная фантазия художника энного века, сказочный мотив, мифический образ — сло-

вом, полная благопристойность. И вдруг это существо открывают океанологи...

— Точно! — Рачьи глаза Этапина впились в Гриднева. — Обитает оно в абиссальных глубинах, всплыть ни живое, нидохлое не может...

— А значит, и художник его изобразить не мог, — кивнул Гриднев. — Что тогда прикажете думать о гемме?

— Тогда скандал. — Этапин покрутил головой. — Но тогда, между прочим, уже не вы будете автором гипотезы о подводной культуре, а тот, кто сопоставит гемму с фотографией, наберется смелости и... Какая обидная развязка!

Он издал короткий смешок.

— Нет, какая развязка!.. Нам придется подтверждать ваше авторство, и еще вопрос, поверят ли нам.

— Но так как морской цивилизации не было и нет, — рассмехался Гриднев, — а уже холодает, то не пора ли нам все-таки к дому?

— Она есть, — внезапно сказал Шорохов. — Она уже существует.

Оба ученых изумленно уставились на поэта.

— А! — догадался Гриднев. — Существует, потому что она уже есть в наших умах?

— Именно.

— Ну, это пустяки.

— Но это меняет мир, — упрямо возразил Шорохов.

— Не мир. — Этапин поморщился. — Самое большее — наши представления о нем.

— Не буду спорить... Только как-то так получается, что ваш брат ученый сначала меняет наши представления о мире, а затем почему-то меняется и он сам.

— В данном случае это нам не грозит, — весело сказал Гриднев. — Разве что вы напишете поэму о научных работах, которые на досуге фантазируют черт знает о чем... Пошли!

Он первым повернул к темнеющим вдали соснам. Они шли, увязая в песке, им в спину гремело море, но этот звук по мере удаления становился все тише. Час спустя они ужинали при ярком электрическом свете и говорили уже совсем о другом.

Здесь гул моря был совсем не слышен, вместо него на танцевранде гремело радио. Гриднев, который мог переплясать любого юношу, пошел туда, Этапин засел за свежие научные журналы, а Шорохов еще долго бродил по темным дорожкам. Долго ли танцевал Гриднев, что вычитал Этапин, какие стихи написал в ту ночь Шорохов и написал ли, это другой вопрос.

Утром на небе не оказалось ни облачка, но на пляж вопреки обыкновению пошли только двое: Этапин, который по утрам частенько позванивал в Москву, вернулся расстроенным, потому что ему сообщили о внезапном совещании, где, как он полагал, его присутствие было крайне необходимо. «Надо ехать, — пояснил он со вздохом. — Иначе, боюсь, мы и через год не увидим заказанную аппаратуру...»

Так Гриднев и Шорохов на несколько дней остались вдвоем, и если Этапин, который всегда охотно брал на себя житейские заботы и больше ничем не выделялся, с самого начала показался поэту удобным, но необязательным приложением к знаменитости, то его отсутствие лишь усилило первое впечатление. Это задело любопытство Шорохова, которого особенности характера интересовали так же остро, как Гриднева загадки природы. Он еще мог понять интеллектуального приживальщика, каким выглядел Этапин, но отказывался понять Гриднева, который поддерживал такие отношения и при этом чувствовал себя безмятежно. Может быть, все было не так однозначно, как оно выглядело со стороны? Шорохов тем менее спешил с выводами, что сама фигура духовного нахлебника представлялась ему куда более значительной и сложной, чем ее обыденный, так сказать, прототип. В конце концов, даже апостолы христианства, которые, собственно, и создали церковь, кормились плодами чужого ума.

Наконец Этапин вернулся с совещания, которое, по его словам, «прошло как надо», и тут же выложил свежий ворох академических новостей и сплетен, чем доставил Гридневу несколько веселых минут. Далее все пошло по-прежнему.

В жизни ничто не совпадает, но многое повторяется. Погода часто менялась, и неудивительно, что однажды выдался вечер, когда море снова гнало волны, закат был багров, берег пустынен и все трое двигались вдоль полосы прибоя. Все ос-

тальное было иным: облака не походили на клинопись, в песке нельзя было найти ни единой божьей коровки, и хотя волны взметались сильнее, чем тогда, их ритм ни в чьей душе не отзывался ни стихами, ни научными фантазиями. С моря дул теплый ветер, надсадно кричали чайки, Гриднев и Шорохов шли впереди, переговариваясь о чем-то вполне обыденном, и только Этапин, как прежде, искал камешки, на этот раз с особым пылом и рвением, поскольку затихающий шторм мог принести из новой неподалеку выработки янтаря что-нибудь стоящее. Босые ноги Этапина порой скрывались в мутном накате, он отскакивал, стремглав возвращался, перетряхивал выброшенные на берег водоросли и только что не рыл носом песок.

— Муж, упорный в своих намерениях, — заметил Шорохов.

— Бульдозер, — кивком подтвердил Гриднев. — Такими любое дело крепко.

— И познание тоже?

— Станный вопрос! Он же ученый, или, как теперь принято говорить, научный работник.

— Признаться, он мне не показался таким, когда все требовало от него мысли.

— Это когда же?

— Когда обсуждалась идея морской цивилизации.

— А-а! Но это же так, умственный экзерсиз... Я тогда говорил не как ученый, значит, и Этапин не мог им показаться.

— Он что, как Луна, светит отраженным светом?

— Ничего подобного! — отрезал Гриднев. — Очевидно, я неудачно выразился. Этапин не светит и светить не должен, потому что он ученый-администратор. Совсем другая функция, ясно? Так вот к чему все эти окольные расспросы... Действительно, фигура новая, для вас, литератора, непривычная, как будто ученый и вроде бы нет — загадка! Нет тут загадки. Обычное следствие разделения труда, ничего больше. И знаете что? Такой, как я, романтик без Этапиных сейчас немного стою... Да, да! Нравится мне это или нет, таковы обстоятельства.

— Можно подумать, что вы зависите от Этапина, а не наоборот!

— Зависит ли мозг от мышц и жира? Поверьте, это не пустая аналогия. Дни Ньютона и Менделеева, увы, миновали... Наука становится сложным организмом, и каждый из нас, теряя самостоятельность, превращается в клеточку ее тела. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. О, не думайте, Этапин по-своему весьма изобретателен и умен! Только если я могу проявить себя и в околонуточном споре, то он в этой ситуации бледен и жалок. Вот если бы я строго обосновал перспективную идею, поманил многообещающим результатом, тут, будьте уверены, Этапин бы развернулся и на стадии осуществления плана уже я выглядел бы невзрачно. Как это у Пушкина? «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон...» Сказано о каждом. Сейчас Этапину просто не к чему приложить свои способности, разве что к камешкам. Тут энергия, страсть — все при нем. Да вы взгляните!

Обернувшись, оба посмотрели на приземистого человека в закатанных штанах, который упорно рылся в песке, водорослях и гальке, тогда как вокруг гремело море. Странная ассоциация: Шорохову он на мгновение показался озабоченным гномом.

— Эй, — окликнул его Гриднев. — Как старательские успехи?

Чуть вздрогнув, Этапин приподнял голову, натянуто улыбнулся и развел руками:

— Бедно. Так, мелочь...

Взгляд Гриднева, рассеянно скользивший по мокрому песку, вдруг задержался и сузился.

— Мелочь, говорите? Ай-ай-ай... Ну, если вы считаете мелочью то, на что едва не наступили...

— Где? — Этапин обернулся и подскочил. — О-о!..

— Так как? — наивным голосом осведомился Гриднев. — Везет новичкам или я ошибся?

С тем же успехом, однако, он мог обратиться к морю, потому что для Этапина теперь, похоже, существовал лишь красновато блеснувший в его пальцах янтарь. У него даже руки тряслись, когда, счистив песок, он поднял камешек, чтобы взглянуть на просвет.

От внезапного вскрика шарахнулась ближняя чайка.

— Сюда... Скорее сюда!

Гриднев недоуменно взглянул на Шорохова, тот — на Гриднева, и, опережая друг друга, оба скатились с откоса. Их ноги тут же лизнул пенный прибой, но им было уже не до этого. Предынфарктное выражение лица Этапина так напугало поэта, что он и не посмотрел на находку. Гриднев же выхватил янтарь, вгляделся и, как безумный, затряс головой. Ничего не понимая, Шорохов заглянул через плечо.

Часть поверхности красноватого, размером со спичечный коробок янтаря была матовой, что обычно для окатанных морем камней. Однако потертости не могли скрыть очертаний просвечивающего изнутри диковинного, с двумя саблевидными выступами по бокам челюсти, шипастого существа. Изображение казалось небрежно сотканным из светлых и темных прожилок, и эта своеобразная игра природы, из ничего создавшая грубоватый, но выразительный образ, поразила Шорохова. Однако не дала ответа, чем так потрясены ученые.

— Страгопитус... — Рот Гриднева, казалось, свела судорога.

— Он, — свистящим шепотом отозвался Этапин. — Никаких сомнений...

— Но это невероятно!..

— И все же... Видите?

— Да, да...

С усилием приподняв руку, Гриднев подставил янтарь лучам закатного солнца. Тот налился красным, чудовище в нем, казалось, сверкнуло глазами.

— Какой красавец... — Этапин хотел улыбнуться, но вышла гримаса. — Поздравляю...

— Да объясните же, наконец! — взмолился Шорохов. — Что случилось?

— Многое. — Все с той же, похожей на гримасу улыбкой Этапин обернулся к поэту. — Помните рассуждения о подводной цивилизации? Смело, безумно и... Доказательство в руках у Гриднева. Нет, каково? — Пьяно блестя глазами, Этапин хихикнул, но, пересилив себя, закончил строгим, даже торжественным голосом: — Короче, в «Нейчур» была фотография недавно открытого глубоководного существа, портрет которо-

го мы сейчас видим в янтаре. Отсюда следует, что это изображение скорее всего создано не человеком.

— Не человеком... — Рука Гриднева с зажатым в ней янтарем упала. Он ошалело уставился на море. — Я сплю или... Цивилизация, которую я придумал, словно сама подкинула мне этот янтарь!

Шорохов отступил на шаг. Этапин зашелся в лающем смехе.

— Я искал, а вы нашли!.. Какая ирония, нет, какая ирония! Теперь это факт, а я-то, скептик, я-то!..

Его скорчило, он закашлялся и побагровел.

— Хватит! — вскричал Гриднев. — Что за истерика! Вы ученый или кто? Ничто не доказано, янтарь надо всесторонне исследовать.

— Извините. — Будто стирая что-то, Этапин провел по лицу ладонью. — Нервы... Завидую вам. Мне организовать анализы или вы сами займетесь?

Казалось, Гриднев заколебался. Обдав ноги пеной и брызгами, с шорохом прокатилась волна. Никто не шевельнулся.

— Никаких «или», — с внезапным ожесточением проговорил Гриднев. — Во-первых, вы специалист, во-вторых, если бы не ваш поиск... Что же это такое, я уже сам себе не верю! Так материализоваться фантазия не могла, и все же это случилось...

— В жизни случается все, — тихо сказал Шорохов. — Тем более вероятное.

— Да, конечно... Берите эту чертовщину. Берите и раскол-дуйте.

Гриднев протянул янтарь, словно отстраняя его от себя. У Этапина задержалось веко.

— Так просто... — едва различимо прошептал он.

— Что? — не понял Гриднев. — Берите же, черт возьми!

Пальцы Этапина дрожали, точно готовились принять раскаленный уголь, взгляд рыскнул в сторону.

— Сейчас, сейчас, сердце...

Его рука все же продолжила движение, пальцы коснулись янтара. И тут по ногам всех троих ударила волна, вскипела водоворотом, потащила ставший зыбким песок. Этапин находился ближе всех к морю, он покачнулся, рука с зажатым в

ней янтарем нелепо вскинулась, и прежде чем кто-то успел опомниться, он рухнул в воду.

— Янтарь!.. Держите!..

Волна схлынула, но янтара уже не было ни в подогнувшей-ся при падении руке Этапина, ни возле него на песке. Гриднев как был в одежде ринулся в море, Этапин по-крабьи пополз туда же, и несколько минут оба лихорадочно шарили по дну, словно потерю еще можно было вернуть.

Наконец, пошатываясь, оба выбрались на берег. Этапин кулем осел на песок.

— Я, я упустил!.. — повторил он, закрыв руками лицо.

— Что ж, море дало, море взяло, — только и сказал Гриднев.

Ни на кого не глядя, он двинулся прочь от моря. Шорохов долгим взглядом проводил его ссутулившуюся фигуру, над которой с криком реяли чайки, и подсел к Этапину.

— А теперь давайте сюда янтарь, — сказал он негромко.

Отпрянув, Этапин тупо уставился на поэта:

— Что?..

— Хватит вам, — устало поморщился Шорохов. — Все было ловко разыграно, но я видел ваше лицо и слышал ваш голос. Они лгали, об остальном было нетрудно догадаться. Янтарь должен быть у вас в правом кармане. Сами дадите или вам помочь?

Рыхлые щеки Этапина обвисли, он, не мигая, смотрел на море. Внезапно его рука шмыгнула в карман, вскинулась, и над серой водой сверкнул красноватый камешек. Набежавший вал принял его без следа и всплеска.

— Ничего нет, — без выражения сказал Этапин. — Нет и не было.

Шорохов пожал плечами.

— Вы ошиблись. Я не судья, просто мне хочется понять, что вас толкнуло. Зависть?

Этапин едва заметно покачал головой. В нем не осталось ничего от педантичного работника науки, в нем не осталось ничего от азартного охотника за камнями: на берегу сидел очень одинокий, очень немолодой и очень усталый человек.

— Сначала я хотел пошутить, да... Гриднев занесся тогда, страшно занесся! Кинуть несколько ослепительных идей, из

ничего сотворить целый мир — ему забава... Ну и ладно бы, ну и пусть. Нет, ты еще будь для него боксерской грушей, спорь, отражай, а он тебя с ног, с ног! Так всегда с другими, со мной, публично... Я же не мальчик. Как оглянешься назад — боже мой, ничего-то своего нет, весь растворился, потратился на дела, о которых завтра никто не вспомнит. Для этого ли в науку шел? А тут Гриднев... Что ты на него работаешь, его идеи обслуживаешь, ему дела нет, так и должно быть, раз судьба тебя обделила. Все ему, все! Вот и сорвался... А уж когда он заглотнул...

— Достаточно! — Шорохов снял с себя куртку. — Накиньте, а то замерзнете... И хватит об этом. Остальное лучше вас своим «Моцартом» сказал Пушкин. Иная сцена, иные костюмы, а страсти те же... Подделать «доказательство», дать Гридневу выступить, исподтишка разоблачить, доконать не ядом — позором. Так? Гриднев «нашел» янтарь, не вы — хитро!

— Нет. — Этапин слабо усмехнулся. — Вы ничего не поняли. Трудно было сделать такой янтарь, еще труднее было бы доказать, что он подделка. Та самая проблема неразличимости, о которой говорил Гриднев! Что выдало бы мою руку? Рисунок сделан электронным лучом. Термография, след нагрева, и все. Так обработать янтарь мог и не человек... Датировка изображения? Нет зацепки. Мое свидетельство? Не говорите глупостей...

— Но тогда зачем все?

Ответом был хриплый смех.

— Если Гриднев сфантазировал подводную цивилизацию, то я сделал куда большее: я ее материализовал! Никто, нигде, никогда не поднимался до такого...

— Точнее, не опускался, — быстро сказал Шорохов.

— Нет, нет, нет! — Этапин выпрямился. — Достижение со знаком минус все равно достижение. Тут абсолютная высота! Когда я это понял, когда понял... Я перестал быть собой.

— Кажется, я начинаю понимать, — медленно проговорил Шорохов. — И все-таки вас что-то удержало от последнего шага. Вы «потеряли» янтарь...

— Да... — Голос Этапина осел. — Не смешно ли? Какой-то плюгавый грек в каком-то незапамятном веке сжег какой-то

ничтожный храм и тем запомнился навсегда. А я, создатель целой цивилизации, остался бы прежним... Конечно, можно было приладиться к «открытию» Гриднева... Приладиться! Можно было и посмеяться...

— Гриднев и так получил сверх меры, — сухо сказал Шорохов.

— Но не так, как я хотел! Еще можно было, промолчав, обдурить все человечество... Такой соблазн, такие возможности!.. И не смог. За час я прожил целую жизнь, это как пережог... А, теперь все равно.

— Нет, — мягко возразил Шорохов. — Никому не все равно, что о нем подумают люди, иначе и вы не сказали бы мне ни слова. Вы смогли отбросить научную этику и переступили через мораль, но оказались в выжженной пустоте. Зря вы кинули янтарь в море: он был подлинным произведением искусства. Вот ваше истинное достижение! Быть может, оно-то в конечном счете и удержало вас. Ведь подлое искусство так же противоестественно и невозможно, как голубой янтарь.

Этапин тяжело, с усилием встал. Сгорбившись, он долго смотрел на море, словно в извечном движении волн был ответ на все вопросы, в том числе и на вопрос, как жить дальше.

— Возможно, все так и есть, — сказал он с внезапным смешком. — Только вы плохо разбираетесь в камнях... Голубой янтарь, к вашему сведению, существует.

ПУТЬ АБОГИНА

Солнца не было уже много дней подряд, с неба часто падал мокрый умирающий снег, бессильно ложился под колеса машин, которые, с шипением размазывая жижу и грязь, выхлопными брызгами теснили прохожих к домам, таким же тоскливым и серым в непогоду, как мутный свет городского дня. После работы все спешили вжаться в автобусы и троллейбусы, ехали там, грея друг друга сквозь влажную ткань одежды, затем то-ропливо и молча растекались по домам, где их ждало ровное тепло батарей и привычное, как домашние тапочки, свечение телевизора.

Абогина вместе с другими автобус выплюнул на край тротуара и с надсадным подвывом покатил дальше, тяжелый, поскрипывающий, заляпанный грязью. Абогин, потянув носом воздух, замер. Небо было унылым и грязным, как вода после стирки, голые прутики сирени венником торчали над решеткой ограды, в промозглом воздухе тлел перегар бензина, но сквозь него, сквозь привкус грязи, сырой резины, металла пробивался смутный сигнал весны. Не запах — далекий, словно ниоткуда, зов весны был в воздухе!

Странно, еще утром весны не чувствовалось, Абогин был в этом уверен. Ветер с полей? И его не было. Вообще, чем пахнет весна? Талым снегом, клейкой землей, влажным теплом? Нет, нет, все это бывает и в ноябре...

«А ведь мы не знаем, чем пахнет весна!» Улыбнувшись, Абогин, как в детстве, отмахнул портфелем и с места перескочил мутную, шириной метра в два лужу. Нога чуть-чуть не дотянула, из-под каблука брызнул фонтанчик жижи. «Старею», —

без сожаления подумал Абогин, как может подумать лишь тот, кому еще очень далеко до старости.

Стукнула дверь подъезда, навстречу вышел писатель, опустив голову, грузноватой походкой двинулся мимо Абогина. Они не были знакомы, хотя давно жили рядом, вернее, Абогин-то знал писателя, знал по его редким негромким книгам, у которых, однако, были свои почитатели, куда более зоркие и проницательные, по убеждению Абогина, чем все привычно ценящие привычное литкритики.

— Здравствуйте, Кирилл Степанович, — неожиданно для себя проговорил он.

— Добрый день. — Приостановившись, писатель близоуко сощурился, от чего его крупное лицо застыло и напряглось. — Вы...

— Ваш сосед по дому, Игорь Абогин, — пояснил Абогин. — Но это не важно: читатель знает писателя, обратное не столь существенно. Просто у меня, если вы не очень торопитесь, не-большой к вам вопрос.

— Да, пожалуйста... Хлеб подождет.

Рука писателя машинально сунулась в карман пальто, где, очевидно, лежала авоська. Все как у всех, то ли с разочарованием, то ли с удовлетворением отметил Абогин. Что же его потянуло заговорить?

— Охотно провожу вас до булочной, хотя сомнительно, чтобы там сейчас был свежий хлеб, — сказал он.

— Ничего, нужен еще и сахар... Так в чем же вопрос?

— Однажды вы высказали ту мысль, что потребность самореализации так же сильна в человеке, как зов продолжения рода.

— Простите, это не я, — мягко возразил писатель. — То же самое было сказано задолго до меня.

— Верно. Но вы связали это свойство с всеобщим диктатом эволюционных закономерностей, которые заставляют растение взламывать асфальт, а человека выкладываться до предела. Чем, однако, тяга к самореализации может обернуться в будущем? Ведет ли она только к предельному раскрытию всех возможностей человека или к качественному преобразованию их самих?

— Хм... — Замедлив шаг, писатель, как всякий попавший в затруднение курильщик, потянулся за сигаретами. — Курите?

— Спасибо, нет.

— И правильно делаете. — Наклоненное к огоньку спички лицо писателя окурилось сизым дымком. — Преобразование возможностей? Что вы имеете в виду? Социальную сторону?

— Скорей психобиологическую.

— Тогда вряд ли. — Писатель покачал головой. — Мы сформировались самое меньшее сорок тысячелетий назад и с тех пор эволюционируем в основном социально. Не вижу, за счет чего в человеке вот так, сразу, могло бы возникнуть новое качество.

Абогин кивнул.

— В отдельном человеке нет, а как насчет человечества? Оно растет. Сто миллионов в палеолите, миллиард в прошлом веке, четыре с половиной миллиарда теперь, скоро может быть восемь и более. А количество должно переходить в качество. Или к нам это не относится?

— Так вот вы о чем! — Писатель отступил на шаг, словно Абогин внезапно укрупнился в его глазах. — Любопытно...

— Особенно если связать это с другой вашей мыслью, — спокойно добавил тот.

— Какой?

— «Наука и техника внесли в нашу жизнь реальные для нас, сказочные для прошлых времен чудеса. Однако взглянемся: все они, будь то звездный, на Земле, всплеск ядерной энергии или голографические, лишь осязанием отличимые от вещной действительности призраки, — извлечены нами из физико-химического уровня материи. Ничего равного этому нет в биологии, тем более в психологии. Но разве эти уровни материи беднее скрытыми возможностями, там меньше ожидающих своего часа тайн и чудес? Скорее наоборот. Они есть, просто наука еще не подобрала ключа к более сложному. Вероятно, они даже напоминают нам о себе, как потрескивание натертого янтаря давало знать грекам об электричестве. Что толку! Инструмент науки еще слаб, чтобы уловить и понять эти сигналы. Будут «чудеса живого» и «чудеса психического», перед которыми, возможно, помер-

кнут все нынешние, но это скорее всего случится не в нашем веке». Все правильно, Кирилл Степанович, только ведь это может случиться при нашей жизни! И не обязательно предусмотренным способом. Уран не концентрируется в природе до точки взрыва, а масса мыслящего вещества — та растет самопроизвольно. Какие возможности зреют здесь? Осторожней, промочите ноги...

— Ничего себе! — вырвалось у писателя. — Вы ученый, философ? Впрочем, не важно. Первый закон диалектики в применении к демографии, так, так... С прибавлением скольких людей он может дать о себе знать и каким образом? Хм... Аналогично задаче, с какой песчинки куча песка становится дюной, а дюна... Ни с какой! Дюна не может сделаться горой, для этого песок должен превратиться в песчаник.

— Что и происходит, — заметил Абогин.

— Да, да, перекристаллизация личности под воздействием укрупняющейся массы человечества, я понял... Только в демографии ли дело? Мы прессуемся в городах — это фактор! В том же направлении действуют телевидение, транспорт, связь. Малосущественно? Кто знает... Да, самое главное! Мы живем в информационном поле, а оно быстро сгущается. Больше книг, больше знаний, невиданный прирост умственного труда, в реактор мысли подается все больше топлива и... Слушайте, в этом что-то есть! Как тут с переходом количества в качество? — Писатель взволнованно повернулся к мерно шагающему рядом Абогину. — Кипящий слой пока невелик, хотя и огромен для прошлого. Высшее образование не показатель интеллекта, сами знаете, сколько дураков с дипломами, но тут цифра хотя бы: им охвачено менее процента всего человечества! Это на двадцать или тридцать процентов неграмотных! Ну а когда соотношение перевернется? Что тогда? Это вам не медлительная биология! Право, есть над чем задуматься...

— Стали тут истуканами, человеку и пройти нельзя! — пронзительно раздалось под ухом. Старуха с острым лицом магазинной прониры возникла будто из-под земли, кошелка в ее руках мелко тряслась гневной дрожью, и было отчего: оба дошли до булочной и, не заметив, перегородили единственный меж лужами подход. — Чего вылупился? Тебе говорю!

Осекшись, писатель смущенно попятился в лужу, Абогин, отступив, распахнул дверь.

— То-то же! Совести в людях нет. — Старуха, торжествуя, просеменила в булочную, и дверь с визгом закрылась за ней. Оба сконфуженно посмотрели ей вслед, затем друг на друга.

— Н-да, — проговорил писатель. — Такая вот диалектика...

— Кто знает, — пожал плечами Абогин. — Будущее идет скрытыми путями, как вы однажды заметили.

— Ну и память! — Писатель смутился, будто сам себе сказал комплимент, притушил окурок и поискал глазами, куда его деть. — Да, о чем мы? Хотите, зайдем ко мне? А то здесь как-то, знаете...

— Да, сыро. — Абогин посмотрел вокруг. — А все-таки пахнет весной.

— Разве? — Писатель тоже оглянулся. — Не похоже. Впрочем, у вас обоняние острее, не курите. Так как? Ах, черт... — Его лицо сморщилось. — Сегодня ко мне должны зайти...

— Несущественно, это я должен извиниться, что задерживаю вас! И спасибо, вы уже ответили на мой вопрос. Обязательно напрашусь в гости, когда будет с чем! А пока разрешите поблагодарить.

— Разве я уже ответил?..

— Да, вполне. Всего вам доброго!

— И вам тоже...

Застыв на месте, писатель проводил Абогина долгим озадаченным взглядом. Станный читатель, странный... Какая резкая, всполошная мысль! Как незаметно он меня к ней подвел, индуцировал ее, можно сказать, я-то разглагольствовал, а он смотрел... Словно издали, словно хотел лишь убедиться — в чем? Да, да, как же я сразу не заметил этого! Интересно, подошел бы он с тем же, допустим, к Бунину?! Стил, психология, образ; ни слова об этом, будто вся художественность второстепенна! Неужели он вправду верит, что разум и только разум спасет, что однажды в будничнй день с человеком случится нечто такое... Вот что он проверял на мне, может быть, потому, что когда-то в чем-то оттолкнулся от моих мыслей. А теперь понял: отработанная ступень! Оттого и уклонился от приглашения. И если так — горько. Горько? Дети должны быть

хотя бы умнее отцов, иначе какой, к черту, прогресс! Что ж, «здравствуй, племя молодое, незнакомое... приветствую тебя звоном счита»?!

Вздохнув, он наконец нырнул в булочную, где старуха с вечно недовольным лицом склочницы подозрительно тыкала пробником во все подряд булки, батоны и четвертинки хлеба.

В это время Абогин уже входил в подъезд. Жалуясь, двери проскрипели вслед свою обычную ревматическую песнь, в которой ему всегда слышалось: «Ску-учно! Тол-ка-а-ют! Спа-асу нет!» Войдя в квартиру, он сбросил отяжелевшую от сырости куртку, но вопреки обыкновению не сел за работу.

Что с ним? Зачем он заговорил с писателем и так неловко расстался?

Однажды кто-то из приятелей назвал его «помешанным скалолазом». Что ж, возможно. Он не помнил, когда и с чего это началось, казалось, он всегда гнал себя вверх. Сам, нещадно, только цели менялись. И всякий раз думалось, что вот доберется, осилит, а там будет хорошо, навсегда безмятежно. Будет хорошо, когда он сравняется в силе — нет, превзойдет! — всех мальчишек, чтобы ни одна сволочь из подворотни не осмелилась прицепиться. Тогда над изголовьем его кровати висел портрет Суворова, физически слабейшего из солдат, который так высколил себя, что и под старость мог загнать любого. Каждодневными тренировками Игорь доводил себя до изнеможения, когда трудно поднять веки, не то что руки. А он еще шел к приятелям поиграть — и улыбался.

В конце концов его стали наперебой зазывать в спортивные секции. Но уже пришло отрочество со своими тревожными вопросами: кто я? Зачем? Ради чего все?

Конечно, не ради секунд в беге и сантиметров в прыжке. И тут оказалось, что средство, каким он добился однажды поставленной цели, завладело им. Он уже не мог не перекраивать себя, не мог не раздвигать пределы своих возможностей; то, от чего порой наворачивались слезы, дарило такую радость побед, что всякая иная жизнь казалась уже пресной и скучной. Только вверх! Только вперед! Найти ответы на все вопросы! Он и прежде много читал, теперь стал пожирателем книг. Чем сложнее, тем лучше: есть что преодолевать. Правда, вскоре он

обнаружил, что сложность отнюдь не признак глубины. Но и этот опыт дал ему многое: оказалось, «мускулы ума» могут наливаться силой, как и обычные, это так же тяжело, так же трудно и так же радостно. Даже еще интересней! Теперь его целью стало пересоздание своих способностей. Ими природа наградила его так же скупой, как и физической силой. Кто-то, не прилагая особого усердия, блистал в классе по математике. По истории. По биологии. Был парень, чьи рисунки даже побывали на выставке. В нем, Игоре, никто не находил никаких талантов. Что ж... Недостижимого нет. Это говорил ему опыт, подтверждение он нашел в книгах. Выяснилось, что есть педагоги, в чьих классах все дети талантливо рисуют, или поют, или решают трудные математические задачи. Все! Дело в методике и искусстве учителя. У Абогина такого учителя не было, зато у него был один-единственный ученик — он сам.

Года через три он стал побеждать на школьных олимпиадах, а его рисунками заинтересовались художники. К этому времени он понял, в чем же его талант: в умении самообучаться, в инстинктивном чувстве метода, каким любую, самую скромную способность можно возвести в степень.

Главное, захотеть. В любом предмете, как бы скучно он ни выглядел, найти интересное, зажечь себя этим интересом, остальное вопрос времени и труда. Нет таких гор, которые не мог бы покорить альпинист, а что его ведет? Интерес.

Школа взывала, когда он объявил учителям о своем намерении перейти в ПТУ. Однако Абогин продумал и этот шаг. Он мог бы и сам хорошо научиться работать руками, но зачем тратить на это свободное время, когда можно тратить учебное? Да и мастерские ПТУ не чета той, которую можно завести дома. А умелые руки так же нужны в жизни, как и хорошо организованный ум.

Так он себя готовил. К чему? Отроческое желание «найти ответы на все вопросы» теперь казалось наивным. Для душевного спокойствия легко занять расхожие суждения обо всем на свете, тогда как найти окончательное знание невозможно и в бесконечной череде лет, ибо всякий ответ тянет за собой новые вопросы. Тут не понежишься на прокатных пуховиках, изволь быть восходителем!

Кризис юности так или иначе преодолевают все, общий поток подхватил и Абогина. Жить надо! Магнит веселья, успехов, любви сам собой притягивает молодость, и не до философий тут, когда в тебе бурлят нерастраченные силы, а жизнь разворачивает все новые восхитительные дали. Ценность жизни в ней самой, этой формуле и еж следует.

Я жизнью пьян.

Я пью и не могу напиться ее вином;

Меня дразнит и манит океан желаний...

Такие стихи Абогин писал в восемнадцать лет. Общий поток его подхватил и понес, но быть пловцом он не перестал. На математическом факультете он уже считался восходящей звездой. Ему было, в общем, все равно, куда поступать, ибо когда нет никаких особых талантов, кроме дара приумножения самих способностей, годится любой вуз. Все же были причины, почему он избрал именно математику. Во-первых, это не столько наука (у математики нет своего конкретного объекта исследований), сколько метод познания, значит, ее можно приложить к чему угодно. Во-вторых, математика пока в особом почете, значит, по этой дороге можно идти быстрее, чем по любой другой. В-третьих, в математике никого не удивляет ранний взлет (великий Галуа не дожил и до двадцати лет). Немалое преимущество, если учесть...

Но понимание того, что именно надо учесть, пришло к Абогину позже, хотя оно уже присутствовало в подсознании и, возможно, вело его, как тайный автопилот. А пока ничего такого сверхособенного Абогин в себе не замечал. Он жил и радовался жизни, только время еще более уплотнилось, ибо ко всему прежнему добавились свидания, турпоходы, работа в стройотрядах и многое другое. Он чувствовал, как его засасывает жадный интерес ко всему на свете. Стоило заметить на книжном прилавке толстенный том с непонятным названием «Адгезия», как рука сама тянулась к книге: что это такое? Любого могла оттолкнуть брошюра, на обложке которой значилось: «Общесоюзный классификатор. Профессии рабочих, должности служащих и тарифные разряды». Там ничего не

было, кроме перечня, но Абогин прочитал брошюру насквозь. Кто мог догадаться о существовании такой профессии, как «вздымщик»? А что означает «заготовщик подбор и гужиков»?! «Сверловщик кочанов капусты» — он не подозревал, что профессии сузились настолько! Абогин радовался брошюрке, словно нашел золотую россыпь. Впрочем, это и была россыпь — для социолога, писателя, философа, лингвиста, для всякого понимающего человека.

Смешно подумать, он когда-то хотел все узнать, все постичь и подняться на все вершины! «Нельзя объять необъятное». А если хочется? Если он так привык? Если без этого радость не в радость? Отказываться? Превращаться в высоконаучного «сверлильщика кочанов»?

Нет. Упоение есть не только в бою.

Абогин научился быстро извлекать информацию — для этого не надо много книг, надо знать, где найти две-три книги, которые содержат в себе все главное, умное, свежее. Абогин научился думать непрерывно — в битком набитом транспорте, в очередях, в парикмахерской. Он научился владеть собой, своим настроением, как до этого научился владеть своим телом, проник во все секреты древних и современных приемов духовной тренировки. Оказалось, что даже сны можно сделать творческими.

И вот теперь молодой доктор наук, уже известный ученый, он, в сущности, не знал, что ему делать дальше...

И все из-за поразительной сверхудачи.

Это началось еще в школе. Однажды, задумавшись над статьей о свойствах лунной поверхности, он почувствовал, что в ней чего-то не хватает. Конечно! Он даже вздрогнул при этой мысли. Почему до сих пор никто не учел способность планетарного вещества испаряться в вакууме? Ведь все испаряется, а уж в вакууме, да под воздействием высоких температур! В лучах солнца лунное вещество должно подтаивать, как снег. Возгоняться, хотя, разумеется, не так быстро, как вольфрамовая нить электрической лампочки. Почему же никто не рассмотрел это условие эрозии лунной, тем более меркурианской поверхности? За миллиарды лет своего существования безатмосферные планеты должны были

основательно похудеть. Насколько? Он задрожал от нетерпения. Это можно рассчитать, если известна скорость испарения каменных пород в вакууме в зависимости от той или иной температуры. Возможно, таких цифр нет, кого они интересуют, но уж данные по вольфраму и другим металлам, конечно, имеются. Следовательно, кое-что можно прикинуть уже сейчас. Да, но где сыскать эти данные?

С минуту Абогин сидел, отрешенно глядя на настольную лампочку. Как вдруг перед ним словно раздвинулась завеса. Он увидел весь процесс от начала и до конца. Кто-то будто подсказал ему недостающие сведения, они зазвучали в нем как мерный, ниоткуда шепот. Он быстро схватил бумагу, страница за страницей стал покрывать вычислениями. И тут же понял, что исходная посылка ошибочна: ни Луна, ни Меркурий не будут худеть, потому что испарения их пород слишком тяжелы, чтобы улетучиться.

Все равно он не смог оторваться. Его словно нес какой-то поток. Это было чуть-чуть жутковато и захватывающе интересно. Камень планет испарялся, теперь он знал, как и насколько. Ничтожной дымкой зависал над поверхностью, чтобы ночью осесть атомарным инеем. Уже по одной этой причине поверхностный слой Луны, тем более Меркурия, должен был отличаться от всего известного на Земле. Хотя и на Земле идет этот процесс, только слабей, только иначе, сами того не замечая, мы вдыхаем запах испаряющихся на солнце гор!

Абогин не помнил, как доплелся тогда до постели. Только засыпал он с ощущением небывалого, поистине космического счастья. Оно сохранилось в нем, хотя наутро все заметки пришлось запихнуть в ящик. А что оставалось делать? Кто же примет статью от мальчишки, который даже не в состоянии объяснить, откуда взялись исходные данные!

С тех пор он не прикоснулся к заметкам, но его дни озарились, как если бы в ящике стола лежало перо жар-птицы. Так длилось несколько месяцев, пока однажды в свежем номере «Природы» он не обнаружил собственные расчеты. То есть, конечно, все было изложено иначе, строго, академично, но ход мысли, расчеты и выводы совпадали...

Страницы журнала расплылись перед ним дрожащим мутным пятном, он вскочил, заметался по комнате, как ослепленная птица.

К счастью, чем невероятней событие, тем быстрее на помощь спешит здравый смысл. Кто-то другой додумался до того же самого? История науки полна примерами совпадений. Взвешавшиеся ниоткуда цифры? Вероятно, он где-то прочел эти сведения и благополучно забыл о них, а когда надо, они проявились в памяти, как это бывает сплошь и рядом. Все нормально, более того — превосходно! Ведь он как-никак своим умишком достиг того же самого, до чего додумался ученый. Пусть даже это было «изобретением велосипеда» — все равно! Может быть, он, Игорь, гений?

Он подошел к зеркалу и долго разглядывал в нем свое потрясенное, с детски припухлыми губами, лицо. Гений? Не то серые, не то голубоватые глаза смотрели испытующе, жалко. Теленок, просто одурелый теленок, и ресницы какие-то белые!

И все-таки он сделал это. Сумел. Значит, сумеет еще не однажды...

А что, если это случайность? Что, если это больше не повторится?!

Страх был напрасен: это повторилось. Только он был уже не прежним мальчиком, а студентом. Теперь было кому показать работу и было кому порекомендовать ее в печать. Профессора ахали, благословляли, гордились и наставляли на путь истинный. Виданное ли дело! Сегодня работа по топологии, завтра — по теории чисел, а послезавтра вообще черт знает что — гипотеза, доказывающая, что звезды в своем движении по галактическим орбитам оставляют позади себя протонный шлейф! Пусть это свежо, убедительно, но нельзя же так разбрасываться! Нельзя, это скользкая дорожка к дилетантизму.

А Абогин не мог иначе. Не только потому, что его интересовало решительно все. Важнее было другое: не он управлял прозрениями, а они им. Все чаще и чаще его посещали далекие от математики идеи. Это случалось, когда он оставался один, когда его не тяготили заботы и можно было спокойно

думать обо всем на свете. Тут-то в сознании и раздвигалась шторка.

Именно так: раздвигалась. Он вдруг начинал что-то различать. Вначале смутно, затем все ясней, словно то, о чем он думал, уже существовало в каком-то умственном измерении, надо было только пристально и неторопливо взглядеться. О, это было непросто, мозг изнемогал от напряжения, как мускулы альпиниста на крутизне, и затем, когда вершина была достигнута, наступала сладкая опустошенность.

Увы, войти в это состояние по заказу не удавалось...

Что ж, творчество есть творчество, озарение в нем как подарок. Но не таков был Абогин, чтобы смириться. Корова на лугу и та жует не бессмысленно! А тут? Не угодно ли: и ученый, и художник нередко с самого начала прозревают конечный результат, то есть знают то, чего пока не знают, и вот уже всем загадкам загадка — порой математик выводит новую формулу прежде, чем сыщется доказательство! Это известно, в философии для обозначения такой странности даже есть термин — антиципация, но никто этого не понимает. Вот, казалось бы, истина: мысль возникает, как кристалл в перенасыщенном растворе. Все вроде бы верно, без знаний шагу ступить нельзя, но тогда самыми удачливыми творцами должны быть эрудиты. А это далеко не так! Какими особыми знаниями обладал скромный чиновник патентного бюро Альберт Эйнштейн? Молодой, только что со студенческой скамьи Нильс Бор?

Возможно, Абогин удовольствовался бы достигнутым и не терзал бы себя размышлениями, если бы его удовлетворяли собственные успехи. Увы! Привычка к жесткому самоконтролю возобладала. Для всех он был блестящим молодым исследователем, а он уже поставил себе беспощадный диагноз: посредственность.

Именно так. Что статьи, что диссертации! Упорная, год за годом, работа над собой, бесконечное напряжение всех сил, а результат? Все несравнимо с тем, чего в те же годы добились Галуа, Эйнштейн, Бор.

Значит, смирись или снова бери умением любую свою способность возводить в степень. А как, если неизвестно, что именно надо совершенствовать? Творческая работа совершалась как

бы помимо его воли, ума и желания: все поддавалось ему, только не это!

Еще хуже. Его в отличие от других все время куда-то заносит. Он математик, отчасти физик. Почему его так беспокоят совершенно посторонние идеи? Например, эта. Он совершенно не думал об алкоголизме, когда вдруг его посетила простая мысль. Разве только человек стремится одурманить себя? А кошка? Собака? Слон? Лошадь? У всех есть любимые наркотики. Выходит, сама эволюция встроила в млекопитающих эту потребность. Может быть, это побочное следствие какого-то эволюционного приобретения или просто ошибка, случайный сбой, который не уничтожился лишь потому, что животным эта особенность их биохимии ничем особенным не грозит: природных наркотиков мало, они встречаются далеко не на каждом шагу. Только человек мог снять ограничение, сделал это и навлек на себя беду. Заложенная эволюцией мина сработала.

Почему на эту сторону проблемы обращают так мало внимания? Социальные меры могут сбить пламя, но источник огня останется. Чтобы его обезвредить, нужна тончайшая биохимическая операция!

Что ж, неужели переквалифицироваться в биохимика, генетика, эволюциониста? А как тогда быть с множеством других идей и разработок? Кто в наши дни может быть универсалом? А если может, то как это примут специалисты? Чтобы один и тот же человек с одинаковым успехом работал и в астрофизике, и в медицине, и еще, допустим, в лингвистике, в экологии? Чепуха, этого не может быть, такой человек просто дилетант, если не хуже!

А ведь он, Абогин, уже видел подступ к биохимическому разрешению проблемы алкоголизма... И к разрешению множества других.

Это пугало его самого. Такого не может быть! Не может быть такой всеобщей, что ли, гениальности. К тому же неподконтрольной. Нет, нет, он ошибается, все его вне физики и математики идеи ложны! Ведь за пределами своей специальности он и в самом деле дилетант.

Но что это?! Некоторые, лежащие в его письменном столе разработки стали появляться в печати. Все повторялось,

как тогда, в школе. Он думал над тем же, над чем думали другие, и думал верно. Значит, это возможно — быть универсалом?!

Конечно. Считается, что всякая наука имеет свой объект исследования. Это верно, но так же верно другое: всякая наука имеет дело со всем мирозданием, просто каждый ученый рассматривает мир с точки зрения своей науки, видит его сквозь призму своих методов и теорий.

Вдобавок его, Абогина, ум не единственный. Кто-то обязательно должен набрести на те же идеи, заняться теми же работами. Потому что истина объективна; не будь Эйнштейна, теория относительности все равно была бы создана.

Все верно, только очень и очень непонятно. Как он, дилетант, мог идти ноздря в ноздю с биохимиками, экологами, техниками? Без лаборатории, без экспериментов, без достаточной информации?

Так он вышел на главную загадку своей жизни. И впервые в жизни испугался препятствия.

Было чего пугаться. Ящики перестали вмещать рукописи, и в тот памятный, год назад, вечер он устроил генеральную чистку. На дне одного из ящиков он обнаружил ту школьную работу об испарении каменного вещества планет и приложенный к ней журнал. С того давнего времени он ни разу не заглядывал ни в рукопись, ни в журнал, а тут пролистал их с тем чувством, с каким взрослый человек смотрит на трогательные или печальные реликвии детства.

И вдруг его бросило в жар. Тогда от растерянности и ошеломления он не обратил внимания на одну строчку журнальной публикации, теперь она бросилась в глаза: «...Так как данные о скорости испарения пород в вакууме отсутствовали, то для их получения была разработана и поставлена серия экспериментов».

Отсутствовали! Абогин зажал рот, чтобы не закричать. Тогда, в детстве, он ниоткуда не мог их вычитать!

Что же происходит?! Он выкрал эти цифры из чьей-то памяти?! А может, не только цифры? Может быть, все, что он сделал в науке, это...

Так он долго сидел и раскачивался, как от боли. Вор, пусть и невольный, — вор?! Канат оборвался, он с вершины летел в пропасть.

В трудную минуту человек либо борется, либо отступает, третьего не дано. Пожалуй, у Абогина все началось не со спорта, а со страха и боли. У него рано стали портиться зубы. Его отвели к врачу, усадили в кресло, и надсадно жужжащий бор врезался в больное дупло. И мальчик тут же потерял сознание. Не от боли: бывает, что и взрослые здоровые мужчины падают в обморок при обычном уколе. Перепуганный врач кое-как привел Игоря в чувство. Попробовали снова рассверлить зуб: Игорь снова потерял сознание.

Вот когда он рассердился на себя, на свое тело! Он потребовал, да, именно потребовал, чтобы его снова отвели к врачу. Вцепившись в подлокотники, жмурясь от беспощадного света рефлектора, он ждал боли, ждал страха, обморочного пота и в ярости приказывал себе: «А ну давай, сволочь! А ну схватимся!..» Он шел навстречу страху и боли, насмерть дрался с тем темным и обморочным, что в нем поднималось...

Не сразу, но он победил себя. Быть может, с этого преодоления все и началось.

И в тот ужасный вечер он не изменил себе. Минутная слабость, не более. Он вскочил. Идти навстречу, только так! Победить, во что бы то ни стало победить то темное, непонятное, что открылось в нем, а может быть, в окружающем мире!

Так Абогин погнал себя к новой вершине, где все было крутизной, неизвестностью, мраком.

И вот окончен подъем...

Абогин подошел к окну, за которым, как прежде, серело и моросило и машины на улицах, ныряя в лужи, обрастали усами брызг.

Дальше-то что?

В домах напротив зажигался свет, пока еще бледный, не озаряющий проемы, отчего казалось, что глубины квартир семафорят друг другу. Желтый рожок люстры, красный конус торшера, зеленый прямоугольник настольной лампы — комнаты, будто флажками, сигналили друг другу о начале вечерней жизни своих обитателей. И где-то там, за окнами, быть мо-

жет, за тысячекилометровыми пространствами Земли находились те люди, которые невольно для себя рассеивали окрест напряжение своих мыслей... Только он, Абогин, единственный в мире, знал об этой их особенности, такой необычной и, надо полагать, неведомой для них самих.

Теперь знал.

Все люди, как альпинисты в связке, только одни тянут вверх, другие — вниз, одни наращивают нить, другие ее рвут. Число, разнообразие таких взаимодействий бесконечно, как бесконечна вселенная людей, лишь наивный или ограниченный ум считает, что сверх известного тут нет ничего. Еще как есть! То, что в конце концов открылось Абогину, возможно, было не самым удивительным, хотя любая телепатия по сравнению с этим выглядела неверным и жалким отблеском истины. Атмосферное электричество незримо, пока не сверкнет молния. А что такое творчество, как не протяженный, миг за мигом все озаряющий разряд мысли? Появись у психологов свой «грозоотметчик Попова», он прежде всего откликнулся бы на эту бурю, а вовсе не на лабораторные попытки угадывания, что задумал или нарисовал другой человек. Нет у психологов даже такого «грозоотметчика», не было его и у Абогина. Ну и что? Человек сам по себе наичувствительнейший инструмент, этим он и воспользовался. Какой-нибудь дистанционный эмоционализатор, может быть, появится лишь в двадцать первом столетии, но и питекантроп прекрасно угадывал чувства других. Кстати: эмоции вроде бы выдает мимика лица, но тогда как мы определяем настроение кошки, чьи мускулы скрыты шерстью? А ведь мы точно знаем, когда она сердится, когда оскорблена или, наоборот, довольна, даже если не шелохнется ни один волосок и щель зрачка остается недвижимой.

Был ли Абогин особо восприимчив от рождения, или он так оттренировал свое мышление, что оно превратилось в сверхчуткий инструмент восприятия? Он не подслушивал чужие мысли, тут оказалось иное. Никто никогда не думает в одиночестве, что бы там ни твердил личный опыт. Дарвин разрабатывает свою теорию, а тем временем на другом конце земного шара к тем же выводам приходит Уоллес. Читая статью Лобачевского, Бойяя в первую минуту не сомневается, что его

идею неевклидовой геометрии украли! Есть разобщенные мыслители, но нет одиноких, всякое творчество коллективно в пространстве и времени, и тут, как и везде, неизвестного куда больше, чем познанного.

Для Абогина многое прояснилось: он не подслушивал мысли, он невольно улавливал напряжение работы чужого ума и, уловив, также невольно включался в нее. Возникал эффект сомышления, и какой! Толпа пересекает мост, тот не шелохнется. Стоит, однако, согласовать шаг, войти в резонанс, как он рушится. Вне таблицы умножения дважды два способно стать чем угодно, вот в чем дело!

Эффект сомышления! Постепенно он научился входить в резонанс с чужими мыслями, научился им управлять, то подстраиваясь к неведомому ансамблю, то действуя как организатор и дирижер. Теперь он свободно подключался к разрешению любой проблемы, если... если над ней работали вполне определенные люди. Способные к сомышлению, о чем они сами не догадывались, и, само собой, творческие. Однако далеко не каждый талантливый исследователь, как он убедился, обладал нужным свойством. В той же мере оно было производным какой-то иной способности. Но какой?

Казалось бы, это не имело особого значения. Не у всех есть голос и не все обладатели голоса — певцы, здесь то же самое. Кого это волнует? Никого, если не брать в расчет, что творческий потенциал сомышления, как в том убедился Абогин, во столько же раз превосходил обычный, во сколько раз ядерная энергия мощнее химической.

И ведь к этому шло! В последней четверти двадцатого века уже стал недостаточным прежний уровень творчества, слишком много надвинулось срочных, трудных, грозных проблем, слишком многое зависело от их быстрого и успешного разрешения, — судьба всех. Поэтому усовершенствованием творчества занялись всерьез. Поэтому возник метод «мозгового штурма». Поэтому начался поиск принципов формирования таких исследовательских коллективов, в которых талант отдельных участников не складывался бы, а умножался. И все это было отдаленным приближением к тому, что открылось Абогину.

Мощь сомышления превосходила все известное. Это было восхитительно и ужасно, Абогин похолодел, представив себе возможные последствия. Ведь сама по себе мысль не более чем инструмент, одинаково пригодный для достижения звезд и для всеуничтожения очередной сверхбомбой. А сомышление еще и непознанный инструмент, рычаг, с легкостью готовый свернуть что угодно.

Вдруг вспомнилось. Позади рабочий день в стройотряде, тишина вечера, они лежат в нагретой траве, глядя, как к горизонту клонится розовый безмятежный диск солнца. И в этом покое, какой был задолго до человека, в умиротворяющей дреме заката, раздумчивый, для себя, голос сокурсника, который мечтательно — зрачки в желтых глазах сошлись в неподвижную точку — смотрит на солнце: «Эх, вмазать бы туда ракетой, чтобы диск в осколки...» — «Да зачем?!» — «А так, для интереса... Чтобы колебнулось...»

Мимолетная блажь, пустая дурь воображения, а вот вспомнилось и окатило тревогой. Кто эти люди, в чьих руках оказалась пока не осознанная ими сила? Что у них за душой?

От окна повеяло холодом. Абогин вздрогнул. «А что за душой у тебя? — спросил он себя. — Ум, воля, что еще? Никого близкого рядом, один. Любишь ли ты ту магазинную прониру с крысиными усиками на сморщенном востроносом лице? Ни в коем случае. Ненавидишь? И этого нет. Жалеешь? Возможно. Холодно на вершине, голо. А что должно быть? Не знаешь... Все живут обычной жизнью, а ты слишком долго, упорно, трудно карабкался в гору, теперь вокруг пустота. Что, если такая же пустота окружает тех? И нет в ней точки опоры?»

Он прижался к окну. Снаружи все уже стало сумраком, всюду ярко горели огни чужих квартир, в стекле нечетко отражалось его собственное, напрягшееся, как для боя, лицо. Позади стыла тишина пустой комнаты.

Резко грянул телефонный звонок. Абогин замороженным движением снял трубку.

— Слушаю...

— Привет, старик, не хочешь повеселиться?

— А что такое?

— Премия привалила. За ту работенку, ты знаешь... Тут все, и девочки ждут.

— Поздравляю.

— Спасибо. Так хватай колымагу — и ходу!

Действительно, почему бы и нет? Сколько уже было таких вечеров и таких компаний?

— Извини, не могу, срочная работа.

— Так впереди же суббота и воскресенье!

— Да, и еще весна.

— Какая еще весна?.. При чем тут весна?

— Сам не знаю. Но времени нет.

— Ну, как хочешь... Привет весне! Как ее, кстати, зовут?

— Надежда. А может, Любовь.

— Ну, ну... Желаю успеха.

Телефон замолчал.

Мог ли в компании, куда позвали, оказаться кто-нибудь из тех? Вполне. Они ходят по тем же улицам, едят тот же хлеб, получают — или не получают — премии. Все как у всех.

Неужели он никого не найдет?

Они неразличимы в компаниях, они неразличимы на улицах, они неразличимы на своих обычных рабочих местах, иначе бы он, верно, уже кого-нибудь обнаружил. Ведь их немало. Они различимы, когда творят, они различимы, когда... Когда что?

Дурак, какой же дурак! Разве творчество связано только с познанием, с изменением внешнего мира, разве там узел проблем? Легче воскресить человека после клинической смерти, чем после духовной. Иной раз проще повернуть реку, чем помирить очередного Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем. Вывести человека в космос, чем понять его. Что ищешь, то и находишь, а где, когда и что ты искал? В науке, в одной лишь науке эксперимента и чисел! А вокруг? Там, в человеческой вселенной, где все незримо, пока не становится поступком, улыбкой, канцелярской бумагой, чертежом звездолета, песней или выстрелом в спину. Творческое сомышление, да? А может, еще и сочувствие? Сверхсознание?

В принципе новое качество того, другого и третьего с очередным знаком плюс или минус?

Твоя вершина, быть может, лишь часть хребта, а ты ее, дотеле неведомую, посчитал единственной!

Абогин слабо улыбнулся своему отражению в стекле, всем окнам, какие горели в этот час повсюду, везде. Решение принято. Год или месяц, десятилетие или жизнь займет новый поиск, какая разница? Упорства ему не занимать.

«Если я не ошибся, — загадал он, — если наутро будет весна, то...»

Он не ошибся, наутро небо расчистилось и стало весенним, запоздавший апрель в считанные дни спешил проделать всю положенную ему работу. Однако прошло еще много тусклых и солнечных, летних и зимних месяцев, прежде чем Абогин вышел на последний подъем. Не важно, что к этому подъему его подвезла самая обычная пригородная электричка, не важно, что дорога, по которой он теперь шел, плавно огибала некошенные склоны холмов, в разнотравье которых знойно гудели пчелы, ныряла в лес, где над непросохшими лужами росли бабочки и все стонало комариным звоном; не важно, что он не знал, куда, собственно, ведет эта дорога. Он позвал, и его позвали, так было надо. Он не торопился. Размаривающе, после города неправдоподобно пахли луговые цветы и сырая земля, и ветерок, который с обочины кивал ромашками, нес пух одуванчиков и, ероша листву, то затенял все легкой тенью кучевых облаков, то просеивал сквозь листья яркие блики солнца.

Так дорога вела мимо полей, деревенских изгородей, за которыми среди белых кур с фиолетовыми отметинами на хвостах расхаживал такой же инкубаторский, но оттого не менее горделивый петух. Абогин без колебания следовал ею. Лишь иногда он приостанавливался на развилках, но всякий раз что-то подсказывало ему направление. Странно, он даже не удивлялся своему выбору, хотя кого-нибудь из тех было бы логичней встретить в городе. Им было виднее. Та новая человеческая общность, которая возникла и к которой он теперь принадлежал, лучше знала, что нужно ему и всем. Ведь это был не один ум, не одна душа. Несущественно, что никто никого пока не знал в лицо, что готовящаяся встреча была первой и пробной. Общность никого ни к чему не принуждала, такой власти у нее не

было, но ее частички уже нуждались друг в друге, уже искали себя, и кто-то первый должен был проверить, как все это получится. Место не имело значения, просто тот, другой, назначенный общим согласием, не мог сейчас далеко отлучиться, а Абогин мог. Вот он и шел на свидание, самое невероятное из всех, какие только были в веках.

Но ведь и сама жизнь с ее телевизионным межконтинентальным зрением, грибами ядерных взрывов, оживлением людей после смерти и уже достижимыми далями других планет была невероятностью для людей всякого иного века... Не важно, что он шел лугами, по которым татарская конница некогда волочила связанных детей и женщин, брел перелесками, из-за которых рубились удельные князья, дорогами, которые едва не подмяли фашистские танки. Хотя нет, это было важно, необыкновенно важно! Предки отстояли эту землю для него, для всех, теперь о ней должно было позаботиться его, иначе вооруженное поколение.

Было уже под вечер, когда из потемневшего леса дорога вывела Абогина на опушку. Красота далее заставила его остановиться. Луга и рощи спадали к реке, голубея с каждой верстой, и над этой прозрачной дымкой завис неяркий, безмятежный, как все вокруг, малиновый шар солнца. И не было ничего особенного в этой всхолмленной синеве, в этом ясном вечере, в зубчатой гряде леса, которая темно врезывалась в дальний горизонт, дорожная пыль привычно пахла мягким теплом, и вдоль обочины, как прежде, белели ромашки, и тихие по сторонам березки были все теми же родными, знакомыми, близкими, а сердце забилося, словно все это было впервые.

Темная неспешная фигурка показалась вдали, обозначилась за изгибом дороги, густая трава скрывала ноги, придавая движению невесомость. Человек близился, укрупнялся в свечении вечера и все же оставался тоненьким, хрупким, и, когда расстояние сократилось, Абогин с замиранием сердца признал в нем девушку. На ней была кофточка, брючки, все рабочее, выгоревшее, лишь на голове свежо белел веноч ромашек, она шла открыто, бестрепетно, зная, как до этого шел сам Абогин.

«Ах, кабы она была добра!» — пронеслось и подумалось в нем теми словами, которые были сказаны задолго до него, совсем в другом веке, но которые теперь были как нельзя кстати.

Именно они нужны были сейчас. Девушка смотрела с робким доверием, ее ноги переступали все медленней. Но так было, пока Абогин не сделал к ней шаг. И тут, хотя разделяющее их расстояние не исчезло, все было сказано так же полно, как если бы они провели вместе всю жизнь. Им не надо было знакомиться, они давно знали друг друга, как могут знать только те, кто предназначен друг для друга. При этом они были не одни, они это тоже знали, но то была не помеха, а помощь, чтобы враз слетело все наносное, внешнее и каждый вернее понял другого.

Смуглое от солнца и ветра лицо девушки дрогнуло радостным изумлением, и оно сменялось счастливой уверенностью, пока Абогин к ней шел. С той же счастливой уверенностью Абогин обнял ее узкие плечи. Она подалась к нему, и оба повернулись к застывшему кругу солнца. Не было сказано ни слова. Волосы девушки пахли ромашкой, сеном недавней косовицы, пылью дорог, лодочки маленьких ладоней заглубели, твердо очерченная тканью грудь приподнималась при вдохе, сначала частом, затем все более успокоенном, словно до этой минуты девушка бежала, а теперь замерла, глядя на раскаленный, такой земной и близкий в вечерней дымке и одновременно космический шар солнца.

«А где же все? — прижимаясь к ее плечу, мысленно спросил Абогин. — Я их чувствую, но я их не вижу». — «Смотри со мной вместе, — донесся ответ. — Теперь получится».

И он впервые увидел тех, кто думал с ним вместе. Молодые, старые, красивые и некрасивые, но одинаково бережно-внимательные лица промелькнули в нем и исчезли, однако теперь это уже не имело значения. Сколько их в мире, уже осознавших себя! Себя, свое предназначение и силу, которая крепнет и будет расширяться в веках.

Все исчезло, не осталось ничего, кроме голубеющих далей родной земли, закатного солнца, девушки с ромашками в во-

лосах. Надолго ли быть чистому воздуху, простору трав, самому человеку? Этому миру грозило многое, но и многое его защищало. Справимся, уже с уверенностью подумал Абогин, справимся! Мы не «дети конца», мы резерв будущего.

Девушка кивнула в ответ.

— А ведь мы даже не знаем имен друг друга, куда ж это годится! — сказал Абогин, смеясь.

— Какая разница? — Она улыбнулась. — Мы есть...

Их руки нашли друг друга, так замерли. Солнце наконец коснулось горизонта, как оно это делало уже миллиарды лет и будет делать еще миллиарды раз, безразличное ко всем детям Земли и тем не менее всему дающее жизнь.

ВРЕМЯ СМЕНЯЮЩИХСЯ ЛИЦ

Прежде смотр перед зеркалом то повергал в уныние, то давал утешение, но теперь самый-самый тщательный и придирчивый исключал всякую надежду. Не лицо, какая-то надутая клякса! Из зеркального пространства на Лену с отвращением смотрели неопределенные, то ли серые, то ли голубоватые глаза, а невзрачный нос и детски припухлые щеки густо усеивала рябь веснушек, словно в лицо брызнули грязью, которая так ржавыми пятнышками и засохла. У-у!.. Хороши были, пожалуй, только шелковистые, плотным шлемиком облегающие лоб волосы. Но этим как раз и утешают дурнушек — что у них красивые волосы. Или глаза.

При мысли о глазах изображение в зеркале притуманилось от набухших слез. Ну почему, почему у нее такие *никакие* глаза? И в придачу веснушки... В чем, перед кем она провинилась, что у нее *такое* лицо?!

Сморгнув слезы, Лена попыталась начать все сначала. Улыбнулась сама себе, но добродушно заиграла только детская, на щеке, ямочка, отчего улыбка и вовсе получилась идиотской. Нет, лучше строгость. Лена свела губы в ниточку. Глаза из зеркала посмотрели недоверчиво и зло. Лена задержала это выражение. Так лучше, конечно, лучше, особенно губы. Может, девчонки и врут, а может, и правда, будто целованных от нецелованных можно отличить по губам. Сейчас никто не скажет, что ее ждет первое свидание, надо только еще надменной откинуть голову, придать себе равнодушный вид...

Да это же просто гримаса! Вымученное, в грязи веснушек лицо... Лена едва нехватила кулачком по стеклу. Нет, нет,

нет! Как ни сжимай губы, как ни строй лицо, прет веснушчатое, девчоночье, пухлое. У, в кого только уродилась такая!

Теперь на нее смотрело обмякшее, растерянное, жалобное лицо. Просто жалкое. И в носу щекочет, только этого не хватало — захлюпать. А, пусть... Дура, прилетела вчера, как на крыльях. Встретила: он! Миша, Мишка, Мишуня, имя-то какое ласковое, уютное, теплое... И сам родной. Не верила в любовь с первого взгляда, а вот... И он, кажется, тоже. Ой, мамочки, как все глупо! Чему обязана счастьем? Да вечер же был, сумрак, лица толком не разглядеть, случайно столкнулись, слово за слово, допоздна проговорили запоем, а как-то будет теперь, при свете дня?

Дурнушка...

Дальше оставаться наедине с собой было невозможно. Лена вылетела на улицу и шла, ничего не видя от слез. Опомнилась, когда на переходе от нее шарахнулось пустое такси. Услужливая, с мгновенной реакцией кибермашина, вильнув, на всякий случай тут же распахнула дверцу — мол, к вашим услугам, не угодно ли? Лену обдал запоздалый холодок испуга, она кинулась к тротуару.

Тенисто, пусто. Зачем и куда идти? Все без разницы. Былую Лену широкие и удобные плитки тротуара позвали бы попрыгать на одной ноге или что-нибудь нарисовать завалившимся в кармане мелком. Точка, точка, запятая, вот и рожица кривая... Ой! Все, теперь взрослая, вот она, светлая юность, живи и радуйся...

Ноги несли сами собой. Куда? Никуда. Вдруг в зыбкой прорези листвы мелькнула вывеска. *Та самая*. Ноги приросли к плитняку. Нет!.. Да. Глухо тукнуло сердце. Она же не хотела, даже в мыслях такого не было! Хотела, коли пришла. Остался последний шаг.

Биопарикмахерская.

Вот оно, осуществимое право на... Золотом по лазури: биопарикмахерская. Все просто и буднично. Даром что последнее достижение прикладной науки; обычная вывеска, стеклянная дверь — заходи. Новинка, от которой пугливо, стыдно и сладко познабливает внутри. Еще недавние ожесточенные споры, всеобщий девичий переполох, робкое: «Но пользуются же

косметикой, салонами красоты...» И презрительное в ответ: «Сравнила помаду с протезом! У кого свое есть, тот не побежит шариком, как некоторые...» — «Ага! — врзается ехидный мальчишеский голос. — Смятение в стане надменных красоток, их грозят затмить синтетички!»

Обожгло это слово: «синтетички». Так и засело, хотя уже многие, хотя уже мода... Кругом слышишь: надо быть современной! И что тут особенного? Ведь равенство же, простая, наконец, справедливость... Не только женщины, мужчины пользуются, лишь голопузая мелюзга еще дразнит друг друга: «Тичка-птичка, синтетичка, наша новая жиличка, глазки из алмаза, вся из плексигласа!»

Кроткий вздох матери: «Не в красоте счастье...» Ей легко говорить, уже старенькая...

Взять и переступить. Ноги не идут...

Из дверей в облачке ароматных духов выплыла женщина с лицом повелительницы богинь и такой сияющей улыбкой, что Лена ослепленно зажмурилась. Мимо торжествующе простучали каблучки. Затихли вдали. Втянув голову, Лена нырнула в дверь.

Здесь было сумрачно после улицы, и Лена с размаха едва не налетела на кадку с фикусом. Все плыло перед глазами, обморочную мглу прочеркивали какие-то разноцветные огни, в ней колыхались смутные силуэты, и звуки тоже сливались в размытый гул.

— Сюда, сюда, деточка, — наконец дошел мягкий женский голос. — В мою кабину, пожалуйста...

Лена ухватила за него, как за канат. Туман в глазах рассеялся, но когда это произошло, она уже сидела в кресле перед зашторенным черной материей зеркалом, а сзади хлопотала мастерица.

— Это зачем... черное? — не слыша себя, тупо спросила Лена.

— Зеркало-то? Закрываем его до конца преобразования, а как же! Пока пирог не готов, ты же не подашь его гостям... Умница, что зашла, в человеке все должно быть прекрасно. Не так ли? Головку сюда, немного левее.

Что-то щекотнуло затылок. Одновременно темя охватил гибкий обруч, и хотя прикосновение было мягким, даже как будто нерешительным, Лена почувствовала, что кресло прочно завладело ее головой.

— Постойте, я же еще ничего не сказала!..

— А зачем говорить, говорить не надо, все скажут приборы. — Лена видела только пухлые, быстро мелькающие руки мастерицы и слышала ее уютный голос. — Вот, генограмма готова, теперь твое слово да наш совет, как лучше сделать.

— Может...

— Сейчас, сейчас покажу все фенотипические варианты! Если какая модель понравится, можешь, конечно, взять и готовую, но не советую, не советую, тут, учти, индивидуальная нужна подгонка, вкус то есть, мы здесь как раз для этого, иначе, чего проще, зашел в автомат, нажал кнопки, чик-чик — и красуйся! Мило, да фальшиво... Не-ет, дорогая, к генограммам да феновариантам искусство нужно, глаз женский, наметанный, понимающий. Верно?

Научные термины мастерица произносила с особым удовольствием, как бы смакуя их звучный и величественный смысл. Но Лена почти ничего не слышала, ибо к ее коленям откуда-то сбоку скользнул экран, и то, что в объеме, движении и цвете там возникало, все эти сменяющие друг друга, такие разные и, однако, неуловимо схожие лица, были замечательными, но совершенно, совершенно чужими!

— Как, все это... мое? — пролепетала Лена. — Мне?

— Конечно, деточка, конечно! У тебя *изумительно* пластичный фенотип, просто прелесть. Загляденье выйдет, век будешь благодарить... Ну, что мы выберем?

— Но это же не я! — воскликнула Лена. — Не мое лицо!

— Ах, девочка, если бы ты знала, сколько так говорят! И все ошибаются. Ведь человек сам себя никогда по-настоящему не видит. Смотрелась в зеркало, да? Ну и глупышка. Перед зеркалом нет лица, есть выражение.

— Да, но...

— И что видишь теперь — тоже не лицо, а модель, образец, заготовка. Все, все сделаем, твое будет лицо, только эстетизированное. Эстетизированное, понимаешь?

Лена кивнула и вдруг расплакалась, потерянно и беззвучно, как покинутый в горе ребенок.

Мастерица сокрушенно вздохнула.

— Ну вот... Ничего, доченька, поплачь, жизнь без слез что лето без дождика. Тоже, помню, в молодости горевала, как косу резала, слезу пустила, дуреха. Нет, детонька, хочешь быть красивой, будь модной. Ты мне, старой, поверь: отсюда не в слезах уходят, а в радости.

— Ах, вы не понимаете...

— И-и, милая, женщине ли не понять женщину! И хочется, и колется, и мама не велит. Так? Так. А почему не велит? У самой дочка, знаю. Рожала как-никак, воспитывала, мое, до последней родинки, дите. И чтобы оно... Вот мы какие, мамы. Еще подружки ревнивые. Ну ясно, и самой в первый раз страшновато. А как же, всяк себе бережет... Ничего, все образуется, перемелется — мука будет. Я тебе что скажу...

Проворным движением надушенного платочка она промокнула чужие слезы.

— ...Я тебе вот что скажу. Дело в том, доченька, что мы, женщины, всегда мечтали об этом. Ну да... Прически, косметика, платья, обновки, соображаешь? Мы же не елки, чтобы всегда одним цветом. Мы женщины, нам нравится надо. А природа, она же дура, ей все равно, какой ты уродилась. И вот, наконец, к нашим услугам наука, эстетика, биопарикмахерская, а мы... Хуже нашего только мальчишки родеют.

— Как, неужели...

— Чистая правда! Один даже... Умора! Ну, не буду рассказывать, о клиентах, сама понимаешь, ни-ни. А ты молодец, уже и глазки распогодились... Так на чем остановимся?

— Ой, мне только чуть-чуть, самую малость! Ну там, на ваш вкус, немного подправить...

— Верно, милая, верно. Личико у тебя и так славное, много не надо, здесь тронуть, там подубрать... Уж я сделаю, глаз у меня такой. Ведь главное в нашем деле что? Наука, скажешь. Оно конечно, только в каждом случае еще изюминку надо найти. Такую, чтобы красота заиграла. Без этого, будь ты трижды ученая, — фук выйдет, модная картинка получится, а не женщина. Курсы эти, генетика там, эстетика, пре-

мудрость всякая, а как до дела дошло, сразу поняли, что к чему, и нас, дур, ценить стали. На нашем искусстве все и держится. Так-то!

Говоря все это, мастерица не прерывала работу, ее руки сновали, она что-то двигала за спиной Лены, что-то включала и выключала. Экран потух. Тихонько зажужжали какие-то сервомеханизмы, кресло плавно откинулось, в глаза ударил яркий свет лампы, но тут же сверху наплыла громада серебристого колпака, чмокнули, коснувшись лба, присоски, прикрывая лицо, выдвинулся щиток, на вид прозрачный, как забрало космического шлема, однако все вокруг сразу притушилось, и теперь, полулежа, Лена различала лишь смутную белизну потолка. Затем в это туманное пространство вдвинулось неясное женское лицо, проворные пальцы укрепили на шее холодящие кожу контакты, зажимами прихватили мочки ушей, зачем-то огладили подбородок. Лену охватила мелкая противная дрожь, которую она силилась и не могла унять.

— Сейчас в моде египетский разрез глаз, — задумчиво проговорила мастерица. Ее расплывчатое лицо колыхалось перед щитком как белесая медуза. — Ты как? Генотипу не противоречит.

— Нет! — Лена едва не рванулась.

— Спокойно, спокойно. — На плечо легла мягкая рука. — Моя обязанность предложить, сама понимаешь, мода. Не надо так не надо. Сейчас, сейчас подумаем, вчерне композиция уже готова... Губы почетче, верно? Строже. Глаза подсиним, сделаем весенними...

— Да, да! А веснушки?

— Сгармонизируем.

— А их нельзя... совсем?

— Можно, дело совсем пустяковое. Стоит ли?

— Да. Да!

— А может, просто притушить, поубавить? Оно, ясно, твоя воля и замыслу не противоречит, только в них есть своя пикантность. Давай сделаем лишний эскиз, ты посмотришь, сравнишь...

«Само собой!» — чуть не сказала Лена, как вдруг вспомнила о времени и похолодела. Который час?! Что, если уже... Сер-

дце ухнуло. Щиток оставлял внизу узкую прорезь света, и Лена, рванув руку, в панике метнула взгляд на часы.

— Нет, нет, пожалуйста, поскорей!

— Как, совсем без примерки? Правила...

— Тогда совсем не надо! Пустите!

— Ну что ты, что ты, разве я не понимаю... Ждет, да? Мигом сделаю. Сама была молоденькой, тут лови!

Кажется, мастерица подмигнула. Ее лицо исчезло. Опять какое-то перешелкивание, слабый, как от перебираемых инструментов, лягз, низкое гудение тока. Лена, напрягшись, молила всю эту технику поспешить.

Что-то, будто муравей прополз, щекотнуло шею.

— Будет больно — скажи.

Словно тысячи крохотных иголок разом кольнули щеки, нос, губы, лоб, проникли вглубь, дошли до сердца, впились в мозг.

— Больно...

— Потому что быстро. Терпи, красота требует жертв.

Все же мастерица, видимо, что-то сделала, так как болезненное покалывание расплылось теплом. Оно делалось все горячее и горячее, точно под кожу затекал расплавленный парафин. В этой жаркой маске Лена было перестала ощущать лицо, затем внезапно почувствовала, как оно потекло. Хотелось крикнуть, напрячь мышцы, но губы не повиновались. Они текли. И щеки тоже текли, все плавилось, глаза щипал багровый туман, тело казалось бесчувственным придатком оплывающего лица, сердце стучало в какой-то оглушей пустоте, и там же жалобно бился безмолвный крик: «Мамочки, мамочки, мамочки...»

Минута, час, вечность? Внезапно все кончилось. Лицо ощутило живительный ветерок. Изнутри его еще кололо и жгло, но мускулы уже повиновались, кожа осязала прохладу, в глазах исчез едкий туман, только справа отчего-то ныли два или три зуба.

— Все, деточка, моментом управились... Он будет доволен.

Щиток отплыл вверх, спинка кресла подалась вперед, держатели разомкнулись, проворные пальцы сдернули контакты, Лена, не веря себе, ощутила свободу.

— Сейчас, сейчас. Зажмурься.

По лицу сверху вниз скользнула влажная салфетка. Брызнуло облачко духов, лицо снова придавила салфетка, так повторилось дважды, причем запах всякий раз был иным.

— Готово.

Порывистым дрожащим движением Лена ошупала нос, губы, щеки, сомневаясь и убеждаясь, что это они.

— Да ты лучше в зеркало глянь...

Шторки с шорохом разошлись. Лена так резко подалась вперед, что едва не столкнулась со своим отражением.

— Ах!..

— То-то же, — удовлетворенно сказала мастерица.

Лена ее не слышала. Она впилась в зеркало, она наслаждалась собой. Что лучше — голубыми звездами сияющие глаза? Изящный и строгий, уже совсем не детский овал губ? Гладкая, без единой веснушки, кожа? Намеком темнеющий румянец щек? Да можно ли привыкнуть к такому во сне не грезившемуся лицу?! Поверить в него? Все вроде бы то же — и будто кто-то живой водой смыл все ржавое, бесцветное, пухлое...

— Мое. — Лена схватилась за щеки.

— Красавица ты моя! — Мягкие пухлые руки нежно прощлись по ее волосам. — Про свидание не забудь.

— Ой!

— И приходи через месяц, повторю или что-нибудь лучше придумаем...

Но Лены уже не было в кресле.

По той же, что и прежде, улице она не шла — плыла, летела, и тело было невесомым, и воздух блаженным, и солнце забегало за угол, чтобы лишний раз выскочить навстречу, и тень листвы играла в догонялку, и каждый прохожий, девушка это чувствовала, хотел ее улыбки, и Лена чуть смущенно несла эту улыбку через весь этот огромный, счастливый, прекрасный мир.

У фонтана на площади было так многолюдно, что она слегка растерялась. Перед ней замелькали лица тех, кто ждал, кого ждали, просто гуляющих, ее закружила легкая толчея движения, говора, смеха, ее провожали взглядами, это было ново, волнуящее, но, поглощенная нетерпением, она тут же забыла об этом. Она стала у кромки бетонной чаши с прозрачной ла-

зоровой водой и попыталась принять безучастный вид, но ей это не удалось. Впервые она так открыто ждала свидания, впервые стояла так на виду, ей хотелось и сжаться в комочек, и, наоборот, распрямиться под взглядами. Глазами она искала его, сначала ожидающе, потом уже нервно, так как минуты шли, а он все не показывался.

Но это было не так. Он пришел даже раньше назначенного, вначале стоял у кромки того же бассейна, а когда время прошло, не выдержал и в разрез толчеи устремился вокруг места свидания, всюду ища, быть может, затерявшуюся в многолюдстве девушку с милым, единственным в мире лицом, прелестной россыпью золотистых веснушек и ласковым взглядом неярких глаз, от которого вчера так тревожно и сладко замирало сердце. Он дважды прошел вдали, их взгляды дважды соприкоснулись, но и она не узнала его — он тоже, не веря в себя, побывал в биопарикмахерской. Но все еще было впереди. Он продолжал искать, все приближаясь к ней, она смотрела во все глаза, и встреча лицом к лицу была неизбежной. Им еще предстояло разглядеть друг друга и узнать, что же все-таки значит для любви та или иная внешность.

Наступало время сменяющихся, как платье, лиц.

МИША КУВАКИН И ЕГО МОНСТРЫ

Мы ладили снасть, на наших послеобеденных лицах читалось твердое намерение уловить кита, Кувакин же сидел на берегу озера и тосковал над посудой. Ему кивали белые звезды водяных лилий, босые ноги молодого, но уже прославленного ученого пощипывали доверчивые мальки, ленивый ветерок материнской рукой поглаживал озеро, оно жмурилось солнечным блеском зыби — словом, мир был прекрасен, как в детстве, а в руки предстояло взять сальную тряпочку, макнуть ее во что-то невыразимо химическое и пройтись ею по груде жирных тарелок, кастрюлям и сковородам, для чистки которых более годился отбойный молоток.

В довершение всего безобразия мимо тарелочного бастиона с палочкой в зубах прошествовал Нес, существо столь же праздное, сколь и аристократическое. Рыжая шерсть колли горела медно-красными нитями, вальяжно помахивая пышным хвостом, пес зазывал кого-нибудь поиграть.

Занятого делом Мишу Кувакина он проигнорировал.

— Полным-полно бездельников, — громыхнув кастрюлей, процедил Кувакин. — В добрые старые времена псам, между прочим, давали вылизывать тарелки.

— После чего их стерилизовали в атомном реакторе, — немедленно отозвался хозяин пса, критик по профессии и по натуре, такой же рыжеволосый, как и его мохнатый друг.

— Их, то есть псов, — уточнил Кувакин и макнул чашку в воду. — За что я люблю гуманитариев, так это за четкость формулировок!

— Каковая любовь, — отпасовал критик, — надеюсь, спешествует мытью посуды. По-моему, ты уже утопил ложку...

— Нет, я пустил ее отмокать от критической желчи... Несик, поди сюда, бедный пес! На твоём месте я бы обиделся. Твою благородную слюну считают антигигиеничной. Говорят, химия лучше. В этой компании физиков и лириков только мы понимаем друг друга. Для всех прочих живая природа — это...

— Это лещ! — радостно подхватил критик.

Ох, не стоило ему так шутить, нет, не стоило. В душе всякого творческого человека дремлет ребенок, а ребенок, вооруженный плазмографами и геноскопами, это, знаете ли, чревато, поэтому не будите его, если можете! Как и любой из нас, к дежурному мытью посуды Миша относился философски и даже с юмором, поскольку в наш век автоматизации быта такое занятие, при всей своей непривлекательности, имело привкус экзотики и возвращения к сельской простоте, до которой столь охоч современный, утомленный электронным комфортом горожанин. Но лещ! Замечено, что если человек чего-то недобрал в детстве, к тому он будет стремиться взрослым. Миша никогда прежде не замирал над танцующим в воде поплавком и теперь, вкусив рыбалки, для лучшего улова был готов сам себя насадить на крючок. Увы, рыба не считалась с научными знаниями и заслугами. Право, можно было подумать, что она вступила против Кувакина в заговор. И удочки одинаковые, и наживка, но сосед выволакивает красавца за красавцем, а у тебя, выдающегося геноинженера, можно сказать, творца и повелителя всего живого, берут лишь головастые ершики да сардиночного размера плотвички. А лещ, благородный килограммовый лещ знай себе чмокает в близком, удилищем дотянуться, камыше и злорадствует. Тьфу!

Тем не менее выпад критика, казалось, не произвел должного впечатления: чмокнув губами, Миша выпустил чашку и воззрился в пространство.

— Гм... Лещ, что есть, в сущности, лещ? Тупомордая, пасущаяся в водорослях некоторым образом корова.

А что есть, предположим, Нес? Бездельник и тунеядец, что вполне отвечает латинскому «канис», то есть «пес», ибо когда в древнеримском небе появлялся Канис, иначе созвездие

Пса, школьников распускали по домам. Отсюда, кстати, пошло простое русское слово «каникулы». Собака и отдых, выходит, связаны круговой порукой. Для чего еще предназначена собака? Охранять, добывать, пасти, вылизывать тарелки. Но коль скоро лещ функционально близок корове, а мы отдыхаем, то... Нес, почему бы тебе не заняться лещом? Ах, не можешь, природа не велит! И зря. Сопрягать надо, сопрягать, как говаривал Лев Толстой, а не бегать с палочкой.

— Перегрелся, — меланхолично прокомментировал критик. — Типичный синдром околесицы. Лечится внеочередным дежурством.

— Просто ему не хочется мыть посуду, — улыбаясь в бороду, возразил наш главный рыболов, склонный, как многие представители точных наук, к рациональному мышлению физик. — Ему не хочется мыть посуду, а хочется идти с нами. Миша, мы не злодеи, мы подождем. Только ты не слишком тяни...

— Угу, — сказал Миша и ринулся на штурм тарелочного бастиона.

Но мысли его, похоже, витали далеко, ибо пару тарелок он умудрился помыть дважды, хотя отнюдь не принадлежал к тем ученым, которые вместо галстука завязывают на шею подтяжки. Мы терпеливо ждали. Ветер перешептывался с березами, стрекозы, зависая, демонстрировали свое вертолетное первородство, Нес выплюнул палочку и со вздохом улегся у ног хозяина, благоухающий травами мир явно не нуждался ни в поправках, ни в усовершенствованиях. Кувакин ожесточенно скреб сковороды. Его привычные к лабораторной работе руки сами делали свое дело, и вот уже последняя, блеснув, улеглась в ведро. Мы поднялись и заторопились.

Вскоре берег ошетинился удочками. Я оказался рядом с Кувакиным и, конечно, мог бы сохранить для потомства все оттенки его переживаний в эти исторические, как потом выяснилось, минуты, но, рыбака, на это никто не способен. Да и что, собственно, наблюдать? С одной стороны, рыболов — это уж не человек, а придаток к удочке, а с другой стороны, выловить судака — это, как верно заметил Чехов, слаще любви. Лещ, разумеется, не судак, но и тут за хорошую поклевку

всякий готов продать душу. А природа! В погожий день к закату все успокаивается, на воде лазурь и жемчужный румянец, над головой беспредельное небо и тишина, только плещется рыба да под ухом звенит комар. Но, право, когда клюет, все это видишь боковым зрением, и даже не выясняешь, какой именно комар на подходе — обычный кровопийца или недавно созданный усилиями геноинженеров, питающийся соками миролюбца.

Впрочем, чего рассказывать? Первым, как главному рыболову и положено, леща вытянул физик; так себе лапоть, немногим больше ладони. Он его оприходовал в кулан и стал ждать продолжения, которое не замедлило последовать. Я тоже выловил парочку и мечтал о большем. У Кувакина тем временем на крючке соплей повис очередной ерш-малолетка. Мишу при всей его выдержке передернуло, и он еще на полшага двинулся в озеро. Ясно было, что в ту минуту лещ для него значил куда больше любой генетики.

Солнце уже садилось, освещая все мягким церковным светом, когда — ах! — Мишина удочка вдруг изогнулась дугой, и в воздухе титановой чешуей блеснул широко распластавшийся, размером с добрую сковороду лещ.

Мгновение было так прекрасно, что я забыл о своем поплаве. Подобно большинству собратьев, лещ, казалось, не имел ничего против небольшой воздушной прогулки и, тугодумно подлетая к растопыренным Мишиным пальцам, даже не пошевелил хвостом. Беззвучно кричащий рот Кувакина был полуоткрыт, пальцы уже коснулись добычи, и тут лещ с видом философа, который случайно затесался не в ту компанию, снисходительно глянул на Мишу, повел плавником и... Лениво плюхнувшись в воду, он на мгновение вытаращился из глубины, будто осведомляясь, чего еще надо этому тупице, который так непочтительно отрывает пожилого леща от ужина и попутного лицезрения мира во всех его апперцепциях. Ей-ей, это было у него на морде написано!

Подавленный Мишин вопль взвился к небу, и леска, описав крутую дугу, едва не подцепила Кувакина на крючок.

— Ух, красавец! — Физик даже причмокнул. — Ничего, не расстраивайся, — добавил он тут же. — Лещ вкусная, но уж

очень костлявая рыба. Хотя бы вы, генетики, их усовершенствовали...

Умеют же сердобольные люди посыпать солью раны!

Свекольное лицо Кувакина побледнело, взгляд затуманился, как у леща.

— Мой кот, между прочим, — пробормотал он ни к селу ни к городу, — бежит на кухню, стоит кому-нибудь случайно задеть его миску...

— Да? — удивился физик. — Ну и что?

Вместо ответа Кувакин зачем-то свел ноги, наклонив ухо, издал ботфортами скрипящий звук и еще более задумался.

Мысль подобна розе: черт знает из чего она вырастает! Не легче догадаться, к чему она приведет — к термоядерной энергии или к термобигудям, к межпланетному кораблю или к летающей мухобойке. Одно с другим, конечно, несоизмеримо, но еще вопрос — возможно ли одно без другого.

Мне доводилось слушать Кувакина на таких конференциях, куда без докторской степени и зайти неловко. Должен заметить, что Кувакин на кафедре и Кувакин на рыбалке — два разных человека, настолько разных, что назвать первого Мишей кажется не более возможным, чем похлопать Дарвина по плечу или попросить Аристотеля отскоблить сковороду. И то сказать — с работами геноинженеров сейчас связана надежда раз и навсегда разрешить проблему пищи для всего человечества, поскольку теперь благодаря Кувакину всякий знает, с какого конца надо браться за дело. Ведь что такое искусственная пища? Продукт, синтезированный из воды, воздуха и минеральных солей. Это, разумеется, химия, но что мы едим сейчас? Тот же лещ, в сущности, не что иное, как превкусная комбинация углерода, воды и щепотки солей. Дорога проторена миллионы лет назад, продукт превосходен, ну и двигайся дальше! Генозародыши, непрерывная подача в клеточную массу воды, воздуха, энергии и всего прочего — и, пожалуйста, в заводской камере зреют, скажем, персики, бочком к бочку, с быстротой скатерти-самобранки, хоть сейчас подавай к столу. В той же перспективе и все остальное, включая бифштексы (подробней смотри монографию М. А. Кувакина или популярное в любом журнале изложение его идей). Но лично для меня

М. А. Кувакин все-таки Миша, и я пишу о том эпизоде его жизни, который наверняка не войдет в хрестоматии. И зря! Наука отнюдь не парад глубокомысленных гениев, все эмоции которых сводятся к попеременному возгласу «Эврика!» и выбеганию нагишом из ванны.

В то лето рано похолодало, и мы вскоре разъехались по домам (замечу, что Миша с того вечера ни разу не закинул удочку). Однако год спустя он сам призвал всех на то же озеро, и хотя некоторые возражали — зачем это, когда есть много новых замечательных мест? — его просьбу уважили, поскольку за ней явно что-то скрывалось.

И точно. Все шло как год назад, но лишь до того дня, когда Мише выпал черед мыть посуду. Тут его поведение стало таинственным: тарелки, сковороды и кастрюли он зачем-то отнес глубоко в озеро, расставил их в ряд, после чего приволок похожий на автоклав сосуд, в котором временами что-то сипело. Этот сосуд заинтриговал нас, еще когда Миша втаскивал его в палатку, но на все наши шуточки и расспросы Кувакин отмалчивался с улыбкой оперного Мефистофеля. Натурально, мы все, включая Неса, трудились на берегу. Наконец запор щелкнул, крышка откинулась.

— Ну, маленький, выходи, — сказал Миша, наклоняя сосуд.

Хлынула водяная струя, и с ней вместе в озеро скользнуло какое-то темное, разлапистое тело, которое никто толком не успел разглядеть, так быстро оно исчезло.

— М-м... — Брови физика удивленно поползли вверх. — Кажется, это рыба?

— Отчасти, — сухо проговорил Миша. — Отчасти это рыба.

— Извини... А зачем?

Вместо ответа Миша присел на бережок, вытянул поудобней ноги, светло взглянул на небо, затем на озеро, мельком покосился на часы — все с таким видом, будто ждал привычного свидания с русалкой, которая, как все женщины, конечно, запаздывает, но без которой мир тоже неплох.

— Ага... — пробормотал он наконец.

Крайняя тарелка качнулась. Нес попятился, у критика отвисла челюсть. Существо возникло — в тарелке. Плоско вра-

щаясь в ней и разевая пасть, оно ее чистило! Взывались хлопья, похожее на целаканта страшилище подхватывало их на лету. Откушав с одной тарелки, оно устремилось к новой.

— Бог мой! — простонал критик. — Наука спятила, разбегайся кто может, Миша, родненький, может быть, это и выдающееся достижение, но зачем...

— Затем, что еще не вечер, — хладнокровно пояснил Кувакин и потрепал холку прильнувшего к нему пса. — Главное сейчас что? Научиться лепить живое вещество, как глину. А если при этом монстр помоеет посуду, то тем лучше. Есть возражения? Нет возражений.

— М-да, — взъерошил бороду физик. — А из чего оно?..

— Из всего. Ген оттуда, ген отсюда, сами скоро поймете.

— Миша. — Голос критика дрогнул. — Если в нем есть хоть один ген человека, я тебя утоплю.

— За что? — кротко сказал Кувакин. — Между генами человека и генами рыб, кстати говоря, нет никакой принципиальной разницы.

— Уж не хочешь ли ты сказать, что и человеко-рыба...

Кувакин приятно улыбнулся.

— Да, ну и что тут такого? Надо будет — и сделаем.

— Пошли, Нес, — дернул головой критик. — В пустыню, в пустыню, пока нас всех тут не переделали!

Однако он почему-то не сдвинулся с места. Монстр тем временем залез в кастрюлю.

— Глядись-кась, что делается! — ахнул кто-то за нашими спинами. — Ох, курва-ябеда, никак скоро кастрюлями можно будет ловить!

Подошедший был тощ, сутуловат и в летах. Бродни, долгополый плащ с капюшоном, самодельно усовершенствованные удочки вкупе с длиннющими, как у сома, порыжелыми усами на обветренном всеми погодами лице выдавали в нем настоящего, не нам чета, рыболова, чьи добродушные, с хитринкой, глаза словно позаимствовали у воды ее голубоватый изменчивый блеск.

— Да что же вы, тащите, пока не ушла! С глубины окружающей, с глубины... Мать моя, да это никак лягва! Нет, не лягва...

— Монстр это, — вежливо пояснил физик. — Рыба такая для чистки посуды.

— Монстр? — Соминые усы рыболова вскинулись под углом в девяносто градусов. — Это как понимать?

Ему объяснили как. Он недоверчиво выслушал, хлопнул себя по голенищам и, закрутив головой, рассмеялся, отчего все его задубелое лицо рассыпалось мелкими морщинами.

— От, мать-кузьма, до чего, значит, наука доперла! А руки-ноги оно мне часом не откусит? Нет? Ну, доброго вам улова... Как он там, клев, ничего?

Он удалился, посмеиваясь в усы. Монстр взбурлил воду над последней сковородой и с неожиданным проворством стрельнул в камыши.

— Утекло твое чудище, — сказал критик. — И даже ручкой не сделало.

— Ничего, — спокойно ответил Миша. — Пусть поадаптируется.

— Гм, — задирая ладонью бороду, проговорил физик. — Между прочим, мне завтра мыть посуду. Оно как?..

— Лень как двигатель прогресса, — с презрением сказал критик. — Полным-полно бездельников.

— Да, — гордо возразил физик. — На том стоим. Не будь таких бездельников, вы до сих пор сидели бы в пещерах. Миша, — обратился он к Кувакину, — послушай, а как вы тут решили проблему...

Они удалились, обсуждая какие-то тонкости, которые для непосвященного столь же малопонятны, как марсианский язык. Вглядываясь в воду, мы же еще некоторое время постояли на берегу, но монстр больше не появился, и мы в конце концов вернулись к своим обычным делам, благо наука давно приучила нас ко всяческим чудесам и отпущенный нашему поколению запас эмоций изрядно поубавился. Монстр так монстр, мало ли их было, если чему тут и удивляться, так явной никчемности затеи.

— Нет, — покачал я головой. — Такое не делается шутки ради, за этим страшилищем что-то кроется...

— Если оно ночью залезет в палатку, чтобы почесать мои пятки, я спущу на него Неса! — с апломбом пообещал критик. — Уж он, будьте уверены, до косточки разберет эту генетику!

Спускать Неса, однако, не пришлось. Кто не знает летних ночей на озере? Все дремлет и спит, только вечные звезды, мерцая, двоятся в заводи, смутны очертания берез, черны стрельчатые вершины елей и оком смотрит на них бирюзовая Вега да чертит свой путь одинокий спутник, разом окидывая взглядом свысока и росный берег, и сонный камыш, темную гладь и пока еще робкую над болотцем седину предутреннего тумана.

Спали и мы.

Нас поднял человеческий вопль и неистовый лай нашего пса. Взметая полог палатки, мы выскочили в чем были. Выходило невидимое в тумане солнце, но все уже было пронизано им, и в этой желтой клубящейся мгле, стоя по колено в озере и воздевая руки, возвышалась кричащая фигура вчерашнего рыболова.

И было отчего вопить: из воды, гребя не то лапами, не то плавниками, высовывался монстр, в пасти которого шевелился премного изумленный всем этим лещ. Отталкивая руками воздух, рыболов пятился от этого наваждения, а оно деловито настигало беднягу. С берега на обоих оглушительно лаял Нес.

— Прекрасно! — потирая руки, воскликнул Кувакин. — Берите, берите, оно не кусается! Кто рано встает, тот леща обретет.

— А-ва... — отвечивал рыболов. — Ва...

Пожав плечами, Миша зашел в воду, принял у монстра леща, взвесил в руке и с улыбкой засунул его дрожащему рыболову в карман плаща.

— С почином вас!

Выпученные глаза рыболова мигнули.

— Эт-та, то есть как?!

— А очень просто. — Миша покосился на дергающийся в кармане хвост, проводил взглядом удаляющегося монстра и победоносно сполоснул руки. — На суше у человека есть собака, а в воде ее нет, хотя она там очень нужна. Вот мы и сделали монстрика, чтобы он выполнял функцию каниса... Когда вы зашли в воду, сапоги проскрипели, а у него и на это выработанный рефлекс. Он словил леща и, как собака подноску, принес его вам. К сожалению, это не тот стервец, что в прошлом году сорвался у меня с крючка, но ничего, ничего, еще не вечер!

— А посуда?! — оторопело вскричал физик. — Ведь он же...

— Ну, это так, для забавы, надо же было вас поразвлечь. — Глянув на наши очумелые лица, Миша затрясся от хохота. — Нет, вы и вправду подумали?..

— Я извиняюсь! — Судорожно хватаясь за карман и темнея лицом, рыболов шагнул к Мише. — Это, если я вас правильно понял, вы для улова всюду хотите этих ублюдков понапустить?!

— Именно! Правда, когда мы создадим синтетическую пищу, нужда в них, наверное, отпадет. Но пока хозяйству требуются подводные псы, и вот вам их первый образчик.

— Значит, вся рыба коровкою станет, и эти страшилища... — Свистящий шепот рыболова пресекался, его вздернутые усы полыхнули рыжим огнем. — Ах, курва-ябеда! — воскликнул он сорвавшимся голосом. — Да ты же нам рыбалку приканчиваешь! Жисть нашу сокрушаешь! Рыбалку с удочкой, на заре, мелочь играет, птички поют... Эх!..

Трясущейся рукой он выдрал из кармана леща, плюнул на него, не глядя, и с отвращением шваркнул Кувакину под ноги:

— На, подавись! Теперь, значит, я с удочкой, а ко мне этот рыбий пастух... Не хочу! Сам ты монстр! Сам!!!

— Послушайте, — выдохнул Миша. — Пос...

Но рыболов повернулся к нему спиной и, сутулясь, побрел к берегу, может быть, последний, кому на склоне лет довелось посидеть с удочкой над вольной, как прежде, водой. Его устало шаркающие ботфорты оставляли в траве темный след.

— Да, Миша, — опустил голову физик. — Что было, того уже не будет, прежней рыбалке конец. Но ты не расстраивайся, он как-нибудь свыкнется...

Спина рыболова удалялась, растворяясь в тумане. В воде тихо покачивалась забытая удочка. За камышами что-то гулко плеснулось, возможно, щука, а может быть, монстр. Было самое время клева.

Конечно, подумал я, рыболовы уж как-нибудь приспособятся, на то они и люди. И «подводный пес» нужен. А все-таки не стоило будить в нашем друге ребенка, нет, не стоило...

УЗЫ БОЛИ

Неприметная дверь бесшумно выпустила человека в темноту пологой улочки. На противоположной ее стороне, левее и ниже по скату булыжной мостовой, светились окна полуподвальной харчевни. Оттуда тянуло сытным запахом подлив, в неясном шуме голосов позвякивали стаканы. Косые полосы света стремглав пересекла кошка: из мрака на человека настороженно глянули ее фосфорические зрачки.

Выждав с минуту, тот зашагал прочь от харчевни. Где-то за саманными стенами лениво брехнула собака. Ее призыв был подхвачен, и нестройный лай долго сопровождал прохожего. Высоко в кипарисах нырял бледный серпик луны.

На перекрестке человек свернул к центру и через полчаса очутился в той части города, где парад роскошных витрин по обе стороны проспекта то и дело прерывался угрюмыми фасадами правительственных учреждений и банков. Здесь, на глазах многочисленных прохожих, в предательском свете фонарей и ярких мазках рекламы он повел себя странно. Задержавшись у стенда с афишами, он вытянул из-за пазухи листок бумаги с неясным текстом и, ловко орудуя клейкой лентой, залепил им обнаженную грудь актрисы. Сделав это, он засунул руки в карманы и постоял секунду-другую, словно оценивая работу. Пока он возился и разглядывал, мимо прошло человек пять, и двое из них, явно заподозрив что-то неладное, ускорили шаг. Но никто не остановил расклейщика, никто не сказал ему ни слова, будто ничего и не было.

Через квартал все повторилось. Неподалеку вздыхал фонтан, полицейский на углу дирижировал стадом фыркающих ав-

томобилей, по асфальту дробно стучали каблучки женщин, на скамейках за живой оградой тлели сигареты, а человек делал свое дело так, словно считал себя невидимкой.

У решетки сада его настигли торопливые женские шаги. Она прошла мимо, обдав запахом духов и пудры, мелькнуло ее напряженное, с черными провалам накрашенных губ лицо, и он услышал срывающийся шепот: «Здесь полно шпиков, идиот!»

Он благодарно улыбнулся. Женщина стремительно уходила вперед, привычно и устало поводя бедрами. Скоро ее светлая кофточка растаяла вдали.

Город был его союзником, он знал это и раньше. Все же приятно получить подтверждение. Даже если оно исходит от проститутки. Особенно если оно исходит даже от проститутки.

Но среди прохожих, среди пыхающих сигаретами мужчин и мелодично щебечущих девушек таились, разумеется, и враги. Чей-то пристальный взгляд рано или поздно приклеится к нему. Рано или поздно. Уж скорей бы это случилось...

Он повесил еще три листовки, но ничего не произошло. Ночь или дерзость укрывали его спасительным плащом? Дневная жара давно спала, но он был мокр от пота. Сигарета не принесла облегчения. Скрежещущий трамвай выбросил на повороте сноп искр. Ему безумно захотелось вскочить на подножку и умчаться в прозрачном, набитом людьми логове вагона куда-нибудь подальше от роскошных огней центра. Куда-нибудь в порт, где плещется маслянистая вода и где среди штабелей бревен на сухом просоленном песке тень ночи густа, как забвение.

В конце концов, он не герой. Он просто человек, убежденный, что так надо, и ему страшно. Он жил так мало!

Киоск со светящейся надписью «Воды» привлек его внимание. Надо напиться — кто знает, что будет потом. Равнодушный, лоснящийся продавец отсчитал сдачу с трех стаканов. Медяки были мокрыми, их приятно было держать в разгоряченной ладони.

Очередную листовку он нагло прикрепил у входа в почтамт, где было многолюдно и где он сразу ощутил волну испуга, сдувшую кучку людей.

Как он выглядит, этот ожидаемый предатель? Молод, стар? Деньги иссушили его сердце, зависть, страх, фанатичная тупость? Или его поступками руководит автоматизм службиста? Вряд ли он когда-нибудь его увидит. Их пути скрестятся в стратосферном мраке и незримо разойдутся, и он не узнает его при дневном свете, как нельзя узнать пулю, скрытую в безобидном кусочке свинцовой руды.

Но пока все было спокойно. Недреманное око охраны, казалось, ослепло.

Завтра по городу, вероятно, поползут слухи. На виду у всех... В двух шагах от полиции... Да, да, листовки! Недаром, недаром они осмелели... Значит, что-то колеблется... Значит... Тсс!

Что ж, и это неплохо. Но пора бы уже быть развязке. Сколько можно ждать неизбежного, терзать себя надеждой, которую он сам должен был исключить?

Новую листовку он укрепить не успел. Внезапно, заслоня собой мир, из темноты выскочила машина. Замерла у бровки как припаянная. Луч прожектора распял его с поднятыми руками, в которых была зажата готовая к наклейке бумага!

Он рванулся, когда его схватили. Удар дубинкой был быстр и точен. Два вскрика слились воедино. Охранник выронил дубинку и, схватившись за голову, осел на тротуар.

Никто ничего не понял, но реакция на заминку была молниеносной. Новый удар был нанесен кулаком и с такой силой, что в глазах схваченного потемнело. Но и тот, кто ударил, тоже скорчился от боли.

Все смешалось в стонущую кучу.

Эти события не были доложены начальству ввиду их нелепости, а также растерянности участников операции. Они доставили оглушенного преступника в камеру, но сами были оглушены случившимся не меньше. Вполне очухались они лишь в баре за выпивкой. Но попытки сообразить, что к чему, завели их в такие дебри абсурда, что для равновесия потребовалась новая бутылка.

Один из пострадавших охранников уверял, что схваченныйшибанул его электрической искрой, которая вылетела у него прямо из глаз. Второй божился, что видел парящего человека

с дубинкой: человек и дубинка были полупрозрачными, но удары он наносил метко. Третий заявил, что ничего такого он не заметил, а только случилась какая-то чертовщина: факт тот, что оба его приятеля, врезав преступнику, ни с того ни с сего сами повалились на асфальт, и ему пришлось волочить их в машину. «Крепко же вы надали», — покачал головой посторонний охранник. Все трое ужасно возмутились и стали объяснять все по новой, но поскольку выпито было уже достаточно, то из их уст полезла такая чепуха, которой уже никто не поверил. Тем не менее по управлению быстро разнесся зловещий слухок о призраке с электрическими глазами.

Виновник переполоха был тем временем доставлен к дежурному следователю, который, позевывая, корпел над бумагами. Охранник — зятая в мундир, привычно потеющая туша — восседал напротив. За дверью слышался треск пишущей машинки. Затем он смолк, и установилась такая тишина, будто здание переместилось в какое-то иное, могильное измерение.

Следователь наконец оторвался от бумаг, закурил и, поспав дым в потолок, взглянул на арестованного. Следователю было лет под пятьдесят; взгляд его выражал интереса к жертве не больше, чем обручальное кольцо на пальце.

— Имя, фамилия?

Охранник, покачивая ногой, любовался бликами на кончике сапога.

— Имя, фамилия?

Арестованный молчал.

— Можем и помочь разговориться. Можем и помочь... Имя?

— Роукар.

— Полностью, полностью.

— Хватит и этого.

Ничего не ответив, следователь медленно зевнул. В сузившихся глазах блеснул белок.

— А вы не стройте из себя... — Еще раз зевнув, он пошевелил пальцами. — Повторяю...

— С вашего разрешения я сяду.

— Вы уже сидите. У нас. Так что не советую...

Роукар двинулся к стулу. Выражение лица следователя не изменилось, но охранник был начеку: с развальной встал, неторопливо сгреб Роукара за шиворот, ухмыльнулся...

— Дурак, обожжешься! — воскликнул тот, бледнея.

Охранник разглядывал его, словно вещь. Он выбирал, куда ударить, а выбрав, нанес мгновенный скользящий удар по губам, который в управлении назывался «закуской».

И точно бомба взорвалась меж ними. Они отлетели друг от друга с одинаковым криком, с одинаково искаженными лицами, только по подбородку охранника не стекала кровь.

— Это что такое, сержант? — В голосе следователя скрежетнуло какое-то колесико. — Если вы вывихнули палец, то, во-первых, это не делает вам чести, а во-вторых...

— Слушайте, вы, олухи! — яростно заговорил Роукар. — Я все равно сяду, а вы попробуйте меня тронуть, попробуйте, если вам не жалко своих шкур!

Он сел, с вызовом глядя на следователя. Тот коротко моргнул.

— Ну-ка, сержант...

Этого можно было и не говорить. Багровый от бешенства охранник уже подступал к Роукару. Мелькнул свинцовый кулак.

Стул вместе с Роукаром треснулся о стенку и разлетелся. Охранника же развернуло по оси. Мгновение он стоял с выпученными глазами, затем, мыча, сложился пополам и рухнул, тараня стол. Все звуки, однако, покрыл визг следователя — безумный, истошный визг потрясения и боли.

Полковник, в чьей власти находилась охранка, любил работать по ночам. В эти часы мир более спокоен, чем днем. Нет суматошного обилия красок, звуков, движений, мрак несет в себе упорядоченность, все лишнее спит, свет ламп строг и надежен, поскольку всецело подконтролен человеческой власти.

Когда полковнику в конце концов доложили о том, что произошло, он ничему не поверил, но заинтересовался. Доведенный до истерики следователь, который, как известно, обладал чувствительностью бетономешалки, — такая история зас-

луживала внимания. Любое расстройство порядка было вызовом тех сил, с которыми полковник не уставал бороться, как гидростроитель борется с малейшим признаком течи в им возведенной плотине. Это была бесконечная, но необходимая работа, которая давно уже стала функциональным стержнем существования полковника и скрепой всей его власти.

Арестованного доставили в кабинет. Кинув взгляд, полковник испытал нечто вроде разочарования. Бледное, расквашенное кулаками лицо двадцатилетнего юнца, расширенные от напряжения зрачки, темная в них ненависть — все это было настолько знакомо, что полковник наперед знал, какие из сотни раз слышанных слов будут сказаны, каким голосом и когда. Из романтиков, сразу определил полковник. «С ума они, что ли, там посходили...» — подумал он, неторопливо раскуривая сигару.

— Сядь, — кивнул он арестованному.

Роукара толкнули в кресло, которое мягко и обволакивающе приняло его в свои объятия. Кресло, как и все в кабинете, играло свою роль, хотя сам полковник ничего в антураже не придумывал, да и никто вообще ничего не придумывал, все как-то само собой образовалось из веками накопленного опыта. Посетитель тонул в мягком и низком кресле, а стол возвышался над ним, словно пьедестал, что делало фигуру хозяина особо величественной. Величие это усугубляла полковничья форма, золото погон, батарея телефонов у локтя, обстановка кабинета, где любой предмет, будь то шкаф с рядами массивных томов в золотом тиснении или дубовые створки двери, выглядел солидно, прочно и официально.

Полковник не торопился, ибо знал гнетущую силу ожидания. Сам по себе этот человек у подножия его стола не вызывал в нем интереса. Нелепые обстоятельства, которые с ним были связаны, — да. Но не он сам. Ни один сотрудник охраны не мог бы работать плодотворно, если бы видел в своей жертве личность. Даже ненависть тут была помехой. Полковник, как и его подчиненные, делал дело, работал с живым материалом, и эмоции здесь были не более уместны, чем при нарезке гаек или укладке кирпичей.

— До чего же стандартные приемы! — внезапно проговорил арестованный. — Мне надоела ваша тупость, и, чтобы вы скорей уяснили ситуацию, вот моя рука. Коснитесь ее кончиком сигары.

Жест, казалось, не был замечен. Полковник молча, без выражения смотрел на Роукара. Текли длинные, немые секунды. И случилось то, что должно было случиться: пальцы арестованного мелко задрожали.

Тогда полковник поднес к раскрытой ладони сигару. Медленно прицелился — и вдруг стряхнул в ладонь пепел.

Рука дернулась. Полковник неторопливо рассмеялся, видя, как исказилось лицо Роукара.

— Вот так, — сказал он спокойно. — Теперь еще один маленький урок.

Он подал знак. Два статуеподобных охранника сделали шаг к креслу, одинаково шелкнув чем-то металлическим.

— Будем разговаривать просто или как?

— Нет. — Ответ был едва слышим. — Не будем.

Руки охранников сошлись на затылке Роукара.

Вскрикнули все четверо. Четыре белых лица смотрели друг на друга, но на одном из них, кроме боли, было еще торжество.

Первым пришел в себя полковник.

— Вон... Охрана — вон!

Крохотная заминка; утратившие статуеподобность охранники недружно повернулись через плечо, и кабинет опустел.

— Благоразумно, — сказал арестованный. — К чему лишние свидетели начальственной беспомощности?

Из ящика стола полковник рывком выхватил пистолет.

— Поговорим, — сказал он с угрозой.

— Если я того захочу, — уточнил арестованный.

— Я пристрелю вас!

— А вы не думаете, полковник, что это еще более опасно, чем насилие?

Полковник порывисто затянулся сигарой. Взгляд его шарил по лицу противника. Теперь он видел в арестованном достойного противника, стало быть, личность, которую надлежало раскусить.

— Сигару? — неожиданно предложил он.

— Нет. Чем скорей мы расстанемся, тем лучше будет для нас обоих.

Полковник кивнул.

— Я реалист, — сказал он негромко. — Обстановка изменилась, это мне ясно. Что же из этого следует?

— Уже лучше, — сказал Роукар. — Итак, для начала небольшая лекция...

Он оглядел помещение и улыбнулся, насколько это позволяли разбитые губы и взвинченные нервы.

— Лекция в охранке... Забавно! Ладно. Усвойте вот что. Любому физическому или умственному действию предшествует свой нервный импульс. Акту насилия — тоже. Организм испускает электромагнитные колебания... Нечто вроде беззвучного крика, ясно? Способ, к которому мы прибегли, вам знать излишне. Но смысл его вот в чем. Мой организм настроен теперь таким образом, что он улавливает чужой импульс насилия. При этом нервные системы палача и жертвы замыкаются, точно лампочки в цепи. Если за импульсом не следует действия, то ничего не происходит, подобно тому, как не зажигаются лампочки, если не нажат выключатель. Но коль скоро за мысленной командой следует удар... Мое тело пронизывает боль, и точно такая же пронизывает ваше! И не важно, что послужило причиной боли — ваш собственный кулак или сапог вашего подчиненного. Палач и жертва скованы одной цепью настолько, что теоретически все должны чувствовать одинаково. Но практически общей становится только боль, поскольку это самое сильное ощущение. Как же так, спрашиваете вы. Арестованного отдубасили, его тело болит, а я не чувствую этого, хотя должен почувствовать, если сказанное им правда. Секрет прост: я могу ослабить или усилить возникшую меж нами связь. Вот я ее усиливаю. Как теперь?

Лицо полковника мучительно напряглось. На лбу выступили бисеринки пота, руки непроизвольно сжались. Секунду другую шеф охраны и арестованный молча смотрели друг друга в отуманенные болью зрачки.

— Третий закон Ньютона, — торжествующе проговорил Роукар. — Сила действия равна силе противодействия. Теперь

этот закон будет осуществляться между людьми так же явно, как в физике! Когда еще жертва могла той же мерой немедленно отвечать палачу на пытку пыткой? Терпите... Все, с насильем покончено!

— Нет власти без насилия. — Полковник разомкнул побелевшие губы. — Уничтожая власть, вы рушите закон, порядок, само общество...

— Ваше общество! — звеняще воскликнул Роукар. — Вы... вы просто дорвавшийся до власти гангстер, вам ли говорить о законе!

Он вскочил, задыхаясь, подошел к распахнутому окну. В душном мраке спал, ворочался и во сне терзаемый обыденными заботами город. Вот так же люди, должно быть, спали, когда у них под боком испытывался первый паровой движок. Когда к самолету подвозили первую атомную бомбу...

Роукар вздохнул. В груди привычно толкнулась тяжесть тайно, в подпольной лаборатории вшитого импульсатора, который улавливал, сортировал, усиливал, возвращал сигналы своей и чужой нервной ткани. Знать о нем полковнику не следовало, иначе его, Роукара, тут же распотрошили бы под наркозом. Другое дело завтра, когда вся эта нечисть сгинет. Тогда, не боясь обыска, каждый сможет носить импульсатор просто в кармане, и уже никто никому не посмеет причинить боль. С насильем будет покончено. Навсегда!

— У вас есть выбор. — Роукар обернулся к полковнику. — Или вы, вся ваша шайка грабителей и тупиц немедленно удерет с чемоданами, или на вас двинутся мои, тем же вооруженные товарищи. Тогда боль, которую вы, сопротивляясь, нам причините, убьет вас самих! Мы против ненужных жертв, хотя за свободу готовы отдать свою жизнь. Я вас предупредил: убивайтесь!

Пламенный голос Роукара умолк. Ответом было молчание. Лицо полковника, чья воля наводила ужас на всю страну, застыло восковой маской. Жгучее, нетерпеливое любопытство пересилило в Роукаре боль, волнение, смертельную усталость. Насилие существует столько, сколько существует мир. Каким же, каким будет его последнее слово?

Роукар даже освободил полковника от боли. Но тот, мешком осев в кресле, продолжал молчать, как вещь, которую забыли унести из кабинета. Словно и не было под его рукой кнопок, которые в мгновение ока могли привести в движение головорезов, авиацию, танки.

«Вот, значит, как! — торжествуя и в то же время разочарованно подумал Роукар. — Обыкновенный безмозглый динозавр в западне...»

— Даю на размышление три минуты, — сказал он презрительно и снова повернулся к окну.

Оттуда уже тянуло освежительным холодком, за громадами зданий пылала заря. В саду оглушительно пели птицы. Город спал, не подозревая, что происходит, не видя худого, измученного, избитого юношу с вдохновенным лицом мученика и спасителя, который в эту минуту явственно слышал шелест новой, уже приоткрытой страницы истории.

А полковник, подобно боксеру, который копит силу в нокдауне, тем временем быстро и холодно выверял свою новую диспозицию. Этот страстотерпец-романтик его больше не интересовал. Полковник сразу выделил главную для себя опасность. Она была не в угрозе сковать его цепью страданий и смерти, поскольку любое воздействие (он знал это и без ученых) ослабевает с расстоянием (вывод: схваткой надо руководить издали, а прочих совластителей предупреждать не следует — открывается соблазнительный шанс чужими руками устранить соперников). Главная опасность была и не в том, что на улицы выйдет столь необыкновенно вооруженная (проклятая наука!) группка ребячливых гениев.

Кричи не кричи о взаимоуязвимости, человек прежде всего верит личному опыту, следовательно, солдаты скосят мятежников прежде, чем падут сами, а уцелевшие что-то сообразят. Но вот что действительно было страшно: детонация! Выступление этих головастых младенцев, странная гибель солдат, весть о роковой уязвимости тех, кто карает, — все это вместе взятое и даже просто сам факт жертвенной отваги романтиков с седидами или без легко мог поджечь скрытое недовольство. А дело, когда поднимаются массы, всегда принимает плохой оборот...

Нет более наивных и более опасных людей, чем бескорыстные, слепые к жизни фанатики идеи! — раздраженно мелькнуло в мыслях полковника, но он тут же приструнил отвлекающие эмоции. И стремительно продумал выгоду безболезненно усыпляющих пуль и газов, прикинул, как скоро он сумеет вооружить ими кого надо. Сделав расчет, он немедленно нажал кнопку, коротко глянул на часы. Из отпущенных ему на размышление минут истекло только две. До начала его собственных действий оставалось еще несколько секунд, и полковник мельком обследовал дальнюю перспективу: надо срочно пополнить штат теми, кто любит одновременно причинять и испытывать боль... Да разве средства энергичного воздействия исчерпываются физическими?

Нет, что бы там ни напридумали ученые, будущность его, как властителя, от них не зависела.

Роукар не заметил движения полковника. В его измученном сознании ярко вспыхивали картины уже близкого будущего, когда успехи нейротехники свяжут людей узами столь тесной общности, что любое злоумышленное горе, бумерангом возвращаясь к виновникам, заставит всех заботиться о счастье каждого. На лицо Роукара пал первый луч восходящего солнца, и он, вскинув скованные руки, готов был ликующе обнять весь очищенный светом мир.

ПУСТАЯ КНИГА

Тишь, да гладь, да неторопливые о том о сем разговорчики под стопочку, под закусочку — таким был вечер. Так он, вернее, начался.

— Гениальных изобретателей-одиночек в литературе куда больше, чем в жизни, — заметил Мелков, цепляя на вилку щуплый грибочек. — Все же они встречаются.

Я кивнул. Действительно, если бы в жизни не было ничего похожего, откуда бы этот образ взялся в литературе?

— Так что же? — спросил я.

— Таким гением был мой дядя. — Мелков с сумрачным видом наполнил стопки. — Я никогда о нем не рассказывал? Нет, конечно. Он, видишь ли, изобрел машину времени. Твое здоровье!

Я чуть не поперхнулся. Малоосведомленные люди полагают, что для писателя-фантаста нет ничего интересней разговора о «тарелочках» и тому подобном, тогда как для нас все это столь же увлекательно, значительно и свежо, как для математика школьное упражнение по алгебре. Не будь Мелков моим давним приятелем, я бы просто отмолчался, ибо что может быть глупее попытки выдать за правду давно уцененный сюжет с гением-одиночкой, который тишком сварганил машину времени? Но тут взглядом пришлось изобразить легкое подобие вопроса. Однако угрюмо-красивое лицо Мелкова если что и выразило в ответ, так колебание — налить ли сразу по новой или чуточку подождать?

— Ну, как же, как же, — сказал я с энтузиазмом воробья, которого пытаются провести на мякине. — Остальное извест-

но. Создав машину, твой дядя прокатился в энный век, затем скоропостижно умер, а так как он не оставил ни чертежей, ни доказательств, то с ним вместе, увы, погиб секрет великой тайны.

— Верно, — подтвердил Мелков. — Выпьем за его упокой! Все верно, за исключением одного: доказательство он оставил.

— Разумеется, разумеется, — согласился я, в свою очередь поддевая медузоподобный масленок, с которого капала мутноватая жидкость. — Еще я слышал, что по воскресеньям рыба в Москве-реке ловится на голый крючок.

— Феноменально. — Мелков чуть-чуть усмехнулся. — Нам уши прожужжали, что литература отражает жизнь, каковая тем не менее богаче любого вымысла... Ты убедительнейшим образом подтвердил первое. Интересно, сколько в тебя надо влить, чтобы ты согласился и со вторым?

— Нисколько, — отрезал я. — Сегодня не первое апреля. И вообще я уважаю мнение науки, а также предпочитаю не смешивать фантазию с реальностью.

— Здорово. — Мелков потер руки, но я игнорировал и этот жест. — Правильная позиция: сказочный ковер-самолет, само собой, никак не предшествовал воздушному лайнеру, и вообще фантазия ничего предвосхитить не может. Выпьем за это!

— Ты что-то стал слишком много пить, — сказал я.

— Потому что не хочу и не желаю.

— Чего?

— Хотя бы машин. Путешествий в будущее. Его кукишей...

— Кукишей?

— А ты думал! Вероятно, это и довело дядюшку до инфаркта. Надо же, получить от обожаемого будущего такую смачную дулю!

— Слушай, ты пьян...

— А ты, дорогой фантаст, попался! На собственный, заметь, крючок. Ладно, не сердись — много ли у нас веселья? Вообще тут не до смеха... Сейчас я тебе кое-что покажу.

Он нетвердо двинулся к письменному столу, выдвинул ящик, помедлив, зачем-то провел рукой по лицу. Я не тронулся с места. Реальная машина времени? Нет, слишком невероятно! Дело не в самой ее фантастичности; наоборот, все

подлинно новое и должно быть таким. Но не так. Все новое, ошеломляющее не возникает мгновенно, тем более под выпивку, под грибочки и треп, от которого за версту разит розыгрышем. Я был уверен, что при малейшем моем доверии к сказанному Мелков зальется смехом. Как в детстве: «Обманули дурака на четыре кулака!» Уэллсу такая эволюция его идеи, разумеется, и не снилась... Хотя непонятно, зачем Мелкову все это было нужно.

— Сначала пре-амбула, — опуская руку к ящику, медленно проговорил он. — Амбула после. Мой дядя был настоящим изобретателем, то есть одержимым, который плодит новое, как крольчиха кроликов. Многое внедрялось, так что средства он имел... Впрочем, не это главное. Изобретать для таких людей так же естественно и необходимо, как для нас дышать. Но, сужу по дяде, в них бродит и другая закваска: бескорыстная — в этом их честолюбие — жажда осчастливить мир своими придумками...

«Да он совершенно трезв!» — подумал я с удивлением.

— ...И само собой, они совершенно уверены — это тоже секрет их успеха, — что в мире нет ничего невозможного, для них непосильного, что даже запретом выставленные перед ними законы природы придуманы скучными людьми... То есть не сами законы, а их истолкование. Ну, ты понимаешь, о чем я! Словом, стремление осчастливить людей, помноженное на технический гений... и его узость. Конечно, узость. Кому, кроме дяди, могло прийти в голову такое? Его взволновало, об этом... — не о дяде, конечно! — трезвонят сейчас все журналы: экологическая ситуация обостряется, наши знания отстают от событий, и этот разрыв чреват опасностями. Дальнейший ход мыслей дядюшки мне известен, он мне сам рассказывал. «Не с того бока берутся! — кричал он. — Каким должен быть идеальный результат? Все необходимые знания есть сейчас! Тогда справимся. А где эти знания? В будущем. Значит, что? Значит, нужна машина времени». — «Дядя, опомнись, это невозможно!» — «Дурак! Невозможность — это первый признак осуществимости. А почему? Потому что нет машины, о которой заранее не твердили бы, что она невозможна. Кроме того... В фантастике машина времени есть? Есть. Фантастика сбывает-

ся? Сбывается. Причина? Да проще простого! Природа бесконечна в пространстве и времени, а коли так, в ней возможно все, что не противоречит краеугольным законам природы. Ну-с, назови мне закон, который бы запрещал путешествие в будущее? То-то... Наоборот, в теории относительности есть подсказка, и не одна. Просто никто не брался за дело, а я примусь. Природу и самих себя надо спасать». И он, бедняга, взялся...

— Почему «бедняга»? — Мне стало уже не до самолюбия.

— Так ведь литература отражает жизнь... Ничего не зная, ты уже почти все рассказал. Машина времени... Ух, как невероятно, как сложно! Это с какой точки зрения... Ракета «Фау» лет сорок назад была вершинным, невероятно сложным достижением техники; в действительности это такая простая штука, что сейчас ее спроектирует любой грамотный студент соответствующего факультета. Ну а подлинный изобретатель опережает время иногда на десятилетия. Короче, дядюшка и машину создал, и в будущее спутешествовал... Затем инфаркт. Боюсь, что свою роль тут сыграло разочарование. Впрочем, кто его знает! Все имущество досталось дочке, для которой отец был лишь не умеющим жить чудаком, а машина времени просто металлическим, загромождающим жилплощадь хламом. Когда я вернулся из экспедиции и узнал о кончине дяди, квартира уже блистала чистотой, а все, что не выглядело документом, было загнано в макулатуру. Но одну вещь эта дура все же оставила, вот тогда я и понял, что дядюшкина затея удалась. Пришлось пожертвовать десяткой, чтобы выкупить... Вот что дядя извлек из будущего, смотри!

— Книга?! — вырвалось у меня.

— Конечно! Дядюшка отправился за знаниями, а где они, как не в книгах?

Я с трепетом принял книгу. На ощупь переплет оставлял впечатление сафьяна, но то была не кожа, какой-то иной дивный материал, которым можно было залюбоваться, как видом полуотчетливых в голубой дымке снежных вершин. Именно такой образ возникал при взгляде на переплет, хотя никакого рисунка там не было, только надпись «Компакт» сверху и сло-

во «Эра» в обрамлении семилучевой звезды снизу. Сама книга имела карманный размер.

Я жадно раскрыл ее. И меня будто стукнули по башке!

Книга была пуста. Девственно, вызывающе пуста — ничего, кроме чистых страниц...

Я оторопело взглянул на Мелкова. Тот мрачно усмехнулся:

— Дошло, наконец? Будущее, о котором мы так мечтаем, преподнесло нам фигу. Кукиш с маслом... Вершина мудрости — пустая книга!

— Но должен же быть секрет! — вскричал я.

— Что ж, поищи...

Я снова принялся лихорадочно листать страницы. Прекрасная тончайшая бумага. И на ней ничего. Ни единой буковки или цифры. Впрочем, нет. На последней странице, там, где в наши дни помещаются выходные данные, стояло: «Издательство «Эра», 2080 год». Больше ничего, ни указаний на тираж, ни слова об объеме, ничего.

Компакт. Компакт чего? Пустоты? Непонятного нам развлечения? Снобизма? Чего-то еще, совсем нам неведомого? Компакт... Может быть, и само слово уже не имело ничего общего с нашим понятием компактности?

— Во всяком случае, это не розыгрыш, не шуточка наших потомков, — телепатически подхватил мою мысль Мелков. — Дядюшке нужен был свод знаний, научная энциклопедия или что-то в этом роде. Остальное догадки. Он ли их неправильно понял, сам ли растерялся в странном с его точки зрения мире, факт тот, что он ухватил это... Сразу ли раскрыл, по возвращении — кто знает? Но, полагаю, удар был жестоким. Хотя наверняка никто никогда ничего не узнает.

— Муляж... — прошептал я. — Муляж книги! Но это бессмыслица!..

— Ты держишь ее в руках. И почему бессмыслица? Нечто подобное, я читал, выпускают на Западе. Декоративные, для престижа и убранства квартиры, книги. Кто скажет, что возможно, а что невозможно в будущем?

Я покачал головой. Конечно, высокий технический уровень — «книга» явно о нем свидетельствовала — сам по себе не гарантирует высокую культуру. Мало ли тому теперешних сви-

детельств! Но... Технический, в отрыве от всего другого, взлет не может длиться долго. Общество не выдержит напряжений разрыва.

Может быть, все-таки подделка? Необычный материал переплета... Ну, много мы знаем о новейших материалах! Бумага прекрасная, но, в общем, самая обычная. Незнакомый шрифт «выходных данных» ни о чем не говорит, шрифты тоже меняются. Конечно, непонятно, зачем это сделано, неясно кем, с какой целью, хотя, с другой стороны, нет человека, который был бы сейчас в курсе всех товарных новинок, а сами эти новинки — и да чего среди них только нет!

Тем более... Вот именно: по мнению многих авторитетных специалистов, книга сейчас доживает последние десятилетия своего существования. Скоро не хватит лесов, чтобы удовлетворить спрос. Бумага из нефти, газа или базальта, над чем уже ведутся небезуспешные опыты? Увы, это не избавит книгу от главного ее порока: от объема, который она занимает, и веса. Не меня одного книги теснят из квартиры! Нет места... Перспектива, утверждают специалисты, все равно за электронными средствами записи, компактными кристаллами-книгами, считывающими устройствами и тому подобным.

К сожалению, эти прогнозы неплохо аргументированы. Но если специалисты правы, книге нет места в отдаленном будущем. Разве что в качестве раритета. Грустно, а что поделаешь? «Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая...» — прекрасное, должно быть, ощущение, только дорогами давно уже владеет автомобиль.

— Слишком похоже на современное изделие. — Я осторожно положил «книгу» на стол. — Через сто лет...

Мелков тяжело вздохнул.

— Удивительно, до чего одинаково мы все мыслим... Даже фантасты! По-твоему, это бумага?

— Конечно.

— Попробуй разорви любую страницу.

— Ну?

— Я пробовал рвать, жечь, травить кислотами. Заметен ли хоть след моих усилий?

Человек так устроен, что, даже веря словам, он жаждет все потрогать своими руками. Фантаст не исключение.

— К черту! — воскликнул я после долгих и тщетных попыток хотя бы смять лист загадочной книги. — Вот так сюрприз!..

— То-то, — удовлетворенно кивнул Мелков и потянулся к бутылке. — Фига — она фига и есть...

— Нет, подожди, я так легко не сдамся! Все неверно! Будем исходить из известного. Из психологии твоего дядюшки. Умный человек? Да! Упорный? Да! И он, не разобравшись, схватил муляж, подделку? Чепуха! Это книга. Не в обычном смысле этого слова. Но ее можно читать, для чего необходимо еще какое-то, очевидно, тоже карманное устройство. Конечно, дядюшка его прихватил и умер он вовсе не от разочарования. А дочка это устройство выкинула вместе с прочим «хламом».

Мелков покачал головой.

— Красивая гипотеза, но я ее разобью вдребезги. Устройство для чтения — такая маленькая, очевидно, изящная вещица. Во всяком случае, ВЕЩЬ. И чтобы ее, заводскую, фирменную, дочка выкинула? Ты плохо ее знаешь.

— Она могла продать, подарить...

— Сомнительно. Она бы призналась — чего скрывать? И второе, главное. По виду так, книжечка, но в ней — какова «бумага»? — около тысячи страниц. К чему тут скрытое изображение, зачем какая-то дополнительная техника, все это нелепо, проще напечатать...

Мелков был прав, я не нашелся что возразить и мрачно уставился на книгу, которая лежала теперь по соседству с грязными тарелками, стопками, водочной бутылкой. Меня это вдруг поразило. Не своим контрастом, наоборот. Поразило и напугало. Все меняется, даже сам принцип изменения! До сих пор вся, казалось бы, невероятная, человеческими руками сотворенная фантастика загодя предупреждала о своем появлении, входила в жизнь исподволь, давала время привыкнуть, как это было с самолетами, телевидением и всем прочим. Теперь... Вот она, вещь из будущего, никем не предвиденная, менее понятная, чем пульсар, покоится на обыкновенном столе в обыденной квартире самого обычного человека. И мы сто-

им перед ней ошеломленные, выбитые из колеи, не знающие, что делать.

— Но надо же что-то делать! — вскричал я. — Ты хоть показывал ее специалистам?!

— Да. Тебе.

— Позволь, какой же я...

— Ты фантаст. Я думал, что вы лучше других подготовлены к восприятию и правильной оценке таких штучек. Оказалось... Тогда к чему специалисты по физике, химии? Ах, да не в этом дело! Ты представляешь, какое недоверие надо прошибить?

Я представил. Я очень живо это себе представил. Уму непостижимо, сколько людей обивает пороги с рукописями «всеобщих теорий», которые объясняют все на свете, с «точнейшими сведениями» о фактах появления инопланетян на Земле и даже с проектами вечных двигателей! Несут, требуют признания, жалуются... Ни у кого нет ни времени, ни желания искать в этой галиматее жемчужные зерна, тут бесплодные телефонные звонки, записи на прием, секретарши светил, которые смотрят на посетителя, как на докучливую помеху, шепотки в затылок: «Еще один «чайник» пожаловал...» И стыд, стыд уважающего себя человека, который должен куда-то пробиваться, просить, доказывать, что он не мистификатор, не ловкач, не параноик...

— Да. — Мелков все прочитал по моему лицу. — Я морально не способен ходить по кабинетам, меня тошнит от одного вида приемных, а уж выглядеть шизиком... Нет. Я и геологом стал, чтобы подольше не вылезать из экспедиций, где я сам себе хозяин. И плевать мне на перспективу появления новых феноменальных машин и материалов! К будущему у меня только один вопрос — будут ли там канцелярии?

Он жадно, не закусывая, выпил.

— На, — протянул он мне книгу. — Бери!

— Ты что?! — Я отпрянул.

— Все, это подарок. И ни-ка-ких благодарностей! Кому владеть книгой из будущего, как не фантасту? По шее и хомут, ха-ха... Твое здоровье!

Слегка пошатываясь, он вышел за мной в переднюю, с сумрачной мефистофельской улыбкой отомкнул замок.

— Что, кончилась твоя уютная и привычная жизнь, а? Так стоит ли тем же одаривать человечество, ты подумай...

Не помню, как я дошел до дому.

Стрелка часов перевалила за полночь, и благоразумней всего было бы завалиться спать, но я твердо знал, что эта ночь обернется бессонницей. Не оставалось ничего другого, как заварить кофе и усесться перед пустой книгой.

Так я и сделал. Но прежде пришлось запахнуть окно, потому что, несмотря на летнюю теплынь, мне было зябко. Холодок притаился где-то внутри, назойливый, как неотступная забота. С минуту я постоял у окна. Обычный городской шум стих, лишь изредка с подвывом проносился запоздалый троллейбус. «Странно, — подумал я, — почему его называют бесшумным транспортом? Автобус тише».

Поймав себя на этом размышлении, я понял, что боюсь думать о главном. О пустой, можно сказать, вызывающе пустой книге, чья обложка таинственно и голубовато мерцала в свете настольной лампы. Теперь я все мог разглядеть внимательно и вскоре убедился, что первое впечатление было обманчивым. Не снежные горы чудились за голубоватым мерцанием материала иного века; скрытый рисунок, если, конечно, то был рисунок, будил фантазию. В нем угадывалась глубина смутных миров, многоликих форм, красок, может быть, звуков, намеков на их присутствие. Намек, не более, воображение могло чем угодно наполнять это мерцание или глухо молчать. Тот, кто делал обложку, менее всего стремился к однозначности.

Что ж, это отвечало духу книги. Подлинной книги, будь то замечательный роман или научная монография, ибо природа тоже многозначна, каждый в ней видит свое, и в этом прелесть гениального труда, — он не только объясняет мир, но и увлекает его безбрежностью.

Так что же передо мной — игрушка, муляж, предмет глупого снобизма? Решительно все восстало во мне против этой мысли. Нам очень хочется видеть будущее прекрасным, очень, и тут легко впасть в ошибку. Но куда горшая ошибка видеть даль в черном свете; тогда и настоящее погружается в безысходный

мрак. Я держал в руках технический шедевр конца двадцать первого века, шедевр, понятно, с нашей точки зрения, потому что в своем времени он скорей всего был самым расхожим заурядом. Говорило ли это о чем-нибудь? Безусловно. Высокий интеллект и высокий вкус. Без первого будущее обойтись никак не могло, иначе все грозные проблемы настоящего остались бы неразрешенными и под их тяжестью рухнула бы сама цивилизация. Но книга свидетельствовала еще и о вкусе.

Она не могла быть муляжом.

Но и книгой она не могла быть тоже. Только неразумное общество стало бы вкладывать труд в такую бессмыслицу, как чистые страницы издания. Да и прогнозы специалистов, которые предвещали книге скорый конец, не были высосаны из пальца. Специалисты тоже читатели, им тоже грустно расставаться с книгой, но выхода, судя по всему, они не видели.

Возможно, я бы не стал так мучительно ломать голову над загадкой, если бы не позорный провал у Мелкова. Так растеряться! А еще фантаст...

Кроме личного самолюбия, есть профессиональное. Я отхлебнул остывший кофе, в сотый, может быть, тысячный раз перелистал пустые страницы.

Нечто имеющее форму книги. Памятник усопшей культуре?

Возможно, в будущем есть и такой. Но туда, в будущее, отправился мой современник, вот из чего надо исходить. Как он себя почувствовал в грядущем? Представить это так же трудно, как оторопь человека пушкинских времен, перенесенного в теперешний мир. И не надо представлять, сейчас это не входит в мою задачу. Важно, что дяде были нужны знания двадцать первого века. Не отдельная монография, не что попадет под руку, тем более не памятник книге, а научная в максимальном объеме литература.

Вот он узнает, что книг больше нет. Вместо них... Что вместо них?

То, что он привез, то, что я теперь держу в руках. Иначе все бессмысленно! Иначе это уже не логика поступков, не поведение нормального человека, а акулий бред и птичий сон.

А как же тогда возражения Мелкова? Не впадаю ли я в ошибку, доверяя законам психологии?

Что ж, проверим вывод иначе. Главное ли в книге сама книга, то есть вещь некоего размера, веса и материала? Нет. Главное — содержание. В сущности, идеальная книга — это такая книга, которая не занимает места, но содержит в себе литературу всех времен и народов.

То есть нечто похожее на Компакт. Вот она, Книга Будущего, вернее, то, что заменило книгу! Емкость — пустяки. Даже для нас очевидно, что все знания человечества можно сконцентрировать в объеме этого, а то и меньшего «томика». В принципе это и сейчас не проблема. Все сходится!

Я удовлетворенно потер руки. Нет, дорогие вы наши потомки, мы тоже не лыком шиты! Передо мной не «вещь в себе», не чудо неведомой технологии, а сложное, но, в общем, понятное устройство для хранения и воспроизводства знаний. Его внешний вид... Ну, это, возможно, сентиментальная дань прошлому, вроде теперешних свечей, электрокаминов и тому подобного. Ясно, что страницы не предназначены для чтения, это молекулярные, атомарные или какие-нибудь там нейтральные вместилища томов, может быть, целых библиотек. И (чушь я тогда сказал!) никаких отдельных для воспроизведения устройств; это и неудобно (могут потеряться), и нерационально; все нужное, конечно же, скрыто в переплете, надо лишь знать, как им пользоваться.

Хорошенькое дело! Разобрался бы Фарадей в устройстве телевизора? Вряд ли. Но включить его он бы смог. Питекантроп — и тот бы смог.

А вот я не могу включить Компакт. Даже подхода не вижу. Нигде ни намек на какие-нибудь кнопки, контакты или что-то похожее. Гладкий «переплет», гладкая «бумага» и гадостное при взгляде на все это самочувствие тупицы, а может быть, обезьяны, от которой подъемным (догадайся как) стеклом прикрыли вожделенный банан.

Так вот что испытал Мелков! Злость унижения. То же самое, не исключено, почувствовал дядюшка, если он расспросами побоялся выдать свою чуждость другому веку и, заполучив Компакт, тут же ринулся обратно в расчете, что сообразительность его не подведет и он как-нибудь сам во всем разбе-

рется. Какой удар для самолюбия, когда он убедился в обратном! Тут, увы, были все условия для инфаркта...

Вот чем это могло обернуться!

А чем, каким потрясением может стать разгадка самой «книги», с какой непредставимой силой ударит по нам ее содержание?! Мгновенный обвал на психику целого столетия, палящая вспышка грандиозных достижений и бурь, аннигиляция всего привычного — кто выдержит такое?!

«Что, кончилась твоя уютная и привычная жизнь, а? — отчетливо послышался голос Мелкова. — Так стоит ли тем же одаривать человечество, ты подумай...»

Я вздрогнул. Вот почему он уступил книгу мне! Он боялся, дико боялся. А я разве нет?

Тишину прорезал воющий звук ночного троллейбуса. Судорожным движением я оттолкнул «книгу». Нет!

Не хочу! Зачем еще потрясения?! Будущее принадлежит будущему, и отстаньте от меня, отстаньте!

Руки тряслись, квадрат окна смотрел слепым пятном мрака, то был пещерный страх перед неведомым, но в глубине души я уже знал, что лгу сам себе. Потому что человек еще никогда не отказывался ни от какого знания. Как бы он ни сопротивлялся новому, как бы ни отталкивал его от себя, он в конечном счете поступает подобно первому в мире парашютисту — бросается в неизведанное. А не было бы этого, так и самого человека не было бы.

И все, и точка, приступим к делу...

Я снова придвинул «книгу».

Что в будущем заменило чтение? Спрашивать себя об этом я мог с тем же успехом, с каким извозчика середины прошлого века о перспективах моторизации. Не из этого надо было исходить в догадках. Компакт, надо думать, был расхожей вещью, им должны и могли пользоваться все, даже дети. Но если так, секрет его включения скорей всего прост. Настолько прост, что это-то и сбивает нас с толку. Мы ищем привычное, всякие там кнопки, стерженьки, но раз этого нет, то... Тогда фантастика, а это уже по моей части.

Что может быть удобней мысленного приказа?!

Я поспешно раскрыл Компакт. Догадки лихорадочно опережали друг друга. Если дядя искал в будущем Свод Знаний, то вернуться он мог только с ним, а если так, надо пожелать...

«Хочу знать все о физике двадцать первого века!» — мысленно воскликнул я и замер в ожидании.

Однако ничего не произошло. Заключенные в Компакте знания ни зрительно, ни акустически, ни телепатически не передалась мне.

Собственно, этого и следовало ожидать. Мыслеприказ, конечно, удобен, мы, фантасты, часто вводим его в свои повествования. Дело, однако, в том, что он может возникнуть произвольно, помимо желания человека (мало ли смутных мыслей проносится в сознании!). Чтобы не возникало накладок, должна быть простая, короткая, но четкая последовательность команд, некий код, который бы заставлял тот же Компакт работать. Но тогда это безнадежное дело. Принятый в будущем код может быть каким угодно, тут миллионы вариантов, никакой жизни не хватит, чтобы их перебрать.

«Ну и все, — подумал я с разочарованием и вместе с тем с облегчением. — Знания будущего не для нас, можно спокойно идти спать. Пустяк, но какой! Нам неизвестен и, верно, не станет известен волшебный «сезам, откройся!», который только и может поведать о той же физике...»

Я не успел моргнуть, как с чистых было страниц на меня в упор глянули слова и формулы!

Я с воплем вскочил.

Видение не исчезло. Передо мной были самые обычные на вид, типографским способом отпечатанные страницы...

И вместе с тем совершенно невероятные.

Я прикоснулся к ним, как к пылающим углям. Под пальцами замелькали страницы, в глазах зарябило от незнакомых слов, разноцветных формул, объемных схем и рисунков; вся тысяча листов была о физике — и какой! Я был близок к обмороку, ноги не держали, свет лампы то мутнел, то вспыхивал сухим блеском, но меня влекло дальше, дальше, еще дальше... «Хочу о генной инженерии, сезам, откройся! Хочу о... Хочу...»

И все открывалось, по мановению мысли тут же менялся весь текст.

Так просто! «Сезам, откройся!», принятые как код слова наивной сказки, древняя мечта-команда, и все, и ничего больше, и... И только ли наука?

«Хочу «Таинственный остров» Жюль Верна, сезам, откройся!» — выкрикнул я, и тут же передо мной возникли с детства знакомые слова:

«— Мы поднимаемся?

— Нет! Напротив! Мы опускаемся!

— ...Все тяжелое за борт! Все!...»

Значит, вот оно как. Наши далекие потомки не смогли, не захотели расстаться с давним и верным спутником человечества — с книгой. То, что я держал в руках, было ею, и даже большим — то была Книга.

Книга всех книг, если на то пошло.

Впрочем, это можно было предвидеть. Кто же по доброй воле расстается со старыми друзьями?

МОРЕ ВСЕХ РЕК

В этом краю песков и болот сосна была всем. Она вечным убором покрывала неяркую землю, плотным строем приступала к околицам деревень, из нее сподручно ладили нехитрое хозяйство, складывали дома, мастерили зыбки. Смолистый запах с первым криком входил в легкие младенцев, ветровой шелест хвои сопровождал всех, когда они малолетками бегали в лес по грибы, взрослея, укромно целовались там до рассвета, возмужав, пахали, сеяли, жали нещедрый по этим местам колос, а когда умирали, то их опускали в сосновый гроб, а новые поколения продолжали все тот же извечный круг, и так же над ними шумели сосны, так же смолист был привкус ветра, который летел над тощими полями, мхами болот, рыхлыми песками увалов и просинью кротких озер. Так длилось все века, сколько здесь жили люди, и только двадцатый на излете своих дней снес одну из деревенок соснового края, воздвиг на ее месте научный городок со всем могучим арсеналом средств дознания природы, и Стожаров, сын бесчисленных поколений здешних Стожаровых, прежде чем до конца опробовать новую гигантскую установку проникновения в глубь материи, привычно вдохнул даже среди металла и пластика чуть-чуть смолистый воздух бывшего детства.

С тем он нажал кнопку, возбудив силы, перед которыми были ничто все молнии, когда-либо грохотавшие над его деревушкой.

Затем он увидел вспышку.

После ничего не стало.

А когда сознание обрело себя, то не обнаружилось ни света, ни формы, ни боли, ни звука, ни другого проявления мира, как будто, сохранив свое «я», Стожаров стал бесплотен в столь же бесплотной Вселенной. Кувырок спросонья в черную невесомость был бы слабым подобием этого ощущения. Стожаров помнил себя, он мыслил и чувствовал, он существовал, но в чем? И как? Ничего не было, даже просвета пространства, даже намек на форму, ничего.

И все-таки что-то было, ибо сознание ощущало свою как бы во что-то вклеенность. Вязкую в себе самом или вовне помеху. Ужас не настиг Стожарова именно потому, что все опередила попытка освободиться, столь же произвольная и оставающая все выяснения на потом, как инстинктивный рыбок туго зажатого тела.

Сознание рванулось из этой вклеенности прочь.

И тут оно услышало голос:

— Не надо, так вы погубите все...

Голос ничему не принадлежал, ниоткуда не исходил, он так же не имел аналогии, как и то состояние, в котором очутился Стожаров. Голос был, вот и все. В одно озаряющее мгновение Стожаров понял, что это не звук из внешнего мира, не эхо собственных мыслей, а... Далее мысль не шла. Но даже такое осознание действовало успокоительно, ибо спасительную догадку: «Я мыслю, значит, существую» — сменила более надежная: «Я не один, значит, тем более существую...» Вдобавок — или это показалось? — сама бесформенная вязкая стесненность стала теплеть, как если бы ее, словно тугой пеленочный кокон, прогрели чьи-то бережные объятия.

— Где я?

Странно и дико было услышать свой голос, слова, в рождении которых даже намеком не участвовали рот, гортань, легкие. Это полное, так очевидно давшее себя знать отсутствие тела едва не захлестнуло новым ужасом, но тут прозвучал ответ:

— Случайно вы оказались там, куда вашей цивилизации еще идти и идти. Не торопитесь с выводами. Что вы в силах понять, я сам объясню.

Пауза, тишина, молчание. Ее оказалось достаточно. Голос был так спокоен, надежен в своей нечеловечности, он сказал уже столько, что вся буря чувств тут же стихла, сменившись тем жгучим, пронзительным, одновременно холодным напряжением души, которое отрешает исследователя от всего побочного, когда внезапное дрожание какой-нибудь стрелки прибора готово выдать тайну природы или, наоборот, лишить всяких надежд на открытие. То же самое стало теперь, только вдвойне.

— Так, хорошо, — произнес Голос. — Теперь можно кое-что сказать о том, что вы называете жизнью и смертью...

Как ни был Стожаров готов к подобному обороту, в нем все содрогнулось, ибо он ясно и окончательно понял, что его как человека, судя по всему, уже нет, а есть нечто, для уяснения которого человеческие представления бессильны, и в этом неописуемом он теперь существует.

— Напрасное беспокойство. — Тот, другой, нечеловеческий, похоже, улавливал малейшие оттенки чужой мысли. — Просто ваша цивилизация пока знакома с единственной формой жизни и только ее мнит возможной.

— Нет, нет, это не так! — поспешно, может быть, слишком поспешно возразил Стожаров. — В теории, еще больше в фантазии, мы допускаем любые формы существования, не белковые, а, скажем, кремниевые, даже плазменные...

— Это все не то, — вроде бы даже со вздохом ответил Голос. — Все ваши фантазии лишь бледная тень действительных возможностей и осуществлений. Нас, далеко ушедших, вы ищете во Вселенной, пытаетесь уловить наши радиопередачи, удивляетесь, не видя астроинженерных чудес, ничего не находите и начинаете думать, что нас нет вообще. А все не так. Чтобы ответ не показался вам диким, нелепым, фантастическим, чтобы он не поверг вас в смятение, для начала сообразите простую вещь. Не надо фантазий, элементарная диалектика: как скажется первый ее закон на цивилизации, позади которой не тысячи, как у вас, а миллионы лет истории?

— Ну, это дважды два — четыре. — Привыкший уважать свой ум, Стожаров даже слегка оскорбился. — Ясно, что такая цивилизация неизбежно обретет новое качество, станет

иной, чем была. Дальше простор вариантов, все число которых не охватит никакая фантазия. Например, разум переводит себя из биологической оболочки в более долговечную машинно-кристаллическую. Или еще что-нибудь, вплоть до мыслящего океана, хотя это, по-моему, несерьезно. Словом, мы об этом думали, проигрывали разные варианты, просто это далеко от наших теперешних забот, поэтому мало кого интересует. Я и представить не мог...

Он запнулся, вспомнив, кому и в каких условиях все это говорит.

— Так что же в действительности? — прошептал он, немея. — Что?..

— Смелее, — позвал Голос. — К чему ведет первое качественное изменение?

— Понял... — все тем же немеющим шепотом проговорил Стожаров. — За ним новое развитие, новый переход, новое... Да сколько их было у вас за миллионы-то лет?! Ведь это страшно... Ужас!

Последнее слово вырвалось невольно. Лишь теперь Стожарову по-настоящему, во всей безмерности открылась та даль, куда он должен был заглянуть. Даль иного, нечеловеческого будущего, от которой он отшатнулся и от которой не мог избавиться, потому что уже был в ней... безвозвратно. Очевидно, так, иначе к чему бы весь разговор?

— Подождите! — вскричал он. — Но разум, его воля, пусть законы развития, но как же это... Всем камнем лететь по траектории?! Да к чему тогда все, зачем устремления, если хочешь или не хочешь, а меняйся, переходи... И во что? Кто вы есть, что вы есть, кем были, хорошо ли вам теперь?!

— Вот это ближе, — одобрил Голос. — Разрешите ответный вопрос. У вас есть фантазии, даже гипотезы о преобразовании человека со временем в машиноподобное тело, в киборга или как там вы это еще называете. Вас устраивает такая перспектива?

— Меня нет, — честно сознался Стожаров. — Не хочу быть навозом истории, годным лишь для того, чтобы на человечестве, как на перегное, возросла цивилизация каких-то там киборгов. Пусть эта новая цивилизация будет лучше, совершен-

ней, я не хочу! Да, да, возможно, я выгляжу тем самым рамапитеком, который взвыл бы с тоски, шепни ему кто, что придется расстаться с родными лианами и баобабами, переделаться в человека, переселиться в клетушки города, мудрить над приборами... Но я не рамапитек! Слышите? Тот ничего представить себе не мог, того законы природы влекли, как щепку в потоке, а со мной извольте считаться! Я сам использую законы природы, а это кое-что значит... Человечество да пребудет во веки веков! Иначе зачем все?

— Иначе зачем все... — эхом отозвался Голос. — Позвольте еще вопрос. Почему некоторые ваши, тоже неглупые ученые считают переход человеческого разума в иную оболочку не только возможным или необходимым, но и благоприятным делом?

— Они полагают возможным, более того, неизбежным создание искусственного сверхчеловеческого интеллекта. Они считают, что им будет принята эстафета нашей культуры. Сверх того они надеются, что наш разум войдет составной частью в машинный и тем самым человек обретет в новом качестве если не бессмертие, то...

— Достаточно. Мыслящий смертен, а это для него нестерпимо. Живу, думаю, чувствую, но, что бы я ни делал, все равно обречен, исчезну, истлею. Думать об этом жутко, только это еще не весь ужас. Он в неизбежности. Неизбежность — вот против чего восстает человек, да и любой разумный, какое бы солнце ему ни светило. Что вы сами только что отвергли? Не смерть. Перспективу жизни, раз в ней неизбежно превращение всего вам родного во что-то неузнаваемое. Этому вы сказали: не хочу! А те, с кем вы так спорите, восстали против другой, сегодняшней неизбежности. Они в машинах увидели шанс одолеть смерть как самую злую неизбежность.

— Так, значит, они правы? Значит, нам придется... Вы сами... Вы-то неужели тот самый машинный сверхмозг?!

— Я ничего не говорил об осуществимости ваших гипотез, предположений и фантазий, пока что я лишь чуточку проявил устремление ваших собственных желаний. Не более. Оценить достоверность своих опасений касательно торжества машинного интеллекта, если это вас так волнует, вы можете сами, с моей стороны тут достаточно лишь намека.

— Так дайте! Хотя, собственно, к чему весь этот разговор? Зачем?

— Он неспроста... — Голос как будто заколебался. — Он и для меня важен. Сейчас желательно максимальное, насколько это возможно, ваше понимание ситуации, в которой мы очутились. А намек... Каким было первое научное представление людей о месте их планеты в мироздании? Оно было обратно действительному. Что можно сказать о первой гипотезе зависимости скорости падения тел от их веса? То же самое. Вспомните далее причудливую судьбу идеи превращения элементов или совсем недавний ваш спор о природе света. И так далее. Намечается закономерность, не правда ли?

— Ясно. — Ощущая Стожаров себя как тело, он, вероятно, стиснул бы зубы. — Вы намекаете, что как только мы начинаем задумываться о новом и сложном для нас предмете, первые наши о нем догадки чаще всего содержат лишь крупицу истины, а то и вовсе все ставят с ног на голову. Да, мы такие... Так откройте же, наконец, истину! Надеюсь, уж вы-то владеете абсолютной?

Стожаров тут же обозвал себя идиотом. Поздно. Раздраженная насмешка отлилась в слова, показав его тем, кем он никак не хотел выглядеть: сопляком. Впрочем, какая разница? Очевидным было то, что Голос читает в его душе, как в раскрытой книге.

— Все нормально, — подтвердил Голос. — Я ничуть не обижен, скорей восхищен. Даже в такой ситуации вас больше интересует судьба рода, чем ваша собственная, поскольку о ней вы пока не задали ни одного прямого вопроса, хотя на душе у вас весьма неспокойно. Для разума вашего уровня такое поведение редкость.

— Я просто-напросто исследователь, — буркнул Стожаров. — Мне все интересно... Ладно, так в чем же неверны наши теперешние представления?

— Вам мешает весь прежний жизненный опыт. Руководствуясь им, вы упорно связываете будущее личности и судьбу разума с конкретным телом, не важно, белковым или небелковым, одиночным или множественным, раздельным или слитным. Попробуйте отрешиться от этого узкого представления.

— То есть как? — удивился Стожаров. — Представить существование не в конкретном теле, не одиночное и не множественное, не раздельное, но и не слитное, а... Вы смеетесь! Да легче вообразить безугольный куб, чем бытие ни в чем и, в сущности, нигде...

— Однако вариант, который вы с ходу отвергаете, считая его невозможным, немыслимым, был перед вашими глазами всегда.

— Что, что?

— Телевидение.

— Телевидение?!

— Да. Ваш в нем образ. Каков он и где? Он рассеян в пространстве. Находится на экранах. Одновременно законсервирован в видеолентах, может там храниться и снова ожить, заполнить собой пространство в любой день после вашей смерти. Вот вам грубый пример существования чего-то и в точке и в огромном объеме, в конкретном теле и вне его, в данный миг времени и любой другой.

— Черт, действительно!.. Но это же образ, слепок, а вы говорите о личности, ее разуме... Хотя...

Стожаров задумался. Скульптура, портретная живопись, далее фотосъемка, кино, голография, перевоплощение внешности, отлет образа, его все более самостоятельное, множественное, на века существование... Затем уловленный, сохраненный, тоже отдельный от человека голос! Та же самая эволюция! По каплям, по частностям осуществляемое бессмертие внешнего, наиболее простого, легче всего достижимого. Вот же к чему дело идет! Так, так, верно. Стоп! Это все внешнее, несущественное. Сознание, разум, человеческое «я» тленно, как было, тут ничего не изменилось, за все века, за все тысячелетия, тот же обрыв, то же вместе с телом исчезновение. Хотя...

Я идиот, повторил Стожаров. Я слеп, как десять тысяч кро- тов. Мысль — а разве она не частичка личности? — с развитием письма, книгопечатания, электроники обрела небывалое долголетие. Тысячелетия меж мною и Гомером, Платоном, Аристотелем, но, читая их произведения, я же соприкасаюсь с их разумом, чувствами, ощущаю их личность... Это факт. А

компьютеры, бездушные компьютеры? Их логика. Это мы ее вложили, это наша логика, это наша мысль, это отчасти мы сами. Если синтезировать все — образ, голос, запечатленную мысль, — если добавить, если развить, смело глянуть вперед на века, представить возможное, а точнее, кажущееся невозможным...

— Вот именно, — сказал Голос. — Кто никогда не видел домов, для того котлован стройки лишь грязная яма, а камни фундамента — начало и конец спешно возводимой ограды. Вполне естественная ошибка, не так ли? Сходным образом для вас самих выглядит ваш собственный, едва начатый труд над бессмертием, поскольку вы еще не можете представить себя вне и помимо той оболочки, в которую вас заключила природа. Но рано или поздно вам откроется смысл и перспектива. Не вы одни, все разумные восстают против смерти как самого нестерпимого воплощения неизбежности, все прозревают безбрежное и вечное море жизни, в него со временем вливаются все цивилизации, если, конечно, не иссякают по дороге в песках застоя, не срываются в пропасть самоуничтожения, что, понятно, тоже бывает. Уж тут неизбежности нет никакой...

— Хорошо, хорошо, — почти лихорадочно перебил Стожаров. — А осуществление? Само осуществление? Ваше вечное море жизни, какое оно? Оно непостижимо для меня, да? Как и способ его достижения?

— Принцип прост и легко постижим. Разум есть свойство высокоорганизованной материи, верно?

— Конечно! Дальше, дальше!..

— Что же в принципе запрещает разуму какую угодно форму материи и где угодно организовывать так, как это необходимо для его существования и перемещения?

— Вот оно что... — Была бы возможность стукнуть себя с досады, Стожаров не преминул бы это сделать. — Ну да, ну конечно! Для обитания и укрытия тела природа дала нам только пещеры, а мы научились строить дома, перемещать их хоть под воду, хоть в космос, еще десять, еще сотня шагов по тому же пути и... Ах, черт! Сотня ли? Те же компьютеры — это лишь вещество, электричество и... и организация всего этого в сложную форму материи! Ведь ничего больше, а в результате уже

какое-то подобие мысли, разума, уже предсознание... Это сегодня, сейчас, тогда как дальше... Какие там, к дьяволу, роботы, киборги, прочая элементарщина! Все не то, все лишь ступенька, нижняя опора для... Слушайте, я больше не могу, мысль путается. Как... как вы живете?! Где вы есть, какие вы есть?!

— Спросите у луча, где он, когда летит, и что с ним стало, когда он упал. Спросите себя, где и в чем вы живете: только на земле? Может быть, еще в океанских глубинах, в космосе уже ваш дом? В книгах, которые существуют века? В радиоволнах, которые уносят ваш образ и речь к другим звездам? Соедините все представления, и будет отдаленный, как эхо, ответ, какие мы и в чем живем. Для нашего обитания пригодно всё, что есть в мире, мы везде у себя. Облачко, мы и его можем сделать своей обителью; глубинная структура вакуума — и она пригодна. У нас нет формы, нет тела, потому что для нас — все тело и сменить облик нам так же просто, как вам переодеться. Вы убеждаете себя, что это невозможно представить, но то, что вам кажется фантастичным, всегда было перед вашими глазами. Не вы ли только что поняли: в любой глыбе уже таится компьютер, надо лишь ее преобразовать? А в чем таилась вся жизнь, все деревья, все животные, вы сами, когда на планете еще и белка не было? В песке, воде, ветре, в свете солнца. В чем скрывались песчинки, капли дождя, шум ветра, когда не то что планета, но и звезды клубились туманностью? Все возможности уже зрели там, среди галактической плазмы, потоков частиц, колебаний вакуума. Все во всем, все во всем! Так всегда и везде, весь секрет нашего могущества в умении быстро реализовать нужные возможности, в способности пользоваться этим. Вы сами уже отчасти владеете им, потому что из камня, из энергии рек, из света и электронов творите компьютеры, космические корабли, образы голографии и даже искусственные сердца, которыми заменяете свои изношенные... Короче, вы движетесь по той же дороге, что и все разумные, где бы они ни начинали свой путь.

— И вам хорошо? — вырвалось у Стожарова.

Глупый вопрос, он тут же его устыдился. Хорошо ли почувствовал себя рамапитек на его месте? Он себя в шкуре рамапитека? Сопоставимы способы жизни, но не радости жизни.

И Голос ничего не ответил. Он сказал свое:

— Хорошо ли вам сейчас?

— Плохо.

— Однако вы существуете.

— Да.

— Мыслите, чувствуете, познаете. Вы живете.

— Но как? Я ли это?

— Взамен утерянного вы приобрели бессмертие.

— Бессмертие?

— Наш способ жизни, это почти то же самое.

— Я не просил! С какой стати? Или это ваш... ваш надо мной эксперимент?!

— Скорей, ваш.

— Мой?

— Ничей, если быть точным. Вы готовили установку, хотели раздвинуть пределы своего проникновения в материю. И нанесли ей удар. Вам казалось, что вы предусмотрели последствия, но все предусмотреть не дано ни вам, ни нам. Случайно ваш удар пришелся по структуре, которая в то мгновение была мной. Мы бессмертны, но это не абсолют. Мы, как и все в мире, уязвимы. А ваш удар...

— Я не знал!

— И не могли знать, а я мог предугадать, мог остеречься, но... Возможно могущество, безошибочность — нет. Наспех отражая удар, я вдруг понял, что этим убиваю вас. Что я успевал и мог, то я сделал: вы остались живы...

— А мое тело...

— Стоит ли о нем вспоминать? Взамен — вечность.

— Веч...

Голос Стожарова дрогнул и оборвался. Все-таки в нем теплилась надежда. Теперь с ней было покончено. Все, больше он не принадлежит семье человечества, вышел из нее, как бабочка из кокона. Теперь перед ним вечность. Нет, не вечность... Иное. То, чему нет названия в человеческом язы-

ке, нет настолько, что даже Голос не подобрал подходящего слова.

Как ни был он подготовлен, но его сознание в ужасе отпрянуло от этой бездны, которая на деле была не бездной, наоборот, вершиной разума, такой непомерной вершиной, что там, на ней, быть может, и звездами играют, как легкими шариками одуванчика на весеннем лугу.

Но свыкнуться с этим! Принять?

— Будущее вас пугает. — Голос вроде бы дрогнул. — Напрасно... Вам кажется, что всегда будет так, как сейчас, темно, глухо, пусто. Нет. Вы пока словно бабочка в коконе, ведь чтобы спастись и спасти, мне пришлось как бы вклеить вас в себя. Наши структуры связались, переплелись; подробности излишни, вы не поймете. И не нужны, потому что это состояние не навсегда. К тому же пока есть выбор.

— Какой? — Все рванулось в Стожарове при звуке этого слова.

— Вы уподобитесь мне. Или я верну вас в прежнее состояние. Потихе, потихе, я же предупреждал, что вы можете все испортить... Вот так, хорошо.

— Но...

— Не торопитесь решать! — поспешно сказал Голос. — Вам хочется обратно, назад, это понятно. Но подумайте о другом варианте. Перед вами распахнется Вселенная. Хотите повидать все странные, чудесные, диковинные для вас пейзажи мириад планет? Вы сможете. Мы сами не знаем предела своей жизни, и вы не будете знать, но облететь Галактику так недолго, так просто... Вам откроются тайны природы, какие не дадутся человеческому уму и через тысячу лет, — великие, грозные, прекрасные тайны. Хотите их знать? Да, вы никогда уже не изведаете вкус земной пищи, не вдохнете весенний воздух, кожей тела не ощутите соленое касание морской волны. Приобретения — всегда потери.

Но взамен! Взамен мудрость многих и разных цивилизаций, тонкость их дружбы, любви. Не снившаяся вам власть над материей. Миллионы недоступных вам чувств. Зрение, которое вам даст не семицветную, а тысячесветную радугу. Слух, который позволит услышать бурю звездных протуберанцев и шо-

рох растущих в земле кристаллов. Бесконечность и здесь. Наконец, деятельность куда более грандиозная, чем все о ней человечьи мечты. Вы и от нее откажетесь? Я все сказал. Теперь выбирайте: вперед или назад? Решайте, пока не поздно.

— Но почему, почему вы меня уговариваете? — вскричал Стожаров. — Кто я для вас и зачем? Если вернуться назад так просто, то к чему...

— Вы должны выбрать. Так надо. И поспешите: мои возможности велики, но я не в силах удержать время навечно. Как скажете, так и будет. Но торопитесь!

Смолкло все.

Стожаров снова и уже бестрепетно вгляделся в приотворенную перед ним даль. Она завораживала. В ней было все, к чему мог стремиться ищущий ум. Все и даже больше того, о чем мечталось. Там, впереди, был не просто великий, могучий, ослепительный, но и добрый мир, ибо лишь его обитатель мог в мгновение внезапной и грозной опасности побеспокоиться еще и о беспомощном чужаке. Конечно! Недобрый мир не смог бы уцелеть при таком своем могуществе.

Все было так, будущее призывно блистало всеми красками. И не оставалось сомнения, пригоден ли для него слабый человеческий разум; раз позвали, то позаботятся, проведут через все циклы качественных перемен, что-нибудь сделают.

Всей силой дерзкого желания Стожаров рванулся вперед. Туда, туда, к морю всех рек, куда человеческому разуму тянуться еще тысячи, может быть, миллионы лет! Что он оставляет, что?

Все прежнее предстало перед Стожаровым как в перевернутом бинокле. Маленький человек с мелкими страстями на крохотной планете, мотыльковая на ней жизнь, ее неизбежный затем обрыв, и уже все, и уже никогда ничего не будет. Чего он лишался, что могло удержать? Все мимолетно, как тот воздух, который он напоследок втянул в свои легкие. Ведь нет ничего уже, только память. Она с ним пребудет навсегда, он унесет ее в любые звездные дали и там, под нездешними солнцами или в загадочной глубине вакуума, его, как в детстве, опашет смолистый запах сосны и в нем оживут... Или не оживут?

Стожаров попробовал представить, и тотчас из ниоткуда накатил запах нагретой солнцем хвои, защебетали птицы, предстали лица друзей, и все, что было с ним прежде и сопровождало весь его род, вернулось к нему с этим запахом, этим ветром, что всегда летел над неброским краем песков и болот, одинаково входил в легкие младенцев и стариков, одинаково нес всем сладость земли и жизни, вечной, пока есть кому беречь и продолжать, множить, и украшать, и взметать ее к звездам.

— Время! — поторопил Голос.

— Я человек и не могу иначе, — сказал Стожаров. — Спасибо за все, но каждый должен пройти свой путь и у каждого есть свой долг перед родом. Я остаюсь.

— Жаль, — помедлив, сказал Голос. — Мое предложение не было ни искусом, ни опытом чистого альтруизма, как вы мимолетно подумали. Все и сложнее, и проще. Мы оказались спаянными так неразрывно, что ваше возвращение назад сопряжено для меня с потерей вроде ампутации. Мне хотелось избежать этого урона, но ничего не поделаешь.

— Пойдите! — рванулся Стожаров. — Почему вы не сказали этого раньше?! Я согласен! Согласен!

— Нет. Выше всего моральный закон, он мне велел поступить так, как я поступил и как поступлю, потому что в вашей уступке нет добровольности. Ни о чем не тревожьтесь — и прощайте.

...Когда сознание снова вернулось к Стожарову, он услышал голос врача:

— Непостижимо, но после столь долгой клинической смерти нам удалось его вытянуть. Все-таки удалось! Такого еще не было...

СОДЕРЖАНИЕ

ПУСТЫНЯ ЖИЗНИ	5

РАССКАЗЫ

Проверка на разумность	165
Случай на Ганимеде	182
Догнать орла	202
Ученик чародеев	208
Чужие глаза	216
Черный великан	227
Принцип неопределенности	234
Недотрога	256
Пересечение пути	264
Мера предосторожности	278
Кое-что иначе	287
Однажды ночью	296
Долгое ожидание	302
Ничего, кроме льда	316
Кем ты станешь?	324
Снега Олимпа	333
Сокровища Нерианы	346
Операция на совести	357
Практика воображения	367
Звездный аквариум	379
Гениальный дом	389
Четвертая производная	417

Мгновение чуда	425
Праздник неба	440
Исключение из правил	467
Точка зрения	485
Создан, чтобы летать	491
Все образы мира	500
Философия имени	516
Уходящих — прости	531
Зажги свет в доме своем	550
Проблема подарка	560
Лицо в толпе	567
Шел человек по грибы	584
Не будьте мистиком!	592
Существует ли человек?	609
Проба личности	616
Загадка века	636
Голубой янтарь	645
Путь Абогина	667
Время сменяющихся лиц	690
Миша Кувакин и его монстры	699
Узы боли	710
Пустая книга	721
Море всех рек	735

Читайте **в «Золотой серии фэнтези»** **сборник «ЛЕГЕНДЫ»**

Роберт Силверберг собрал для этого сборника самых знаменитых творцов миров:

*Стивена Кинга, создавшего мир «Темной башни»,
Урсулу Ле Гуин, создавшую мир «Земноморья»,
Роберта Джордана, создавшего мир «Колеса времени»,
Терри Гудкайнда, создавшего мир «Меча Истины»,
Джорджа Мартина, создавшего мир «Семи Королевств».*

И многих, многих других — тех, кто не просто пишет романы-фэнтези, а подобно демиургам, полетом фантазии творит миры. Тех, которым нет равных.

Они объединились для сборника «Легенды», чтобы пригласить миллионы своих поклонников в эти миры еще раз. И все произведения, вошедшие в «Легенды» — новые эпизоды самых знаменитых саг наших дней, — были написаны специально для антологии.

Эти и многие другие издания вы можете приобрести по почте, заказав

БЕСПЛАТНЫЙ КАТАЛОГ

по адресу: 107140, Москва, а/я 140. «Книги по почте».

Москвичей и гостей столицы приглашаем посетить московские фирменные магазины издательства «АСТ» по адресам:

ул. 2-я Владимирская, д. 52, тел. 306-18-91, 306-18-97

Звездный б-р, д. 21, стр. 1, тел. 232-19-05

ул. Татарская, д. 14, тел. 959-20-95

ул. Каретный ряд, д. 5/10, тел. 209-66-01, 299-65-84

ул. Луганская, д. 7, корп. 1, тел. 322-28-22

Б. Факельный пер., д. 3, стр. 2, тел. 911-21-07

Волгоградский пр., д. 132, тел. 172-18-97

Самаркандский б-р, д. 17, тел. 372-40-01

Крокус-Сити, 65—66 км МКАД, тел. 754-94-25

ул. Стромынка, д. 14/1

Чонгарский б-р, д. 18а, тел. 119-90-89, 119-65-40

Зеленоград, кор. 360, 3-й мкрн, тел. 536-16-46

Оптовая торговля:

129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, 7-й этаж

Справки по телефону (095) 215-01-01, факс 215-51-10

E-mail: astpub@aha.ru

<http://www.ast.ru>

Издательская группа АСТ

Издательская группа АСТ, включающая в себя около 50 издательств и редакционно-издательских объединений, предлагает вашему вниманию более 10 000 названий книг самых разных видов и жанров. Мы выпускаем классические произведения и книги современных авторов. В наших каталогах — интеллектуальная проза, детективы, фантастика, любовные романы, книги для детей и подростков, учебники, справочники, энциклопедии, альбомы по искусству, научно-познавательные и прикладные издания, а также широкий выбор канцтоваров.

В числе наших авторов мировые знаменитости Сидни Шелдон, Стивен Кинг, Даниэла Стил, Джудит Макнот, Бертрис Смолл, Джоанна Линдсей, Сандра Браун, создатели российских бестселлеров Борис Акунин, братья Вайнеры, Андрей Воронин, Полина Дашкова, Сергей Лукьяненко, Фридрих Незнанский, братья Стругацкие, Виктор Суворов, Виктория Токарева, Эдуард Тополь, Владимир Шитов, Марина Юденич, а также любимые детские писатели Самуил Маршак, Сергей Михалков, Григорий Остер, Владимир Сутеев, Корней Чуковский.

Книги издательской группы АСТ вы можете заказать и получить по почте в любом уголке России. Пишите:

107140, Москва, а/я 140

ВЫСЛАЕТСЯ БЕСПЛАТНЫЙ КАТАЛОГ

Вы также сможете приобрести книги группы АСТ по низким издательским ценам в наших фирменных магазинах:

Москва

- ул. 2-я Владимирская, д. 52, тел. 306-18-91, 306-18-97
- Звездный б-р, д. 21, стр.1, тел. 232-19-05
- ул. Татарская, д. 14, тел. 959-20-95
- ул. Каретный ряд, д. 5/10, тел. 209-66-01, 299-65-84
- ул. Луганская, д. 7, корп. 1, тел. 322-28-22
- Б. Факельный пер., д. 3, стр. 2, тел. 911-21-07
- Волгоградский пр., д. 132, тел. 172-18-97
- Самаркандский б-р, д. 17, тел. 372-40-01
- Крокус-Сити, 65—66 км МКАД, тел. 754-94-25
- ул. Стромынка, д. 14/1
- Чонгарский б-р, д. 18а, 119-90-89, 119-65-40
- Зеленоград, кор. 360, 3-й мкрн, тел. 536-16-46

Регионы

- г. Архангельск, 103-й квартал, ул. Садовая, д. 18, тел. 8-8182-65-44-26
- г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д. 132а
- г. Калининград, пл. Калинина, д. 17-21, тел. 8-0112-441095, 566095
- г. Краснодар, ул. Красная, д. 29
- Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Ломоносова, д. 1/ Волжская наб., д. 107
- г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 23, тел. 8-3532-41-18-05
- г. Череповец, Советский пр., д. 88А
- г. Н.Новгород, ул. Маяковская, д. 13 (8312) 33-79-80

Издательская группа АСТ

129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, 7-й этаж.

Справки по телефону (095) 215-01-01, факс 215-51-10

E-mail: astpub@aha.ru <http://www.ast.ru>

Любое использование материала данной книги,
полностью или частично, без разрешения
правообладателя запрещается.

Литературно-художественное издание

Биленкин Дмитрий Александрович

Пустыня жизни

Роман

Рассказы

Художественный редактор О.Н. Адашкина

Технический редактор О.В. Панкрашина

Младший редактор А.С. Рычкова

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Гигиеническое заключение
№ 77.99.11.953.П.002870.10.01 от 25.10.2001 г.

ООО «Издательство АСТ»
368560, Республика Дагестан, Каякентский район,
с. Новокаякент, ул. Новая, д. 20

Наши электронные адреса:

WWW.AST.RU

E-mail: astpub@aha.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии издательства
“Самарский Дом печати”
443086, г. Самара, пр. К. Маркса, 201.

Качество печати соответствует предоставленным диапозитивам.

Д.А. Биленкин (1933 — 1987) — один из ведущих авторов отечественной научной фантастики 1960 — 1980-х гг., мастер фантастики. НАУЧНОЙ в классическом смысле этого слова. писатель, обладавший даром «встраивать» в увлекательные сюжеты оригинальные фантастические гипотезы.

Биленкин всегда считался автором преимущественно «малых форм» фантастической прозы — рассказов, новелл и повестей. Однако уже названия его сборников заставляют сильнее биться сердца всех истинных любителей научной фантастики нашей страны.

«Марсианский прибор».

«Ночь контрабандой».

«Проверка на разумность»...

Вы помните рассказы, вошедшие в эти сборники?

«Все образы мира» — и «Время сменяющихся лиц». «Лицо в толпе» — и «Случай на Ганиমেде». «Чужие глаза», «Мгновение чуда», «Исключение из правил»... и многое, многое другое!

Вы читали? Перечитайте!

Вы не читали? Прочитайте обязательно.

И тогда вы поверите, что отечественная фантастика началась задолго до 1990-х...



ISBN 5-17-011170-3



9 785170 111701